

ИЗДАТЕЛЬСТВО "ПРОГРЕСС"

Hajdú Péter

URÁLI NYELVEK ÉS NÉPEK

Петер Хайду

УРАЛЬСКИЕ ЯЗЫКИ И НАРОДЫ

Перевод с венгерского языка
кандидата филологических наук
Г А. Хелимского

Под редакцией доктора филологических наук
К Е Майтинской
Предисловие академика
Б А Серебренникова

МОСКВА
"ПРОГРЕСС"
1985

Рецензенты: Ю. С. ЕЛИСЕЕВ,
Г. И. ЕРМУШКИН, А. П. ФЕОКТИСТОВ

Редактор М. А. ОБОРИНА

Книга венгерского академика Петера Хайду "Уральские языки и народы" представляет собой фундаментальное обобщающее исследование уральской семьи языков. В ней рассказывается о происхождении финно-угорских и других народов и языков уральской семьи, об истории их расселения, контактах с другими народами, о прародине уральских народов. На основе языкового материала уральских языков, их общих и отличительных черт восстанавливаются фонетические, морфологические, лексические и синтаксические особенности уральского праязыка. Работа акад. П. Хайду содержит описание всех языков этой многочисленной семьи (свыше 20 языков), а также описание их диалектов, историю литературных языков и письменностей этих народов.

© Перевод на русский язык, предисловие издательство "Прогресс", 1985

$X \frac{4602000000\text{-}627}{006\,(01)\text{-}85}$ 68-85

ПРЕДИСЛОВИЕ

На территории Советского Союза уральские языки и народы занимают видное место. Уральская семья языков по количеству входящих в нее языков и по территории их распространения, может быть, уступает только тюркской. Уральские языки обладают очень большим типологическим разнообразием, они необычайно контрастны и открывают заманчивые перспективы для изучения их истории. Обладая самобытной и оригинальной культурой, уральские народы на протяжении довольно длительного существования вступали в контакты с другими народами: древними иранцами и германцами, литовцами и латышами, волжскими тюрками, аборигенами Сибири, а позднее и русскими. Все это явилось причиной необычайного разнообразия форм культуры и быта этих народов, что в свою очередь привлекает внимание наших и зарубежных этнографов. Бурно развивающаяся в Советском Союза археология все время предоставляет новые данные, проливающие свет на древнейшую историю уральских народов.

В настоящее время почти все уральские языки можно считать достаточно хорошо изученными. Известное исключение в этом отношении представляют самодийские и обско-угорские языки, темпы изучения которых в силу географических условий были всегда более или менее замедленными. Что же касается остальных уральских языков, то многие из них имеют довольно подробные описательные грамматики и словари, выяснены многие частные детали фонетического и грамматического строя этих языков, большие успехи достигнуты в области изучения диалектов. Тем не менее всегда чувствовалась необходимость издания книги справочно-энциклопедического характера, которая содержала бы некоторые общие данные, характеризующие уральскую или, как ее ранее называли, финно-угорскую семью языков в целом. Нужно сказать, что в разные периоды развития финно-угроведения эта потребность так или иначе удовлетворялась. Первым опытом в этом отношении можно считать небольшую книжку известного венгерского финно-угроведа Йожефа Синнеи "Финно-угорское языкознание"[1], изданную в Германии дважды.

[1] Szinnyei, József. Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Berlin und Leipzig, 1910, 1922.

Первое издание ее было осуществлено в 1910 г. Венгерскому читателю хорошо известна книга того же автора под названием "Magyar nyelvhasonlítás", или "Сравнительная грамматика венгерского языка"[2]. По своему жанру это были сравнительные грамматики уральских языков справочного характера. В послевоенные годы появляются уже более обширные по объему книги справочного характера, из которых заслуживают внимания книга Б. Коллиндера "Обзор уральских языков" (Упсала, 1957)[3], "Введение в финно-угорское языкознание" Д. Дечи (Висбаден, 1965)[4], а также изданный в Советском Союзе в трех книгах коллективный труд "Основы финно-угорского языкознания".

В 1962 г. в Венгрии вышла книга П. Хайду "Finnugor népek és nyelvek" ("Финно-угорские народы и языки"), а в 1975 г. в Лондоне появился ее перевод на английский язык.

Предлагаемый читателю русский перевод рукописи новой книги П. Хайду "Уральские языки и народы" также относится к этому же типу изданий справочно-энциклопедического характера. Однако П. Хайду не повторяет механически своих предшественников. По содержанию его книга заметно отличается от книг подобного рода, вышедших ранее. Следует иметь в виду, что в прошлом финно-угорское языкознание долгое время развивалось изолированно от археологии, истории и этнографии финно-угорских народов. Поэтому совершенно естественно, что и издания справочно-энциклопедического характера были по своему характеру чисто лингвистическими работами. В последнее время наблюдается сильная тенденция превратить уралистику в комплексную науку, объединить усилия языковедов, историков и этнографов в решении больших проблем, требующих всестороннего подхода.

Книга П. Хайду также является работой лингвистической, но ее автор значительно чаще, в отличие от своих предшественников, пытается решать проблемы, используя данные других наук, главным образом в тех случаях, когда речь идет об этногенезе уральских народов.

В первой главе, названной "Уральская языковая семья", даются сведения по всем группам уральских языков и по каждому языку в отдельности. Эти сведения касаются числа говорящих на данном языке людей, характеристики занимаемой ими территории и истории ее заселения. Производится также периодизация истории литературного языка, характеризуются ранние памятники письменности тех народов, литературный язык

[2] Szinnyei, József. Magyar nyelvhasonlítás. (Книга выдержала девять изданий.)

[3] Collinder, Björn. Survey of the Uralic Languages. Uppsala, 1957.

[4] Décsy, Gyula. Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden, 1965.

которых имеет давние традиции. Дается общий анализ лексики отдельных языков с характеристикой составляющих ее элементов. Перечисляются существующие в данном языке диалекты и их характерные звуковые и грамматические особенности. Следует отметить, что в книге П. Хайду, как и в вышеупомянутой книге Б. Коллиндера, дается подробная характеристика самодийских языков. В работах, предшествующих указанным книгам, этот материал обычно не учитывался.

Вторая глава книги носит название "Исследование происхождения уральских языков". Особенно настоятельно автор проводит разграничение между историей языков и историей народов. Исследование происхождения и родственных взаимоотношений языков — дело сравнительного языкознания. Происхождением же говорящих на этих языках народов, изучением древних этапов их формирования занимается особая отрасль науки — праистория. Исследование праистории может достичь своей цели только путем использования данных других наук, в числе которых язык имеет немаловажное значение. Особое значение П. Хайду придает так называемой лингвистической палеонтологии или биогеографии, позволяющей на основании анализа названий животных и растений и их географического распространения очертить общие контуры былой прародины уральских народов. Большая вероятность выводов, полученных в результате применения этого метода, обеспечивается тем, что распространение каждого вида растения или животного имеет известные территориальные ограничения. Ценные сведения для изучения истории уральских народов может дать топонимика. Успешному проведению исследований в области праистории могут в значительной мере способствовать также археология, этнография и антропология. Таким образом, праистория представляется как ярко выраженная комплексная наука.

Применяя методы палеонтологии при исследовании праистории уральских народов, П. Хайду пытается решить вопрос о местонахождении их первоначальной прародины Он подвергает критике так называемую азиатскую теорию, сторонники которой утверждают, что прародина уральских народов находилась в Азии. Основываясь на своих разысканиях, П. Хайду приходит в выводу, что прародина финно-угорских, а также уральских народов первоначально находилась не очень далеко от Урала. Отсюда позднее происходила экспансия финно-угорских народов по направлению к западу.

Рассматривая вопрос о связях уральского праязыка с языками других семей, П. Хайду, однако, не поддерживает ностратическую гипотезу, поскольку соответствия между уральскими языками и языками других семей нельзя систематизировать таким образом, чтобы на их основании, пользуясь сравнитель-

ным методом, можно было реконструировать индоуральский, урало-алтайский, урало-юкагирский и другие праязыки.

Причину распада уральского праязыка автор книги видит в самом праязыке (относительный характер его единства, наличие диалектов, большая территориальная рассеянность их носителей, слабость контактов и т.д.). Прирост населения и необходимость поиска более удобных мест проживания явились основными причинами расселения уральских народов.

Из первоначально единого уральского праязыка позднее выделился финно-угорский праязык, от которого произошли современные финно-угорские языки. В связи с этим фактом автор считает целесообразным говорить об уральской и финно-угорской эпохах. Он пытается охарактеризовать общество уральской эпохи и общество финно-угорской эпохи в культурном отношении. Это делается главным образом путем анализа лексики с целью выявить набор известных в ту эпоху предметов и понятий. Для определения характера праязыкового общества, по мнению П. Хайду, достаточно несколько сотен более или менее достоверных этимологий. Изучение этих этимологий показывает, что носители уральского праязыка были рыболовами и охотниками. Основными продуктами питания служили рыба и дичь. Летом средством передвижения была лодка, а зимой – лыжи. Были известны также сани. Орудия труда изготовлялись из камня и кости. Уральцы не знали животноводства, но держали собак. Охотничий образ жизни требовал частой перемены мест. Поэтому жилища были приспособлены для того, чтобы их можно было легко установить в любом месте. Можно предполагать, что уральцам были известны также землянки и полуземлянки, более надежно защищавшие людей от сурового северного климата. Важную роль в уральский период играла родовая организация.

Материальная культура финно-угорской эпохи изменялась по сравнению с уральской эпохой в немногих и, как правило, не в самых существенных отношениях. Изучение слов, относящихся к этой эпохе, свидетельствует о дальнейшем совершенствовании рыболовства и появлении новых орудий лова, усовершенствовались в известной мере и способы охоты. Расширился набор хозяйственной утвари. В финно-угорскую эпоху, помимо названия железа, появляются также названия других металлов, например золота и олова. В эту эпоху начинают заниматься пчеловодством. Очень трудно говорить о возможности существования в финно-угорскую эпоху животноводства. Спорным и неясным также остается вопрос о существовании в финно-угорскую эпоху земледелия. Внутренняя структура общества финно-угорской эпохи также характеризуется наличием родовой организации.

Рассматривая сложный вопрос об антропологическом типе древних финно-угров, автор предполагает, что древние финно-угры были европеоидами. Однако, по его мнению, этот вывод нуждается в дальнейшей проверке.

Довольно наглядно в книге П. Хайду представлен процесс дальнейшего распада финно-угорской общности. Финно-угорский праязык распался на два более мелких праязыка – угорский праязык и финно-пермский праязык. Это произошло примерно в третьем тысячелетии до н.э. Угорская общность по всем имеющимся данным не была продолжительной. Финно-пермская ветвь с течением времени распалась на две ветви – собственно финно-пермскую и волжскую (середина II тыс. до н.э.).

Эпоха существования финно-волжского праязыка также не была продолжительной. В I тыс. до н.э. произошло распадение финно-волжской общности, в результате чего возникли прибалтийские финны, саамы, мордва и марийцы. По мнению Хайду, окончательное выделение мордовского и марийского языков произошло в VI-VII веках нашей эры. Начало так называемой прибалтийско-финской эпохи можно отнести к началу I тыс. до н.э. Тесные контакты прибалтийских финнов с саамами прекратились в V в. н.э. Разделение прибалтийско-финских племен, их языковое и географическое обособление началось в первых веках нашей эры. В ходе многовековых миграций и взаимных смешений сформировались финский, карельский, вепсский, ижорский, водский, эстонский и ливский языки. Третья глава книги посвящена анализу структуры уральского праязыка. Подробно рассматриваются системы консонантизма и вокализма уральского праязыка. Излагаются две противоположные точки зрения относительно первоначального характера финно-угорского вокализма, одна из которых принадлежит немецкому ученому В. Штейницу, а другая – финскому ученому Э. Итконену. По мнению Штейница, ключом к реконструкции финно-угорского вокализма должен служить вокализм хантыйского и марийского языков, тогда как Итконен вокализм прибалтийско-финских языков считает более консервативным. Сам П. Хайду более склоняется к гипотезе В. Штейница. Наряду с этими двумя основными гипотезами рассматриваются и другие проблемы – вокализм второго слога, просодические признаки, количество, ударение и т.д. В разделе об уральском консонантизме много внимания уделяется проблеме альтернаций.

В разделе "Морфология" затрагивается вопрос о наличии в уральском праязыке так называемых амбивалентных основ, которые одновременно могли быть глагольными и именными основами. Реконструируя систему падежей уральского праязыка, автор допускает наличие в нем восьми первичных падежей. Рассматривая систему глагола, автор видит зачатки объект-

ного спряжения уже в уральском праязыке. В разделе "Синтаксис" он пытается охарактеризовать основные особенности синтаксиса уральского праязыка. Широкое распространение конструкций с нефинитными формами, сгруппированных вокруг центрального в предложении нефинитного глагола, типичных для некоторых современных уральских языков, а также отсутствие восходящих к праязыковой эпохе подчинительных союзов дает, по мнению автора, основание предполагать, что в уральском праязыке не было союзных придаточных предложений.

В разделе "Лексика" П. Хайду затрагивает интересный вопрос о возможном объеме праязыкового словаря. На основании применения специальных расчетов выясняется, что возможное количество слов дает цифру 8.640. С учетом дериватов этот объем мог достигать по меньшей мере 25 000 лексических единиц. Далее дается группировка лексики по значениям. В книге рассматривается также вопрос о происхождении аффиксов и грамматических структур.

III глава имеет довольно пространное приложение: "Венгерский язык в сравнительно-историческом освещении" ("Финно-угорское наследие в венгерском языке"). По существу это сравнительно-историческая грамматика венгерского языка в сжатом изложении. Первоначально может показаться, что этот очерк предназначен прежде всего для специалиста по венгерскому языку. Однако обилие различных данных, приводимых из других уральских языков, делает эту книгу интересной для каждого финно-угроведа, который занимается историей финно-угорских языков.

Последняя глава книги — "История и современное состояние исследований по уралистике" — представляет историю финно-угроведения, или, как его сейчас называют после включения в финно-угорскую семью языков языков самодийских народов, историю уралистики. В ней достаточно подробно показано, как эта отрасль лингвистической науки зарождалась, развивалась и в каком состоянии она находится в настоящее время. Должное внимание в этой главе уделяется и советской уралистике, которая в последнее время, особенно в послевоенные годы, достигла значительных успехов.

С автором книги можно не соглашаться в области объяснения отдельных языковых фактов и разрешения некоторых проблем истории уральских языков, однако это обстоятельство никак не может умалить большой ценности его труда.

Предназначенная для широкого круга читателей, написанная простым и доходчивым языком, изобилующая большим количеством конкретных языковых фактов и излагающая наиболее важные общие проблемы истории уральских языков книга П. Хайду может стать настольной книгой каждого советского финно-угроведа.

Б. А. Серебренников.

I. УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ ЯЗЫКОВ

Введение

Среди языковых семей Евразии крупнейшей и наиболее известной является, несомненно, индоевропейская. По сравнению с численностью носителей индоевропейских языков численность народов, говорящих на языках уральской семьи, выглядит незначительной (всего около 23 – 24 млн. человек) Однако результаты исследований по этим языкам заслуживают большого внимания, поскольку в значительной мере содействуют формированию представлений о лингвистическом облике Евразии Многие аспекты изучения уральских языков могут быть интересны и в другом отношении отличаясь от индоевропейских, эти языки могут быть использованы при исследовании общих языковых закономерностей, поскольку предоставляют лингвисту во многих отношениях новый, отличающийся от индоевропейского языковой материал для выявления этих закономерностей, для применения и проверки исследовательских методов и лингвистических теорий С другой стороны, бесспорно, что сравнительное изучение уральских языков позволило с довольно высокой точностью раскрыть их историю, что очень важно для выяснения истории соседних неуральских языков и народов (и, более того, истории всей Евразии).

Прежнее, общеизвестное название уральской семьи языков – финно-угорская (или угро-финская) семья. Однако позднее, после того как была обнаружена и доказана принадлежность к этой семье самодийских (самоедских) языков, финно-угорские и самодийские языки в совокупности стали именоваться уральской языковой семьей. Таким образом, это название не содержит в себе указания на два крайних члена языковой семьи (как названия "финно-угорский" или "индогерманский", то есть "индоевропейский"), а отражает то обстоятельство, что большинство языков, входящих в эту семью, распространено в расположенных недалеко от Уральских гор местностях и что некогда языки этой семьи проникли на современные территории из Приуралья (таким образом, это название стоит в одном ряду с названиями алтайской или кавказской языковых семей).

На уральских языках говорят в тех частях Северной Евразии, где, помимо уральских, расселены преимущественно индо-

европейские (славянские, германские, балтийские, романские) и алтайские (тюркские, тунгусо-маньчжурские) народы. В порядке уточнения локализации можно указать, что уральские языки распространены отдельными островками большего или меньшего размера в полосе между 56° и 70° северной широты, которая тянется от Скандинавии до полуострова Таймыр (в Сибири), а крупнейший по численности носителей язык — венгерский — значительно южнее этой полосы, на территории, окруженной Карпатами. Ныне представители различных уральских народов уже не понимают друг друга, но некогда, примерно 6—7 тыс. лет назад, их предки говорили на общем языке и, естественно, занимали совместно географически более концентрированную территорию. Естественно, эту былую прауральскую общность (в известной мере гипотетическую) нельзя ни в этническом, ни в языковом отношении отождествить ни с одним из современных уральских языков и народов: последние возникли после разделения образовывавших это древнее (и относительное) единство прауральских родовых групп в водовороте сложных этногенетических процессов, ввиду чего каждый язык и каждый этнос претерпел существенные изменения и подвергся многочисленным смешениям.

Два основных подразделения уральской языковой семьи называются финно-угорскими и самодийскими языками.

Далее финно-угорские и самодийские языки членятся следующим образом:

А. Угорская ветвь: (1) венгерский язык, (2) мансийский язык и (3) хантыйский язык — два последних объединяются под общим названием "обско-угорские языки".

Б. Финно-пермская ветвь: (4 — 5) пермские языки (коми и удмуртский), (6 — 7) волжские языки (марийский и мордовский), (8) прибалтийско-финская языковая группа и (9) саамский язык. А и Б в совокупности образуют то, что называется финно-угорской языковой семьей.

В. Внутри самодийских языков вычленяются: (10 — 12) северная ветвь (ненецкий, энецкий, нганасанский) и (13) южная ветвь (селькупский).

А. УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ

1. Венгерский язык

Венгры уже свыше тысячи лет населяют территорию, окруженную Карпатами. Бо́льшая их часть находится на территории Венгерской Народной Республики и в соседних с нею странах.

ВНР расположена между 45°45′ и 48°35′ северной широты,

16°05′ и 22°55′ восточной долготы. Ее территория — 93 032 кв. км, что составляет всего 1% от территории Европы. Наибольшая протяженность с запада на восток — 528 км, а с севера на юг — 268 км. Две трети территории Венгрии расположены на высоте до 200 м над уровнем моря (самая низкая точка — 78 м, самая высокая — 1015 м). Среднегодовая температура — 11,6°, среднегодовое количество осадков — 400 — 600 мм. Численность населения в 1974 г. составляла 10 440 тыс. (эта цифра включает также и численность других национальностей, проживающих на территории ВНР, в основном двуязычных[1]: немцы — 35 тыс., хорваты — 17 тыс., другие южнославянские народы — 16 тыс., словаки — 21 тыс., румыны — 12 тыс., прочие — 52 тыс.). Столица — Будапешт (ок. 2,1 млн. жителей), крупные города: Мишкольц (ок. 200 тыс.), Дебрецен (ок. 170 тыс.), Печ (ок. 160 тыс.), Сегед (ок. 130 тыс.), Дьёр (ок. 120 тыс.) и Кечкемет (почти 100 тыс.)

Значительные группы населения, для которого венгерский язык является родным, находятся за пределами страны, в первую очередь в Румынии (преимущественно в Трансильвании) — ок. 1,8 млн. человек, в северной части Югославии (преимущественно в Воеводине) — ок. 500 тыс., в Чехословакии (на территории Словакии, вблизи венгерской границы) — ок. 550 тыс., в СССР (Закарпатская обл.) — ок. 170 тыс. и в Австрии (преимущественно в Вене и Бургенланде) — ок. 30 тыс.[2] Учитывая всех лиц, говорящих по-венгерски, эти цифры можно было бы увеличить примерно на четверть. Следует принять во внимание, кроме того, что весьма значительное число венгров живет в эмиграции в прочих европейских странах и в других частях света (в Европе — ок. 200—300 тыс., главным образом в ФРГ, Франции, Великобритании, Бельгии, Нидерландах, Италии и Швеции; в США — 800 тыс., в Канаде — 100 тыс., в Южной Америке — 100 тыс., в Австралии, Африке и Азии — ок. 60—80 тыс.); на основе подсчетов по различным странам общее число венгров оценивалось на 1968 г. в 14 млн. человек, а общее число говорящих по-венгерски на 1970 г. — в 16 млн. человек[3].

Самоназвание венгров — magyar([mådʼår], в традиционной русской передаче — *мадьяр*). Этот этноним впервые появляется в восточных источниках IX—X вв. Родившийся в Исфагане и

[1] По данным на 1960 г. лишь 23000 человек из живущих в Венгрии представителей других национальностей не владели венгерским языком. С тех пор эта цифра, вероятно, уменьшилась.

[2] "Magyar Nyelvőr", 1970, с. 391.

[3] Здесь использованы данные официальной статистики (см.: "Основы финно-угорского языкознания. Марийский, пермские и угорские языки", М., 1976, с. 342), а также БСЭ (изд. 3-е) и "Nemzetközi Almanach". Budapest, 1969.

писавший по-арабски лексикограф и географ Ибн Руста в своем сочинении, предположительно относимом к 903–913 гг., приводит это название в форме mǯγrijjah (где -ijjah – арабский суффикс прилагательных), которая, вероятно, могла читаться *moǯeri~*mogyeri; в сходной форме встречается это название несколько позднее у писавшего по-арабски афганского историка Аль Гардизи, а в XI в. – у мавра Аль Бакри. Все три автора опираются на одно и то же основополагающее географическое описание более раннего времени (ок. 870 г.) – труд Аль Джайхани, визиря эмира бухарского, "Китāб аль-масāлик ва-ль-мамāлик" ('Книга путей и царств'), первоначальный текст которого утрачен, но может быть восстановлен почти дословно на основании более поздних географических работ. В труде византийского императора Константина Багрянородного (Порфирогенета) "De administrando imperio" (ок. 950 г.) мы находим форму μεγερη (=megyeri), употребленную явно в качестве венгерского племенного названия. Далее, этот этноним появляется в XII в. в качестве названия всего венгерского народа в форме mogyeri (A n o n i m u s, Gesta Hungarorum: "populus de terra scithica egressus per ydioma alienigenarum hungarij et in sua lingua propria mogerij uocantur"= 'Из скифской земли вышедший народ называется на других языках hungarij, а на своем собственном языке mogerij'). Этноним magyar, несомненно, является прямым продолжением форм типа mogyeri. Но объяснения требует и вариант megyeri. Несомненно, что эту форму, зафиксированную в качестве названия одного из венгерских племен эпохи расселения на современной территории, можно встретить в ряде современных венгерских топонимов (Tótmegyer, Békásmegyer, Pócsmegyer, Pusztamegyer, Megyered, Megyeres и т.д.), что является одним из многочисленных примеров превращения племенных названий в топонимы. Одно из правдоподобных традиционных объяснений соотношения форм magyar~megyer состоит в том, что древневенгерская форма mogyeri развилась в двух направлениях: путем прогрессивной ассимиляции гласных она превратилась в mogyor, а путем регрессивной – в megyer. С другой стороны, весьма возможно и то, что формы переднего и заднего ряда сосуществовали издавна. В пользу последнего предположения говорит, согласно мнению Дж. Лотца, которое разделяет и автор этой книги, наличие в венгерском языке большого числа пар слов с одинаковым или сходным значением, различающихся только рядом гласного – передним или задним: gyúr 'мять, месить' – gyúr 'мять, комкать', önt 'лить' – ont 'проливать (кровь, слезы)', ez 'этот' – az 'тот', kever 'мешать, размешивать' – kavar id., dőbőz 'маленькая коробка, шкатулка' – doboz 'коробка, шкатулка', iránt 'к, по отношению к' – aránt (egyaránt 'в одинаковой мере') и т.д. В этих парах форма с заднерядным вокализ-

мом характеризуется, как правило, бо́льшим объемом (охватом, размером, интенсивностью, удаленностью) выражаемой референции. Это позволяет понять, почему форма megyer переднего ряда выступает как название более мелкого этнического единства, например племени (и сохраняется в топонимах), тогда как форма magyar заднего ряда предстает в качестве названия этнического единства большего масштаба, а именно всего народа. В пользу такой трактовки говорит и то, что среди обско-угорских соответствий этого этнонима одно характеризуется исходной заднерядностью гласного и представляет собой известное обоим обско-угорским народам название фратрии, а второе — с вокализмом переднего ряда — выступает как самоназвание манси (первоначально — племенное название):

megy-~манс. *mänč'-(> [Тавда] mänǯ'i, [Конда] moańś, [Сосьва] mańš'i) 'манси; человек' (возможно, ~ фин. mies 'мужчина'?);

magy-~mogy-~об.-угор. *mońś-(> хант. [сев.] moś, [Иртыш] mońt', [Вах] mańt' и манс. [Сосьва] moš', [Лозьва] mūš') — название одной из двух фратрий у манси и ханты.

Второй компонент в др.-венг. mogyeri ~ megyeri связан, возможно, с ф.-у. *urkȧ 'человек': фин. yrkȧ 'холостяк', yrkȯ 'мужчина', мар. erγe 'мальчик', венг. *er(i) (к последнему слову может восходить концовка в венг. férj 'муж' и, быть может, в ember 'человек').

В основе внешнего (употребляемого другими народами) названия *венгры*, (H)ungarus и т.п. лежит слав. ǫg(ъ)r-, через германское посредство распространившееся в европейских языках*. Это славянское слово в конечном счете восходит к булгарско-тюркскому названию союза племен onogur (on 'десять' + ogur 'стрела [как название племени]' < ok + суффикс r); этот этноним впервые встречается у ритора Приска (V в.), который сообщает о происшедшем около 463 г. переселении различных огурских племен. Предки венгров в V–VI вв. были более или менее тесно связаны с государством Оногур, и благодаря союзническим и соседским связям за ними закрепилось название союза племен, создавшего это государство. Лат. Hungarus и восходящие к нему названия венгров в западноевропейских языках (англ. Hungarian, франц. Hongrois) содержат вставленный позднее начальный h (появившийся по недоразумению, из-за путаницы с названием гуннов, Hunni).

Таким образом, венгры появляются на исторической сцене — по крайней мере путем косвенного упоминания — уже в V в. Однако венгерский язык появился гораздо раньше, со вре-

* Русск. *венгр* представляет собой заимствование из польск. węgier. Непосредственно слав. ǫg(ъ)r- отражено в др.-русск. *угрин* 'венгр', мн.ч. *угре* (например, в "Повести временных лет"), а также сохранено в украинском языке (*угорці, Угорщина*).–*Прим.перев.*

мени отделения его от праугорской общности, которое можно датировать 1 тысячелетием до н.э. Следовательно, венгерский язык может считаться языком с примерно 2,5-тысячелетней длительностью самостоятельного развития. В истории венгерского языка этот весьма значительный период времени подразделяют на несколько крупных эпох:

1) правенгерская эпоха (с 1 тыс. до н.э. до 896 г. н.э., то есть до "завоевания родины"*), в пределах которой можно различать эпоху приуральской прародины (с 1 тыс. до н.э. до V в. н.э.) и эпоху миграций (V в. н.э. – 896 г.);

2) древневенгерская эпоха (от завоевания родины до начала турецкого господства);

3) средневенгерская эпоха (с XVI в. до эпохи Просвещения);

4) нововенгерская эпоха (с конца XVIII в. до наших дней).

Эта периодизация приурочена к определенным внеязыковым историческим событиям, поскольку история развития языка всегда тем или иным образом зависит от истории политической, культурной и литературной жизни. Существует, разумеется, и другая хронологизация истории венгерского языка, которая стремится основываться на собственно языковых критериях; при таком подходе концом древневенгерской эпохи считается середина XIV в. (поскольку к этому времени завершился целый ряд важных фонетических изменений), средневенгерская эпоха датируется серединой XIV – концом XVI в., а нововенгерский период отсчитывается со времени начала формирования венгерского литературного языка. Однако хронологизация, ставящая на передний план исключительно языковые критерии, не вполне свободна от противоречий: например, завершение древневенгерского периода мотивируется сугубо историко-фонетически, тогда как современная эпоха развития венгерского языка по существу связывается с внешним критерием – формированием венгерского литературного языка. Учитывая, что основанная на комплексной оценке внутриязыковых явлений периодизация пока еще не осуществима и что всякое установление границ временных периодов имеет, вообще говоря, произвольный и условный характер, представляется более простым выделять в истории венгерского языка четыре указанные выше эпохи. Естественно, что и нововенгерскую эпоху можно подразделить на несколько более коротких периодов, между которыми наблюдаются языковые различия. Так, во многих отношениях венгерский язык XVII–XVIII вв., до периода "обновления языка" (*nyelvújítás*), отличен от языка XIX в., для которого

* Термином honfoglalás (букв. 'завоевание, обретение родины') обозначается расселение венгров на ныне занимаемой ими территории. – *Прим. перев.*

уже характерно закрепление языковых норм, а язык эпохи реформ — от языка рубежа нынешнего столетия и языка наших дней.

Первыми памятниками венгерского языка являются так называемые "отрывочные памятники" (szórványemlékek), в которых среди иноязычного текста встречается несколько венгерских слов.

В число таких памятников входят уже упоминавшиеся арабо-персидские и византийские источники; первые из них содержат, помимо общего названия венгров, еще два названия высших государственных должностей (kundú~kende 'властитель, монарх', ǯula~gyula 'высший военачальник, наместник короля').

Немало венгерских слов (племенных названий, антропонимов, топонимов и даже нарицательных имен) сохранилось в византийских и других западных источниках X—XIII вв. Примеры (в современной венгерской орфографии): Kabar, Nyék, Megyer, Tarján, Jenő, Kurt, Gyarmat, Kér, Keszi (названия племен и племенных группировок); Levédia, Etelkoz, Tisza, Maros, Bács, Temes, Szerém и т.д. (географические названия); Árpád, Kurszán, Álmos, Tevel, Üllő, Tas, Taksony, Ákos, Béla, Géza, László и т.д. (имена людей); gyula 'высший военачальник', karha~karka 'ранг военачальника, следующий за gyula', vajda 'воевода', ispán 'ишпан (начальник комитата в старой Венгрии)', úr 'господин', bán 'бан (наместник провинции в старой Венгрии)'. Множество венгерских вкраплений запечатлели для потомства отрывочные памятники XI—XV вв., созданные на территории самой Венгрии. Среди наиболее ранних и важнейших памятников такого рода можно упомянуть написанную по-гречески дарственную грамоту Веспремвёлдьского женского монастыря (не позднее 1002 г.), представляющую собой древнейший официальный документ, созданный на территории Венгрии (в нем, помимо нарицательного существительного király 'король', представлены названия населенных пунктов Veszprém, Szántó, Szombat, Gerencsér, Palosnak, Szárberény, гидроним Duna 'Дунай' и т.д.), а также грамота об учреждении Тиханьского аббатства (Tihanyi Apátság Alapítólevele, около 1055 г.), которая содержит уже 58 венгерских слов, 33 суффикса и даже несколько построенных из этих элементов и вставленных в латинский текст венгерских словосочетаний, а в одном месте — целый фрагмент предложения (feheruuaru rea meneh hodu utu rea = Fehérvárra menő had(i) útra 'на идущую к Фехервару военную дорогу'), благодаря чему этот памятник дает материал и для изучения грамматической структуры языка.

Венгерские вкрапления имеются, разумеется, не только в грамотах. Множество данных можно обнаружить, например,

в судебных актах, снабженных указанием на место составления, в хозяйственных списках (Варадский регистр начала XIII в., ведомость на уплату десятины Варадскому епископству) или в средневековых гестах (описаниях войн) и хрониках на латинском языке. Особую группу образуют появляющиеся с XIII в. глоссы (то есть вписанные на полях иноязычного текста венгерские пояснения слов) и рукописные списки слов (например, Кенигсбергский список XIV в., Бестерцский список, созданный между 1380 и 1410 гг., список Шлегли первого десятилетия XV в. и т.д.; последние два списка содержат соответственно 1300 и 2000 венгерских слов).

Первым из рукописных текстов на венгерском языке является "Надгробная речь и молитва" (Halotti Beszéd és Könyörgés) конца XII в. Этот памятник объемом в 32+6 строк и в 190 слов исключительно важен для истории венгерского языка, равно как и "Старовенгерский Плач Марии" (Ómagyar Mária Siralom), являющийся высокохудожественным переложением одного из средневековых песнопений (Planctus Sanctae Mariae) и представляющий собой, таким образом, первый венгерский стихотворный памятник. В дальнейшем число текстовых памятников возрастает, и в XV в. появляются объемистые рукописные книги религиозного содержания (кодексы) на венгерском языке. Этот жанр столь характерен для второй половины XV в. и первой трети XVI в., что в истории венгерского языка и литературы этот период на рубеже древне- и средневенгерской эпох именуется эпохой кодексов. В основном кодексы представляют собой переводы. Наиболее ранний из них, кодекс Йокаи (написан в 1372–1400 гг., дошел в списке ок. 1448 г.), повествует о жизни святого Франциска Ассизского. Первый перевод библии на венгерский язык сохранился в трех кодексах – Венском, Мюнхенском и Апор (1450–1490), совокупный текст которых называется Гуситской библией, поскольку их переводчиками были священники-миряне, бежавшие вместе со своими последователями в Молдову от преследовавшей гуситов инквизиции. С конца XV в. наряду с многочисленными кодексами появляется ряд рукописных языковых памятников с в е т с к о г о характера. Особо важны частные письма, дающие образцы живого языка той эпохи, однако очень ценными источниками для изучения истории венгерского языка являются и исторические песни (наиболее ранняя из них – Szabács Viadala 'Бой за Сабач', созданная после 1476 г.), медицинские книги (Bagonyai Ráolvasások 'Багоньские заговоры', 1488 г.), любовная лирика (Soproni Virágének 'Шопронская песнь цветов', ок. 1490 г.), "чизии", то есть календари (наиболее ранние относятся к последней четверти XV в.). С XVI в. число рукописных памятников все более возрастает; наряду с этим возникает книгопечатание. Первую

в Венгрии типографию создал в Буде в 1471–1472 гг. Андраш Хешш, однако в ней были выпущены только латинские первопечатные книги (самая знаменитая из них – "Chronica Hungarorum", 1473 г., известная под названием Будской хроники). Первые печатные издания на венгерском языке были созданы в типографиях Кракова и Вены (изданные Яношем Сильвестером в 1527 г. в Кракове школьные учебники с латинским и венгерским текстом; "Az Zenth Pal leueley magyar nyeluen" 'Послания апостола Павла на венгерском языке', выпущенные Бенедеком Комъяти в 1533 г. в Кракове – первая напечатанная целиком по-венгерски книга; последовавшие за этим издания Габора Пешти – "Esopus fabulaji" ('Басни Эзопа', Вена, 1536 г.) и "Wy Testamentum magijar nijeluen" ('Новый Завет на венгерском языке', Вена, 1536)). В самой Венгрии первой печатной книгой на венгерском языке был знаменитый перевод "Нового Завета" Яноша Сильвестера "Vy Testamentű Magár ńelweń" (Шарвар, 1541 г.).

Несмотря на авторитет, унаследованный латинским языком от времен средневековья, события XVI в. все более способствовали расширению сферы употребления родного языка. В этом определенную роль сыграли реформация, деятели которой стремились открыть народу доступ к библии и историческим сочинениям на его родном языке, а также гуманисты, считавшие культивирование родного языка своим важнейшим долгом. В этот период писатели еще пользовались привычными для них местными диалектами (например, Сильвестер писал на í-кающем, то есть характеризующемся употреблением í вместо закрытого é диалекте), но уже с 70-х годов заметно появление определенных наддиалектных норм. Однако развитие единого, с точки зрения фонетики и морфологии, языка шло медленно. На первых порах было несколько вариантов подобного наддиалектного языка (отчетливо выделялись различия между западной, северной и восточной частями страны, а также языковой вариант, распространенный на находившейся под турецким игом территории и характеризовавшийся сильным о-каньем, то есть употреблением o вместо закрытого é). Затем в XVII–XVIII вв. происходит сближение региональных языковых норм: на основе северного и восточного вариантов формируется более или менее единый языковой узус, с ним сближается и задунайская (западная) норма, а с концом турецкого господства прекращает свое существование о-кающий вариант письменного языка. Таким образом, в эпоху Просвещения существовали уже только две литературные языковые нормы, весьма близкие друг другу – западная (придунайские области) и восточная (притисские области). Их полная унификация, в результате которой выкристаллизовался литературный язык, завершилась в

эпоху реформ; тем самым в конце XVIII в. и в первой половине XIX в. создается единый национальный литературный язык, ставший впоследствии общим достоянием всего венгерского народа. Большую роль в этом процессе сыграло 'обновление языка' (nyelvújítás) – движение, развернутое деятелями просвещения в защиту прав и положения венгерского языка от германизации. Развитие культуры языка было поднято на уровень национальной программы, и ряд писателей включился в работу по обогащению лексики художественной литературы и научной терминологии. Иногда в своей деятельности они впадали в крайности, и, поскольку языковое творчество превратилось в общее дело, в начале XIX в. уже возникло противоборство двух направлений: неологов, которые пытались реформировать венгерский язык за счет смелых (порой чрезмерно) нововведений, неоднократно прибегая к непонятным и надуманным средствам порождения неологизмов, и консервативных ортологов, которые упорно отвергали непривычные слова и выдвигали в противовес обновителям однообразную и тяжеловесную фразеологию архаического или просторечного характера. Конечно, существовали и разнообразные промежуточные между этими двумя крайностями направления. Борьба закончилась победой обновителей языка: к 20-м гг. XIX в. даже закоренелые ортологи в своем большинстве осознали, что обновление необходимо и возможно. С другой стороны, значительная часть созданных неологами слов-уродцев оказалась нежизнеспособной и отсеялась. Успех бурной деятельности обновителей языка, идейным главой которых был Ференц Казинци, ознаменовало появление в 1825 г. эпической поэмы поэта-классика Михая Вёрёшмарти "Бегство Залана", в которой были синтезированы зрелые и наиболее удачные результаты работы неологов. Вслед за этим в эпоху реформ была унифицирована орфография (первый академический свод орфографических правил появился в 1832 г.) Борьба за права венгерского языка увенчалась решением парламента 1844 г., сделавшего венгерский язык официальным языком всех сфер общественной жизни. В 1847 г. смогла появиться и нормативная грамматика литературного языка – "A' magyar nyelv' rendszere" ('Система венгерского языка'). И она, и изданные в 1832 г. "A' magyar helyesírás' és szóragasztás' főbb szabályai" ('Основные правила венгерской орфографии и словоизменения') являются в основном плодами работы Вёрёшмарти.

Вслед за этим кратким обзором исторического развития венгерского литературного языка целесообразно, не стремясь к систематичности изложения, показать на нескольких примерах отличия более архаичного (древневенгерского) языкового состояния от современного.

Одной из наиболее характерных черт грамоты об основании Тиханьского аббатства (XI в.) является то, что в ней еще можно найти отпавшие впоследствии ауслаутные гласные основы (váru=совр. vár 'крепость'; hodu=совр. had 'войско'). Современное падежное окончание сублатива -ra/-re в эту эпоху еще было послелогом (hodu utu reá = hadiútra 'на военную дорогу'). Суффиксом имперфектного причастия действительного залога был -γ (meneh, то есть meneγ 'идущий,' от основы men(e)-); впоследствии сочетание γ с предшествующим гласным дифтонгизировалось, а затем превратилось в долгий монофтонг (meneu̯ > menő).

Язык созданной в последнем десятилетии XII в. "Надгробной речи" во многом отличен от современного языка. Так, глагольное окончание и лично-притяжательный показатель 1 л. мн. ч. имеет вид -mük/-muk при современном -nk (vogymuk= vagyunk 'мы есть', isemüküt=ősünket 'наших предков'). Краткие гласные отличаются от современных большей на одну ступень закрытостью (pukul=pokol 'ад'; ürdüng=ördög 'черт'; szüm=szem, диал. szöm 'глаз'; hotolm=hatalom 'власть'), некоторые краткие гласные обнаруживают отличия в отношении лабиализации (gyimilcs = gyümölcs 'плод'). Окончания инессива -ban/-ben, иллатива -ba/-be и элатива -ból/-ből в этот период еще занимали промежуточное положение между послелогами и окончаниями и, во всяком случае, не подчинялись действию гармонии гласных (paradicsumben = paradicsomban 'в раю'; milosztben = malasztban 'в милости, в благодати'; világ belé = világba 'в мир'; timnücé beleül = tömlöcéből 'из своей темницы'). В "Надгробной речи" еще встречается окончание латива–транслатива при глагольном префиксе meg- (выражает результативность действия), которое затем было утрачено (migé szokosztja = megszakasztja 'прерывает'). Определенного артикля (a, az) в этот период еще не было – он появляется только с XIV в. Но в старовенгерском "Плаче Марии" (ок. 1300 г.) мы уже находим сингармонические варианты падежных окончаний: наряду с исходным -túl (в аблативе) имеется парное окончание вторичного происхождения с гласным заднего ряда (fiodumtúl = fiacskámtól 'от моего сыночка'; világum túl = világomtól 'от моего света').

Эти примеры показывают, что язык древневенгерской эпохи в целом, несмотря на отличия, понятен знающему современный венгерский язык (хотя местами встречаются некоторые незнакомые конструкции и слова, требующие пояснений).

При всем том за время своего самостоятельного существования венгерский язык прошел значительный путь развития, важнейшей составной частью которого явилось обогащение лексики. Наряду с внутренними средствами создания новых слов очень большую роль в этом сыграли многочисленные заимство-

вания, воспринятые венгерским языком в ходе его истории: и в эпоху миграций, и на новой родине в бассейне Дуная венгры соприкасались с самыми различными народами, языковое влияние которых прочно запечатлелось в венгерском языке.

Среди заимствованных слов венгерского языка можно выделить следующие основные слои.

1. Иранские заимствования. Выделившись из угорской общности, венгры продолжали соприкасаться в Приуралье с племенами иранского происхождения. К этому периоду можно отнести ранние иранские (*древнеиранские*) заимствования в венгерском языке (tej 'молоко', tehén 'корова', nemez 'войлок', öszvér 'мул', fizet 'платить', tíz 'десять', bűz 'зловоние'). Позднее, в эпоху миграций, в районах, простирающихся к северу от Кавказа, венгры вновь вступили в контакт с иранцами, на сей раз с *аланами* — предками современных осетин. Наследием этого периода являются венгерские слова asszony 'женщина', híd 'мост', vért 'панцирь, латы', méreg 'яд', verem 'яма, погреб', üveg 'стекло', zöld 'зеленый', gazdag 'богатый', а также, вероятно, kert 'сад' и tölgy 'дуб'. Изучение проблематики аланских заимствований осложняется тем, что за венгерско-аланскими контактами периода до завоевания родины в XIII в. последовали новые контакты в связи с переселением в Венгрию группы аланов православного вероисповедания — *асов*, или *ясов*, сохранявших свой язык еще в начале XV в. После языковой и этнической ассимиляции они образовали особую этническую группу венгров. В эпоху миграций благодаря торговым связям в венгерский язык смогли проникнуть и слова *персидского* происхождения (vám 'пошлина', vásár 'ярмарка', vár 'крепость' и, возможно, — через посредство кавказских языков — hang 'звук'). К какому-то иному, не поддающемуся точному определению иранскому источнику могут восходить венгерские слова ing 'рубашка', kard 'сабля, меч', vászon 'полотно, холст', hús 'мясо'.

2. Кавказские заимствования. Необходимо принимать в расчет связи с кавказскими языками, относящиеся к эпохе правенгерских миграций. Однако вряд ли можно сказать что-либо определенное по этому вопросу, поскольку исторические связи кавказских языков с венгерским не выяснены. Подозревается кавказское происхождение таких, например, слов, как réz 'медь', gulya 'стадо', makk 'желудь', seb 'рана', szürke 'серый, седой' и др.

3. Тюркские заимствования. Подобно иранским, тюркские заимствования представляют собой разнородную массу. В зависимости от источника и времени проникновения в венгерский язык они также могут быть разделены на три категории.

а) Сравнительно небольшая часть тюркских заимствова-

ний правенгерской эпохи проникла в венгерский язык до времени миграций (homok 'песок', harang 'колокол', hattyú 'лебедь', ér 'достичь', ildom(os) 'приличный, подобающий'); основная же их масса была заимствована в эпоху миграций, причем как из булгарских языков, так и из тюркских языков других групп. Более точное определение языка-источника в большинстве случаев невозможно — в первую очередь из-за того, что венгры контактировали со многими тюркскими языковыми группами (оногурами, булгарами, причерноморскими тюрками, хазарами), ныне в большинстве своем исчезнувшими и ввиду этого известными нам недостаточно. Удается, однако, установить, что значительная часть тюркских заимствований правенгерской эпохи обладает признаками, характерными для булгарской (чувашской) группы (dél 'юг', gorény 'хорек', gyom 'сорняк', gyűrű 'кольцо', iker 'близнец', ír 'писать', karó 'кол, шест, жердь', sár 'грязь', sárga 'желтый', sarló 'серп', szél 'ветер', szérű 'гумно', szűcs 'скорняк' и т.д.

Отмечено около 300 тюркских слов, заимствованных до заселения венграми современной территории. Большинство из них относятся к следующим тематическим группам:

животноводство: bika 'бык', borjú 'теленок', disznó 'свинья', tyúk 'курица', kecske 'коза', ártány 'боров', teve 'верблюд', karám 'загон для скота', ól 'хлев', kantár 'узда', béklyó 'путы';

земледелие: búza 'пшеница', árpa 'ячмень', borsó 'горох', alma 'яблоко', dió 'орех', szőlő 'виноград', gyümölcs 'плод, фрукт', eke 'соха, плуг', sarló 'серп', tarló 'жнивье, стерня', őröl 'молоть';

жилище и мебель: sátor 'шатер, палатка', kapu 'ворота', kút 'колодец', szék 'стул', bölcső 'колыбель' и т.д.;

названия орудий: gyűszű 'наперсток', balta 'топор';

названия профессий: ács 'плотник', szűcs 'скорняк', szatócs 'лавочник';

одежда: bársony 'бархат', gyöngy 'жемчуг', ködmön 'полушубок', köpönyeg 'плащ', sarú 'сандалии', csat 'пряжка';

общественная жизнь: törvény 'закон', bölcs 'мудрец', béke 'мир', bér 'плата', tanú 'свидетель', kölcsön 'долг', tolmács 'переводчик', betű 'буква' и т.д.

б) В XI–XIV вв. в венгерский язык проник ряд куманских (половецких) и печенегских заимствований, поскольку в эпоху Арпадов* на территорию Венгрии переселилось значительное число печенегов, а затем небольшие группы узов и куманы (массовое переселение последних произошло в XIII в.).

* Период правления первых венгерских королей из династии Арпадов (1000–1301 гг.) — *Прим. перев.*

Эти тюркские племена, в языковом отношении принадлежавшие к кыпчакской или огузской группе, за несколько сот лет были ассимилированы венграми, но следы их первоначального языка видны в нескольких десятках венгерских слов (csákány 'кирка', csődör 'жеребец', csősz 'сторож', kalauz 'проводник', kobak 'тыква, кабачок; башка', koboz 'кобза', komondor 'овчарка', а также ряд слов, так и оставшихся диалектными, например: árkány 'аркан', boza 'буза, вид браги', barág 'собака крупной густошерстной сторожевой породы', kajtár 'перелетная птица, дикий гусь', kamcsi 'плеть', kangyík 'подпруга', kapkány 'капкан' и т.д.)

в) В течение полуторавекового периода турецкого господства (XVI–XVII вв.) было усвоено значительное число турецких заимствований, но большая их часть оказалась впоследствии преданной забвению, и современный язык сохранил лишь около 30 таких слов: bogrács 'котел', csuha 'ряса', dívány 'диван', dohány 'табак', dolmány 'доломан', findzsa 'чашка', handzsár 'кинжал', ibrik 'чаша', kajszi 'абрикос', kalpag 'меховая шапка', kávé 'кофе', kefe 'щетка', korbács 'плеть', papucs 'домашние туфли', pite 'пирог со сладкой начинкой', szattyán 'сафьян', tarhonya 'тархоня (мелкие шарики из пресного теста)', tepsi 'противень', zseb 'карман' и другие. Часть слов турецкого происхождения (например, betyár 'бетяр (разбойник)', dalia 'богатырь', dutyi 'кутузка', haramia 'бандит') могла быть заимствована и через сербскохорватское посредство.

4. Византийско-греческие заимствования. Численно эта группа лексики невелика, но возраст заимствований значителен, поскольку византийско-греческие связи завязались еще до расселения венгров на современной территории и оставались интенсивными до конца XII в. Сюда относятся fátyol 'вуаль', hártya 'пергамент', iszák 'котомка', ? katona 'солдат', paplan 'ватное одеяло', paripa 'мерин', szamár 'осел'.

5. Славянские заимствования. Их насчитывается по меньшей мере 500–600 (а с учетом устаревших и диалектных слов – несколько тысяч). Славянские заимствования можно распределить по следующим группам:

лексика государственной и общественной жизни: ispán 'ишпан (начальник комитата в старой Венгрии)', király 'король', megye 'медье (административная единица в Венгрии)', parancs 'приказ', pecsét 'печать', pénz 'деньги', perel 'судиться', poroszló 'стражник', tiszt 'офицер', vajda 'воевода';

термины земледелия и животноводства: asztag 'стог', bab 'боб', bárány 'ягненок', barázda 'борозда', birka 'овца, баран', cékla 'свекла', gabona 'зерно, хлеб', jérce 'молодая курица', kakas 'петух', kalász 'колос', kapál 'окапывать', kapor 'укроп', kasza 'коса', kukorica 'кукуруза', len 'лен', macska 'кошка', marok

'охапка, пригоршня', parlag 'перелог, поле под паром', pásztor 'пастух', patkó 'подкова', retek 'редька', rozs 'рожь', szalma 'солома', széna 'сено';

термины рыболовства и охоты: csónak 'лодка', gát 'гать, плотина', kormány 'руль', lapát 'весло; лопата', mocsár 'болото', patak 'ручей', tanya 'стоянка для рыбной ловли; шалаш; хутор', varsa 'верша';

терминология ремесел: bodnár 'бондарь', borotva 'бритва', csizmadia 'сапожник', esztergályos 'токарь', kádár 'бочар', kalapács 'молоток', kovács 'кузнец', mészáros 'мясник', szekerce 'топор, секира', vödör 'ведро';

лексика семейной жизни: bába 'повивальная бабка', család 'семья', cseléd 'прислуга', dajka 'няня', dédпра-(дед, бабка)', koma 'кум', mostoha 'мачеха', unoka 'внук';

терминология жилища и домашнего хозяйства: ablak 'окно', abrosz 'скатерть', asztal 'стол', csésze 'чаша', ebéd 'обед', galuska 'галушка, клецка', káposzta 'капуста', katlan 'котел', kemence 'печь', kémény 'дымоход', kolbász 'колбаса', kulcs 'ключ', pad 'скамья', pajta 'сарай', pecsenye 'жаркое', pince 'погреб', polc 'полка', szalonna 'сало', tészta 'тесто', udvar 'двор', uzsonna 'полдник', vacsora 'ужин';

лексика христианства: apáca 'монахиня', apát 'аббат', barát 'друг; монах', bérmál 'конфирмовать', karácsony 'рождество', kereszt 'крест', malaszt 'милость, благодать', parázna 'развратный', pünkösd 'троицын день', zarándok 'паломник', zsolozsma 'церковная служба, молитва';

названия одежды: gatya 'полотняные штаны', harisnya 'чулки', nadrág 'брюки', posztó 'сукно', ruha 'одежда', szoknya 'юбка';

названия растений: barack 'абрикос', berkenye 'рябина', borókа 'можжевельник', cser 'чернильный дуб', cseresznye 'черешня', gomba 'гриб', jávor 'клен', jegenye 'пирамидальный тополь', juhar 'клен', lúc 'ель', málna 'малина', moha 'мох', páfrány 'папоротник', szamóca 'земляника', szilva 'слива', tiszafa 'тис';

названия животных: bolha 'блоха', csuka 'щука', galamb 'голубь', giliszta 'червь, глист', hörcsög 'хомяк', ikra 'икра', kárász 'карась', márna 'усач', medve 'медведь', muslica 'мошка', pajor 'личинка майского жука', pátkány 'крыса', pisztráng 'форель', poloska 'клоп', pondró 'червь', rák 'рак', szarka 'сорока', veréb 'воробей', vidra 'выдра';

названия дней недели: szerda 'среда', csütörtök 'четверг', péntek 'пятница', szombat 'суббота'.

Интенсивное славянское влияние началось еще в IX в. в южнорусских степях, когда предки венгров вступили в связи (сравнительно непрочные) с Киевским княжеством. В последующие века установились значительно более тесные контакты с

находившимся на новой родине славянским населением. Венгерско-славянские контакты не прекратились и после ассимиляции последнего. Имело место влияние со стороны ряда славянских языков, особенно южнославянских (главным образом сербскохорватского); впрочем, несмотря на наличие ряда критериев, разграничить слои, заимствованные из отдельных славянских языков, нелегко. Представляется несомненным, что из *древнерусского* языка — еще до расселения венгров на современной территории — заимствованы этнонимы jász 'ясс', lengyel 'поляк', görög 'грек', слова halom 'холм', tanya 'стоянка для рыбной ловли; шалаш; хутор'. Большинство заимствований является, вероятно, наследием этнических контактов X–XII вв., то есть времени, последовавшего за завоеванием родины, но и после XIII в. из соседних славянских языков проникло немало слов. Среди древних заимствований можно выделить заимствования: *болгарского* происхождения: mezsgye 'межа', mostoha 'мачеха', nyust 'ремиза', rozsda 'ржавчина'; *сербскохорватского* происхождения: borostyán 'плющ', gatya 'полотняные штаны', gúlya 'пирамида', kadarka 'кадарка (сорт винограда, красное вино)', kaloda 'колодки', kamat 'процент (доход)', kukac 'червяк', kupec 'торгаш', paprika 'стручковый перец', parittya 'праща', patyolat 'белое полотно', róna 'равнина'; *словенского* происхождения: hajdina 'гречиха, греча', lencse 'чечевица', naspolya 'мушмула', szerencse 'счастье, удача'. Из *словацкого* языка происходят boróka 'можжевельник', bukta 'сдобная булочка с начинкой', fricska 'щелчок по носу', kasza 'коса (орудие)', kazal 'скирда', pesztonka 'молодая няня', poloska 'клоп', potom (potom áron 'за бесценок'), varkocs 'коса (волосы)'; из *украинского*: harisnya 'чулок', kalamajka 'суматоха'; из *польского*: bricska 'бричка', galuska 'галушка, клецка', szamorodni 'самородни (вид токайского вина)'. В самое последнее время сюда добавились и заимствования, обусловленные влиянием *русского* языка (kolhoz 'колхоз', kulák 'кулак'). Намного больше, разумеется, таких славянских заимствований, для которых невозможно точно определить язык-источник (часто предметом спора является даже то, имеет ли источник южнославянский или западнославянский [словацкий] характер).

6. Немецкие заимствования. Хотя венгерско-немецкие контакты начались одновременно с расселением венгров на современной территории, более или менее тесные связи можно отнести лишь к периоду после образования Венгерского королевства (с XI в.). В XII–XIII вв. в Венгрию направляются немецкие переселенцы (говорившие на франкском диалекте средненемецкого языка), вследствие чего как в целых областях (Трансильвания, Сепешшег), так и во многих городах Венгрии появляется немецкое население. Немецкое культурно-языковое

влияние еще более усиливается впоследствии, в XVI–XVIII вв., сохраняясь и в XIX в. (новые волны переселений, немецкая администрация в эпоху правления Габсбургов, роль Вены как посредника в распространении западной культуры). Это более позднее немецкое влияние отражает уже баварско-австрийский вариант верхненемецкого языка; таким образом, источники немецких заимствований неоднородны.

Из немецкого языка в венгерский проникло около двух тысяч слов. Ввиду того, что процесс заимствования был непрерывным, их подразделение на хронологические слои было бы затруднительным. Естественно, в некоторых случаях существует критерий для датировки заимствования (например, относительно ранними являются herceg 'герцог', kehely 'кубок', komp 'паром', polgár 'бюргер, гражданин', pór 'мужик, крестьянин-бедняк', püspök 'епископ', szász 'саксонец'); несомненно и то, что большинство германизмов, достигших уровня общенационального разговорного языка и закрепившихся в нем, представляют собой заимствования XIV–XVII вв. Это слова, относящиеся к сферам придворной и общественной жизни (dáma 'дама', erkély 'балкон', farsang 'сезон балов и развлечений', frigy 'союз', gróf 'граф', herceg 'герцог', hopmester 'гофмейстер', kastély 'дворец, замок', lakáj 'лакей', lant 'лютня', lator 'подлец', ledér 'распутный', ostrom 'осада', porkoláb 'тюремщик', tánc 'танец', torony 'башня', zsákmány 'трофей'), одежды и убранства (boglár 'брошка', copf 'коса [волосы]', frakk 'фрак', fuszekli 'носок', gallér 'воротник', gyémánt 'бриллиант', kacagány 'накидка из звериной шкуры', kamásli 'гамаши', paróka 'парик', prém 'мех'), кушаний и приготовления пищи (cukor 'сахар', dínsztel 'тушить [мясо]', dunszt 'стерилизация [банок при домашнем консервировании]', fasírt 'рубленое [мясо]', gríz 'манная крупа', hokedli 'кухонная табуретка', kóstol 'пробовать на вкус', koszt 'стол, питание', nudli 'вид лапши', pácol 'мариновать', perec 'сушка в форме кренделя', pucol 'чистить', sódar 'ветчина', zacc 'гуща', zaft 'соус, сок'); слова, связанные с кругом понятий городской жизни (bakter 'сторож', bognár 'колесник', borbély 'парикмахер', céh 'цех, гильдия', csapláros 'трактирщик', érc 'руда', font 'фунт', garas 'грош', hóhér 'палач', kalmár 'торговец', kontár 'халтурщик', kufár 'торгаш', pallér 'мастер-каменщик', pék 'пекарь', pléh 'жесть', polgár 'гражданин', suszter 'сапожник', tallér 'талер', tucat 'дюжина', vigéc 'коммивояжер' и т.д.). Среди таких слов немало и военных терминов (cél 'цель', kadét 'кадет', káplár 'капрал', mordály 'пищаль', páncél 'латы, броня', pisztoly 'пистолет', pont 'пункт', rang 'звание, ранг', sánc 'полевое укрепление', sarcol 'налагать контрибуцию', várta 'вахта', zsandár 'жандарм', zsold 'жалованье [наемника]' и т.д.). Однако в лексике земледелия и животноводства германизмы встречаются срав-

нительно редко (сюда относятся bak 'козел', kappan 'каплун', karalábé 'кольраби', karfiol 'цветная капуста', kel 'савойская капуста', krumpli 'картошка', ribizli 'смородина', ringló 'ренклод', rizling 'рислинг', spenót 'шпинат').

Подобно тому как многие турецкие слова были усвоены через сербскохорватский язык, немецкий служил посредником в передаче культурной лексики французского и других западных языков.

7. Латинские заимствования. Они также образуют весьма значительный слой (по меньшей мере — 2000 слов), что отражает роль латыни как языка не только церкви, но также науки и общественной жизни. С XVII и до начала прошлого века для образованных слоев общества латынь была своего рода вторым родным языком, влияние которого было ощутимо еще и в нашем столетии. Латинские заимствования отражают использовавшийся в Венгрии территориальный вариант средневековой латыни.

Значительная их часть относится к следующим тематическим группам:

терминология церкви: angyal 'ангел', ceremónia 'церемония', csizió 'стихотворный календарь', kántor 'кантор', káplán 'капеллан', kápolna 'часовня', kórus 'хор', legenda 'легенда', mártír 'мученик', mise 'месса', orgona 'орган', ostya 'облатка', paradicsom 'рай', parókia 'епархия', plébános 'приходской священник', presbiter 'пресвитер', próféta 'пророк', sákrámentum 'таинство', sekrestye 'ризница', sors 'участь', templom 'храм', zsinagóga 'синагога', zsinat 'собор';

терминология школы: ceruza 'карандаш', diktál 'диктовать', iskola 'школа', kártya 'карта', kollégium 'общежитие', kréta 'мел', papiros 'бумага', professzor 'профессор', rektor 'ректор', spongya 'губка', tábla 'доска', tinta 'чернила', vakáció 'каникулы' и т.д.;

юридическая лексика: adoptál 'усыновить', apellál 'апеллировать', citál 'вызывать (в суд)', fiskális 'адвокат', instál 'просить', juss 'право', konvenció 'условность', lajstrom 'реестр', nótárius 'нотариус', prókátor 'стряпчий', taksa 'такса', testamentum 'завещание', uzsora 'ростовщичество', voks 'голос (избирательный)';

названия животных, усвоенные в качестве ученых терминов: angolna 'угорь', cet 'кит', elefánt 'слон', fülemüle 'соловей', hiéna 'гиена', krokodilus 'крокодил', párduc 'леопард', páva 'павлин', tigris 'тигр', vipera 'гадюка';

названия растений аналогичного происхождения: akác 'акация', cédrus 'кедр', citrom 'лимон', gyömbér 'имбирь', ibolya 'фиалка', majoránna 'майоран', palánta 'рассада', pálma 'пальма', platán 'платан', petrezselyem 'петрушка', viola 'левкой';

общеупотребительные медицинские термины: diéta 'диета', kólika 'колики', kúra 'курс лечения', patika 'аптека', pestis 'чума', pirula 'пилюля' и т.д.

Латинское происхождение имеют названия всех 12 месяцев и ряд слов из многих других тематических сфер.

Примечание: а) особую категорию составляет интернациональная научная и культурная лексика, построенная на латинской основе и представленная в венгерском языке тысячами слов, ряд которых проник и в разговорный язык (bacilus 'бацилла', doktor 'доктор', injekció 'инъекция', konnektor 'штепсель', konzerv 'консервы', luxus 'роскошь', motor 'мотор', norma 'норма', plágium 'плагиат', rádió 'радио', rádium 'радий', stílus 'стиль', szekta 'секта', szerpentin 'серпантин', terminus 'срок', textil 'текстиль', turbina 'турбина', véna 'вена', vétó 'вето', vény 'рецепт', vitamin 'витамин'); б) в ряде случаев трудно определить, происходит ли слово из латинского или же из французского или итальянского языка (например, forint 'форинт', mester 'мастер', mustár 'горчица', part 'берег', saláta 'салат' и т.д.).

8. Французские заимствования. Благодаря родственным связям между королевскими домами во времена средневековья, приезжавшим в Венгрию французским священникам и получавшим образование во Франции венгерским священникам, а также появлению в XII–XIII вв. в нескольких городах Венгрии французских переселенцев, несмотря на отсутствие общих этнических границ, в венгерский язык проник ряд французских (отчасти валлонских) слов: furmint 'фурмин (вид вина)', kilincs 'ручка (дверная)', korc 'кромка одежды с продернутым шнурком', lakat 'замок', mécs 'лампада', paraj 'шпинат', szekrény 'шкаф', tárgy 'предмет', zománc 'эмаль'.

Французские культурные заимствования XVIII–XIX вв. были усвоены венгерским языком через немецкое посредство.

9. Итальянские заимствования. Итальянско-венгерские связи завязались в XII в., но в XV в. ослабли. Удается установить итальянское происхождение нескольких десятков венгерских слов – например, bandita 'бандит', bokály 'бокал', csemete 'саженец', digó 'итальянец', egres 'крыжовник', gálya 'галера', lándzsa 'копье', makaróni 'макароны', mandula 'миндаль', maróni 'каштан', maskara 'маскарадный костюм', mazsola 'изюм', narancs 'апельсин', paizs 'щит', pálya 'путь', piac 'рынок', sajka 'шлюпка', spanyol 'испанец', strucc 'страус', szerecsen 'негр', szóló 'соло', tálca 'поднос', trombita 'труба'.

В некоторых случаях возможно сербскохорватское посредство (например, dús 'обильный').

10. Румынские заимствования. В общенациональном венгерском языке их всего около десятка: áfonya 'черника, брусника', cimbora 'приятель', ficsúr 'щеголь', fustély 'дуби-

на', kaláka 'сходка', kópé 'плут, шельма', málé 'мамалыга', mokány 'коренастый', orda 'творог из овечьего молока', poronty 'карапуз', tokány 'токань – вид тушеного мяса', в то время как венгерских заимствований в румынском языке больше. Однако значительно большее число румынских заимствований имеется в трансильванских диалектах венгерского языка.

11. Прочие заимствования. Слова, входящие в этот обширный ряд, представляют собой отчасти древние миграционные культурные термины (Wanderwörter), точный путь распространения и непосредственный источник которых установить трудно (таковы, например: kömény 'тмин', majom 'обезьяна', pamut 'хлопок', suba 'длинная накидка из овчины', tárkony 'эстрагон'; advent 'канун рождества', gránát 'гранат [камень]', kapitány 'капитан', oltár 'алтарь', pogány 'язычник', szoba 'комната'; bárd 'тесло, топор', bolt 'магазин', címer 'герб', karabély 'карабин', kaszárnya 'казарма' и т.д.), большей же частью интернационализмы новейшего времени, распространившиеся из немецкого (giccs 'базарная живопись, безвкусица', kvarc 'кварц', láger 'лагерь [военнопленных, концентрационный]'), французского (bankett 'банкет', büfé 'буфет', garázs 'гараж', hotel 'отель', kabaré 'кабаре', kulissza 'кулиса', makett 'макет', póz 'поза', retúr 'билет в два конца', roló 'жалюзи, сворачивающаяся штора', szervíz 'сервиз', szezon 'сезон', tribün 'трибуна', zseni 'гений'), английского (bojkott 'бойкот', csekk 'чек', detektív 'детектив', dokk 'док', dömping 'демпинг', dzsessz 'джаз', farm 'ферма', kardigán 'кардиган [вязаный жакет]', keksz 'сухое печенье', kemping 'кемпинг', lift 'лифт', lincsel 'линчевать', sztár 'звезда [сцены, экрана]', tenisz 'теннис', tréning 'тренинг', trolí 'троллейбус', trösztt 'трест' и т.д.), русского (kolhoz 'колхоз', kozák 'казак', sztyepp 'степь', tajga 'тайга', tundra 'тундра'), испанского (boleró 'болеро', junta 'хунта', lasszó 'лассо', matador 'матадор', torreádor 'тореадор') и других языков, а также интернационализмы, построенные на греческой и латинской языковой основе (atom 'атом', atléta 'атлет', baktérium 'бактерия', energia 'энергия', gipsz 'гипс', gramofon 'граммофон', kaktusz 'кактус', lexicon 'лексикон', monológ 'монолог', morfium 'морфий', paródia 'пародия', stadion 'стадион', telefon 'телефон', termosz 'термос', trapéz 'трапеция'; aspiráns 'аспирант', pedál 'педаль', szektor 'сектор' и т.д.).

Фонетические и структурные особенности венгерского языка будут рассмотрены – хотя и не во всей полноте – при толковании доказательств родства уральских языков, поэтому здесь, опуская изложение этих вопросов, мы непосредственно перейдем к венгерской диалектологии.

Диалектные различия в современном венгерском языке невелики и носят главным образом фонетический характер

(морфологические различия в большинстве своем также имеют фонетическую природу), хотя наблюдаются и более или менее значительные лексические различия — областные слова[1]; все это, однако, не препятствует взаимопониманию. Кроме того, в последние десятилетия развернулся довольно интенсивный процесс сближения диалектов, стирания междиалектных различий. Естественно, он не привел к единообразному исчезновению таковых, однако все в большей степени наблюдаются языковые явления, указывающие на распространение региональных вариантов общенационального языка, возникающих путем слияния последнего с местными говорами.

В 50 — 60-е годы было осуществлено картографирование венгерских диалектов в форме лингвистического атласа. На основе этого в одной из последних монографий по венгерской диалектологии удалось выделить около 35 диалектных типов и целый ряд диалектных островов, опираясь главным образом на особенности в сфере фонетики. Разумеется, эти типы обладают и многими общими чертами, на основании чего данную детализированную классификацию можно свести к нескольким крупным диалектным общностям (подразделяя диалекты на западные, северные, или палоцкие, восточные и южные: это логичная группировка, единственным недостатком которой является то, что в ее рамки не укладывается ряд диалектных типов — за-

[1] Например, 'утка' называется на западе réca, на севере и в дунайско-тисских областях — kacsa, kácsa, в восточных районах Венгрии и в Трансильвании — ruca (в литературном языке употребительны все три названия). Литературное topörtyű 'шкварки' употребительно в восточных и северных диалектах (иногда в вариантных формах töpörtő, tepertő), однако в северо-западной и западной части задунайских областей используется слово csörge, а в районе озера Балатон — pörc или porke. Широкое распространение (литературный язык, задунайские области, восточные диалекты) имеет слово fánk 'пончик', однако в секейских диалектах это кулинарное изделие называется pánkó, в северо-восточных диалектах — pampuska, pampuszka, к северу от Дуная — siska, на некоторых разрозненных диалектных островках — puffancs, huppancs, krepli. Слово kanász 'свинопас' употребляют в основном на западе, тогда как в северо-восточных и восточных диалектах распространено kondás, в Трансильвании и к северу от Дуная — disznópásztor (в литературном языке можно встретить все три слова). Из двух равнозначных литературных названий овцы — birka и juh — второе имеет в диалектах довольно ограниченное распространение (главным образом в северо-восточных и трансильванских диалектах), тогда как первое известно на большей части языковой территории в различных фонетических вариантах (birka, birge, bürge). Можно перечислить немало таких областных слов, которые характерны лишь для отдельных крупных диалектных подразделений, например слова szárma 'голубцы', tányérica 'подсолнечник' на юге, tatárka 'гречиха', csúszó 'змея', kaska 'корзина' на востоке, csík 'лапша', pohánka 'гречиха', masina 'кухонная плита' на севере, masina 'молотилка', himpér 'малина', gyujtó 'спички', vindó 'бидон для жира, смальца' на западе и т.д.

фиксированных в различных частях страны так наз. "переходных" и островных диалектов) [1].

Укажем некоторые примеры фонетических особенностей диалектов.

Если общенациональному языку известна одна фонема /е/, то в некоторых диалектах (например, западных, задунайских, тисских, палоцких, восточносекейских) различаются открытый звук е и закрытый ё. Напротив, в других диалектах (южных, части северо-восточных, части задунайских, западносекейских) вместо закрытого ё в основном употребляется огубленный переднеязычный ö. Во многих областях (западной, северо-восточной, палоцкой, затисской) долгим гласным ó, ő, é соответствуют дифтонги. В большей части затисской области наблюдается í на месте é. С точки зрения количественных отношений для системы вокализма характерно то, что в западных и задунайских диалектах долгих гласных меньше, чем в других диалектах и в общенациональном языке (ú и ű отсутствуют здесь почти полностью). В общенациональном языке графическое сочетание ly произносится как j, так же обстоит дело и в большинстве диалектов, но в значительной части задунайской области на этом месте произносится l, а в палоцких диалектах — l'. Для палоцкой области характерна и палатализация определенных согласных (t, d, n, l) перед i и ü (ty, gy, ny, ly).

2 — 3. Обско-угорские языки

Манси (вогулы) и ханты (остяки) живут в занимающем около полумиллиона кв. км Ханты-Мансийском автономном округе Тюменской области. Эта равнинная часть Западной Сибири находится на высоте порядка 100 — 150 м над уровнем моря и почти целиком расположена в зоне тайги. Леса пересе-

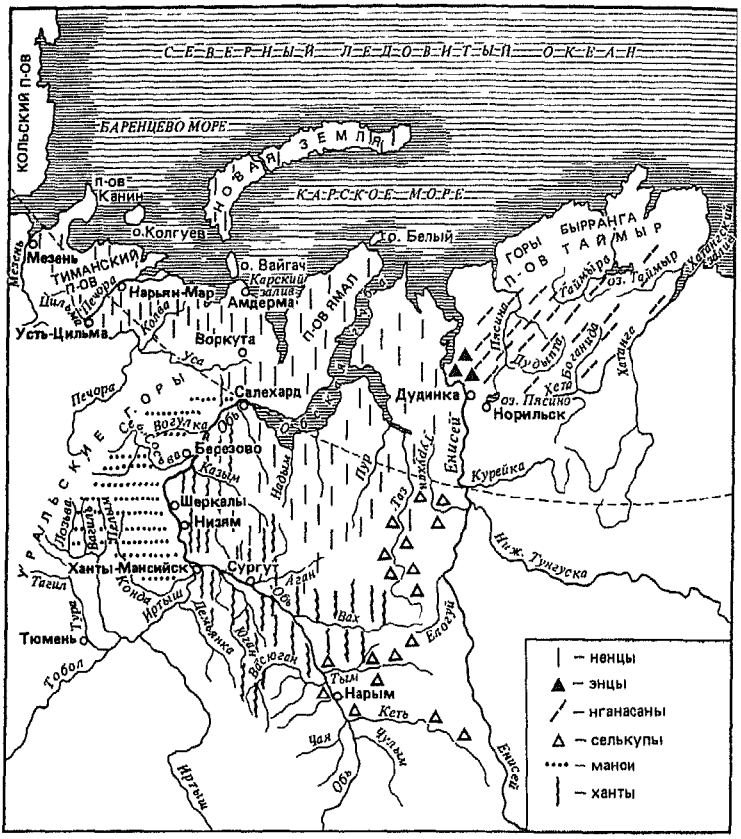
[1] Традиционная классификация выделяет следующие диалектные области: 1) западная (медье Ваш, Зала, Дьёр-Шопрон, меньшая часть медье Веспрем); 2) задунайская (медье Северный Шомодь, Тольна, Веспрем, Фейер, Комаром и районы к северу от участка, где Дунай течет с запада на восток); 3) южная (медье Южный Шомодь, Баранья, район Шаркёз в медье Тольна, диалекты на территории Словении, район Сегеда — Мако — Ходмезёвашархея, некоторые части медье Пешт и Бач-Кишкун); 4) тисская (междуречье Дуная и Тисы, бассейны рек Тиса, Харкаш — Кёрёш (= Шебеш-, Фекете- и Фехер-Кёрёш) и Береттьё (медье Сольнок и Бач-Кишкун, часть медье Бекеш и Хайду-Бихар)); 5) палоцкая, или северная (медье Ноград, Хевеш, северная часть медье Пешт и Сольнок, диалекты на территории Словакии к востоку от р. Ваг); 6) северо-восточная (медье Боршод-Абауй-Земплен, Сабольч-Сатмар, северная часть медье Хайду-Бихар); 7) мезёшегская (центральная часть венгерских диалектов на территории Румынии, главным образом в исторической области Мезёшег); 8) секейские диалекты (историческая область Секейфёлд в Трансильвании).

чены множеством рек, вокруг которых простираются обширные болота и заболоченные местности.

Отдельные районы расселения (и диалекты) манси и ханты точнее всего могут быть обозначены по названиям рек, вдоль берегов которых раскинуты среди лесов их поселения.

Общее название манси и ханты — о б с к и е у г р ы — указывает на то, что они представляют собой ответвление угорской группы, территориально связанное с бассейном Оби. В связи с этим заслуживает упоминания, что в русских летописях XI в. они называются ю г р а м и (Ю г р о й). Как этноним и как географическое понятие Югра упоминается и в более поздних источниках. Помимо русских летописей, сообщения о некоей северной стране с названием Jūra имеются даже у арабских писателей X–XV вв.; впрочем, к этим данным следует относиться с должной осторожностью: их можно лишь предположительно отождествить с названием Ю г р а, которое — в форме Jugra, Jugria, Juhra и т.д. — встречается и в западноевропейской исторической и географической литературе XV–XVIII вв. в качестве названия земли, где живут манси и ханты. В русских источниках названия ю г о р с к и й, Ю г р а позднее отступают на второй план, в основном вследствие появления этнонимов *вогул* (с XIV в.) и *остяк* (с XVI в.). Это свидетельство того, что ранее считавшаяся единой этническая группа стала восприниматься вступившими в сношения с ними русскими как два обособленных, в том числе и в языковом отношении, народа. И хотя в XVII в. этноним *Югра* по существу исчезает из употребления, связанные с ним географические названия сохранились до наших дней: Урал называют Югорскими горами, южное побережье Карского моря — Югорским берегом, морской пролив между островом Вайгач и материком — Югорским проливом или Югорским шаром. Из русского языка название *Югра* перешло и к коми (в форме jẹgra), которые кое-где пользуются им как названием манси и/или ханты.

Здесь возникает вопрос о том, действительно ли можно установить связь между словом *Югра* и названием венгров (ungri и т.д.), которое в конечном счете происходит от племенного названия тюрок-оногуров, отождествлявшихся с венграми. В 1930 г. Миклош Жираи решительно высказался в пользу такого решения, считая, что русск. *Югра* возникло из более ранней формы *Угра*, которая является результатом переноса тюркского этнонима *onogur на обских угров точно так же, как служившая для обозначения венгров праславянская форма *ongr-, *ungr-. Иначе говоря, славянское слово *ongr- уже около X в. выступало, согласно Жираи, в двух значениях: 1) 'венгр', 2) 'манси-ханты'. Это объяснение весьма заманчиво, но встречает серьезные трудности и не смогло убедить позднейших исследователей. Среди этих трудностей в первую очередь можно назвать следующую:



применительно к венграм слав. ongr- последовательно употребляется с начальным гласным (начальный согласный в лат. Hungarus вторичен и, вероятно, появился в результате контаминации с Hunni 'гунны'), тогда как в качестве названия земель, где живут манси и ханты, встречаются, за исключением одного-двух случаев, формы с начальным j. Жираи считает, что прейотация возникла на русской почве — это также не исключено, поскольку фонетическое развитие u > ju в русском языке могло иметь место и в других случаях.

Другая проблема состоит в том, что совершенно невероятны принадлежность обских угров к племенному союзу оногуров или вхождение их в сферу влияния такового, что объясняло бы двойное значение слова *ongr-, то есть перенос этого названия на

предков манси и ханты. Интересно, во всяком случае, что уже в арабских источниках X в. представлена – явно через тюркское посредство – форма Jūra, свидетельствующая в пользу архаичности форм с j и без носового согласного.

В-третьих, данная этимология создает очень сложные проблемы, связанные с хронологией и историей расселения: племенной союз оногуров появляется на исторической арене в V в. н.э. в южнорусских степях, тогда как предки манси и ханты уже по крайней мере за тысячу лет до этого времени жили в Западной Сибири (в тех же местах, что и ныне, или очень недалеко от них). Можно поставить и вопрос о том, почему в случае с *ongr- как обозначением венгров прейотация не возникала. Несмотря на все эти трудности, окончательно отклонить сопоставление *ongr-~*Югра* нельзя, причем следовало бы учитывать возможность того, что часть тюрок-оногуров, проникнув на север, в Поволжье, передала этой местности название Ugra > Jugra, которое позднее было перенесено и на поселившихся там обских угров. В таком случае основа Ugr- в значении 'венгр' и название Jugor в значении 'обские угры' оказываются все же взаимосвязанными, хотя эта взаимосвязь обусловлена случайным совпадением специфических моментов исторического развития[1].

Таким образом, название *Югра* относилось в русских летописях к области расселения предков современных манси и ханты, а также к соответствующему народу и сохранялось в этом качестве вплоть до XVIII в. Определение географического местоположения Югры сопряжено, однако, с некоторыми трудностями. Вероятно, упомянутая в русской летописи под 1096 г. земля Югра могла находиться где-то в бассейне Камы, в основном на территории между большой излучиной Волги и Уральскими горами. В течение XII–XV вв. территория Югрии вследст-

[1] Согласно новейшим объяснениям, русск. *Югра* имеет финно-угорское происхождение. По В. И. Лыткину, оно представляет собой заимствование прапермского *jo̮ŋgra – сложения из прилагательного jo̮ŋg- 'светлый, белый' и фигурирующего в греческих источниках названия Волги – Ra(v). Б. А. Серебренников привел справедливые аргументы, опровергающие это объяснение, и предпринял новую попытку этимологизации данного названия: исходя из того, что большинство этнонимов могут быть возведены к словам со значением 'человек, люди', он отождествляет слово jo̮ŋg с марийским jeŋ 'человек, мужчина', к которому добавлен суффикс собирательности (ср. мар. kož 'ель': kož-er 'ельник'), то есть предполагает для jo̮ŋgra > jugra первичное значение 'люди, народ'. Эта точка зрения встречает трудности историко-фонетического характера и, помимо того, не дает ответа на следующие вопросы: а) возможно ли употребление суффикса собирательности -r в форме -ra в словах, не обозначающих лесных массивов; б) каким образом можно обосновать то, что это слово первоначально было самоназванием марийцев и в) как оно превратилось в название этнической группы, с которой марийцы не имели сколь-нибудь близких связей. – С учетом всего этого данное объяснение названия *Югра* также представляется достаточно спорным.

вие экспансии коми-зырян и русских сдвигается все далее на восток. По историческим данным, во второй половине XIV в. она уже достигла Оби, а в XV в. Югрией уже называли территории, расположенные почти целиком в Сибири.

Первые источники не различают друг от друга два обско-угорских народа: под Югрой можно понимать равным образом и манси, и ханты. С другой стороны, выделение прамансийского и прахантыйского языков из обско-угорской общности началось еще задолго до появления исторических сведений, в последние века до н.э., и завершилось в первые века н.э., уступив место диалектной дифференциации внутри мансийского и хантыйского.

Мансийский язык

Манси (или вогулы) живут в Ханты-Мансийском национальном округе и в Свердловской области, на территории, которая расположена между нижним течением Оби и Уральскими горами, по левому притоку Оби – Сосьве (и по впадающему в нее Ляпину), а также по текущей в Иртыш Конде и далее по Лозьве, Вагилю и Пелыму (притокам впадающей в Тобол Тавды). Ранее они населяли и бассейн Тавды.

Численность манси, по данным переписи 1970 г., – 7700 чел., из которых 52,4% считают родным языком мансийский.*

Этноним *вогул* прослеживается с 1396–1397 гг. (*вогуличи*) и, по всей вероятности, идентичен употребляемому в обско-угорских языках названию левого притока Оби – реки Вогулка: манс. wōl′-jā 'река wōl′', вост.-хант. (Тромъеган) wăγəʌ′, сев.-хант. (Казым) wŏγaʌ′–jŏγaṇ 'река wŏγaʌ′'. Наряду с этим манс. wōl′ фигурирует и в названиях других речек и имеет нарицательное значение 'плес, прямой участок течения реки между двумя поворотами'. Таким образом, название *вогул*, которым сами манси не пользуются, произошло, очевидно, из обозначения мансийского населения, жившего по берегам подобных речек, плесов. Соотношение первых компонентов гидронима хант. wŏγaʌ′–jŏγaṇ ~ манс. wōl′-jā аналогично наблюдаемому в хант. tŏγəl, (южн.) tŏχət~манс. tōl 'перо'. Хантыйские этнонимы – (южн.) wŏγat′, (сев.) ŏγal′~ wŏγal′ – употребляются в значении 'манси' или 'манси с одной из рек бассейна Оби' и, очевидно, восходят к более раннему (также зафиксированному) словосо-

* Автор всюду приводит данные Всесоюзной переписи 1970 г. В 1979 г. в СССР была произведена очередная перепись. Поскольку изменения по сравнению с 1970 г. не столь значительны, редакция сочла возможным не приводить новых сведений. Интересующихся точными данными отсылаем к справочнику "Численность и состав населения СССР: По данным Всесоюзной переписи населения 1979 г.". Статистический сборник ЦСУ СССР. М., 1984. – *Прим. ред.*

четанию wŏγal′-χuj 'человек с Вогулки'. Употребление русского слова *вогул*, разумеется, могло способствовать этому, равно как и распространению этнонима vakul′, vakul в коми языке (по Ф. И. Видеману). Последний, возможно, является русским заимствованием и в нашем столетии, вероятно, уже устарел (источники последнего времени не приводят это слово коми).

Самоназвание народа — *манси* — связано, как уже указывалось, с первым компонентом mαgy- в этнониме mαgyar (*мадьяр*), но к этой этимологии относится и хантыйское название фратрии (сев.) moś ~(вост.) mant′ ~(южн.) mont′. У манси также имеется две фратрии — por и mŏ̄ś′ [мн. ч. mŏ̄ś′ət], muś. Последние две формы также можно отнести сюда, хотя в лингвистической литературе они квалифицируются как хантыйские заимствования, что не вызывает возражений с формальной точки зрения, но неправдоподобно по существу: на наш взгляд, данное название фратрии является исконным и в мансийском языке, однако его фонетический облик обрел свой нынешний вид под сильным влиянием языка живущих по соседству северных ханты. Предполагавшаяся ранее принадлежность к данной этимологии фин. mies 'мужчина' находится под вопросом; это слово сопоставимо только с формами, имеющими передний вокализм: праманс. *mäńšĭ ~ венг. megy-. В случае с формой заднего ряда (название фратрии ~ венг. mogy-, magy-) возникло подозрение об иранском происхождении, но возведение угор. *mańće к праиранской форме *manuš- 'человек, мужчина' — не более чем гипотеза[1].

Памятников мансийского языка, по сути дела, не существует. Первые записи, относящиеся к этому языку, сделаны в XVIII в.: характерный для эпохи Просвещения интерес к ознакомлению с языками мира привел к появлению первых списков мансийских слов, дошедших до нас в трудах и архивах путешественников и филологов различных национальностей (в дневниках Д. Г. Мессершмидта, в списках слов Й. Э. Фишера, в путевых записках Ф. Й. фон Страленберга, А. Л. Шлецера, Ю. Клапрота, словарях П. С. Палласа и других рукописях). Таким образом, эти записи можно признать равноценными по значимости памятникам истории языка, хотя из-за ненадежности транскрип-

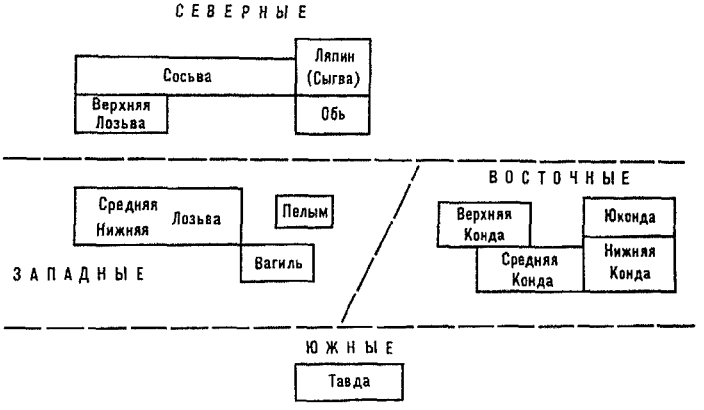
[1] В вышедшем в 1971 г. под общей редакцией Д. Лако словаре "A magyar szókészlet finnugor elemei" ('Финно-угорские элементы в лексике венгерского языка'), т. II, с. 417 допускается также, что самоназванию *манси* идентично фигурирующее в перечне народов из древнетюркского памятника в честь Тоньюкука слово, реконструируемое как mančud (см. Aalto: JSFOu, 60⁷, 1958, с. 45, 59), хотя существование этого слова в сильно поврежденном тексте не удостоверяют ни издание С. Е. Малова (С. Е. Малов, Памятники древнетюркской письменности, М.–Л., 1951, с. 64), ни монография Т. Текина (T. Tekin, A Grammar of Orkhon Turkic, Bloomington, 1968, с. 252) и пока что в нем можно видеть не более чем фикцию.

ционных обозначений историко-языковое изучение этого материала еще практически не проводилось. В подобной ситуации фольклорные записи на различных мансийских диалектах, количество которых с середины прошлого века все возрастало (Регули, Мункачи, Альквист, Каннисто), ныне уже практически оказались в числе памятников языка, поскольку эти диалектные тексты и данные были и будут исключительно важны для реконструкции истории мансийского языка. Литературный язык существует с 30-х гг. нашего столетия, хотя уже в конце прошлого века имели место попытки создания мансийской письменности. Вслед за учебниками и переводными книгами 30-х гг. на мансийском литературном языке, ориентированном на северный диалект, были созданы некоторые значительные художественные произведения (современный поэт и прозаик Юван Шесталов).

Географическое членение групп манси соответствует границам основных диалектов. Большинство манси живет в северной диалектной области (главным образом по р. Сосьве и по верхнему течению р. Лозьвы) и говорит на северномансийском диалекте, расчлененном на ряд более мелких говоров (сыгвинский [ляпинский], сосьвинский, обский, верхнелозьвинский). Мансийский литературный язык основывается на сосьвинском диалекте. Северные манси без труда понимают друг друга. Западная диалектная область также делится на ряд диалектов, которые, однако, в большей степени отличны друг от друга (часть этих диалектов ныне уже исчезла). Сюда относятся ограниченные в своем распространении пределами едва ли не одного поселка диалекты, на которых говорили по берегам Средней Лозьвы, Нижней Лозьвы, Пелыма и Вагиля. К восточной диалектной области относятся диалекты бассейна реки Конда — нижне-, средне-, верхнекондинский и южнокондинский. Еще в 20-х гг. это была наиболее значительная (после северной) диалектная группа, но с тех пор степень владения родным языком в этой области значительно уменьшилась. Четвертую, южную диалектную группу ныне можно считать практически исчезнувшей, так как она представлена в лучшем случае несколькими пожилыми людьми. К ней относились живущие по Тавде манси, которых в начале века еще насчитывалось около 300 человек (уже тогда по большей части двуязычных) и которые затем слились с окружающим татарским (а отчасти и русским) населением.

Изоляции и исчезновению южно-, восточно- и западномансийских диалектов в немалой мере способствовало то обстоятельство, что между мансийскими областями в бассейнах Тавды и Конды расположилась густая сеть крупных татарских поселений, а западные манси были отделены от тавдинских протяженной полосой, населенной русскими.

Размещение мансийских диалектов можно схематически представить следующим рисунком (по Штейницу, с некоторыми изменениями):



Характеризуя различия между отдельными диалектными группами, можно отметить достаточно значительные расхождения в системе вокализма. В южном диалекте различаются 12 гласных фонем, в северных — 8 — 12. Наиболее богат вокализм восточных и западных диалектов: в кондинском и в западных диалектах можно выделить 17 — 18 гласных (в западных часты дифтонги). В рефлексации некоторых прамансийских гласных обнаруживаются, например, следующие различия:

		южн.	вост.	зап.	сев.
праманс.	*ü	ü	ä, ö	ä, ü	a, o, u
—"—	*ā	ā	ō	ō	ā̃
—"—	*ǟ	ǟ	öä, ȯȧ	üö, oå	ā
—"—	*i̯	a̯	å, ə̂	i̯, i	i

Расхождения в системе консонантизма не столь велики. Существуют серии глухих смычных /p, t, t′, k/, носовых /m, n, ń, ŋ/, плавных /l, l′, r/; число щелевых по диалектам неодинаково: наряду с повсеместно встречающимися w и j, а также s и ś в части диалектов развились новые фонемы γ и χ, а также š; иногда, кроме того, некоторые из согласных характеризуются специфическим способом артикуляции (например: k̥, ŋ̥, ć, ḱ, ʌ и т. д. — фонемный статус этих звуков проблематичен).

Словесное ударение падает, как правило, на первый слог,

за исключением тавдинского диалекта, для которого характерно ударение на втором слоге.

Следы палатально-велярной гармонии гласных проявляются в части диалектов — главным образом в тавдинском и нижнелозьвинском, которые испытали сильное влияние татарского языка, причем гармония выражена главным образом в наличии у лексических основ палатальной или велярной окраски. Намного более редки примеры уподобления суффиксальных гласных, то есть наличия таких грамматических морфем, для которых передне- или заднерядность основы автоматически детерминирует выбор алломорфа, содержащего палатальный или велярный гласный. В тавдинском диалекте на существование суффиксальной гармонии гласных указывают алломорфы латива -nā/-nä, аблатива -nāl/-näl, локатива -tā/-tä, лично-притяжательного суффикса 3 л. мн. ч. -ān/-än (лок. pawltā 'в деревне', ämptä 'на собаке' и т. д.), но эта — кажущаяся регулярной — система находится в стадии разрушения; ее доминации препятствует также наличие других алломорфов (лок. pawl-t наряду с pawl-tä, лат. pawl-ən 'в деревню' наряду с pawl-nā и лок. kult-t 'в дома' наряду с külət-tä, лат. kül-ən 'в дом' наряду с kül-nāl).

Расхождения в сфере падежного склонения имен определяются, с одной стороны, тем, что в большинстве диалектов — в отличие от тавдинского — окончания выступают только в одной форме (сев.: лок. -t, лат. -n, абл. -nəl, инстр. -l, транслат. -ɨy), с другой стороны — различием фонетического облика окончаний (транслат.: сев. -ɨy ~ зап. -ä, вост. -j, южн. -əw). Кроме того, в южных, западных и восточных диалектах используется окончание аккузатива (южн. -mī, -mē, вост. и зап. -m), которое в северномансийских диалектах вообще отсутствует, а в тавдинском представлен неизвестный прочим диалектам комитатив (-nät/-nāt).

Напротив, двойственное число как грамматическая категория в тавдинском отсутствует, но представлено в остальных диалектах (в именном и глагольном словоизменении).

В спряжении глагола также наряду со значительным числом общих элементов (временны́е, личные суффиксы) отмечаются некоторые расхождения, например в сфере показателей наклонений:

	южн.	зап.	вост.	сев.
Индикатив	ϕ	ϕ	ϕ	ϕ
Императив	k~ϕ	ϕ	ϕ (-ke)	ϕ
Кондициональ	äskä	-ni	-nå	-nuw
Конъюнктив	—	ϕ	ϕ	—
Оптатив	n	—	—	—
Прекатив	—	—		ke

Наиболее важные различия в сфере нефинитных форм глагола:

	южн.	зап.	вост.	сев.
Инфинитив	-ŋ	-uχ	-əχ, -äχ	-ŋkwe
Имперфектное причастие	-nę, -ni	-nə, -p(ä)	-p	-ne
Перфектное причастие	-am, -im	-m	-m	-ne
Деепричастие	-ęm, -im	-mə, -mȧt	-əm	-ke + личное окончание + t

В лексике мансийского языка сохранены следы его связей с другими языками. Древнейшими из них являются иранские заимствования, непрерывно проникавшие сначала в финно-угорскую эпоху, а затем в последовавшие за ней угорскую, праобско-угорскую, а также прамансийскую эпохи, то есть начиная с IV–II тыс. до н.э. (заимствования праиранского характера, относящиеся к финно-угорской и угорской эпохам), в течение I тысячелетия до н.э. (заимствования древнеиранского характера, относящиеся отчасти к угорской, отчасти же к праобско-угорской эпохам) и вплоть до периода с III в. до н.э. по IV–V вв. н.э. (среднеиранские заимствования в уже обособившиеся прамансийский и прахантыйский). Иранизмы могли, разумеется, заимствоваться мансийским языком и позднее, но уже через посредство коми языка. Иранское культурное влияние сыграло весьма значительную роль в истории финно-угров, угров и обских угров и поэтому не может не вызвать удивления сравнительно небольшое число бесспорных иранизмов в мансийском и хантыйском языках: их около 44, но и из них лишь 11 являются заимствованиями периода самостоятельного существования мансийского языка (прамансийской эпохи) [1].

Значительно больше отмечено тюркских заимствований. Проникновение их могло иметь место уже в древности (в начале или даже до н.э.), начиная с угорской эпохи, но количество подобных предполагаемых древних тюркизмов невелико (3 – 4 слова) и сам факт их заимствования не бесспорен. По сравнению с этим — пока что скорее гипотетическим — тюркским влиянием гораздо более значим обширный слой относительно поздних заимствований, происходящих из языков сибирских татар и проникавших в мансийский язык начиная с XIV–XV вв. Их насчитывается до 500–600; естественно, южный и кондинский

[1] Из остальных 33 слов 5 относятся к периоду самостоятельного существования хантыйского языка (прахантыйская эпоха), 13 – к праобско-угорской эпохе, 8 – к угорской эпохе, прочие – к финно-угорской эпохе.

диалекты были больше других подвержены татарскому влиянию. Число слов татарского происхождения в северных диалектах достигает, вероятно, шестидесяти.

Впоследствии еще более сильным оказалось русское языковое влияние на мансийский язык. Оно началось фактически уже в XIV в. и продолжается с нарастающей интенсивностью до наших дней. Количество сравнительно старых (адаптированных применительно к фонетической системе мансийского языка) русизмов оценивается в 600—700, однако при учете элементов русского происхождения в современной общественно-политической и хозяйственно-экономической лексике, заимствованных в основном в советский период, это число можно по крайней мере утроить. Разумеется, подобные заимствования преимущественно являются принадлежностью литературного языка и не смогли проникнуть в язык манси, живущих в наиболее удаленных районах и не говорящих по-русски.

Помимо этих слоев, следует учитывать коми и ненецкие заимствования. Количество первых превышает 300 (большинство из них представлены в северных диалектах); проникновение их можно датировать длительным периодом с X по XIX век. Ненецкие заимствования также являются результатом непрерывных контактов, их насчитывается несколько десятков (30—50). В одном-двух случаях представлены также удмуртские и селькупские заимствования, не говоря уже о немалом числе слов, проникших из хантыйского языка (или через его посредство). Уже в этой связи можно отметить, что в лексике языков Северо-Западной Сибири имеется массив таких элементов, для которых известен первоисточник, но не всегда можно с уверенностью установить, какой язык (или языки) играл роль посредника в передаче заимствования. Ввиду тесных мансийско-хантыйско-ненецко-русско-коми-тюркских ареальных связей необходимо постоянно иметь в виду, что зачастую обнаружить необходимые признаки, указывающие на непосредственный язык-источник, не удается и поэтому всегда следует учитывать возможную роль языков-посредников.

Хантыйский язык

Восточными соседями манси являются ханты (остяки), которые живут на Нижней и Средней Оби и на ее притоках — реках Сыня, Казым, Иртыш с Кондой и Демьянкой, Назым, Салым, Юган, Тромъеган, Вах, Васюган. Согласно данным 1970 г., численность ханты составляла 21 тыс. человек, из них 68,9% пользовались хантыйским языком, точнее, считали его родным.

Внешнее название хантыйского народа — о с т я к и употре-

бительно в лингвистической и этнографической литературе (преимущественно зарубежной). Однако еще в XIX в. значение этого этнонима было неоднозначным – авторы этнографических описаний и местная администрация применяли его к трем различным народам: *обдорскими, обскими* (или *югорскими*), *кондинскими, иртышскими* остяками именовались ханты, *нарымскими, тымскими, кетскими, лумпокольскими, томскими* или *лаак*-остяками, а также – собирательно – *остяко-самоедами* называли селькупов, а под именем *енисейских* или *инбацких* остяков выступали не относящиеся к уральской языковой семье кеты.

Происхождение этнонима 'остяк' имеет два распространенных объяснения. Первое, идущее еще от Ю. Клапрота, ищет толкование в самом хантыйском языке. Отдельные группы ханты традиционно называются по той реке, на которой они живут, например, waγ-jaγ 'ваховский народ', χunte-jaχ 'кондинский народ' и т.д. Аналогичным образом северные ханты, живущие на Оби, именуют себя as-jaχ 'обский народ', поскольку река Обь называется по-хантыйски As. Согласно данному объяснению, название as-jaχ превратилось в используемое русскими обозначение всех ханты, причем конец слова преобразовался по образцу частого в русских этнонимах суффикса *-як, -як* (ср. *поляк, сибиряк, пермяк, вотяк* и т.д.). При предположении о развитии asjaχ > osjak > ostjak (*остяк*) сложность составляют переход a > o (особенно учитывая, что манс., хант. As первоначально имело передний вокализм: ср. [Вах, Васюган] Äs ~ манс. K öäs 'Обь'!), возникновение неэтимологического t; в не меньшей степени затруднителен вопрос о том, каким образом подобное локальное название смогло превратиться в обозначение ряда различных этносов. Как бы ни была популярна эта этимология, против нее имеется достаточно аргументов, чтобы счесть более вероятным объяснения В. Штейница. Последнее представляется более приемлемым и более убедительным не только в лингвистическом, но и в историческом, а также в этнографическом отношениях. Согласно данному объяснению, русск. *остяк* представляет собой заимствование татарского (киргизского) этнонима išẗäk, казахского isẗäk, этническая соотнесенность которого столь же неоднозначна, как и у названия *остяк*. Казахи называют так башкиров, у сибирских татар это обозначение ханты и наряду с ними других языческих народов. Išẗek встречается и в качестве родового названия у узбеков. Русские могли заимствовать этот татарский этноним очень рано (в первой половине XVI в.) в качестве собирательного обозначения различных немусульманских народов в форме **истяк*. Документально он фиксируется впервые в 1572 г., причем в районе Камы, то есть на значительном расстоянии от Оби, в месте, где *остяки* не жили.

Переход i > o также мог быть связан с этим обстоятельством: в Прикамье русским был известен этноним *отяк* (=*вотяк*, то есть удмурт), в результате его контаминации с **истяк* возникла форма *остяк*, о неоднозначности этнонимического значения которой убедительно свидетельствует тот факт, что в XVII в. камских башкиров русские тоже называли остяками.

Самоназвание х а н т ы (ср. сев.-хант. χanti, вост. kantəγ, южн. χantə 'ханты; человек, мужчина') ранее отождествляли с названием реки Конды[1]. Но название реки столь отчетливо отличается от этнонима (ср. вост., южн. kontək, сев. χontaŋ-joχan 'р. Конда'), что это сопоставление наталкивается на фонетические трудности, не говоря уже о слабостях мотивировки с точки зрения истории расселения. Поэтому более вероятным является предложенное позднее объяснение этнонима *ханты*; согласно этому объяснению данный этноним произведен от реконструируемой основы *kont, которая в свою очередь может быть сопоставлена с манс. χont 'войско', венг. had 'войско, род, семья', фин. kunta 'община' и их соответствиями в других финно-угорских языках. Таким образом, первоначальным значением этнонима было 'принадлежащий к роду'.

С хантыйскими языковыми памятниками дело обстоит так же плохо, как и с мансийскими. Крупнейшим достижением периода, предшествовавшего научному исследованию хантыйского языка, был перевод Евангелия и появление словаря, составленного священником Вологодским (1840–1842) на основе северного диалекта, которые можно по праву назвать первым шагом в создании письменности. Исследование хантыйского языка (сбор текстов и лексического материала, составление грамматик) начинается с середины прошлого века; в этом деле исключительно велики заслуги А. Регули, М. А. Кастрена, А. Альквиста, П. Хунфальви, Й. Папаи, а в нашем веке — С. Патканова, Д. Р. Фукса, К. Ф. Карьялайнена, Х. Паасонена, В. Штейница, Н. И. Терешкина.

Начиная с 30-х годов нашего века ведется работа по созданию хантыйского литературного языка (точнее, нескольких языков). Первый учебник основывался на обдорском диалекте, затем появляется ряд учебников с казымской диалектной базой, а в 40-е гг. создаются книги на основе шеркальского (среднеобского) диалекта. После войны появляются издания, которые базируются на ваховском, сургутском и шурышкарском диалектах. Практически пять различных письменных вариан-

[1] Попытки отождествления этнонима *ханты* с татарским словом хан 'хан' *или с фин.* kontio 'медведь', а также с этнонимом *гунн* столь примитивны, что ими, по существу, можно пренебречь. Мы упоминаем их лишь постольку, поскольку даже и в специальной литературе 60-х – 70-х гг. они упоминаются в качестве альтернативных этимологий, что, конечно, представляет собой заведомый абсурд.

тов хантыйского языка существует и сейчас: применительно к местным диалектным условиям используются школьные учебники, которые строятся на отличающихся друг от друга диалектных нормах. Таким образом, единого хантыйского литературного языка не существует, что можно объяснить высокой степенью междиалектных различий.

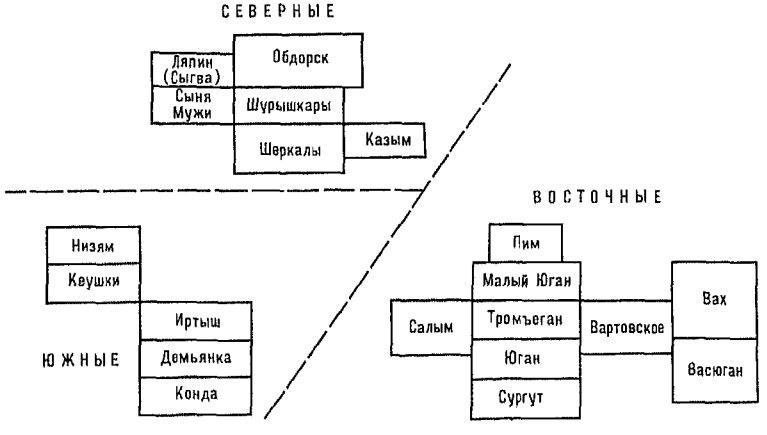
Хантыйские диалекты принято подразделять на три большие группы:

1. К северной группе относятся диалекты, распространенные между устьем Оби и поселком Шеркалы (обдорский, сыгвинский, Мужи, Сыня, шурышкарский, казымский, шеркальский).

2. Южная диалектная область тянется на юг от Шеркалов до устья Иртыша и захватывает районы в нижнем течении Иртыша. Эту группу образуют в первую очередь иртышский, кондинский и демьянский диалекты, которые ныне можно считать уже исчезнувшими, однако к ней относятся и обладающие признаками перехода к северной группе низямский и кеушкинский диалекты. Фонетически последние стоят несколько ближе к северным диалектам, но морфологический строй связывает их с южной группой.

3. Восточная диалектная группа располагается на восток от устья Иртыша, по притокам среднего течения Оби. Сюда относятся салымский, сургутский (тромъеганский, юганский, малоюганский, пимский), ваховский, васюганский, вартовский диалекты.

Схематически диалекты можно расположить следующим образом:



Наиболее заметные фонетические различия, из которых можно исходить при характеристике диалектов, проявляются в рефлексации прахантыйских *l, *l′, *ć, *č̮, *k, *γ.

Прахант.	Северные			Южные		Восточные		
	Обд.	Каз	Шерк.	Низ	Ирт	Салым.	Сург.	Вах., Васюг.
*l, *l′	l, l′	ʌ, ʌ′	t, t′	t, t′		t, t′	ʌ, ʌ′	l, l′
*č̮	s	š		č				
*ć	ś			t′				
*k перед гласными переднего ряда	повсеместно k							
*k перед гласными заднего ряда	χ			χ		k		
*γ после нелаб гласных передн. ряда	j	w	γ	w, γ	γ	γ		

Таким образом, основное различие между системами консонантизма определяется тем, имеем ли мы дело с 't-овыми' диалектами (южными и примыкающими к ним) или с 'l-овыми' диалектами (окраинными северными и восточными). Другой существенной особенностью является фрикативное произношение ʌ, характерное для Казыма на севере и Сургута на востоке. Аффриката встречается только в южных и восточных диалектах (хотя в последнее время вост.-хант. č̮ интерпретируется и как поверхностно-фонетическая форма глубинно-фонологического t̮). Важно, кроме того, отметить, что в некоторых диалектах существуют и какуминальные согласные (Сыня, Мужи ṇ, ḷ; Казым ṇ, ḷ, ṣ; вост. ṭ, ṇ, ḷ), за счет чего серия носовых в них включает 5 звуков (m, n, ṇ, ń, ŋ), а в тромъеганском диалекте даже 6, поскольку в нем представлен и лабиовелярный ŋ͡ᵦ. Вообще, консонантизм этого диалекта, включающий 21 фонему, богаче систем северных диалектов, состоящих из 15 — 18 согласных (перевес складывается за счет лабио-велярных k_o, γ_o, $ŋ_o$ и какуминальных звуков). Примечательно далее, что этот диалект, подобно ваховско-васюганскому диалекту, имеет только один сибилянт (s), тогда как обдорскому и южным диалектам известны два (Обдорск. s, ś; южн. s, š), а в диалектах Казыма, Сыни, Шеркалов и Низяма различаются три сибилянта (s, ś, š).

Существенные различия имеют место между системами вокализма отдельных диалектов. Отчасти они касаются числа гласных (наименьшим числом гласных фонем – 8 – отличается шеркальский диалект, наибольшим – 15 – васюганский). Еще более важным, чем эти количественные различия, является наличие или отсутствие гласных определенных типов, что составляет существенную характеристику всей системы. Так, например, прахантыйский *i̯ и прахантыйские лабиализованные гласные переднего ряда сохранились только в восточных диалектах, а в остальных исчезли, и эти изменения привели к принципиальным перегруппировкам. С другой стороны, важной общей чертой систем вокализма хантыйских диалектов является наличие во всех этих диалектах наряду с гласными полного образования группы из 3–5 редуцированных гласных (В. Штейниц и его школа рассматривали оппозицию редуцированных и полных гласных как качественную; в последнее время некоторые исследователи трактуют ее как количественную). Во всех диалектах существует чередование гласных первого слога (ср. обд., ирт., сург., вах.-вас. nim, низ., каз. nʏ̈m 'берег реки'~ обд., ирт., сург. nåmən, низ., каз. namən, вах.-вас. nämən 'на берегу'), но если в восточных диалектах это чередование выступает внутри парадигмы, то в западных (то есть в северных и южных) диалектах нет парадигматического чередования гласных, которое бы пронизывало глагольное и именное словоизменение: здесь можно встретить преимущественно разрозненные примеры чередующихся гласных в архаичных наречиях и в словообразовании.

Гармония гласных смогла сохраниться только в восточной части территории распространения хантыйского языка (Вах – Васюган), где система вокализма в избытке располагает всеми необходимыми для этого предпосылками.

Из грамматических различий между диалектами особенно резко выражены расхождения в системе и обозначении глагольных времен, а также в числе падежных окончаний. Глагольная основа без показателя времени выступает в южных и восточных диалектах в значении прошедшего времени; показатель прошедшего времени s используется в северно-, а также в восточнохантыйском. Вообще в последнем представлено от четырех (Вах – Васюган) до двух (Сургут) прошедших времен, тогда как в южно- и севернохантыйском – только одно. Что касается наклонений глагола, то в этом отношении богаче других васюганский, тромъеганский и демьянский диалекты, где наряду с индикативом, императивом и конъюнктивом, которые присущи и другим диалектам, имеет место также и возможностное наклонение (потенциалис).

О степени различий в склонении имен свидетельствует тот факт, что северные диалекты имеют всего два падежных окон-

чания (локативное и лативное), тогда как южные (и тромъеганский) диалекты, помимо этого, имеют инструменталь (-at), а восточные диалекты — аблатив (тром. -i, вас. -ow, вах. -oγ), транслатив (тром. -γə, вас. -əγ) и комитатив (тром., вах.-nat, вас.-na), а также еще одну-две морфемы, находящиеся на грани превращения в падежные окончания. В диалектах со сравнительно бедной падежной системой естественны, например, функция инструменталя у локатива на -i и применение послелогов для выражения специфических отношений.

Лексика хантыйского языка испытала в основном те же влияния, что и мансийская. Иранизмов, объясняемых как заимствования собственно хантыйского периода, довольно мало (5). Что касается татарских заимствований, проникших в XV—XVIII вв., то их также меньше, чем в мансийском языке; в общей сложности их насчитывается порядка двух-трех сотен, причем большинство из них представлено в южных диалектах (в восточнохантыйский проникло около 40—50 слов, а в севернохантыйский еще меньше).

Как показали исследования последнего времени, нужно учитывать и эвенкийские заимствования: поставлен вопрос об эвенкийском происхождении примерно 50 хантыйских слов (большая их часть представлена в восточных и южных диалектах). Зафиксировано более ста ненецких и несколько десятков мансийских слов в севернохантыйском, а также двадцать с небольшим селькупских заимствований (по существу, ограниченных районом Ваха — Васюгана). Наибольшее же число заимствованных элементов проникло из коми и русского языков. Большая часть заимствований из коми — их примерно 400 — представлена в севернохантыйском. Интенсивное, как и в случае с мансийским языком, русское языковое влияние в равной мере затронуло все диалекты, за исключением наиболее отдаленных говоров.

На хантыйской языковой территории также широко распространены двуязычие и многоязычие. На севере часто встречается хантыйско-ненецкий и хантыйско-мансийский, на востоке — хантыйско-селькупский, на юге — хантыйско-татарский билингвизм (помимо этого, русский язык выступает в качестве третьего языка), что местами привело к утрате родного языка. Эти многосторонние связи с соседними народами и языками вновь заставляют нас обратить внимание на то, что направления передачи заимствований также могли быть разнообразны: в ряде случаев заимствование могло осуществляться многократно, иногда же язык, из которого непосредственно проникло то или иное слово, не может быть установлен однозначно.

Б. ФИННО-ПЕРМСКАЯ ВЕТВЬ

4–5. Пермские языки

В пермскую группу входят удмуртский и коми языки, близкое родство которых заметно даже для неспециалиста. Народы коми имеют два литературных языка – коми(-зырянский) и коми-пермяцкий. Пермские языки отделились друг от друга приблизительно в VIII в. н.э. До этого времени пермяне образовывали единый этнический массив с довольно тесными внутренними связями и по этой причине лексика пермских языков до сих пор включает очень много общих элементов (словарный состав коми и удмуртского языков совпадает примерно на 70%); грамматические системы также имеют единую основу. Различие между удмуртским и коми языками примерно таково, как между французским и итальянским, португальским и каталанским или польским и сербскохорватским языками. В период совместного развития этих двух языков сформировались их весьма характерные, специфические черты. Так, в прапермском возникли ряды звонких смычных /b, d, g/, а также звонких сибилянтов /z, ź/ и звонких аффрикат /ʒ, ǯ, ʒ́, ʒ́̌/; несмотря на эти инновации, была сохранена очень важная черта уральского праязыка – исходная палатализация согласных /ś, ć, ń, ĺ/. С другой стороны, в конце слова отпали звуки k и m (что привело к замене ряда суффиксов, например, суффиксов множественного числа, аккузатива, лично-притяжательных и глагольных). Немало изменений претерпела и система вокализма: в обоих языках отмечаются специфические гласные i̯ и e̯ (которые считаются результатом собственно пермского развития) и – что характерно – отсутствует гармония гласных.

Общность падежного склонения демонстрируют следующие парадигмы:

	Удмуртский	Коми*
Ном.	murt	mort 'человек'
Акк.	murtez, murte	morte̯s
Инесс.	murti̯n	morti̯n
Элат.	murti̯ś	morti̯ś
Иллат.	murte	morte̯
Ген.-адесс.	murtlen	mortle̯n
Абл.	murtleś	mortli̯ś
Аллат.	murtli̯	mortli̯

* Примеры по коми языкам автор приводит из коми-зырянского языка. – *Прим. Р. М. Баталовой.*

Инстр.	murten	morte̯n
Эгресс.	kwalaśen 'из кухни'	mortśań
Терминат.	morto̯ʒ	morte̯ʒ и т.д.

Специфически пермским является показатель множественного числа: коми -jas, к.-перм. -jez, удм. -jos.

В формах глагольного спряжения также имеется много общего:

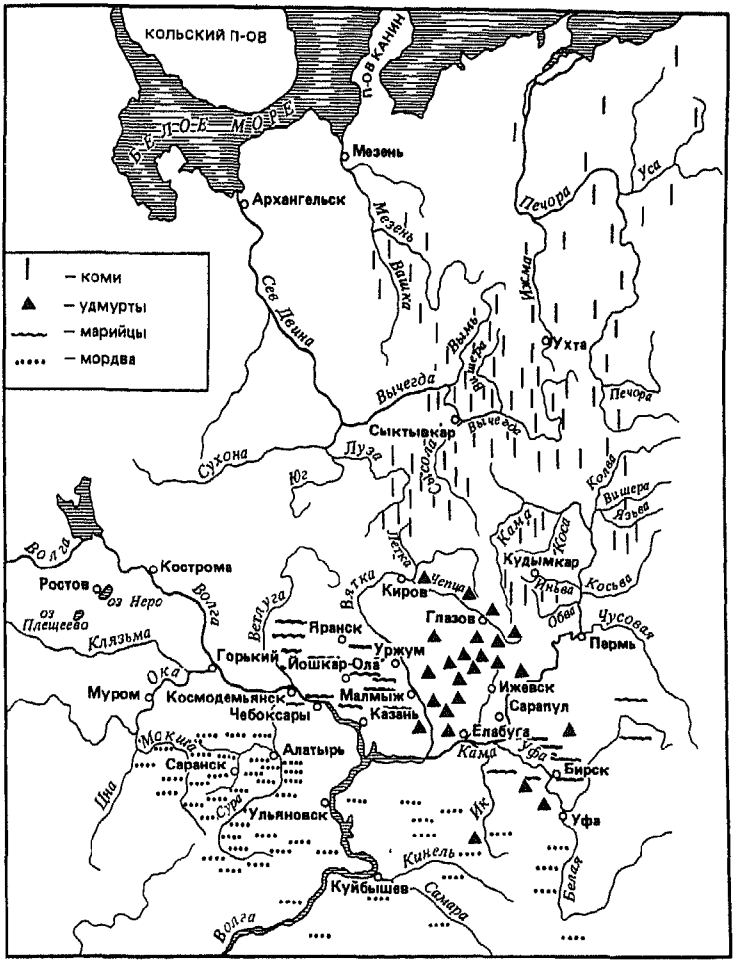
	Удмуртский		Коми
Прош. вр.	mi̯ni	'я шел'	muni
	mi̯nid	'ты шел'	munin
	mi̯niz	'он шел'	muni(s)

(Формам настоящего времени в языке коми типа muna 'я иду' и т.д. соответствует удм. mi̯no, превратившееся в форму будущего времени 'я пойду'). Весьма показательно почти полное совпадение сложных систем глагольных имен в двух пермских языках, среди которых можно отметить инфинитив на -ni̯, а также причастия и деепричастия с неоднокомпонентными суффиксами (например, деепричастия на удм. -tek ~ коми -te̯g, удм. -toź ~ коми -te̯ʒ и т. д.). В обоих языках имеется значительное число общих (восходящих к прапермской эпохе) иранских заимствований (около 50); к прапермской эпохе следует отнести и начало булгарского (чувашского) языкового влияния (в дальнейшем сказавшегося главным образом на удмуртском языке).

Между двумя пермскими языками (коми-зырянским и удмуртским) наблюдается и ряд различий. Например, в языке коми лично-притяжательные показатели для множественного числа обладателя имеют вид -ni̯m (1 л. мн.ч.), -ni̯d (2 л. мн.ч.), -ni̯s (3 л. мн. ч.), а в удмуртском – соответственно -mi̯, -di̯, -zi̯. Язык коми в отличие от удмуртского обладает комитативом (-ke̯d) и аппроксимативом (-lań); последний встречается в удмуртском только в наречиях (ber-lań 'назад').

Суффиксом сравнительной степени прилагательных в языке коми является -ʒi̯k, а в удмуртском – -ges, -gem. Окончанием 2-го лица ед. ч. глагола в удмуртском служит -d, а в коми – -n (лично-притяжательным показателем в обоих языках служит -d!).

В удмуртском языке ударение, как правило, падает на конец слова, в коми-зырянском же языке наблюдается сильная тенденция тяготения ударения к первому слогу и т.д.



Происхождение обобщающего названия "*пермский*" неясно. Если даже оно возникло благодаря тому, что некоторая часть коми и удмуртов жила на территории бывшей Пермской губернии, то это, разумеется, не раскрывает полностью этимологии слова. Несомненно, что в древнерусском языке существовало географическое название *Перемь*; его принято связывать с названием народа и земли *Биармии* на средневековых западноевропейских картах и в географических описаниях (др.-исл.

Bjarma, др.-англ. Beorma). Биармию и биармийцев, видимо, в IX–XIV вв. можно локализовать на Кольском полуострове, на побережье Белого моря, а также в нижнем течении Северной Двины. Пермяне никогда не жили так далеко на западе, и поэтому механическое отождествление названий Пермь и Биармия было бы довольно сомнительным, тем более что существующие описания дают основания усматривать в биармийцах скорее какие-то прибалтийско-финские племена (карелов, вепсов): согласно сагам, они называли своих богов jomali, что скорее созвучно фин. jumala, нежели удм. inmar или коми jen. Однако некоторые факты истории указывают на определенную связь Биармии и Перми. Так, в одной грамоте 1264 г., где перечислены зависимые от Новгорода земли, в качестве первой из областей Заволочья названа *Колопермь* (=Кольская Пермь = Биармия), за ней следует *Тре* (=Тер, также на Кольском полуострове), а затем *Пермь, Югра* и *Печора*. Иначе говоря, эти данные указывают на существование в то время по меньшей мере двух земель с названием Пермь (~Биармия): одной в южной части Кольского полуострова и одной в бассейнах Северной Двины и Пинеги. Известные по норвежским данным биармийцы были, по всей вероятности, карелами, причем в это время карельские поселения могли быть распространены вплоть до устья Двины (на что указывают, кроме всего прочего, карельские заимствования в языке коми).

В дальнейшем число различных областей, называемых *Пермью*, возрастает: согласно русским источникам, *Пермь Старая* находилась в районе Вычегды и Выми, где в XIV в. вел миссионерскую деятельность среди коми епископ Стефан Пермский, но наряду с ней существовали расположенные юго-восточнее *Чусовская*, или *Большая Пермь, Малая Пермь, Серебряная Пермь* и т.д.; в отличие от Колоперми эти области уже соответствуют районам расселения предков современных коми. Недавно К. Вилкуна предложил новое объяснение взаимосвязи названий *Биармия* и *Пермь* (FUF, XXXVI, 1966), исходящее из того, что уже во времена Волжской Булгарии (IX–XIII вв.) Скандинавию, Прибалтику и Поволжье связывали оживленные торговые пути, благодаря чему существовали и связи между Прибалтикой и Причерноморьем. Эти связи не прервались и позднее. Волга как водный путь не кончалась своим верхним течением: по Каме, а также по Сухоне, Вычегде и Северной Двине открывался путь к Белому морю; с другой стороны, от Ладожского озера по Свири и Вытегре можно было достичь Белого озера, а путь по Волхову через озеро Ильмень и далее по реке Мсте выводил к Волге. Уже с давних пор коми могли играть очень важную посредническую роль на этих торговых путях, по которым на западные и южные рынки поступала главным образом пушнина:

как правило, мы встречаем название Пермь в тех местах, где могли находиться крупные центры меховой торговли. Русские впервые столкнулись с коми как с торговцами, имеющими дело с добычей и поставкой пушнины, и поэтому естественно, что за ними закрепилось название *перми, пермяк, пермитин, пермичи, пермяне*, служившее первоначально обозначением по роду занятий. Впоследствии оно превратилось в этноним и стало общим названием удмуртов и коми в научной литературе. Сходным образом скандинавы, также воспользовавшись этим древним обозначением по роду занятий, назвали страну торговцев пушниной "Bjarma land" 'страна биармийцев'. Разумеется, как обозначение рода занятий рассматриваемое слово могло относиться не только к коми: помимо скандинавского Bjarmer 'биармийцы', об этом, согласно К. Вилкуне, свидетельствует тот факт, что в восточнофинских диалектах имеется слово permi 'карельский бродячий торговец', употребляемое в составе ряда сложений (laukkupermi 'коробейник' и т.д.); это слово явно неотделимо от вышеприведенных данных (известно, что карельские офени со времен средневековья и до первой мировой войны активно участвовали в товарообмене между Востоком и Западом и что шведские короли часто пытались ограничить их деятельность). Однако даже на подобном историческом фоне не удается предложить правдоподобную — и даже просто заслуживающую внимания — этимологию названия *Пермь* (=*Биармия*), несмотря на то что попытки такого рода делались неоднократно.

Коми язык

Коми живут на крайнем северо-востоке Европейской территории СССР. Их большая часть — коми-зыряне* — населяет Коми АССР, а южные группы коми, так называемые коми-пермяки,— Коми-Пермяцкий автономный округ. Поселения коми-зырян расположены в бассейнах правого притока Северной Двины — Вычегды (и впадающих в нее Выми и Сысолы), текущей в Белое море Мезени (и ее притока Вашки), впадающей в Баренцево море Печоры (и ее притоков — Усы, Ижмы). Коми-пермяки живут в отрыве от коми-зырян, в районе, который огибает, делая большую излучину, Верхняя Кама, — на реках Каме, Косе, Иньве и др.

* В дореволюционных и зарубежных работах этноним *зыряне* используется в качестве названия всех коми. — *Прим. перев.*

Некоторые разрозненные группы коми попали в Западную Сибирь и на Кольский полуостров. Небольшая, но представляющая значительный интерес в языковом отношении группа коми находится в бассейне реки Язьвы, которая берет свое начало в Уральских горах и впадает в Вишеру – левый приток Камы.

В 1970 г. 475 тыс. человек в Советском Союзе признали себя по национальности коми (83,7% из них считает родным языком коми-зырянский или коми-пермяцкий). Эта цифра говорит об увеличении численности коми сравнительно с переписями 1926 г. (364 тыс.) и 1959 г. (431 тыс.).

Почти полумиллионный народ коми состоит из трех разных в языковом отношении групп. Наиболее значительной по численности является группа коми-зырян (322 тыс. человек). Большинство из них живет на территории Коми АССР, но 10% – за ее пределами: в Западной Сибири (главным образом в низовьях Оби, на р. Тагил и в окрестностях Тюмени), а также на Кольском полуострове и в Ненецком автономном округе. Вторую компактную группу образуют коми-пермяки, численность которых в 1970 г. составляла 153 тыс. человек. Они проживают в Коми-Пермяцком АО, но небольшая их часть (около 20 тыс. человек) находится за пределами округа (частично в Сибири). Третья, численно незначительная группа – коми-язьвинцы – насчитывает примерно 4 тыс. человек*.

Диалектные различия между коми-зырянами и коми-пермяками, территориальная обособленность этих двух групп, различная направленность их культурных, экономических и социальных связей создали предпосылки для того, что в советский период получили развитие два различных литературных языка – коми-зырянский и коми-пермяцкий.

Аналогичные мотивы могли бы, собственно говоря, привести к формированию и третьего литературного языка для коми-язьвинцев, однако в нем не возникло необходимости ввиду малочисленности последних. Сейчас их обычно причисляют к коми-пермякам.

Говоря о языковых различиях между тремя наречиями языка коми, можно, по существу, отметить лишь определенные лексические и фонетические особенности**.

Примеры различий в области лексики дает следующее сравнение:

* Выделяется еще верхнекамское наречие кировских пермяков, так называемых "зюздинцев". Эта группа насчитывает около пяти тысяч человек. – *Прим. Р. М. Баталовой.*

** Автором не учтены последние работы А. С. Гантман-Кривощековой и Р. М. Баталовой, в которых описаны специфические особенности коми-пермяцкого языка. – *Прим.ред.*

Коми-зырянский литературный язык	Коми-пермяцкий литературный язык	Коми-язьвинское наречие	
ẹdjẹn	perịta	udala	'быстро'
bẹrdnị	gorzịnị	gurzinə	'плакать'
kẹč	kẹč	ńimel	'заяц'
paśkịd	paśkịt	ota	'широкий'
ozịr	bogatej	bəjar	'богатый'
śornitnị	bajtnị	bajtnə	'разговаривать'
mič̣a	basẹk	bəd'or	'красивый'

и т.д.

Следует, впрочем, отметить, что формы, квалифицируемые как литературные коми-пермяцкие или как коми-язьвинские, очень часто встречаются в качестве диалектизмов и в коми-зырянском (например: вымск., ижемск., печорск., удорск. и т.д. gorzịnị 'плакать', нижневычегодск. baskẹ, верхневычегодск. baskẹj 'красивый', вычегодск., усинск., сысольск. perịda 'быстро', сысольск., усинск., удорск. ota 'широкий', вычегодск. bajar 'богатый' и т.д.), что с точки зрения лингвистики свидетельствует о спорности трактовки* трех основных территориальных языковых форм как самостоятельных языков.

Фонетические различия между тремя наречиями также не очень велики:

Коми-зырянский литературный язык	Коми-пермяцкий литературный язык	Коми-язьвинское наречие	
voj	oj	üj	'ночь'
majtẹg	mat'eg	mat'ig	'мыло'

* Согласно сложившимся в советской лингвистике традициям, указанные общие явления свидетельствуют о наличии близкого родства коми-зырянского и коми-пермяцкого языков, но отнюдь не отрицают самостоятельности этих языков.

При этом, рассматривая коми-пермяцкий язык, следует учитывать то обстоятельство, что литературная форма этого языка была создана в 20-е годы искусственно из-за неизученности языка в целом. Таким образом, литературный язык коми-пермяков не опирается ни на один из живых говоров. Живой язык коми-пермяков имеет значительные территориальные различия. По данным последних исследований, в коми-пермяцком языке выделяется два крупных наречия – южное и северное. Эти наречия в свою очередь подразделяются на ряд диалектов и говоров. К языку коми-пермяков близко примыкают языки коми-язьвинцев и кировских пермяков (так наз. "зюздинский диалект"). – *Прим. Р. М. Баталовой.*

pe̯mi̯d	pe̯mi̯t	pe̯met	'темный'
ve̯r	ve̯r	vür	'лес'
śoj	śoj	śüj	'глина'
kolast	kolas	kolas	'промежуток'
te̯l, te̯v	te̯v	tül	'ветер'

и т. д.

Необходимо отметить, что в коми-пермяцком ударение играет смыслоразличительную роль, в коми-язьвинском место ударения зависит от вокалической структуры слова, тогда как в большинстве коми-зырянских диалектов ударение является нефиксированным (хотя в некоторых диалектах и в литературном языке наблюдается тенденция к постановке его на первый слог).

На морфологическом уровне значительных различий нет*, поскольку то, что принято расценивать как различия, сводится по большей части (за исключением, возможно, случая с показателем множественного числа[1]) к несущественным расхождениям, обусловленным фонетическими причинами, или к таким пермяцким и язьвинским особенностям, которые представлены и в собственно коми-зырянских диалектах**:

		Коми-зырянск.	Коми-пермяцк.	Коми-язьвинск.
Показатель мн. ч.		-jas	-(j)ez	-jez
Личные глагольн. окончания	1 л. мн. ч.	-am	-am(e̯)	-amə
	2 л. мн. ч.	-annid(∿-ad)	-ate̯	-atə
	3 л. мн. ч.	-e̯ni̯ (∿-asni)	-e̯ni̯, -ase̯	-ənəs, -anis

Принято, кроме того, упоминать, что в коми-язьвинском наречии и в коми-зырянском литературном языке существует

* Это можно принять в том случае, если привлекаются лишь данные литературного языка, не отражающего существа языка коми-пермяков ввиду искусственности формы этого литературного языка. – *Прим. Р. М. Баталовой.*

[1] Дело в том, что пермяцко-язьвинский показатель множественного числа традиционно не связывался этимологически с коми-зырянским показателем -jas. Но это господствовавшее в течение ряда десятилетий мнение ожидает пересмотра, в особенности в связи с тем, что, согласно мнению В. И. Лыткина ("Коми-язьвинский диалект", М., 1961, с. 42), язьвинский, пермяцкий и зырянский показатели мн.ч. имеют общее происхождение.

** Еще раз можно подчеркнуть, что это служит доказательством наличия близкого родства между языками коми-зырян и коми-пермяков. – *Прим. Р. М. Баталовой.*

шестнадцать падежных форм, а в коми-пермяцком – семнадцать*.

Ныне коми-пермяцкий и коми-зырянский являются двумя самостоятельно существующими и развивающимися более или менее независимо друг от друга литературными языками, причины и обстоятельства формирования которых смогут быть освещены в рамках многостороннего социолингвистического исследования. Однако, руководствуясь упоминавшимися "чисто лингвистическими" соображениями, мы посвящаем этим двум языкам одну общую главу.

* * *

Население Коми АССР составляет около 1 млн. человек; треть из них коми; уральская семья представлена здесь также ненцами. Территория республики около 400 тыс. кв. км. Столица – Сыктывкар (171 тыс. жителей) расположена при впадении Сысолы в Вычегду. Территория в целом имеет равнинный характер, гористая местность имеется только у восточной границы республики, проходящей по Уралу. Климат в северной части республики суровый, субарктический (средняя годовая температура $-2{,}6^{\circ}$), однако в районе Сыктывкара он значительно мягче (средняя годовая температура $+0{,}1^{\circ}$).

Коми-Пермяцкий автономный округ (население около 220 тыс. человек) примыкает к Коми АССР на юго-востоке и занимает площадь примерно в 22 тыс. кв. км. Центр округа – г. Кудымкар.

Рельеф этого края, находящегося в непосредственной близости от Уральских гор, характеризуется чередованием холмистых и равнинных местностей.

Название *зыряне* не имеет убедительной этимологии. Несомненно, что западным народам это слово стало известно от русских. Русск. *зырян(ин)* содержит тот же типичный для этнонимов суффикс *-ян(ин)*, что и слова *славян(ин)*, *северян(ин)* и под. В древнерусских источниках (начиная с конца XIV в.) это слово встречается в формах *сырьяне, серьяне, сиряне, суряне*, и его принято связывать с фонетически сходными названиями рек на западной стороне Урала (Сурья, Серья и т.д.) или, согласно другому объяснению, выводить из манс. saran 'коми',

* Следует заметить, что в коми-пермяцком литературном языке насчитывается 17 падежей, в оньковском и в нижнеиньвенском диалектах насчитывается 28 падежей, в кудымкарско-иньвенском – 24 падежа, в кочевском, в косинско-камском, мысовском, верх-лупьинском диалектах и в верхнекамском наречии – 19 падежных форм. – *Прим. Р. М. Баталовой.*

хант. saran-jaχ 'коми', предполагая для этих этнонимов исходное значение 'морской, живущий у моря'. Недавно А. И. Попов связал данное слово с зафиксированным в 1472 г. именем одного из предводителей коми – *Зырян*, что, если и не является убедительным объяснением, заслуживает внимания.

Название *пермяк* не требует особых комментариев: оно связано с этнонимом *пермь*, обсуждавшимся в вводной части.

Самоназвание komi используется как коми-зырянами, так и коми-пермяками, язьвинцами и кировскими пермяками, то есть всеми группами коми. Это слово фигурирует также в сложениях kom(i)-mu 'земля коми', komi-mort 'коми-человек'. По всей вероятности, оно родственно венг. hím 'самец', манс. χum 'мужчина, человек', сельк. qum 'человек'; по-видимому, сюда же можно отнести ныне уже вышедшее из самостоятельного употребления удм. *kumj 'человек', которое реконструируется на основании словосложения (притяжательной конструкции) vi̯ži̯-kumj 'род, семья'[1].

Выделение трех охарактеризованных выше наречий коми не дает точного отражения диалектного членения языка, поскольку обособленность их является результатом главным образом географической изоляции*. Наречия можно подразделить на более мелкие диалекты и говоры, в целом обладающие теми же признаками, которые характерны для наречий, хотя иногда встречаются говоры, интересные своими структурно-грамматическими инновациями. Так, в оньковском говоре коми-пермяцкого языка за счет усечения послелогов di̯ni̯n 'у', di̯ne̯ 'к', di̯niś 'от', di̯ne̯t´ 'вдоль', di̯ne̯ǯ 'до' сформировались новые окончания адессива, иллатива, аблатива, пролатива и терминатива, имеющие вид -di̯n, -de̯, -diś, -de̯t´, -de̯ǯ[2].

Не имея здесь возможности охарактеризовать каждый из говоров в отдельности, мы ограничимся краткими сведениями о дальнейшем членении основных наречий и упоминанием всего одного, но весьма примечательного фонетического явления, на основании которого диалекты коми можно подразделить на легко обозримые типы.

В число коми-зырянских диалектов входят нижневычегодский, верхневычегодский, среднесысольский, присыктывкарский, верхнесысольский, удорский, ижемский, вымский, печорский и лузско-летский.

[1] См. Fokos D.: NyK, 55, 1954, с. 249-251.

* Следует заметить, что кроме географических условий, можно говорить еще и о сложившихся экономических связях, а также о политико-административном делении в прошлом и настоящем. – *Прим. Р. М. Баталовой.*

[2] См. Р. М. Баталова. Коми-пермяцкая диалектология, М., 1975.

В северное наречие коми-пермяцкого языка входят кочевский, косинско-камский, мысовский и верх-лупьинский диалекты, в южное – кудымкарско-иньвенские, нердвинский, нижнеиньвенский и оньковский диалекты. На юго-западе к ним примыкает верхнекамское или зюздинское наречие.

В 150 км к востоку от Коми-Пермяцкого АО располагается третье наречие – коми-язьвинское, которое находится в изолированном положении и характеризуется относительным единством.

Своеобразная фонетическая характеристика, на основании которой можно сгруппировать говоры коми по типам, состоит в отражении этимологического звука l: неначально-слоговой l в одних говорах сохранился без изменений, а в других перешел в v или полностью исчез. На основании судьбы l говоры коми можно подразделить на четыре типа (согласно работам проф. В. И. Лыткина):

1) Эловый тип: l сохранился без изменений (lol 'душа'). Эта особенность, именуемая также сысольским типом, характерна для языка сысольских, лузских и печорских коми, для некоторых коми-пермяцких диалектов (северных, оньковского* и нердвинского), а также для коми-язьвинского.

2) Вэ-эловый тип: этимологический l превратился в v в конце слова и внутри слова перед согласным, а внутри слова перед гласным сохранился (lov 'душа': абл. lov-ljś, но элат. lol-jś). Это явление встречается главным образом в бассейне Вычегды (сюда относятся также говоры Удоры, Сыктывкара и устья Выми). Вычегодский тип вклинивается между говорами центрального, сысольского типа.

3) Нуль-эловый тип: в конце слова и внутри слова перед согласным l исчезает (вследствие чего удлиняется предшествующий гласный), но внутри слова перед гласным этот звук сохраняется (например, lō 'душа': абл. lō-ljś, элат. lol-jś). Этот тип с двух сторон окаймляет два первых: он распространен на ижемской диалектной территории, к юго-востоку от нее (на Верхней Печоре) и к западу от нее (до верхнего течения Выми).

4) Безэловый тип (v-тип): в нем любой этимологический l превратился в v (vov 'душа': абл. vov-vjś, элат. vov-jś). Сюда можно отнести южные (кудымкарско-иньвенские) и нижнеиньвенские диалекты коми-пермяцкого языка.

Примерно 33% коми говорит на диалектах 1-го типа, 25% – на диалектах 2-го, 18% – 3-го и 24% – 4-го, то есть распределение почти равномерное. Коми-зырянский и коми-пермяцкий литературные языки ориентированы на вэ-эловый тип.

* Оньковский диалект представляет совершенно новый тип (по употреблению звуков *л* и *в*) – так наз. "безвэвовый". – *Прим. Р. М. Баталовой.*

Выдающимся событием в истории языка коми была деятельность епископа Стефана Пермского (Степана Храпа), впоследствии канонизированного. Отдавая убеждению предпочтение перед насилием в деле христианизации, он в молодости выучил язык коми и стремился, чтобы члены его миссии также вели свою работу на родном для народа языке. Безусловно, конструктивным шагом в формировании письменности коми было введение церковной службы на языке коми, результатом чего явилась разработка древнепермской системы письма, связываемой с именем Стефана. Древнепермская азбука, или, как она называется по своим двум первым буквам, *абур* (~~В=bur~~), была создана в конце XIV в. с использованием букв греческого и кириллического алфавитов и их модификаций. Сохранились памятники древнепермской письменности в списках XV—XVII вв. В их числе – надпись на языке коми на иконе, отрывок литургического текста, глоссы и другие фрагменты. Значение этих текстов для истории языка велико: лишь очень немногие из уральских языков представлены столь древними текстовыми памятниками. К сожалению, древнепермская письменность все же не стала общим достоянием коми и не заложила основ литературного языка коми (*хотя и могла бы стать пригодной для этого*): сохраняя до самого конца церковный характер, она могла быть известна лишь очень ограниченной части носителей языка и вскоре была предана забвению.

Таким образом, формирование литературного языка коми заставило себя ждать еще несколько столетий: по сути дела, первые решительные шаги в этом направлении делают во второй половине XIX в. и на рубеже нашего века И. А. Куратов (1837—1875) и Г. С. Лыткин (1835—1906), но расцвет литературной жизни коми наступает только в 20 – 30 гг. нашего века.

В лексике коми языка сохраняется несколько кареловепсских заимствований, проникших ранее XIV в.; позднее (с XVI в.?) к ним добавилось несколько десятков слов мансийского и хантыйского происхождения, а в некоторых (северных) говорах – почти сто ненецких заимствований, однако наиболее значительную часть заимствованной лексики составляют слова русского происхождения. Среднебулгарские (чувашские) заимствования уже не коснулись коми языка, поскольку ко времени установления связей с булгарами (VIII—IX вв.) пермская общность уже распадалась, и эти заимствования достигли лишь южной (удмуртской) части пермской языковой территории. Тем не менее в последние годы К. Редеи и А. Рона-Таш указали на возможность того, что небольшая группа (не более 10 слов) чувашских заимствований более позднего времени (X—XI вв.) проникла через удмуртское посредство в коми-пермяцкий язык.

Удмуртский язык

Удмурты (вотяки) живут южнее родственных им коми, в основном на территории, ограниченной нижними течениями Камы и Вятки, хотя отдельные удмуртские поселения встречаются также к югу и к востоку от Камы, а также к западу от Вятки.

По данным переписи 1970 г., численность удмуртов – 704 тыс. человек, 82,6% которых считают родным языком удмуртский. Большинство из них живет на территории Удмуртской АССР (42 тыс. км²; столица – Ижевск), составляя около половины населения республики (где, кроме них, живут главным образом русские, а также марийцы и татары).

Самоназвание udmurt представляет собой сложное слово. Второй его компонент (murt, ср. коми mort, морд. mirʹdʹe 'муж') – слово со значением 'человек', возводимое к праформе *mertä, которая может быть праиранским заимствованием, связанным с и.-е. основой *mer- (ср. авест. marta- 'мертвый')[1]

Значение и происхождение первого компонента, ud-, неясно. Согласно одной из этимологических гипотез (К. Раданович), его можно отождествить со словом ud 'всходы, росток' (~коми od 'луговая зелень, всходы'), предполагая, что исходным было значение 'луг, поле'; в этом случае ud-murt означало бы буквально 'луговой человек' (ср. название *луговые марийцы*). Но значение 'луг' у удм. ud довольно гипотетично, ввиду чего к данному объяснению следует отнестись с осторожностью. Представляется, однако, несомненной связь первого компонента с марийским словом odo (или odo-mari) 'удмурт'. Поэтому весьма вероятно, что источник слова ud-murt следует искать не в вышеупомянутом пермском нарицательном существительном, а в каком-то древнем и ныне уже плохо поддающемся этимологизации этнониме[2].

На это же указывает и тот факт, что в древнерусских источниках в качестве названия удмуртов встречаются формы *оты* (множественное число), *отынъ*, *отякъ*, возникшие из *odъ. Таким образом, этноним *вотяк* – внешнее название удмуртов, распространенное в дореволюционной и зарубежной специальной литературе, – возник на русской почве за счет протезы *в*

[1] Ранее источником удм. murt считался другой аблаутный вариант этой же и.-е. основы (ср. скр. marta- 'смертный, человек'), отраженный в качестве параллельного заимствования финским marras~marraa- 'умирающий, мертвый' и родственными последнему словами.

[2] В казанском диалекте рассматриваемый этноним звучит urt-mort. Необычный облик первого компонента обусловлен, согласно одному из объяснений, уподоблением его второму компоненту, а согласно другому объяснению – народноэтимологической заменой этнонима ud, утратившего нарицательное значение, словом с позитивной семантикой ('милый, симпатичный').

(*воть* 'удмурты, удмуртский народ') и суффикса *-як*. — Помимо указанных выше, у удмуртов есть еще одно название: живущие к югу от них казанские татары называют удмуртов ar; в течение некоторого времени (в XV–XVI вв.) этот этноним встречался и в русских источниках (в форме *арь, арские люди, арянин*). Тат. ar 'удмурт', по всей вероятности, происходит от тюркского слова **är* 'человек', которое в чувашском языке звучит как ar.

Большинство носителей удмуртского языка живет компактной массой, поэтому междиалектные различия сравнительно невелики и имеют главным образом фонетическую природу. Разумеется, существует — особенно за пределами Удмуртской АССР — много изолированных диалектных островков, отношение которых к крупным диалектным подразделениям часто не вполне ясно. К сожалению, в диалектологическом отношении удмуртский язык изучен меньше, чем коми, и хотя записи Ю. Вихмана, Б. Мункачи и Т. Аминоффа содержат ценный диалектный материал, систематизация удмуртских диалектов началась лишь в последнее десятилетие. На основании недавно опубликованных работ можно выделить северную, среднюю, юго-восточную и юго-западную группы удмуртских диалектов.

В северную группу входят в первую очередь диалекты по р. Чепца (в том числе слободской, глазовский, тыловайский*, косинский и бесермянский[1]), в среднюю — некоторые переходные диалекты, главным образом в пограничных районах Удмуртской АССР (например, кильмезский, уржумский), в юго-восточную — диалекты южных районов Удмуртской АССР, а также удмуртские диалекты территории Башкирской и Татарской АССР (малмыжско-уржумский, сарапульский, ела-

* Тыловайский говор, в литературе последних лет именуемый *итинским*, относится к переходным говорам (из устного сообщения Т. И. Тепляшиной). — *Прим. ред.*

[1] Вместе с тем бесермяне являются этнически обособленной группой; так именуют обудмуртившуюся группу татар.

[Существует иная точка зрения, согласно которой бесермянская этническая группа представляет собой ответвление (отколовшаяся часть) одной из групп древнебулгарских племен. См. Тихомиров М. Н. Бесермены в русских источниках. — В кн.: "Исследования по отечественному источниковедению" ("Труды Ленинградского Отделения Института истории АН СССР"), вып. 7, М.–Л. 1964; Белицер В. Н. Удмурты. — В кн. "Народы Европейской части СССР", т. II, М. 1964, с. 474; она же. К вопросу о происхождении бесермян (по материалам одежды). — "Труды Института этнографии им. Миклухо-Маклая", Новая серия, т. X. М., 1951, с. 106; Тепляшина Т. И. Язык бесермян. М., 1970, с. 243–244; она же. Этноним *бесермяне*. — В кн.: "Этнонимы". Сборник статей. М. 1970, с. 184; она же. Древнебулгарские субстратные явления в языке бесермян. — Congressus tertius internationalis finno-ugristarum, Pars I, Acta Linguistica, Tallinn, 1975, с. 562–567 и др. — *Прим. ред.*]

бужский, бугульминский, уфимский), в юго-западную[1] – распространенные за пределами Удмуртской АССР малмыжский*, шошминский, казанский, кукморский, бавлинский, татышлинский диалекты.

Конечно, внутри выделяемых этой классификацией групп в сфере фонетики и морфологии отдельных говоров можно отметить немаловажные присущие им особенности, отчасти и такие, которые представлены в говорах других диалектных групп. Например, в бесермянском диалекте, который относится к северной группе, звуку u литературного языка и глазовского диалекта (puni̯ 'собака', kus 'поясница, талия') соответствует, как правило, ə̃ (pə̂nə̃, kə̂s); в средней группе диалектов эти слова содержат i̯ (pi̯ni̯, ki̯s), а в юго-западной – *ш* (p*ш*nə̃, k*ш*s), однако в казанском диалекте, который можно отнести к последней группе, в одних словах представлен только *ш* (k*ш*s), а в других e̯ (pe̯ne̯), что напоминает бесермянское соответствие.

Что касается основных различий между северной и южными группами, то здесь принято указывать на соответствие сев -m: юго-вост., юго-зап. -ŋ (например, литер., глазовск., сарапульск. bam 'лицо' ~ казанск., малмыжск., елабужск., малмыжско-уржумск. baŋ) или на то, что билабиальному звуку w юго-западных диалектов соответствует звук l остальных диалектов (литер. skal 'корова' ~ сев., средн. iskal, si̯kal ~ юго-зап. skow) Однако, согласно Ю. Вихману, произношение с w наблюдается уже в юго-восточных малмыжско-уржумском (skåu̯) и елабужском (våu̯ = литер. val ~ юго-зап. wow 'лошадь') диалектах.

Во многих работах можно встретить утверждение, что окончание аккузатива множественного числа в северных диалектах встречается в форме -ti̯, а в диалектах южного типа – в форме -i̯z. Это также в основном соответствует действительности, но точное картографирование данного явления все же свидетельствует о гораздо более сложном распределении. Фактически налицо шесть различных окончаний аккузатива мн.ч.: наряду с окончаниями типа сев. -ti̯ и южн. -i̯z ситуацию разнообразят встречающиеся на севере -tə и чередующиеся -tə~-əz, характерные для диалектов средней группы -di̯s~-di̯z, а также представленное в южных районах (преимущественно на периферии юго-восточной и юго-западной групп) -əz[2].

[1] В. К. Кельмаков применяет к этим диалектам термин "периферийно-южная" диалектная группа.

* Термин *малмыжский* Ю. Вихман употреблял по отношению к говору дер *Чужьялово* современного Вавожского р-на Удмуртии (бывш. Малмужского уезда). Этот говор удмуртоведы ныне именуют *средневалинским* (из устного сообщения Т. И. Тепляшиной). – *Прим. ред.*

[2] Т И Тепляшина, СФУ, XI, 1975, с. 184 (карты).

Письменные памятники удмуртского языка появляются с XVIII в. Среди них выделяется первая удмуртская грамматика, изданная в 1775 г. в Петербурге. В ней встречается около 1400 удмуртских слов. Однако литературный язык формируется лишь после Октябрьской революции. Первые удмуртские писатели пытались утвердить в качестве литературной нормы свои собственные диалекты, вследствие чего в 20 – 30-х гг. имел место довольно резкий антагонизм между писателями, оказавшими предпочтение южным и северным диалектным формам, пока в конечном счете не утвердилась современная практика, в соответствии с которой литературный язык основывается на так называемых переходных (средних) диалектах, но допускает и расширение лексики за счет инодиалектных слов. На основе этого принципа и сформировался единый удмуртский литературный язык, что оказалось недостижимым ни для коми, ни для мордвы (не говоря уже об обско-угорских языках со значительно большим диалектным дроблением).

В удмуртском языке существует, не считая "чужих", не освоенных языком слов, по меньшей мере 600 русских заимствований, проникших в основном еще в XVII–XVIII вв. и адаптированных применительно к удмуртской фонетике. Можно считать, что они распределены по отдельным диалектным областям равномерно. Иначе обстоит дело с татарскими заимствованиями, большинство которых распространено в южных диалектах. Естественно, влияние татарского языка сказалось и на северной диалектной области, поскольку с XIII в. до середины XVI в. (1236–1552 гг.) удмурты находились в сфере влияния Казанского ханства. Часть удмуртских диалектов до сих пор находится в татарском (и башкирском) окружении, ввиду чего число татарских и башкирских заимствований (представленных преимущественно в этих диалектах) является, во всяком случае, не меньшим, чем число заимствований из русского языка (к сожалению, монографического исследования этого слоя удмуртской лексики не существует).

Наиболее ранними по времени следует считать булгарско-тюркские (чувашские) заимствования, которых насчитывается около 130–140. Связи удмуртов с Булгарским государством завязались еще накануне распада пермской языковой общности, в VIII–IX вв., и были весьма интенсивны вплоть до монгольского нашествия (1236 г.), а контакты с потомками былых завоевателей, чувашами, сохраняются даже до наших дней. Некоторые исследователи уже много десятилетий назад занимались чувашскими заимствованиями удмуртского языка, однако результаты изучения этого лексического слоя также заслуживают пересмотра в рамках специальной монографии с привлечением нового диалектного материала.

6–7. Волжские языки

Явлений, общих только для двух относящихся сюда языков, так мало, что в последнее время вера в существование их непосредственного предшественника, волжского праязыка, сильно пошатнулась. Те черты, которые принято считать восходящими к так называемому волжскому праязыку, представлены, как правило, и в других ответвлениях уральской языковой семьи. Так, частичное совпадение суффиксов инфинитива (мар. -aš, морд. -(m)s), действительно, показательно, однако соответствующий формант представлен и в самодийских языках. Разумеется, это ни в коей мере не служит основанием для того, чтобы возводить появление данной категории к уральской эпохе, а лишь указывает на необязательность трактовки формирования инфинитива с подобным суффиксом как собственно волжской инновации: использование существовавшего и ранее форманта (с лативным значением) в функции суффикса инфинитива в мордовском и марийском языках не предполагает непременного наличия волжского праязыка, а может быть объяснено и как конвергентное ареальное явление. Это относится и к большинству других мордовско-марийских языковых параллелей. Черты общности в склонении имен восходят к финно-угорской эпохе (инессив, элатив, латив) или даже к еще более древнему периоду (генитив, аккузатив); то же можно сказать и о спряжении глагола. В структуре, фонетике и даже лексике двух этих языков имеются значительные расхождения: взаимопонимание их носителей заведомо невозможно, то есть ситуация не та, что, например, в случае с двумя пермскими языками. Вероятно, достаточно будет в этой связи указать на такие показательные расхождения, как то, что в мордовском имеются определенное (объектное) спряжение у глагола и указательное склонение у имен, отсутствующие в марийском, и что системы глагольных времен и даже наклонений в этих двух языках также существенно различаются, не говоря уже о расхождениях в падежной системе, лично-притяжательном склонении и способах выражения множественности.

Марийский язык

Северная часть волжской группы представлена марийцами. Их численность – 599 тыс. человек, из которых 91,2% пользуются марийским языком и считают его родным. Марийцы расселились на значительной территории.

Около половины марийцев живет в Марийской АССР (площадь – 23 тыс. кв. км), на территории волжского левобережья,

ограниченной реками Ветлуга и Вятка, а также на правом берегу Волги севернее низовий Суры. Другая крупная группа находится за пределами Марийской АССР, в бассейне рек Белая и Уфа, на территории Башкирии (а небольшие разрозненные группы марийцев встречаются также в Татарской и Удмуртской АССР).

Самоназвание mari (~marij, marə̑) первоначально употреблялось в значении 'человек, мужчина', которое сохранилось у этого слова и поныне. В вопросе о его происхождении нет полной ясности. Сопоставимых с ним слов в других уральских языках нет, однако его связывают с индоевропейским словом сходного значения, которое могло попасть в марийский язык из среднеиранского: ср. др.-инд. máryaḥ 'молодой человек, юноша', авест. maŋya- 'парень, юноша', др.-перс. marīka (< *mariya-ka-) 'подданный, дружинник' и т.д. Согласно А. Й. Йоки, возможным источником допустимо считать не только среднеиранский язык, поскольку данное слово проникло из древнеосетинского также и в кавказские языки (чеченск. mār, mārі, mujr 'человек, мужчина', ингушск. mar – то же, 'муж'); таким образом, путь заимствования можно очертить и с учетом этого обстоятельства.

Внешнее название марийцев – черемисы – вошло в употребление в мировой литературе через посредство русского языка. Этот этноним встречается уже в средневековых русских летописях, но он не поддается расшифровке на основании ни русского, ни других славянских языков. Следует считать вероятным, что этноним *черемис* русские заимствовали у какого-то народа, который был связан с марийцами уже задолго до них. С учетом истории марийцев можно полагать, что этим народом были, скорее всего, волжские булгары. Вероятность такого предположения поддерживается тем обстоятельством, что современные чуваши – потомки волжских булгар – называют марийцев śarmiś (ср. также тат. čirmis). Достоверной этимологии у этого слова тоже нет: некоторые исследователи считают его производным от чув. śarə 'армия' (которое, кстати, представлено и среди заимствований булгарского характера в венгерском языке, относящихся к эпохе до расселения венгров на современной территории: венг. sereg 'войско'; ср. также чагатайск. čárik, шорск. šärig и т.д.). Хотя эта этимология не вполне убедительна, несомненно, что сам этноним весьма древний и что его можно отождествить с фигурирующим в хазарском источнике X в. (письмо кагана Иосифа) словом Carmis – названием одного из народов Поволжья. Очевидно, хазары также смогли узнать об этом народе через предков чувашей, волжских булгар. После этого уже не вызывает удивления то, что арабские авторы X–XIII вв. тоже упоминают о народе с названием carmis. Особенно сложен вопрос о том, имеют ли все эти варианты этнонима отношение к слову Imniscaris, которое встре-

чается в знаменитом сочинении историографа VI в. Йордана "Getica" при перечислении северных народов, завоеванных в IV в. готским королем Германарихом. Формы Imniscaris и *черемис* достаточно сильно различаются, и объяснить их возможную связь не удается. Все же нельзя отвергнуть предположение о том, что Imniscaris отражает некую искаженную, испорченную форму названия марийцев, хотя бы уже потому, что в перечне народов это слово следует за этнонимами Merens и Mordens. Из двух последних Mordens, по всей вероятности, обозначает мордву, а Merens можно соотнести с названием ныне исчезнувшего волжского финно-угорского народа м е р я, который представлял собой близкое марийцам этническое подразделение. Таким образом, из сообщения Йордана совершенно ясно, что уже к VI в. и даже к IV в. проводилось разграничение между отдельными волжскими финно-угорскими народами. Это можно расценивать как то, что уже в эту древнюю эпоху существовали самостоятельные марийский и мордовский языки.

Согласно существующей практике, марийские диалекты подразделяются на две или три группы (наречия) на основании отчасти языковых особенностей, отчасти же географического размещения населения*. На территории Марийской АССР, на левом берегу Волги, живут так называемые *луговые марийцы*, составляющие бо́льшую часть народа. На другом же берегу реки говорят на так называемом *горномарийском* наречии. Вместо лугового и горного можно было бы различать восточное и западное наречия марийского языка, но такая терминология все же не вошла в общий обиход, так как помимо этих двух основных наречий (для которых созданы два различных литературных языка) имеется третья диалектная группа, представленная марийским населением Башкирии, которое принято называть *восточными* марийцами. Восточномарийское наречие отличается от лугового в основном лексически (за счет обилия башкирских и татарских заимствований), но по существу тождественно ему по грамматической структуре, поэтому попытки создать на его основе особый литературный язык потерпели нёудачу. После отказа марийцев Башкирии от установки на создание самостоятельного литературного языка возник благодаря интеграции *лугово-восточный* литературный язык, обслуживающий 80% марийцев. По сравнению с ним гор-

* В финно-угроведении существует также другая классификация диалектов марийского языка. Так, языковеды Марийской республики различают в марийском четыре наречия с их говорами: луговое, горное, восточное и северо-западное (см. Л. П. Г р у з о в. Фонетика диалектов марийского языка в историческом освещении. Йошкар-Ола, 1965, с. 7). — *Прим. редакции.*

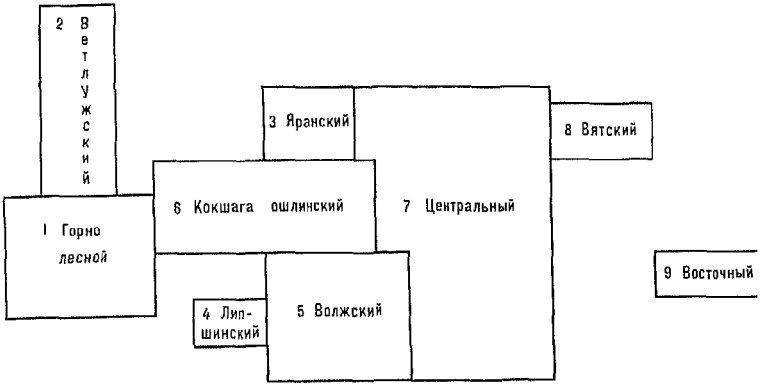
номарийский литературный язык обладает меньшей значимостью. Лугово-восточный литературный язык основывается на моркинско-сернурском говоре, а горномарийский литературный язык – на козьмодемьянском говоре. Уже предпринимались попытки объединения этих двух параллельно существующих литературных языков; вероятно, в ходе дальнейшего развития это стремление к унификации раньше или позже увенчается успехом.

В исследовательской практике зафиксировано, разумеется, много более мелких диалектных подразделений, большинство которых названо по административным единицам, соответствующим местам жительства информантов, однако до сих пор их систематизации уделялось недостаточно внимания (чаще всего дело ограничивалось перечнем основных различий между двумя наречиями – западным и восточным). Основываясь на работах советских авторов и полевых исследованиях венгерского лингвиста Габора Берецки, совершившего ряд поездок к марийцам, марийские диалекты можно (до завершения более подробной диалектологической монографии) классифицировать по их системным особенностям следующим образом: 1) горно-лесной диалект. Сюда можно отнести горномарийский (козьмодемьянский) говор на правом берегу Волги и говор лесных марийцев (kožla marə̑) на левом берегу Волги, в Килемарском р-не на севере Марийской АССР; 2) расположенная к северо-западу от него ветлужская диалектная область (по реке Ветлуге, преимущественно в Тоншаевском р-не Горьковской области), довольно близкая горно-лесному диалекту; 3) яранский диалект, занимающий изолированное положение к северо-востоку от горно-лесного диалекта и сходный с ним во многих отношениях; 4) липшинский диалектный островок (Звениговский р-н), сохраняющий архаичное состояние горно-лесного диалекта; 5) волжская диалектная область, которая тянется от него к востоку по левому берегу Волги (для нее характерны "цоканье"* и наличие редуцированных фонем ӹ и ӱ); 6) кокшага-ошлинская (или йошкар-олинская) диалектная область, расположенная к северу от волжской и во многих отношениях объединяющаяся с ней; она образует своего рода переход от западных диалектов к восточным (в ней представлены ӹ и ӱ, отчасти цоканье, но в отношении ударения она ближе западным диалектам; в ней начинает утверждаться восточное "чоканье"); 7) обширная и относительно единая центральная диалектная область (или, иначе, моркинско-сернурский говор), расположенная восточнее кокшага-ошлинской и служащая основой собственно

* Автор не совсем точен: в данном диалекте имеет место не "цоканье", а "чоканье". – *Прим. ред.*

марийского (лугово-восточного) литературного языка: в ней отсутствуют две вышеупомянутые редуцированные гласные фонемы и гармония гласных, а развития ауслаутных редуцированных гласных в о, е, о не происходило; 8) вятские (по терминологии Г. Берецки; по Э. Беке и Ю. Вихману – малмыжский) говоры в восточной части республики и к востоку от ее границы, в Татарской АССР; 9) для обозначения говоров марийцев, рассеянных по территории Башкирии, Пермской и Свердловской областям, можно пользоваться названием "восточно-марийские" в собственном смысле (несмотря на то что в более широком понимании восточными являются также и диалекты, указанные в пп. 7 и 8).

Схема расположения марийских диалектов (по Г. Берецки, с модификациями)



Укажем некоторые из различий между двумя марийскими литературными языками:

	Лугово-восточный	Горный
Инессив Иллатив	-što, -šte -ško, -ške	-štə̂ -škə̂
Лично-прит. суфф. 3 л. ед. ч.	-(ə̂)že, -(ə̂)žo, -(ə̂)žo, -(ə̂)še, -(ə̂)šo, -(ə̂)šo	-(ə̂)žə̂, -šə̂
Мн. ч.	-wlak	-wla

Личные окончания глагола совпадают, за исключением некоторых, – например, окончаний 1-го прошедшего времени во 2 лице ед.ч. (лугово-вост. -ə̑č, горн. -ə̑c) и в 3 лице мн.ч. (лугово-вост. -ə̑č или -t, горн. -ewə̑).

Довольно примечательны расхождения в формах отрицательного спряжения глагола:

	Настоящее время		
Лугово-восточный		Горный	
om už	'не вижу'	am lə̑d	'не читаю'
ot už	'не видишь'	at lə̑d	'не читаешь'
ogeš už	'не видит'	ak (aγeš) lə̑d	'не читает'
oγə̑na(ona) už	'не видим'	ana lə̑d	'не читаем'
oγə̑da (oda) už	'не видите'	ada lə̑d	'не читаете'
oγə̑t už	'не видят'	ak lə̑dep	'не читают'

Этими примерами мы постарались продемонстрировать наиболее заметные расхождения; иллюстративный материал показывает, что надежда на скорую интеграцию двух литературных языков имеет под собой реальные основания.

Первые письменные памятники марийского языка относятся к XVII-XVIII вв. Наряду с записями Витсена, Мессершмидта, Страленберга, Фишера очень важны два рукописных словаря конца XVIII в. (первый из них содержит 3000 слов, второй – 6000) и изданная в 1775 г. марийская грамматика. Однако подлинная художественная литература – после попыток создания церковной литературы, относящихся к XIX в., – начинает развиваться на диалектной основе лишь в нашем столетии с появлением произведений С. Г. Чавайна (1888–1942) и М. Шкетана (1898–1937).

В ходе истории марийского языка наибольшее влияние на него оказали три языка: чувашский, татарский и русский. Первым хронологически является чувашское влияние: связи марийцев с предками чувашей, булгарами, установились в VIII в. н.э. и были наиболее сильны в период существования Волжской Булгарии, то есть до 1236 г. Тем не менее, выявить в марийском языке булгарско-тюркские элементы трудно: нам не кажется, что представленные в нем чувашизмы заимствованы ранее XIII в. В некоторых местах – преимущественно в юго-западной части территории расселения марийцев, где сохранилось чувашское окружение, – влияние чувашского языка было особенно устойчивым. Число чувашских заимствований составляет около полутора тысяч, причем в эту цифру не включены лексические кальки. Кроме того, чувашское влияние не ограничилось одной только лексикой: оно проявляется в фонетике, синтаксисе и даже в морфологии.

Татарское нашествие в 1236 г. повлекло за собой массовые миграции и расселение марийцев и татар на смежных территориях, вследствие чего было заимствовано значительное число татарских слов. Влияние татарского языка на марийцев, живущих в татарском окружении (в восточной части Марийской АССР и в Башкирии) не прекратилось до сих пор. В других местах, однако, значимость этого языка снизилась с падением Казанского ханства (1552 г.): марийцы оказались в составе Русского государства, и с этих пор важнейшим источником новых слов можно считать русский язык. Но, несмотря на обильное заимствование русских слов, марийский язык по значимости включенных в него элементов тюркского происхождения стоит на первом месте среди финно-угорских языков.

В марийском, как и в других финно-угорских языках, встречаются и иранские заимствования, однако большинство из них не является наследием непосредственных марийско-иранских связей.

Мордовский язык

По числу носителей мордовский язык следует за венгерским и финским: численность мордвы составляла в 1970 г. 1263 тыс. человек. При своей сравнительно высокой численности этот народ очень раздроблен и на отдельных участках его территории преобладает иноязычное (русское, татарское, башкирское, чувашское) население. Раздробленность мордвы объясняется еще и тем, что на территории Мордовской АССР, составляющей 26 тыс. кв. км, живет всего 365 тыс. мордвинов, большая же их часть расселена разрозненными группами в Пензенской (106 тыс.), Куйбышевской (118 тыс.), Оренбургской (92 тыс.), Ульяновской (70 тыс.), Горьковской (52 тыс.) областях, в Башкирской АССР (41 тыс.), Татарской АССР (31 тыс.), Чувашской АССР (21 тыс.), Саратовской области (24 тыс.) и в различных районах Сибири; немало мордовских поселений встречается и во многих других местах — от Дальнего Востока до Украины. Этими обстоятельствами и объясняется тот факт, что лишь 77,8% лиц мордовской национальности говорит на родном языке.

Наиболее крупные группы мордвы сосредоточены в бассейнах рек Мокши и Суры, однако и восточнее, в районах между Волгой и Белой, расположено много мордовских поселений.

В диалектном, этническом и антропологическом отношениях мордва делится на две обособленные группы: западную группу, живущую в районе реки Мокши, которую называют мордва-мокша (или просто мокша), и восточную в долине реки Суры —

мордва-эрзя[1]. Границей между этими двумя группами можно считать реку Инсар (приток Алатыря), однако в мордовских деревнях, расположенных к востоку от Волги, наблюдается довольно пестрое чередование эрзянского и мокшанского населения.

Первым упоминанием этнонима *мордва, мордвин* принято считать сообщение о Mordens (где -ns может быть готским окончанием) у Йордана (VI в.). Позднее Константин Багрянородный (Порфирогенет, 913–959) в своем труде "De administrando imperio" (ок. 950 г.) упоминает в главе 37-й Мордию (Μορδία), удаленную от страны печенегов на 10 дней пути. В русских летописях это же название появляется в форме *Мордва* (с суффиксом собирательного значения); согласный *в* в русском слове, вероятно, вторичен, так как в наиболее древнем источнике этот согласный отсутствует. Венгерский монах Юлиан по возвращении из Волжской Булгарии (1235 г.) также сообщает о "regnum Morduanorum" (здесь элемент v содержится). Основа mord-, возможно, имеет иранское происхождение; ср. др.-инд. mártaḥ 'человек, смертный', авест. marᵊta- – то же, новоперс., таджикск. mard 'мужчина, муж, человек'. Тем не менее ее нельзя отождествить с коми mort 'человек, мужчина', удм. murt (ср. ud-murt), которые также восходят к форме иранского происхождения *mertä, имеющей соответствие и в современном мордовском языке: эрзя ḿiŕd´e, мокша ḿiŕd´ä, ḿə̂ŕd´ä 'мужчина, муж, супруг'. Последнее слово не является, конечно, этнонимом, но и этноним *мордва* самими мордвинами не употребляется. Они пользуются исключительно самоназваниями *эрзя* или *мокша*. Этимология данных названий совершенно неясна. Сопоставление этнонима *эрзя* (ср. эрзя eŕźa, eŕʒ́a, мокша eŕźä, eŕʒ́ä) с названием города Рязани абсолютно невероятно. Сравнение с мордовским названием города Арзамаса – *Эрзямас* (где -mas может быть каким-то суффиксом) нисколько не меняет дела: оно также не раскрывает этимологию слова eŕźa. Спорным, хотя и заслуживающим дальнейшего изучения, представляется мнение о наличии связи между народом Arisu на Оке, который упомянут

[1] Особыми этническими группами мордвы принято считать терюхан и каратаев. В языковом отношении они, однако, уже не могут быть причислены к мордве. Терюхане (около 16 тыс. человек), проживающие в междуречье Волги и Оки (Горьковская обл.), стали русскоязычными в конце XVIII в. До этого они относились к эрзя-мордовской группе, и память о мордовском происхождении жива среди них до сих пор. Каратаи составляют население трех деревень в Татарской АССР; еще в XVII в. они говорили по-мордовски, но впоследствии отатарились (и пользуются одним из западных диалектов татарского языка). Однако в их лексике до сих пор сохранилось несколько мордовских слов, а самоназвание каратаев mukča восходит к этнониму *мокша* (хотя среди мордвы-каратаев имеются, возможно, и потомки эрзи).

хазарским каганом Иосифом (X в.), и эрзей. Это, однако, тоже не создает, к сожалению, новой точки опоры для этимологии, равно как и недостаточно ясные этнонимы Ardani, Erdani, Arsaija (~Asanija) в арабских источниках; чтение этих этнонимов до сих пор проблематично.

Этноним *мокша* встречается, помимо мордовского языка, в чувашском (mə̂kšə̂), татарском (mukšj, у каратаев – mukča) и, естественно, в русском (во все эти языки он, очевидно, попал из мордовского), однако его происхождение, как и в случае с названием эрзи, неясно.

От этого этнонима неотделимо название реки Мокши (правого притока Оки), но гидроним вряд ли исходен, хотя бы уже потому, что в мокшанских говорах эта река называется Jov (~фин. joki, ст.-венг. jó 'река'). Нельзя полностью исключить славянское происхождение гидронима *Мокша* (ср. *мокоша**, *мокрый*), однако расселение славян в этом районе относится к позднему времени, ввиду чего вопрос остается открытым. От названия реки образовано также слово *мокшан* 'вид лодки, используемый на реке Мокша'. Можно предполагать, что сюда относится упомянутый в начале XIII в. Рубруком этноним *моксел*: "*Moxel* ultra Tanaim ad aquilonem...", хотя далее следует: "post illos sunt alii qui dicuntur *Merdas*, quos Latini vocant *Mordinos*...".

Первые мордовские языковые памятники – небольшие списки слов – относятся, как и памятники большинства других финно-угорских языков, к XVII в. Более полные словари были созданы только в XVIII в.; среди них обладает исключительной значимостью мордовский материал (около 11 тыс. слов) словаря Дамаскина (1785 г.). Начало письменности положили религиозные издания и азбуки Казанского миссионерского общества во второй половине XIX в., но оригинальная художественная литература смогла появиться лишь после 1917 г., причем в двух различных языковых формах: на мокшанском и на эрзянском, которые и сейчас являются самостоятельными литературными языками. Вначале попытки выбора диалектных основ для двух литературных языков были бессистемными: каждый из авторов исходил из своего собственного диалекта, имевшего ограниченное распространение; в конечном счете в качестве нормы литературного варианта эрзянского языка был избран козловский говор, а нормой мокшанского литературного языка стал так называемый центральный (краснослободско-темниковский) диалект.

Уже указывалось, что связи мордовского языка с прибал-

[4] Диалектное (череповецкое) слово со значением 'домовой в образе женщины'. – *Прим. перев.*

тийско-финской языковой группой выглядят едва ли не более тесными, чем связи с другим волжским языком – марийским (например, трансл. морд. -ks ~ фин. -ksi; элат. морд. -sto ~ фин -sta; аблат. морд. -do ~ фин. [парт.] -ta; ген.-инстр. морд. -ń ~ фин. -n, показатель мн.ч. -t; показатель множественности обладаемого -n-. Фонетические и лексические параллели с прибалтийско-финскими языками также едва ли не доминируют количественно: можно, например, упомянуть, что балтийские заимствования проникли, хотя и не в таком количестве, как в праприбалтийско-финский, и в мордовский язык, однако не проникли в марийский). Тем не менее, в мордовском встречаются некоторые такие системно-структурные черты, которые резко отделяют его от других финно-пермских языков. К таким чертам относятся: наличие стечения согласных в начале слова; противопоставление основного и указательного склонений (например, эрзя ном. осн. kudo '[какой-то] дом' – ном.указ kudoś '[определенный] дом'; ген. осн. kudoń '[какого-то] дома' – ген.указ. kudońt´ '[определенного] дома', инесс. осн. kudoso 'в [каком-то] доме' – инесс. указ. kudosońt´ 'в [определенном] доме', элат. осн. kudosto 'из [какого-то] дома' – элат. указ. kudostońt´ 'из [определенного] дома' и т.д.); система парадигм неопределенного (безобъектного, субъектного) и определенного (объектного) спряжений (например, наст. вр. неопр.спр.: palan, palat, palį 'целую,-ешь,-ет'; опр. спр. – ряд 'меня': palasamak 'ты целуешь меня', palasamam 'он целует меня'; ряд 'тебя': palatan 'я целую тебя', palatanzat 'он целует тебя'; ряд 'его': palasa 'я целую его', palasak 'ты целуешь его', palasį 'он целует его' и т.д.); предикативные, или сказуемостные (снабженные глагольными окончаниями) формы имени (например: od 'молодой', наст.вр.. odan 'я молод', odat 'ты молод', od 'он молод'; прош.вр.: odol´iń 'я был молод', odol´it´ 'ты был молод', odol´ 'он был молод' и т.д). Определенное спряжение глаголов и предикативные формы имен напоминают в некотором отношении тип, характерный для угорских и особенно самодийских языков.

Эти специфически мордовские черты в равной мере отражены эрзянским и мокшанским языками. Различия между последними имеют другую природу. Отметим несколько наиболее существенных различий:

1) Мокшанская система фонем (33 согласных + 7 гласных) богаче эрзянской (28 согласных + 5 гласных): наряду с а, о, u, i, е в мокшанском представлены ӓ и редуцированный гласный ə, а количество согласных увеличено за счет того, что корреляция звонкости – глухости охватывает все согласные, за исключением h, носовых и аффрикат (то есть здесь представлены даже оппозиции l – L, l´ – L´, r – R, ŕ – R´ и j – J)

2) Фонетическими различиями, естественно, обусловлены и

особенности звуковых соответствий, например эрзя -о (в конце слова) ~ мокша -а (pando – panda 'гора', mokšo – mokša 'мокша'); эрзя -vt- ~ мокша -ft-(ovto – ofta 'медведь'), эрзя -kš- ~ мокша -š- (ńekš – ńeš 'пчела'), эрзя č- (в начале слова) ~ мокша š- (čі – ši 'солнце, день'); многие присутствующие в эрзянском инлаутные гласные в мокшанском выпали (эрзя čoroda – мокша šobda 'темный', эрзя kirtams – мокша kRtams 'опалить', эрзя bajaga – мокша pajgà 'колокол').

3) Ударение в эрзянском подвижное и свободное (возможно, под влиянием русского языка), тогда как в мокшанском динамическое ударение падает, как правило, на первый слог (исключение составляют лишь определенные случаи, например, u, і или ə первого слога безударны при наличии в слове а, ä или е: ̀isa· 'ива' и т.д.). Исторически мокшанская акцентуация хорошо отражает прамордовскую.

4) Имеются и многочисленные лексические расхождения:

Эрзя	Мокша	
puŕǵińe	at´am(a)	'гром'
pokš	oću	'большой'
sudo	šaLka	'нос'
večkems (kel´gems)	kel´goms	'любить'
pšt ĭ	orža	'острый'
il t´ems	prvažams	'провожать'
guboŕ	panda	'гора, холм'
ije	kiza	'год'

5) Нередко слова одного происхождения употребляются в различных значениях:

	Мокша	Эрзя
lovaža	'труп'	'кость'
jam	'каша'	'щи'
paća	'крыло'	'платок'
ruća	'платок'	'женская рубашка'
pat´à/-a	'дядя'	'старшая сестра'
azəms/azoms	'сообщить'	'обещать'

6) Помимо незначительных фонетических различий в падежных окончаниях (ср. дат.-аллат. мокша -ńd´i ~ эрзя -ńeń, инесс. мокша -sa, -ca ~ эрзя -so, -sę, илл. мокша -s, -u, -i ~ эрзя -s, -v и т.д.), примечательно и то, что указательное склонение является полным только в эрзянском языке, а в мокшанском распространяется лишь на три падежа (номинатив, генитив, датив – аллатив, причем в двух последних падежах можно отметить также и формальные отличия: ген. указ. мокша -t´ ~ эрзя -ńt´, дат.-аллат. указ. мокша -t´i ~ эрзя -ńt´eń).

7) Отличия в лично-притяжательном склонении:

	Мокша	Эрзя	
	Один обладатель – одно обладаемое		
1.	alaš́a-ź́e	alaš́a-m	'моя лошадь'
2.	alaš́a-ć́e	alaš́a-t	'твоя лошадь'
3.	alaš́a-c	alaš́a-zo	'его лошадь'
	Один обладатель – несколько обладаемых		
1.	alaš́a-ń́e	alaš́a-n	'мои лошади'
2.	alaš́a-t́ń́e	alaš́a-t	'твои лошади'
3.	alaš́a-nza	alaš́a-nzo	'его лошади'
	Несколько обладателей – одно или несколько обладаемых		
1.	alaš́a-ń́ḱe	alaš́a-nok	'наша лошадь, наши лошади'
2.	alaš́a-ń́t́e	alaš́a-nk	'ваша лошадь, ваши лошади'
3.	alaš́a-sna	alaš́a-st	'их лошадь, их лошади'

Таким образом, отличия в показателях довольно велики; добавим к тому же, что лично-притяжательные формы для множественного числа обладаемого при единственном числе обладателя, помещенные в квадратных скобках, встречаются, помимо номинатива, только в генитиве и дативе – аллативе, тогда как остальные лично-притяжательные формы могут склоняться по всем падежам.

8) В предикативных формах имен используются личные окончания неопределенного спряжения (за исключением 3-го лица ед.ч. с нулевой морфемой), поэтому расхождения между мокшанским и эрзянским относятся только к предикативным личным окончаниям множественного числа.

9) Совпадения и расхождения в личных окончаниях неопределенного спряжения отражает следующая таблица:

		Ед.ч.			Мн.ч.		
		1 л.	2 л.	3 л.	1 л.	2 л.	3 л.
Наст.вр.	Мокша	-n	-t	-aj, -i	-tama,-t′ama	-tado,-t′ada	-aJt′,-ixt′
	Эрзя			-i	-tano,-d́ano	-tado,-d́ado	-it′
Прош.вр.	Мокша	-ń	-t′	-ś	-ḿe	-d′e	-śt′
	Эрзя				-ńek		

Окончания определенного спряжения строятся, в конечном счете, из элементов, аналогичных приведенным в этой таблице,

и между эрзянскими и мокшанскими формами этого спряжения также отмечаются значительные расхождения

10) Количество других глагольных категорий – времен (настоящее, I и II прошедшее, будущее) и наклонений (индикатив, императив, конъюнктив, дезидератив, оптатив, кондициональ, кондициональ-конъюнктив) – совпадает, незначительные различия можно обнаружить лишь в суффиксах этих категорий. Однако древний уральский показатель условного наклонения сохранился только в отдельных эрзянских говорах (-па-, -ńе-) в качестве форманта с условно-возможностным значением.

Вышеперечисленные черты дают некоторое представление о степени различий между мокшанским и эрзянским языками и в то же время должным образом объясняют, почему сформировались два самостоятельных мордовских литературных языка: диалектные отличия были слишком велики для того, чтобы мог возникнуть единый литературный язык.

Естественно, и мокшанский, и эрзянский языки подразделяются на ряд говоров. Среди *мокшанских* говоров выделяют центральную, западную и юго-восточную группы. Центральный диалект является основой литературного языка, но и внутри него есть отличия между говорами северной и южной зон (в последних, например, отсутствуют звонкие согласные в начале слова). Для западного диалекта характерны в первую очередь некоторые специфические лично-притяжательные окончания, а для юго-восточного – отсутствие фонемы а и переход -jt, -jńe > -ść, -śńe (в других мокшанских диалектах на месте j, ś выступает глухой J).

Географического размежевания групп *эрзянских* говоров не произошло (чему способствовала и их разбросанность), поэтому говоры принято вместо этого подразделять по подверженности определенным тенденциям языкового развития. В зависимости от соотношения с эрзянским литературным языком в сфере вокализма непервых слогов выделяются говоры регрессивно-ассимилятивного и прогрессивно-ассимилятивного типа. В говорах прогрессивно-ассимилятивного типа на месте *о* и *е* литературного языка в непервых слогах представлены u и ı, но если в первом слоге оказывается *о* или *е*, то этот гласный сохраняется и в следующем слоге, например, вместо литер. kudo 'дом', kiźe 'лето' употребляются формы kudu, kiźi, но слова velė 'село', moro 'песня' звучат так же. – В говорах регрессивно-ассимилятивного типа на месте эрзянских литер. *о* и *е* в непервых слогах также представлены u и i, но если в следующем далее слоге содержится *о* или *е*, то в непосредственно предшествующем слоге *о* и *е* сохраняются (например, литер. kunsolan 'слушаю' – диал. kunsulan 'слушаю', kunsulat 'слушаешь', kunsuli 'слушает', но kunsolok 'послушай' и т д.). Помимо этих двух диалектных

типов, существуют "укающие" и "окающие" говоры простейшего типа. в укающих на месте *о* или *е* литературного языка в непервых слогах всегда выступают u и i, в окающих же *о* и *е* сохраняются.

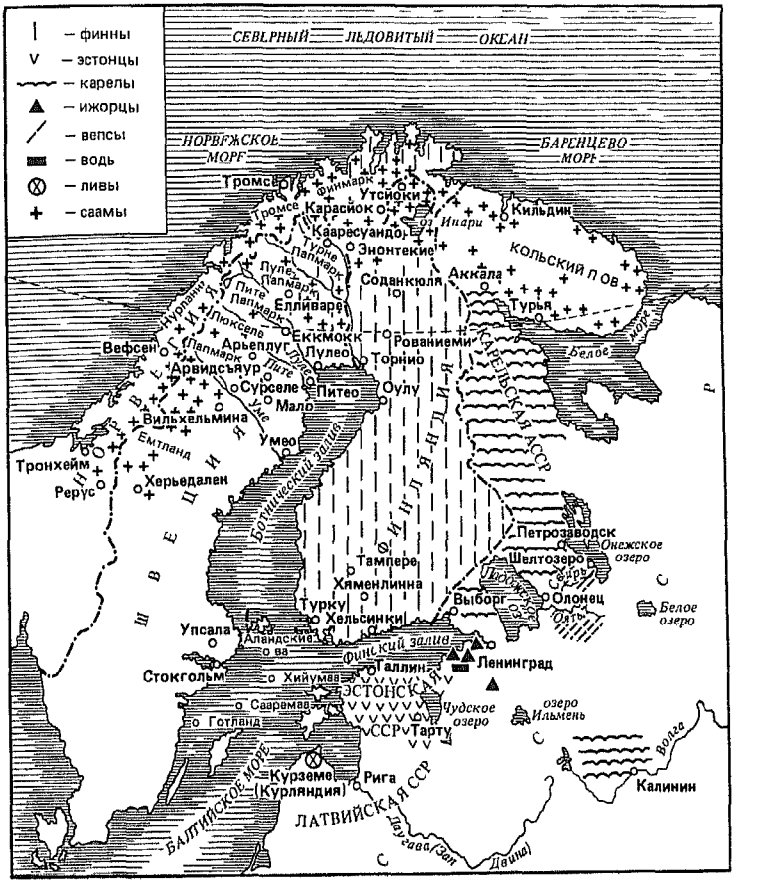
Мордовский язык был и остается подверженным разнообразным иноязычным влияниям, интенсивность и значимость которых варьирует территориально. Тем не менее, наиболее массивными и прочно закрепившимися можно признать влияния татарского и русского языков. Оба слоя заимствований ждут тщательного исследования в свете новых данных, а до этого им нельзя дать окончательной количественной оценки. Очевидно, число русских заимствований исчисляется тысячами (из них около 200 являются старыми, проникшими в XVI–XVIII вв.). Несколькими сотнями исчисляется в мордовском языке и количество старых слов татарского происхождения, которые были заимствованы начиная с XIII в.; в некоторых районах проникновение татарских слов продолжается вплоть до нашего времени (при этом в мокшанском татарских заимствований явно больше, чем в эрзянском). Следует, конечно, учитывать, кроме того, булгарско-тюркские (и чувашские) заимствования в мордовском языке, относящиеся еще к периоду до татарского нашествия, хотя число их значительно меньше, чем в марийском языке. Балтийских заимствований насчитывается, возможно, несколько десятков, однако они проникли в мордовский язык еще в то время, когда существовали связи с прибалтийско-финским праязыком, и через посредство последнего. Слой иранских заимствований можно отнести частично к финно-угорской, частично же к финно-пермской (или финно-волжской) эпохам. Для комплексного рассмотрения этих слоев лексики был бы исключительно полезен этимологический словарь мордовского языка, создание которого давно назрело.

8. Прибалтийско-финские языки

Особенности праприбалтийско-финского происхождения

В прибалтийско-финскую языковую группу входят финский, карельский, вепсский, ижорский, водский, эстонский и ливский языки. Из них первые четыре образуют северную, а три других – южную ветвь. Эти семь языков приобрели самостоятельность сравнительно поздно, на протяжении долгого времени их судьбы были связаны воедино. Результатом этого является значительная взаимная близость всех прибалтийско-финских языков, которая сохраняется и до сих пор, несмотря на специфические особенности, сформировавшиеся в период независимого существования каждого из них. Разумеется, их общие

черты унаследованы не только от уральской эпохи – напротив, среди этих черт преобладают языковые явления, которые возникли в так называемую прибалтийско-финскую, или "общефинскую" (kozfinn), эпоху (то есть в праязыке прибалтийско-финской группы) и которые неразрывно связывают эти языки друг с другом и противопоставляют их по ряду характерных свойств другим финно-угорским языкам.



Исследователи значительно расходятся в датировке начала прибалтийско-финской эпохи. По мнению некоторых финских и эстонских специалистов (археолог Х. Моора, лингвист П. Арис-

тэ, этнограф К. Вилкуна), население, которое можно считать финно-угорским, обнаруживается в Прибалтике уже в III тыс. до н.э. и с тех пор непрерывно находится в этом районе. Это мнение пока основывается преимущественно на данных археологии и нуждается в более убедительных подтверждениях. Во всяком случае, в лингвистическом отношении оно в настоящий момент вряд ли может считаться состоятельным. На наш взгляд, более основательна та точка зрения, которой придерживался еще Ю. Х. Тойвонен и которая хорошо сообразуется как с относительной хронологией, так и с результатами археологических исследований последнего времени в СССР: согласно ей, наиболее интенсивное заселение финно-уграми северной части Прибалтики можно датировать началом прибалтийско-финской эпохи, то есть началом I тыс. до н.э. Между финно-волжской и прибалтийско-финской эпохами нельзя провести четкой границы, и стадию перехода от одной эпохи к другой иногда называют финно-саамской (или ранней прибалтийско-финской, раннеобщефинской) эпохой – об этой эпохе разговор пойдет ниже, поэтому здесь имеет смысл зафиксировать лишь то, что общефинская эпоха относится в основном ко времени между началом I тыс. до н.э. и VI-VIII вв. н.э. В этот период предки прибалтийских финнов вступили в контакт с племенами балтийцев и германцев, языковое влияние которых особенно ощутимо в лексике. Непосредственные контакты и связи с балтийскими языками начались примерно в середине I тыс. до н.э. (а по П. Аристэ и Х. Моора – еще раньше, в первой половине II тыс. до н.э.!) и длились в течение многих столетий. К этому времени восходят многочисленные балтийские заимствования в прибалтийско-финских языках (их число достигает почти 300), в большинстве своем сохранившиеся в них до сих пор. Балтийское языковое влияние хронологически предшествовало столь же значительному влиянию германских языков (прагерманского, готского) в начале н.э. Оно также длилось на протяжении ряда столетий (некоторые исследователи даже предполагают, что во второй половине прибалтийско-финской эпохи имел место финно-германский билингвизм), а в иной форме (контакты отдельных языков – шведско-финские, немецко-эстонские и т.д.) продолжилось до наших дней.

К прибалтийско-финской эпохе можно отнести и древнейшие славянские заимствования в прибалтийско-финских языках: до 80–100 слов проникло, начиная с VII в. н.э., из древнерусского языка (следует упомянуть, что П. Аристэ и К. Вилкуна придерживаются иной точки зрения и допускают, что праславянское или правосточнославянское влияние на прибалтийско-финские языки имело место в последних веках до н.э., то есть даже до германского влияния). Датировка и определение путей заим-

ствования славянских слов в прибалтийско-финский праязык вызывает ряд затруднений еще и потому, что ко времени начала соответствующих контактов прибалтийско-финские племена уже вступили в эпоху распада, и славянское влияние не обязательно должно было сказаться на едином праязыке: происходило и проникновение древних славянских заимствований из одного прибалтийско-финского языка в другой (например, архаические славянизмы в западных диалектах финского языка иногда можно квалифицировать и как принесенные эстонскими переселенцами позднего времени).

Из прочих языковых инноваций прибалтийско-финской эпохи в первую очередь следует упомянуть чередование ступеней согласных. Ныне уже вряд ли кто-то сомневается в том, что, вопреки мнению Сетяля, эта особенность прибалтийско-финских языков возникла именно в данную эпоху (причем в ее начале, поскольку чередование ступеней согласных зафиксировано и в ряде саамских диалектов). Первоначально чередование ступеней было чисто фонетическим явлением на границе последнего и предпоследнего слогов, где находящиеся на слогоразделе согласные подвергались фонетическим изменениям, а именно: исходный согласный ("сильная ступень") ослаблялся при превращении открытого последнего слога в закрытый; слабая ступень (в начале закрытого последнего слога) первоначально отличалась от сильной количественно. Позднее различие между сильной и слабой ступенями фонологизировалось и стало не только количественным, но и качественным (pp~p, kk~k, k~v, k~j, k~ø и т.д.), а в отдельных языках развилось в самых разнообразных направлениях (или, в некоторых случаях, исчезло).

Среди фонетических изменений прибалтийско-финской эпохи, которых насчитывается свыше двух десятков, одним из важнейших является переход *ti > si, который затронул не только слова финно-угорского происхождения, но и балтийские заимствования (фин., эст., вод. vesi, вепс. veźi, кар. veži, лив. veiž 'вода' < приб.-фин. *weti < урал. *wete; фин. silta, кар. šilda, вепс. süud, вод. siłta, эст. sild, лив. sīlda 'мост' < балт., ср. лит. tiltas) и является очень важным хронологическим критерием (в германских заимствованиях этого перехода не происходило: фин., эст., кар. tila, вод. tiła 'место, положение и под.' < прагерм. *tila-, ср. ср.-н.-нем. til, др.-в.-нем. zil 'цель, предел').

Не менее важным является переход š > h (фин., кар. hiiri, вепс., эст. hiir, вод. īri, лив. īr 'мышь' ~ коми šir и т.д. < ф.-у. *šinere; фин. hihna, кар. hiihna, вепс. hihn, вод. ihna, эст. ihn 'ремень, пояс' < приб.-фин. *šišna < балт., ср. лит. šikšnà, латыш. siksna); одновременно с этим прежний *ś превратился в s (ф.-у. *śarwe > фин., вод. sarvi, вепс., эст. sarv, лив. saru 'рог', начальный сибилянт в кар. šarvi — результат собственно карельского разви-

тия *s > š). Праприбалтийско-финская депалатализация коснулась, впрочем, не только *š (*ń > n, *ĺ > l). Чрезвычайно характерным является превращение этимологического *-m в ауслауте в дентальный носовой: ф.-у. *uδeme > фин. uudin, кар. uuvvin, вепс. ūd'in, эст. uudi 'занавеска'; урал. *šüδeme 'сердце' фин. sydän, кар. šüän, вепс. süd'äin, süd'ä, вод. süä, эст. süda ~ мар. šüm, коми śe̮le̮m, хант. sə̑m и т.д.

Наряду с многими другими фонетическими изменениями, характерными для всех прибалтийско-финских языков (например, отпадение ауслаутного -k, возникновение лабиализованных гласных переднего ряда, стяжение в определенных случаях двух слогов с утратой на слогоразделе -ŋ-, -j-, -k-, образование ауслаутного -i из *-e, *-a, *-ä, формирование противопоставления по долготе – краткости в системах вокализма и консонантизма, богатство систем дифтонгов и монофтонгов) заслуживают упоминания некоторые общие черты их грамматического строя. К ним, в частности, относится значительное единообразие падежной системы: как правило, прибалтийско-финские языки обладают, помимо генитива, аккузатива, партитива, транслатива, инструменталя и комитатива, триадами внешне-местных (адессив, аллатив, аблатив) и внутренне-местных (инессив, иллатив, элатив) падежей, причем строение этих триад одинаково (так, окончания внутренне-местных падежей получены из сочетания элемента -s с локативным, лативным и аблативным суффиксами, а окончания внешне-местных падежей – из сочетания элемента -l с локативным, лативным и аблативным суффиксами[1]). Характерны также образование партитива из старого аблатива, возникновение целого ряда серий послелогов (хотя наряду с ними спорадически встречаются и предлоги), многовариантность именных и глагольных основ (которую дополнительно усложнило чередование ступеней согласных, пронизав агглютинативный языковой строй явлениями флективного типа), возникновение согласования определения с определяемым словом, возникновение безличных глагольных форм, называемых пассивом, и аналитических форм глагола и т.д.

Финский язык

Наиболее распространенным из прибалтийско-финских языков является финский. Территория Финляндии, равная 337 тыс.

[1] Ряд этих окончаний может быть, несомненно, возведен и к более древним эпохам (финно-волжской или финно-пермской), однако только в прибалтийско-финских языках стройная система внешне- и внутреннеместных окончаний, составленная из совершенно единообразных материальных элементов, обладает безукоризненной гармонией.

кв.км, примерно на 70% покрыта лесами, а почти 10% ее занимают озера. Население страны составляет около 4,7 млн. человек (1972 г.), причем родным языком примерно для 7% этого числа (то есть для 330 тыс. человек) является шведский. С другой стороны, финны живут и за пределами Финляндии – в СССР (около 90 тыс.), в Америке (200 тыс.), в Швеции, в Австралии, ввиду чего общую численность финнов можно оценить как примерно равную всему населению Финляндии.

Этноним *финн* впервые упомянут Тацитом в его сочинении "Germania" (I в. н.э.), однако он называет им саамов (лопарей). Птолемей во II в. говорит уже о двух группах финнов, из которых одна живет на севере Скандинавского полуострова, а другая – в районе Вислы. Первую из этих групп можно отождествить с саамами, а вторую – уже с собственно прибалтийско-финскими племенами. Этноним *финн* еще долго продолжал употребляться в двух значениях – для обозначения и саамов, и финнов. Лишь в XVI–XVII вв. он закрепляется в европейских языках исключительно как название финнов.

Слово *финн*, вероятно, германского происхождения: его выводят из герм. fenn-, finn- 'бродячий, странствующий'. Скандинавы называли так кочевников-саамов.

Сами финны не пользуются этим названием (в том числе и применительно к саамам). Их самоназвание – suomalainen 'финн, финский', образованное от существительного Suomi 'Финляндия, финский язык'.

Происхождение названия suomi издавна занимало этимологов. Большинство из не менее чем десятка предположений на этот счет ныне уже устарело, однако единой точки зрения относительно происхождения этого слова нет до сих пор. В последнее время было возрождено – с надлежащим историко-фонетическим и семантическим обоснованием – предлагавшееся и ранее объяснение, согласно которому suomi связано с саамским словом čuolbmâ 'рыбья кожа'. Считается, что финны могли получить это название благодаря непромокаемой одежде, которую они раньше носили и которая изготовлялась, как предполагается, из рыбьей кожи.

Наряду с этим не вполне удовлетворительным объяснением существуют другие, трактующие это слово как заимствование: оно может восходить и к др.-швед. *sōme 'отряд, группа'.

Согласно этимологическому словарю финского языка, из многочисленных попыток этимологизации наибольшего доверия заслуживает предположение о том, что Suomi ≺ *Sōme первоначально было антропонимом, образованным от глагола suo-da (инфинитив) 'награждать, наделять, желать' (со значением 'подарок'). Впоследствии этот антропоним мог стать племенным названием и проникнуть в этом новом качестве в соседние

языки (так, в древнерусских летописях XIII в. собирательная форма *сумь* обозначает население Юго-Западной Финляндии; латышск. sāms< *sōma-s имеет значения 'финн' и 'житель о-ва Сааремаа'). Однако, на наш взгляд, эта этимология также построена на шатких основаниях: подобный антропоним не засвидетельствован, и если бы даже он существовал, то связь его с глаголом suo- является не более чем гипотезой. Таким образом, эта этимология этнонима основывается на ряде допущений[1].

Во всяком случае, ранее названием suomi обозначалось только племя, поселившееся на юго-западе Финляндии, а также занятые им территории (Peri-Suomi 'Старая Финляндия, Протофинляндия'; с 1848 г. Varsinais-Suomi 'Собственно Финляндия'). Еще даже около 1500 г. под 'Suomi' подразумевалась эта область и диалект этой области: Микаэль Агрикола в предисловии к своему переводу Нового Завета разграничивает три языка и народа: suomalainen, hämäläinen (хяме, емьский) и karjalainen (карельский), но отмечает, что страна в целом все же называется Some (то есть Soome = Suomi), поскольку область Some — 'мать' всех прочих областей. На территории современной Эстонии существует ряд древних топонимов, содержащих слово Soome (например, 1211 г.: Somelinde 'город Some' — в приходе Торма), поэтому широко распространено мнение о том, что племя Suomi, давшее свое имя всему финскому народу, принесло это имя с собой с древней прародины, находившейся в Прибалтике.

Помимо унаследованных от прибалтийско-финской эпохи балтийских, германских и славянских заимствований, в финском языке встречается немало более новых заимствований из шведского языка (их число достигает примерно двух тысяч, и проникли они в финский язык большей частью в XI-XIX вв., хотя этот процесс не прекратился полностью и сейчас) и из русского языка — последние представлены сравнительно ограниченно в литературном финском языке (менее ста, не считая древних заимствований), но их довольно много в диалектах, главным образом восточных. Шведский язык выполнял и роль посредника в передаче заимствований из других языков (латинского, греческого, английского, французского, немецкого, испанского, арабского), хотя в последнее время имеют место также случаи непосредственного заимствования из английского, немецкого и других языков. Кроме того, в финском языке отмечается значительный слой саамских заимствований, хотя большинство таковых осталось на диалектном уровне и лишь несколько десятков проникло в общенациональный язык.

[1] Предположение о связи слова Suomi с этнонимом zūmoi, фигурирующим в "Географии" Страбона (около начала н.э.), недостоверно.

В целом можно отметить, что лексика финского языка, по-видимому, в меньшей мере пронизана иноязычными элементами, нежели лексика других финно-угорских языков (например, венгерского), что объясняется очень сильным влиянием, которое с XIX в. до наших дней имело пуристическое движение, направленное на создание финских эквивалентов иностранных слов Это достигается и достигалось отчасти распространением диалектных слов в новых значениях, отчасти пропагандой искусственно созданных слов, построенных по законам финской фонетики, впрочем, ныне принцип пуризма утратил популярность, и в финский язык в последнее время также проникает все больше иноязычных элементов

К числу характерных черт финского языка можно отнести

– обилие дифтонгов (часть из них возникла за счет развития старых долгих гласных ō, ō, ē в uo, yo, ie),

– наличие долгих гласных и дифтонгов, возникших путем стяжения (их исходная форма сохранена в некоторых диалектах: kylaan < *kylahan 'в деревню', диал kylaha, vieraat < *vierahat 'чужие', vieraille < *vierahille 'чужим' и т.д);

– сохранение исконных ауслаутных гласных,

– своеобразный моросчитающий характер слогов, при котором долгий гласный приравнивается двум кратким и вследствие которого морфемная граница может проходить и внутри слога (например, kyla 'деревня'+-ta/-a, парт. → kylaa),

– отсутствие звонких ртовых смычных (d имеет новое происхождение и употребляется только в литературном языке);

– последовательное проведение гармонии гласных;

– чередование ступеней согласных, которое, хотя и фонологизировалось, но не играет никакой грамматической роли и представляет собой только серию позиционных чередований, существенно повышая тем самым языковую избыточность,

– наличие ряда алломорфов у суффикса инфинитива (-ta, -ta, -a, -a, -da, -da, -ra, -ra, -na, -na и т.д.) и окончания партитива (-ta, -ta, -a, -a),

– сложные правила образования генитива множественного числа и иллатива;

– важная роль чередований, связанных с использованием основы множественного числа на -i-,

– разнообразие парадигм словоизменения в целом (имена имеют 82 различных типа склонения, глаголы – 45 типов спряжения)

Отметим далее интересную особенность системы глагольных форм, состоящую в том, что к глагольной основе может присоединяться не более одного показателя времени или наклонения (kuul-in 'я слышал', kuul-isin 'я слышал бы', kuul-len 'возможно, слышу') Для образования же специальных временны́х

форм следует прибегнуть к аналитическим глагольным конструкциям, в которых показатели времени и наклонения, а также личные окончания прибавляются к вспомогательному глаголу (olla 'быть'), а смысловой глагол снабжается только необходимым дополнительным показателем времени (принимая форму причастия): olen kuullut 'я услышал' (перфект), olin kuullut 'я услышал' (плюсквамперфект), olisin kuullut 'я услышал бы', lienen kuullut 'я, возможно, услышал'[1]. В основном аналогично устроены и отрицательные конструкции; в них отрицательный вспомогательный глагол (en kuule 'не слышу', en kuullut 'не слышал', en olisi kuullut 'не услышал бы') также является постоянным элементом, к которому присоединяются личные окончания (показатель наклонения он приобретает только в императиве, и то лишь в порядке согласования, поскольку смысловой глагол также снабжается показателем императива: älköön kuulko 'пусть они не слушают'). Можно, кроме того, упомянуть большую длину морфем и пристрастие к словосложениям, что иногда ведет к появлению чрезвычайно длинных слов[2]. В порядке сопоставления отметим, что в финском языке количество односложных слов едва достигает ста, тогда как в английском их почти 8000. К счастью, в речи частота коротких слов выше, чем частота длинных.

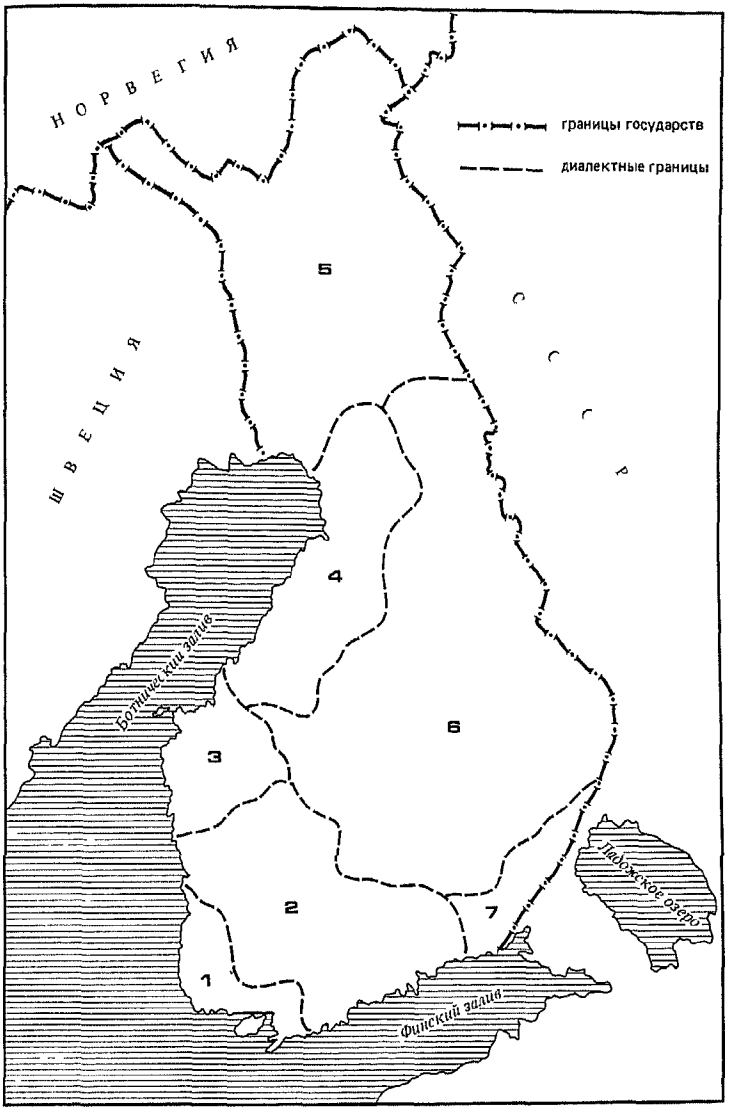
К перечню характерных черт финского языка целесообразно добавить, что он отличается значительной диалектной расчлененностью, и между отдельными диалектами наблюдаются заметные фонетические (а также отчасти обусловленные ими морфологические) и, разумеется, лексические различия.

В современном финском языке выделяют семь крупных диалектных групп (см. карту):

1. Юго-западная диалектная группа: диалекты, распространенные к западу и к востоку от г. Турку, а также на островах у юго-западного побережья страны, то есть на территории Varsinais-Suomi ('Собственно Финляндии'), некогда заселенной племенем суоми (собственно финским племенем). Эти диалекты резко отличаются от остальных финских диалектов, зато во многих отношениях напоминают эстонский язык.

[1] Сходным образом могут быть истолкованы и венгерские аналитические формы глагола (например, hallottam volna 'я услышал бы'), но в них личные окончания прибавляются к смысловому глаголу и порядок взаимного расположения смыслового и вспомогательного глаголов другой.

[2] Например, äärimmäisyystoimenpide 'крайняя мера', maidonkuljetusastiallansakin 'с его молочным бидоном', säännöstelemättömyydestänsähän 'из-за его неупорядоченности', helsinkiläistytyihinsä 'к его хельсинкизировавшимся (то есть ставшим хельсинкскими)' и т.д.


НОРВЕГИЯ
ШВЕЦИЯ
СССР
границы государств
диалектные границы
1
2
3
4
5
6
7
Ботнический залив
Финский залив
Ладожское озеро

2. Диалектная группа хяме (емьская), территориально расположенная к северо-востоку от предыдущей и занимающая значительно большую территорию (Хяме, а также часть Сатакунты).

3. Южноботнический диалект, распространенный к северу от двух предыдущих диалектных групп и зажатый между среднеботнической и савоской диалектными областями.

4. Средне- и северноботнические диалекты, полоса которых тянется вдоль Ботнического залива примерно от г. Коккола через Оулу и почти до г. Кеми.

5. Верхнеботнические диалекты на крайнем севере Финляндии (гг. Кеми, Рованиеми и севернее), а также в Северной Швеции и в Руйе (норвежская провинция Финмарк).

6. Савоская диалектная группа, расположенная к северо-востоку от хяме и к востоку от южно- и северноботнической и занимающая значительную часть Финляндии – восток страны, ее озерные области.

7. Юго-восточная диалектная группа, распространенная на небольшой территории вблизи юго-восточной границы Финляндии. К ней относятся также приладожский и выборгский диалекты. По сути дела, диалекты этой группы очень близки карельскому языку.

Каждая из этих диалектных групп обладает достаточно специфическими характерными особенностями, детальное рассмотрение которых увело бы нас слишком далеко. Вместо этого, в целях большей обозримости, рассмотрим те особенности, на основании которых финские диалектные группы можно подразделить на два основных наречия – западное и восточное. Граница между этими двумя наречиями во многих местах размыта и не имеет четкого контура. В целом восточными признаются диалекты савоской и юго-восточной групп, однако немало характерных черт восточного наречия представлено и в ботнических (3 – 4 – 5) диалектах. К западному наречию относятся в первую очередь диалекты юго-западной и емьской групп, но с большими или меньшими основаниями сюда можно причислить и ботнические диалекты (3–4–5).

Некоторые различия между западным и восточным наречиями – в сопоставлении с формами литературного языка – представлены в следующей таблице:

Литературный язык	Западное наречие	Восточное наречие	Значение
padan	paran, palan	paan	'горшок' (акк.)
lehden	lehren, lehlen	lehen, lehjen	'лист' (акк.)
metsä	mettä	mehtä, metšä	'лес'
kaura	kaura	kakra	'овес'

eilinen	eilinen, öylinen	ekline, egl'íńe	'вчерашний'
maa	maa	moa, mua	'земля'
pää	pää	peä, piä	'голова'
jäädä	jäädä	jeähä	'оставаться'
juoda	juoda	juua, juuvva	'пить'
juo	juo, jua	juop(i)	'он пьет'
te	te, tee, tei, tet	työ	'вы'
lasi	klasi	lasi	'стекло'
teen	teen, tehen	tien	'я делаю'
ottakaa	ottaka(a), ottakai, ottakoa	ottoa(ten), ottoo(ten)	'возьмите'

Различия между западным и восточным вариантами языка можно найти не только в деталях фонетики и морфологии, но и в лексике:

Западное наречие	Восточное наречие	Значение
suvi	kesä	'лето'
puhua	hastaa, hoastoo	'говорить'
ehtoo	ilta	'вечер'
sonni, mulli	härkä	'бык'
kinnas	rukkanen	'рукавица'
karitsa	vuona	'ягненок'
liina	huivi	'лен'
orpana	serkku	'двоюродный брат, двоюродная сестра'

В литературном языке эти слова, как правило, употребляются в качестве синонимов, хотя иногда могут наблюдаться небольшие отличия в значениях и в фонетическом облике (например, mullikka 'бычок, молодой бык'~härkä 'бык, вол'; haastaa 'вызывать'~haastatella 'интервьюировать') или же в стилистической принадлежности (например, в особо изысканной речи, в поэтическом языке употребляют слова suvi и ehtoo).

Современные финские диалекты в известной мере обязаны своим возникновением существованию языковых различий между отдельными праприбалтийско-финскими племенами и языковому смешению, происшедшему при расселении этих племен на территории Финляндии. Детали этого процесса довольно сложны и к тому же недостаточно выяснены. Можно с уверенностью утверждать, что относительное единство праприбалтийско-финских племен начинает распадаться после начала н.э. Возможно, уже в первых веках н.э. некоторые из них сменили области своего расселения и переселились на северное побережье Финского залива. Впрочем, точные даты не поддаются установлению, поэтому данное предположение не вступает в

противоречие с хронологией, относящей распад праприбалтийско-финских племен к VI-VIII вв. н.э. Еще меньше ясности в вопросе о числе и идентификации этих племен.

В начале нашего столетия Э. Н. Сетяля высказал мнение о том, что современные прибалтийско-финские языки и диалекты непосредственно отражают племенное членение общефинской эпохи. В своей теории этногенеза прибалтийских финнов он – с учетом территориального размещения соответствующих народов – выделял восемь праприбалтийско-финских племен. Размещение этих восьми племен показано на рисунке:



Таким образом, южнее всех жили, по Э. Н. Сетяля, предки ливов и вепсов, к северо-западу от ливов размещалось племя эстов, а к северо-востоку от вепсов – карелы. Севернее эстов он помещает водь, а еще севернее – те три прибалтийско-финских племени, в результате смешения которых возник современный финский народ.

Проблематичным, однако, является возведение племени квенов непосредственно к общефинской эпохе. Квены (каяны, kainuulaiset) некогда населяли юго-западное, западное и северное побережье Финляндии, однако они вряд ли входили в число первых расселившихся в стране племен. Несомненным фактом является сообщение Оттара, норвежского вассала английского короля Альфреда Великого (IX в.), о северном соседе Норвегии – Квенланде (=Кайнуу), жители которого часто воевали с норвежцами. Исландский источник XII в. – рассказ Эгиля Скаллагримссона – также упоминает квенов наряду с емью, суоми и карелами. В дальнейшем сведения о них становятся все менее определенными, и название Кайнуу сохраняется преимущественно в устной традиции, фольклорных преданиях, топонимах. Происхождение квенов покрыто мраком неизвестности, и ряд исследователей правомерно склоняется к тому, что они не относятся к числу первых расселившихся в стране племен, а образовались в результате смешения других племен.

Почти традиционным стало положение теории Э. Н. Сетяля о том, что первыми Финляндию заселили представители племен суоми и емь, которые постепенно, предположительно морским путем, проникли из прежних мест своего обитания, находившихся к югу от Финского залива, на юго-западное побережье Финляндии (как показывают археологические находки, заселение Финляндии началось с ее юго-западной части в первые века н.э.)

Однако в это же время восточных районов Финляндии

достигает через перешеек между Ладожским озером и Финским заливом карельское племя. Продвигаясь по рекам и водным путям, разведывая богатства лесов, появившиеся с двух разных сторон переселенцы овладевают все новыми и новыми территориями. Те из них, кто обосновался на западе, проникают затем в районы, расположенные севернее и восточнее, а население из восточной части страны распространяется на запад и северо-запад, и по прошествии некоторого времени продолжающие расширять свои владения племена уже вступают в контакт друг с другом. При смешении первых племен, расселившихся в стране, между собой возникли новые племена и новые диалекты. Например, савоских финнов считают результатом смешения емьского и карельского племен; южноботнический диалект возник за счет слияния групп переселенцев, принадлежавших племенам суоми и емь, а в среднеботническом диалекте можно, помимо западных элементов, обнаружить следы савоского (восточного) влияния.

Вследствие постоянного передвижения и смешивания населения, которое сопровождалось взаимодействием диалектов, и образовался примерно в XI-XII вв. язык финнов.

Выдвигались и другие концепции относительно состава племен, заселивших Финляндию, и формирования прибалтийско-финских языков в целом. Например, финский лингвист Л. Кеттунен выделяет всего четыре праприбалтийско-финских племени: ливов, эстов, емь и занимавших крайне восточное положение вепсов, считая, что водь сформировалась за счет смешения эстов с емью, а карелы — за счет смешения населения, переселившегося в VIII—X вв. из Западной Финляндии на берега Ладожского озера, с вепсами (савосцы рассматриваются им как карелы, отчасти смешанные с емью). Таким образом, основным финским племенем является, по Л. Кеттунену, *емь*. Это племя проникло в Финляндию, до того населенную саамами и скандинавами, морским путем. В первые века, последовавшие за переселением, в Юго-Западной Финляндии жило только емьское племя, но позднее сюда приплыли эстонские переселенцы с южного побережья Финского залива, и современный финский народ сформировался за счет смешения последних с емью.

Заслуживает внимания попытка объяснить ход формирования прибалтийско-финских языков, предпринятая в самое последнее время эстонским лингвистом П. Аристэ. Исходя из того, что между северными и южными эстонцами существуют значительные этнические и языковые различия и что между юго-западными диалектами финского языка и североэстонским обнаруживается тесная языковая связь, он предполагает, что современный эстонский язык и эстонский народ ведут свое происхождение от двух различных праприбалтийско-финских

племен (так называемых северных и южных эстов). В отличие от Э. Н. Сетяля и Л. Кеттунена, П. Аристэ не считает емь одним из первоначальных прибалтийско-финских племен, а возникновение ее предполагает на основе отдельных прибрежных групп северных эстов и других, еще раньше переселившихся на северное побережье Финского залива групп прибалтийских финнов. Позднее соседями еми стали эсты, переселившиеся из западной части современной Эстонии, и вследствие смешения с ними возникло племя суоми. Смешение еми, суоми и карел (первоначально еще одного отдельного прибалтийско-финского племени) привело к возникновению финского народа и его языка. Водский язык рассматривается как ответвление северо-восточного диалекта эстонского языка, испытавшего финское или ижорское влияние. Таким образом, П. Аристэ возводит современные прибалтийско-финские народы и языки к пяти племенам общефинской эпохи: северным эстам, южным эстам, карелам, ливам и вепсам.

Значение концепции П. Аристэ состоит в том, что предложенное им объяснение не сводится к механическому отождествлению современных прибалтийско-финских народов и их этнических компонентов с соответствующими прибалтийско-финскими племенами. Тем самым П. Аристэ порывает с представлениями, которые можно назвать теорией "сколько языков – столько и племен", и при изучении формирования прибалтийско-финских народов, принимая во внимание данные археологии, опирается в первую очередь на языковые факты: его выводы строятся на наличии общих или различающихся явлений в отдельных языках.

Заселение Финляндии было многовековым процессом. Праприбалтийско-финские племена и их подразделения, принявшие участие в этногенезе финнов, просачивались в новые области расселения в виде более или менее многочисленных групп. Этот процесс длился с начала н.э. до VII-VIII вв. Вследствие проникновения финнов саамы, которые населяли внутренние и восточные районы страны, отошли на север, а скандинавское население западного и юго-западного побережья было ассимилировано новоприбывшим этносом.

Существуют, впрочем, и попытки по-новому объяснить формирование прибалтийско-финских языков. Например, А. Лаанест исходит из существования важных языковых различий между их северной и южной ветвями: так, в южной группе на месте e и других гласных встречается e̮ (ə̮), показателем кондиционаля в ней является -ks(i)- при сев. -isi-, система местоимений претерпела существенные изменения (например, местоимение 3-го лица было вытеснено рефлексом указательного местоимения tämä, а рефлекс hän 'он, она, оно' превратился в возвратное

местоимение); в ряде случаев отпали -h и -n и т.д. С другой же стороны, А. Лаанест ссылается на утверждение археологов о том, что уже в последних тысячелетиях до н.э. в Прибалтике можно выделить две обособленные группы населения: западную (в северной части Латвии, на большей части Эстонии, а также уже и в Юго-Западной Финляндии) и восточную (к востоку от Чудского озера, а также на крайнем юго-востоке Эстонии и на крайнем северо-востоке Латвии и даже в Приладожье). Ливский, эстонский и водский языки возникли за счет дальнейшего развития прежней западной ветви, но в формировании эстонского языка сыграла известную роль и восточная ветвь. Из восточных (восточнее Чудского озера) элементов образовался карельский, а из него – ижорский, вепсский и финский языки. Правда, в формировании финнов большое место принадлежало и западным праприбалтийско-финским элементам. Таким образом, членение прибалтийско-финских языков на северную и южную ветви А. Лаанест трактует в значительной мере как отражение деления прибалтийско-финских племен на восточную и западную группы. Разумеется, ныне уже невозможно вскрыть шаг за шагом последующие смешения этих групп, но представляется вероятным, что современные прибалтийско-финские языки выкристаллизовались из этих языковых агломераций в начале II тыс. н.э. В целом сходного мнения придерживается и А. Раун, который делит прибалтийско-финскую общность на юго-западную и северо-восточную части и выводит из них современные языки способом, аналогичным изложенному выше (обосновывая это преимущественно лексикологическим анализом).

Однако применительно к рассмотренному периоду еще нельзя говорить о финском языке, а только лишь о поздних праприбалтийско-финских племенных диалектах, из которых он начал формироваться, согласно Л. Хакулинену, в первых веках II тыс. н.э. Этот первый период самостоятельного развития финского языка называется древне- или раннефинским (varhais suomi). Языковых памятников этой эпохи практически нет: лишь сохранившиеся в документах собственные имена и финские глоссы и вкрапления в шведских и латинских текстах дают кое-какое представление о состоянии финского языка в период средневековья. С появлением первых напечатанных по-фински книг (издания Микаэля Агриколы: Abckirja [букварь] (ок. 1543), Rukouskirja [молитвенник] (1544), Новый Завет (1548)) начинается период старофинского (vanha-suomi) языка (его можно называть и среднефинским периодом), длившийся до начала XIX в. Затем, в начале 1800-х гг., на основе обстоятельного изучения финских диалектов начинается разработка нового разговорного и книжного литературного языка. Письменная форма этого языка уже не сводится,

как раньше, к одному только западному диалекту: в литературном языке занимают место и элементы инодиалектного происхождения. Этот период в формировании языка (ознаменовавшийся, естественно, противоборством различных течений) называется ранним периодом современного финского языка (varhaisnykysuomi). В течение этого периода, к 70-м гг. XIX в., сформировались основы современного финского литературного языка ; важную роль в этом сыграла деятельность классика финской литературы Алексиса Киви. Поэтому время начиная примерно с 1870 г. считается периодом современного финского языка (nykysuomi), для которого характерно уравновешенное и идущее в ногу с требованиями эпохи развитие.

Карельский язык

Карельский и финский языки не разделены непреодолимыми для говорящих различиями. Причина этого заключается, скорее всего, в той весомой роли, которую карельский язык сыграл в формировании современного финского языка. Именно поэтому живущих в Финляндии карел не принято считать особым народом, а карельский язык рассматривается лишь как диалект особой этнической группы финнов. Однако вследствие различающихся условий исторического формирования карельского и финского языков необходимо все же разграничивать их, имея при этом в виду в первую очередь язык живущих в СССР карел[1].

В Советском Союзе живет 146 тыс. карел; из них 63% карел пользуется карельским языком. Они составляют два крупных этнических массива: большинство карел живет в Карельской АССР, а меньшая их часть – к северу от Верхней Волги на территории Калининской области (они называются также тверскими карелами, по старому названию административного центра). Эта южная группа образовалась в XVII в. в результате переселений с собственно карельских земель, происшедших после заключения Столбовского мирного договора. По этому договору Приладожье и районы к югу и к востоку от Финского залива (Ингерманландия) были присоединены к Швеции, и притеснения со стороны завоевателей-шведов заставляли карельское

[1] Между карелами Финляндии и России издавна существовало много языковых и культурных различий: западная часть народа испытала сильное финское влияние, а восточная – влияние русского окружения. Вместе с тем, благодаря карельскому языку, финские диалекты усвоили, разумеется, немало восточных черт.

население этих мест переселяться в более мирные и безопасные районы России. Небольшую обособленную группу составляют так называемые валдайские (или новгородские) карелы, живущие несколько западнее, у истоков Волги.

Помимо *диалекта тверских карел*, в карельском языке выделяются *юго-западный, олонецкий*, или *ливвиковский*, диалект (в районе северо-восточного побережья Ладожского озера), *северный*, или *архангельский*, диалект, на котором говорят к северу от линии, соединяющей северные оконечности Ладожского и Онежского озер, и *юго-восточный, людиковский*, диалект, занимающий узкую полосу территории к востоку от олонецкого диалекта и к западу от Онежского озера (этот диалект подвергся сильному влиянию вепсского языка)[1].

Первоначально карелы представляли собой, как предполагается, особое прибалтийско-финское племя, которое в I тыс. н.э. овладело вначале Карельским перешейком, а затем Прионежьем и территориями к северу от него. Заселение Карелии завершается к XII в. Предполагается, что область их расселения около X в. достигала (на востоке) Белого моря и устья Северной Двины, что можно заключить из сообщений о жителях страны Биармии в скандинавских источниках. На этой территории представлены топонимы карельского происхождения; следами прежнего пребывания карел в этих местах могут являться и карельские заимствования в языке коми.

Первое упоминание о карелах содержится в скандинавских сагах: Ивар Видфамне в начале VIII в. повествует о кораблекрушении, которое он потерпел в *Кюръялаботн* — Финском заливе. В течение IX-X вв. это название неоднократно встречается в древненорвежских и исландских источниках. В русских летописях данный этноним представлен с XII в.: мы узнаем, что в 1143 г. *корела* и *ямь (емь)* сошлись в сражении.

Сами карелы называют свой язык karjala (paissa karjalakši 'говорить по-карельски'), в адъективной форме — karjalaińe (= фин. karjalainen). В качестве топонима это название встречается в Финляндии (Karjaa, Karjalohja) и Эстонии (Karja). Уже давно выдвинуто предположение о связи всех этих форм с финскими нарицательными существительными karja 'скот, стадо' и karjakko, karjalainen 'скотник, пастух', что представляется вполне возможным. Основа указанных слов спорного (германского или балтийского) происхождения.

Древнейший памятник карельского языка относится к XIII в.: среди широкоизвестных новогородских берестяных грамот были обнаружены две, написанные на прибалтийско-

[1] Диалекты карельского языка в Финляндии причисляются к юго-восточной и савоской диалектным группам финского языка.

финском языке; одна из них характеризуется специфически карельскими языковыми особенностями и является, согласно Ю. С. Елисееву, текстом заговора от молнии, а по М. Хаавио — формулой заклятия. В 30-х гг. нашего века была развернута деятельность по созданию особого карельского литературного языка (чему предшествовали попытки разработки карельской письменности, предпринимавшиеся в различное время) и появились некоторые произведения литературы. Этого, однако, все же оказалось недостаточно для того, чтобы возник единый общекарельский язык, и на диалектно неоднородной территории Советской Карелии вторым официальным языком, наряду с русским, стал финский литературный язык. Однако в Финляндии эпизодически появляющаяся публицистика на карельском диалекте до сих пор популярна среди лиц карельского происхождения.

Карельский язык отличается от финского главным образом в фонетическом отношении и наличием исключительно большого числа русских заимствований (очевидно, не будет ошибкой утверждать, что они исчисляются тысячами, особенно если учитывать и семантические кальки). В области фонетики обращает на себя внимание сильная тенденция к дифтонгизации: в отличие от финского языка, в дифтонги превратились не только *ō, *ē, *ȫ, но и *ā, *ǟ, причем не только в первом слоге (например, mua = фин. maa 'земля', jiä = фин. jää 'лед', oštua = фин. ostaa 'покупать'). В системе консонантизма появились звонкие b, d, g, z, ž, а набор сибилянтов расширился как за счет z и ž, так и за счет š; возникли даже и аффрикаты č', ǯ' (например, viheldeä = фин. viheltää 'свистеть', butki = фин. putki 'труба', kazvuo = фин. kasvaa 'расти', meč'č'ä = фин. metsä 'лес', kač'č'uo = фин. katsoo 'смотреть' и т.д.). В карельском сохранен инлаутный и ауслаутный h: halmeh = фин. halme 'пожог', lampahat = фин. lampaat 'ягнята'. Чередование ступеней согласных шире по своему охвату (например, имеют место чередования šk : šš, rg : rr, st : ss, tk : t, g : j — üškä ном.: üššän акк. 'сажень', härgä ном. : härrän акк. 'бык', istuo : issun 'сидеть : сижу', matka ном.: matan акк. 'дорога', regi ном. : rejellä лок. 'сани' и т.д.). Широко распространена палатализация согласных.

В некоторых карельских диалектах совпали адессив и аллатив (например, в тверском: -lla, -l'l'ä), в других диалектах окончание аллатива встречается в двух формах (-llek и -llen). Повсеместное распространение имеет показатель мн.ч. -loi, -löi, известный и восточным диалектам финского языка; обращает на себя внимание окончание 3-го лица ед. ч. глагола: -p~-w и т.д.

Все эти особенности (список которых можно продолжить) представлены в карельских диалектах в различной мере, в различных комбинациях и при наличии многочисленных местных

вариантов, причем различия между этими вариантами порой столь велики, что служат препятствием для общения между собой карельского населения, происходящего из разных районов.

Ижорский язык

Ранее ижорцев причисляли к финнам или к карелам: в языковом отношении они близки и тем, и другим. Ижорский язык возник за счет интеграции языка переселенцев из юго-западной Карелии (более ранних) и языка более поздних финских переселенцев (XVII в.)[1]. На четырех говорах этого языка говорит около 1500 человек, живущих на юго-восточном побережье Финского залива. В ижорском языке сохранились долгие гласные (mā, pä), во многих случаях не исчезли и ауслаутные -k, -h (pärek = фин. päre 'лучина', veneh = фин. vene 'лодка'), часто имеет место геминация инлаутных согласных (männō = фин. menee 'идет', terrävä = фин. terävä 'острый'). Чередование ступеней согласных сходно с представленным в карельском языке. В 3-м лице мн.ч. используется простое личное окончание -t, то есть отсутствует присущий финскому и карельскому языкам элемент -v- (männōt = фин. menevät 'идут').

Своим названием ижорцы обязаны реке Ижоре, притоку Невы, на которой жили ранее. Оттуда, начиная с XVIII в., ижорцы начали переселяться западнее, на полуостров Соиккола. По-немецки они называются Ingrisch, по-фински – inkeri(kko), сами же ижорцы считают себя карелами. Рассматривая, тем не менее, ижорский в качестве самостоятельного языка, мы следуем практике, принятой в последних работах советских лингвистов.

Вепсский язык

Численность вепсов составляла в 30-х годах около 30 тыс. человек, в 1959 г. – 16 тыс. человек, из которых 46,1% пользовались родным языком. При переписи 1970 г. вепсов было зарегестрировано 8300 человек. Это объясняется тем, что они живут в русском окружении, и многочисленные смешанные браки, всеобщая грамотность, индустриализация и все возрастающее

[1] Впрочем, большая часть последних сохранила свой язык: еще в начале века в Ингерманландии насчитывалось почти 200 тыс. финнов, в число которых входили группы эврemейсов и саваков. Они были протестантами, тогда как ижорцы (равно как и карелы) исповедовали православие.

переселение в города привели к двуязычию вепсов. Молодежь говорит уже только по-русски.

Вепсы живут на территории треугольника, ограниченного юго-восточным побережьем Ладожского озера, южным и юго-западным побережьем Онежского озера и Белым озером. Существует три основных вепсских диалекта. *Северный* (или прионежский) диалект распространен в Карельской АССР к югу от Петрозаводска, на юго-западном побережье Онежского озера (населенные пункты Шелтозеро, Шокша, Рыбрека, Раскесручей). *Средний* диалект употребляется на северо-востоке Ленинградской области, в 50—60 км к югу от р. Свирь, в верхнем течении Ояти и Капши (притоков Свири), а частично и в северо-западной части Вологодской области, недалеко от Белого озера (соответствующую группу вепсов называют также восточной). Областью расселения *южных* вепсов является Бокситогорский район Ленинградской области, территории между верхними течениями речек Лидь и Колпь.

Принято считать, что *вепсы* впервые упоминаются в арабских географических описаниях X в. (Ибн Фадлан) под названием *вису* и в русских летописях — как *весь*; возможно, сюда относится даже и этноним Vasin у Йордана (VII в.). Эти древние формы могут иметь своим источником приб.-фин. *vepsi (откуда и фин. vepsä). Этимология прибалтийско-финского слова неясна. Современные вепсы называют себя vepsl′äińe, bepsлāńe, а в некоторых средне- и северновепских районах — l′üd′ińik.

В вепсском языке отпали исходные ауслаутные гласные (toh′ = фин. tuohi 'береста', nahk = фин. nahka 'кожа', lidnas = фин. linnassa 'в городе' и т.д.), часто имеет место и утрата инлаутных гласных (maksta = фин. maksaa 'платить', kädhe = фин. käteen 'в руку', samvar ≺ русск. *самовар* и т.д.). Количественные противопоставления играют ограниченную роль: на месте долгих звуков других прибалтийско-финских языков выступают краткие (например, ǵä, jä = фин. jää 'лед', joda, ǵöda = фин. juoda 'пить', ikun = фин. ikkuna 'окно', ak = фин. akka 'женщина', tuk = фин. tukko 'узел', vägitoman ген. к vägitoin = фин. väettömän ген. к väetön 'бессильный' и т.д.). Согласный l произносится твердо и в некоторых позициях превратился в ɯ (sɯum = фин. silmä 'глаз', süud = фин. silta 'мост' и т.д.). Распространена палатализация согласных перед гласными переднего ряда. Чередование ступеней согласных и гармония гласных отсутствуют. В результате фонетических изменений совпали окончания некоторых падежей, например инесс. -s и элат. -s, адесс. -u, -l′ и абл. -u, -l′, поэтому для передачи значений элатива и аблатива к усеченному окончанию добавляется элемент -päi. Употребление личино-притяжательных показателей весьма ограниченно. В глагольном спряжении обращают на себя внимание формы множествен-

ного числа, особенно окончания 3-го лица (наст. вр.: 3 л. ед. ч. söb – 3 л. мн. ч. södas [первоначально имперсонал]; отриц. форма наст. вр.: 3 л. ед.ч. ii sö – 3 л. мн.ч. i̯i̯ sögöi; прош.вр.: 3 л. ед.ч. süi – 3 л. мн.ч. söd'ihe; отриц. форма прош. вр.: 3 л. ед.ч. i̯i̯ sönu – 3 л. мн.ч. i̯i̯ sönugoi). Инфинитив возвратного глагола имеет суффикс -kse̯: kactakse̯ 'смотреться, смотреть друг на друга' (к спряжению ср. наст.вр.: 1 л. ед.ч. kacumoi – 1 л. мн.ч. kacumoiš, прош. вр.: 1 л. ед.ч. kacumoi – 1 л. мн.ч. kacumoiš). Глагольных форм пассива – имперсонала нет (точнее, они трансформированы в средство обозначения 3 л. мн.ч.).

Водский язык

Этим, находящимся на грани исчезновения языком еще владеют всего 30–35 человек в нескольких деревнях, расположенных между северо-восточной частью Эстонии и Ленинградом. Самоназвание vad'jā čēli 'водский язык', vad'jakko, vad'jалain представитель води' соответствуют, как предполагается, следующим словам со значением 'клин': фин. vaaja, эст. vai, кар. voakie, лив. vaigà (приб.-фин. *vakja – балтийское заимствование, ср. литовск. vágis/vagja-). Происхождение этого названия может быть связано с тем, что некоторые этнические группы прибалтийских финнов украшали свою одежду клиновидным (треугольным) кусочком ткани, служившим в качестве отличительного (и, возможно, связанного с магической символикой) знака или амулета. С названием 'водь' можно соотнести ряд эстонских топонимов и антропонимов (в XIII в. – топоним Wagia, Waiga, в XVII в. – антропоним Vaia, Veia и т.д.); это название встречается и в топонимии Финляндии (Vatia, Vatjus, Vatiainen – с XV в.). Водский язык испытал сильное ижорское, финское, а затем эстонское влияние. Начало существования его как самостоятельного языка можно отнести примерно к VIII-X вв. н.э.; на протяжении многовековой истории имели место массовые переселения води в эстонскую среду с последующей ассимиляцией. В результате этих миграций и смешений возник кодавереский диалект эстонского языка (у Чудского озера). Довольно значительную группу води составляло переселенное в XV в. немцами в Латвию племя *кревинов* (ср. латышск. krìevs 'русский'), которое, однако, уже в XIX в. исчезло.

Восточный диалект водского языка полностью исчез; горстка пожилых людей, говорящих сейчас по-водски, пользуется западным диалектом. Наиболее характерными чертами водского языка являются: переход k > ǩ перед гласным переднего ряда (čäsi = фин. käsi 'рука', čivi = фин. kivi 'камень' и т.д.); частое выпадение h (üvä = фин. hyvä 'хороший', vana = фин. vanha 'старый' и т.д.); hs на месте *ks и *ps, ss на месте *st (mahsa =

фин. maksa 'печень'; лahsi = фин. lapsi 'мальчик'; mussa = фин. musta 'черный'); сохранение велярного g̑ (kg̑va = фин. kova, эст. kõva 'твердый', g̑lla = фин., эст. olla 'быть', g̑rava = фин. orava, эст. orav 'белка') (как показывают примеры, часто этот гласный бывает представлен и в таких случаях, когда в эстонском языке находим *o*); распространение чередования ступеней согласных на сибилянты и аффрикаты (pesä 'гнездо': ген. pezä, mäči 'холм': ген. mäž̌ē). Старое окончание генитива *-n отпало, сохранившись лишь на стыках слов, составляющих единый фонетический комплекс; характерно окончание комитатива -kā (= эст. -ga); лично-притяжательные показатели используются редко: сейчас они встречаются лишь в фольклорных текстах, а в живой речи не употребляются. Для глагольного спряжения характерны разнообразие способов образования имперфекта (например: sai, saivad 'износился, износились', но kuttsu, kuttsuzivad 'звал, звали' и т.д.); употребление в настоящем времени окончания 3-го лица ед.ч. -B; супплетивное будущее время глагола бытия и возможность образования аналитических форм будущего времени.

Эстонский язык

Приблизительно 70% населения Эстонской ССР, то есть около 925 тыс. человек говорит на эстонском языке, а с учетом эстонцев, живущих в других союзных республиках и за пределами СССР (в Швеции, США, Австралии), число носителей языка несколько превышает 1 млн. человек.

Название Eesti(maa) 'Эстония', eesti или eestlane 'эстонец' стало употребляться эстонцами с XIX в., ранее же они пользовались в качестве самоназваний словосложениями maamees (maa 'земля' + mees 'человек'), maarahvas (ср. rahvas 'народ').

Впервые этноним *эст* упоминает Тацит в "Германии" (гл. 45-я): "ergo iam dextro Suebici maris litore *Aestiorum* [~*estiorum*] gentes adluuntur, quibus ritus habitusque Sueborum, lingua Britannicae proprior". Таким образом, название относится к народу, своими обычаями и обликом сходному с германцами, а языком – с кельтами. Далее Тацит сообщает, что они обрабатывают землю с бóльшим усердием, чем известные своей леностью германцы, но наряду с этим занимаются и сбором янтаря, который называют glesum[1].

Это описание едва ли может относиться к эстонцам как народу финно-угорского происхождения, скорее речь в нем идет

[1] "frumenta ceterosque fructus patientius quam pro solita Germanorum inertia laborant, sed et mare scrutantur, ac soli omnium sucinum, quod ipsi glesum vocant, inter vada atque in ipso litore legunt".

о каком-то балтийском (или германском?) племени. Тацит указывает в качестве области их расселения восточное побережье Балтийского моря; хорошо известны и месторождения янтаря на балтийском побережье. В Гданьской бухте есть участок берега у устья Вислы (Zalew Wiślany), который по-литовски называется Aismarės и который англосаксонский путешественник IX в. Вульфстан именовал Eystmeer, или землей eist'ов. Кроме того, в Литве есть и река Aista. Поэтому идентичность древнего населения этих мест (древнепрусских или каких-то других балтийских племен) с эстами Тацита представляется очевидной. Рассматриваемый этноним встречается и позднее: в VI в. – у Кассиодора и Йордана, в IX в. – у Эйнхарда (Vita Caroli Magni ['Жизнь Карла Великого'], ок. 830–840), который пишет об эстах как о соседях славян. Ясно, таким образом, что этноним *эст* был перенесен с древнего населения Прибалтики на более позднее, как это часто бывает с этнонимами. Во всяком случае, слово est- (мн.ч. ester) засвидетельствовано в средневековом старошведском языке в значении 'раб; эстонец'; этот этноним представлен и в финских источниках XVI в. Этимология слова неясна, достаточно серьезным из выдвинутых до сих пор является лишь предположение о германском происхождении.

В эстонском языке существует два основных наречия – североэстонское и южноэстонское. Они значительно отличаются друг от друга, и в прошлом каждое обладало собственной письменной формой.

Древнейшие эстонские языковые памятники относятся к XIII-XIV вв.; впрочем, это еще не цельные тексты. Одним из наиболее ценных памятников является "Liber Census Daniae" (XIII в.), где содержится ряд (северо)эстонских собственных имен. В дальнейшем число языковых памятников непрерывно увеличивается; начиная с XVI в. встречаются сохранившиеся тексты как на северо-, так и на южноэстонском наречиях. Таким образом, различия между указанными двумя наречиями весьма древние, документируемые историей языка и, по всей вероятности, связаны с их происхождением от двух различных праприбалтийско-финских диалектов. Первая эстонская книга была напечатана в 1525 г., но ни один экземпляр ее не сохранился; от изданного десятью годами позже катехизиса до нас дошло лишь несколько листков. В большем количестве печатные тексты на обоих наречиях появляются в начале XVII в.; практически с этого времени и вплоть до XIX в. существовали два литературных языка – таллинский (североэстонский) и тартуский (южноэстонский). В начале – середине XIX в. началось сближение этих двух письменных форм, причем с ориентацией на среднесеверный диалект. Усилия, направленные на создание единого литературного языка, сочетались с правильно сплани-

рованным и последовательно осуществлявшимся процессом обновления языка (успех которого очень поучителен с точки зрения языкового планирования). Благодаря всему этому литературный язык, основанный на североэстонском наречии, с начала XX в. стал понятен и носителям южноэстонских диалектов, хотя южным эстонцам трудно объясняться с носителями некоторых северных диалектов, если каждый из собеседников пользуется родным диалектом. В этой ситуации литература на диалектах оказалась к нашему времени вытесненной, хотя значимость и широкая распространенность диалектов неоспоримы до сих пор.

Для современного литературного эстонского языка характерны:

частая встречаемость среднерядного *e̮*, в орфографии – õ (на месте фин. *o* и *e*);

отсутствие в непервых слогах ä, ö, ü и в целом разрушение гармонии гласных;

отпадение ауслаутных гласных (jälg = фин. jälki 'след', nahk = фин. nahka 'кожа', инесс. -s = фин. -SSA, элат. -st = фин. -STA, адесс. -l = фин. -LLA, абл. -lt = фин. -LTA);

выпадение гласных внутри слова (lõpmatu = фин. loppumaton 'бесконечный');

переход oi > oe, äi > äe (poeg = фин. poika 'сын', päev = фин. päivä 'день' и т.д.);

сохранение долгих гласных первого слога в недифтонгизировавшемся виде (hoone = фин. huone 'строение, постройка', meel = фин. mieli 'чувство');

сокращение долгих гласных в непервых слогах (ostma = фин. ostamaan 'приобретать', jälle = фин. jälleen 'снова');

частая утрата h не только в срединном, но и в анлаутном положении, даже если на письме h обозначается (kätte = фин. käteen < kätehen 'в руку', karu = фин. karhu 'медведь', hull : произносится ull = фин. hullu 'сумасшедший');

отпадение -n в ауслауте (metsa (ген.) = фин. metsän 'ле́са', naine = фин. nainen 'женщина'; исключение составляет, однако, окончание 1-го лица ед.ч. в глагольном спряжении!);

распространение чередования ступеней согласных на всю систему консонантизма, в том числе и на консонантные сочетания, а также грамматикализация этого чередования, например: ном. käsi 'рука' – ген. käe, парт. kätt, ген. мн.ч. käte; ном. sõber 'друг' – ген. sõbra, парт. sõpra; ном. jõgi 'река' – ген. jõe, парт. jõge, иллат. jõkke, ген. мн.ч. jõgede; ном. koda 'дом' – ген. koja; ном. jalg 'нога' – ген. jala; ном. põld 'поле' – ген. põllu, парт. и иллат. põldu; ном. pulss 'пульс' – ген. pulsi, парт. pulssi; ном. sepp 'кузнец' – ген. sepa, парт. и иллат. seppa и т.д.;

расширение системы падежей за счет окончаний терминатива

-ni и комитатива -ga; напротив, исчезновение лично-притяжательных показателей обеднило именное словоизменение;

вытеснение старого прибалтийско-финского форманта i показателем te (~d) в косвенных падежах множественного числа;

обобщение прежнего указательного местоимения в качестве личного местоимения 3-го лица (ед.ч. tema, краткая форма ta; мн.ч. nemad, nad);

окончание 3-го лица ед.ч. наст. вр. -b в глагольном спряжении (teeb = фин. tekee 'делает', õpetab = фин. opettaa 'учит');

обобщение -s(i)- в качестве показателя имперфекта (luge-sin = фин. luin 'я читал', istus = фин. istui 'он сидел'[1]);

употребление двух инфинитивов — на -ma и на -da;

отсутствие формы множественного числа у Part. Perf. Act. на -nud;

отсутствие личных окончаний как у смыслового, так и у вспомогательного (отрицательного) глагола в отрицательных конструкциях.

В качестве примечательной особенности эстонского языка заслуживает упоминания наличие 90 именных и 25 глагольных парадигматических типов.

В эстонском языке зафиксировано несколько сот русских заимствований (в основном XVIII-XX вв.). Наиболее значителен слой нижне- и верхненемецких заимствований, нахлынувших в язык с XIII в. (их около тысячи). Слов шведского происхождения (появляются после XVII в.), вероятно, порядка 200—300. В последние двести лет эстонский язык оказался в довольно значительной мере затронут финским влиянием: заимствования из финского языка сознательно внедрялись при обновлении языка. Отмечено — главным образом в южноэстонском наречии — и несколько десятков латышских заимствований.

Граница между северо- и южноэстонским наречиями, носящими характер двух почти самостоятельных языков, тянется от средней части побережья Чудского озера по р. Эмайыги, проходя рядом с Тарту и оз. Выртсъярв, до Вильянди, а затем идет на юго-запад, до границы Латвии. Иначе говоря, на большей части Эстонии, включая западное побережье и острова, распространено североэстонское наречие. Разумеется, каждое из двух наречий членится на диалекты.

Внутри *североэстонского* наречия можно выделить северо-восточный прибрежный диалект (полоса от Нарвы и почти до Таллина), среднесеверный диалект (наиболее крупная из диалектных областей, расположенная между Таллином и границей южноэстонского наречия), кодавереский или восточный диа-

[1] Правда, в ограниченном числе случаев в литературном языке представлен имперфект на -i- (tul-in 'я пришел' и т.д.).

лект (на западном побережье Чудского озера к северу от Тарту), западный диалект (на побережье Балтийского моря в Пярнуском и Хаапсалуском районах) и диалекты островов (Сааремаа, Хийумаа, Муху и Кихну).

Южноэстонское (или *тартуское*) наречие занимает сравнительно небольшую территорию. В ее восточной части (вдоль южной части побережья Чудского озера и вдоль побережья Псковского озера) бытуют два диалекта – тартуский и, к югу от него, – выруский (в том числе сетуский говор, который заходит и на территорию РСФСР[1]). Третьим и последним из южноэстонских диалектов является вильяндиский (или юго-западный), расположенный к западу от тартуского[2].

Отметим некоторые особенности южноэстонского наречия, отличающие его от североэстонских диалектов (в качестве североэстонских ниже привлекаются, как правило, данные литературного языка, а диалектные формы указываются лишь при особой необходимости).

В области морфологии внимание в первую очередь привлекает использование южноэстонским наречием показателя имперфекта -i-, развившегося фонетически закономерным путем, вместо североэстонского -si-, имеющего аналогическое происхождение[3]:

Южный	Северный	
ma võt́t́i	võtsin	= фин. otin 'я брал'
ütli	ütlesin	= фин. sanoin 'я говорил'

Южноэстонское окончание 3-го лица ед.ч. наст. вр. -ø или -s, -se, а не -b:

Южн.	Сев.	
ta tule̮	tuleb	= фин. tulee 'приходит'
ta an̄d	annab	= фин. antaa 'дает'
ta eläs	elab	= фин. elää 'живет'

Окончание 3-го л. мн.ч. наст. вр. – -va, -vä вместо -vad:

jätvä	jätavad	= фин. jättävät 'оставляют'
laulva	laulavad	= фин. laulavat 'поют'

[1] Сетусцы живут восточнее и исповедуют православие; многие диалектные черты сохранились в их говоре лучше, чем в более западных собственно выруских говорах.

[2] В обобщающих исследованиях последнего времени эстонские языковеды (например, А. Лаанест) пишут о трех основных наречиях, выделяя внутри североэстонского *северо-восточный* диалект в качестве особого наречия. Южноэстонский диалект, именуемый нами вильяндиским, А. Лаанест называет мулькским. Сущности дела все это не меняет.

[3] *NB*: имперфект на -i- существует и в североэстонском кодавереском диалекте.

В южноэстонском не сохранилось глагольное окончание 1-го лица ед.ч. -n:

ma anna	ma annan	= фин. minä annan 'я даю'

Согласный d в суффиксах причастий прошедшего времени -nud (актив) и -tud (пассив) отпал или дал гортанный смычный:

tennü~tennü?	teinud	= фин. tehnyt 'сделавший'
tõnu?	toonud	= фин. tuonut 'принесший'
sâdu	saadud	= фин. saatu 'полученный'

Показатель номинатива мн. ч. -d также превратился в гортанный смычный (или полностью утратился):

härä?	härjad	= фин. härät 'быки'
mīhè	mehed	= фин. miehet 'люди'
kala?	kalad	= фин. kalat 'рыбы'

Южноэстонское наречие сохранило показатель косвенных форм мн.ч. -i-, не заменив его на -de-:

härile	härgadele	= фин. härjille 'быков'
jalùst (-ù-<*-o-i-)	jalgadest	= фин. jaloista 'из ног'

Южноэстонский инессив имеет окончание -h(n)~-n:

külähn küläh külän	külas	= фин. kylässä 'в деревне'

Сравнительная степень имеет суффикс -B(b) или -mB:

Южн.	Сев.	
vaneB, ген. vaneba	vanem	= фин. vanhempi 'старее'
sūremB, ген. sūremba	suurem	= фин. suurempi 'больше'

Если в североэстонском показатель прошедшего времени в отрицательном спряжении присоединяется к смысловому глаголу, то в южноэстонском — к вспомогательному:

ma es tule	ma ei tulnud	'я не пришел'

Перечисленные выше морфологические особенности южноэстонского наречия свидетельствуют одновременно и о целом ряде фонетических отличий. Так, гармония гласных утрачена не во всех южноэстонских диалектах (южн. hädä = сев. häda 'беда', южн. silmä = сев. silma (ген.) 'глаза', южн. läkkähtüs = сев. läkatus 'удушье', южн. igäv = сев. igav 'скучный' и т.д.); инлаутные полузвонкие смычные и сибилянт s в южноэстонском могут реализоваться как звонкие (g, d, b, z); можно отметить случаи деназализации (южн. kuńigaz = сев. kuningas 'король'); ряды чередований согласных по ступеням более обширны, а сами формы

чередований отличны от североэстонских вследствие фонетических преобразований (сев. nälg 'голод'~näljane 'голодный'= южн. nälane; сев. härg 'бык', мн. ч. härjad = южн. härä?; сев. suurem 'больше', ген. suurema = южн. suuremB~suuremp, ген. suuremba~ suuremma – наряду, однако, с sūrèB, ген. sūreрra! — и т.д.); сохранен прибалтийско-финский ауслаутный h (южн. pereh = сев. pere 'семья', но иллат. южн. perrehe[1] = сев. peresse, диал. perre); вокализация прибалтийско-финских *kl, *kj произошла не во всех положениях (*vakja 'клин'>сев. vai, ген. vaia = южн. vaGi, ген. vaGjà, парт. vakja или, в сетуском говоре — vaga, ген. vajà, парт. vaᵛkkà, иллат. vakka; *kakla 'шея'>сев. kael, ген. парт. иллат. kaela = южн. kâl, ген. kālà, парт., иллат. kakla); произносится аплаутный h (южн. hämmäf = сев. hämar, произносится ämar 'сумеречный'); сохранен дифтонг *äü, а также дифтонг *ai под побочным ударением (южн. täüz = сев. täis 'полный'; южн. sūmlaisi = сев. soomlasi, парт. мн.ч. от soomlane 'финн'); и *-ks, и *-ps дали в южноэстонском t's' (сев. üks = южн. üt's', ген. üttē 'один'; сев. kaks = южн. kat's, ген. kattē 'два'; сев. läks = южн. lāt's' 'он пошел'; сев. laps = южн. lat's' 'ребенок').

Приведенным перечнем далеко не исчерпываются различия между южно- и североэстонским наречиями (среди которых, естественно, фигурируют и лексические особенности, связанные не только с обликом слов, но и с наличием диалектизмов в собственном смысле слова). Не только по своему количеству, но и по характеру эти различия выходят за рамки обычного уровня расхождений между диалектами одного языка, что и послужило основанием для часто встречающегося (хотя и несколько преувеличенного) утверждения, согласно которому человек из Северо-Восточной Эстонии понимает финна из Турку лучше, чем южного эстонца.

Ливский язык

В начале нашего тысячелетия ливы, ведущие свое происхождение, по-видимому, от особого праприбалтийско-финского племени, представляли собой многочисленный и сильный народ. В ту эпоху они еще населяли территорию Лифляндии (Ливонии), расположенной к северу от Даугавы у Рижского залива. Ныне, однако, их потомков можно встретить лишь в нескольких рыбацких деревнях на северном побережье Латвии (крайне северная часть Курземского п-ова). После опустошений, вызванных второй мировой войной, численность ливов резко сократилась,

[1] С другой стороны, в южноэстонском представлен и иллатив на -he.

и сейчас количество говорящих по-ливски составляет всего 150 человек.

Иногда ливы пользуются самоназванием liivõ, liibõ, luvnikka, которое, однако, первоначально являлось, вероятно, внешним названием, поскольку обычно ливы из восточных рыбацких деревень называли себя kalàmi'ed 'рыбаки', а западные ливы — rāndalist 'береговые жители'. В то же время этноним *лив* встречается в исторических источниках с XIII в. (Livones, Livonia и т.д.). Из латинского языка он проник в немецкий и русский (русск. *ливы* впервые засвидетельствовано в 1521 г.), вытеснив представленную в древнерусских летописях собирательную форму этнонима *либь*. Последняя явно связана с латышским названием ливов (lîbis, lîbiẽtis).

Происхождение этнонима неясно. Примечательно, впрочем, что у олонецких карел отмечены два альтернативных самоназвания — liüdiläine и livvikköi ("liüdiläine olen da livvikse pagizen" 'я *людик* и говорю по-*ливвикски*'). Учитывая отсутствие прямой связи между этнонимами *людик* и *ливвик*, эта ситуация находит объяснение в том, что перенос названий с одной этнической группы на другую происходит в прибалтийско-финской среде чаще обычного (часть вепсов также именует себя l'üd'i-ńik, карелы же иногда называют людиков вепсами). Разумеется, здесь играет роль и то, что этнонимы различного происхождения, но сходного звучания могут легко смешиваться в употреблении (ошибочное отождествление liüdi- и livvi-). Во всяком случае, наличие этнонима *лив* на карельской территории вызывает удивление ввиду большой удаленности от Ливонии[1]: предположение об этимологической связи этнонимов *ливвик* и *лив* нуждается в подкреплении, причем не может быть оставлен без внимания и тот факт, что топоним Liivi и антропоним Liivilä (объясняемые из скандинавского Lif) встречаются и на территории Финляндии (Nissilä: Vir., 1954, c. 265).

Систематического изучения и оценки письменных памятников ливского языка не проведено. Возможно, при планомерном исследовании ливские данные удастся обнаружить и среди отрывочных прибалтийско-финских вкраплений в документах, относящихся еще к XIV в. Уже в XVIII в. появляются печатные памятники ливского языка, но до регулярного издания ливских книг дело не дошло, несмотря на попытки, предпринятые в конце XIX в. и в период между двумя мировыми войнами (переводы библии, учебники, позднее журнал "Līvli").

В процессе исторического развития ливского языка глубочайшее влияние оказал на него, в первую очередь, латышский

[1] Это, однако, можно объяснить былой широкой известностью Ливонии и значительной протяженностью ее территории.

язык. Помимо этого, имело место эстонское, нижненемецкое и русское влияние. Но если число латышских заимствований очень велико и непрерывно возрастает, ввиду того что все ливы говорят и по-латышски, то количество элементов эстонского и немецкого происхождения является фиксированным. Русские слова также могут обогащать ливский язык (пока он продолжает существовать) через латышское посредство (или благодаря трилингвизму). Количество латышских заимствований — без учета балтийских заимствований прибалтийско-финской эпохи — составляет, по данным недавно опубликованного исследования, 2562[1]. Следует, наряду с этим, учитывать, что большинство нижненемецких заимствований (их около 200) проникло в ливский язык через латышское посредство. Довольно тесными были и эстонско-ливские контакты: помимо уз языкового родства, существовали и этнические связи (особенно между населением о. Сааремаа и ливами Дундаги), оставившие свои следы в языке. Позднее, в 30-х гг., при попытках создания литературного языка, в ливский язык проникло довольно много эстонских слов и выражений, а также лексических ка́лек; нельзя, конечно, быть уверенным в том, что они получили широкое распространение и укоренились в языке.

Ливский принадлежит к числу изолированных прибалтийско-финских языков, и его участь предрешена: процесс перехода на латышский язык трудно остановить. Среди характерных особенностей продолжающей ныне звучать ливской речи можно выделить ряд таких фонетических (и даже морфологических и синтаксических) черт, которые возникли в результате контактов с латышами. Значительное влияние на ливский язык оказали латышская интонация и фонетическая система; наряду с этим обнаруживается немало словообразовательных суффиксов латышского происхождения; латышская морфология повлияла даже на формирование именного и глагольного словоизменения. Несмотря на эти интерференционные явления, ливский представляет собой самостоятельный прибалтийско-финский язык. К числу характерных для него признаков относятся: дифтонгизация части долгих гласных: *ē, *ō, и *ȫ (впоследствии, однако, лабиализованные гласные переднего ряда были устранены из системы вокализма, в силу чего исходный *ȫ > üö приобрел форму ie: tie 'работа', siedə̂ 'есть'). Часто встречается звук õ (ə̂); долгий *ā развился в ō (mō 'земля'). Как и следовало бы ожидать на основе сказанного выше, в ливском отсутствует гармония гласных. Напротив, языку известно явление метафонии:

[1] Сюда, однако, не входят гибридные слова, состоящие из латышского префикса и глагольной основы небалтийского происхождения: põr-sùolə̂ 'пересолить', nu'o-jùodə̂ 'выпить' и т.д.

i-умлаут представлен в täm̄ 'дуб' (< *tammi) при мн. ч. tõm̂d, läp̄š 'мальчик' (< *lapsi) при мн.ч. lap̄st (< *lapsut), zäp̄ 'желчь' (< *sappi), käp̄ 'шкаф' (< *kappi) и т.д.

Часто бывают утрачены гласные инлаута и ауслаута: um̄bl̂b 'он шьет' = фин. ompelee; sõrli 'эстонский, сааремааский' = эст. saarlane, фин. saarelainen; jumàl 'бог' = фин. jumala и т.д.).

Система консонантизма имеет следующие особенности: наличие звонких шумных (в том числе и в анлауте!); часто встречающаяся регрессивная палатализация (piń 'собака' = фин. peni); переход *s в определенных положениях в š или ž; отсутствие h (e̮'bdâ 'серебро' = фин. hopea, вепсск. hobed; ūl' 'губа' = фин. huuli; võ' 'воск' = фин. vaha; vo'd'ãr 'клен' = фин. vaahtera и т.д.). Как и в вепсском языке, в ливском отсутствует чередование ступеней согласных; ср. kõgaz 'далеко' = фин. kauas; e̮'dâg 'вечер' = фин. ehtoo, вепсск. e̮htago и т.д.

В сфере морфологии, помимо латышских префиксов, обращают на себя внимание употребление транслатива (-ks) в комитативном значении, отпадение окончаний генитива и аккузатива -n, при наличии -n в функции дативного окончания (возможно, оно восходит к лок. *-na). Интересно, что окончание абессива -t мирно соседствует с заимствованным из латышского предлогом bäs 'без' (bäs siem̂t 'без еды' = фин. syömättä, хотя чаще при предлоге ставится партитив: bäz rõ'dâ 'без денег' = фин. rahatta или ilman rahaa и т.д.).

Во всех временах и наклонениях глагольного спряжения 1-е и 3-е лица совпали:

tappâ 'убивать' (< *tappàd)

Настоящее время	Имперфект
ma tappab	ma tappìz
sa tappad	sa tappìst
ta tappab	ta tappìz

Отрицательные конструкции сходны с южноэстонскими (наст. вр.: 1 и 3 л. ед. ч. äp tappà, 2 л. ед. ч. ät tappà; имперфект: 1 и 3 л. ед. ч. is tappà, 2 л. ед. ч. ist tappà; таким образом, значения лица и времени передаются отрицательным глаголом).

Показатель условного наклонения — -ks (< *-ksi), как и в эстонском языке.

Говорить о диалектном членении ныне уже было бы анахронизмом: из двух существовавших ранее диалектов — *западного* (Курляндия) и *восточного* (Лифляндия) — последний исчез еще в прошлом веке. В современном ливском языке Курземе (Курляндии) имеются сравнительно незначительные различия между говорами (главным образом в области вокализма).

9. Саамский язык

В северных районах Норвегии, Швеции и Финляндии и на Кольском полуострове в СССР живут саамы, или лопари, насчитывающие около 40 тыс. человек. Обширная территория их расселения (около 400 тыс. кв. км) в западной своей части представляет собой скалистую, поросшую лесом горную местность, а на востоке – безлесную тундру, усеянную невысокими холмами.

Две трети саамов живет в северных фюльке (провинциях) Норвегии – Финмарке, Тромсё и Нурланне. Шведские саамы (их 8–9 тыс.) расселены в Херьедалене, Емтланде, вдоль среднего и верхнего течения рек Пите, Луле, Уме и Турне. В Финляндии саамы населяют район озера Инари, а также районы Энонтекиё, Утсйоки и Соданкюля (3 тыс.). В СССР саамы живут на Кольском полуострове и в Печенгском районе (2 тыс.).

Историография впервые упоминает о них в I в. н.э.: название Fenni, встречающееся в "Германии" Тацита, принято соотносить с саамами, поскольку описание этого народа не может относиться к прибалтийским финнам, уже тогда стоявшим на более высоком уровне хозяйственного развития. Во II в. Птолемей Александрийский в своей "Географии" выделяет уже два народа с таким названием: один из них жил у Вислы (в нем можно усматривать предков прибалтийских финнов), другой же – в северной части Скандинавского полуострова (здесь мы имеем дело с самими саамами). Впоследствии саамы упоминаются как Screrefennae (Прокопий, VI в.), Scrithi-finni, Scrithifinnoi (Йордан, VI в.; Павел Диакон, VIII в.). Первая часть этих названий бесспорно связана с древнескандинавским глаголом skrīda 'ходить на лыжах': умение быстро передвигаться на лыжах было в глазах чужеземцев примечательной особенностью саамов. Выше уже говорилось о возможной этимологии слова *финн*, равно как и о том, что это слово долго употреблялось в двух значениях – 'саам' и 'финн', пока не стало названием финнов. Заметим, впрочем, что норвежское слово finne и сейчас имеет значение 'саам'.

Название Lappia (Лапландия, страна лопарей) встречается у Саксона Грамматика (около 1100 г.). Этноним с этой основой издавна употребляется финнами, шведами (lapp), русскими (*лопь, лопари*), и именно под таким названием саамы стали в течение последних веков известны миру. Этимология этнонима проблематична. Выдвигалось предположение о финском происхождении (ср. фин. lappea, lape 'сторона, плоская поверхность чего-либо' или, согласно другому варианту, loppu 'конец'), которое, однако, совершенно неправдоподобно. Более обоснованной, хотя и несколько усложненной, выглядит шведская этимология слова. Согласно Э. Итконену, шведы перевели на свой язык самоназвание одной из групп саамов – vuowjoš (кото-

рое, как предполагается, имело в древности довольно широкое распространение) и обобщили его на весь народ. Слово vuowjoš является производным от vuowje 'клин, клиновидная вставка или заплата (на одежде, на покрышке чума)', по-шведски же 'кусочек (ткани, кожи)' называется lapp. В порядке семантического и социального обоснования наименования vuowjoš – lapp можно сослаться на то, что саамы, как и некоторые языческие прибалтийско-финские племена древности, укрепляли на своей одежде клиновидные (треугольные) кусочки ткани, служившие магическим символом или амулетом. Этимологическим соответствием саам. vuowje 'клин, колышек' является фин. vaaja, и сюда же относится, в частности, уже упоминавшееся самоназвание води (vad'ja). Эти слова, как отмечалось выше, имеют балтийское происхождение. Родство слов vuowje и vad'ja и их преимущественное употребление в качестве этнонимов указывает на древние связи саамов и прибалтийских финнов.

Ныне, однако, этноним vuowjoš саамами не используется. Как правило, они называют себя sabme (sämе). Ранее это слово сопоставляли – без достаточных оснований – с этнонимом *самоед*. Напротив, среди специалистов по саамскому языку довольно распространено мнение о том, что sabme восходит к праформе *šämä, которой в финском языке соответствует племенное название häme ('емь'). Это сопоставление указывает на связи того же характера, что и соотношение vuowjoš~vad'ja. Из всего этого можно сделать вывод, что саамы проникли в районы своего современного расселения сравнительно поздно, а ранее жили значительно южнее, первоначально (в I тыс. до н.э.) населяя, вероятно, Прибалтику (однако находясь все же к северу от прибалтийско-финских племен). Их проникновение на территорию Финляндии и Скандинавии началось в последние века до н.э. (в густых лесах этого ареала саамы всегда могли рассчитывать на богатую добычу: не усвоив от прибалтийских финнов навыков земледелия, они занимались охотой и рыбной ловлей, и в ходе своих кочевок, имеющих целью поиски пропитания, уже в начале н.э. вступили в контакт со скандинавами, о чем свидетельствуют заимствованные слова). Затем, в первых веках н.э., становящееся все более интенсивным переселение финнов на территорию Финляндии и освоение ими новых земель привело к тому, что саамы постепенно были оттеснены в северные районы Финляндии и Скандинавии. Это отступление на север длилось, однако, много веков, и еще в XIV в. значительная часть Восточной Карелии была заселена саамами[1], а в XV–XVII вв. саамы жили даже в центральной части Финляндии.

[1] Этим объясняется употребление в некоторых карельских диалектах слова lappalaińe в значении не только 'саам', но иногда и 'карел'.

Часть лексики саамского языка находит соответствия в других финно-угорских и/или самодийских языках. Однако весьма значительная и базисная доля словарного фонда является общей только с прибалтийско-финскими языками. Сюда относятся и те балтийские и германские заимствования, которые проникли в саамский язык через прибалтийско-финское посредство. Помимо массы поздних финских заимствований (например, в западносаамском диалекте Юккасъярви представлено наряду с 1200 древними около 1600 новых слов финского происхождения), в саамском языке (или в отдельных его диалектах) обнаруживается много древнескандинавских, шведских, норвежских и русских заимствований. С этими весьма обширными, но поддающимися этимологизации группами лексики соседствует большое количество слов неизвестного происхождения, составляющих треть саамского словаря. Предполагается, что значительная часть этих слов унаследована от дофинно-угорского (протосаамского) языкового субстрата.

Саамский язык обнаруживает исключительно много общих черт с прибалтийско-финскими: как в историко-фонетическом отношении, так и в отношении элементов грамматического строя эти языки в большинстве случаев возводимы к общему предшествующему состоянию. Таким образом, прибалтийско-финские и саамский язык можно выводить из общего для них праязыка, именуемого ранним прибалтийско-финским или финно-саамским праязыком. Есть, однако, много причин, препятствующих трактовке саамского языка как всего лишь одного из ответвлений прибалтийско-финской группы.

Даже для неспециалиста совершенно очевидны различия в антропологических типах саамов и прибалтийских финнов.

Саамы низкорослы (в среднем 155 см), коротконоги (у них длинный торс, составляющий 53–54% общей длины тела), круглоголовы (черепной указатель 82–86), имеют носы широкой сплюснутой формы с низко расположенной переносицей, широкую скуловую кость, глаза небольшого размера, темноволосы и темноглазы, с редкой растительностью на лице. Саамы образуют особый антропологический тип — лапоноидный. Условия его формирования и место в системе человеческих рас окончательно и надежно не определены. Лапоноидный тип принято считать результатом смешения европеоидных и монголоидных элементов, но, по данным исследований последнего времени, его следует скорее признать типом европеоидного характера, который сформировался в конце ледникового периода где-то на северо-востоке Европы и, возможно, родствен альпийскому типу.

Таким образом, бросается в глаза противоречие между антропологическим различием прибалтийских финнов и саамов

и сходством их языков. Это противоречие привело исследователей, занимающихся происхождением саамов, к мысли о том, что у народа, относящегося к иному расовому типу, произошла смена языка.

Согласно мнению известного шведского финно-угроведа конца XIX – начала XX в. К Б. Виклунда, саамы являются и в этническом, и в языковом отношении народом нефинно-угорского происхождения (их первоначальный язык он назвал протосаамским), который в раннюю прибалтийско-финскую эпоху подвергся ассимиляции, утратив одновременно свой прежний язык. Виклунд сделал также попытку обнаружить протосаамские следы в современном саамском языке. Протосаамский он считал нигде не сохранившимся непосредственно европейским языком времен ледникового периода.

С точки зрения норвежского ученого К. Нильсена, нет полной ясности в вопросе о том, заимствовали ли протосаамы язык своих соседей в раннюю прибалтийско-финскую эпоху или в какую-то из предшествовавших ей праязыковых эпох. Он считает, однако, несомненным восточное происхождение саамов и на основе аналогий между саамским и самодийским оленеводством признает протосаамский язык самодийским, сместившимся на запад.

Один из наиболее крупных финно-угроведов, финский ученый Э. Н. Сетяля, современник Виклунда, считал в отличие от него, что смена языка произошла у саамов значительно раньше, заведомо еще в финно-угорскую эпоху. Саамы жили к северу от финно-угров, и их язык сформировался под финно-пермским, а затем финно-волжским и, наконец, прибалтийско-финским влиянием.

Принципиально иную концепцию происхождения саамов выдвинул в 1941 г. финский лингвист Э. Лагеркрантц. Он считает саамов наряду с обскими уграми и самодийцами остатками древнего арктического народа. Этот арктический народ говорил, согласно данной концепции, на уральском праязыке, который усвоили и пришедшие с юга европеоиды – предки остальных финно-угорских народов. На формирование саамского языка, по Лагеркрантцу, впоследствии оказали влияние и эти этнические группы южного происхождения.

Специальное исследование посвятил этому сложному вопросу П. Равила (1935 г.). Его позиция в ряде отношений близка точке зрения Виклунда. саамский язык в своих основных чертах возводится им к прибалтийско-финской и к предшествующей ей "дофинской", то есть финно-мордовско-саамской, эпохам. Таким образом, в подобной трактовке саамы заимствовали свой язык от предков прибалтийских финнов не сразу, а постепенно. После завершения "дофинской" эпохи и отделения

мордовского языка возникли прасаамское и праприбалтийско-финское языковые состояния, однако различия между ними могли иметь не более чем диалектный характер. Наряду с этим П. Равила считает возможным, что предки саамов были исходно самоедоязычны или говорили на некоем древнем арктическом языке.

Шведский ученый Б. Коллиндер, дискутируя в работе 1944 г. с П. Равилой (а затем в работе 1954 г. – с Ю. Х. Тойвоненом), занял ту точку зрения, что в вопросе о языковой принадлежности саамов с уверенностью можно утверждать только одно: саамы относятся к западной ветви финно-угров. Он оспаривает доказательность морфологических параллелей, на которые указывает Равила в качестве свидетельства тесной связи между саамским и прибалтийско-финскими языками, и выделяет такие явления в саамском языке, которые отграничивают последний от прибалтийско-финских, но могут быть возведены к уральскому праязыку. Коллиндер, таким образом, утверждает, что саамский язык является таким же потомком уральского (финно-угорского) праязыка, как удмуртский или мордовский. По его мнению, при анализе лингвистических фактов проблема протосаамского языка не встает; вопрос может быть лишь о том, кто ближе уральскому пранароду в расовом отношении – саамы (и самодийцы) или же финны, мордва, марийцы. В последней связи он не считает исключенной возможность того, что финны, мордва и марийцы были ассимилированы в языковом отношении предками саамов.

Новые данные касательно предполагаемого самодийского происхождения саамов представил в 1949 г. Ю. Х. Тойвонен. Он обнаружил в саамской лексике почти 100 таких слов, соответствия которым можно обнаружить лишь в отдаленно родственных саамскому языках – самодийских и угорских. 60 из них являются общими только для саамского и самодийских языков. Из этого он заключает, что протосаамы говорили на самодийском языке и, оторвавшись от основной массы самодийцев, вначале оказались соседями угров (чем объясняются саамско-угорские лексические параллели), а затем, продвинувшись западнее, вступили в контакт с другими финно-угорскими народами. Эти контакты в финно-волжскую эпоху приобрели такую интенсивность, что привели к смене языка у саамов.

Последним в этой дискуссии высказал свое мнение Э. Итконен (1955 г.). С помощью веских лингвистических доводов он приходит к заключению, что аргументы Тойвонена непригодны для обоснования самоедоязычности протосаамов. Саамский язык, по Итконену, является прямым продолжением одного из диалектов раннего прибалтийско-финского праязыка

и в нем не обнаруживается никаких "протосаамских" черт. Он не высказывается по вопросу о том, когда возникла языковая общность предков саамов и прибалтийских финнов, утверждая в этой связи лишь то, что она существовала по крайней мере уже в финно-волжскую эпоху.

При таком обилии различных объяснений нелегко прийти к определенному мнению относительно происхождения саамов. Представляется, что лингвистический анализ действительно заставляет признать связь саамского и прибалтийско-финских языков очень тесной – настолько, что саамский язык можно считать одним из потомков раннего прибалтийско-финского праязыка. И все же этнические особенности саамов побуждают задуматься о происхождении этого народа. Следовательно, теорию смены языка пока нельзя снять с повестки дня. Представляется вероятным, что "протосаамы" говорили на другом языке и начали усваивать язык своих южных соседей в финно-волжскую эпоху. Вследствие этого в раннюю приблатийско-финскую эпоху уже могло возникнуть определенное финно-саамское языковое единство. Однако первоначальный язык саамов неизвестен: эта загадка оказывается неразрешимой с помощью современных средств праисторических исследований.

Саамский язык, вначале занимавший относительно компактную область, распространился и раздробился, постепенно оттесняясь на север, на обширной территории в пределах нескольких государств. Диалекты отдельных групп саамов образовались по большей части независимо от политических границ (тем не менее сейчас эти границы приобретают все большее значение с точки зрения развития лексики). Таким образом, говоря о норвежских, шведских, финских саамах или саамах России (СССР), мы определяем в первую очередь не диалектную принадлежность саамских групп, а их географическое размещение.

Предлагались различные способы классификации саамских диалектов, и дать ее окончательный вариант было бы в настоящий момент нелегко. Одни исследователи выделяют восемь, другие – девять или десять основных диалектов; их можно подразделить на две большие группы – западную и восточную.

К западной группе саамских диалектов относятся:

1) *Южносаамский* (в собственном смысле слова), подразделяющийся на говоры Емтланда (в основном Херьедален в Швеции и район Рёруса в Норвегии) и говоры Оселе (районы Оселе, Вильхельмины, к югу от Терны в Швеции, Вефсен и прилегающие к нему прибрежные местности в Норвегии).

2) Диалект *Уме* – в верхнем и среднем течении р. Уме. К нему относятся говоры районов Люкселе, Мало, Сурселе, а также говоры, располагающиеся к северу от Терны и к югу от

Арвидсъяура в Швеции. Этот диалект обладает переходными чертами, сближающими его с южными говорами.

3) Диалект *Пите* – в бассейне р. Пите, на большей части Арьеплуга и к северу от Арвидсъяура (Северная Швеция), а также в некоторых местностях Нурланна в Норвегии (Фауске, Рана).

4) Диалект *Луле* – в бассейне р. Луле в Северной Швеции (районы Елливаре и Ёккмокк) и в смежных районах Норвегии (Тюсфьорд, Фолла и др.).

5) *Норвежско-саамский* (или *северносаамский*, или *диалект Руйи*) – в Финмарке и Тромсё (Северная Норвегия), Норботтене (Швеция) и некоторых местностях севера Финляндии. Норвежско-саамские говоры подразделяются на: а) южные горные (или говоры Турне) – в районах Юккасъярви, Кируна (Швеция) и в фюльке Тромсё (Норвегия); б) западные горные – в районах Кааресуандо (Швеция), Энонтекиё (Финляндия) и Каутокейно (Норвегия); в) восточные горные (или финмаркские) – в населенных пунктах Карасйок и Польмак и в так называемой Восточной Руйе (Норвегия), районах Оутакоски и Утсйоки (Финляндия), а также говоры саамов-оленеводов, представленные к югу от озера Инари до Соданкюля (Финляндия); г) так называемые приморские – на океаническом побережье Северной Норвегии (Варангер, Квенанген, Квальсунн, Лаксефьорд). Приморские говоры обладают многими восточносаамскими чертами.

Примерно две трети саамов говорит на норвежско-саамском диалекте.

К восточной группе саамских диалектов относятся:

6) Диалект *Инари*, являющийся, собственного говоря, переходным от говоров Восточной Руйи к диалекту Колтта. После второй мировой войны непосредственными соседями саамов Инари стали саамы Колтта из Петсамо (Печенгского района), переселившиеся в район Севеттиярви; последних не следует смешивать с исконным саамским населением Инари.

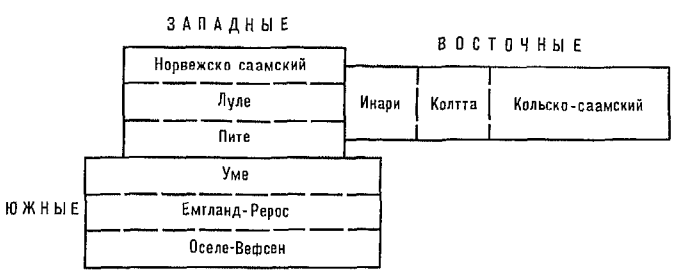
7) Диалект *Колтта* – в населенных пунктах Мотка, Нотозеро, Гирвасозеро (СССР), районе Нейдена (Няэтямё) в Норвегии. К нему относятся и говоры печенгских саамов (Пасвикелв, или Паатсйоки, и Сонгельск, или Суоникюля), частично переселившихся в район Севеттиярви (Финляндия).

8) *Кольско-саамский*, включающий в себя: а) кильдинский диалект в северо-западной части Кольского п-ова (поселки Кильдин, Воронье, Ловозеро, Варзино, Масельга, Лявозеро); б) диалект Аккала (или бабинский) – к югу от кильдинского, в районе озера Имандра (поселки Ена, Бабино); в) йоканьгский (или терско-саамский) диалект в восточной части п-ова (поселки

Йоканьга, Чальмны-Варрэ, Поной, Каменск)[1].

Диалекты (7) и (8) принято также называть русско-саамскими, диалект (6) (а также говоры (5) на территории Финляндии) — финско-саамскими, диалекты (1) — (4) — шведско-саамскими. Наряду с различными возможностями группировки диалектов внимания заслуживает то обстоятельство, что существует целый ряд вариантов саамской письменности, а единого разговорного или литературного общесаамского языка не существует (художественные произведения и другие виды литературы пишутся на диалектах с применением различных орфографий, из которых наиболее распространена норвежско-саамская орфография, разработанная К. Нильсеном). Фактически различные саамские диалекты столь же далеки друг от друга, как отдельные прибалтийско-финские языки, и можно было бы с полным правом говорить о нескольких саамских языках. Основанием для этого служит то, что, например, саамы Пите не понимают ни южных, ни тем более восточных, ни даже норвежских саамов. Саамы Утсйоки или Инари не способны объясниться с носителями диалекта Колтта, а кильдинские саамы — с печенгскими. Многочисленные отличия, которые проявляются в социально-политической жизни и хозяйстве различных групп

[1] Существует мнение, согласно которому южные диалекты саамского языка образуют особую группу и, таким образом, язык складывается из трех наречий; это не затрагивает основ вышеизложенной классификации, а вносит лишь изменения во взаимную иерархию диалектов:



Резко отличается от этих классификаций схема Э. Лагеркрантца, который выделяет, наряду с восточной группой, пять других диалектов: 1. Приморский (Нессебю, Нейден, Реппар-фьорд, Квенанген); 2. Северный (Утсйоки, Польмак, Люнген и Сторфьорд); 3. Северо-западный (Кааресуандо-Рёнчеме — горные говоры, Паркаломполо-Муониоалуста — лесные говоры, Гратангеботн); 4. Западный (Тюсфьорд, Арьеплуг); 5. Южный (Вефсен, Теннес, Херьедален).

Удобный в практическом отношении перечень саамских диалектов дает К. Б. Виклунд: 1. Русско-саамский; 2. Инари; 3. Северный; 4. Луле; 5. Пите; 6. Уме; 7. Южный.

саамов, рано или поздно могут сделать необходимым подход к саамским диалектам как к отдельным языкам.

В силу указанных выше причин дать единую лингвистическую характеристику, справедливую для всех саамских диалектов, нелегко. Правда, исторический анализ фонетической и морфологической систем позволяет выявить общие для них архетипы; вне зависимости же от такого анализа характерные черты саамских диалектов предстают в следующем виде.

Саамские диалекты обладают очень богатой и сложной системой фонем. Число гласных фонем колеблется от пяти до девяти, но вдобавок к этому существуют долгие гласные и огромное количество дифтонгов. Статус долгих монофтонгов и дифтонгов не вполне ясен, однако принято считать, что — по крайней мере в некоторых диалектах — наличествует противопоставление слабых и сильных гласных, при котором слабые гласные всегда реализуются как краткие монофтонги, а сильные гласные — как долгие монофтонги или как дифтонги.

В системе консонантизма наряду с глухими смычными представлены слабые глухие (полузвонкие) B, D, G; обнаруживается и противопоставление по глухости — звонкости, главным образом у аффрикат и сибилянтов, а иногда и у смычных, вследствие чего система аффрикат и сибилянтов очень богата. Отмечаются самые разнообразные фрикативные и носовые согласные. В некоторых диалектах (кольско-саамском, южном) фонемным статусом обладают и глухие плавные R, L. Саамским диалектам известна и палатализация, которая, впрочем, не всюду используется в одинаковой мере и не всегда обладает фонематической значимостью для согласных. Очень важная роль принадлежит квантитативным оппозициям (в некоторых диалектах согласные могут иметь три ступени долготы), во многих случаях выступающим при чередовании ступеней согласных. Количественные чередования затрагивают значительную часть системы консонантизма, однако имеется и качественное чередование ступеней. Примечательно, что при всем том в южносаамском (к югу от р. Уме) нет никаких следов чередования ступеней.

Гармонии гласных в саамском языке нет. С другой стороны, во многих — хотя и не во всех — диалектах наблюдается и играет важную роль метафония (умлаут): южносаам. åivē 'голова' — ген. мн. ч. ūivī; dàidēt 'знать' — форма 3-го лица ед.ч. прош. вр. dāidī; норв.-саам. boattet 'прийти' — форма 1-го лица ед.ч. прош. вр. bōttim; Колтта jōrdam 'я думаю' — ju'rddem 'я думал' и т.д.

Очень большое значение имеют в саамском языке фонетически необусловленные морфологические чередования, возникшие в основном вследствие исчезновения некоторых суффиксов за счет утраты ауслаутных фонем: после этого определенные имен-

ные и глагольные формы стали различаться за счет внутренней флексии, ср.:

норв.-саам.	vuoktâ 'волосы'	— ген.-акк. ед.ч. vuovtâ
	suolo 'остров'	— ген.-акк. ед.ч. sul'lu
южносаам.	gūlah 'ты слышишь'	— gǖllah 'ты слышал' (инф. gullat)
	gā̄rov 'ты шьешь'	— gūrra 'ты шил' (инф. gårrōt)
кольск.	jer̄'ḱ 'бык'	— акк. jeŕk̄́
	jamme 'умереть'	— jaḿḿe 'умри'
Колтта	miä'rr 'мера'	— ген.-акк. ед.ч. meä'r
	kägg 'поднимает'	— kāgg 'подними' (инф. kaggâd)
	kä'ǵǵe 'поднимают'	— ka'ǵǵe 'поднимали'

и т.д.

Из морфологических особенностей наиболее примечательна суженная по сравнению с прибалтийско-финскими языками система склонения имен (отмечено 8–12 падежей: как правило, представлены номинатив, генитив, аккузатив, эссив, инессив — элатив, датив — иллатив, абессив, комитатив; партитив встречается только в восточно- и южносаамском; южносаамский сохранил, кроме того, различие между инессивом и элативом; в некоторых говорах зафиксирован также модалис). Архаичной чертой категории числа является наличие у личных местоимений, а в части диалектов и у личных (глагольных и притяжательных) аффиксов форм двойственного числа; это категориальное значение находится на грани исчезновения.

Особенностью прилагательных является отличие атрибутивных форм от предикативных: в функции предиката прилагательные ставятся в своей основной форме (например: Колтта vielggâd, норв.-саам. viel'gâd, южносаам. veäl'gada 'бел, белый'), а в функции определения принимают, как правило, окончание s (Колтта vi'lǵǵes, норв.-саам. vil'gis, южносаам. vīlgas)— естественно, последняя форма не может склоняться. (Существуют, впрочем, и другие способы разграничения атрибутивных и предикативных форм.)

Глагольная парадигма состоит из тех же наклонений и времен, что и в финском языке. Число нефинитных форм является несколько меньшим.

Перечень особенностей отдельных саамских диалектов был бы очень длинным, однако достаточно будет упомянуть в качестве иллюстрации некоторые существенные отличия.

В области фонетики для большинства диалектов характерна деназализация, то есть появление gg, bb, dd, ʒʒ, ǯǯ на месте прежних ŋk, mp, nt, nc, nč (последние сохранились, однако, в кольско-саамском и в некоторых крайне южных говорах: Колтта râ'dd, норв.-саам. râđđe ~ кольск. Кильдин ran̄t 'грудь';

южносаам. gadtsa, норв.-саам. gâʒ'ʒa, Колтта ke̯ʒʒ~Кильдин käñc 'ноготь, коготь'; норв.-саам. guoggom(âs)~южносаам. Вефсен guoŋgalmâs, кольск. Тер kīŋgɛ 'гортань' и т.д.). Аналогичным образом, окраинные говоры сохранили урал. *-mt-, в остальных же диалектах произошла деназализация в другой форме (Кильдин kom̄t, южносаам. Херьедален gâm'dĕ~норв.-саам. govv'đâg, Луле gob'dog, Колтта kobddi 'широкий'; Кильдин tom̄ta-, Херьедален dâm'dĕ-~норв.-саам. dow'dâ-, Луле dob'do-, Колтта tobddâ-, Нотозеро toB̄ta- 'знать' и т.д.). Сочетаниям šk, št восточных диалектов соответствуют на западе ik, ihk, it (Кильдин čušk~норв.-саам. čuoika, южносаам. tjuaihka 'комар'; Кильдин luštɛ~норв.-саам. luoitet, южносаам. lüehtēt 'пускать' и т.д.).

В южносаамских говорах (к югу от р. Уме) чередования ступеней согласных нет, однако явления умлаута здесь, пожалуй, более часты. Между диалектами имеются различия в использовании палатализации: в кильдинском диалекте смягченные согласные фонологизировались.

В области морфологии заслуживает упоминания сохранение партитива (в ед.ч.) в восточных диалектах (-d, -de, -ḍdɛ), в западных диалектах он утрачен, за исключением некоторых послеложно-наречных образований. Инессив—элатив представляет собой единую падежную форму в восточных и даже в части западных (норвежско-саамский) диалектов, причем окончанием этой формы служит в ед.ч. -st- (кольск. śt'), а во мн.ч. -n-. Однако в некоторых говорах шведских саамов (Арьеплуг) и в южносаамском диалекте инессив и элатив сохранены как различные падежи (элат. -sta, инесс. -sna или, при некоторых типах основ, -na).

Окончание аккузатива, первоначально имевшее вид *-m, сохранилось в таком виде только в южносаамском (Емтланд, Херьедален). В некоторых говорах оно превратилось в -b (например, Вестерботтен) или в -v (например, Мало), а в остальных совпало с окончанием генитива -n и отпало. Впрочем, окончание генитива сохранилось в южносаамском и (частично вокализовавшись) в диалекте Луле.

Показателем множественного числа (в номинативе имен) служит в западных диалектах -k (норв.-саам.), который в некоторых случаях (Луле, южносаам.) ослабился до -h, -ɔ или (отдельные южные говоры) вообще отпал (Ø). Также полностью исчез показатель множественного числа в восточных диалектах, где различение чисел осуществляется за счет внутренней флексии: Колтта ē'ḱḱ 'год' — ном. мн.ч. ē'ij, peä'ss 'береста' — ном. мн.ч. piä'ss и т.д.

Характерной особенностью восточных (главным образом кольско-саамского и Колтта) диалектов, отличающей их от

западных, является наличие в индикативе (настоящее время и имперфект), условном и возможностном наклонениях особой седьмой формы лица, помимо трех лиц ед.ч. и трех лиц мн.ч., а именно, неопределенно-личной формы (имперсонала). Имперсонал используется довольно редко и может переводиться на венгерский, как и на русский, страдательными формами или формой 3-го лица мн.ч.; окончанием его служат t или š: наст. вр. инд. vīggât, имперф. инд. vi'kkeš, возможн. накл. vīggžet, усл. накл. vīggčeš (от vīkkâd 'нести').

Личные окончания настоящего времени индикатива в некоторых саамских диалектах сопоставлены в следующей таблице:

	Южносаамский (Рёрус)	Южносаамский (Вефсен)	Уме (Мало)	Пите (Арьеплуг)	Луле
Ед.ч. 1 л.	-m	-p̄,-m̄	-v	-w	-w
2 л.	-h	-ɔ̄,-ɔ	-h	-ɔ	-ɔ
3 л.	ø	ø	ø	ø	ø
Дв.ч. 1 л.	-n	-n	-n	-n	-n
2 л.	-(t'ə)ŕəń	-tiän	-bähten	-ɔpien	-peht̄e
3 л.	-bən	-kan	-väggan	-pā̄n	-pa
Мн.ч. 1л.	-wh	-piä	-hpa	-p	-p
2 л.	-(t'ə)ŕə	-tiä	-behta	-ɔ̄pət	-piht(it)
3 л.	-h	-ɔ̄,-ɔ	-h	-ɔ	-ɔ

	Норвежско-саамский (Польмак)	Норвежско-саамский (Каутокейно)	Инари	Колтта	Кольско-саамский
Ед.ч. 1 л.	-m	-n	-m	-p,-m	-(m)
2 л.	-k	-t	-h	-k	-k,-h
3 л.	ø	ø	ø	ø	ø
Дв.ч. 1 л.	-i	-i	-n	—	—
2 л.	-beätte	-beätte	-vitte	—	—
3 л.	-bâ	-bâ	-v	—	—
Мн.ч. 1 л.	-p	-t	-p	-p	-p
2 л.	-bettit	-bēttit	-vitted	-ve'ted,-ped	-b'b'e,-b'ed'e
3 л.	-ik	-it	-h	-e,-a	-v

Как можно видеть, картина довольно сложна даже при том, что в таблице не детализированы ни соответствия в отдельных говорах, ни личные окончания других времен и наклонений глагола.

На подобном фоне несколько успокоительным оказывается то обстоятельство, что синтаксис саамских диалектов в своей основе единообразен, хотя и здесь не обходится без небольших расхождений (например, в некоторых западных диалектах количественные числительные могут склоняться, а в отдельных слу-

чаях наблюдается согласование прилагательных с существительными). Естественно также, что в синтаксическом построении предложений – как и в лексике – могут проявляться интерференционные черты, обусловленные воздействием того или иного из государственных языков.

В. САМОДИЙСКИЕ ЯЗЫКИ

Введение

Предки говорящих на самодийских языках народов примерно в IV тыс. до н.э. выделились из уральской языковой общности; в то время они, как можно предполагать, населяли южные, таежные районы Западной Сибири (верхнее течение и истоки Иртыша и Оби). Общесамодийской считается та эпоха, для которой еще нельзя постулировать существование отдельных самодийских языков. Эта эпоха завершается приблизительно в начале н.э., когда самодийцы разделились на две основные подгруппы – северную и южную.

К общесамодийской эпохе относятся первые явные следы контактов между самодийцами и тюрками (в последние века до н.э., в районе Алтайского нагорья и на прилегающих к нему с севера и северо-запада территориях). К этому же времени и в основном к этому же району можно приурочить появление лексических заимствований из енисейских языков. (Ныне единственным живым языком этой семьи является кетский. В прошлом ее членами были также коттский, аринский и ассанский языки, которые были распространены на юге Сибири – в районах Алтая, Саянского нагорья и западнее). В принципе можно поставить вопрос о наличии, помимо древнетюркских и енисейских заимствований, следов иранского влияния; до сих пор, однако, поиск таких следов не привел к достижению общепризнанных результатов.

Достигнув Алтайского нагорья, самодийцы в начале н.э. рассеялись по различным районам Сибири; следует полагать, что уже с давних пор существуют и их поселения (постоянные или временные) в северной части Сибири.

Дать общую характеристику самодийских языков очень трудно, поскольку северная и южная ветви довольно сильно отличаются друг от друга и, кроме того, изученность отдельных самодийских языков (и диалектов) нельзя признать удовлетворительной. Мы тем не менее попытаемся указать на несколько общих, присущих всем этим языкам черт.

Фонетическая система в целом сохранила такую черту уральской эпохи, как отсутствие фонологического различия

между звонкими и глухими согласными. Хорошо сохранилась и корреляция по палатализации. Гармония гласных отсутствует, нет и чередования ступеней согласных (если быть более точным, явления, напоминающие таковое, в двух самодийских языках могут оцениваться как результаты обособленного языкового развития). Система падежей у имени имеет одинаковое строение и включает 7—8 элементов (номинатив, генитив, аккузатив, датив, локатив, аблатив, пролатив, иногда также латив—транслатив). Лично-притяжательные окончания могут быть возведены к общесамодийским праформам; так же как и для всего именного и глагольного словоизменения, для них характерна категория двойственного числа.

Заслуживает внимания, что лично-притяжательные показатели имен не только обозначают собственно притяжательность, но и служат очень часто для выражения определенности имени то есть выступают как своего рода постпозитивный определен ный артикль. Большой интерес представляет предикативное употребление имен (существительных, прилагательных, местоимений), при котором к именной основе присоединяются глагольные личные окончания. Благодаря этому в предложениях со значением бытия или обладания качеством, свойством может употребляться именное сказуемое любого лица и числа, не содержащее глагола-связки.

В системе глагола различаются безобъектное и объектное (неопределенное и определенное) спряжения, отличающиеся друг от друга окончаниями, а в северосамодийских языках представлены даже особые окончания для возвратных глаголов.

Категория времени у глагола проста (аорист и прошедшее время), однако велико число глагольных совершаемостей (Aktionsart) и видов. Кроме того, в самодийских языках сформировалась довольно богатая система наклонений глагола (хотя не все они имеют общесамодийское происхождение).

Существует немало нефинитных форм глагола, которые могут употребляться и в роли предиката, образуя конструкции с темпоральным значением; но, вероятно, еще более существенна их роль в построении сложноподчиненных (по смыслу) предложений, выступающих в самодийских языках в виде простых предложений. Подчинительных союзов не существует, и поэтому временны́е, причинные, целевые, обстоятельственные и дополнительные придаточные могут переводиться на самодийские языки с помощью самых разнообразных конструкций с нефинитными формами.

Самодийские языки состоят из двух далеко разошедшихся ветвей — северной и южной подгрупп. Хотя между ними развились достаточно ощутимые языковые различия, родство этих

языков все еще остается очевидным. Внутри же каждой из подгрупп межъязыковые совпадения чрезвычайно велики.

Этноним *самоеды* (или *самодийцы*) – обобщающее название носителей ненецкого, энецкого, нганасанского, селькупского и мертвых саяно-самодийских языков. Современная форма этого слова возникла в русском языке, но есть основания полагать, что за ней кроется какое-то древнее название нерусского происхождения. Указывалось, в частности, на возможную связь с названием саамов (sambe), однако эта гипотеза выглядит лингвистически и этногенетически маловероятной. Распространенное (а в прошлом преобладавшее) мнение, согласно которому *самоед* якобы является сложным словом ('тот, кто сам себя ест'), – народная этимология названия; ее вывели – ввиду распространения слухов о мнимом людоедстве самодийцев – путем переосмысления более древних форм слова *самоед (самоядь, самоеди, самогеди, самоедин)*. В связи с этим в Советском Союзе возникла в последние десятилетия необходимость замены этого приобретшего уничижительную смысловую окраску названия словами *самодийский, самодийцы*, которые проникли в язык книжным путем и созданы искусственно на основе диалектно-просторечного варианта этнонима (*самодин*, мн. ч. *самоди*). Естественно, в зарубежной специальной литературе неизменно продолжает употребляться название *самоед* (нем. Samojede, франц. samoyède, англ. samoyed, венг. szamojéd и т.д.), не связанное ни с каким пейоративным оттенком значения.

10–12. Северносамодийские языки

Ненецкий язык

Наиболее значительным представителем северной подгруппы и всей самодийской группы в целом является ненецкий (юрако-самоедский) язык. Численность ненцев – 29 тыс. чел., из них 83,4% считают ненецкий язык родным. Ненцы расселены на обширных пространствах северо-востока Европы и Севера Западной Сибири. Начинаясь на крайнем западе у устья Северной Двины, ненецкие поселения занимают районы тундры, тянущейся вдоль берегов Северного Ледовитого океана (Канин полуостров, Малоземельскую тундру между Мезенью и Печорой, раскинувшуюся от Печоры до Урала Большеземельскую тундру); однако в Европе находится меньшая часть ненцев. Большинство ненцев живет восточнее Урала – на полуострове Ямал, у устья Оби, по Надыму, в низовьях Пура, Таза и Енисея, а также в занятых тундрой и болотами местностях между этими

реками. Небольшая часть ненцев населяет прибрежные острова (Колгуев, Вайгач, Новая Земля, Белый). Обособленную группу образуют лесные ненцы, живущие в тайге к северу от Средней Оби — по верхнему и среднему течению р. Пур, у водоразделов с Верхним Тазом, Верхним Аганом и северными притоками Ваха.

Самоназвание *ненец* (фонетически: ńeneć?, основа — ńenećeŋ-; в лесном диалекте — ńešaŋ) имеет первоначальное значение 'человек, мужчина'. Этот этноним этимологически тождествен названиям *энец* и *нганасан*; в отношении самих себя северные самодийцы используют данные слова по большей части в сочетании с определением ńenaj (энецк. enaj, нган. ŋano) 'настоящий' (таким образом, буквальный смысл этнонима — 'настоящий, подлинный человек'). Исходной среди указанных форм является форма с начальным гласным; в названиях *ненец* и *нганасан* носовой согласный в начале слова вторичен. Фигурирующие в данных этнонимах определение и определяемое слово находятся, по всей вероятности, в этимологической связи, поскольку слово ńeneć? и подобные образованы, скорее всего, от общесамодийского *ene~ano 'настоящий, подлинный' посредством суффикса *-ćen. С другой стороны, одна из групп ненцев (преимущественно в восточных районах расселения) часто пользуется самоназванием χāsawa (~лесн. kāsa). Первичным значением этого слова также служит 'мужчина', а относится оно к общесамодийскому слою лексики (ср. энецк. kāsa, нган. kuajumu~kuasumu, в саяно-самодийских языках: камас. kaza, kuza, койбал. kasa, мат. chasy, тайг. chassa 'мужчина, человек').

В европейских языках — через русское посредство — распространился другой этноним — *юраки*, самоназванием ненцев не являющийся. Русское название *юрак* — вероятно, обско-угорского происхождения (ср. манс. и хант. jorn, jorm, jogaŋ и т.д.), с фонетической субституцией обско-угорского jo- и адаптацией с помощью суффикса этнонимов *-ак* (ср. *словак, пруссак, вотяк, поляк, сибиряк* и т.д.). Обско-угорский этноним со значением 'самоед' (то есть 'ненец') имеет в некоторых диалектах фонетический облик jaran; данная форма заимствована и коми-зырянским языком. В конечном счете источником этнонимов jaran~jorn может являться название одного из ненецких родов jar?, хотя подобное объяснение также оставляет ряд неясностей.

Северная ветвь самодийцев проникла в заполярно-тундровые области своего современного расселения с юга. Будучи по своему происхождению сибирским, ненецкий язык, проникнув за Урал, распространился также и в ряде районов тундры северо-востока Европы. Появление ненцев в Большеземельской и Малоземельской тундрах относится, по всей вероятности, к первым векам нашего тысячелетия: здесь они обнаружили хоро-

шие пастбища для своих оленей. Уже в "Повести временных лет" самодийцы упоминаются в качестве северных соседей обских угров ("Югра же людие суть язык нем, и съседять с Самоядию на полунощных странах"). Эти данные явно относятся к северным самодийцам, точнее, к ненцам; поскольку Югрия той эпохи должна была еще находиться в Европе, можно предполагать, что районы тогдашнего расселения ненцев соприкасались с занятыми уграми районами на Северном Урале. Не исключено даже и то, что уже тогда ненцы селились в европейских тундрах: подобное предположение относительно занимающегося оленеводством кочевого населения не встречает особых препятствий.

Размер территории распространения ненецкого языка достигает 1 млн. кв. км. Размещающееся на ней редкое население с давних пор поддерживает контакты с ближайшими соседями – обскими уграми, а также с коми-зырянами и с русскими, а местами – с другими народностями Сибири. Поэтому в ненецкой лексике обнаруживается значительный слой хантыйских, коми-зырянских и русских заимствований. Помимо того, предполагается, что пришедшие с юга самодийцы ассимилировали в языковом отношении аборигенов Заполярного Севера, и поэтому следует допускать, по крайней мере в принципе, наличие слоя заимствований из языка последних.

В фонетической системе ненецкого языка отсутствует фонологическое различие между передне- и заднеязычными гласными, и у каждого гласного имеются палатальный и велярный фонетические варианты. В системе же согласных господствует корреляция по палатализации: большинство согласных можно разнести по парам, включающим палатализованную и непалатализованную фонемы (таким образом, различие между l и l', m и m' и т.д. имеет фонемную значимость). С этим связано правило, которое мы называем слоговой корреляцией по мягкости (szótagos lágysági korreláció) и согласно которому за палатализованным согласным следует переднеязычный аллофон гласного, а за непалатализованным согласным – заднеязычный аллофон гласного (например: mūd 'печень' – m'ūd 'изнутри', tem 'желтуха' – t'em 'подвязка обуви' и т.д.). Вследствие этого число согласных фонем велико (26), тогда как состав вокализма ограничен (5 фонем). Правда, из числа согласных 10 не могут стоять в начале слова, что, однако, уравновешивается тем обстоятельством, что в языке (за исключением крайне-западных диалектов) отсутствует и вокалический анлаут, и первоначально начинавшиеся гласным слова подверглись преназализации (в анлауте у них произносится вторичный звук ŋ, например: русск. *овца* > нен. ŋowće; коми-зыр. okšin 'платок' > нен. ŋokaś?; хант. ompi 'половник' > нен. ŋomṕ и т.д.). Существует большое

количество глухих смычных согласных, и особенное звучание придают ненецкой речи часто встречающиеся в середине и в конце слова гортанные смычные /ʔ/, которые в положении сандхи иногда чередуются с носовыми согласными. Гармония гласных отсутствует, однако после интервокального -χ- или -ʔ- может стоять только гласный того же качества, что и перед ним (например, локатив to-χona 'в озере', tū-χuna 'в огне', te-χena 'на олене' и т.д.).

Наряду с абсолютным падежным склонением и лично-притяжательным склонением имен заслуживает внимания возможность присоединения к предикативным формам имен показателя прошедшего времени (например, pidar ńiśā-n 'ты отец', но pidar ńiśā-na-ś 'ты был отцом'), а также наличие у имен особого, известного только северносамодийским языкам, типа склонения — лично-предназначительного. С его помощью выражется отношение субъекта глагольного действия к обладателю, то есть лицо и число объекта; это склонение выделяет то лицо, для которого что-либо предназначено, которое вступает во владение чем-либо. Лично-предназначительные показатели содержат в качестве постоянного элемента следующий непосредственно за основой лично-притяжательный аффикс 3-го л. ед.ч. (который сам по себе выражает определенность имени), включают далее падежное окончание номинатива, аккузатива или датива (Ø, -m, -n) и могут заканчиваться любым лично-притяжательным показателем (например, аккузатив: ŋano-da-m-t ńīj̄īn! 'лодку для себя сделай'; датив: parm-da-ńi tuʔ 'приди ко мне в качестве спутника [спутницы, друга]', то есть 'будь моим спутником [женой, другом]').

Часто вызывает затруднения функциональное разграничение инфинитивов-герундиев и других нефинитных форм; однако в качестве инфинитива глагола не всегда необходимо использовать форму с суффиксом -ś (-ć): чистая глагольная основа также может выступать в этой функции (jādā или jādāś 'идти пешком').

Наряду с безобъектным (непереходно-неопределенным) и объектным (определенным) спряжениями глаголов существует и возвратное спряжение (отличающееся набором личных окончаний); в объектном спряжении также употребляются разные серии окончаний, в зависимости от того, относится ли объект глагольного действия к единственному числу или к одному из двух других чисел. Помимо того, двойственность и множественность объекта различаются с помощью особых числовых показателей у глагола.

У глагола два времени: аорист, который не имеет специального показателя и соотнесенность которого с физическим временем зависит от видового значения глагола, и законченное прошедшее время, показатель которого /ś/ всегда стоит в конце

словоформы. Глагол имеет 10 наклонений. Отрицание и запрет могут обозначаться посредством отрицательного глагола, который несет на себе форманты лица, числа, времени и наклонения.

Несмотря на большую протяженность занимаемой территории и низкую плотность населения, диалектная дифференциация ненецкого языка относительно невелика. 95% ненцев говорят на так называемом тундровом диалекте, а число носителей лесного диалекта составляет лишь около 1200 человек. Лесные ненцы живут на небольшой, занимающей около 50 тыс. кв. км, части территории в соседстве с ханты и селькупами и в отрыве от тундровых ненцев. Поэтому их диалект довольно сильно отличается от тундрового и в ряде отношений обнаруживает, по сути дела, общие черты с энецким языком.

Некоторые важнейшие фонетические отличия двух диалектов представлены в следующей таблице:

Прасамод.	Тундровый диалект	Лесной диалект
*k-	χ-	k-
*s-	s-	χ-
*w-	j-	ẃ-
*-m-	-w-	-m-
*-p-	-B-	-p-
*-n	-ʔ	-n
*-t	-ʔ	-t

и т.д.

Из фонетических отличий такого рода проистекают и расхождения в области морфологического показателей, например:

	Тундровый диалект	Лесной диалект
Лично-притяжательный показатель 1 л.ед.ч.	-ḿi, -w	-j
— ” — 3 л.мн.ч.	-doʔ, -toʔ	-toŋ
Генитив мн.ч.	-ʔ	-ŋ
Причастие прош.вр.	-wī,-mī	-mej

и т.д.

Внутри тундрового диалекта также различаются отдельные говоры (*западные*: канинский, тиманский, колгуевский, малоземельский; *центральный* или *большеземельский; восточные*: обский, ямальский, надымский, нижнепуровский, тазовский, енисейский, или таймырский), однако расхождения между ними незначительны, и "крайне-восточный" таймырский ненец без труда поймет "крайне-западного" ненца с Канинского полуострова.

Лесной диалект включает два основных говора: *восточный* (район рек Пур и Аган) и *западный* (Лямин, Нялино, Киселевская, Майковская, Сахалинская). Большинство лесных ненцев пользуется восточным говором, где, в частности, встречаются окончания аккузатива -m и генитива -ŋ (в западном отпали), тогда как ауслаутные *t, *s развились в гортанный смычный (в западном говоре сохранились).

Среди самодийских языков ненецкий язык – единственный, на котором в течение последних десятилетий сформировались письменность и литература. В основу ненецкого литературного языка лег большеземельский вариант тундрового диалекта.

Энецкий язык

Ближайшей в языковом отношении к ненцам этнической группой являются энцы, или, как они назывались раньше, енисейские самоеды. Они населяют районы по нижнему течению Енисея к северу и югу от Дудинки и ныне насчитывают около 400 человек. Их самоназвание (enetʹʔ), как уже отмечалось, объясняется так же, как и самоназвание ненцев. Добавим, что определение enej (onaj), содержащееся в выражении enej enetʹʔ 'энец, (букв.) настоящий человек', иногда само по себе приобретает значение 'энецкий' в сочетании со словом 'язык', например в конструкции onaj bazān 'по-энецки, (букв.) на настоящем языке', которая употребляется лесными энцами (Мугадди).

Среди энцев также различаются группы, по своему жизненному укладу связанные с тундрой и с лесом: большинство тундровых энцев летом кочевало в тундре, расположенной по обоим берегам Енисея между Енисейским заливом и р. Пясиной, а зимой находилось в лесотундре между р. Хетой (левый приток Енисея) и озером Пясино (на Таймырском п-ве). Лесные энцы, численность которых меньше, живут в тайге к югу от Дудинки. Четырьмя этническими подразделениями энцев являются Мадду (или хантайские самоеды), Бай (или баихинские самоеды), Мугадди и Ючи (которых называют также карасинскими энцами). К числу тундровых энцев относятся Мадду, а также основная масса Мугадди и Бай. Лесные же энцы относятся к подразделению Ючи, однако в их состав входят небольшая часть Мугадди и несколько семей Бай.

До сих пор удалось установить лишь различия между диалектами тундровых энцев – мадду и бай; диалект карасинских энцев (Мугадди, Ючи) почти не известен. Отношения между тремя диалектами продемонстрированы ниже, на примере нескольких представляющихся характерными явлений (заметим,

что данные являются разновременными: в первом столбце представлены данные середины XIX в., по Кастрену, во втором столбце – данные 30-х гг., по Прокофьеву, в третьем столбце – данные 70-х гг., по Т. Миколе):

	Тундровые энцы		Лесные энцы
	Мадду	Бай*	Мугадди
Притяжательный показатель 3л.ед.ч.	-ra	-da	-za
Притяжательный показатель 1л.ед.ч.	-bo	-jʔ	-j
Окончание 1л.ед.ч. аориста суб.спр.	-roʔ	-doʔ	-z
Окончание 1л.ед.ч. прош.вр.суб.спр.	-rod'i	-dod'd'	-zod'
Окончание 1л.дв.ч.аориста суб.спр.	-biʔ	-jʔ,-ńiʔ	-biʔ
Окончание 1л.ед.ч. аориста об. спр.	-boʔ	-jʔ	-w
Окончание 3л.мн.ч. аориста об. спр.	-ruʔ	-duʔ	-zu
Окончание аблатива ед.ч.	-χoro	-χodo	-χoz
Окончание пролатива ед.ч.	-one,-ā̆ne	one	-ā̆n
Окончание датива в 3л.ед.ч. лично-предназначительного склонения	-rodda	-dodda	-zda
Аблатив личного местоимения 3л.ед.ч.	ńĭtoda nerodda	bū nedodda	bu nɛzoda

Определенное влияние на язык энцев оказали их контакты с эвенками, ненцами, нганасанами, селькупами, кетами, русскими.

Нганасанский язык

Самый северный из языков Советского Союза – нганасанский, третий из северносамодийских языков – распространен на п-ве Таймыр, занимающем площадь 860 000 кв.км. Число говорящих – около 800 человек. Нганасаны живут в соседстве с долганами, якутами, эвенками, энцами, ненцами, и в их языке заметно сильное эвенкийское и долганское влияние. Поэтому в нем обнаруживается ряд черт, довольно резко обособляющих его от ненецкого и энецкого языков; тем не менее, несмотря на эти отличия, принадлежность нганасанского языка к северносамодийской ветви очевидна.

О названии нганасанов (ŋano ŋanasan 'настоящий человек') речь уже шла выше. К этому можно добавить, что внешнее их название – *тавгийцы*. Этимология последнего неизвестна, но несомненно, что за ним кроется самодийский (или эвенкий-

* Фактически данные этого столбца относятся к энецкому диалекту прошлого века, непосредственным продолжением которого является современный диалект лесных энцев-мугадди. – *Прим. перев.*

ский) этноним (родовое или племенное название). На это указывают энецк. tauʔ (мн.ч. taubuʔ) и ненецк. tāwiʔ (мн.ч. tāwisʔ) – обозначения племени авамских нганасанов. Живущих восточнее вадеевских нганасанов энцы называют tābo-oš'ja; вторая часть этого сложения oša, oš'ja, собственно говоря, означает по-энецки 'эвенк, тунгус'. Возможно, ненецкая форма мн.ч. tāwisʔ возникла за счет стяжения этого энецкого словосложения. На древность названия указывает и то, что попавший в ненецком языке в ауслаутное положение s изменился в гортанный смычный.

Нганасаны, как уже было сказано, включают в себя *авамское* племя, живущее в западной части п-ова Таймыр, и племя *вадеевцев*, которые населяют тундру в восточной части полуострова, между р. Хетой, озером Таймыр и Хатангским заливом. Название второго племени явно иноязычное (эвенкийское?), поскольку в нганасанском языке w в начале слова не встречается. Его члены пользуются самоназванием aśa (мн.ч. aija), которое употребляется также в значении 'брат' и даже 'эвенк, долганин'. Сюда же, в конечном счете, относится и энецк. oša 'эвенк'. Все это свидетельствует о том, что в образовании вадеевского племени нганасанов большую роль сыграл эвенкийскоязычный этнос. Ввиду этого вадеевцев принято считать осамоедившимися эвенками, что, впрочем, является значительным упрощением реальных процессов этногенеза.

Авамские нганасаны (их название может быть связано с гидронимом Авам – названием притока р. Дудыпты) состоят из двух групп: одна из них находится в долине р. Пясины, а другая живет по рекам Дудыпта и Боганида, а также в долине р. Таймыры (таймырские авамцы). Самоназвание авамских нганасанов – ńā; соответствия этого слова имеются в ненецком и даже селькупском языках в значении 'товарищ, брат'.

К этим двум племенам примыкает стоящий особняком род Око. Часть его членов живет среди вадеевцев, часть – среди авамцев, но предполагается долганское происхождение рода, ассимилированного в начале XIX в. нганасанами.

Диалектное членение в нганасанском языке вряд ли имеет место. Правда, материал для изучения этого вопроса небогат, но все признаки говорят о минимальном характере различий. Несколько больше различий между записями Кастрена (середина XIX в.) и современными записями Н. М. Терещенко или Т. Миколы (приводим их данные):

	Кастрен	Терещенко	Микола
Окончание аккузатива	-m	(-m)	∅
” датива	-(n)taŋ	-d'a,-nda	-d'a,-ntə
” локатива	-(n)tanu	-(n)tənu	-tənu̯

Притяжательный суффикс 3л.ед.ч.	-du	-δi̯	-δu
Притяжательный суффикс 3л.дв.ч.	-di	-δi̯	-δi
Притяжательный суффикс 3л.мн.ч.	-duŋ	-δiŋ	-δuŋ
Окончание 3 л. мн.ч. об.спр.	-duŋ	-δuŋ	-δiŋ

Характерной чертой фонетической системы нганасанского языка является исключительное обилие дифтонгов (в пределах северносамодийской подгруппы дифтонги встречаются и в лесном ненецком, и в энецком, но в значительно меньшем числе). Особенностью языка является его моросчитающий характер: мора служит минимальной просодической единицей и не обязательно совпадает со слогом. Слог может содержать две моры (например, дифтонг двухморен); следовательно, долгота слогообразующего элемента выступает как сумма двух краткостей, то есть в случае с дифтонгами и долгими гласными речь идет об объединении в пределах одного слога двух кратких слогообразующих элементов.

От морной структуры слогов зависит и ударение в слове: как правило, оно всегда падает на предпоследнюю мору слова (это правило не распространяется на суффигированные формы).

Особенность, отличающая нганасанский язык от других северносамодийских – морфонологическое явление, напоминающее финское чередование ступеней согласных (с которым оно и сопоставляется):

k~g:	moku	'спина'	: ген.ед.ч.	moguŋ
f~b:	ńafe	'малица'	: ген.ед.ч.	ńabeŋ
s~j:	isi	'дядя'	: ген.ед.ч.	ijiŋ
ŋf~mb:	luŋfe	'орел'	: ген.ед.ч.	lumbeŋ

и т.д.

Здесь, однако, "слабая" ступень не зависит от закрытого слога (ср. ŋuta 'ягода'~nudabala 'обильный ягодами'; luŋfe 'орел'~лок.мн.ч. lumbetini; kanta 'нарта'~kandaku 'нарточка' и т.д.): вероятно, явление чередования связано с требованиями к равномерному распределению мор, к поддержанию внутреннего равновесия речевого ритма.

В других отношениях грамматика нганасанского языка в очень большой степени совпадает с ненецкой и энецкой.

13. Южносамодийские языки

Селькупский язык

Южносамодийская языковая ветвь состоит из двух групп: мелких племенных языков Саянского нагорья и распространенного к северу от них, в бассейне Средней Оби, селькупского

языка. Ныне саяно-самодийские языки исчезли вследствие тюркизации или обрусения их носителей. О самоедоязычности племен карагасов, койбалов, моторов, сойотов, тайгийцев известно из записей конца XVIII и отчасти начала XIX в. Дольше других сохранялся камасинский язык – замена его произошла в первой половине нашего столетия. Саяно-самодийские языки были, по-видимому, сравнительно мало различающимися диалектами одного и того же языка.

Селькупский язык, однако, является особым самостоятельным южносамодийским языком (хотя он также постепенно исчезает) и делится на ряд диалектов.

Численность селькупов – 4300 человек (однако лишь чуть больше половины из них пользуются родным языков в повседневной жизни). При этом живут они разрозненными группами на огромной территории.

Ранее основная масса селькупов находилась на Средней Оби и ее притоках, откуда начиная с XVII в. отдельные их группы переселились далеко на север и северо-восток, в бассейны Таза, Турухана и Елогуя. Одновременно с этим происходила значительная тюркская и русская языковая экспансия, что впоследствии привело – главным образом в южных частях занятой селькупами территории – к двуязычию и изоляции диалектов друг от друга. Таким образом, область расселения селькупов с течением времени оказалась раздробленной, и единство селькупского языка утратилось – так же, как, например, в случае с хантыйским языком. При контакте друг с другом селькупы из разных мест вынуждены прибегать к помощи языка-посредника (обычно таковым является русский).

Ранее селькупов называли остяко-самоедами или просто остяками (иногда с добавлением названия реки, на которой они жили: нарымские, кетские, тымские и т.д. остяки), что было источником многих недоразумений (обычно остяками именовались ханты). Ныне в Советском Союзе получило распространение самоназвание *селькуп*; однако этот этноним (в форме söl'qup или šöl'qup) употребляется только представителями северных групп на Тазе, Енисее, Баихе и Елогуе. Группы, живущие на р. Кети, называют себя süssəqum, селькупы на Оби севернее Нарыма – šöšqum~šöšqom~šöšqup, селькупы с Тыма и Васюгана – č'ümɨlqup (мн.ч. č'ümɨlqumɨt), а бывшие чулымские, чайские и натско-пумпокольские селькупы (на Верхней Оби) – čüjequm~t'üje-qum или t'üjqum.

Все упомянутые этнонимы представляют собой атрибутивные словосложения или словосочетания, вторым компонентом которых является слово qum~qup 'мужчина, человек' (оно уральского происхождения: ср. манс. χum, ? коми komi, ? удм. kumɨ, венг. hím 'самец'). Напротив, атрибутивный компонент

в каждом из пяти этнонимов специфичен, хотя принципы номинации родственны. Употребляемый северными селькупами компонент söl′-~šöl′- – результат контаминации двух слов: основой его служат sö 'земля, глина' или šöt 'тайга, лес', снабженные суффиксом прилагательных -l′. Таким образом, значение этнонима в первом случае – 'земляной человек', во втором – 'таежный человек'. Отступление второго из толкований на второй план объясняется тем, что селькупы с Таза, Елогуя, Баихи не *являются таежными жителями*, хотя когда-то, до переселения на север, были таковыми.

Названия селькупов Кети и Средней Оби (süssəqum, šöšqum) образованы от (Кеть) süt, (Ср.Обь) *šöt 'тайга, лес' с помощью суффикса прилагательных -ssə или -š; таким образом, основа первого компонента идентична тазовскому šöt, и отличие состоит только в суффиксальном оформлении. Следовательно, значение этих двух этнонимов также 'таежный человек', что соответствует фактам географии.

Значение южноселькупского t′ūje-qum или t′ūjqum – 'земляной человек'. Первый компонент образован от t′ū, č′ū 'земля, глина' с помощью суффикса прилагательных -j(e) (который соответствует северноселькупскому -l′).

Васюганско-тымская форма č′ūmɨlqup также связана со словом 'земля', однако представленный в ней более сложный суффикс включает элементы -mɨ-+-l.

Селькупские диалекты подразделяются на три группы. К *северному* наречию относятся говоры селькупов, живущих в среднем и верхнем течении р. Таз, по Туруханy (и его притокам – Нижней и Верхней Баихе), а также по Елогую до Енисея. (Это наречие можно именовать и тазовским – по названию наиболее типичного и наиболее распространенного диалекта.) В *центральное* наречие входят говоры селькупов Тыма, Нарыма, а также, вероятно, Нюрыльки, Чижапки, Парабели, верховий Ваха и Васюгана (Г. Н. Прокофьев называл это наречие тымским). *Южное* наречие распространено в основном в бассейне Кети, но к нему относятся и диалекты бассейна Оби южнее Колпашева (на р. Чае, натско-пумпокольский), а также чулымский диалект, который сейчас практически уже исчез (южное наречие Г. Н. Прокофьев называл кетским).

Родной язык имеет достаточно полное распространение в первую очередь среди представителей северного наречия (и, в известной мере, достаточно изолированных от внешнего мира диалектов центрального наречия).

Выделим некоторые различия между наречиями селькупского языка. Фонетическая система северного наречия содержит 11 кратких и 9 долгих гласных фонем (впрочем, фонематичность долготы проблематична), количество согласных равно 17.

Напротив, в центральном наречии (в тымском диалекте, по материалам К. Доннера) фонетическую систему образуют 7 кратких, 10 долгих гласных и 24 согласных. В некоторых диалектах нет звонких шумных согласных, однако тенденция к озвончению усиливается по мере продвижения на юг, и наличие звонких смычных в южном наречии не вызывает сомнений – вопрос состоит только в том, должны ли они рассматриваться как особые фонемы. Примечательной особенностью консонантизма центрального наречия является наличие (в положении анлаута) лабиализованных согласных t_o, k_o, q_o, t'_o, $č_o$, s_o (их можно обозначать и как t^w, k^w, q^w, t'^w, $č^w$, s^w), имеющих статус фонем. Есть они и в южном наречии, но в северном отсутствуют. С другой стороны, в последнем почти универсальный характер носит нейтрализация противопоставления носовых и гоморганных им смычных согласных в ауслауте: в качестве факультативных вариантов архифонем выступают – в зависимости от позиции – то носовые -m, -n, -n, то смычные -p, -t, -k (Таз. qup~qum 'человек', mat~man 'я', qumak~qumaŋ 'я человек'). В центральном наречии это явление находит свое проявление в том, что в позиции нейтрализации представлены смычные, то есть слова с исходными (праселькупскими) ауслаутными *-m, *-n, *-ŋ имеют здесь на конце -p, -t, -k (Тым. mat 'я', qumi̯-p акк. 'человека', kanak 'собака'). В южном наречии данное явление отсутствует: здесь последовательно, в том числе и в ауслауте, представлено противопоставление носовых и глухих смычных (qum 'человек', акк. qumi̯m, man 'я', kanaŋ 'собака', но öt 'вода', tõp 'край' и т.д.).

Единых междиалектных грамматических норм также не существует. В качестве наиболее характерного примера можно упомянуть падежное склонение имен. Интересной особенностью селькупского именного словоизменения, в целом нетипичной для языков уральской семьи, является существование различий в категории рода, реализуемых с разной степенью полноты. Это явление (представляющееся конвергентным для селькупского и соседнего с ним кетского языков) основано на различиях в склонении слов с семантическими признаками "одушевленный" и "неодушевленный". Если, однако, в центральном и южном наречиях подобные различия наблюдаются лишь спорадически, то в северном склонение слов с признаком "одушевленный" последовательно – за исключением нескольких падежей (генитива, аккузатива, пролатива, транслатива, инструменталиса) – отличается от склонения слов с признаком "неодушевленный". Наряду с этим могут иметь место и значительные расхождения в употреблении лично-притяжательных окончаний, глагольных суффиксов, не говоря уже о временах и наклонениях глагола. В порядке иллюстрации некоторые основные

различия между наречиями представлены в легко обозримом виде в таблице:

	Северное		Центральное		Южное	
	[+одуш.]	[−одуш.]	[+одуш.]	[−одуш.]	[+одуш.]	[−одуш.]
Показатель мн.ч.	-t/-n	-l′mi̯	-la		-la	
Дат. ед.ч.	-ni̯k/-ni̯ŋ	-nti̯,-ti̯	-ne,-n	-nd,-t	-ni	-nd
Лок. ед.ч.	ген. + mi̯qi̯t	-qi̯t/-qi̯n	-qan или	-qan	-qan или	-qan
Абл. ед.ч.	ген. + nāni̯	-qini̯	ген. + nan		ген. + nana	
Транслат.	ген. + -qo		-l1′e или ген. + -qo		-wlä	
Притяжательный показатель 1 л. мн.ч.	-mi̯t/-mi̯n		-ut		-ut, -wat	
Оконч. 1 л. мн.ч. глагола	-mi̯t/-mi̯n		-ut		-ot	
Инфинитив	-qo		-ku		-qu	

Примеры лексических различий:

'утка'	šīpa	ńāp, ńabi̯	sībaqa
'яйцо'	eŋ	ńābi̯	kegäj
'плохой'	qošitil′	qoška	awoj, awoŋ
'колотушка бубна'	qapšit/qapšin	qapšit	solaŋ
'ружье'	puškat	tülšä	tül′sä

Внутри трех основных наречий выделяются более мелкие диалекты и говоры. Мы хотели бы привлечь внимание к некоторым характерным диалектным явлениям, не получившим широкого распространения. Баишенский диалект, относящийся к северному наречию, обладает некоторыми южными (сближающими его с диалектом Кети) чертами; наряду с этим может быть упомянута такая его особенность (свойственная и языку

селькупов Турухана и Елогуя), как наличие m- на месте анлаутного (вторичного) w-: южн. wat'ťe 'мясо', warga 'большой', waǯǯe (wanǯe) 'нельма', watta 'дорога'~центр. wač, warg, wanše, wat~сев. Таз. weči, werqi, wentį, wettį, но Баиха muet', muerge, muenǯ, muette.

Нарымско-васюганский диалект отличается от прочих центральных диалектов наличием h на месте s: haji 'глаз' (Таз. saji), helǯi 'семь' (Таз. sel'či), hwa 'хороший' (Таз. soma), hoq 'мыс' (Таз. soq), merhul, merhak 'дорогой' (южн. märssi, сев. Баиха mirssi, но Таз. mirsimil'), kₒeh 'железо' (Таз. kēsi), loqahä инстр. '(с) лисицей' (Таз. loqasä) и т.д.

Из особенностей диалектных подразделений южного наречия весьма примечательна деназализация, которая наблюдается в диалекте южной части Колпашевского р-на (а также в диалектах верхней Оби и Чаи): ad'd'ī 'лодка' (Таз. antį); čiggi 'лебедь' (Кеть čiŋgi); Верхняя Обь waǯǯe, Чая waǯǯ 'нельма' (Таз. wentį, Кеть wanǯe) и т.д.

* * *

Отличия южносамодийских языков друг от друга и от северносамодийских языков касаются целого ряда моментов. Так, в южной ветви не различаются объектный и субъектный типы спряжения глаголов (интересно, однако, что у переходных глаголов прослеживаются личные окончания, первоначально служившие объектными)*, суффиксы инфинитива различны не только в северно- и южносамодийской ветвях, но и внутри последней (камас. -set, но сельк. -qo). Можно указать и на лексические расхождения, обусловленные различной направленностью былых контактов с соседними языками. Лексика саяно-самодийских языков содержит огромное количество тюркских элементов — намного больше, чем селькупская лексика. Однако и внутри селькупского языка тюркское влияние в южных диалектах более сильно, чем в северных. С другой стороны, на последние большее воздействие оказали эвенкийский, кетский и другие соседние языки. Кроме того, в последнее время, очевидно, повсеместно усилилось интерференционное влияние русского языка. Вследствие всего этого языковые (лексические, грамматические, фонетические) различия между южносамодийскими языками более значительны, чем те, которые наблюдаются внутри северносамодийской подгруппы.

* Фактически в ряде диалектов селькупского языка (например, в тазовском) различение субъектного и объектного типов спряжения сохранено, и их употребление не определяется автоматически переходностью/непереходностью глагола, как в камасинском языке, и в предложении с переходным глаголом зависит от синтактико-семантических факторов, как в северносамодийских языках. — *Прим. перев.*

II. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ

Предмет и метод праистории

Говоря о финно-уграх, мы часто упоминаем о родственных языках и родственных народах. Последнее понятие заслуживает более подробного освещения. *Родство языков* как лингвистическое понятие не означает одновременно *родства народов*. Родственные связи между уральскими народами выявляются в первую очередь в языковой сфере. Намного труднее обнаружить черты родства в культуре или в антропологических признаках уральских народов. Вспомним хотя бы о том, что *носители* близких друг другу венгерского и обско-угорских языков выработали значительно отличающиеся культурные традиции, не говоря уже о том, что между ними имеются существенные антропологические различия. Объясняется это тем, что если уральский характер языков, невзирая на происшедшие в них изменения, остался неизменным, то этнический облик отдельных народов под действием происшедших в ходе истории смешений и инородных влияний полностью трансформировался.

Хотя язык и является одним из наиболее характерных признаков этноса — и на этом основании можно говорить о родстве не только уральских языков, но и уральских народов, — практические и теоретические соображения все же вынуждают проводить разграничение между историей языков и историей народов.

Исследование происхождения и родственных взаимоотношений *языков* — задача сравнительного языкознания. Происхождением же говорящих на этих языках *народов*, древнейшими этапами их формирования и развития занимается особая отрасль науки — праистория[1].

Под праисторией народа обычно понимается история древнейших стадий развития общества, того периода, который харак-

[1] Следуя терминологии, которая принята в монографии "Основы финно-угорского языкознания" (ч. I–III, М., 1974–1976), мы используем термин "*праистория*", точно передающий значение употребляемого в оригинале слова őstörténet (ср. őshaza – 'прародина', ősnyelv – 'праязык'). В отечественной литературе устойчивое обозначение для соответствующего понятия не выработано, и наряду с используемым можно встретить термины "доистория", "первобытная история", "ранние этапы этнической истории" и под. – *Прим. перев.*

теризовался завершением развития и распадом первобытно-общинного строя. Этот период — эпоха формирования народов, этногенеза.

Хотя по своей сути праистория является исторической наукой, ее все же нельзя отождествлять с собственно историей. Причина этого — не только отличие области исследований, но и необходимость применения в исследованиях по праистории чуждых историографии методов. В распоряжении историков находятся письменные источники, тогда как праистория располагает таковыми лишь в редчайших случаях. Поэтому исследователь праистории может достичь своей цели только за счет использования достижений других наук. Среди этих наук важнейшую для праистории роль играют языкознание, этнография, археология и антропология.

При изучении древнейшего, не засвидетельствованного письменными памятниками периода истории какого-либо народа обращение к языку этого народа оказывается одним из надежнейших путей выяснения скрытых завесой времени событий. Язык формируется в итоге длящегося тысячелетиями развития. Структура языка, независимая от смены социально-экономических базисов, переживает исчезнувшие общественные формации; одна и та же языковая структура обслуживает новые социально-экономические формации столь же хорошо, как и прежние. Например, переход от феодализма к капитализму или от капиталистического способа производства к социалистическому не влечет за собой коренного изменения структуры языка. В отличие от социального развития развитию языка не свойственны революционные преобразования; прочность, устойчивость системы языка позволяет делать на основе языкового материала выводы, относящиеся к эпохам многотысячелетней давности. Пригодность языка для заключений об исторических событиях определяется еще и тем, что в нем осаждаются слои, сохраняющие память о древней истории общества: положение об устойчивости языка не означает, что язык не реагирует на социально-экономические изменения. Напротив, благодаря непосредственной связи языка с повседневной жизнью человека, с его производственной деятельностью происходящие в последней изменения неизбежно оставляют след в языке, точнее, в его лексике. Вспомним хотя бы о том, сколькими новыми словами и понятиями обогатило языки современное развитие техники. Оставили свои следы в языке и события далекого прошлого.

Лингвистическими методами можно, например, установить, что в венгерском языке есть очень много тюркских заимствований, проникших в результате контактов с тюркскими народами. Помимо этого общего факта, можно обнаружить и то, что эти заимствования составляют различные слои, ведущие свое

происхождение из различных эпох, от различных тюркских народов. Далее, оказалось, что значительная часть этих слов заимствована до заселения венграми современной территории; сравнение современных форм этих слов, их диалектных вариантов, данных истории языка, а также соответствующих форм в тюркских языках позволило показать, что древнейший слой тюркских заимствований происходит по меньшей мере из трех различных тюркских языков *чувашского* типа[1]. Поскольку же эти слова относятся преимущественно к скотоводству, земледелию и к формам племенной организации, то даже без письменных источников, по одним только языковым данным можно установить, что в предшествовавшие заселению современной Венгрии периоды древние венгры имели длительную и тесную связь с народами, говорившими на тюркском языке чувашского типа, и что контакты с ними вызвали значительные изменения в хозяйственной и политической жизни венгров.

Важную для праистории информацию дает не только изучение заимствований. Уральское происхождение венгерского языка ныне доказано на основании многостороннего и обширного материала. Почетное место среди доказательств занимают те восходящие к общеуральскому (общефинно-угорскому) праязыку слова, соответствия которых удается обнаружить в современных родственных языках или в какой-то их части. В ходе длившейся много десятилетий работы удалось создать представление о лексике праязыка. На основании этого можно сделать выводы о том, в каких социальных и экономических условиях жили предки уральских народов; с помощью же лингвистической палеонтологии, или биогеографии, можно установить и места их прежнего обитания.

Лингвистическая палеонтология, которая является, по сути дела, не чем иным, как лингвистическим применением палеобиогеографии, исходит из того, что ареалы распространения определенных видов растений и животных ограниченны. Следовательно, если собрать воедино все те названия растений и животных, которые были известны уральскому (финно-угорскому) праязыку, то — с учетом былого географического распространения соответствующих биологических видов — можно очертить некогда

[1] Тюркские языки делятся на два типа на том основании, что звукам r, l, ś, š в тюркских языках так называемого чувашского типа (булгарская группа) соответствуют z, š, j, s в остальных тюркских языках. Тюркские заимствования, проникшие в венгерский язык до прихода венгров на современную территорию, большей частью носят сходный с чувашским языком характер. Например, венг. ökör 'вол' ~ чув. vĕgĕr (ср. турецк. öküz), венг. szél 'ветер' ~ чув. śil (ср. турецк. jäl), венг. sár 'грязь' ~ чув. šur (ср. куманск. saz) и т.д.

существовавшие границы области расселения (прародины) финно-угров.

Ценные для исследований по праистории сведения может дать и изучение географических названий (топонимов). Так, например, лингвистический анализ гидронимов и названий населенных пунктов к западу от Среднего Урала показал, что раньше на этой территории жили манси. К изучению и толкованию топонимов в каждом отдельном случае следует подходить с большой осторожностью, поскольку чаще всего связь топонимов с нарицательными именами создавшего их языка бывает прервана, и, помимо индивидуализирующих значений, у них не оказывается иных (нарицательных) значений. Это усложняет толкование топонимов, а иногда и делает его невозможным. Кроме того, анализ нескольких топонимов еще не дает оснований для относящихся к праистории выводов. Но если топонимика определенной территории в целом и в деталях может быть истолкована на основе какого-либо языка, который ныне не представлен на этой территории, то можно предполагать, что некогда на исследуемой территории пользовались этим языком, то есть что раньше там жил народ, говорящий на этом языке.

Как уже упоминалось, успешному ведению исследований по праистории содействуют также археология, этнография и антропология. Эти науки лишь дополняют и подкрепляют результаты, полученные методами лингвистики. В частности, ограниченность археологии заключается в том, что извлеченные из земли находки немы, их нельзя заставить говорить, из-за чего не всегда удается признать их памятниками какого-либо конкретного этноса*. Однако главным образом благодаря работам советских и венгерских археологов современная археология оказывает в исследованиях по уральской праистории помощь, без которой было бы невозможно обойтись. Проведенные на территории СССР раскопки свидетельствуют о многих переселениях народов, о рождении и упадке многих культур. Тот, кто занимается уральской праисторией, должен ознакомиться с этими результатами, поскольку археологические памятники древних эпох часто подкрепляют относящиеся к праистории утверждения, позволяют объективнее обосновать их.

* Следует напомнить, что теперь большинство археологических культур на территории СССР имеют в той или иной степени обоснованные этнокультурные привязки. Методика установления взаимосвязей между археологическими культурами и этносами все совершенствуется и "немота" археологии уже давно стала условностью. Ведь обычаи, ритуалы, особенности быта и специфика производства, фиксируемые по археологическим памятникам, дают достаточно объективный материал для этнокультурных интерпретаций, что при выработке соответствующих методик в области лингвистических исследований может давать и достаточно надежные языковые привязки. – *Прим. П. М. Кожина.*

Нельзя обойтись и без помощи этнографии. Например, из того, что, как утверждает языкознание, венгерское название кровати (ágy) имеет финно-угорское происхождение и было известно финно-угорскому праязыку, мы не имеем права заключить, что в жилищах древних финно-угров существовал тот предмет меблировки, образ которого встает перед нами, когда мы произносим, слышим или читаем слово *кровать*. Из этнографических описаний выясняется, что у некоторых финно-угорских народностей, стоящих на сравнительно низкой стадии развития и еще недавно ведших кочевой (точнее, полуоседлый) образ жизни, постелью служит разостланное у стены чума сено с положенными на него шкурами. Так же могли выглядеть места для отдыха и сна и в финно-угорскую эпоху. Не меньшей ошибкой будет, если, зная о финно-угорском происхождении венгерского названия *двери* (ajtó), мы вообразим, что 5000 лет назад уже существовало устройство, закрывающееся на ключ и снабженное ручкой.

К данным этнографии следует, конечно, подходить с осторожностью: различные предметы, обычаи и верования легко переходят от одних народов к другим, и было бы неверно автоматически, без должного обоснования проецировать встречающиеся среди некоторых финно-угорских народов явления в эпоху пяти-шеститысячелетней давности. При использовании этнографических данных следует избегать и трактовки в качестве доказательств родства таких социально-экономических явлений, которые характерны для всех народов на определенном этапе их исторического развития[1].

Материал антропологии может быть полезен для праистории в двух отношениях. С одной стороны, изучение телосложения ныне живущих финно-угорских народов позволяет вычленить общие для родственных народов и предположительно имеющие единое происхождение типичные антропологические признаки, отделив их от более поздних наслоений и смешений. С другой стороны, палеоантропология — наука, изучающая костные остан-

[1] Согласно распространенному мнению, в обычаях многих уральских народов можно усмотреть следы матриархата. Хотя из некоторых явлений можно заключить, что некогда уральские народы жили в обществе, основанном на материнском праве, мы не имеем права считать разрозненные реликты матриархата доказательством родства или реконструировать с их помощью для уральской эпохи основанное на материнском праве общественное устройство. Сходным образом доказательством родственных связей нельзя признать и то, что и саамы, и самодийцы занимаются оленеводством: это занятие — при известных обстоятельствах — могло сформироваться у любого народа. Напротив, поразительное сходство одного из типов саней (нарт) у саамов и у самодийцев можно счесть доказательством по крайней мере древних культурных связей (не обязательно непосредственных).

ки в открытых археологами захоронениях, — дает картину антропологических типов населения древних эпох. Поскольку, однако, в антропологии надежные результаты могут быть получены лишь путем обработки десятков тысяч данных массовых обследований, выводы из палеоантропологических исследований всегда в известной мере шатки, так как объем имеющихся в распоряжении этой науки данных, естественно, невелик[1]*.

Из сказанного выше видно, что праистория является комплексной наукой: она пользуется результатами ряда специальных дисциплин. По мере надобности она может обращаться, помимо перечисленных, и к другим отраслям знания, играющим для нее роль вспомогательных наук (например, к истории музыки, к истории климата, палинологии, а в самое последнее время — и к атомной физике). В последние годы в исследованиях по уральской праистории особенно расширилось использование данных палинологии и истории климата. Несомненно, результаты всех этих наук следует применять комплексно; принимая во внимание лишь только одну из специальных дисциплин, нельзя прийти к прочным выводам относительно праистории Тем не менее решающее значение для праистории имеют лингвистика и в известной степени археология, поскольку результаты этих двух наук точнее, чем связанные с праисторией тезисы этнографии или антропологии.

Однако создание окончательной картины праистории народа и ее органическое включение в историю этого народа — это уже, скорее всего, задача историка, поскольку по своей сути праистория является исторической дисциплиной.

Уральская прародина

Общее происхождение финно-угорских и самодийских языков говорит о том, что эти языки являются потомками одного более или менее единого праязыка (языка-основы). Наличие же праязыка предполагает, что некогда существовала такая общность людей, которая говорила на этом языке. После этого

[1] Вскрытие захоронения, содержащего 25 могил, может быть, с точки зрения археолога, значительным событием, но для антропологической типизации обследование 25 скелетов дает весьма мало материала.

[Значение палеоантропологических исследований здесь несколько преуменьшено, ибо выявление антропологических типов в статистически достоверных формах не требует благодаря разработке многочисленных и действенных методик таких баснословно огромных цифр, которые кажутся необходимыми автору. В частности, значительный интерес представляют данные венгерских и советских палеоантропологов по вопросам, касающимся финно-угорского населения. — *Прим. П.М. Кожина.*]

закономерно возникает вопрос о том, где и как жила эта общность и когда прекратился длившийся, по всей вероятности, в течение долгих тысячелетий период совместной жизни.

Прежде чем ответить на этот вопрос, целесообразно, однако, уточнить значение двух уже употреблявшихся и часто употребляемых далее терминов. Говоря о родственных связях венгерского языка, и в специальной, и в научно-популярной литературе упоминают то о финно-угорском, то об уральском праязыке (языковой семье, языках). Подобную двойственность можно встретить и в этой книге. Стремясь к научной точности, необходимо проводить различие между финно-угорской и уральской эпохой, финно-угорским и уральским праязыком и в целом между финно-угорскими и уральскими языками. Под финно-угорскими языками — в узком значении — подразумеваются все родственные венгерскому языку, *за исключением самодийских.* Из этого следует, что финно-угорским праязыком называется то языковое состояние, из которого развились прибалтийско-финские, саамский, волжско-финские (мордовский, марийский), пермские (удмуртский, коми) и угорские (венгерский, хантыйский, мансийский) языки. Родство этих языков с самодийскими было признано наукой несколько позднее. Родство финно-угров и самодийцев следует понимать в том смысле, что их предки некогда также говорили на общем праязыке, более древнем, чем финно-угорский; он называется уральским праязыком. Понятие уральской языковой семьи охватывает, таким образом, языки как финно-угров. так и самодийцев. Следовательно, уральским называется праязык той эпохи, когда еще предки самодийцев оставались членами общности. Эпоха же после того, как они первыми выделились из праязыковой общности и отдалились от нее, уже называется финно-угорской, а язык этой эпохи — финно-угорским праязыком.

В этом состоит различие между терминами "уральский" и "финно-угорский", разграничение которых важно с точки зрения хронологии; однако нужно отметить и то, что чрезмерно большого различия между языковыми состояниями уральской и финно-угорской эпох нет: между ними нельзя провести четкую границу. Последняя является органическим продолжением первой, и с лингвистической точки зрения между структурами уральского и финно-угорского праязыков пока удается выявить не много отличий. С точки зрения праистории разграничение уральской и финно-угорской эпох все же существенно, и — как мы далее увидим — для лингвистики также небезразлично, называем ли мы свою отрасль науки финноугристикой или уралистикой (под последней мы понимаем современный вариант финно-угорского языкознания).

В вопросе о древнем расселении предков уральских народов

долгое время царила неопределенность. В прошлом веке получило распространение мнение об азиатском происхождении финно-угорских и самодийских народов. Сторонниками этой теории были такие выдающиеся ученые, как эстонский лингвист Ф. И. Видеман и один из основоположников уральского языкознания и исследования Сибири М. А. Кастрен. Азиатская теория была, по сути дела, логическим следствием признания языкового и расового родства уральских и алтайских народов. Как Кастрен, так и Видеман были убеждены в том, что уральские и алтайские народы — потомки единого "племени"; а поскольку первые письменные свидетельства о тюркских и монгольских народах упоминают их как жителей Центральной Азии, то, основываясь на предполагаемом родстве, прародину самих финно-угров также могли искать только вблизи Саяно-Алтайского нагорья.

Азиатская теория, в свое время широко признанная, сейчас уже отошла в прошлое. Прежде всего рухнула основная опора представлений Кастрена и его единомышленников — идея о возникновении алтайских и уральских языков путем ветвления одного общего праязыка. Развитие более новых и более современных методов сравнительного языкознания позволило прояснить отношения языкового родства. Кроме того, в конце прошлого века возникло новое направление, представлявшееся более пригодным для точной локализации прародины. На этом методе строится классическая концепция прародины, которая являлась в течение более чем 60 лет общепризнанной (и даже до сих пор сохраняется в Венгрии в представлениях большинства людей и в школьном преподавании); поэтому она заслуживает более подробного изложения.

Этот новый метод — применение в лингвистических изысканиях данных геоботаники и зоогеографии — называется лингвистической палеонтологией. Мы уже рассказывали о сущности этого метода, но напомним об этом еще раз.

Если отобрать из имеющей общее происхождение лексики родственных языков совпадающие названия животных и растений и реконструировать их исходные значения, удастся в общих чертах воссоздать картину фауны и флоры, окружавшей места жительства далеких предков. После этого по картам, показывающим распространение этих животных и растений, следует отыскать ту территорию, на которой одновременно представлены все известные предкам животные и растения. Очерченную таким образом территорию можно считать древнейшей поддающейся локализации прародиной языковой семьи.

Как можно видеть, принцип, лежащий в основе данного приема, чрезвычайно прост и вместе с тем оригинален и даже, можно сказать, остроумен. Не удивительно, что лингвистическая

палеонтология чуть ли не моментально стала признанным методом исследования прародины.

Теперь мы с любопытством ждем ответа на вопрос, к каким результатам привели лингво-палеонтологические изыскания в области праистории финно-угров.

Одним из первых и постоянно приводимых доныне свидетельств о прародине финно-угров является наличие в финно-угорских языках общих названий *меда* и *пчелы* (венг. méz 'мед', фин. mesi : mete-, морд. med, коми ma и т.д. < фин.-уг. *mete; венг. méh 'пчела', фин. mehi-läinen, морд. mekš, мар. mukš, удм. muš и т.д. < фин.-уг. *mekše). В соответствии с этим финно-уграм были знакомы пчела и мед, то есть они жили на территории обитания медоносных пчел. Однако пчела до самого последнего времени не была известна в Азии (за исключением Малой Азии, Сирии, Ирана, Афганистана, Тибета и Китая, о которых не может идти и речи в плане поисков прародины). Во всей Сибири, в Средней Азии, Казахстане, Центральной Азии и Монголии пчелы были прежде неизвестны. Например, в Сибирь их переселили лишь в конце XVIII в. Зато пчелы водятся к западу от Урала, в восточной части Европы, в основном к югу от северной границы распространения *дуба*, то есть от 57–58° северной широты. (В связи с этим нужно упомянуть, что венг. tölgy 'дуб' также считали наследием общефинно-угорской эпохи, что неверно, и опирались на это при локализации прародины.) Более того, район среднего течения Волги известен как древний, знаменитый центр пчеловодства; поэтому представлялось логичным утверждение о том, что финно-угры жили в Восточной Европе, в районе среднего течения Волги.

Разумеется, одно только это обстоятельство не позволяло точно определить границы прародины. Следовательно, необходимы были свидетельства, даваемые другими названиями животных и растений.

В уральских языках богато представлены названия различных хвойных деревьев. Показательно географическое распространения *ели* (Picea) и *сибирского кедра* (Pinus sibirica). Хотя в венгерском языке первоначальные названия обоих деревьев бесследно исчезли, другие финно-угорские и самодийские языки свидетельствуют о том, что они были известны уральскому обществу (фин. kuusi, нен. χ̄ādi и т.д. 'ель'; коми sus-pu, хант. (южн.) teγet, нен. tide? и т.д. 'кедр'). Данные геоботаники показывают: южная граница ели в Европе проходит в основном вдоль 56° северной широты, и лишь в Сибири оттягивается на север. Напротив, кедр — типично сибирское дерево, однако небольшим выступом он заходит со своей подлинной родины и в Восточную Европу, а именно в характеризующиеся холодным климатом области верховий Камы и Печоры.

У манси и ханты каленые кедровые орешки — столь же популярное лакомство, как тыквенные семечки или каленая кукуруза у венгров. Заслуживает внимания, что название кедрового орешка также имеет, видимо, финно-угорское происхождение. Правда, в большинстве родственных языков оно было предано забвению и обнаруживается только в мансийском, хантыйском и, возможно, в прибалтийско-финских языках, хотя в последних это слово претерпело специфическое семантическое развитие: фин. nauris∼nakris (если оно действительно сюда относится), в силу изменившихся с течением времени обстоятельств, утратило свое древнее значение и стало применяться как название репы (Brassica rapa rapifera), с которой финны познакомились на новых землях — скорее всего потому, что по форме репа напоминает кедровую шишку; в ливским языке na'ggə̑r имеет значение 'картофель'.

В пользу европейской прародины финно-угров говорит, согласно традиционным представлениям о прародине, и тот факт, что существует и общефинно-угорское название для *ежа* (венг. sün, диал. sül, ср. фин. siili и т.д.), который не водится восточнее Урала. Северная граница его распространения проходит по 61° северной широты.

Предъявленные до сих пор аргументы геоботаники и зоогеографии указывают на то, что финно-угорская, а также уральская прародина могла находиться в Северо-Восточной Европе, не очень далеко от Урала. Это заключение подкрепляется и многими другими аргументами. Среди общей для финно-угорских языков лексики встречаются совпадающие названия не только хвойных, но и многих лиственных деревьев, причем некоторые из них (например, *вяз* — венг. szil, который в Сибири вообще не растет) также свидетельствуют в пользу данного вывода. На северное расположение прародины указывает представленное в большинстве финно-угорских языков название *рябины* (фин. pihlaja), южную границу которой можно провести в основном по 57° северной широты. Финское слово *muurain* и его соответствия в родственных языках обозначает растущую на севере болотную ягоду рода Rubus (княженику — Rubus arcticus, морошку — Rubus chamaemorus). Зафиксировано и общефинно-угорское название *северного оленя* (ввиду переселения венгров в более южные районы оно утрачено венгерским языком). Венгерское слово fogoly 'серая куропатка' первоначально, по всей вероятности, обозначало *рябчика* (Tetrao bonasia), также типично северную птицу. Для локализации прародины привлекались и финно-угорские названия пушных зверей: *белки-летяги, горностая, норки*, живущего в кедровых лесах *соболя*, а также *куницы*. Существует немало признаков, свидетельствующих о том, что предки уральских народов жили в местах, богатых не только

лесами и дичью, но и большими и малыми реками, дававшими обильные уловы рыбы. В уральских языках чрезвычайно много совпадающих названий различных пород *лососевых рыб*. Помимо них, были известны и многие породы рыб, обитающих в водоемах Северной Европы, например живущие в бассейне Волги *осетр* и *стерлядь*. Картину дополняют названия нескольких типично северных водоплавающих и лесных птиц. Кроме того, уральское происхождение названия *железа* (венг. vas, фин. vaski 'медь') свидетельствует о том, что прародина должна была находиться недалеко от богатых рудой Уральских гор.

Интересное указание на местонахождение прародины дает название *соли*. Возможно, венг. só имеет уральское происхождение, однако этот вопрос остается спорным. Более достоверным является тот факт, что другое слово со значением 'соль' — фин. suola и его соответствия в родственных языках — представляет собой индоевропейское заимствование финно-угорской эпохи. Таким образом, финно-угры, видимо, познакомились с этой важной приправой к пище через посредство индоевропейцев. Путем, по которому поступала соль, была, как можно предполагать, Волга: в районе низовий Волги и Прикаспийской низменности встречается немало соляных озер. Нет сомнения, что оттуда соль поставлялась и в северные края.

На подобной аргументации строилась традиционная реконструкция прародины, выработанная главным образом финскими и венгерскими исследователями. Все те, кто шли в исследованиях по праистории уральцев указанным путем, единодушно сходились на том, что уральская прародина располагалась в Северо-Восточной Европе между Средней Волгой и Уралом. Разумеется, единство мнений было лишь относительным: финские ученые предпочитали думать о районе Средней Волги и Оки, венгерские — скорее о районе между излучинами Камы и Уральскими горами. Несмотря на критику, коснувшуюся в последнее время лингвистической палеонтологии, эти результаты и сегодня живы в представлениях венгров и финнов (в первую очередь благодаря школьному преподаванию и научно-популярной литературе), и, вероятно, мы не ошибемся, утверждая, что именно эта классическая концепция прочнее всего укоренилась во взглядах значительной части языковедов и этнографов.

Современное географическое размещение народов уральской семьи, а также расселение их уже в исторические времена из хорошо известных центров распространения (в первую очередь из областей вблизи излучины Средней Волги) является трудноопровержимым, веским аргументом в пользу традиционной трактовки. На фоне этого аргумента, возможно, прозвучала не столь убедительно критика в адрес метода лингвистической палеонтологии, оспаривавшая правомерность проецирования со-

временных границ распространения растений и животных в далекое прошлое и сделанных на этой основе выводов о прародине. Однако эти критические соображения, выдвинутые Э. Мольнаром в начале 50-х годов, полностью оправданы, и понятно, почему специалисты, занимавшиеся уральской праисторией, раньше или позже поставили на повестку для пересмотр традиционной концепции, в процессе которого появились новые результаты, интересные не только для узкого круга специалистов, но и для широкой аудитории.

В последние годы в Финляндии, Эстонии и, независимо от этого, в Венгрии было выдвинуто предположение о том, что территории древнего расселения уральских народов простирались от Балтийского моря до Урала.

Опорной точкой для взглядов Э. Итконена, П. Аристэ, А. Йоки и других финских и эстонских ученых могла явиться идея Р. Индреко о финно-угорском происхождении народа – носителя мезолитической культуры рыболовов и охотников Кунда в Эстонии. Кроме того, эти исследователи, основываясь главным образом на работах Х. Мооры, Л. Янитса и К. Вилкуны, могли сослаться и на то, что уже за несколько тысяч лет до н.э. на территории Прибалтики могло находиться население финно-угорского этнического типа. На основании этого они так или иначе считались с возможностью непрерывной преемственности финно-угорского населения в Прибалтике, начиная с эпохи мезолита[1].

[1] Проблема кундаской культуры исключительно сложна. Эта сложность менее всего связана с определением этнической принадлежности: идея Индреко, согласно которой создателями этой культуры могли быть финно-угры, совершенно произвольна, и сам автор не придавал ей особого значения (и даже не пытался обосновать), ограничившись лишь беглым замечанием. Истинная проблема состоит в наличии совпадений между относящейся к VII тыс. до н.э. кундаской культурой и так называемой шигирской культурой на Среднем Урале. Эти совпадения столь известны, что в научной литературе иногда употребляется общее название "кунда-шигирская культура". Согласно Индреко, кундаская культура распространялась с запада, достигнув Зауралья, и за счет этой иррадиации возникли сходные культуры более восточных областей. Напротив, некоторые советские археологи (Брюсов) предполагают миграцию с востока на запад. Последняя точка зрения встречает трудности, связанные с тем, что кундаские находки значительно древнее шигирских, датировка которых, к сожалению, не вполне надежна (Шигир: II тыс. до н.э.(?); Горбуново: рубеж IV—III тыс. до н.э.). Согласно мнению Й. Харматты (в последнее время разделяемому и советскими археологами), фактически нет необходимости в установлении генетических связей между шигирской и горбуновской культурами, с одной стороны, и кундаской, с другой. Несомненно, эти далеко отстоящие друг от друга культуры имеют совпадающие черты, но таковые могли возникнуть и независимо, а поэтому можно предполагать и то, что эти культуры строились на различной этнической основе.

[Крайне злободневным представляется вопрос о размерах групп и коллективов населения и соответственно о размерах территорий их

Но если принять предположение о заселении Прибалтики в эпоху мезолита, то проблемы уральской праистории окажутся неразрешимыми.

Вышеупомянутые финские и эстонские специалисты не хотели, однако, полностью отказаться от достигнутых методом лингвистической палеонтологии результатов: они пытались согласовать относящиеся к территории Прибалтики археологические гипотезы с теорией локализации прародины между Волгой и Уральскими горами. Результатом этого явилась идея о том, что территория уральской (финно-угорской) прародины тянулась широкой полосой от Балтийского моря до Урала. В итоге сторонники объединения прибалтийской и волжско-уральской теорий происхождения финно-угров оказались в числе тех, кто настаивает на том, что неолитическая гребенчатая керамика в Прибалтике и на восток от нее принадлежит исключительно финно-уграм. Такое утверждение, то есть утверждение о единстве гребенчатой керамики, совершенно неприемлемо в свете новейших археологических исследований (подробнее см. ниже). Кроме того, трудно поверить, что носители уральского праязыка, число которых скорее всего было не слишком велико, занимали такую громадную территорию, западная и восточная границы которой отделены друг от друга добрыми двумя тысячами километров. Правда, на последний аргумент можно было бы возразить ссылкой на ненцев, которые при численности около 30 000 человек населяют территорию протяженностью 2000 км. Это так, но по образу жизни и местам обитания между ненцами — оленеводами, кочевниками тундры — и финно-уграми эпохи неолита, жившими в лесах рыболовами и охотниками, существует ощутимая разница. В тундре ничто не препятствует пе-

обитания для мезолитической и неолитической эпох на севере Европы и на Урале. Вопрос этот не может быть решен без учета всей этнокультурной ситуации этих регионов. Он выходит далеко за пределы таких памятников и культур, как Кунда, Шигир, Горбуновский торфяник и т.д. (между прочим, ныне в них обнаружены находки значительно более древнего времени, чем указанное здесь автором). Хотя родство между западными (Кунда) и восточными памятниками непосредственно не прослеживается, что может быть связано с локальным характером культур, которые они представляют, общая ситуация в рассматриваемом регионе такова, что обнаруживаемые в нем памятники не могут быть причислены по степени своего сходства лишь к единой хозяйственной зоне, обусловленной экологическим единством, но определенно принадлежат к единой этноисторической общности, что указывает на генетический характер культурного родства. К тому же такие памятники, как Южный Оленеостровский могильник и подобные находки, указывают на то, что в распоряжении отдельных неолитических групп находились огромные промысловые угодья и что вследствие этого контакты между территориями Зауралья и Балтийским побережьем могли быть достаточно регулярными и устойчивыми. — *Прим. П. М. Кожина.*]

рекочевкам пастухов со стадами северных оленей на многие сотни километров; более того, образ их жизни непосредственно вынуждает их осваивать обширные территории. Иной характер имеют кочевки у занимающихся рыболовством и охотой народов: маршруты их передвижений ограничены намного более тесными пределами. В поисках охотничьей добычи они также иногда попадают в довольно далекие места, но вовсе не практикуют таких бесконечных передвижений, как живущие в тундре оленеводы. Естественные границы охотничьих маршрутов устанавливали непроходимые густые леса, которые окружали места расселения уральцев и финно-угров Более далекие передвижения могли происходить в этих краях только вдоль рек, но для поддержания жизни не было необходимости в том, чтобы финно-угорский охотник бродил от Прикамья до Прибалтики в поисках добычи: в богатом дичью лесу ее можно было найти и на небольшом участке*. Практикуемая же наряду с охотой рыбная ловля связывала финно-угров с поселениями более постоянного характера (на что указывают и археологические находки) после более или менее дальних охотничьих странствий они вновь и вновь возвращались в рыболовецкие стойбища.

Выдающийся венгерский археолог проф. Д. Ласло в опубликованной в 1961 г. книге также поместил прародину — центр формирования уральцев — на обширной территории между Прибалтикой и Окой. Он не основывается на аргументах археологии, а строит свою теорию, по-новому группируя названия деревьев в уральских языках и привлекая данные палеоботаники. Согласно Д. Ласло, названия таежных пород представлены только в восточной группе уральских языков, а лиственных деревьев — только в западной их группе. Известных всем уральским народам, то есть восходящих к праязыковой эпохе названий деревьев, по его мнению, отмечено лишь два-три· Pinus silvestris 'сосна', Betula 'береза' и, возможно, Alnus 'ольха'. Прародину, следо-

* Автор, на наш взгляд, неоправданно сомневается в значительной подвижности населения постпалеолитической эпохи. Изменение системы охоты в силу исчезновения крупной дичи, широкое освоение лесных пространств за счет прекрасного знакомства с деревообработкой (следы лесосек, изобильный набор массивных деревообрабатывающих инструментов, а также появление дорожных настилов в болотах) свидетельствуют в пользу значительных передвижений групп на территории Северной Европы и Северо-Западной Азии. Кроме того, у населения, имеющего определенные консервативные традиции, складывались настолько устойчивые представления об экологических оптимумах, что очень многие территории (а выбор их был сравнительно свободным в силу редкой заселенности) оставались пустыми, тогда как население устремлялось в зоны, не только максимально обеспеченные продуктами питания и прочими материальными благами, но и прочими условиями (в том числе и эстетическими) сходные с его предшествующими местами расселения. — *Прим. П М. Кожина.*

вательно, нужно искать лишь там, где одновременно встречаются эти три дерева. Об урало-камском регионе, как считает Д. Ласло, не может быть и речи, поскольку эта территория начала зарастать лесами лишь во II тыс. до н.э.: в предшествующие эпохи этот район, как он утверждает, был непригодным для жилья, для человеческих поселений. Привлекая в своем исследовании данные палинологического анализа, Д. Ласло приходит к конечному выводу о том, что древние уральцы жили на территории, тянувшейся от Риги до Оки, и были создателями и носителями палеолитической свидерской культуры (Swidry) в Средней Польше.

В связи с концепцией Д. Ласло особенно важно отметить следующее. Несомненной заслугой Д. Ласло является создание нового направления в исследовании уральской праистории: порывая со статическим методом в лингвистической палеонтологии, он применяет ставшие в последнее время доступными данные палинологического анализа[1] и опирается на раскрываемую ими картину истории растительности. Вместе с тем нельзя умолчать о том, что в критических возражениях по существу этой концепции (высказанных главным образом зоологом Б. Зойоми и лингвистом П. Хайду) отмечалась недостаточная тщательность палеоботанических и палинологических обоснований исследования Д. Ласло и неприемлемость такого подхода к отбору лексики, при котором число праязыковых названий деревьев сводится всего к трем. На шаткость палинологических аспектов данной теории может указать не только специалист в области ботаники: она вызывает ряд практических возражений. Так, например, тезис Д. Ласло, согласно которому Северное Приуралье в эпоху палеолита и мезолита было непригодным для жилья и незаселенным, ошибочен не только с точки зрения биогеографии: его опровергают приумножающиеся из года в год археологические находки. Ныне можно с уверенностью утверждать, что на европейской стороне Северного Урала первобытный человек селился начиная уже с эпохи среднего и верхнего палеолита (в ряде мест бассейнов Печоры и Камы открыты памятники мустьерской и мадленской эпох). Таким образом, область между Уралом и Камой была издавна обитаема: теория ее незаселенности не подтвердилась. Но опровержение теории незаселенности, естественно, не обязывает нас вернуться к традиционной теории прародины. Тем более не беремся мы выдвигать

[1] Лабораторный анализ пыльцы (гр. παλύη), осевшей много сотен или даже тысяч лет назад в донных отложениях озер и болот, в слоях торфа, дает довольно точное представление о растительном покрове территории и о его исторических изменениях, при условии, что основой для обобщений служит обработка достаточно большого количества образцов. Возраст пыльцы устанавливается методами геологии и химии почвы.

гипотезу о непосредственной исторической преемственности между палеолитическим населением Приуралья и финно-уграми.

В связи с гипотезой Д. Ласло можно, кроме того, поставить вопрос о целях, задачах и рамках исследований по уральской праистории. В общих чертах задачи праистории уже указывались выше. Нужно, однако, особо отметить, что так называемая локализация прародины представляет собой особую, специальную задачу этногенетических исследований. До сих пор, в соответствии с общепринятой практикой, прародиной уральских народов считалась та территория, на которой произошел распад уральской языковой и социальной общности. Конечно, локализация прародины влечет за собой одновременно и проблемы датировки. В связи с этим эпохой уральской общности обычно называют одно-два предшествовавших распаду тысячелетия: это минимальная длительность дивергенции, допускаемая относительной хронологией, и, кроме того, более ранние языковые и этногенетические события предшествовавшего распаду этапа (который можно, вообще говоря, называть доуральским) пока что нельзя реконструировать даже с такой степенью надежности, как события уральской эпохи.

Д. Ласло отходит от указанной практики: он стремится выяснить, где находилась прародина на стадии формирования, а не распада уральской общности. Продление праистории в прошлое, согласно Д. Ласло, упростило бы локализацию прародины, поскольку в этом случае речь идет уже по крайней мере об эпохе верхнего палеолита, а в эту эпоху (и в мезолите), по его мнению, к северу от воображаемой линии, соединяющей излучину Средней Волги и среднее течение Енисея, не существовало человеческих поселений. Следовательно, район поисков прародины можно заранее сузить. Однако выше уже отмечалось, что представление о незаселенности и непригодности для обитания Северной Евразии оказалось неправильным, так как факты опровергают его. И насколько заманчива целевая установка на то, чтобы проследить историю уральской общности вплоть до далекого прошлого, с самого начала ее формирования, настолько же это предприятие и безнадежно: в глуби времен перед нами открываются бесконечные дали палеолита Евразии, полные археологических и антропологических загадок, в связи с чем отождествление и определение этносов или языков пока что совершенно невозможно.

Сказанное не означает, что мы отказывается от изучения процессов формирования уральской языковой семьи и уральского праязыка: близкими вопросами палеолингвистика занимается главным образом путем исследования предполагаемых связей между уральской и другими языковыми семьями, но она не способна ни дать точные описания обусловивших эти связи

исторических процессов, ни локализовать их. Поэтому, не открещиваясь от предуральской проблематики, мы все же будем трезво придерживаться традиционной практики исследования местонахождения прародины во время распада языковой общности. Если же в этом удастся достичь относительно надежных или правдоподобных результатов, то мы сможем, если сумеем, продвинуться дальше, в более давние и менее изученные эпохи.

Наконец, следует выделить еще один аспект гипотезы Д. Ласло. Он пытается обосновать происхождение уральцев, вышедших, по его мнению, с территории Польши и из прилегающих к ней районов, тем, что несколько польских топонимов объяснялись как финно-угорские. Он мог иметь в виду работы Т. Лера-Сплавинского, который в 1946 г. охарактеризовал некоторые польские гидронимы как следы прибалтийско-финского субстрата. Таким образом, они, по Т. Леру-Сплавинскому, не являются реликтом финно-угорского праязыка, а происходят из языка живших некогда на побережье Балтийского моря предков прибалтийских финнов. Имеются в виду такие названия рек, как Sosa, Sirver, Niemen, Paskrza, Raja, и названия озер Winy, Lepno, Lampasz.

Речь идет не больше чем о дюжине названий, что весьма недостаточно, если мы будем учитывать размер территории, на которой они собраны (подозреваемая в наличии субстратных топонимов полоса тянется от Мекленбурга до Чудского озера); поэтому даже предположение о прибалтийско-финском субстрате очень ненадежно и держится на шатких посылках. Добавим к тому же, что Т. Лер-Сплавинский по существу возвратился к этимологиям, предложенным в 1913 г. другим польским лингвистом, Розвадовским, хотя эти этимологии были опровергнуты уже в 1934 г. М. Фасмером.

Перед тем как перейти к выработанной нами и согласующейся с новейшими результатами советских археологов гипотезе, рассмотрим еще одну теорию прародины, выдвинутую ныне покойным советским этнографом, археологом и историком В. Н. Чернецовым и обнаруживающую известную близость к излагаемой далее концепции западносибирской прародины.

Чернецов — главным образом на основе собственных раскопок в бассейне Оби — возводит историю уральцев к западносибирскому неолиту, к эпохе козловской культуры (V—IV тыс. до н.э.), входящей в ту же этнокультурную общность, что и кельтеминарская культура. Иными словами, Чернецов признает тем самым происхождение расселившихся к востоку от Урала предков уральских народов с более южных территорий, из бассейна Аральского моря. Его предположение основывается на общности гончарной техники. Однако, по мнению других советских археологов (Третьяков, Смирнов), совпадение уральской и кель-

теминарской гончарной техники нельзя считать убедительным аргументом в пользу общего происхождения двух соответствующих этносов: население Приуралья могло усвоить приемы изготовления сосудов от приаральского кельтеминарского населения даже при отсутствии каких-либо генетических связей, а помимо того, не исключено, что уральский неолит возник непосредственно за счет развития местного мезолита. Следовательно, теория связи и родства с кельтеминарской культурой покоится на шаткой основе. Дополнительные трудности создает и хронология (козловская культура датируется V–IV тыс. до н.э., а ранняя кельтеминарская — IV тыс. до н.э.). В последние годы жизни В. Н. Чернецов относил проникновение уральцев с юга на север к позднему мезолиту (VI–V тыс. до н.э.), чем отчасти устранил указанные противоречия и привел свою теорию в соответствие с интерпретацией уральского неолита как явления местного происхожения. Дальнейшие события гипотеза Чернецова объясняет тем, что в IV–III тыс. до н.э. уральцы расселились на север до Северной Сосьвы и на восток до Нарыма и в эту же эпоху проникли в бассейн Камы, где смешались с потомками тамошнего мезолитического населения. В последнем процессе Чернецов усматривает отделение (возникновение) финно-пермской ветви. Затем в течение эпохи зауральского энеолита, во II тыс. до н.э., формируется и угорская ветвь.

Автор этой книги ранее придерживался традиционной концепции прародины с тем, однако, добавлением, что Урал не мог являться восточной границей прародины и что Западная Сибирь не была terra incognita для ее обитателей. Однако позднее, главным образом в ходе полемики с Д. Ласло, автор разработал новую концепцию прародины, основанную в первую очередь на этимологиях названий деревьев в уральских языках и на тщательном учете данных истории распространения лесов.

Вопреки мнению Д. Ласло, следовало основываться на том, что даже после проведенного с большой филологической тщательностью отбора этимологий подтверждается уральское (финно-угорское) происхождение втрое большего числа названий деревьев. Помимо названий не требующих специального эдафона, то есть растущих и на холодных, и на теплых почвах и поэтому малоценных с точки зрения локализации прародины деревьев — а именно — березы, осины, ивы (Betula, Populus, Salix), а также не обладающей значимостью для этой цели сосны (Pinus silvestris) — в уральском и финно-угорском праязыках встречались и названия таежных деревьев[1]. К ним относятся:

[1] Для сосны отмечаются, собственно говоря, только финно-угорские названия (венг. fenyő и соответствия этого слова в марийском (?), коми, удмуртском языках; мар. (?) tərke и его мансийские и хантыйские соот-

1) *Ель* (Picea): фин. kuusi, саам. guossâ, морд. kuz, мар. kož, удм. kiz, коми koz, манс. kawt, хант. (южн.) χut; нен. χādi, эн. kadi, нган. kua, сельк. kut, кам. ko?d< урал. *kowese.

2) *Сибирский кедр* (Pinus sibirica): коми sus(-pu), удм. susi (-pu), манс. (сев.) tęt, (южн.) tāt, хант. (вост.) teχət; нен. tide?, сельк. tĭtĭ, кам. tēdeŋ< урал. *sĭkse.

3) *Пихта* (Abies): мар. nulgo, удм. ńĭl(-pu), коми ńĭl, манс. ńuli, хант. (сев.) ńălki; сельк. ńulgo, кам. nelga< урал. *ńulka.

4) *Лиственница* (Larix): коми ńia, манс. ńiχ, хант. năŋk< фин.-уг. *ńäŋe~*näŋe.

На фоне той полноты, с которой представлены таежные деревья, бросается в глаза отсутствие названий таких пород европейских смешанных лиственных лесов, как *дуб* (Quercus)[1], *липа* (Tilia) и *орешник* (Corylus avellana), при наличии всего лишь одного общефинно-угорского названия:

5) *Вяз* (Ulmus): венг. szil, мар. šol, морд. säli, фин. salava ('ива ломкая')< фин.-уг. *śala.

Переходя теперь к рассмотрению того, как сдвигались границы распространения пяти наиболее значимых для нас древесных пород, следует прежде всего исходить из того, что после последнего оледенения северная часть Евразии начала покрываться лесами за счет продвижения их из двух областей, где леса сохранялись — Юго-Западной Европы и Восточной Сибири. С юго-запада шла экспансия на восток и северо-восток смешанных лиственных лесов, а с востока все западнее и западнее продвига-

вется). Об уральском же названии может идти речь применительно к семье манс. *jiw*, если это слово, используемое ныне в значении 'дерево, дрова', и его хантыйское соответствие связаны с самодийским названием сосны (нен. je и его соответствия в селькупском и саяно-самодийских языках). Локализации прародины это название не помогает: уже в среднем голоцене сосна могла встречаться во всей лесной зоне Евразии (как в тайге, так и перемежаясь с европейскими лиственными лесами).

[1] Оба упоминавшихся ранее в работах по праистории и этимологии названия дуба не могут быть возведены к праязыку. Фин. tammi (эст. tamm, морд. tumo, мар. tum) является только волжско-финским словом и в силу этого не отражает условия уральской и финно-угорской эпох. Венг. tölgy некоторые исследователи считали словом финно-угорского происхождения и сопоставляли его с удм. täl′ 'лес', коми-перм. tel′ 'молодой густой лесок' и хант. (южн.) taj. Но упомянутого хантыйского слова со значением 'лес' не существует: оно появилось в связи с ошибочным истолкованием словосочетания taj unt 'густолесье, темный лес' и само по себе является прилагательным 'темный' (второй компонент словосочетания – unt, обозначает лес). Остающееся же венгерско-пермское сопоставление держится на крайне слабых основаниях: соответствие ф.-у. *-l′~венг. -lgy проблематично, а главное, было бы семантически необоснованным реконструировать для праязыка значение 'дуб' на основании одних только венгерских данных. Венг. tölgy, по всей вероятности, является осетинским заимствованием (ср. осет tūldz 'дуб'), что подтверждают последние исследования А. Й. Йоки (возможны и другие индоевропейские связи).

лась тайга. Это, разумеется, не означает, что определенные деревья не могли пережить эпоху плейстоцена и в других местах. Например, известно, что до конца сопротивлялись последнему наступлению ледника разрозненные и захиревшие остатки еловых лесов в районах между Волгой и Уралом, а сосновых — на Среднем Урале (в порядке аналогии можно вспомнить о выродившихся экземлярах деревьев в современной северной тундре). О пути, проделанном некоторыми породами деревьев в послеледниковую геологическую эпоху (голоцен), можно вкратце рассказать следующее[1].

Сибирская ель (Picea obovata) уже в раннем голоцене распространилась в северной части Европейской территории СССР до Балтийского моря, то есть уже на протяжении 10—12 тыс. лет во всей Северной Евразии встречаются таежные массивы ельника. Поэтому значимость ели для локализации прародины относительно невелика: это название говорит только о том, что прародину следует помещать в зоне тайги. Дальнейшее определение ее границ станет возможным, если проследить пути распространения кедра, пихты и лиственницы с востока на запад, а также путь вяза с запада на восток.

Наличие кедра в раннем голоцене доказано для междуречья Оби и Иртыша; заметной экспансии его в древнем голоцене (8—10 тыс. лет тому назад) на запад не обнаружено. В среднем голоцене (3—8 тыс. лет тому назад) кедр, однако, появился уже не только на севере Западной Сибири, но и к Западу от Северного

[1] Периодизация эпохи голоцена на основе проведенных в Советском Союзе палинологических анализов:

Время	Абсолютная хронология	Климатические периоды	Геологические стадии развития Балтийского моря
Древний голоцен	9800-12000 лет назад	Субарктический	1-е Балтийское ледниковое внутреннее море 1-е Иольдиевое море 2-е Балтийское ледниковое внутреннее море
Ранний голоцен	7700-9800 лет назад	Бореальный (начало улучшения климата)	2-е Иольдиевое море Время Ancylus
Средний голоцен	2500-7700 лет назад	Суббореальный атлантический	Время Litorina Время Limnaea
Поздний голоцен	0-2500 лет назад	Субатлантический	Балтийское море

Урала, в истоках Печоры, составляя, правда, лишь 2% спектра пыльцы из лесов данного региона. Таким образом, он не образовывал, по всей вероятности, сплошных лесных массивов — разрозненные небольшие кедрачи лишь разнообразили таежные еловые леса.

Пихта также распространялась из центральных районов Западной Сибири и из Восточной Сибири. В среднем голоцене она достигла низовьев Оби и даже, преодолев Урал, появилась в Европе, составив 5—7% спектра пыльцы в верховьях Печоры и на правобережье Камы.

Следы распространявшейся с востока лиственницы обнаруживаются в северной части Западной Сибири (в низовьях Оби, на Тазовском п-ове) лишь начиная со среднего голоцена, однако представляется вероятным, что она и раньше произрастала в Западной Сибири, если и не на самом ее севере. В находящиеся по другую сторону от Уральских гор восточно-европейские лесные районы лиственница проникла, однако, лишь в позднем голоцене, то есть примерно 2,5—3 тыс. лет назад, когда финно-угорская общность уже давно прекратила свое существование.

Из древесных пород, характерных для смешанных лиственных лесов, быстрее всего продвигается на восток вяз: в древнем голоцене он еще очень слабо представлен на европейской территории СССР (из 50 мест его пыльца найдена лишь в двух, в количестве 3%). В раннем голоцене (8—10 тыс. лет назад) вяз быстро распространяется в средней полосе Европейской территории СССР (Белоруссия, район между Москвой и Новгородом и т.д.), а в среднем голоцене появляется в Заволжье и даже достигает Печоры, то есть Среднего Урала.

Древние места расселения уральцев можно, с учетом всего сказанного, искать лишь в таких местах зоны тайги, где, при преобладании еловых лесов, встречаются также кедр и пихта. Разумеется, в Восточной Сибири такие места существуют издавна, но в Западной Сибири они появляются лишь начиная со среднего голоцена. Далее следует учесть, что в этот комплекс древесных пород должна была входить и лиственница. Еще более важно и то, что еще до распада финно-угорской общности ей стала известна одна из пород, характерных для надвигавшихся с запада смешанных лиственных лесов — вяз. На основании всего этого областью, откуда началось распространение уральцев и финно-угров, можно считать ту территорию, где типично сибирский комплекс преимущественно еловых таежных лесов со вкраплениями пихты, кедра и лиственницы встречался в своей северо-западной части с крайневосточными форпостами вяза (выявленными в районе истоков Печоры и Камы). Территория прародины еще не могла быть вытянута далеко вглубь зоны смешанных лиственных лесов, поскольку названия других листвен-

ных деревьев сформировались позднее, в обособившихся группах родственных языков. Итак, место обитания уральцев в эпоху распада — в начале и середине среднего голоцена — мы можем искать к северу от Среднего Урала, в бассейне нижней и средней Оби, включая также истоки Печоры. Сопоставление результатов изучения названий деревьев с данными палинологического анализа указывает таким образом на то, что в VI–IV тыс. до н.э. уральцы жили в Западной Сибири. События финно-угорской эпохи протекали в западной части этой же территории; по всей вероятности, оторвавшиеся от непрочной уральской общности финно-угры смогли продвинуться в эту эпоху дальше в Западное Приуралье, к устью Камы. С датировкой распада финно-угорской общности согласуется и вывод палеоботаники, согласно которому дуб появляется в истоках Печоры только во второй половине среднего голоцена: в это время (III–II тыс. до н.э.) финно-пермская ветвь уже растягивается все дальше на запад. Названия характерных для широколиственных лесов пород деревьев в финно-пермских языках также возводимы большей частью к той же эпохе.

Выше, при локализации прародины, мы не принимали в расчет названий рыб, птиц и других животных, хотя таковым уделялось большое внимание в предшествующих лингвопалеонтологических исследованиях. С названиями рыб и птиц связана особая трудность, состоящая в том, что на основании современных значений для праязыка удается реконструировать — самое большее — значение в масштабах рода или семейства, которое не может быть использовано в целях локализации. Эти трудности усугубляются тем, что большинство древнейших названий птиц представляет собой звукоподражательные или изобразительные слова.

Ввиду подверженности изменениям наименований фауны (многие названия животных, например, табуизируются и заменяются), а также ввиду того, что животный мир во всей Евразии в основном один и тот же, необходим тщательный отбор пригодных для локализации прародины названий животных. Кроме того, нельзя упускать из виду того, что животный мир меняется вместе с растительным. С этой точки зрения важным можно счесть тот факт, что финно-уграм был известен соболь (ср. венг. nyuszt и его соответствия в мансийском, хантыйском, коми, удмуртском, эстонском, финском языках); соболь является обитателем кедровых лесов и, таким образом, это еще одно свидетельство в пользу таежно-сибирской прародины. Прочие уральские названия из области фауны также в общем указывают на северные районы обитания; здесь следует, пожалуй, упомянуть лишь о названиях пчелы (венг. méh) и меда (венг. méz), которые долгое время служили одним из основных аргументов в пользу

локализации прародины в Европе (наряду с названием дуба). Однако если считать, что это слова финно-угорской эпохи и что они имеют индоевропейские параллели, то тогда они как заимствования малопоказательны. Наряду с этим нельзя, конечно, отвергать и мнение, согласно которому слово méh первоначально могло обозначать не медоносную пчелу (Apis mellifica), а шмеля (Bombus – Sibiricobombus? Alpinobombus?).

* * *

Рассмотрим теперь, как соотносятся с вышеизложенной праисторической гипотезой новейшие результаты археологических исследований. Можно признать полностью соответствующими ей взгляды казанского археолога А. Х. Халикова; таким образом, языковые, ботанические и археологические данные поддерживают друг друга и даже совпадают. А. Х. Халиков проводит локализацию уральской прародины путем ретроспективного анализа археологических культур с учетом некоторых основополагающих лингвистических фактов. Достигая этим способом IV тысячелетия до н.э., он отводит уральской прародине несколько бóльшую территорию, чем это обычно принято. Места расселения уральской общности он локализует по обеим сторонам Урала, точнее, в бассейне Камы и в Западной Сибири (до среднего течения Оби). Большой заслугой А. Х. Халикова является доказательство единства ранненеолитической урало-камской археологической культуры, что одновременно свидетельствует о существовании этнической (и языковой) общности. Согласно его исследованиям, эта общность распадается на две части вследствие наблюдаемого в середине IV тыс. до н.э. прихода инородного этноса с юга, в результате чего усваивается новая техника изготовления орудий (микролитические каменные орудия). Южные пришельцы расклинивают уральцев надвое: можно предположить, что это – начало обособления финно-угров и самодийцев. Те группы, которые оказались восточнее, – предполагаемые предки самодийцев – в основном оттягиваются в направлении Енисея, а то население, которое жило непосредственно по обеим сторонам Урала, смешивается с пришельцами; из них формируется поздненеолитическая финно-угорская общность на территориях между Волго-Камьем и Уралом, а также отчасти в Зауралье.

Единство урало-камского раннего неолита лучше всего показывает керамика: сосуды имеют заостренные днища, ровные кромки, большую емкость, на них нанесен так называемый штрихованно-накольчатый орнамент, который состоит из линий, образованных оттисками палочки. В конце IV тыс. до н.э. появляются зубчатый штамп и круговой орнамент в виде углубленных строчек ниже кромки.

На поздней стадии урало-камского неолита (III тыс. до н.э.) не только продолжается развитие каменных орудий (среди них начинают преобладать шлифованные), но и появляются первые металлические орудия. Распространяется гребенчатая керамика; вместо прежних надземных строений несложной конструкции появляются во все возрастающем количестве углубленные в землю, просторные (10х10 м и даже 20х20 м) жилища, которые строились на высоких берегах рек.

Все эти очень важные выводы из археологических исследований согласуются с новыми, сделанными в середине 60-х гг. лингвистическими выводами и отчасти с уже упоминавшимися археологическими концепциями В. Н. Чернецова.

Для периода от III тыс. до н.э. история культур конца неолита (а затем медного и бронзового века) на территории между Прибалтикой и Уралом описана еще более подробно. Уже отмечалось, что ранее существовало мнение о заселенности финно-уграми всей той территории, для которой характерна гребенчатая керамика. Результаты исследований последних лет говорят, однако, о том, что, несмотря на ряд общих черт, культура этой керамики в своих деталях не настолько едина, чтобы ее можно было считать одной культурно-этнической зоной. Анализ, проделанный М. Е. Фосс и другими советскими археологами, показал, что неолитическую культуру гребенчатой керамики в лесной полосе Восточной Европы в III тыс. до н.э. можно подразделить на три-четыре самостоятельные культурные области — центральную волго-окскую, урало-камскую и так называемую западную (внутри последней при более детальном членении выделяются восточноприбалтийская и балтийско-днепровская области). Видимо, прав П. Н. Третьяков, который на основании этого деления утверждает, что неолитическое население лесной полосы Восточной Европы не было единым этнически. Конечно, границы занятых разными этносами территорий не были постоянны и менялись с течением времени. Уже начиная с мезолита и раннего неолита обнаруживаются некоторые следы продвижения с востока на запад, однако более существенные смещения границ отдельных культурно-этнических зон происходят только в более позднее время.

Первоначальное финно-угорское население лесной полосы Северо-Восточной Европы следует усматривать в носителях восточной, урало-камской культуры гребенчатой керамики. По данным археологии, в III тыс. до н.э. эта культура достигла на западе Волги и устья Камы, но дальше не распространялась.

Любопытно, однако, что восточноприбалтийская культура Сперрингс и другие связанные с ней находки (например, Олений остров ский могильник конца IV или начала III тыс. до н.э.) обладают характерными для урало-камской культуры призна-

ками. Некоторые исследователи объясняли эту связь тем, что одна из ветвей финно-угров очень рано оторвалась от урало-камского массива и оказалась далеко от него, в районе Белого моря и даже западнее, изолировавшись от остальной части финно-угров. На этом основании могла бы идти речь о давнем расселении некоторых групп финно-угров в Прибалтике, но к сказанному можно добавить, что определение этнической принадлежности носителей культуры Сперрингс еще требует дальнейших исследований и новых доказательств и что предположение о столь ранних связях между далеко отстоящими районами Урала и побережья Финского залива трудно согласовать с нашими представлениями о праистории. Поэтому успокаивающе выглядит позиция Индреко, отрицающего наличие генетической связи гребенчатой керамики Финляндии и Эстонии с Приуральем. Кроме того, можно считать несомненным то, что занимавшееся рыболовством и охотой население Волго-Окского региона в III тыс. до н.э. отличалось от жителей как Прибалтики, так и бассейна Камы. Есть, следовательно, все основания не считать жителей этой области финно-уграми.

Для конца III и начала II тыс. до н.э. археологические исследования фиксируют массовые переселения и сложные этногенетические процессы.

Волго-Окская культура распространяется в эту эпоху на север и, продвигаясь вдоль левых притоков Волги, достигает Белого моря. Это продвижение — следствие увеличения численности населения, деления родов. Избыточное население проникло в расположенные севернее редконаселенные, но богатые рыбой и дичью районы. Примерно в одно время с этим, протекавшим мирно и медленно расселением обнаруживаются следы иной, носившей менее мирный характер миграции: на рубеже III—II тыс. до н.э. значительные массы финно-угорского населения Прикамья и Приуралья вторгаются в бассейн Оки. Они покоряют и растворяют в себе в качестве субстрата население восточной части Волго-Окской культурной области, создавая там волосовскую культуру медного века (конец III — середина II тыс. до н.э.). Так в начале II тыс. до н.э. в нижнем и среднем течении Оки, на Клязьме, а также в расположенных к северу от этих мест районах появляются финно-угры. Их распространение на запад шло не только водным путем, по Волге, но и по другому, северному пути — с верховий Камы и Вятки на Северную Двину, откуда затем расселяющиеся группы финно-угров смогли по Сухоне достичь и Белого моря.

Волосовская культура, будучи продолжением камской, претерпевает дальнейшее развитие и поэтому отличается от последней: появляются сосуды с плоским дном, возникают более сложные формы гребенчатой керамики, достигает высокого

развития техника изготовления каменных орудий и получают распространение фигурки животных и людей из кремня, а также изображения птиц в качестве орнамента на сосудах. Было известно литье меди, встречались изделия из металла. Археологические данные доказывают наличие контактов носителей волосовской культуры с этносами иранского происхождения, что соответствует сделанным лингвистикой выводам. Различные скотоводческо-земледельческие ираноязычные народы (носители срубной, балановской, андроновской, абашевской культур) вообще были южными соседями финно-угорских групп на всем протяжении от Верхней Волги до Западной Сибири; они оказали значительное влияние на последних.

В середине III тыс. до н.э. возникают довольно значительные различия между восточным и западным ареалами волосовской культуры Различают две новые культуры, возникшие из волосовской в результате интенсивных связей с южными соседями и хозяйственных преобразований – приказанскую и поздняковскую Каждая из них является органическим продолжением волосовской, что позволяет предполагать этническое родство этих культур.

На востоке результатом развития волосовской культуры явилась приказанская культура (районы Средней Волги и бассейна Камы), которая на рубеже II–I тыс. до н.э. распространяется на юг и в бассейн реки Белой. В западном ареале формируется поздняковское население на Оке, Клязьме, Костроме и Верхней Волге. Отмечается наличие уже в эту эпоху скотоводства, хотя сохраняются и традиционные промыслы. Несомненно, создателей обеих культур следует считать финно-уграми. из поздняковской культуры выводимы дьяковская и городецкая культуры раннего железного века, прямыми преемниками которых являются волжские финно-угры исторического времени (марийцы, мордва, мурома, меря), а приказанская культура непосредственно предшествует ананьинской культуре раннего железного века (то есть культурному наследию предков пермских народов – коми и удмуртов).

Таким образом, распространение урало-камских финно-угров на запад к середине II тыс. до н.э. уже достигает богатой озерами северо-западной части Восточно-Европейской равнины (окрестностей Белого озера), а к концу этого тысячелетия – Белого моря на севере и территории современной Башкирии на юге. Эта экспансия сопровождалась изменением этнических границ в Северо-Восточной Европе.

В результате этого процесса, путем слияния местных культур с культурой продвигавшихся на запад пришельцев, создалось этническое родство населения лесной полосы между Восточной Прибалтикой и Уралом – то есть той территории, кото-

рая была занята финно-угорскими народами и позднее. Но это относительное единство не является исконным, оно объясняется не тем, что финно-угры с самого начала были расселены на всем пространстве от Урала до Прибалтики. Как было показано, оно явилось результатом длившейся в течение многих столетий экспансии урало-камского населения на запад и знаменует собой этапы продвижения финно-угорских групп.

Эта экспансия финно-угорской охотничье-рыболовецкой культуры, оказавшей модифицирующее и нивелирующее влияние на другие культуры, не явилась единовременным актом. Финно-угры накатывались все новыми и новыми, разделенными во времени и пространстве волнами, пока не овладели лесной полосой Восточной Европы.

Связи уральского праязыка с языками других семей

Предки уральских народов не жили в полной изоляции, ибо, как показывают данные археологии, население Западной Сибири, Северной и Восточной Европы было в эту эпоху этнически неоднородным. А это нельзя объяснить ничем иным, кроме как тем, что по соседству с уральцами, а отчасти и вместе с ними как в Северо-Западной Сибири, так и в Северо-Восточной Европе обитало иноязычное население.

О чем же свидетельствуют по этому вопросу лингвистические данные? Они подтверждают возможность существования очень древних и прочных связей уральской языковой семьи с другими языками и языковыми семьями. Сохранились языковые следы этих связей.

Мы упоминали об иноэтническом населении, проникшем на территорию уральской прародины в Западной Сибири. Определение его языковой принадлежности пока превышает наши возможности. Однако о европейских связях финно-угров можно рассказать подробнее.

Часто говорят, например, об урало-индоевропейских языковых связях. В самодийских языках не обнаруживается бесспорных следов связей с индоевропейским праязыком, поэтому, согласно практически единодушному мнению специалистов, в уральском праязыке нет индоевропейских заимствований.

При всем том, все-таки существует ряд слов, относящихся к первоначальной праязыковой лексике и обладающих поразительным сходством с индоевропейскими словами. Вот эти слова:

Венг.	Фин.	Урал.	И.-е.
mos 'мыть'	(эст.) mõske-	< *mośke-	~ *mozge-
név 'имя'	nimi	< *nime	~ *nōmn̥-
víz 'вода'	vesi	< *wite	~ *wed-
vez-et 'вести'	veta-	< *wetə-	~ *wedh-
vi-sz 'нести'	vie-	< (ф.-у.) *wike-	~ *wegh-
ín 'жила'	suoni	< *śine(~ *sõne)	~ *sen-(~ *son-)
ház 'дом'	kota	< (ф.-у.) *kota	~ *kot-
te-sz 'делать'	teke-	< *teke-	~ *dhē-(< *dhək-)
—	tuo- 'приносить'	< *toke-	~ *doγw-(~ *dō-)

Было бы затруднительным обосновать трактовку этих слов как заимствований из одного какого-то праязыка в другой, поэтому параллели такого рода одни исследователи считают культурными терминами (которые проделали большой и не поддающийся восстановлению путь), а другие — свидетельствами так называемого индоуральского (то есть урало-индоевропейского) языкового родства. По нашему мнению, эти параллели, наряду с другими языковыми явлениями, восходят к доуральской эпохе и могут отражать квазиродственные или родственнообразные (rokonságszerű, kvázi-rokonsági) связи, обусловленные вхождением языков-предков упомянутых семей в общий языковой ареал (см. ниже).

Имеют место, однако, и такие слова финно-угорского праязыка, которые можно признать заимствованиями. Предметом затяжной дискуссии был вопрос о том, восходят ли эти слова непосредственно к индоевропейскому праязыку или к какому-то близкому ему языку-потомку. Современное состояние исследований позволяет считать, что какой-то язык ранней общеиндоиранской эпохи явился источником заимствований в перечисленных ниже случаях:

Венг.	Фин.	Ф.-у.	И.-и.
szarv 'рог'	sarvi	< *śorwa	< и.-и. *śā̆rw- < ранн. и.-и. *śraw- < и.-е. *kr̥uo-
száz 'сто'	sata	< *śata	< и.-и. *śata- < и.-е. *km̥to-
árva 'сирота'	orpo	< *orpa	< ранн. и.-и. и и.-е. *orbho- (ср. др.-инд. árbha-)
—	porsas	< *porśas 'свинья'	< ранн. и.-и. *porśos < и.-е. *porkos (ср.хотанск. pārsa)
hét 'семь'	—	< *säpta	< ранн. и.-и. *septa (ср.др.-инд. sapta)
méz 'мед'	mesi	< *mete	< ранн. и.-и., и.-е. *medhu- (ср. др.-инд. mádhu)
méh 'пчела'	mehi-	< *mekše	< ранн. и.-и. *mekše- (ср. др.-инд. mákša-, авест. maxšī-).

Консонантизм этих слов имеет уже явно индоиранские особенности (например: и.-и. s на месте и.-е. k′ в словах száz, szarv, porsas), тогда как их вокализм архаичнее индоиранского и ближе к индоевропейскому (гласные в словах méh, méz, hét, *resp.* árva и porsas отражают индоевропейские ступени чередования *e* и *o*, совпавших в индоиранском в *a*). С учетом этих фактов принято усматривать в перечисленных выше словах реликты контактов между языком финно-угров и раннепраиранским (индоиранским) языком. Ситуацию, в которой были восприняты эти заимствования, освещает с позиций археологии тот факт, что в конце III тыс. до н.э. в волго-окскую область мигрируют с юга скотоводческие племена, носители фатьяновской культуры, говорившие, скорее всего, на каком-то индоевропейском языке, — вероятно, на языке раннепраиранского типа. Правда, они вскоре были вытеснены носителями волосовской культуры, однако помимо них к югу от занятой финно-уграми территории на рубеже III–II тыс. до н.э. поселилось и скотоводческо-земледельческое население балановской культуры, которая родственна фатьяновской*. Это население, равно как и носителей андроновской культуры II тыс. до н.э. в Западной Сибири, считают праиранцами. Последующие связи отдельных групп финно-угров с различными иранскими (древне- и среднеиранскими) племенами и языками можно признать почти непрерывными, что доказывают иранские заимствования, воспринятые в ходе обособленного развития отдельных языков.

* * *

Возвращаясь к перечисленным в начале этой главы урало-индоевропейским параллелям, отражающим родственнообразные связи ареального характера, можно в ряде отношений дополнить сказанное выше.

Прежде всего необходимо отметить, что число урало-индоевропейских параллелей увеличивается за счет совпадения местоимений и ряда грамматических элементов (окончание аккузатива -m, окончание аблатива -ta, -tä и т.д.).

Сходство такого рода отмечается, однако, не только между уральскими и индоевропейскими, но также и между уральскими и тюркскими (и другими алтайскими) языками. Здесь также

* Вопрос о соотношении фатьяновской и балановской культур решается далеко не однозначно, но во всех случаях родство этих культур крайне тесное и по времени эти культуры очень близки. Кроме того, в их материальной культуре обнаруживаются аналоги лишь культурам, распространенным в пределах Европы (шнуровая керамика, шаровидные амфоры и т.д.), но не Азии, что делает вообще сомнительной их связь с индоиранскими этносами. — *Прим. П. М. Кожина.*

параллели касаются некоторых местоимений, грамматических формантов (окончание аблатива, окончание генитива -n, окончание латива -k и т.д., а также несколько словообразовательных суффиксов!) и лексики.

Венг.	Фин.	Урал. (ф.-у)	Тюрк.
al-ja 'нижняя часть'	ala-	*ala	al
em-ik 'сосать'[1]	ıme-	*ime-	äm
nyal 'лизать'	nuole-	*ńole-	jala-
tő 'корень, основание'	tyvı	*tüŋe	tuŋ-
nyíl 'стрела'	nuoli	*ńŋle	(т.-м.) ńur
egér 'мышь'	hiiri	*šiŋere	(т.-м.) siŋer

[1] Устаревшее слово, корень которого сохранен в производных csecsemő 'грудной ребенок', emlő 'грудь (женская)'

Уральские и алтайские языки обладают, кроме того, многими общими особенностями синтаксиса.

Как выяснилось в последнее время, самый большой сюрприз таит в себе связь уральских языков с юкагирским. На юкагирском языке ныне говорит лишь около 300—400 человек на северо-востоке Сибири, в бассейнах Колымы и Индигирки. До сих пор этот язык причислялся к так называемым палеоазиатским языкам, но такая группировка основывалась скорее на географическом, нежели на генеалогическом принципе классификации: в Сибири существует несколько языков, родственные отношения которых до самого последнего времени не были выяснены должным образом (юкагирский, кетский, чукотский, корякский, ительменский, нивхский) и которые объединялись под общим названием "палеоазиатских". Сейчас на основании своего происхождения и родственных связей эти языки могут быть разнесены по различным языковым семьям, однако положение юкагирского языка прояснилось не до конца. Возможно, он представляет собой реликт какого-то древнего субарктического языка, но возможно и то, что он близок уральским языкам.

Между юкагирским и уральскими языками есть очень много грамматических и структурных параллелей, которые проявляются в формальном и в функциональном сходстве ряда словоизменительных и словообразовательных формантов. Велико и число совпадений в местоимениях и в лексике, например:

фин. ema 'мать'~венг. eme, emse 'самка'~юкаг. emei 'мать';
фин. keri 'кора'~венг. kéreg~юкаг. γar 'кожа, кора';
фин. loyly 'пар'~венг. lélek 'душа'~юкаг. lūl 'дыхание';

эст. nugis 'куница'~венг. nyuszt 'лесная куница'~юкаг. noχšo 'соболь';
фин. ala- 'под'~венг. al-~юкаг. -āl;
фин. ku-: kuka 'кто'~венг. ho-: hol 'где', hova 'куда'~юкаг. hon 'где';
фин. manaa- 'заклинать'~венг. mon-d 'сказать'~юкаг. mon-;
фин. nimi 'имя'~венг. név~юкаг. neve, nim и т.д.

Юкагирско-уральские параллели касаются и структуры предложения.

Список сходств можно дополнить и примерами из других языков Восточной Сибири (чукотско-камчатских), а также примерами из эскимосско-алеутских языков:

Венг.	Фин.	Чук.-камч.	Эск.-алеут.
em-ik 'сосать'	ime-	чукотск. emme	
név 'имя'	nimi	" ninnį	
mony 'яйцо'	muna	" manni	
kő 'камень'	kivi	ительм. kov	
ős 'предок'	isä 'отец'	" iseh	
men- 'идти'	mene-		эск. mənə-t-
hab 'пена, волна'	kumpua-		" qapuk
tud 'знать'	tunte-		алеут. tut
ki 'кто'	ken		" kin и т.д.

Число лексических и морфологических параллелей, сходных с рассмотренными выше, часто оказывается огромным. Поэтому многие исследователи считали, что между упомянутыми языками и языковыми группами должно существовать какое-то древнее родство. Однако эти теории недоказуемы, поскольку соответствия между уральскими языками и языками других семей нельзя систематизировать таким образом, чтобы на их основании можно было бы сравнительным методом реконструировать гипотетический индоуральский (урало-алтайский, урало-юкагирский и т.д.) праязык. Правда, попытки такого рода имели место, но они оказались безуспешными. В последние годы рядом исследователей, преимущественно советских, была даже возрождена созданная в начале века (1903 г.) Х. Педерсеном теория так называемого ностратического родства, предполагающая общее происхождение следующих языков Евразии: уральских, индоевропейских, алтайских, семито-хамитских, кавказских, баскского, хуррито-урартских, эскимосско-алеутских, юкагирского, чукотско-камчатских. Иллич-Свитыч относит сюда же и дравидийские языки и даже пытается реконструировать

ностратические праформы Ошибочность этой попытки заключается в том, что ее автор не в состоянии оторваться от подхода с позиций генетического родства и что дистанция во времени, мост через которую он стремится перебросить, чрезвычайно велика. Реконструкция языковых явлений более чем восьми-десятитысячелетней давности методами современной компаративистики заведомо безнадежна и заранее обречена на неудачу.

Таким образом, можно, самое большее, верить в родство различных языковых семей, но ценность доказательств или обоснований такого родства сомнительна Как же объяснить совпадения между этими языками? Вероятно, мы не ошибемся, признав, что лексические и морфологические параллели уральского и других языков, которые можно назвать северноевразийскими, не могут быть объяснены ни древнейшим родством, ни заимствованиями, но что они представляют собой наследие очень древней, относящейся к доуральской, доиндоевропейской и т.д. эпохе, "квазиродственной связи". Квазиродственная связь в нашем понимании обусловлена не моногенезом языков, а тем, что в ходе многотысячелетней истории своего формирования эти языковые семьи занимали смежные географические ареалы, и благодаря территориальным связям еще на стадии своего зарождения развивались как члены единого языкового союза. Как известно, между генетически не родственными членами современных языковых союзов в результате взаимосвязей возникают многочисленные структурно-типологические сходства и лексические параллели Точно так же и параллели между уральской и другими северноевразийскими языковыми семьями в базисной лексике и в сфере морфологии могут иметь своим источником былую ареальную близость, которая благоприятствовала конвергентному развитию языков. Естественно, эти ареальные взаимосвязи, послужившие основой для "квазиродственных" явлений, скрыты от нас в необозримых исторических глубинах палеолита Евразии.

Распад праязыка

Почему праязык разделился на несколько обособленных друг от друга языковых групп? Почему из этих групп образовалось около двадцати родственных языков? Почему прауральский не сохранился в виде единого языка до наших дней?

Для ответа на эти вопросы было бы достаточно сослаться на свидетельства других языковых семей, также дающих примеры языковой дифференциации. Но это не объяснило бы побудительных причин разделения языков, причин образования из одного языка нескольких.

Объяснение того, почему произошло разделение уральских языков, мы находим в самом праязыке.

Говоря о праязыковой "общности", о "единстве" праязыка, следует всегда иметь в виду относительный характер этого единства. Праязык не был единым даже в той степени, насколько едины современные национальные и государственные языки, обладающие письменностью, имеющие литературную форму в ее книжном и разговорном вариантах.

Разумеется, единство современного венгерского языка также относительно: он членится на территориальные и социальные диалекты, которые в большей или меньшей степени отличаются друг от друга в сферах фонетики, лексики, морфологии, синтаксиса. В некоторых же языках, например немецком или финском, диалектные различия столь велики, что сильно затрудняют взаимопонимание. Однако в этих языках одновременно с формированием нации и государственности начался объединительный процесс, который привел к образованию общенационального литературного языка в книжном и разговорном вариантах. Общенациональный литературный язык надстраивается над территориальными и социальными диалектами. Употребительность и роль его как объединяющего фактора постоянно возрастают под влиянием всеобщего и обязательного школьного образования, радио, печати, кино, театра. Единство литературного языка обеспечивается преподаванием родного языка, заботой о культуре речи, наличием орфографических и грамматических норм, словарей.

В сравнении с относительно едиными современными языками намного более пеструю картину являет собой существовавший несколькими тысячелетиями ранее уральский праязык. В эту эпоху не только не было объединяющего влияния общенационального языка, но не существовало и письменности, а значит и закрепленных ею грамматических норм. Таким образом, различие между относительным единством праязыка и относительным единством современных языков чрезвычайно велико: в праязыке единство было гораздо менее полным и менее конкретным, чем в современных языках.

Как мы убедились, предки уральских народов в древнейшую доступную праисторическому исследованию эпоху занимали территорию значительного размера. Мы не можем дать реальную оценку их численности, однако представляется вероятным, что говорившее на праязыке население исчислялось не миллионами и даже не сотнями тысяч, а в лучшем случае десятками тысяч человек. Эти люди — допустим, их было 20 000, несколько десятков тысяч или даже 100 000 — жили на занимавшей много сотен тысяч квадратных километров прародине не компактно, а разрозненно. Следовательно, плотность населения — даже если

принимать во внимание вклинившиеся между уральцами и жившие на одной с ними территории иноязычные группы — была низкой. Поселения отделялись друг от друга по родовой принадлежности жителей. Деревень не существовало — состоявшие из нескольких семей роды разбивали каждый свое стойбище на берегах рек, пересекавших густые леса. Каждое поселение находилось на большом расстоянии от остальных, и хотя во время охотничьих странствий, зачастую затяжных, возникали, по всей вероятности, контакты между отдельными группками этого древнего населения, преимущественно изолированное существование вело к появлению диалектных различий между отдельными родами. Есть ли все же у нас право говорить о единстве праязыка? О таком единстве, о праязыковой общности можно говорить постольку, поскольку в течение долгого времени эта диалектно расчлененная общность обладала по существу идентичными (если не считать мелких отличий) лексикой и грамматической системой, в ней действовали одни и те же основные тенденции и процессы развития.

Сходную с праязыковой диалектную расчлененность можно наблюдать, например, в среде ближайших языковых родственников венгров — манси и ханты, которые живут на Оби и ее притоках относительно мелкими группами, на больших расстояниях друг от друга: в каждом отдельном поселении этого региона наблюдаются специфические диалектные особенности, часто столь значительные, что отдельные диалектные группы почти не понимают друг друга.

Необходимо, следовательно, учитывать наличие в праязыке диалектов. Это заключение пока остается чисто умозрительным, поскольку сравнительное языкознание еще не претендует на выявление конкретных примеров диалектных различий в праязыке. Но сейчас существование родовых диалектов уральской общности, которое является несомненным фактом, интересует нас лишь с принципиальной точки зрения, поскольку оно дает приемлемое объяснение вопроса о том, как начался распад праязыкового единства.

Междиалектные различия, ввиду слабости взаимных контактов, по прошествии определенного времени приобретали столь крупные масштабы, что, например, носители диалектов двух крупных областей постепенно переставали понимать друг друга. Диалекты вставали при этом на путь самостоятельного языкового развития. Прекращалось действие общих тенденций развития, которые до тех пор обеспечивали единство праязыка. В разных группах диалектов осуществлялись новые фонетические изменения, грамматическая система приобретала новые формы, возникали новые средства выражения, лексика обогащалась элементами, неизвестными другим диалектным подразделениям пра-

языка. Короче говоря, с ростом междиалектных различий постепенно создавались предпосылки формирования нового, также расчлененного на диалекты языка.

Таким образом, анализ диктовавшейся внутренними причинами дифференциации позволяет рационально объяснить ход распада праязыка. При этом необходимо отметить, что в конечном счете разрыву языковых взаимосвязей между отдельными диалектами праязыка могли содействовать и другие факторы.

Одно из внешних обстоятельств, которое надлежит учитывать, состоит в том, что благодаря естественному приросту численность родов и родовых групп со временем сильно возрастала. Нередко этот прирост мог быть столь велик, что прожить на принадлежавшей роду территории становилось невозможно. В подобных обстоятельствах беспрепятственное производство материальных благ могло быть обеспечено двумя путями. Население или перебиралось в другие, более богатые дичью и рыбой места, или меняло основы производства (например, переходило к скотоводству или земледелию). Изменение основ материального производства возможно, однако, лишь при условии достижения обществом определенной ступени развития.

Важную роль в формировании новых языков могло играть и дробление за счет расселения, причем иногда к уходу из насиженных мест побуждало вторжение других народов. Могло произойти и так, что вследствие иноземного завоевания часть носителей праязыка оказывалась в изоляции. В других случаях (например, при формировании угров) взаимному обособлению родственных групп содействовало также изменение естественно-географических условий (климата).

Подобные обстоятельства позволяют объяснить и распад уральского праязыка: он был распространен на обширной территории, и, таким образом, существовала возможность разнонаправленных переселений отдельных групп. В соседстве с уральцами жили народы, говорившие на других языках, и, возможно, их влияние также содействовало дроблению.

Первым этапом распада уральской общности было отделение предков самодийцев от финно-угров, происшедшее не позднее, чем на рубеже V и IV тыс. до н.э. В последовавшую за этим финно-угорскую эпоху относительное единство сохраняли уже только предки современных финно-угорских народов. Процесс деления продолжился в III тыс. до н.э., когда началось формирование угорской ветви, завершившееся в начале II тыс. до н.э. Тем самым финно-угорский праязык распался на два новых праязыка, уже третьего порядка — угорский и финно-пермский. Потомками угров являются венгры, манси и ханты, к финно-пермской ветви относятся все прочие финно-угорские языки.

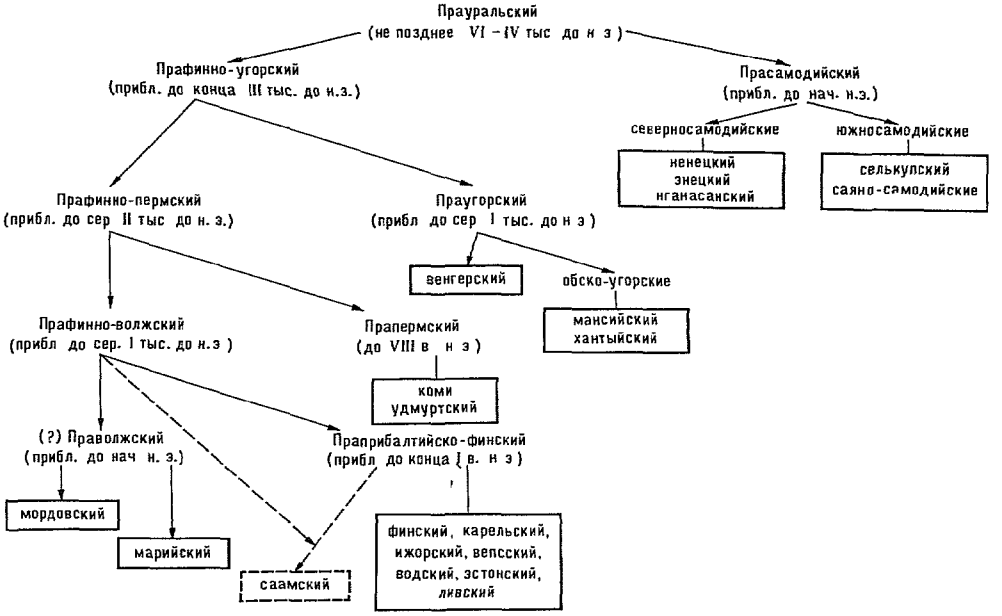

Прауральский
(не позднее VI – IV тыс. до н. э.)
Прафинно-угорский
(прибл. до конца III тыс. до н.э.)
Прасамодийский
(прибл. до нач. н.э.)
северносамодийские
южносамодийские
ненецкий
энецкий
нганасанский
селькупский
саяно-самодийские
Прафинно-пермский
(прибл. до сер. II тыс. до н. э.)
Праугорский
(прибл. до сер. I тыс. до н. э.)
венгерский
обско-угорские
мансийский
хантыйский
Прафинно-волжский
(прибл. до сер. I тыс. до н.э.)
Прапермский
(до VIII в. н. э.)
коми
удмуртский
(?) Праволжский
(прибл. до нач. н. э.)
Праприбалтийско-финский
(прибл. до конца I в. н. э.)
мордовский
марийский
саамский
финский, карельский,
ижорский, вепсский,
водский, эстонский,
ливский

Рис. 1.

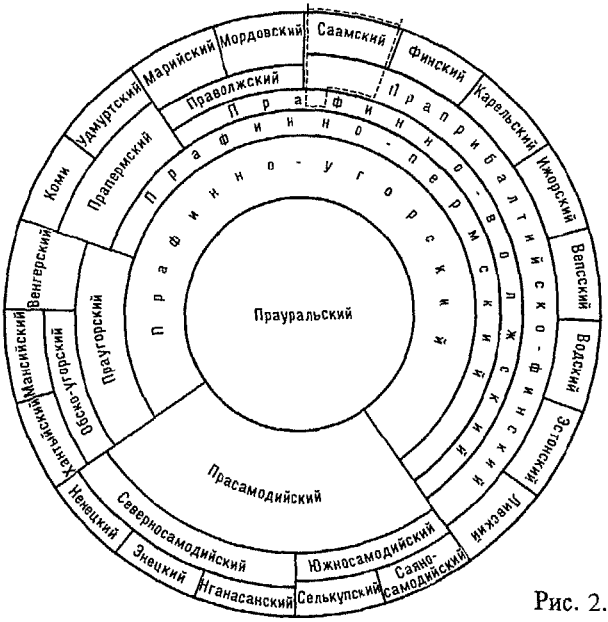


Рис. 2.

С выделением этих двух ветвей процесс дробления отнюдь не завершился. Дальнейший ход развития можно схематически представить в виде генеалогического древа (на рис. 1); заметим, впрочем, что этот способ представления значительно упрощает сложную картину историко-языковых процессов и никоим образом не пригоден для сопоставления систем родственных друг другу уральских языков. На рис. 2 во внешнем кольце помещены современные уральские языки, а внутренними кольцами изображены предшествующие им праязыки вплоть до уральского праязыка, символизируемого кружком в самом центре. По длине радиусов можно судить и о длительности совместного существования языков — разумеется, только приблизительно, поскольку невозможно было наглядно представить точные пропорции временны́х интервалов.

В 50 — 60-х гг. для установления времени дивергенции родственных языков использовался и лексикостатистический метод. С помощью так называемой глоттохронологии была сделана попытка ответить на вопрос о том, сколько времени требуют изменения, испытанные лекси́кой языка. Затем на основании изменений общего словарного фонда родственных языков делалось заключение о дате разрыва связей этих языков друг с другом.

Согласно одному из основополагающих принципов глоттохронологии, в лексике любого языка представлен первичный основной слой, играющий решающую роль и при исследовании языкового родства. В него входят местоимения, названия частей тела, некоторые имена родства, названия объектов или явлений природы и элементарных действий (например: *я, ты, он; этот, тот; голова, рука, глаз, нос, сердце, язык; отец, брат, сын; дерево, рыба, вода, огонь; жить, есть, пить, идти* и т.д.). Эта часть лексики с трудом и медленно поддается обновлению, причем, согласно глоттохронологии, темп ее изменений во всех языках один и тот же.

Из слов такого характера составляются списки (тесты) из 100, 200 или большего числа элементов, а затем определяется, какой процент фигурирующих в списке слов является общим для исследуемых родственных языков.

Как утверждает глоттохронология, основной лексический слой, состоящий из 100 слов, за 1000 лет сохраняется на 86%. Следовательно, по прошествии 1000 лет лексика (точнее, отобранный основной лексический слой) двух родственных языков совпадает на 74% (86% от 86%), через 2000 лет – уже только на 55%, через 3000 лет – на 41%, через 4000 лет – на 30%, через 5000 лет – на 22%, через 6000 лет – на 16%, через 7000 лет доля общих слов снижается до 12%. Выработана логарифмическая формула для расчетов.

Применение этого метода к уральским языкам показало, что из 100 основных слов общими для венгерского и финского являются 27%, для финского и коми – 31%, для мордовского и марийского – 36%, для самодийских и финно-угорских языков – 13–15%. В пересчете на абсолютное время эти цифры означают, что самодийские и финно-угорские языки отделены друг от друга более чем шестью тысячелетиями, а венгерский и финский – четырьмя с половиной тысячами лет.

Таким образом, эти расчеты не дают слишком больших расхождений с принятой до сих пор периодизацией праистории. Тем не менее, мы не можем утверждать, что глоттохронологический метод позволяет получить более точные результаты, чем известные ранее, тем более, что в последнее время оспаривается и правомерность данного метода исследований. Его критики справедливо указывают на то, что многое зависит от составления тестов из 100–200 слов: недоучет одной-двух этимологий или несколько ошибочных отождествлений слов могут привести к тысячелетним отклонениям в датировке. Немало недоразумений может возникнуть, если не будут приняты во внимание семантические отношения между парами слов. Кроме того, ошибочен и сам основополагающий принцип, согласно которому пропорциональный темп изменения лексики в языках одни и тот же.

Скорость изменения лексического состава — величина, зависящая от многих других факторов (социальных, культурных, экономических, географических и т.д.). Если добавить ко всему сказанному, что математическое обоснование глоттохронологического метода также не безупречно, становится понятным, почему сейчас этот метод все реже используется для установления хронологии генетических взаимосвязей.

Бесспорно, однако, что лексикостатистическое исследование пригодно для квантитативного анализа лексики языков при условии, что при таком методе не задаются целью открыть генетические или хронологические взаимосвязи. По всей вероятности, такой подход — с необходимыми изменениями — мог бы быть приложен с достаточным успехом к исследованиям типологической направленности или, например, к оценке распространения культурной лексики и к диалектологическим исследованиям.

Общество уральской и финно-угорской эпох

В предшествующих разделах лингвистические данные использовались главным образом для исследования месторасположения прародины и временных границ ее существования. Помимо этого, языкознание дает специалисту по праистории также средства для получения сведений об образе жизни той этнической общности, которая пользовалась праязыком. Опорой в этом, разумеется, также служат не исторические источники, а этимологический материал, полученный путем сопоставления лексики родственных языков.

Общие по происхождению лексические элементы финно-угорских и самодийских языков дают нам возможность ознакомиться со словарным фондом уральского праязыка, а тем самым и с набором известных в ту эпоху предметов и понятий. Благодаря этим этимологиям мы узнаем об основных чертах материальной культуры и социальной организации исследуемой этнической общности. Конечно, обрисовать жизнь предков уральских народов во всех ее деталях нельзя, в частности потому, что праязыковая лексика никогда не сможет быть выявлена целиком и полностью: некогда существовавшие слова исчезли, их место заняли другие. Однако для определения характера праязыкового общества достаточно и нескольких сотен этимологий, каждую из которых можно считать ценным историческим документом, дошедшим до нас из уральской или финно-угорской эпохи.

Благодаря изучению лексики известно, что носители уральского праязыка были рыболовами и охотниками.

Об исключительно важной роли рыболовства свидетельствуют венгерские слова hal 'рыба', tat(hal) 'линь', háló 'сеть, невод'. Все эти слова уральского происхождения, то есть они имеют соответствия не только в финно-угорских, но и в самодийских языках. В пластах лексики, связанных с водой и водоемами, заслуживают упоминания и такие слова, как венг. ár 'паводок, поток', hab 'волна', halad 'двигаться' (первоначальное значение — 'плыть'), jó 'река' (это слово вышло из самостоятельного употребления, но сохранилось в качестве второй составной части некоторых названий рек: Sajó, Berettyó< Berek-jó и т.д.), láp 'болото', tat(fa) 'распорка лодки', nyár 'болотистая местность', tó 'озеро', úszik 'плавать', víz 'вода', а кроме того, не представленные в венгерском название запора для рыбной ловли (фин. otava) и глагол 'грести' (фин. souta-).

О роли охоты говорит уральское происхождение существительных 'лук', 'стрела', 'сухожилие', 'тетива' (венг. íj, nyíl, ín, ideg) и глагола 'охотиться, выслеживать (дичь)' (фин. nouta- и pyytä-).

Таким образом, основными продуктами питания служили рыба и дичь. К сожалению, выяснить точные кулинарные рецепты уральцев невозможно, однако отдельные способы приготовления и потребления пищи проследить можно. Надо полагать, что рыба и мясо диких животных поедались и в сыром виде. Подобная привычка свойственна некоторым уральским народам и сейчас, и таким же образом могла быть свойственна их далеким предкам. Употребление сырого мяса могло иногда вызывать кишечно-желудочные расстройства, глистовые заболевания: на эти неприятные последствия указывает наличие слова 'червь (мясной, кишечный)' (венг. nyű). Сохраненный в венгерском языке глагол főz 'варить' и утраченные им названия углей и огня (фин. sysi и tuli) показывают, что в рацион древних уральцев входила и горячая, вареная пища. Пищу варили в *горшке* (венг. fazék), и, вероятно, попробовав *кусок съестного* (венг. falat), с похвалой или неодобрением отзывались об его *вкусе* (венг. íz).

О разнообразии кушаний можно судить по названиям различных рыб и многих других зверей и птиц (в венгерском языке сохранились древние названия таких зверей и птиц, как например, nyúl 'заяц', fogoly 'куропатка', holló 'ворон', kígyó 'змея' и, возможно, evet 'белка', однако в рассматриваемую эпоху были известны также северный олень, соболь, куница и другие пушные звери, а, кроме того, многие виды водоплавающих и лесных птиц).

Важным дополнением к рациону служили различные виды ягод, а также *яйца* (ст.-венг. mony, фин. muna), которые находили в птичьих *гнездах* (венг. fészek, фин. pesä).

Летом средством сообщения была лодка, как о том свиде-

тельствует восходящий к уральскому праязыку глагол 'грести' (фин. souta-). Зимой же земля была покрыта *снегом* (венг. hó) и часто стоял *туман* (венг. kod); в такую погоду надевались *лыжи* (фин. suksi), благодаря которым ноги не проваливались в снег, а подстреленную дичь тащили за собой на *санках* (фин. ahkio).

Одежда изготовлялась из *шкур* (венг. bőr) добытых зверей. Шитье, скорее всего, было делом женщин — о наличии этого занятия говорит слово 'игла' (фин. äimä). Конечно, в ту эпоху иглы были не стальными, а делались из *кости* (фин. luu), вероятно, из рыбьих костей. Одежда, согласно моде тех времен, скреплялась *поясом* (венг. öv) или *ремнем* (венг. szíj), имела *рукава* (венг. ujj).

Древним уральцам было известно необходимое в первобытном ремесле *сверло* (венг. fúró), умели они и *обтесывать* (венг. faragni) дерево с помощью какого-то снабженного *рукояткой* (венг. nyél) инструмента. Кроме того, орудия труда изготовлялись еще из *камня* (венг. kő) и кости. Древние уральцы умели склеивать с помощью *клея* (фин. tymä), который варили из костей. Глагол, к которому восходит венг. fon 'прясть, плести', относился, вероятно, к сучению ниток из *сухожилий* (венг. ín), и, возможно, к плетению *сетей* (венг. háló), хотя не исключено и знакомство с техникой изготовления пряжи из крапивы.

Из названий металлов к уральской эпохе можно возвести только венг. vas 'железо', но это еще не доказывает, что в далекую эпоху уже умели обрабатывать железо. Можно предполагать, что соответствующим словом называлась встречавшаяся в окрестных болотах и озерах так называемая болотная руда, которая залегала в виде буроватых пластов, или поверхностные выходы железной (или медной) руды на Урале, причем обработки и вообще добычи металлов не было.

Уральцы не знали ни животноводства, ни земледелия, но держали *собак* (фин. koira).

В жилищах имелись двери, снабженные *косяками* (венг. félfa). Охотничий образ жизни требует частой перемены мест, поэтому жилища были приспособлены для того, чтобы их легко было установить в любом месте. При непродолжительных вылазках на охоту местом ночлега иногда служили просто вырытые в снегу ямы, дающие защиту от ветра. Существовали и сооружения, более надежно защищавшие от прихотей суровой природы — вероятно, полуземлянки. Об этом свидетельствует наличие слова 'шест чума' (фин. vuoli).

Важную роль в уральский период имела родовая организация, и, судя по количеству терминов родства, велся учет родственных отношений; ср. венг. eme (первоначальное значение — 'мать'), ős (первоначально 'отец'), (házas)fél 'супруг', meny

'невестка, сноха', vő 'зять', nap(a) 'теща, свекровь', rokon 'родственник', а также слова со значениями 'дядя' (фин. setä), 'деверь, шурин' (фин. nato), 'девушка' (фин. neiti).

О том, что уральцы были знакомы со счетом, свидетельствуют числительные 'два' (венг. két), 'пять' (венг. öt; в самодийском, однако, соответствующее слово значит 'десять'!), 'двадцать' (венг. húsz) и глагол 'считать' (венг. olvas). Отсчет времени велся по временам года, дням и времени суток (ср. венг. hol 'утром'). Для ориентировки использовались *луна* (венг. hó) и *звезды* (венг. húgy).

* * *

Материальная культура *финно-угорской эпохи* изменилась по сравнению с уральской эпохой в немногих и, как правило, не в самых существенных отношениях. Таким образом, данная выше характеристика в основном справедлива и для финно-угорской эпохи, с тем отличием, что для демонстрации характерных черт образа жизни в эту эпоху в нашем распоряжении имеется несколько больше этимологического материала.

Лексику рыболовства можно, например, дополнить за счет названий *морды (мешка)* в верше (венг. fal), *запора* для ловли рыбы (венг. vejsze), *поплавка* сети (венг.para), *крючка* (фин. onki) и целого ряда названий рыб (например, венг. őn 'голавль', keszeg 'лещ' и т.д.).

Продолжала играть важную роль и охота. Помимо связанной с ней терминологии уральского происхождения, это подтверждают восходящие к финно-угорской эпохе венгерские слова lő 'стрелять', öl 'убивать', ravasz 'лиса', fajd 'тетерев, глухарь', lúd 'гусь', vocsok 'чомга', nyuszt 'лесная куница', nyest 'куница', а также, возможно, hölgy 'дама' (первоначальное значение — 'горностай').

В венгерском сохранился ряд древних названий пищевых продуктов и блюд: lé 'суп', vaj 'жир', kenyér 'лепешка', háj 'сало', а также meggy 'вишня' (соответствующее прафинно-угорское слово обозначало некую съедобную болотную или лесную ягоду); несколько представленных в венгерском языке слов свидетельствует о той роли, которую продолжали играть лесные и болотные ягоды в питании древних финно-угров. Таким образом, наряду с охотой и рыболовством появляется собирательство, дополнительным подтверждением чему служат названия *пчелы* и *меда* (венг. méh и méz): пчеловодство древней эпохи должно было быть наиболее примитивным. Это было лесное пчеловодство, при котором в пищу шел найденный в дуплах деревьев мед, а на дальнейшую судьбу пчелиного роя внимания не обраща-

лось. Добыча меда таким способом еще не является современным пчеловодством, обеспечивающим сохранение пчелиных семей, а представляет собой одну из разновидностей собирательства.

Появление в финно-угорскую эпоху слов 'дом', 'жилище' (венг. ház, lak) не означало коренных изменений в устройстве жилищ по сравнению с уральской эпохой. Этими словами могли обозначаться прежние примитивные палатки (чумы) облегченной конструкции, покрытые звериными шкурами или берестой, или же деревянные землянки. Об их обстановке информируют венгерские слова ágy 'кровать', ajtó 'дверь': первое из них обозначало постеленные для лежания шкуры, второе — просто входной проем чума или землянки.

Названия *ножа, шила* (венг. kés, ár), глагол vés 'долбить' указывают на расширение набора хозяйственной утвари. Названные орудия по-прежнему изготовлялись в основном из камня и кости и служили для обработки этих же материалов, а также древесины, коры, шкур для изготовления сосудов, одежды и других предметов обихода.

В финно-угорскую эпоху, помимо названия железа, появляются обозначения других металлов, например *золота* и *олова* (венг. arany, ón), однако об использовании этих металлов мало что известно. Слово arany — праиранского происхождения, и это указывает на то, что финно-угры познакомились с золотом через внешнее посредство, как с предметом торгового товарообмена. Определенные формы торговли — в первую очередь так называемый 'немой обмен'[1], существовали уже в ту древнюю эпоху: отрицая это, невозможно объяснить наличие слова 'цена' (венг. ár).

Финно-угры умели считать, о чем свидетельствует финно-угорское происхождение ряда числительных (венг. három '3', négy '4', öt '5', hat '6', száz '100'), ориентироваться в пространстве и во времени (ср. венг. jobb 'правый', bal 'левый'; év 'год', ősz 'осень', tél 'зима', tavasz 'весна', éj 'ночь', haj(nal) 'заря, рассвет').

Вопрос о возможности существования в финно-угорскую эпоху животноводства и земледения вызвал немало споров. Рассмотрим вначале данные, указывающие на наличие животноводства. Некоторые авторы делали вывод о существовании форм оленеводства на основе того, что ряд названий для северных оленей сохранился еще от уральской и финно-угорской эпох. Впрочем, такие названия мало значимы как доказательства: они могли обозначать и различные виды диких оленей. Нет никаких свидетельств того, что эти слова уже в уральскую или

[1] См. описание немого обмена между жителями 'страны темноты' и приезжающими с юга торговцами, которое дает Ибн-Баттута.

финно-угорскую эпоху служили также как названия одомашненных оленей. Именно поэтому сторонники уральского (финно-угорского) происхождения оленеводства обычно ссылаются на такие – почти исключительно саамско-самодийские – лексические параллели, в которых саамское или самодийское соответствие н ы н е является оленеводческим термином. Это, например, слова со значениями 'зимнее пастбище', 'караулить (стадо)', 'запрягать', 'постромка'. Но несмотря на это, возникновение оленеводства нельзя относить к далекому прошлому. Совпадающие результаты этнологических и археологических исследований не оставляют сомнений в том, что оленеводство относится к числу форм животноводства, возникших сравнительно поздно Знакомство с ним нельзя возводить ни к палеолиту, ни к неолиту (финно-угорская эпоха в основном отражает черты неолитической культуры), и древнейшие памятники – петроглифы с берегов Амура, Байкала, Иртыша, Енисея, изображающие сцены выпаса оленей или езды на них, – относятся к бронзовому и железному векам. Правда, изображения оленей на скалах и на стенах пещер сохранились и со времен палеолита, но в этом случае олени представлены еще лишь как объекты охотничьего промысла. Зоологические исследования также говорят в пользу того, что одомашнивание северного оленя произошло поздно· по существу, биологических различий между домашним и диким оленем почти нет, тогда как между дикими и одомашненными формами лошади, собаки, кошки наблюдаются существенные биологические различия. Следует принять во внимание и то, что местами оленеводство сформировалось в определенной мере под влиянием коневодства.

С учетом перечисленных аргументов мы не можем говорить о существовании оленеводства в уральскую или в финно-угорскую эпоху

Дикий олень, однако, был в эти времена хорошо известен, являясь одним из важнейших видов добычи охотников. Таким образом, для него объяснимо наличие целого ряда названий. Одно название применялось к маленькому теленку оленя, другое – к взрослому быку; возможно, использовались даже разные названия в зависимости от окраски или формы рогов. Как же следует в таком случае объяснять происхождение упоминавшихся выше терминов оленеводства? Эти несколько слов не могут служить надежным доказательством наличия оленеводства у финно-угров Дело в том, что *зимнее пастбище* бывает у стад не только домашних, но и диких оленей. Словом 'караулить (стадо)' в эту эпоху, вероятно, обозначались действия охотника, следящего за стадом диких оленей из засады, наблюдающего за их передвижением. Слова же 'запрягать' и 'постромка' употреблялись, очевидно, вне связи с оленями выше уже упомина-

лось знакомство уральцев с санями. Это средство транспорта (название которого сохранилось в фин. ahkio и родственных последнему словах), вероятно, представляло собой выдолбленную из дерева и имеющую форму лодки (то есть не снабженную копыльями и полозьями) нарту-волокушу, какая и сейчас используется некоторыми лесными группами самодийцев при доставке домой добычи. Такую нарту или тащит за собой сам охотник, или запрягает в нее собаку или иногда оленя (однако у саамов этот тип саней модифицировался в ездовую нарту, которую тащит олень). Вероятно, в уральскую эпоху человек вначале сам таскал это сооружение примитивной конструкции, а позднее, судя по всему, выдрессировал для этой цели собаку. Слова 'запрягать', 'постромка' и, возможно, относящееся к этой же сфере уральское название *ремня* (венг. szíj) обозначали лямку для перетаскивания ручной нарты-волокуши и надевание лямки как на становящегося перед нартой человека, так и, вероятно, на собак.

В связи с вопросом о знакомстве с северным оленем и его использовании следует, однако, признать возможным, что древние финно-угры не только охотились на диких оленей, но и применяли их на охоте в качестве так называемых манщиков. Дело в том, что у оленеводческих народов встречается своеобразный способ охоты: охотник приближается к стаду диких оленей под прикрытием домашнего оленя-быка. Приблизившись к стаду, этот бык приходит в возбуждение при виде важенок и издает призывный 'хоркающий' рев. При этом звуке вожак стада диких оленей в приступе бешеной ревности бросается на чужака, за которым прячется охотник. Задача последнего при этом максимально упрощается: дикий олень, обычно далеко обходящий человека стороной, сближается с ним настолько, что охотник в удобный момент без труда убивает его.

Не исключено, что этот способ охоты на диких оленей применялся и в финно-угорскую эпоху или даже еще раньше. Правда, для этого необходимо было изловить молодого дикого быка живым и, вырастив его, хотя бы отчасти его приручить. Иначе говоря, *этот способ охоты знаменует собой первый шаг в одомашнении северного оленя и в становлении оленеводства.* Исключить возможность существования этой ранней стадии эпизодического приручения оленей охотниками в финно-угорскую эпоху мы не можем. Это, однако, не означает того, что уже тогда существовало оленеводство.

Лошадь и крупный рогатый скот в рассматриваемую эпоху были еще неизвестны. Хотя венгерское слово vaj 'масло' и его финское соответствие с аналогичным значением могли бы служить основанием для вывода о наличии скотоводства, однако соответствия в других финно-угорских языках имеют, как

правило, значение 'жир', сохраняя первоначальное понятийное содержание данного слова.

Как свидетельствуют фин. uuhi и его соответствия в обско-угорских языках, финно-уграм была известна овца (венг. juh 'овца' сюда не относится). За отсутствием каких-либо иных доказательств трудно, однако, решить, разводили ли они овец как домашних животных или же только знали об их существовании благодаря другим, животноводческим, народам. Проще решается вопрос о семье слов со значением 'свинья'. Фин. porsas 'поросенок (домашней свиньи)' и его соответствия в мордовском, марийском и пермских языках указывают на датировку слова финно-пермской эпохой. Согласно принятому до сих пор мнению, в эту эпоху оно было заимствовано из праиранского. В последнее время, однако, было высказано предположение о том, что фин. porsas может восходить к одному из древнейших заимствований в финно-угорский праязык. С учетом такого предположения можно допускать, что финно-угры или какая-то их часть познакомились с домашней свиньей благодаря своим соседям-индоевропейцам.

Из домашних животных нужно сказать и о собаке. Собака была известна уже в уральскую эпоху (если венг. fene[1] связано с фин. peni и его соответствиями в других языках, то оно также восходит к древнему названию собаки). Собака — одно из самых первых одомашненных человеком животных, поэтому можно предполагать, что уральское и финно-угорское слово со значением 'собака' обозначало именно Canis familiaris (собаку домашнюю).

Было бы излишним пытаться угадать, когда собака была поставлена на службу человеку, точнее — привлечена к процессу производства — в начале, в середине или в конце уральской или финно-угорской эпох. По данным этнологических исследований, одомашнение собаки явилось порождением хозяйственного уклада, основанного на рыбной ловле и охоте Здесь нужно вновь обратиться к рассматривавшемуся в связи с вопросом об оленеводстве типу лодкообразной ручной нарты-волокуши. Это архаичное транспортное средство, как уже говорилось, использовалось охотником для перевозки снаряжения и добычи. *Первым толчком к использованию собак была, вероятно, мысль о* том, что вместо охотника нарту можно было бы заставить тащить собаку. Таким образом, впервые собака потребовалась для доставки домой рыбацкого улова и охотничьей добычи, и этот способ ее использования был, скорее всего, известен уже в

[1] Употребляется преимущественно в разговорных фразеологизмах типа a fene egye meg ≈'черт его побери!', hová a fenébe ment? ≈'куда его нелегкая понесла?' – *Прим. перев.*

уральскую эпоху. На этой основе впоследствии сформировалось ездовое собаководство, то есть систематическое использование собак в санном транспорте для перевозки легковых и грузовых нарт. Неизвестно, успела ли сформироваться эта более развитая форма собаководства уже в финно-угорскую эпоху. Хотя надежных указаний на применение легковых нарт финно-уграми нет, это можно признать вероятным, равно как и то, что в такие нарты запрягали собак. Право на такое предположение дает нам то обстоятельство, что собаководство значительно древнее оленеводства и некогда было известно во всей субарктической Евразии.

Из сказанного выше можно заключить, что финно-угры еще не стали типично скотоводческим народом. Лингвистические данные позволяют обнаружить только следы зачаточного животноводства — в первую очередь использование собак, а также явлений, создававших предпосылки для дальнейшего развития.

Сходным образом обстоит дело и с проблемой наличия у финно-угров земледелия. По единодушному мнению специалистов, не обнаруживается ни малейших признаков существования земледелия в уральскую эпоху. Что касается финно-угорской эпохи, то по поводу этого периода ученые уже не придерживаются единой точки зрения. Ряд известных исследователей склонен полагать, что в эту эпоху земледелие уже служило важным подспорьем в хозяйственной деятельности финно-угров; другие допускают наличие лишь каких-то сравнительно примитивных форм земледелия.

Неясность в этом вопросе связана с тем, что этимологии, привлекаемые в качестве доказательств древности финно-угорского земледелия, не могут считаться неопровержимыми.

Целесообразно остановиться на словах, вокруг которых идет полемика. Фин. jyvä 'семя, зерно' и родственные ему слова других языков отражают древнее заимствование из праиранского. Это может служить доказательством того, что южные соседи познакомили финно-угров со злаковыми культурами. К финно-угорской эпохе возводимо, быть может, венг. kenyér 'лепешка' (что, впрочем, проблематично), а также не отраженные в венгерском языке названия *муки* (коми ри́ź), *пшеницы* (мар. šädäŋge), а также *каши* (коми rok). Ни одно из них, однако, не дает красноречивых свидетельств в пользу того, что в финно-угорскую эпоху существовало земледелие. Значения в разных языках нередко не совпадают, ср. удмуртское слово keńir со значением 'крупа', которому в венгерском соответствует kenyér. Хантыйское слово, сопоставляемое с марийским названием *пшеницы*, обозначает не только *зерно, хлеб* в широком смысле, но и *крупу*. Эти колебания в значениях самым наглядным образом показывают, что финно-угорская праформа дан-

ных слов служила не названием определенного вида злаков, а лишь общим обозначением любых зерновых продуктов и приготовляемых из них кушаний. Это никак не может свидетельствовать о наличии развитого сельского хозяйства. Ввиду разнообразия значений рассматриваемых слов нельзя, впрочем, быть уверенным и в том, что некогда они обозначали именно пищу из молотого зерна. Эти слова могли относиться не только к продуктам помола культурных растений, но, в частности, и к веществу, добываемому из мучнистых корней и ягод, а также к приготовленным из него (испеченным на углях или сваренным в воде) блюдам, типа так называемого 'черемухового хлеба' у ханты, который замешивается без муки из размельченных ягод черемухи и выпекается в форме булки (подобный 'хлеб', замешанный из ягод и муки, известен и коми). Кроме того, названные слова, или по крайней мере часть из них, могли обозначать рыбную муку, приготовленную из сушеной рыбы. Этот продукт очень популярен у северных народов и может быть назван 'суповым концентратом' северного образца: достаточно засыпать рыбную муку в воду, вскипятить, и суп готов.

Наиболее весомый аргумент против наличия земледелия в финно-угорскую эпоху — указание на заимствованное происхождение названий основных земледельческих орудий и процессов в финно-угорских языках. Среди слов со значениями 'сеять', 'жать', 'серп', 'мотыга' нет ни одного, которое восходило бы к финно-угорскому праязыку.

Таким образом, мы не считаем обоснованным мнение, согласно которому земледелие сформировалось и прочно укоренилось уже в финно-угорскую эпоху. Не исключено, что через своих соседей финно-угры познакомились с какими-то видами зерновых культур, но сами не научились их выращивать. Ввиду этого мы считаем возможным и то, что в конце финно-угорской эпохи, когда начался распад праязыковой общности, отдельные группы финно-угров уже начали осваивать примитивные формы мотыжного земледелия. Однако указанием на это пока что может служить лишь то, что в последовавшую за распадом финно-пермскую эпоху данная отрасль материального производства получает довольно явное развитие и что с середины II тыс. до н.э. наблюдается постепенная трансформация камской и средневолжской культур. которая обусловлена ознакомлением (под влиянием южных соседей) с животноводством и земледелием.

Материальная культура финно-угорской эпохи продолжала, таким образом, характеризоваться охотничье-рыболовецким хозяйственным укладом.

Какова было внутренняя структура общества? Все признаки указываеют на то, что финно-угры жили родовыми общинами, которые создавались на основе кровнородственных связей.

Род играл определяющую роль с точки зрения как индивидуума, так и всего общества. Наилучшим образом это иллюстрирует сохранение на протяжении многих тысячелетий древних слов со значением 'род'. Финно-угорское название рода *kunta, изменив свое звучание и значение, продолжает существовать в венгерском языке и в наше время — это известное всем слово had 'войско; война'. Его первоначальное значение представлено не только в старовенгерском языке, но и в диалектном словоупотреблении, вплоть до новейшего времени: архаичную семантику сохраняет отыменное прилагательное hadas, которое в говорах Надькуншага (область на восточном берегу Тисы в медье Сольнок) и в некоторых других говорах используется для обозначения поселений, в которых обосновались вместе связанные узами родства люди, то есть *родовых* поселений. Древнее название рода в хантыйском языке стало обозначением всего народа (*ханты*), а в финском деградировало до уровня суффикса собирательных имен: ср. perhe 'семья' — perhe-kunta 'вся семья в целом', maa 'земля' — maakunta 'провинция' и т.д.

Род являлся формой социальной организации, создававшей из индивидуумов общину. В условиях первобытных производственных отношений род обеспечивал индивидууму средства существования. Трудовая деятельность — точнее, ее основная, производительная часть, то есть рыболовство и охота, — велась преимущественно коллективно, родовыми группами. Вследствие этого добыча также становилась общей собственностью рода. Подобная организация труда делала необходимым наличие руководителя, вождя. В обязанности такого руководителя входило: организация рыбной ловли и охоты, распределение добычи, представительство от имени и в интересах рода (например, при обмене товарами), и т.д.

В связи с родовой социальной организацией может быть поставлен вопрос, что это была за организация — патриархат или матриархат, то есть как велся учет родственных связей между членами рода — по отцовской или по материнской линии. Дать ответ на этот вопрос финно-угорское языкознание не может. Для тех финно-угорских народов, у которых в той или иной степени сохранился родовой строй, характерна патриархальная форма родовой организации. Однако наряду с этим в социальной жизни ряда финно-угорских народов сохранены такие черты, которые оцениваются некоторыми исследователями как реликты матрилинейного отсчета родства. К ним относится, например, тот факт, что предок рода (обычно зооморфный) обычно почитается в качестве праматери, или тот факт, что в женском облике часто выступают главнейшие, высшего порядка духи и божества из пантеонов финно-угорских народов. Однако в этнологической литературе последнего времени выска-

зываются серьезные сомнения относительно возможности делать выводы о существовании матриархата на основании только этих фактов.

Сколько бы ни было данных о существовании еще в историческую эпоху следов матрилинейного отсчета родства у финно-угорских народов, на их основании еще нельзя установить, по какой линии – отцовской или материнской – велся учет кровного родства членов рода в финно-угорскую эпоху.

При рассмотрении явлений, связанных с устройством финно-угорского общества, нельзя не осветить данные или хотя бы предположения о религиозных представлениях и религиозных культах этого общества.

Религиозные представления возникли одновременно с человеческим обществом. Первобытный человек намного больше зависел от сил природы, был более подвержен капризам погоды и стихийным бедствиям, чем последующие поколения. Объяснения непонятных для него явлений он находил в приписывании вмешательства существ высшего порядка. Почитание таких существ, которые воплощались в отдельных явлениях природы или в отдельных предметах, имело место и в эпохи уральского и финно-угорского праязыков. Кроме того, для родового общества характерно суеверное почитание предков, которое, по всей вероятности, наличествовало и у финно-угров. Конкретные доказательства этого можно обнаружить при рассмотрении нескольких венгерских слов. Hagymáz 'тиф' представляет собой очень древнее, синхронно неразложимое словосложение, оба компонента которого имеют финно-угорское происхождение. Первый компонент (hagy) мог значить 'злой дух': его соответствие в мансийском языке χūl′-ōter (ōter – 'князь') обозначает властелина нижнего мира, а значение связанного с ними фин. koljo – 'великан'. (Вторым компонентом является ныне также вышедшее из самостоятельного употребления слово máz ~ mász 'беда, болезнь'.) Таким образом, венг. hagy и его соответствия обозначали понятие из сферы верований, которое указывает на наличие анимистических персонификаций объектов и явлений природы. Об этом же свидетельствует и венг. lélek 'душа'. С другой стороны, венг. révül 'приходить в экстаз, быть в трансе' – возможно, это слово восходит к уральской эпохе – указывает на ту форму анимизма, которую принято называть шаманизмом. У шаманистических народов практикуется принесение жертв для предотвращения несчастий и стихийных бедствий, для излечивания болезней. Неотъемлемым элементом подобных обрядов является состояние экстаза, прострации, в которое впадает шаман и благодаря которому он может выступать 'посредником' между миром духов и людьми.

Хотя шаманизм, сохранявшийся у некоторых финно-угорс-

ких народов до начала нашего столетия и даже дольше, нельзя признать непосредственным продолжением религии финно-угорской эпохи – нельзя забывать, что в этом отношении разных финно-угорских народов коснулись различные влияния более позднего времени, – однако, в свете приведенных этимологий, все же представляется вероятным, что уже в финно-угорскую или даже в уральскую эпоху существовала какая-то первичная, сравнительно простая форма шаманизма, основанная в первую очередь на почитании предков и вообще умерших и на суеверном культе явлений природы. Следует предполагать, что уже в это время началось обособление служителей культа, шаманов от остальных членов рода. На это, во всяком случае, указывает фин. noita 'колдун' и родственные слова в других языках.

Картина жизни уральского и финно-угорского общества, которая предстает перед нами в первую очередь на основе анализа этимологически общей лексики, далеко не полна. К сожалению, как структура, так и лексика праязыка известны лишь фрагментарно, поэтому удается воссоздать лишь мозаику жизни далеких предков. Но, во всяком случае, из этих кусочков мозаики вырисовываются общие контуры пока еще неразборчивого в своих деталях снимка, благодаря которому удается выяснить многие черты жизненного уклада многотысячелетней давности.

Обзор, касающийся уральского и финно-угорского общества, станет более полным, если попытаться ответить на вопрос о том, было ли это общество, сравнительно единое в отношении языка, однородным и антропологически.

Результаты палеоантропологии пока не позволяют установить расовую характеристику древних уральцев, поэтому к поставленному вопросу следует подойти, исходя из данных об антропологическом облике современных уральских народов.

У финно-угорских и самодийских народов нет единообразия с точки зрения антропологической типизации. При простом сравнении фотографий типичного манси, коми, мордвина, марийца, финна, саама, венгра можно установить антропологические различия между ними даже нетренированным глазом.

Эти различия поддаются научной систематизации на основе выводов и обобщений, сделанных по данным тысяч измерений.

Морфолого-типологический анализ представленных у отдельных народов сочетаний признаков показывает, что в современной уральской этнической среде выявляются три таких типа, которые обнаруживаются не внутри только одного народа, но в целом ряде групп финно-угорских и самодийских народов.

Первый из них – *уральский* тип (он именуется также европейско-сибиреоидным или угорским). Его характерные признаки (по П. Липтаку и Н. Н. Чебоксарову): мезокефальная форма

головы[1], тонкие прямые волосы черного или темно-каштанового цвета, кожа менее смуглая, чем у монголоидов, глаза карие или темные, растительность на лице редкая или средняя, лицо умеренно широкое, нос умеренно выступающий, спинка носа вогнутая или прямая, уплощенность лица умеренная, скуловая кость не очень широкая, монголоидная складка века встречается редко[2], губы тонкие или умеренно пухлые, рост небольшой или ниже среднего.

Уральский тип сформировался за счет смешения европеоидных и монголоидных элементов и, таким образом, занимает промежуточное положение между этими двумя большими расами.

Наиболее часто уральский тип встречается среди обских угров и, с определенными модификациями, среди самодийцев, однако некоторые его черты наблюдаются и в антропологическом облике пермских народов и марийцев, различных тюркских народов Сибири, а также чувашей и башкиров.

С точки зрения праистории венгров, весьма показателен тот факт, что, по данным изучения костных останков из захоронений эпохи расселения венгров на современной территории (П. Липтак), среди антропологических компонентов древневенгерского этноса уральский тип с частотой встречаемости 21% уступает только туранскому (48%).

Среди финно-угров распространен *беломорско-балтийский* (восточнобалтийский, восточноевропеоидный) тип чисто европеоидного характера. Его представители в основном умеренно брахикефальны, с прямыми или слегка волнистыми белокурыми волосами, светлой окраской кожи и глаз, умеренно густой растительностью на лице, умеренно высокой переносицей; спинка носа вогнутая или прямая, рост средний или ниже среднего.

Этот тип обычен для прибалтийско-финских, волжских финно-угорских и пермских народов, однако он присущ и антропологическому облику латышей, литовцев, северных великороссов, поляков По данным последних исследований, доля этого типа среди венгров эпохи расселения венгров на современной

[1] Форма головы играет важную роль в определении антропологических типов. Выражается она в так называемом черепном указателе, то есть в числе, указывающем на соотношение длины и ширины головы. Он равен максимальной ширине головы, умноженной на 100 и деленной на максимальную длину головы. На основании высчитываемых таким способом чисел выделяются три основные категории если черепной указатель меньше 76, форма головы считается долихокефальной (удлиненной), если он составляет от 76 до 81 – мезокефальной (средней), если же он превышает 81 – брахикефальной (укороченной).

[2] Монголоидной складкой (эпикантусом) называется складка, идущая от слезного уголка глаза и прикрывающая верхнее веко, что создает впечатление специфического монголоидного "косоглазия".

территории не так велика, как предполагалось ранее; напротив, у современных венгров он представлен достаточно широко.

Третий, относительно редкий среди финно-угров тип — *атлантическо-черноморский* (атланто-понтийский). Он характеризуется наличием сравнительно темных и отчасти волнистых волос, довольно густой растительности на лице, глаз темного или темноватого цвета, продолговатого лица, высокой переносицы, прямого или с небольшой горбинкой носа. Подобные признаки в сочетании с мезокефальностью или умеренной брахикефальностью встречаются у некоторые групп коми-пермяков, удмуртов и мокша-мордвинов, а также среди южных манси. Аналогичный тип наблюдается у некоторых тюркских, балканских, кавказских народов.

Наряду с перечисленными типами необходимо упомянуть и характерный для саамов лапоноидный тип, который в Приуралье представлен урало-лапоноидным вариантом смешанного характера.

Все эти типы сформировались в результате длительного исторического развития, частых и продолжительных процессов смешения, и нельзя предполагать, что какой-либо из них отождествим с антропологическим типом древних финно-угров.

Можно, однако, не сомневаться, что атлантическо-черноморский расовый тип проник в финно-угорскую среду через посредство южных народов — как можно предполагать, иранских или тюркских. Беломорско-балтийский тип характерен для большей части финно-угров — можно сказать, почти для всей финно-пермской ветви — тогда как восточные уральцы (обские угры, самодийцы, отчасти древние венгры) являются представителями уральского или близких ему расовых типов. Исходя из этого, продолжением антропологического типа, характерного для прафинно-угорского этноса, признается одними авторами уральский, а другими — беломорско-балтийский тип.

Вопрос об антропологическом составе финно-угров не может быть, однако, решен столь простым способом. Представляется вероятным, что нет необходимости искать какой-либо древний расовый прототип финно-угров: по мнению большинства антропологов, каждый народ уже на ранних этапах своего развития складывается из расово неоднородных компонентов. По-видимому, население уральской и финно-угорской эпох также обладало более или менее смешанными антропологическими особенностями, имевшими вначале, вероятно, только европеоидный, а позднее европеоидный и европеоидно-монголоидный характер. От древнейшей европеоидной основы развитие пошло впоследствии в различных направлениях. Восточная ветвь уральских народов, то есть предки угров и самодийцев, испытали интенсивное и неоднократно возобновлявшееся воз-

действие монголоидов, что уже в глубокой древности, — возможно, еще до распада финно-угорской общности — привело к началу формирования уральского типа.

Западной ветви финно-угров воздействие монголоидов уже не коснулось или коснулось лишь позднее и в малой мере; при дальнейшем продвижении этой ветви на запад новые процессы смешения повлекли за собой обогащение расовыми компонентами прибалтийского происхождения, и смешение различных европеоидных компонентов создало характерный для финно-пермских народов беломорско-балтийский тип.

Проследить все эти сложные процессы смешения трудно, и нет сомнения, что с помощью одних только антропологических аргументов родство финно-угорских народов никогда бы не удалось доказать.

Таким образом, сколь вероятным бы ни представлялось то, что общество, пользовавшееся единым финно-угорским праязыком, представляло собой единую и реальную этническую общность, относительно антропологических расовых признаков этой общности можно сделать только один вывод, причем весьма общего характера, а именно, что первоначально финно-угры могли быть европеоидами. Разумеется, это предположение нуждается в подтверждениях на основе нового, надежного палеоантропологического материала.

Угорская эпоха

Распад финно-угорской общности привел к обособлению в языковом отношении двух больших групп финно-угров; возникли угорский праязык — предок венгерского, мансийского и хантыйского — и финно-пермский праязык — предок остальных финно-угорских языков.

Языковое обособление в данном случае сопутствовало, вероятно, географическим передислокациям. Финно-пермская ветвь оттянулась дальше на запад, угры же вначале, возможно, остались на своей западносибирской прародине, а несколько позднее поселились в расположенных южнее районах и вступили в более оживленные, чем прежде, сношения со своими южными соседями, которые сыграли значительную роль в переходе угров к ведению производящего хозяйства. Все это происходило на фоне климатических изменений: в начале II тыс. до н.э. на смену влажному климату приходит относительно сухой и теплый, вследствие чего южная часть тайги преобразуется в лесостепь, иначе говоря, граница степи сдвигается на север (и доходит до рек бассейна Среднего Иртыша). Изменение природных условий и интенсификация связей с южными соседями (праиранцами)

привели к коренным преобразованиям в жизни угров. Переход от хозяйства, основанного на потреблении природных ресурсов, к производящему хозяйству мог осуществляться только благодаря южным соседям: животноводству и земледелию угры научились у них. По археологическим данным, в первой половине II тыс. до н.э. производящие отрасли хозяйства уже доминируют над охотой и рыболовством. В основном древние угры занимались разведением лошадей, крупного рогатого скота, овец.

Свидетельством существования коневодства у угров является в первую очередь наличие общих названий *лошади* (венг. ló, манс. lū, хант. law), *седла* (венг. nyereg, манс. ne̯wrä, хант. no̯yer), *узды* (венг. fék, хант. pek) и, возможно, *кнута* (венг. ostor, манс. ōšter). Следует добавить, что и венг. kengyel 'стремя' возникло в правенгерскую эпоху, непосредственно последовавшую за угорской. Сейчас оно воспринимается как неразложимая основа, но сравнительно-исторический анализ показывает, что перед нами затемненное словосложение, первый компонент которого (kengy-) не сохранен венгерским языком, но представлен в обско-угорских языках в значении 'обувь (из оленьих шкур)' (манс. kēńś, хант. kenč). Второй же компонент словосложения представляет собой не что иное, как венг. al 'нижняя часть чего-л.' с переходом гласного в передний ряд под влиянием вокализма первого компонента; таким образом, значение словосложения – 'то, что находится под обувью'; как название важной принадлежности коневодства оно служит ценным свидетельством, рассказывающим о культуре далеких предков венгерского народа. К наследию угорского коневодства можно отнести и такие венгерские идиомы, как másodfű ló 'лошадь-двухлетка', букв. 'лошадь второй травы' (то есть 'лошадь, пасшаяся на двух травах'), harmadfű ló 'лошадь-трехлетка', букв. 'лошадь третьей травы', поскольку этот же принцип обозначения лошадей по возрасту используется и в мансийском языке: kit pum lū 'двух трав лошадь'.

Наряду с аргументами лингвистического характера следует упомянуть и то, что венгры появляются на исторической сцене как народ коневодов, и истоки этого восходят к угорской эпохе. О том же свидетельствует и исключительно важная роль лошади в народных традициях обских угров. В поэтическом фольклоре этих народов верховные божества (например, Мир-Суснэ-Хум 'Следящий за миром', Полум-Торум 'Бог-хозяин Пелыма', Ас-Талех-Ойка 'Старик-хозяин верховий Оби') в основном изображаются как всадники; в песнях поется и об огромных табунах Небесного бога Нуми-Торума. Манси и ханты практиковали и принесение в жертву лошадей как наиболее ценимую божествами форму жертвоприношений.

Важный реликт коневодства угорской эпохи выявляется и средствами сравнительной этнографии. До начала нашего века обские угры продолжали пользоваться древним охотничьим оружием – луком Стрелы для лука носили в колчанах, причем колчанов было два типа. Один из них – овальной формы мешок, крепившийся за спиной двумя ремнями. Эта форма колчана, характерная для обитателей северной тайги (самодийцев, кетов, юкагиров, чукчеи и других народностей), распространилась среди обских угров сравнительно поздно, после расселения их в северных районах. Наряду с ней сохранился и другой тип колчана, которым обычно пользуются коневодческие народы – ромбовидный колчан, крепящийся на поясе. Носить колчан на поясе естественно для всадника, но не для таежного охотника: прицепленный к поясу колчан мешает движению при ходьбе как пешком, так и на лыжах. Следовательно, носимый на поясе колчан у обских угров – след глубокой древности, после утраты коневодства все активнеее вытеснявшийся из употребления более удобным для пешего охотника заплечным колчаном Не исключено поэтому, что угорская праформа, к которой восходит венгерское (tegez) и обско-угорские названия колчана, обозначала крепившийся на поясе колчан, существование которого подтверждают и археологические находки из Камско-Уральского и более восточных регионов, относящихся ко времени до н.э.

Археология позволяет сделать и другие поучительные выводы касательно образа жизни древних угров Пограничные со степью районы восточного Приуралья были очень удобны для развития скотоводства Здесь в изобилии водились дикие лошади; не слишком далеко отсюда находится и центр одомашнения лошади Анау (Средняя Азия)*. В рассматриваемую эпоху на территории, предположительно занятой уграми, появляются погребения лошадей; попадаются при раскопках и костяные детали упряжи. В то же время этот ареал был и одним из центров одомашнения крупного рогатого скота, и среди раскопанных костей животных наряду с лошадиными и овечьими встречается много костей быков и коров. О знакомстве с какой-то формой земледелия свидетельствуют находки серпов, жерновов и остатков пшеничных зерен.

* Вопрос о месте возникновения домашнего коневодства сейчас решается разными специалистами по-разному. Некоторые принимают восточную теорию происхождения, другие – причерноморскую, третьи стоят за полицентризм и т.д. Однако выдвинутая гипотеза о давнем одомашнивании лошади в Южной Туркмении, о чем писал в свое время Дюрет, ошибочно принявший за кости домашней лошади кости онагров, обнаруженные при раскопках экспедиции Пампелли на холме Анау, была полностью отвергнута – *Прим. П. М. Кожина*

В свете сказанного вызывает удивление тот факт, что до сего времени удалось выявить сравнительно немного языковых следов угорско-праиранских культурно-исторических связей.

Известно, правда, что заимствованиями угорской эпохи из праиранского являются венг. hét 'семь' и, возможно, обско-угорские названия *тысячи*, венг. arany 'золото' и его обско-угорские соответствия, имеющие значение 'медь', венг. szög 'гвоздь' и ostor 'кнут', возможно, также венг. ősző 'телка' и szekér 'телега'. Разумеется, и в венгерском, и в мансийском и хантыйском языках имеются и более поздние (отчасти древне-, отчасти среднеиранские) заимствования, однако их число также невелико. Весьма возможно, впрочем, что это противоречие обусловлено недостаточностью сведений об иранских языках и диалектах, контактировавших с угорским праязыком и его потомками, равно как и тем, что четырехтысячелетний разрыв во времени сильно затрудняет согласование гипотез относительно древних, неизвестных нам языков с современными языковыми данными.

Был поднят и вопрос о возможных праугорско-тюркских контактах (в связи с этимологиями венг. hattyú 'лебедь', hód 'бобр', szó 'слово'), однако эта проблема еще не решена. Следует учитывать и то, что угры находились в сношениях с определенными родственными им этническими группами: особенно часто в последние десятилетия предметом исследования становились следы взаимосвязей угорской и пермской групп.

Иногда значимость угорско-пермских языковых параллелей преувеличивалась, однако несомненно наличие ряда интересных совпадений, особенно между венгерским и пермскими языками: так, суффикс инфинитива -ni, архаичные словосложения типа ezüst 'серебро' и harminc 'тридцать' находят точные соответствия в пермских языках, которые не могут быть возведены к финно-угорскому праязыку, но получают объяснение как образовавшиеся при вторичных контактах двух языковых групп.

Это предположение также получает поддержку у археологов. Зауральская, приписываемая уграм, техника бронзового литья, также освоенная через посредство южных соседей, за короткое время достигла расцвета. В недавнем прошлом на территории Омской области был обнаружен важный центр производства бронзы и найдены образцы литья, использовавшиеся при изготовлении художественно оформленных изделий из бронзы (топоров, наконечников копий, ножей), которые доставлялись оттуда даже в Волго-Камье. В Волго-Камье давно известны датируемые серединой II тыс. до н.э. турбинско-сейминские металлические изделия, которым и ранее приписывалось не местное, а зауральское происхождение. Место их изготовления стало из-

вестно после обнаружения упомянутых западносибирских образцов литья. Следовательно, археологические данные также доказывают наличие угорско-пермских связей, то есть то, что находившиеся по разные стороны от Уральских гор группы финно-угров и после обособления поддерживали друг с другом оживленные торговые связи*. Некоторые орудия труда снабжают нас и другой информацией: на рукоятках отдельных ножей изображена взнузданная лошадь, что надежно характеризует образ жизни и хозяйственный уклад тех, кто изготовлял такие ножи.

Обособление угров от остальных финно-угорских групп началось в конце III тыс. до н.э. В последующий период в приобретшем самостоятельность угорском праязыке произошли изменения, не зафиксированные в других финно-угорских языках. Эти изменения проявились частично в определенной модификации фонетической системы, частично в обогащении грамматики и в возникновении новых формантов, и не в последнюю очередь в появлении слов, наличествующих только в трех угорских языках

Примечательно, тем не менее, что число собственно праугорских изменений и инноваций невелико без учета относительно многочисленных лексических параллелей они исчерпываются одним-двумя общими процессами фонетического развития, тремя окончаниями общего происхождения и одним-двумя общеугорскими словообразовательными суффиксами.

Чем же можно объяснить относительно небольшое количество общеугорских языковых особенностей? Безусловно не тем, что угорское единство было непродолжительным конец угорской эпохи принято относить к первой половине I тыс. до н э., а это означает, что языковая общность предков угорских народов сохранялась по меньшей мере полтора тысячелетия. Хотя периодизация праистории финно-угров и особенно датировка отдельных эпох еще может быть пересмотрена, сама по себе редкость общеугорских языковых особенностей не дает оснований предполагать, что угорская эпоха длилась не так долго, как принято считать. Ключ к решению надлежит искать скорее в формах существования языковой общности. Представляется вероятным, что взаимосвязи отдельных групп угров были довольно слабыми. Можно даже предполагать, что угры уже на очень раннем этапе разделились на две все более и более обособлявшиеся друг от друга ветви: южную, в которой можно усматривать предков венгров, и северную, состоявшую из предков современных об-

* Весь комплекс сейминско-турбинских бронз и могильники, в которых они обнаружены, указывают на южные связи оставившего их населения, поэтому привязка этих бронз, да и культуры в целом, к уралоязычным группам более чем проблематична. – *Прим. П. М. Кожина.*

ско-угорских народов. О связях между двумя ветвями угров свидетельствуют общие языковые особенности, однако из количества таковых можно заключить, что эти связи не были прочными и постоянными.

Из древнеугорских групп – не непосредственно, а путем сложных и длительных процессов смешения, – сформировались современные угорские народы.

Ранее причина распада угорской общности на две части связывалась с появлением иноэтнического населения. Однако в исследованиях последнего времени дифференциация угров объясняется причинами экономического характера, связанными с климатическим оптимумом. На рубеже II и I тыс. до н.э. признаки сухого суббореального периода усиливаются. Вследствие значительного потепления и аридизации граница тайги с лесостепью сдвигается примерно на 300 км к северу, и область расселения угров становится засушливой полупустыней, непригодной для ведения животноводческо-земледельческого хозяйства. Население встало перед выбором одной из двух возможностей: или сохранить прежний комплексный экономический уклад и переселиться севернее, в оставшиеся пригодными для земледелия лесостепные районы (так поступили предки обских угров, переселившиеся в районы нижнего течения Оби), или же изменить способ ведения хозяйства в соответствии с новыми внешними условиями и перейти к выпасному, кочевому животноводству. Предки венгров, отделяясь от прочих угров, избрали последнее решение; параллельно с этим земледелие отодвинулось у них на второй план. Так правенгры стали народом степных кочевников-коневодов. Образ жизни, сопряженный с постоянными кочевьями, оборвал их связи с родственными по языку народами; они усвоили кочевой уклад других народов степи. Несколькими столетиями позже – начиная с VII в. до н.э. – сухой и теплый период сменился прохладным и влажным субатлантическим климатом, под влиянием которого тайга смогла вновь достичь своих прежних южных границ и оттеснить степь. В эту эпоху правенгры откочевывают на юг, а затем в Европу, на территорию современной Башкирии. Тогда же (приблизительно в начале н.э.) наряду с выпасным животноводством растущее значение приобретает и земледелие (с III–V вв. н.э. уже существовало пахотное земледелие: этим временем датируется самый ранний сошник, обнаруженный в Прикамье). Как можно предполагать, именно на территории Башкирии впервые устанавливаются прочные и продолжительные связи правенгров с тюрками. Развернувшиеся в V в. н.э. массовые переселения народов увлекают правенгров, уже тесно связанных с племенным союзом полукочевых тюркских народов, в южнорусские травянистые степи, а оттуда еще дальше на запад. В ходе этих миграций, после дли-

тельных контактов с тюркскими и другими (ираноязычными) народами, формируется система венгерского языка, с определенными изменениями сохранившаяся до наших дней.

Другая часть угров, которая в интересах сохранения комплексной земледельческо-животноводческой экономики в период климатического оптимума переселилась в среднее и нижнее течение Оби, с установлением нового, влажного и дождливого климата неожиданно оказалась целиком в таежной зоне. Этот поворот в жизни предков обских угров придал новое направление их развитию. Некоторые группы обских угров просочились в районы к западу от Уральских гор или расселились на севере, в зоне тундры, смешавшись с тамошним охотническо-рыболовецким населением, языковая принадлежность которого не поддается установлению. Это смешение означало одновременно отказ от прежнего хозяйственного уклада и возврат к непроизводящей экономике, и таким образом заимствование материальной культуры арктического типа. В языковом же отношении местное монголоидное население было ассимилировано уграми. Результаты смешения двух различных этносов отражены в антропологическом характере манси и ханты и в типичной для них северной, субарктической материальной культуре. Смешение двух этносов завершилось победой финно-угорского языкового типа, утратой языка и важнейших этнических признаков западносибирских охотников.

Этот определяющий момент этногенеза обских угров отражен в распределении мансийских и хантыйских родов по двум большим фратриям. У обеих обско-угорских народностей обнаруживается группировка родов в две фратрии (то есть в два крупных объединения, основанных на кровном родстве), внутри которых род представляет собой лишь мелкое подразделение.

У манси и ханты чуть ли не до наших дней сохранилось традиционное членение родов на фратрии, именуемые рог и mə̄šʼ. Исследователи, занимавшиеся этнографией манси, отмечают своеобразие взаимоотношений между членами этих двух фратрий. Члены фратрии mə̄šʼ смотрят на представителей рог с пренебрежением

В мансийском фольклоре название mə̄šʼ является атрибутом положительных персонажей, олицетворяющих более высокий культурный уровень, а название рог — как правило, атрибутом злокозненных мифических существ. Предком фратрии mə̄šʼ считается верховное божество Numi-Tə̄rem, тогда как происхождение рог ведется от демона (дьявола) mə̄ŋkw. Традиционным для рог является культ медведя, а для mə̄šʼ — культ лошади.

Если к сказанному выше добавить, что название фратрии mə̄šʼ восходит к более древней форме mańšʼ, связанной, с одной стороны, с этнонимом *манси*, а с другой стороны — с первым

компонентом этнонима *мадьяр* (magy-), то роль фратрий рог и mŏš́ в этногенезе обских угров становится совершенно ясна. Если мы исходим из предположения о происхождении современных обских угров из слияния двух этнических компонентов, угорского и неугорского, то реликты смешавшихся друг с другом этносов можно обнаружить в современных фратриальных группах. Не без оснований можно считать, что название mŏš́ указывает на исходные родовые группы угорского происхождения, а название рог — на слившихся с ними западносибирских аборигенов-охотников.

История финно-пермской ветви

Та часть финно-угров, которая после отделения угров сместилась к западу, положила начало финно-пермской ветви (название которой дано по двум наиболее далеким друг от друга ее представителям).

Воссоздать исчерпывающую картину финно-пермской эпохи также не удается, поскольку необходимые для этого исторические источники по-прежнему отсутствуют. Можно, во всяком случае, предполагать, что западная и восточная границы территории, заселенной древними финно-пермцами, находились на значительном расстоянии друг от друга, но что центральную часть этой территории следует все-таки искать прежде всего в той части Поволжья, которая расположена между устьями Оки и Камы.

Наследием финно-пермской эпохи следует считать те языковые инновации, которые отделяют финно-пермские языки от угорских. Исследования показывают, что в период существования финно-пермского праязыка также начала расширяться система обстоятельственных окончаний, что доказывается наличием этимологически общих вторичных окончаний этого рода в финском, саамском, мордовском, марийском и пермских языках. Обогатилась лексика, причем новые ее элементы служат важнейшим свидетельством того, что в финно-пермскую эпоху общество уже вступило на более высокую ступень своего развития: наряду с охотой и рыболовством получили, вероятно, широкое распространение мотыжное земледелие и животноводство. В последующие столетия новые способы производства выдвинулись на первый план в ущерб охоте и рыболовству. В этом, очевидно, известную роль сыграли иранские народы, жившие в соседстве с финно-пермцами и знакомые с земледелием и животноводством. Несомненно, впрочем, что возникновение терминологии земледелия и животноводства не означает, что эти две формы ведения хозяйства сразу получили равное распространение среди всех групп финно-пермской ветви: финно-пермская

эпоха длилась относительно недолго, население же было рассеяно по значительной территории. Разрыв языковых связей внутри финно-пермской ветви принято относить к середине II тыс. до н.э.: около 1500 г. до н.э. эта часть финно-угров, до того единая, разделяется на две ветви — пермскую и финно-волжскую. При этом великий историограф V в. до н.э. Геродот пишет о будинах, которых принято считать представителями пермской ветви, следующее: "Будины — большое и многочисленное племя; у всех светло-голубые глаза и рыжие волосы. В их земле находится деревянный город под названием Гелон. Каждая сторона городской стены длиной в 30 стадий[1]. Городская стена высокая и вся деревянная. Из дерева построены также дома и святилища. Ибо там есть святилища эллинских богов со статуями, алтарями и храмовыми зданиями из дерева, сооруженными по эллинскому образцу. Каждые два года будины справляют празднество в честь Диониса и приходят в вакхическое исступление. Жители Гелона издревле были эллинами. После изгнания из торговых поселений они осели среди будинов. Говорят они частично на скифском языке, а частично на эллинском. Однако у будинов другой язык, чем у гелонов, образ жизни их также иной. Будины — коренные жители страны — кочевники. Это единственная народность, которая питается сосновыми шишками в этой стране. Гелоны же, напротив, занимаются земледелием, садоводством и едят хлеб. По внешнему виду и цвету кожи они вовсе не похожи на будинов. Впрочем, эллины и будинов зовут гелонами, хотя и неправильно. Вся земля их покрыта густыми лесами разной породы. Среди лесной чащи находится огромное озеро, окруженное болотами и зарослями тростника. В этом озере ловят выдру, бобров и других зверей с четырехугольной мордой. Мехом этих зверей будины оторачивают свои шубы, а яички бобров применяют как лечебное средство против болезней матки"[2].

Если правы те, кто отождествляет будинов Геродота с пермцами, то это описание оказывается поучительным в ряде отношений. С одной стороны, находит историческое подтверждение вывод о том, что среди финно-угорских групп или вместе с ними жили иноязычные народы (например, иранцы — скифы Геродота). С другой стороны, приведенное описание указывает на то, что изменения в хозяйственных устоях требовали долгого времени: у будинов-пермцев охоте все еще принадлежала важная роль, хотя уже тогда существовал слой пермской лексики, свидетельствующий о знакомстве с земледелием и животновод-

[1] Около 5,5 км (1 стадия ≈185 м.).

[2] Геродот. История в девяти книгах. Перевод и примечания Г. А. Стратановского, "Наука". Л., 1972, с. 214.

ством. Разрешить это противоречие можно лишь признанием того, что навыки более развитых форм производства – земледелия и животноводства – начали усваиваться еще в финно-пермскую эпоху, однако универсальное распространение у всех финно-пермских этнических групп они получили лишь впоследствии. Этот процесс стимулировался ознакомлением с различными видами зерновых культур и домашних животных, которые вначале попадали к населению, занятому добычей пушнины и рыбы, путем обмена, через посредство соседей, находившихся на более высокой ступени развития. Позднее стали распространяться и новые производственные навыки. Степень и интенсивность их распространения зависели от ряда факторов, и весь процесс осуществлялся географически неравномерно.

Таким образом, в середине II тыс. до н.э. уже существовало два новых, обособившихся друг от друга подразделения западных финно-угров, из которых пермская ветвь располагалась, вероятно, восточнее – это следует и из географической локализации современных пермских языков. Ее предположительной прародиной были районы к северу и северо-востоку от излучины Волги, в нижнем и среднем течении Вятки и Камы. Помимо появления в языке признаков знакомства с земледелием и животноводством, для эпохи существования пермского праязыка характерны и другие важные языковые изменения. За примерно двухтысячелетний период существования пермской языковой общности лексика и грамматическая система праязыка приобрели характерные особенности, благодаря которым близкое родство современных коми и удмуртского языков может быть легко замечено даже неспециалистом. Важнейшим событием этой эпохи явилось то, что с образованием в VII–VIII вв. государства волжских булгар южная часть пермцев попала под влияние чувашеязычного населения этого государства. Следы этого влияния обнаруживаются главным образом в многочисленных чувашских заимствованиях в удмуртском языке; на коми языке оно сказалось в меньшей степени. Это обстоятельство заставляет предполагать, что шедшее с юга чувашское влияние коснулось в первую очередь южного диалекта пермского праязыка, потомком которого является удмуртский язык; северный же диалект пермского праязыка, легший в основу коми языка, был затронут меньше. С точки зрения дальнейшего членения пермского праязыка на этот факт следует обратить внимание. Чувашское влияние, испытанное в конце прапермской эпохи, коснулось народа, между северной и южной частями которого уже тогда начали ослабляться объединявшие их языковые и социальные связи. С учетом этого и ряда других обстоятельств разделение двух пермских языков принято датировать примерно IX веком.

В отличие от прапермской эпохи период существования

финно-волжского праязыка был непродолжительным. Уже в течение I тыс. до н.э. произошло разделение предков прибалтийских финнов, саамов, мордвы и марийцев. Лексика, восходящая к финно-волжской эпохе, свидетельствует о знакомстве с земледелием и животноводством и о наметившемся социальном членении общества. В подтверждение можно сослаться на слова со значениями 'прясть', 'молоть', 'пахать', 'полоть', 'ступа', 'пшеница', 'корова', 'свинья', 'раб'. На расширение торгово-экономических связей указывает слово со значением 'платить', на общее развитие материальной культуры — 'порог' и другие слова.

В финно-волжских языках видны следы установленных ранее и продолжавших сохраняться связей с иранцами, свидетельствующие о непрерывности контактов. К концу этого и к началу следующего периода относится и установление контактов с балтийскими народами (предками литовцев, латышей и ныне исчезнувших древних пруссов). Эти контакты сохранились, однако, и после отделения друг от друга прибалтийско-финских и волжских (мордовского и марийского) языков, поскольку в последних — главным образом в мордовском — обнаруживаются такие слова балтийского происхождения, которые не представлены в прибалтийско-финских языках.

Финно-волжская общность существовала недолго, и связи составлявших ее этнических групп были, вероятно, довольно слабыми. Объясняется это, в частности, размерами занятой ими территории: предки прибалтийских финнов в эту эпоху уже достигали Прибалтики, тогда как предки волжских финно-угров, мордвы и марийцев не продвинулись так далеко на запад, а могли заселять районы, расположенные вблизи правобережья Волги, несколько западнее областей современного расселения. Между двумя современными волжскими финно-угорскими языками — марийским и мордовским — нет такого количества общих черт, как, например, между двумя пермскими языками. В то же время мордовский язык обнаруживает более тесные связи с прибалтийско-финскими языками, чем марийский. Из этого естественно заключить, что связи между волжскими языками после распада финно-волжской общности были недостаточно прочны и что предки мордвы занимали западные, более близкие к прибалтийским финнам, а предки марийцев — более восточные районы.

К этому же выводу приводит и изучение чувашских заимствований в волжских языках. Число их в марийском языке значительно, в мордовском же намного меньше, и можно предполагать, что чувашское влияние коснулось этих двух языков уже после их обособления. Окончательное разделение марийского и мордовского языков следует, таким образом, отнести не позднее чем к VI—VII вв. н.э., поскольку чувашское влияние

возникает в последующие вв. Согласно другой точке зрения (Г. Берецки), марийско-мордовской общности не существовало вообще: марийский язык уже очень давно – до н.э. – отделился от финно-волжской общности.

Вторую этническую группу, выделившуюся из финно-волжской общности, составляли прибалтийские финны. Прибалтийско-финские языки до сих пор довольно близки друг другу, поскольку распад объединявшей их языковой общности произошел относительно недавно. Прибалтийско-финскую и финно-волжскую эпохи нельзя четко отграничить друг от друга, вследствие чего по этому вопросу уже высказано немало разнообразных мнений. Согласно принимаемой нами хронологии, начало прибалтийско-финской эпохи можно отнести к началу первого тыс. до н.э.; в то же время эта дата не обозначает полный и окончательный разрыв связей между прибалтийскими финнами и волжскими финно-уграми. Дело в том, что контакты с балтийскими языками, следы которых представлены в первую очередь в лексике прибалтийско-финских языков, начались в V в. до н.э., однако некоторые балтизмы проникли и в мордовский язык – отчасти непосредственно, отчасти через посредство прибалтийско-финских племен. Последнее обстоятельство указывает на наличие связей западной ветви волжских финно-угров с прибалтийскими финнами в раннюю прибалтийско-финскую эпоху, то есть на то, что конец финно-волжской и начало прибалтийско-финской эпох разграничить почти нельзя.

Ранний период прибалтийско-финской эпохи, в который непосредственно перерос конец финно-волжской эпохи, иногда называют финно-саамской эпохой, поскольку тогда, в первой половине I тыс. до н.э., к северу от прибалтийско-финских племен жили в тесной связи с ними загадочные по своему происхождению саамы: различия между прибалтийско-финским и саамским языками еще не сформировались, и для данной эпохи можно предполагать лишь диалектную обособленность этих двух групп. Их тесные контакты прекратились в V в. н.э., что можно заключить на основе балтийских заимствований: если в прибалтийско-финских языках мы насчитываем около трехсот слов балтийского происхождения, то в саамском можно насчитать всего двадцать заимствований, проникших через посредство древних прибалтийских финнов. Этот факт свидетельствует о том, что к моменту начала контактов с балтами саамы уже были отделены в языковом отношении от прибалтийско-финских племен.

Ареной действия в позднюю прибалтийско-финскую эпоху (после продвижения саамов на север) стала Прибалтика, в основном территория современной Эстонии. Население ее занималось главным образом земледелием и животноводством.

Непрерывные и длительные мирные связи с соседними балтийскими народами способствовали значительному повышению социально-экономического уровня. Названия 'горох', 'каша', 'сад', 'пастух', 'колесо', 'стена', 'мост', 'комната', 'ягненок', 'коза', 'баран', 'шерсть' и другие слова со значениями данного круга понятий, имеющие балтийское происхождение, говорят об укреплении оседлого жизненного уклада, о развитии хозяйственных устоев.

Новую ступень в развитии общественной и хозяйственной жизни отражают германские заимствования в прибалтийско-финских языках. Первые контакты прибалтийских финнов с германскими племенами устанавливаются в начале н.э., одновременно с ослаблением балтийского языкового влияния. Можно сказать, что германские (отчасти прагерманские) заимствования привели к обновлению лексики праприбалтийско-финских диалектов. Их число составляет несколько сотен; в семантическом отношении это слова, относящиеся к земледелию, животноводству, строительству, домашнему хозяйству, торговле, транспорту, довольно развитому социальному устройству. О значимости этого слоя заимствований можно судить по словам со значениями 'плуг', 'сыр', 'поле', 'рожь', 'овес', 'мотыга', 'курица', 'скот', 'амбар', 'лестница', 'пол', 'гвоздь', 'крюк для котла', 'тесто', 'бревенчатый настил', 'лавка', 'плата', 'мера', 'вор', 'замок', 'сторож', 'свинец', 'золото', 'нос (судна)', 'седло', 'весло', 'князь', 'король', 'власть', 'штраф', 'праздник' и т.п. Они являются признаками не только самих по себе контактов, но и дальнейшего развития экономических устоев и социального устройства.

В каждом из прибалтийско-финских языков представлено немало и русских заимствований сравнительно позднего времени, пришедших в уже обособившиеся языки. Наряду с ними существует, однако, и общий для этих языков пласт славянских заимствований, которые могли проникнуть из праславянского и древнерусского языков в конце периода распада прибалтийско-финской языковой общности. Пласт древнейших славянских заимствований не столь обширен, как пласты слов, проникшие из германских и балтийских языков; лексика некоторых прибалтийско-финских групп обогатилась в результате этих контактов рядом новых понятий – так, были заимствованы термины христианского ритуала, новые слова из области сельского хозяйства, рыбной ловли, строительства (например: 'священник', 'крест', 'язычник', 'каша из ржаной муки', 'ячневая каша', 'серп', 'ярмо', 'товар', 'верша', 'острога', 'конюшня', 'печь' и т.д.).

III. СТРУКТУРА УРАЛЬСКОГО ПРАЯЗЫКА

О понятии "праязыка"

Разграничение уральского и финно-угорского праязыков принципиально необходимо, но на практике оно не может быть осуществлено последовательно. Хотя для реконструированных языковых элементов можно установить, наследием какой эпохи они являются, — уральской или финно-угорской — и выявить тем самым ряд различий между этими двумя древними языковыми состояниями, однако подобные различия не столь многочисленны и имеют в основном не такую природу, чтобы на их основании можно было представить уральский и финно-угорский праязыки как две обособленные специфические языковые системы. Например, между прауральским и прафинно-угорским языковыми состояниями не удается обнаружить существенных фонетических различий. Расхождения между ними проявляются преимущественно в лексике, сохранившейся фрагментарно, и в определенных элементах грамматической структуры. Таким образом, как ни важно установление того, каково происхождение реконструируемых элементов, это все-таки еще не может дать достаточного количества опорных точек для периодизации языковых событий соответствующих эпох.

Итак, данные праязыковых реконструкций, полученных из сравнения родственных языков, в настоящее время не позволяют обнаружить существенного системного различия между прауральским и прафинно-угорским языковыми состояниями. В связи с этим при характеристике праязыковой системы во внимание будут приниматься не только те языковые явления, которые возводятся к уральской общности, но и те, которые удается возвести только к финно-угорской эпохе (разумеется, эти две категории явлений там, где необходимо, разграничиваются).

ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРАЯЗЫКА

К о н с о н а н т и з м . Первая попытка реконструкции состава согласных фонем уральского праязыка принадлежит И. Халасу, рассмотревшему историю анлаутных согласных в работе "К вопросу об угорско-самодийском языковом родстве" (Н а -

l á s z , Ignác. Az ugor-szamojéd nyelvrokonság kérdéséhez.— NyK, 23 – 24, 1893–1894) *. Оживившиеся на рубеже нашего столетия историко-фонетические исследования вскоре обогатили языкознание рядом новых результатов. Быстрый прогресс в изучении исторической фонетики финно-угорских языков отразили семь вышедших между 1896 и 1927 гг. и значительно отличающихся друг от друга изданий учебного пособия Й. Синнеи "Сравнительное изучение венгерского языка" (S z i n n y e i , József. Magyar nyelvhasonlítás). Тем самым были созданы предпосылки для появления нового, обобщающего исследования по истории уральского консонантизма — работы Х. Паасонена "К исторической фонетике финно-угорско-самодийских языков" (Heikki P a a s o n e n . Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte. — KSz, t. 13–17; отдельная публикация — Budapest, 1917). В течение долгого времени эта работа и 7-е издание книги Й. Синнеи, а также переработанный немецкий вариант последней (Josef S z i n n y e i . Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft ["Финно-угорское языкознание"]. Leipzig, 1922, изд. 2-е) были основными руководствами по финно-угорской и уральской сравнительно-исторической фонетике. Однако уже к началу 40-х гг. эти труды устарели, и стала ощущаться все более настоятельная необходимость в обобщающей работе на более современных основах. Острота ситуации была лишь отчасти смягчена появлением "Истории финно-угорского консонантизма" В. Штейница (Wolfgang S t e i n i t z . Geschichte des finnisch-ugrischen Konsonantismus, Stockholm, 1952), отличающейся оригинальностью позиции автора, но схематичным и слишком сжатым изложением. Более обстоятельная работа, принимающая во внимание также и самодийские языки, была создана в конце 50-гг. Соответствующие разделы в "Сравнительной грамматике уральских языков" Б. Коллиндера (Björn C o l l i n d e r . Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm, 1960) дают подробную и надежную информацию об исторической фонетике уральских языков. Из новой венгерской литературы упомянем обзорный очерк Д. Лако "Финно-угорские источники фонетического строя венгерского языка" (L a k ó, György. A magyar hangállomány finnugor előzményei. Budapest, 1965: NyÉ 47).

С и с т е м а с о г л а с н ы х . Вопреки выдвигавшимся ранее гипотезам, можно утверждать, что прауральский консонантизм в численном отношении уступал праиндоевропейскому, однако распределение согласных по типам было в уральском праязыке более сбалансированным. Если для индоевропейского было характерно преобладание ртовых смычных согласных (лабиаль-

* В работах исследователей прошлого века, особенно венгерских, название "угорские" применялось ко всем финно-угорским языкам. — *Прим. перев.*

ный p, дентальный t, палатальный ќ, велярный q, лабиовелярный q_o, а также соответствующие глухие придыхательные, звонкие и звонкие придыхательные, то есть в общей сложности 20 ртовых смычных), то в уральском праязыке существовало всего три взрывных – p, t и k. Основное различие между часто встречавшимися p, t, k и серией противопоставленных им, но недостаточно полно засвидетельствованных щелевых γ, δ, w следует усматривать в наличии/отсутствии смычной артикуляции. Различие по глухости/звонкости представляется, с точки зрения фонетической системы, вторичным явлением. Корреляция по звонкости отсутствовала и в пределах серии сибилянтов, которая реконструируется для прауральского в составе трех членов (ś, š, s) – на фоне этого разнообразия сибилянтов примечательным выглядит наличие в индоевропейском праязыке всего одного звука этого типа, а именно – звука s (z мог выступать как аллофон к s). В прауральском были представлены и глухие аффрикаты (отсутствовавшие в индоевропейском): палатализованный ć и непалатализованный (возможно, какуминальный) č. Корреляция по палатализации, наблюдаемая в сериях сибилянтов и аффрикат, распространялась и на другие пары фонем: δ/δ′, n/ń, l/l′.

Наиболее характерными для праязыкового консонантизма были корреляция по *смычности* (например: p/w, č/š и т.д.), корреляция по *мягкости-твердости* и корреляция по *резонансному признаку* (под последней подразумевается система противопоставлений ртовых и носовых согласных). Роль корреляции по *геминации* (наличие которой предполагается для взрывных) была значительно меньшей и недостаточно ясна, а корреляция по *звонкости* не имела фонологической значимости. Указанные корреляции строились на противопоставлениях согласных по месту образования.

Консонантизм уральского праязыка отражает следующая таблица:

	Смычные		Аффрикаты	Фрикативные	Плавные
	Ртовые	Носовые			
Билабиальные	p	m		w	
Дентальные	t	n		δ	
Альвеолярные				s	l r
			č	š	
Альвео-палатальные		ń	ć	ś	l′
				δ′	
Палатальные				j	
Палатально-велярные	k	ŋ		γ	

Из перечисленных звуков наибольшую функциональную нагрузку несли взрывные, носовые, сибилянты и аффрикаты. Фрикативные δ, δ′, γ и сонанты l′, ŋ встречались редко, а в анлауте вообще не употреблялись. Последнее утверждение отчасти касается и аффрикат: инлаутная позиция была для них значительно более частой и более характерной, чем анлаутная; более того, рефлексы анлаутных аффрикат в современных уральских языках, как правило, совсем или почти не отличаются от рефлексов анлаутных сибилянтов. Однако было бы преждевременным делать, генерализуя данное обстоятельство, вывод о том, что появление звуков ć/ś, č/š в инлаутной и анлаутной позициях регулировалось правилами автоматического характера (Штейниц).

Существование количественной корреляции проблематично. Если даже в праязыке имело место противопоставление кратких и долгих согласных, то затрагивало оно только глухие смычные: наряду с краткими p, t, k существовали, возможно, долгие (геминированные) pp, tt, kk, однако последние встречались только в интервокальном положении, в первую очередь в дескриптивно-ономатопоэтических словах, в начале аффиксальных морфем и, возможно, на морфемных стыках.

Стечения согласных были возможны в середине, но не в начале слова. Особенно часто встречались сочетания носового с гоморганным смычным (mp, nt, ŋk). Сравнительно частыми являлись и сочетания "сибилянт или аффриката + k, p" (или k, p + сибилянт или аффриката), двух смычных (pt, tk, kt) "плавный + k" (lk, rk), а также "носовой + аффриката" (nč и ńć).

Вокализм. Соответствия гласных в уральских языках намного более сложны, чем соответствия согласных. Кроме того, история развития вокализма отдельных уральских языков уже после их обособления известна далеко не в равной мере. Поэтому и в связи с реконструкцией уральского вокализма существуют принципиально различные, противостоящие друг другу мнения. Исследования, необходимые для решения этого вопроса, были начаты еще в последнем десятилетии прошлого века, однако сначала они были ограничены рамками отдельных языковых групп. В 1895 г. появилась работа Б. Мункачи "A magyar magánhangzók történetéhez" ("К истории гласных венгерского языка". — NyK, 25), в которой исследовались закономерности соответствий гласных в трех угорских языках. В 1896 г. вышло сохранившее свое значение до сих пор исследование А. Генеца, в котором на основе финских и саамских данных подготовлена реконструкция вокализма западных финно-угорских языков ("Ensi tavuun vokaalit, lapin ja mordvan kaksi- ja useampitavuisissa sanoissa" ["Гласные первого слога в дву- и многосложных словах саамского и мордовского языков"]. — "Suomi", III/13, 1898); впоследствии свои результаты он сопоставил и с данными вен-

герского языка в работе "Unkarin ensi tavuun vokaalien suhteet suomalais-lappalais-mordvalaisiin" ["Соответствия венгерских гласных первого слога в финно-саамо-мордовских языках"]. – "Suomi", III/16, 1898. К сожалению, эти ценные, с точки зрения результатов и методов, пионерские работы долго не находили достойного продолжения.

Важная инициатива, направленная на реконструкцию уральского вокализма, связана с именем Т. Лехтисало, который предпринял попытку – к сожалению, неубедительную – разрешить этот вопрос с привлечением нового, самодийского, материала ("Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Uralischen" ["К истории вокализма первого слога в уральском"]. – FUF, 21, 1933).

Полувековой застой окончился с появлением книги В. Штейница "Geschichte des finnisch-ugrischen Vokalismus" ("История финно-угорского вокализма". Stockholm, 1944; Berlin, 1964, изд. 2-е), которая ознаменовала обнадеживающий поворот в исследовании вокализма. В этой работе, проникнутой идеями раннего структурализма, точнее, фонологического метода, Штейниц выдвигает оригинальную реконструкцию праязыковой системы гласных. Ему удается вывести из праязыковых гласных вокалические соответствия для первого слога в каждом из современных финно-угорских языков. Работу Штейница подверг критике в 1946 г. Э. Итконен в своем пространном исследовании "Zur Frage nach der Entwicklung des Vokalismus der ersten Silbe in den finnisch-ugrischen Sprachen, insbesondere im Mordwinischen" ("К вопросу о развитии вокализма первого слога в финно-угорских языках, особенно в мордовском". – FUF, 29). В этой работе он отвергает результаты и методы Штейница и излагает те приемы, которые, по его мнению, могут привести к правильной реконструкции системы праязыкового вокализма. Свой метод Итконен демонстрирует на примере мордовского языка. (На основе сходных принципов еще в 1939 г. Итконен реконструировал саамскую систему гласных в монографии "Der ostlappische Vokalismus vom qualitativen Standpunkt aus" ["Восточно-саамский вокализм с качественной точки зрения"]. – MSFOu, 79). Впоследствии Итконен развил свою теорию вокализма в ряде других работ. Опираясь в значительной мере на данные финского языка, он раскрыл и описал формирование систем гласных в волжских и пермских языках и в итоге пришел к системе, из которой, по его мнению, выводится вокализм не только западных финно-угорских языков (финно-пермской ветви), но и угорских языков, и которая тем самым является по сути дела отражением прафинно-угорского состояния[1].

[1] Другие работы Э. Итконена, посвященные этой проблематике: "Vokaalikombinatiot ja vartalotyypit". – Vir., 1948; "Beiträge zur Geschichte

Вокализм первого слога. Полемика между сторонниками теории Штейница и теории Итконена не завершена до сих пор.

Штейниц исходит из того обстоятельства, что в архаичных восточнохантыйских и горномарийских говорах гласные подразделяются на две группы. К первой группе относятся гласные *полного образования*, обладающие тремя ступенями подъема, ко второй — *редуцированные* гласные всего одной ступени подъема (иными словами, подъем для них нерелевантен). По мнению Штейница, столь глубокая аналогия между фонетическими системами двух довольно далеких друг от друга родственных языков не может быть случайной, поэтому он предполагает, что и в праязыке система вокализма складывалась из трех различавшихся по подъему серий гласных полного образования и одной серии редуцированных гласных. На основе тщательно отобранного этимологического материала Штейниц реконструирует для финно-угорского праязыка следующие гласные первого слога:

		Велярные		Палатальные	
Гласные полного образования	3-я ступень подъема	ɔ	a		ä
	2-я ступень подъема	o			e
	1-я ступень подъема	u	ị		i
Редуцированные гласные		ŭ		ŭ̆	ĭ̆
		Лабиализованные	Нелабиализованные	Лабиализованные	Нелабиализованные

В реконструкции Штейница отсутствует корреляция по долготе: долгота и краткость, по его мнению, могли быть в лучшем случае явлениями, сопровождавшими реализацию гласных полного образования, как это имеет место в хантыйском языке, где долгое или краткое произнесение гласных полного образования в первом слоге зависит от структуры слога и от качества гласного второго слога (следы такой ситуации встречаются и в других финно-угорских языках).

der einsilbigen Nominalstamme im Finnischen". — FUF, 30, 1949; "Zur Geschichte des Vokalismus der ersten Silbe im Tscheremissischen und in den permischen Sprachen". — FUF, 31, 1954.

Пестрые соответствия гласных родственных языков Штейницу часто не удается объяснять иначе, как за счет предположения о праязыковых вокалических чередованиях. По его мнению, праязыку был известен ряд парадигматических альтернаций гласных первого слога:

a∼o	ɔ∼u	a∼i
a∼ɨ	ɔ∼ŭ	a∼e
a∼u	u∼ŭ	e∼ĭ

Именно в таких чередованиях Штейниц усматривает, как правило, источники "нерегулярных" соответствий. В качестве мотивировки гипотезы о чередованиях он ссылается на то, что ряду финно-угорских языков известны вокалические альтернации, которые нельзя квалифицировать как результаты вторичных процессов в уже обособившихся языках (например, венг. hal 'умереть'∼holt 'умерший, мертвый', való 'являющийся, сущий'∼volt 'бывший, был', falat 'кусок'∼folt 'пятно, заплата', alszik 'спать'∼olt 'гасить', az 'тот'∼ott 'там'∼úgy 'так'). Однако основной опорой теории вокалических чередований вновь оказывается хантыйский язык, где налицо целая система парадигматического аблаута (подобные явления представлены в первую очередь в угорских и саамском языках, а в остальных финно-угорских языках встречаются лишь спорадически).

Итконен не принимает отправной точки теории Штейница. Согласно его взглядам, ни хантыйский, ни марийский вокализм не может служить ключом к финно-угорской реконструкции. Пригодными для этой роли Итконен признает скорее прибалтийско-финские языки, главным образом финский, считая его наиболее консервативным из финно-угорских языков. Отрицается и теория Штейница о вокалических чередованиях: аблаут (как и умлаут) Итконен считает чуждым для финно-угорских языков явлением; появление его — например, в хантыйском языке — должно рассматриваться как результат поздних, не связанных с праязыком процессов. Таким образом, в своих работах Итконен, исходя из финских (и саамских) данных, исследует системы гласных мордовского, марийского, удмуртского и коми языков и приходит к заключению, что эти системы могут быть объяснены только с учетом финно-саамского вокализма. Реконструированные им прафинно-волжская и прапермская системы гласных, по существу отождествляемые с вокализмом финно-угорского праязыка, состоят только из гласных полного образования с подразделением последних на долгие и краткие (см.таблицу):

Краткие			Долгие	
Велярные	Палатальные		Велярные	Палатальные
a		ä		
o		e	ō	ē
u	ü	i	ū	ī
	Лабиализованные	Нелабиализованные		

Методологически новым в исследованиях Итконена является то, что при рассмотрении истории вокализма первого слога он учитывает модифицирующее воздействие гласных второго слога (иначе говоря, исследует комбинации гласных в пределах основы) и ищет объяснения отклонений от закономерной рефлексации в отдельных языках во влиянии консонантного окружения и ряда других факторов Благодаря этому ему удается вывести гласные финно-пермских языков из семи кратких и четырех долгих праязыковых гласных (представленных в таблице) историко-фонетическим путем, без обращения к гипотезе о вокалических чередованиях.

Третьей теорией праязыкового вокализма является теория Б. Коллиндера Коллиндер в своей обобщающей работе по уралистике фактически принимает концепцию Итконена, но несколько модифицирует ее, расширяя число кратких гласных за счет ę и į и, напротив, сокращая число долгих (по его мнению, долгота могла быть первичной только у гласных среднего подъема, однако не исключено и то, что в праязыке вообще не было долгих гласных). Таким образом, Коллиндер вносит в теорию Итконена изменения, сближающие ее с реконструкцией Штейница.

При оценке дискуссии по поводу финно-угорского вокализма можно принять во внимание следующие обстоятельства:

1 Отправные точки как у Итконена, так и у Штейница произвольны. Архаичной системой, дающей ключ к реконструкции вокализма праязыка, один из них считает финскую, другой — хантыйскую и марийскую. Однако консервативность языка — понятие относительное, требующее осторожного обращения нельзя считать язык во всех проявлениях и во все времена одинаково консервативным или одинаково склонным к изменениям. Например, так называемый "финский холодильник" не предотвратил того, что в финском консонантизме подверглись весьма значительным преобразованиям праязыковые аффрикаты, сибилянты, латеральные, а в определенной мере и носовые Та-

ким образом, сомнительно, можно ли вообще опираться на принцип языковой консервативности при реконструкции вокализма праязыка. Во всяком случае, принципиально более оправданным представляется подход Штейница, который строит свою теорию на совпадающих показаниях двух довольно далеких друг от друга родственных языков.

2. Нет оснований решительно отрицать возможность существования праязыковых вокалических альтернаций, однако нужно согласиться с Итконеном в том, что проекция хантыйского парадигматического чередования гласных на праязыковой уровень является методологически рискованной, и поэтому ее следует по возможности избегать: с помощью чередований, предполагаемых для праязыка без должных доказательств, сводимы к общему знаменателю практически произвольные фонетические различия, что может оказаться безосновательным. Вопреки Итконену, необходимо все же признать, что по крайней мере в угорской языковой ветви неопровержима та роль, которую играли и играют чередования гласных. Бесспорно, впрочем, и то, что в финно-пермских языках таких чередований почти, а в отдельных языках и вообще нет. Несоответствие данных западных и восточных финно-угорских языков в этом вопросе пока позволяет принимать во внимание чередования гласных в основном лишь при анализе угорского вокализма. Произвольной же подгонке под теорию чередований целесообразно предпочесть подход, примененный Итконеном в исторической фонетике финно-пермских языков и состоящий в учете разнонаправленности процессов фонетического развития и в выявлении модифицирующих воздействий звукового окружения.

3. Результаты исследований по исторической фонетике отдельных языков, касающихся периодов их самостоятельного существования, были приняты во внимание Штейницем и Итконеном не в равной мере. Штейниц согласует свои результаты с исторической фонетикой преимущественно восточных, а Итконен — исключительно западных финно-угорских языков. Вследствие этого теория Штейница, хотя и обрисовывает в общих чертах историю развития вокализма всех финно-угорских языков, не способна удовлетворительно осветить многие детали финно-угорской исторической фонетики. Однако она служит по крайней мере средством последовательного объяснения того, как формировались системы гласных каждого из финно-угорских языков. Теория Итконена, продвигаясь от языка к языку по мере увеличения глубины дивергенции, достигает прафинно-пермского языкового состояния, но не проникает дальше: ее результаты трудно согласовать с данными вокализма угорских языков.

* * *

На основе высказанных соображений мы приходим к выводу, что в реконструкции финно-угорского вокализма Штейниц, несмотря на спорность своих посылок, создал, по-видимому, систему более универсальной применимости, чем Итконен. Путь исторического развития, ведущий от этой системы к вокализму современных финно-угорских языков, не получил, однако, должного освещения. Это, равно как и воссоздание праязыкового вокализма способом более надежным, чем использовавшиеся доныне, остается задачей будущего.

Методологическую оценку вокалических реконструкций мы дополним несколькими замечаниями по поводу полученных результатов.

Наиболее примечательное расхождение между результатами Штейница и Итконена состоит в трактовке общего характера системы гласных· по Итконену, история долгих гласных может быть прослежена вплоть до праязыковой эпохи; Штейниц же отрицает наличие прафинно-угорской количественной корреляции. В этом вопросе Штейниц, вероятно, ближе к истине, поскольку гипотеза о противопоставлении долгих и кратких гласных в праязыке основывается на количественных соотношениях в прибалтийско-финских языках. Большинству же финно-угорских языков фонологическая оппозиция долгих и кратких гласных неизвестна, что, скорее всего, можно считать отражением исходного состояния (венгерские и мансийские долгие гласные возникли в ходе обособленного развития этих двух языков; аналогичным образом, вторичными являются и вокалические долготы в самодийских языках).

В теории Штейница многих исследователей настораживает предположение о редуцированных гласных, хотя в принципе нельзя совершенно исключить возможность существования в праязыке подобных звуков, из которых в отдельных языках развились гласные полного образования. В порядке аналогии можно было бы сослаться на индоевропейский праязык, где заведомо существовал редуцированный гласный ə (так называемый švā indogermanicum), предпринималась даже попытка реконструкции ряда других редуцированных гласных. Штейниц не дает точного определения понятия редуцированного гласного, и это — слабое место его теории. Что же касается марийских редуцированных гласных, то в этой связи Л. П. Грузов в 1964 г. высказал мнение, что они не подпадают под критерий редуцированности, и употребление определения "редуцированный" применительно к этим сверхкратким гласным безосновательно. Это, разумеется, не значит, что сказано последнее слово по вопросу о том, существуют в марийском языке редуциро-

ванные гласные или нет. Во всяком случае, вслед за Штейницем можно с уверенностью утверждать, что долгота в системе праязыкового вокализма была нерелевантной.

Несмотря на существенные различия между теориями Штейница и Итконена, в некоторых отношениях они совпадают. Оба исследователя реконструируют для праязыка 11 гласных и оба подразделяют их на две неравные по величине группы (Итконен: 7 кратких + 4 долгих; Штейниц: 8 полного образования + 3 редуцированных). Наряду с этим чисто внешним сходством у обеих теорий есть и другая, существенная точка соприкосновения: в положениях, соответствующих редуцированным ŭ, ŭ, ĭ у Штейница, Итконен реконструирует гласные u, ü, i. Заслуживает упоминания и совпадение мнений Штейница и Итконена по поводу прамарийской системы вокализма.

Расхождения двух теорий частично сглаживает Б. Коллиндер. Он предполагает, что противопоставление долгих и кратких распространялось только на гласные среднего подъема, а может быть, не затрагивало даже их. Кроме того, отношение Штейница к своей теории было достаточно гибким. На это указывают некоторые позднейшие поправки, а также сделанное в 1960 г. пояснение, в котором дана более осторожная формулировка его взгляда относительно чередований гласных в финно-пермских языках, и выступление в дискуссии об уральском вокализме на симпозиуме им. М. Фогелиуса в Гамбурге в 1968 г. (см. UAJb, 41).

Это указывает на то, что возможно известное сближение двух концепций финно-угорского вокализма. Вероятно все же, что достижения приемлемых со всех точек зрения результатов в реконструкции праязыковой системы гласных можно ожидать не столько за счет синтеза ныне существующих взглядов, сколько за счет детальной разработки исторического вокализма отдельных языков, согласования полученных при этом результатов, то есть за счет создания новой теории вокализма.

Вокализм второго слога. Исследователи, которые занимались проблемой вокализма второго слога, сходятся на том, что в праязыке число встречавшихся в этом положении гласных было значительно меньшим, чем число гласных первого слога. Особая сложность заключается в том, что праязыковые гласные конца слова в значительной части языков-потомков (главным образом в угорских и пермских языках), как правило, были утрачены, сохранившись лишь в определенных условиях. Однако ауслаутные гласные основ сохранились с бóльшими или меньшими изменениями в прибалтийско-финских и саамском языках (отчасти также в мордовском и марийском). В первую очередь на основе данных этих языков (см. Itkonen. Vir., 1948, с.124 – 144) предполагается, что во втором сло-

ге праязыковых основ (и в содержавших гласный аффиксах) существовало три гласных — a, ä, e. В зависимости от качества ауслаутного гласного основы слова в праязыке различаются a-, ä- и e-основы. Около половины финно-угорских этимологий отражают e-основы. Перевес последних над a- и ä-основами объясняется тем, что в первом слоге e-основ мог встречаться как палатальный, так и велярный гласный (гласный -e являлся нейтральным с точки зрения гармонии гласных), тогда как -a встречался только в словах с гласными заднего ряда, а -ä — только в словах с гласными переднего ряда.

Просодические признаки

Слоговое ядро. Уральский праязык был не моросчитающим (как финский или нганасанский), а слогосчитающим языком (подобно венгерскому, мансийскому, коми, удмуртскому, марийскому и т.д.). В моросчитающих языках кратчайшей просодической единицей является мора, которая не обязательно совпадает со слогом: один слог может содержать две моры. Между морами может проходить морфемная граница, как в фин. hyvä/ä päivä/ä 'добрый день!': ядро (вершина) последнего слога — ää — полифонемно (то есть соответствует фонемному сочетанию), и долгота в этом слоге должна рассматриваться как сумма двух краткостей, иными словами — двух мор. Однако в праязыке кратчайшей просодической единицей был слог. В качестве просодически релевантной части слога, так называемого слогового ядра, выступали монофонемные (то есть соответствующих одной фонеме) гласные. Ни согласные, ни полифонемное сочетание гласных не могли выступать в уральском праязыке в качестве слогового ядра.

Количество. Роль количества в праязыке проблематична. Если в нем существовали слоговые ядра (долгие гласные), то они могли быть только монофонемными, не допускающими восприятия их в качестве удвоенных кратких гласных. Более вероятным, однако, представляется, что количество было фонологически нерелевантным; в этом случае наличие удлинения у гласных (полного образования) зависело, возможно, от структуры слога.

Ударение. Под ударением здесь понимается выделение одного из слогов слова по сравнению с остальными. Само по себе ударение не играет смыслоразличительной роли, подобную способность можно приписать лишь *месту ударения* (ср. англ. an a·bstract N 'извлечение, абстракция' — to abstra·ct V 'извлекать,

абстрагировать'; a di·gest N 'компендиум, сборник' — to dige·st V 'переваривать, систематизировать'). Однако в уральских языках место ударения не обладает и в праязыке не обладало фонематической значимостью; функцией его является создание контраста выделенной части по отношению к невыделенным за счет ее кульминативности, что именуется *делимитативной* (*разграничительной*) ролью места ударения.

В уральских языках ударение в изолированно произнесенном слове является динамическим (выделяющимся интенсивностью артикуляции) и, как правило, фиксированным, причем чаще всего падающим на первый слог (венг., фин., саам., манс., сельк.) Ввиду этого Итконен предполагает ударность первого слога и для праязыка. К ударению на первом слоге он возводит и подвижность (разноместность) ударения, наблюдаемую в отдельных языках. В последнее время сомнения в первичности ударения на первом слоге высказал В. И. Лыткин. По его мнению, в праязыке едва ли существовало различие между ударными и безударными слогами, и фиксированного места ударение не имело. С этой концепцией можно согласиться в том отношении, что место ударения не играло фонологической роли, однако полное отсутствие фиксации динамического ударения может быть представлено исключительно таким образом, что в связной речи смысловые, эмоциональные, ритмические и другие факторы могли модифицировать словесное ударение, в силу чего одно и то же слово при своих различных реализациях в речевом потоке выступало с разными ударениями или вообще без ударения.

Другие гипотезы относительно характера ударения в праязыке неприемлемы; свободному ударению (см. G o m b o c z . — In: NyK, 35, c. 476 — 477, N o v á k . — In: TCLP 6, c. 88 — 93) или музыкальному ударению (см. L e h t i s a l o . — In: ÕEST, 30, c. 362) в уральских языках не принадлежит и никогда не принадлежало особой роли.

МОРФОНОЛОГИЯ

Ф о н о л о г и ч е с к а я с т р у к т у р а м о р ф е м. В уральском праязыке л е к с и ч е с к и е к о р н е в ы е м о р ф е м ы, как свидетельствует этимологический материал, были по меньшей мере двусложными. Пользуясь морфонематической символикой, можно установить четыре основные типа этимонов (корней, непроизводных основ):

VCV
VCCV
CVCV
CVCCV

Число односложных лексических морфем было относительно невелико; в основном они принадлежали к типу CV (например, местоимения, междометия), но изредка встречались и морфемы, состоявшие из одного гласного (указательное местоимение e-, основа отрицательного глагола e-, междометия).

Грамматические морфемы, как правило, состояли из одной или двух морфонем и были односложны или не образовывали самостоятельного слога: CV, C, (?V). В качестве показателя условного наклонения принято выделять морфему со структурой CVC. Структура CC(V) особенно часто реконструируется для словообразовательных суффиксов.

Присоединение этих элементов друг к другу могло создавать многосложные (из 3 – 5 слогов) морфемные комбинации (например, состоявшее из пяти слогов сочетание: двусложная основа + суффикс глагольного имени + падежное окончание + лично-притяжательный показатель). Принципиально возможными были и морфемные комбинации из еще большего числа слогов.

О входивших в состав морфем согласных и их встречаемости в анлаутной и инлаутной позициях см. выше ("Система согласных").

Гласные в морфемах, по всей вероятности, подчинялись действию гармонии гласных, характерной для большинства уральских языков и поэтому предполагаемой и для праязыка. Это была гармония по ряду, а не по подъему; она строилась на противопоставлении праязыковых палатальных и велярных гласных. Следовательно, комбинации гласных в двусложных и многосложных морфемах соответствовали следующим структурным типам:

$CV_{пал}\,CV_{пал}$ $\quad$ $CV_{пал}\,CV_{пал}\,CV^{e}_{пал}$

$CV_{вел}\,CV_{вел}$ $\quad$ $CV_{вел}\,CV_{вел}\,CV^{e}_{вел}$

$CV^{пал}_{вел}\,CV_{e}$ $\quad$ $CV^{пал}_{вел}\,CV_{e}\,CV^{e}_{пал\ вел}$

и т.д.

Морфонологические альтернации. Основная масса грамматических морфем – морфемы типа CV – могли иметь по меньшей мере два алломорфа, из которых один содержал палатальный, а другой – велярный гласный. Основная языковая функция гармонического уподобления суффиксальных гласных состоит в том, что оно как бы выражает сопринадлежность компонентов морфемных сочетаний. Хотя окончания и суффиксы являются служебными морфемами, в агглютинативных языках они обладают относи-

тельной автономией. Так обстояло дело и в праязыке: противостояние основ и аффиксов можно сравнить с действием центробежных сил, и его следовало компенсировать центростремительным притяжением, которое за счет гармонического уподобления обеспечивало состояние равновесия между основами и аффиксами. (В качестве центростремительной силы, обеспечивающей равновесие между морфемами, выступают и другие факторы, например ударение, чередования морфем, плавность артикуляционных переходов на морфемных стыках в противовес резким переходам на стыках слов.) Одновременно с выражением сопринадлежности компонентов морфемных сочетаний гармоническое уподобление играет и делимитативную роль.

В связи с гармонией гласных высказывалось мнение, что в своей современной форме она является реликтом предположительно существовавшего в праязыке сингармонизма (или слогового сингармонизма)[1]. Однако лингвистические данные не подтверждают такое предположение.

Кроме сказанного выше, о праязыковых чередованиях гласных известно немного. Хотя существование в уральскую или финно-угорскую эпоху парадигматических чередований аблаутного типа, предполагавшихся Штейницем, недоказуемо, нельзя отрицать и возможность свободных чередований гласных.

Значительно менее вероятно наличие в праязыке метафонии (умлаута). Если при гармоническом уподоблении гласный первого слога определяет качество последующих гласных, то при метафонии гласный конца слова обуславливает альтернации вокализма предшествующего слога (слогов). Таким образом, в пределах одного языка гармония гласных и умлаут практически исключают друг друга, и метафонические явления наблюдаются только в тех современных уральских языках, которым неизвестна гармония гласных (саамский, ливский, ненецкий).

В праязыке существовали, вероятно, и ч е р е д о в а н и я с о г л а с н ы х, однако реконструировать их не удается. Тем не менее, с этой проблемой связана теория, вызвавшая среди специалистов по финно-угорской исторической фонетике наиболее бурную и затяжную дискуссию. Чередование ступеней согласных в финском языке — которое, собственно говоря, представляет собой серию парадигматических консонантных альтернаций,

[1] Сингармонизмом называется такое явление (свойственное некоторым тюркским языкам, например башкирскому, узбекскому), при котором слова состоят или только из палатальных гласных и палатализованных согласных, или же только из велярных гласных и веляризованных (или просто непалатализованных) согласных. При слоговом сингармонизме это правило действует только в пределах отдельных слогов, но не всего слова в целом (например, в ненецком языке). [Ряд авторов использует термины "гармония гласных" и "сингармонизм" как синонимы. – *Прим. перев.*]

обусловленных структурой слога, — состоит в подверженности определенных согласных, стоящих на границе первого и второго слогов, качественным и количественным изменениям. Так называемая сильная ступень появляется при открытости, а слабая ступень — при закрытости второго слога.

Финское чередование ступеней затрагивает согласные p, t, k и сочетания с их участием. В любом учебнике финского языка можно найти подробный разбор чередующихся пар, выступающих в сильной и слабой ступенях (p~v, t~d, k~ϕ, v, геминаты pp, tt, kk~краткие p, t, k и т.д.). Эти широко известные альтернации можно разбить на семь структурных типов:

1. C~ϕ	teko~teon
2. C_1~C_2	pata~padan, tupa~tuvan, kyky~kyvyn
3. C_1C_1~C_1	tyttö~tytön, seppä~sepän, ukko~ukon
4. C_1C_2~C_1	jalka~jalan, virka~viran, nahka~nahan
5. C_1C_2~C_1C_1	ampua~ammun, ilta~illan, virta~virran, ranta~rannan, henki~hengen (heŋŋen)
6. C_1C_2~C_1C_3	lehti~lehden, kurki~kurjen, kylki~kyljen, halpa~halvan
7. $C_1C_2C_2$~C_1C_2	lamppu~lampun, harppu~harpun, kenttä~kentän, palkka~palkan

Альтернации типов 3 и 7 называются *количественными*, прочие же — *качественными*.

Чередование ступеней присуще всем прибалтийско-финским языкам, за исключением вепсского и ливского, а в эстонском языке оно даже играет грамматическую роль (в частности, в результате отпадения окончания генитива; см. с. 102); в саамском языке количественное чередование охватывает всю систему консонантизма (следует заметить, что в южносаамских диалектах нет никаких следов чередования ступеней). Явления, напоминающие финское и саамское чередование ступеней согласных, обнаруживаются и в некоторых самодийских языках (селькупском и нганасанском), что дало основания Э. Н. Сетяля предположить прауральское происхождение этого явления. Для подкрепления своей теории он попытался выявить следы некогда существовавшего чередования ступеней и в других уральских языках. Часто, однако, такие доказательства достигались ценой больших натяжек: например, следами прежнего чередования l~ϕ он считал венг. (val-~) vaok и фин. (olen~)oon — явно вторичные формы, стертые от частого употребления в аллегровой речи. Во всяком случае, Сетяля предположил, что в праязыке любой согласный был подвержен качественному и количественному чередованию, и объяснял расхождения в фонетических соответствиях между этимологически общими словами в отдельных языках за счет праязыкового чередования ступеней. Так, вторые

согласные в венг. név и фин. nimi 'имя' он возводил к урал. *-m-~*-w-, считая, что финский согласный является рефлексом сильной ступени, а венг. -v – рефлексом слабой (ныне в исторической фонетике согласный v венгерского слова трактуется, без обращения к праязыковым сильной и слабой ступеням, как результат развития *m>>v). Праязыковое чередование ступеней было, согласно Сетяля, зависимым от парадигматически подвижного ударения: согласный сильной ступени выступал между ударным и безударным гласным, а согласный слабой ступени – после безударного гласного.

Теория Сетяля, предложенная в 1896 г., одно время пользовалась почти всеобщим признанием, несмотря на то, что детального обоснования его "предварительной" гипотезы не появилось. Тем не менее в течение полувека учет сильной и слабой ступеней был принят в финно-угорской исторической фонетике как методологический принцип; например, в работе Синнеи, ставшей настольной книгой ураловедов, глава об инлаутных согласных также строится на теории чередования ступеней. Однако в последние десятилетия было доказано, что саамско-финское чередование ступеней – результат сравнительно позднего развития (по поводу времени и пути его возникновения существует несколько объяснений). Кроме того, сходные явления в самодийских языках в последнее время также объясняются поздними вторичными процессами. Ввиду этого теория праязыкового чередования ступеней ныне никоим образом не приемлема.

МОРФОЛОГИЯ

Классы морфем

Праязыку были присущи следующие основные классы морфем: свободные морфемы – основы имен, глаголов, местоимений; связанные морфемы – словоизменительные аффиксы с синтаксическим значением (ragok 'окончания' или 'прилепы'), словоизменительные аффиксы с несинтаксическим значением (jelek 'показатели' или 'признаки') и словообразовательные аффиксы (képzők 'суффиксы') *.

* В переводе сохранено проводимое автором книги разграничение этих трех классов связанных морфем ("окончаний", "показателей" и "словообразовательных суффиксов"), хотя в русской грамматической традиции такого четкого разграничения не выработано и соответствующие термины часто используются недифференцированно, более или менее свободно варьируясь друг с другом и с терминами "аффикс", "формант". – *Прим. перев.*

Свободные морфемы. В формальном отношении свободные морфемы различались тем, что основы имени и глагола состояли из двух-трех слогов, а местоименные основы были, как правило, односложными. Важнейшее формальное различие между классами имен и глаголов состояло в том, что в эту эпоху к именам не могли присоединяться показатели наклонений, а к глаголам — падежные окончания. Принадлежность определенной звуковой последовательности к классу именных или глагольных основ не во всех случаях была монопольной: в одном и том же облике некоторые морфемы появлялись то в свойственных именам, то в свойственных глаголам позициях. Такое явление встречается, хотя и не слишком часто, и в современных языках. Так, к звуковым последовательностям типа венг. nyom 'след; давить', fagy 'мороз; замерзать', les 'засада; следить', zavar 'помеха; мешать', фин. neuvo 'совет; советовать', kutsu 'зов; звать', onki 'удочка; удить' могут присоединяться как падежные окончания (fagy-ban 'в мороз', zavar-ból 'из помехи', neuvo-sta 'из совета'), так и глагольные аффиксы (fagy-nánk 'мы бы мерзли', zavar-jon 'пусть мешает', neuvo-isin 'я бы советовал', kutsu-kaa 'пусть зовет'). Если в приведенных примерах принадлежность искомого слова к категории имен или глаголов определяется в большинстве случаев самим аффиксом, то часто встречается и такая ситуация, когда подобные амбивалентные с точки зрения части речи основы в одной и той же форме выступают то в именной, то в глагольной функции: в венгерских фразах a tavaszi fagy nagy károkat okozott 'весенний мороз нанес большие убытки' и a föld csonttá fagy 'земля насквозь промерзает' нулевое окончание номинатива и нулевое окончание 3-го лица ед. ч. настоящего времени формально не способны раскрыть категориальную природу слова fagy. Звуковая последовательность zavarok ('помехи' или 'я мешаю') в отрыве от контекста также не позволяет установить, содержится ли в ней глагольное окончание 1-го лица единственного числа или именной показатель множественного числа. Разграничение обеспечивается местом слова в конструкции предложения (его субъектной или предикатной ролью) и его окружением (например, в первом из приведенных выше примеров — наличием перед словом fagy определенного артикля и выраженного прилагательным определения, которые не могут ставиться перед глаголом).

В праязыке число подобных амбивалентных основ было бóльшим, чем в современных уральских языках. Это подтверждают нередко встречающиеся этимологии, члены которых в одних уральских языках относятся к классу именных, а в других — к классу глагольных основ, хотя и не содержат глагольных или именных словообразовательных суффиксов, например:

венг. fej, фин. pää 'голова' : нен. ṕa- 'начинать'

фин. pala 'кусок' : венг. fal 'пожирать'

венг. íz 'вкус' : саам. hâkse- 'нюхать'

фин. pura, хант. pər 'сверло' : венг. fúr 'сверлить'

венг. fagy 'мороз', хант. poj 'наст' : венг. fagy 'замерзать', фин. pala'гореть'

венг. zaj, манс. soj 'шум' ; фин. soi- 'звучать'

фин. sula 'талый' : манс. tol-, мар. šule- 'таять'

манс. low, мар. lu 'десять' : фин. luke-, морд. lovo- '(с)читать' и т.д.

В качестве еще одного доказательства древних взаимосвязей между классами именных и глагольных основ принято отмечать часто наблюдаемую генетическую общность суффиксов отыменного и отглагольного словообразования в уральских языках. В частности, можно отметить такие современные явления, как возможность присоединения суффикса с каритивным (лишительным) значением в венгерском, мансийском, коми языках и к имени, и к глаголу (венг. kez-etlen 'безрукий' — kel-etlen 'не поднявшийся', манс. wit-tāl 'безводный' — joχt-tāl 'недостижимый') или способность уменьшительно-ласкательного суффикса в мансийском языке оформлять глаголы в качестве своеобразного показателя наклонения (ср. piγ 'сын': piγkwe 'сыночек' и toti 'он приносит': totikwe 'он приносит [будучи милым, хорошим]').

Следует, наконец, упомянуть способность имен (существительных, прилагательных, числительных, местоимений) в самодийских и мордовском языках вербализоваться в позиции предиката без использования каких-либо глагольных словообразовательных суффиксов; вербализованное имя может в этом случае оформляться глагольными личными окончаниями и даже показателями времени, например:

Эрзя-морд.		lomań 'человек'	od 'молодой'
Наст.вр.ед.ч.	1 л.	(mon)lomań-an 'я человек'	od-an 'я молод'
	2 л.	(ton)lomań-at 'ты человек'	od-at 'ты молод' и т.д.
	3 л.	(son) lomań	od
мн.ч.	1 л.	(miń) lomań-t'ano	od-tano
	2 л.	(tiń) lomań-t'ado	od-tado
	3 л.	(siń) lomań-t'	od-t
Прош.вр.ед.ч.	1 л.	lomańe-l'i-ń 'я был человеком'	odo-l'i-ń 'я был молод'
	2 л.	lomańe-l'i-t' 'ты был человеком' и т.д.	odo-l'i-t' 'ты был молод' и т.д.

	3 л.	lomańe-l′	odo-l′
мн.ч.	1 л.	lomańe-l′i-ńek	odo-l′i-ńek
	2 л.	lomańe-l′i-d′e	odo-l′i-d′e
	3 л.	lomańe-l′-t′	odo-l′-t′

Личные окончания в этой парадигме идентичны личным окончаниям настоящего и прошедшего времени в неопределенном спряжении мордовского глагола. Показатель же прошедшего времени вербализованных имен, выступающих в функции предиката – аффикс -l′i- – хотя и отличается от обычных претеритных показателей в глагольном спряжении (ɪ~i или ś) и является, собственно говоря, результатом редукции вспомогательного глагола ul′e 'есть, будет', превратившегося в показатель времени, однако также используется и в системе глагола для образования редко употребляющихся форм II (длительного, незавершенного) прошедшего времени (например, lovnɨ-l′i-ń 'я читал' от lovnoms 'читать, прочесть'), а также в конъюнктиве и дезидеративе.

Нен.		χańena 'охотник'		ńeńu 'дочка'	
Наст.вр.ед.ч.	1 л.	(mań) χańena-dm	'я охотник'	ńeńu-dm	'я дочка'
	2 л.	(pidar) χańena-n	'ты охотник'	ńeńu-n	'ты дочка' и т.д.
	3 л.	(pida) χańena		ńeńu	
дв. ч.	1 л.	(mańi?) χańena-ńi?		ńeńu-ńi?	
	2 л.	(pidańi?) χańena-d′i?		ńeńu-d′i?	
	3 л.	(pid′i?) χańena-χa?		ńeńu-χu?	
мн.ч.	1 л.	(mańa?) χańena-wa?		ńeńu-wa?	
	2 л.	(pidara?) χańena-da?		ńeńu-da?	
	3 л.	(pido?) χańena-?		ńeńu-?	
Прош.вр.ед.ч.	1 л.	χańena-dam-ś	'я был охотником'	ńeńu-dam-ś	'я была дочкой'
	2 л.	χańena-na-ś	'ты был охотником' и т.д.	ńeńu-na-ś	'ты была дочкой' и т.д.
	3 л.	χańena-ś		ńeńu-ś	
дв.ч.	1 л.	χańena-ńiп-ś		ńeńu-ńiп-ś	
	2 л.	χańena-d′in-ś		ńeńu-d′in-ś	
	3 л.	χańena-χan-ś		ńeńu-χun-ś	

мн.ч.	1 л. χańena-wa-ć		ńeńu-wa-ć	
	2 л. χańena-da-ć		ńeńu-da-ć	
	3 л. χańena-ć		ńeńu-ć	

Энецк. ese 'отец'

	Наст. вр.		Прош. вр.	
ед.ч.	1 л. (mod'i) ese-do?	'я отец'	ese-do-d'	'я был отцом'
	2 л. (ū) ese-do	'ты отец' и т.д.	ese-do-ś	'ты был отцом' и т.д.
	3 л. (bū) ese		ese-ś	
дв.ч.	1 л. (mod'iń'i?) ese-j?		ese-bi-d'	
	2 л. (ūd'i?) ese-ri?		ese-ri-d'	
	3 л. (būd'i?) ese-χe?		ese-χe-d'	
мн.ч.	1 л. (mod'ina?) ese-a?		ese-ba-t'	
	2 л. (ūda?) ese-ra?		ese-ra-t'	
	3 л. (būda?) ese-?		ese-t'	

В самодийских примерах окончания вербализованных имен полностью идентичны личным окончаниям глагола в неопределенном спряжении. В прошедшем времени к этим окончаниям прибавляется показатель времени ś, употребляющийся и в глагольном спряжении (сочетание гортанного смычного с ś дает в ненецком nś или ć, а в энецком – d' или t').

Хотя приведенные парадигмы и окончания предикативных форм имен в мордовском и самодийских языках являются результатом обособленного развития этих языков, само явление вербализации имен является архаичной чертой, которую эти языки, по всей вероятности, унаследовали от уральского праязыка.

Из этого следует, что к праязыку не применимо утверждение (часто высказываемое и справедливое в отношении большинства финно-угорских языков), согласно которому отличительными признаками глагольных форм являются средства выражения лица, времени и наклонения. В определенных случаях лицо и время могли обозначаться и у имен, что указывает на неустойчивость границ между категориями имени и глагола, и одновременно с этим на то, что наиболее специфическим признаком глаголов в праязыке была способность принимать показатели наклонения.

Парадигмы вербализованных имен в мордовском и самодийских языках дефектны. Способность к передаче временны́х различий ограничена (будущее время образуется редко), а показатели наклонений присоединяться не могут. Поэтому функци-

онирование имен в глагольной сфере является окказиональным. Они не могут быть признаны настоящими глаголами и сохраняют именную в своей основе природу. Тем не менее, эти синтетические формы соответствуют составным (содержащим имя и вспомогательный глагол) именным сказуемым других языков, то есть в них слиты именная и глагольная части сказуемого. С этой точки зрения представленное в ряде финно-угорских языков бессвязочное именное сказуемое 3-го лица (например, венг. ő tanár 'он учитель', ezek az emberek katonák 'эти люди — солдаты') полностью идентично конструкции типа нен. pida χańena 'он охотник': в обоих случаях глагольный компонент представлен нулевой морфемой. Необходимость выделения последней явствует из сопоставления бессвязочных форм с другими членами парадигматического ряда:

		Венг.	
én tanár vagyok	'Я учитель'	ő tanár volt	'Он был учителем'
te tanár vagy	'Ты учитель'	ő tanár lesz	'Он будет учителем'
ő tanár ϕ	'Он учитель'	ő tanár ϕ	'Он учитель'

Принято предполагать, что в праязыке существовали истинно амбивалентные основы, которые могли выступать равным образом как имена и как глаголы, обладая полными парадигмами каждой из этих категорий. В лингвистической литературе подобные бифункциональные основы именуются nomen-verbum (именами-глаголами). Следует, однако, заметить, что единовременно в конкретном речевом акте амбивалентные основы могли выступать только однозначно — или в глагольной, или в именной форме. Таким образом, их принадлежность к категории имени или глагола всегда определялась структурой конкретного высказываения. Следовательно, никак нельзя говорить об общей категории имени-глагола, на что еще в 1942 г. указал Д. Лазициуш (Laziczius, Gyula. Általános nyelvészet ["Общее языкознание"], с. 39 — 40).

Число местоименных основ, было, естественно, несравненно меньшим, чем число именных и глагольных основ, однако они занимали видное место среди свободных морфем. Значение их определяется частотой употребления, использованием в качестве детерминативных и даже грамматических элементов. В своих безаффиксальных формах местоименные основы были, как правило, односложны. Для уральского языка удается реконструировать личные, указательные и вопросительные местоимения.

Личные местоимения единственного числа принято реконструировать в виде *me, *te, *se. Личные местоимения мно-

жественного, а также двойственного числа в уральских языках также могут быть возведены к этим праформам 1-го — 3-го лица, однако вследствие вариативности образования этих форм и некоторых других причин праязыковые личные местоимения двойственного числа и множественного числа не поддаются реконструкции.

Из основ указательных местоимений наиболее употребительными были, вероятно, указывающие на близкий предмет *tä (ср. фин. tämä 'этот', венг. tétova 'нерешительный', первоначально — 'туда-сюда'), *nä (фин. nämä 'эти'), *e (венг. ez 'этот', ide 'сюда'), *ćе (фин. se 'этот, он', хант. tï 'этот здесь'), а также указывающие на более отдаленный предмет *to (венг. túl 'по ту сторону', tova 'вдаль', фин. tuo 'тот'), *no (фин. nuo 'те'), *o (венг. az 'тот', ott 'там').

В качестве вопросительных местоимений реконструируются *ke (ср. венг. ki 'кто', фин. ken), *ku (фин. kuka 'кто', венг. hol 'где', hogy 'как') и *mi (венг. mi 'что', фин. mikä); последнее из них уже в уральском праязыке могло применяться к неодушевленным предметам, а местоимения с начальным k- — к живым существам.

В функции личного местоимения 3-го лица в ряде уральских языков выступают рефлексы древних указательных местоимений (эст. tema 'этот→он', мар. tuδo, нган. sete 'тот→он'; в финском языке вместо личного местоимения hän 'он' также часто употребляется указательное местоимение se). Ввиду этого предполагается, что и праязыковое личное местоимение 3-го лица исходно являлось указательным местоимением. Некоторые исследователи предполагают сходные связи между личным местоимением 2-го лица и указательным местоимением с начальным t-. Определенная связь личных местоимений с указательными в отдаленной перспективе представляется вероятной, но в уральском праязыке личные и указательные местоимения уже были четко отграничены друг от друга.

Не исключено существование (наряду с надежно реконструируемыми категориями имен, глаголов и местоимений) и других классов (или подклассов) основ, то есть частей речи. Возможно, уже в уральскую эпоху внутри класса имен сформировалась группа основ с дефектной парадигмой, которые употреблялись исключительно в аффигированном виде (в одной или нескольких снабженных падежными окончаниями формах). В словах, образованных от таких основ, можно видеть источник современных наречий и послелогов (или частиц и других служебных слов). В класс имен в уральском праязыке мог входить и подкласс прилагательных, которые вначале никак не отличались от субстантивных слов: любое субстантивное слово при ат-

рибутивном употреблении в препозиции другому имени могло на время превращаться в прилагательное. В праязыке началось, возможно, и формальное обособление этих окказиональных прилагательных, прилагательных по смыслу.

Возможны различные точки зрения по поводу того, нужно ли рассматривать глагольные имена (нефинитные формы глагола) как особый класс слов (см. Р а р р , I. MNyj, 8, 1962, с. 61–81). В праязыке они были уже широко представлены, но несмотря на это, в выделении особого класса глагольных имен нет необходимости, поскольку в зависимости от синтаксической позиции они функционировали то как представители категории имен, то как представители категории глаголов.

Количество односложных свободных основ увеличивалось за счет междометий и частиц, которые не поддаются реконструкции, но, по всей вероятности, все же существовали в уральском праязыке.

Этимологические и лексикологические вопросы реконструкции свободных морфем рассматриваются в разделе "Лексика".

С в я з а н н ы е м о р ф е м ы . Деление праязыковых связанных морфем на окончания, показатели и словообразовательные суффиксы (см. с. 220) основано на проекции данных современных уральских языков в прошлое.

Выделение показателей как особого класса суффиксов производится главным образом с учетом венгерской грамматической традиции, поскольку в принципе рамки этого класса в родственных венгерскому языках и в уральском праязыке трудно поддаются определению.

Различие между праязыковыми классами аффиксов можно, отвлекаясь от данных современных языков, усматривать в том, что·

1) словообразовательный суффикс мог следовать только за корнем или производной основой, но не за окончанием или показателем;

2) к одному словообразовательному суффиксу мог присоединяться другой;

3) окончание и показатель могли присоединяться как к корню, так и к суффигированной форме, завершая морфемную цепочку;

4) окончание могло соседствовать с показателем, но не с другим окончанием.

Таким образом, если обозначить корень, окончание, показатель и словообразовательный суффикс буквами К, О, П и С соответственно, то возможные типы морфемных комбинаций можно представить в виде следующих формул:

К – С
К – С – О
К – С – П
К – С – П – О
К – С – О – П
К – С – С
К – С – С – О и т.д.

К – П
К – П – О

К – О
К – О – П

Падежные окончания. Уральский праязык обладал четко очерченной падежной системой. По крайней мере шесть или семь из числа падежных окончаний, которыми столь богаты уральские языки, обнаруживают прауральское и прафинно-угорское происхождение. В праязыке отмечаются следующие падежи и их окончания:

1. Номинатив -ϕ	5. Локатив II (прафинно-угорский) -t
2. Генитив -n	6. Аблатив -ta/-tä
3. Аккузатив -m	7. Латив-датив I -ń
4. Локатив I -na/-nä	8. Латив-пролатив II -k

Окончания местных падежей (4 – 8) в падежных системах современных уральских языков занимают, как правило, периферийное положение. Их первичный облик и первичная функция по большей части не сохранились. Ныне эти древние окончания обнаруживаются отчасти как компоненты составных окончаний вторичного происхождения, отчасти в конце застывших наречных и послеложных форм, и нередко их происхождение устанавливается лишь благодаря сравнительно-историческому анализу. В праязыке, однако, падежная парадигма строилась за счет непосредственного присоединения этих первичных окончаний к основам. Их функция состояла в общем указании места, построенном на разграничении трех способов пространственной ориентации (где?, откуда?, куда?). Впрочем, в зависимости от значения основы с помощью этих окончаний могли выражаться также время и образ действия.

Уральское происхождение падежных окончаний, приведенных под номерами 2 и 3, особенно окончания генитива, не бесспорно. Против возведения их к уральскому праязыку говорит то, что в языках-потомках достаточно часто встречаются неоформленность притяжательной связи и неоформленность объекта, а в части языков окончания генитива и аккузатива вообще не представлены.

Окончание генитива *-n не отражено в пермских и угорских языках, где существует ряд других способов выражения притяжательной связи. Притяжательная конструкция может вообще оставаться неоформленной, в основном при сложениях определяемого слова с определением по принадлежности (коми ju-dor

=венг. folyópart 'берег реки', букв. 'река-берег'), чаще же какой-либо из членов конструкции (обычно обладаемое, иногда обладатель или оба компонента) снабжается лично-притяжательным показателем, указывающим на обладателя (венг. városháza 'ратуша', букв. 'город-дом-его'; Szondi két apródja 'два пажа Сонди', букв. 'Сонди два пажа-его'; манс. pajp-um sūnt~pajp sūnt-um 'отверстие моего короба', букв. 'короб-мой отверстие' или 'короб отверстие-мое'; хант. law-əl tur 'горло коня', букв. 'конь-его горло'; венг. házam népe~háznépem 'мои домочадцы', букв. 'дом-мой народ-его' или 'дом-народ-мой'). В венгерском языке в притяжательной конструкции иногда используется и дательный падеж в комбинации с лично-притяжательным показателем (a szüleinek a házában 'в доме его родителей', букв. родителям-его в-доме-его'), а в пермских языках возникло особое окончание генитива, развившееся из адессивного окончания (коми sar-leⱨ nⁱljas 'царя дочери'). Употребление адессива и датива в притяжательных конструкциях явно представляет собой результат специфического внутреннего развития в этих языках. Неоформленная же (точнее, оформленная лично-притяжательным показателем) притяжательная конструкция представляется весьма архаичной, тем более, что этот способ выражения притяжательности известен и тем уральским языкам, которые сохранили до настоящего времени генитив с окончанием *-n. Поэтому многие финно-угроведы (например, И. Н.-Шебештьен, Г. Барци, Й. Беррар) считают, что в праязыке притяжательная конструкция была неоформленной, а использование в ней генитивного окончания является вторичным. Сторонники такой концепции ссылаются также на точку зрения П. Равилы, согласно которой генитивный элемент *-n в уральских языках первоначально не выражал притяжательности, а был суффиксом прилагательных (ранее эта точка зрения высказывалась и в работах Буденца, Сетяля и Синнеи); дело в том, что в мордовском, марийском и самодийских языках морфемы, тождественные окончанию генитива, могут образовывать прилагательные (например, морд. viŕ-eń med´ 'лесной мед→леса мед', мар. pu-n 'деревянный' и т.д.). На основе этих примеров Равила признает первичной *адъективную* функцию элемента -n. По его мнению, этот элемент, употреблявшийся как признак качественного определения, проник в падежную систему имени и вторичным образом превратился в окончание определения по принадлежности. Однако развитие могло идти и обратным путем: генитив ряда языков может передавать значения прилагательных других языков. Так, в случае фин. äidinsydän 'материнское сердце', lapsenusko 'ребячья (наивная) вера', vedenneito 'водяная дева (русалка)' перед нами, собственно говоря, генитивная притяжательная конструкция (букв. 'матери сердце', 'ребенка вера', 'воды дева'), которая,

однако, впоследствии стала эквивалентна адъективной атрибутивной конструкции (ср. также нем. Bundeskanzler 'федеральный канцлер'=Kanzler des Bundes 'канцлер федерации'). Равила считает семантику адъективного суффикса первичной, поскольку при этом легче объяснимо отсутствие окончания генитива -n в угорских и пермских языках: если бы это окончание в праязыке существовало, то, согласно аргументации Равилы, утрата его в столь обширном языковом ареале была бы необъяснимой.

Со своей стороны, мы находим, что в рамках внешне эффектной теории Равилы столь же необъяснимым оказывается то обстоятельство, что в крайне западных и крайне восточных ветвях уральской языковой семьи независимо друг от друга один и тот же суффикс прилагательных -n превратился в окончание определения по принадлежности, хотя этим языкам известны и другие суффиксы прилагательных. В рассуждениях Равилы есть и другие уязвимые места. Так, вслед за Виклундом он считает инструктив с окончанием -n в финском, саамском, мордовском и самодийских языках (ср. фин. hän kulkee avoimin silmin 'он идет с открытыми глазами') тождественным генитиву. Если, однако, Виклунд рассматривал генитив-инструктив как особый падеж уже на праязыковом уровне, то Равила возводит инструктивное употребление -n, как и генитивное, к функции суффикса прилагательных. По его мнению, приименное использование этого суффикса явилось источником окончания генитива, а приглагольное — инструктива. В связи с этим он утверждает, что размежевание этих двух окончаний совпало по времени с разделением категорий имени и глагола. Этот взгляд вновь вызывает возражения. Категории имени и глагола существовали уже в праязыке, ввиду чего относить формирование генитива (и инструктива) к периоду самостоятельного существования отдельных языков излишне. Наряду с этим трудно понять, каким образом Равила считает возможным существование суффикса прилагательных в ту эпоху, когда имя еще не обособилось от глагола.

Нашу позицию в дискуссии о генитиве можно, следовательно, сформулировать следующим образом: окончание генитива -n употребляется в прибалтийско-финских, саамском, мордовском, марийском и самодийских языках; трудно представить себе, что это окончание возникло в период самостоятельного существования перечисленных языков за счет конвергентного развития из праязыкового форманта, которому не была присуща генитивная функция. Поэтому мы считаем необходимой реконструкцию праязыкового окончания определения по принадлежности *-n, не исключая при этом возможность связи этого генитивного окончания — на прауральском или доуральском уровне — с дру-

гими формантами (например, с суффиксом прилагательных или с окончанием латива — датива). Праязыку была, однако, известна и притяжательная конструкция, не имеющая оформления или оформленная с помощью лично-притяжательного показателя. Два способа выражения притяжательности могли сосуществовать, как это имеет место в некоторых современных уральских языках. Однако если в части уральских языков эта двойственность сохранилась, то в другой их части окончание генитива *-n вышло из употребления. Утрата этого окончания в ряде уральских языков может, по всей вероятности, объясняться и тем, что оно совпало по форме с рефлексами других праязыковых окончаний (например, окончаний латива — датива или локатива 1). Эти языки избежали осложнений, связанных с грамматической омонимией, за счет обобщения притяжательной конструкции, не имеющей оформления или оформленной лично-притяжательным показателем. Впоследствии же в генитивной функции могли начать использоваться иные, вторичные окончания (напротив, в других языках — например в финском — формальное совпадение уральских окончаний генитива *-n и латива — датива *-ń повлекло за собой сохранение генитивного окончания в ущерб дативу).

Окончание аккузатива *-m неизвестно венгерскому и хантыйскому языкам. В остальных уральских языках оно сохранилось или (как, например, в пермских языках) заметны его следы. Отрицать прауральское происхождение этого окончания можно на основании того, что наряду с m-овым аккузативом во всех языках существуют и часто употребляются неоформленные конструкции с прямым дополнением (венг. víz hordani 'носить воду', фин. ottakaa nauhuri mukaan 'пусть он возьмет магнитофон с собой'). Усматривая в неоформленности прямого дополнения исходное состояние, многие исследователи (Ю. Фаркаш, В. Таули, Э. Вертеш) усомнились в уральском происхождении окончания аккузатива; большинство из них отождествляет окончание -m с лично-притяжательным показателем 1-го лица единственного числа. В ряде уральских языков наблюдается использование лично-притяжательных показателей не только для обозначения лица обладателя, но и для выражения определенности слова, оформленного таким показателем (например, нен. χar-da 'его нож; [этот, определенный] нож); этот факт и послужил основой для высказанной ими гипотезы. Поскольку же прямое дополнение, снабжаемое окончанием -m, является, как правило, определенным, выглядело бы логичным умозаключение о том, что определенность прямого дополнения выражалась путем использования лично-притяжательного показателя 1-го лица ед. ч. (тогда как в других случаях оно оставалось неоформленным) и что этот формант с первичной детерминативной функцией в хо-

де обособленного развития превратился в окончание прямого дополнения. Вопреки этим соображениям, целесообразно тем не менее придерживаться точки зрения, утверждающей, что окончание прямого дополнения -m уральского происхождения. Во-первых, между m-овыми окончаниями аккузатива и m-овыми лично-притяжательными показателями 1-го лица ед. ч. в уральских языках отмечаются некоторые формальные и историко-фонетические различия; сторонники изложенной концепции, не склонные вдаваться в детали, уделяют им мало внимания (например, фин. -n≺*-m в первом случае и -ni≺*-nmi во втором; манс. соответственно -mɛ, -mi и -m, -əm; нен. соответственно -mʔ и -ńi, -w). Во-вторых, еще более весомым контраргументом является то, что выражение определенности имени с помощью лично-притяжательного показателя 3-го лица ед. ч. в уральских языках — явление обычное; показатель 2-го лица ед.ч. встречается в этой функции уже значительно реже, а на подобное использование показателя 1-го лица ед. ч. нет ни одного надежного примера.

Разделяя точку зрения Б. Викмана, мы убеждены, что в праязыке существовало два способа выражения прямого дополнения: неоформленной (номинативной) формой выражалось неопределенное прямое дополнение, а формой с окончанием *-m — вероятно, определенное прямое дополнение.

Таким образом, номинатив с нулевым окончанием являлся, в свете сказанного выше, основной формой, которая использовалась для выражения как подлежащего предложения, так и (неопределенного) прямого дополнения и, в некоторых случаях, определения по принадлежности.

Учитывая употребление в финно-угорских языках не оформленных падежными окончаниями обстоятельств (например, венг. vasárnap '(в) воскресенье', ma este 'сегодня вечером', букв. 'сегодня вечер'; négykézláb 'на четвереньках', букв. 'четыре-рука-нога'; фин. joka vuosi 'каждый год' и т.д.), Д. Фокош считает вероятным, что они "отражают древнее или даже праязыковое состояние" (NyK, 58, с. 74), т.е. что конструкции такого рода сохранились в современных языках от праязыковой эпохи и что таким образом номинатив в праязыке мог играть в предложении также и роль обстоятельства. Однако маловероятно, что не оформленные падежными окончаниями обстоятельства, встречающиеся в уральских языках не слишком часто, являются реликтами столь древней эпохи. Среди них имеется немало таких форм, которые утратили окончания (см. K l e m m , МТМ, с. 177 – 179), отчасти же их употребление может объясняться тем, что слова со значениями времени, места и образа действия сами по себе, в силу своей семантики, способны и без аффиксаль-

ного оформления выражать отношения времени, места и образа действия. В некоторых же случаях (в примерах из обско-угорского и самодийского фольклора) отсутствие окончания объясняется особенностями стихосложения, метрики и стилистики. Ввиду этого в современных, не оформленных падежными окончаниями обстоятельствах нет необходимости усматривать языковые следы дофлективной эпохи. При всем том не стоило бы решительно отрицать, что слова со значением времени, места и образа действия уже в праязыке были способны выражать отношения времени, места и образа действия, но с этим явлением не оформленные падежными окончаниями обстоятельства столь же мало связаны генетически, как и конструкции типа нем. Anfang Mai 'в начале мая', Ende November 'в конце ноября' или англ. this week 'на этой неделе'.

Возможно, в праязыковой парадигме именного склонения встречались и другие падежные окончания: на основе материала, обладающего сравнительно малой доказательностью, для праязыка реконструируются лативно-транслативно-эссивное окончание *-ć и лативное окончание *-j, однако точно определить их место в падежной системе не удается. Возможно, уже тогда эти окончания — как и их современные рефлексы — встречались в основном лишь у слов с дефектной парадигмой.

В падежных формах множественного (и двойственного — при наличии такового) числа уральских языков используются, как правило, те же окончания, что и в единственном числе — разумеется, в сочетании с соответствующим числовым показателем. Естественно поэтому предполагать, что так же обстояло дело и в праязыке. Вопрос состоит только в том, насколько полным было прауральское склонение имен в двойственном и во множественном числе. Впрочем, Равила считает безосновательной реконструкцию косвенных падежных форм двойственного и множественного чисел. Однако против такого мнения говорит высокая вероятность предположения об уральском происхождении основы множественного числа с показателем -i, представленной в ряде языков-потомков.

Недостаточно ясны и некоторые другие вопросы, возникающие в связи с падежным склонением. Неясно, напрмер, использовались ли падежные окончания существительных при склонении местоимений. Дело в том, что если склонение указательных местоимений в современных уральских языках совпадает со склонением существительных, то склонение личных местоимений обладает целым рядом отличий. При сравнении парадигм личных местоимений обнаруживается, что они сформировались в ходе обособленного развития отдельных языков (или языковых групп). В возникших таким путем (причем в большинстве языков неполных) парадигмах могут выступать древние фор-

мы местоимений, часто нечленимые даже диахронически, но, во всяком случае, не оформленные окончаниями соответствующих именных категорий (например, венг. én 'я': акк. engem, te 'ты': акк. téged; манс. am 'я': акк. ānum, ном. мн.ч. mān); в то же время могут встречаться и этимологически не связанные с местоимениями супплетивные формы, снабженные лично-притяжательными показателями (например, венг. én 'я': инесс. bennem, te 'ты': делат. rólad; нен. pidar 'ты': акк. śit; эрзя son 'он': аллат. t'enze). Конечно, в склонении личных местоимений нередки и окончания именного склонения, но их присоединение к личным местоимениям почти во всех уральских языках выглядит инновационным. Таким образом, небезосновательно представление о том, что парадигма склонения местоимений (особенно личных) была в праязыке неполной и что важнейшие падежные формы образовывались, возможно, не с помощью окончаний, известных по именному склонению. Равила идет еще дальше по сравнению с этим (приемлемым для нас) выводом и считает, что в праязыке личные местоимения имели только один падеж (так наз. casus indefinitus – 'неопределенный падеж'), который выполнял функции целого ряда позднейших падежных форм, и в первую очередь – функции генитива и аккузатива.

Числовые показатели. Уже в прауральскую эпоху единственное число, не имевшее специальных показателей, противопоставлялось множественному, а также двойственному числу.

Множественное число. Для обозначения множественного числа подлежащего в прибалтийско-финских, саамском, мордовском, обско-угорских и самодийских языках используется показатель t (или его рефлексы). В результате обособленного развития некоторых языков этот показатель проник и в формы косвенных падежей парадигмы множественного числа имен (обско-угорские языки, эстонский), а иногда и в лично-притяжательные формы для множественного числа обладателя (самодийские языки). В марийском языке этот показатель не употребляется для выражения множественности имен, однако представлен в глагольном спряжении, так же как и в других, упомянутых выше уральских языках, где он распространен в формах множественного числа глагольного сказуемого (в основном в 3-ем лице). Систематическое использование показателя t во многих языках-потомках является несомненным свидетельством его уральского происхожения. Более проблематичным является вопрос о праязыковой сфере функционирования показателя множественного числа t. По мнению Равилы, первоначально этот показатель обозначал только

множественность у сказуемого и лишь впоследствии за счет согласования распространился со сказуемого на подлежащее, которое первично, при передаче значения множественности, стояло в форме единственного числа. Эта гипотеза Равилы основывается по существу на синтаксических конструкциях марийского языка типа uškal [ед.ч.] tolət [мн.ч.] 'коровы идут' (букв.: 'корова идут'). Она существенно подкрепляется тем обстоятельством, что праязыковую парадигму имен, ввиду расхождений в построении форм множественного числа в отдельных уральских языках, во множественном числе реконструировать не удается. Однако этот факт не обязательно предполагает ее полное отсутствие, а для признания уральской древности построения фразы марийского типа, на который ссылается Равила, нет достаточных оснований: такой подход столь же произволен, как и предположение о том, что праязыковое состояние отражает следующий тип синтаксических конструкций в финском языке: hanella on [ед.ч.] siniset silmat [мн.ч.] 'у него (букв. 'имеется') голубые глаза', kivet [мн.ч.] kasvoi [ед.ч.] kantapaihin 'камни выросли (букв.: 'врос') в пятки', laivassa on [ед.ч.] isot mastot [мн.ч.] 'на судне (букв. 'имеется') большие мачты' (см. G. Karlsson, MSFOu, 125, с. 195 – 217). Таким образмо, к гипотезе Равилы об ограничении употребления показателя множественного числа в прязыке сферой сказуемого надлежит относиться с большой осторожностью. Против нее говорит наличие в финском, саамском и самодийских языках (и даже, возможно, в венгерском) почти наверняка связанных генетически показателей множественного числа i (< *j), для которых функционирование в сфере именных показателей можно считать первичным и которые встречаются в падежных формах множественного числа имен, например: фин. koulu-i-ssa 'в школах' (а в самодийских языках также в лично-притяжательных формах для множественного числа обладаемого и даже в глагольных формах для множественного числа объекта).

Различие между двумя праязыковыми показателями множественного числа могло состоять в том, что *t предположительно выражал множественность у подлежащего и у сказуемого, а i (*j) был представлен в косвенных падежах множественного числа имен.

Кроме того, праязыку был известен показатель множественности обладаемого *n, который использовался в составе лично-притяжательных показателей (подробнее о нем см. ниже).

В некоторых уральских языках показатели *j и *n проникли и в систему глагольного спряжения. Например, первый из них обнаруживается в окончаниях определенного спряжения для множественного числа объекта в самодийских языках, а второй – в обско-угорских и мордовских языках. Пока, однако, трудно

решить вопрос о том, можно ли предполагать функционирование этих показателей в сфере личных окончаний глагола уже для праязыкового состояния.

Двойственное число. Ныне двойственное число сохранено только самодийскими, обско-угорскими и саамским языками. Сфера и частота его употребления колеблются не только по языкам, но даже и по диалектам. Наиболее надежно реконструируемый показатель двойственного числа — *-ka/*-kä, который, вообще говоря, возводится к числительному *kakte 'два'. В последнее время на основе данных саамского языка поставлен вопрос о существовании наряду с ним еще одного (*n*-ового) показателя двойственного числа. Определенные следы такого показателя обнаруживаются также в самодийских и обско-угорских языках, поэтому можно всерьез считаться с возможностью его праязыкового происхождения.

Лично-притяжательные показатели. В уральских языках обладатель обозначается с помощью лично-притяжательного показателя (Рх)*, присоединяемого к названию обладаемого. Этот способ обозначения обладателя восходит к праязыку, что доказывает как принципиальную идентичность построения систем Рх, так и то, что Рх в языках-потомках в значительной мере тождественны в материальном отношении.

Принципиальная идентичность реализации систем Рх заключается в том, что во всех уральских языках Рх могут быть возведены к соответствующим личным местоимениям и что эти показатели указывают не только лицо, но и число обладателя, и часто также и число обладаемого. Материальное же тождество их состоит в том, что в отдельных уральских языках они по большей части восходят к одним и тем же праязыковым морфемам.

Уже в праязыке должна была существовать система Рх, первоначально имевших, скорее, характер энклитик, но уже в уральскую эпоху явно превратившихся в аффиксы: лично-притяжательными показателями служили формы единственного и множественного (возможно, даже и двойственного) числа личных местоимений (без местоименных суффиксов) или модифицированные варианты этих форм. Праязыковая система Рх может быть реконструирована приблизительно в следующем виде:

* Здесь и на следующих страницах редакция в целях экономии места сочла возможным принять сокращение Рх для термина "лично-притяжательный показатель" (от нем. Possessivsuffix). Такое сокращение этого термина употребляется в зарубежной лингвистической литературе.

Далее для термина "падежное окончание" из тех же соображений мы будем употреблять сокращение Сх. — *Прим. ред.*

Ед.ч.	Мн.ч. и дв.ч.
1-е лицо -me	-me + показатель мн. (дв.) ч.
2-е лицо -te	-te + показатель мн. (дв.) ч.
3-е лицо -se	-se + показатель мн. (дв.) ч.

(Попытки реконструкции личных местоимений двойственного и множественного числа до сих пор не дали результата, поэтому здесь представлен не ориентировочный фонетический облик соответствующих Рх, а скорее их структурный тип.)

В ходе обособленного развития отдельных групп уральских языков система Рх была расширена, модифицирована или даже переустроена, вследствие чего между системами Рх в современных финно-угорских и самодийских языках наблюдается ряд расхождений. Эти расхождения в основном проявляются в многообразии элементов, которые служат для обозначения числа обладателя (происхождение их порой неясно), в выражении числа обладаемого и в способах комбинирования Рх с падежными окончаниями.

Чаще всего различение чисел обладателя достигается с помощью входящих в состав Рх числовых показателей, однако встречаются случаи, когда это разграничение происходит иным способом; иногда формы Рх единственного и множественного числа совпадают. В венгерском языке одно из существенных отличий между морфемой Рх 3-го лица ед.ч. -A (= -a, -e, -ja, -je, -i) и морфемой Рх 3-го лица мн.ч. -UK (= -uk, -ük, -juk, -jük) состоит в том, что последняя оканчивается согласным, исторически тождественным показателю множественного числа -k. (На синхронном уровне существенно также и различие между гласными, выступающими в единственном и во множественном числе, однако исторически гласные в обоих случаях восходят к уральскому Рх 3-го лица.) В хантыйском языке отличие между Рх 3-го лица ед.ч. (-ət) и Рх 3-го лица мн.ч. (-et) значительно меньшее. Элемент -t в этих показателях — рефлекс уральск. *-se, и различие между единственным и множественным числом выражено только путем чередования ə~e; иначе говоря, ни синхронно, ни исторически не обнаруживается никаких следов показателя множественного числа. В марийском языке различие двух чисел вновь проявляется четко: Рх 3-го лица ед.ч. -ŠE (= -šo, -šö, -šə, -žo, -žö, -žə и т.д.) — Рх 3-го лица мн.ч. -ŠT (= -št, -jšt), где наряду с первичным элементом, обозначающим лицо (-Š), во множественном числе обнаруживается древний числовой показатель. Напротив, в финском языке Рх 3-го лица ед.ч. и Рх 3-го лица мн.ч. обнаруживают полное формальное тождество — оба они имеют вид -NSA (= -nsa, -nsä, -VVn).

Понятны причины пестроты, наблюдаемой в обозначении множественного числа обладателя: у личных местоимений мно-

жественного числа также отсутствует единообразие в числовых показателях, что не позволяет реконструировать их уральские праформы. Из этого, однако, не следует делать вывод об отсутствии личных местоимений и лично-притяжательных показателей множественного числа в праязыке.

Способ обозначения множественности обладаемого также подвержен колебаниям. В венгерском языке для выражения множественного числа обладаемого используется показатель -i. В современных финских формах номинатива и аккузатива имен при Px мн.ч. число обладаемого уже не выражается (однако основа множественного числа косвенных падежей указывает на множественность обладаемого). В марийском языке также нет особых формантов для выражения множественности обладаемого. Тем не менее, в далеких друг от друга языках уральской семьи встречается морфема -n со значением множественного числа. Так, в мансийском языке она до сих пор выражает множественность обладаемого: luw-əm 'моя лошадь' — luw-an-əm 'мои лошади'. В мордовском языке элемент -n выполняет ту же функцию, будучи целиком или частично слитым с Px: kudo-m 'мой дом' — kudo-n 'мои дома', kudo-zo 'его дом' — kudo-nzo 'его дома'. Однако в коми языке этот -n, вероятно, вторичным образом, служит для указания на множественное число обладателя: vel-id 'твоя лошадь' — vel-nid 'ваша лошадь'.

Предполагается, что морфема -n со значением множественности обладаемого существовала и в прибалтийско-финском праязыке. Она прослеживается в финских лично-притяжательных показателях 3-го лица -NSA, 1-го лица -ni (< *-n-mi), а также 2-го лица мн.ч. -nne (< *-n-dek). Все эти реликты, перечень которых можно было бы дополнить еще и самодийскими данными, указывают на такую черту праязыковой системы Px, как употребление показателя -n для обозначения множественного числа обладаемого в сочетании с Px.

С точки зрения способа комбинирования Px и падежного окончания уральские языки можно подразделить на три группы. В большинстве из них (пять самодийских языков, саамский, финский, мордовский) Px следует за падежным окончанием (Cx); напротив, в угорских языках порядок следования иной: Px + Cx. В марийском и в двух пермских языках в парадигме падежного склонения приблизительно в равной мере представлены как один, так и другой порядок следования: одни окончания ставятся перед Px, а другие — после. Это разнообразие способов комбинирования затрудняет реконструкцию прауральского состояния. Впрочем, порядок следования Px + Cx не мог быть в эту эпоху универсальным, поскольку сейчас он характерен лишь для отдельных групп близкородственных языков. Таким образом, или первичен способ комбини-

рования Сх + Рх, представленный в далеких друг от друга уральских языках, или же следует предполагать, что в праязыке порядок следования не был полностью фиксированным. В пользу первого предположения свидетельствуют лично-притяжательные формы наречий и послелогов: по происхождению они представляют собой падежные формы имен, в которых наличие падежного окончания затемнено, причем для них типично расположение Рх в конце цепочки морфем даже и в тех языках, где при падежном склонении господствует порядок Рх + Сх (венг. mellett-em 'около меня', манс. (сев.) am pā̆lt-um 'ко мне', хант. (сев.) ma χośa-m 'ко мне', tuw lakkaŋ-ət 'вокруг него'). Тот же порядок (Сх + Рх) имеет место и в венгерских и коми лично-притяжательных формах инфинитива, где инфинитивный суффикс (венг. -ni, коми -nj̆) содержит (как можно показать путем сравнительно-исторического анализа) лативное окончание (венг. hozni-*e* 'приносить-ему', vinni-uk 'уносить-им', коми munnj̆-d 'идти-тебе' и т.д.; ср. также фин. sano-akse-ni 'говорить-мне'), а также в некоторых венгерских диалектных и архаичных формах типа idétt-em (= az én időmben 'в мое время'), mi idéttonk (= a mi időnkben 'в наше время'), 1543 Sarwaratta (читается: Sárvárátta = Sárvárában 'в его [городе] Шарваре'), где Рх следует за локативным окончанием -tt- (M é s z o l y , ÓmSz, 161).

На наш взгляд, в праязыке Рх добавлялся к падежным формам, то есть имел место порядок Сх + Рх. Однако одновременно с этим, как можно предполагать, в послеложных конструкциях Рх входил в состав именного (первого) компонента конструкции, а послелог следовал за ним (*kata-me alana 'под моим домом'). Возможно, именно аналогия с подобными послеложными конструкциями породила характерный для угорских языков порядок, при котором Рх предшествует элементу с синтаксическим значением. Этому процессу способствовала утрата отдельными послелогами самостоятельной ударности, их усечение и превращение в падежные окончания (например, угор. *kata-mi kusa-k > правенг. *χaδu-mi χusiγ >> *χazum χusé~χusá > др.-венг. χazumχuz > венг. házamhoz 'к моему дому').

Показатели наклонений. Наиболее специфическим формальным отличительным признаком класса глагольных основ была способность к присоединению показателей наклонений. Свою роль категория наклонения играет и в большинстве современных уральских языков. В финском, эстонском, саамском языках глагол имеет 4 наклонения, в мансийском, хантыйском, селькупском — 5, в мордовском — 7, в ненецком — 10. Некоторые из показателей наклонения сформировались в ходе обособленного развития этих языков, однако по крайней мере три существовали уже и в уральском праязыке. Для пра-

языка можно предположить наличие у глагола следующих наклонений: индикатив (изъявительное наклонение), конъюнктив — оптатив (сослагательно-желательное наклонение), императив (повелительное наклонение). Индикатив при этом не имел специального показателя.

Показатель конъюнктива *-nek- имеет, по Коллиндеру, по крайней мере финно-угорское, и даже, возможно, уральское происхождение. Причиной неуверенности является то, что при наличии хорошо засвидетельствованных рефлексов в финно-угорских языках (венг. lát-né-k 'я бы видел', манс. tot-nuw 'он бы принес', фин. sano-ne-e 'он, возможно, скажет' + морд. -ńe-, -ńa- (кондиционалис и конъюнктив), мар. -ne- (дезидератив)) из самодийских языков Коллиндер привлекает только один селькупский показатель сослагательного наклонения, зафиксированного недостаточно полно. Однако при внимательном рассмотрении обнаруживается, что соответствия прафинно-угорского показателя конъюнктива имеются во всех самодийских языках, за исключением нганасанского. Известен селькупский показатель конъюнктива — оптатива -ne-, -ni-(čada-ni-p 'я зажег бы'); этот показатель существует и в камасинском языке в форме -na-, -nɛ-. Сюда же следует, далее, отнести показатели конъюнктива — оптатива в: нен. -ji- (to-ji-n 'ты пришел бы, пусть бы ты пришел'), энецк. -ńi- (mota-ńi-roś 'ты разрезал бы'). Таким образом, уральское происхождение показателя *-nek- не вызывает сомнений.

Показатель императива на основании соответствующих финно-угорских и самодийских данных (венг. -j- : ń-j 'пиши', фин. otta-kaa 'возьмите', anna?, [из более архаичного и сохраненного в диалектах] anna-k 'дай'+саам., морд., самод.) реконструируется в виде *-k-.

В марийском, пермских и обско-угорских языках нет специального показателя повелительного наклонения; в качестве формы 2-го лица ед.ч. этого наклонения здесь выступает чистая глагольная основа (коми mun, удм. mįn 'иди', мар. tol 'приди') или сочетание основы с окончанием 2-го лица (манс. tot-en 'неси'). На основании подобных примеров, а также сходных явлений, наблюдаемых в других языковых семьях, можно предполагать, что в праязыке интонационно сильно выделенная глагольная основа, лишенная показателя наклонения, также могла выражать значение энергичного требования.

Глагольное время. Согласно одной из монографий по истории венгерского языка (Berrár, J. MTM, 23), "в финно-угорском праязыке еще не было специальных средств для выражения времени глагола". Автор другого курса (Klemm, MTM, 71) идет еще дальше и указывает, что "финно-угорские

глагольные формы... первоначально не выражали никакого времени". Д. Лазициуш уже давно подверг критике и опроверг подобные воззрения с точки зрения общего языкознания (MNy, 29: 18 и сл.); неприемлемы они и в свете новейших достижений уральского языкознания.

Показатель ныне устаревшего повествовательного (исторического) прошедшего времени в венгерском языке -é- (nézé 'он смотрел') наряду с показателем претерита -i- в прибалтийско-финских, саамском, мордовском и пермских языках восходит к финно-угорскому показателю прошедшего времени *-j (его следы имеются и в марийском языке). Предположение о связи этого показателя с тем финно-угорским формантом, к которому восходит финский суффикс имени деятеля -ja, -jä (teki-ja 'исполнитель, автор'), является, по всей вероятности, ошибочным.

Имелось, впрочем, и другое средство формального выражения прошедшего времени, поскольку прослеживается уральское происхождение показателя претерита *-ś. Хотя в венгерском языке его рефлексы не представлены, он сохранен в качестве показателя прошедшего времени в самодийских языках (ś~s), в мансийском и хантыйском (s), в мордовском (ś) и, возможно, в марийском, хотя для мар. -š существует и другое объяснение (см. с. 246).

В литературе высказывается мнение, что в финно-угорском праязыке мог существовать и показатель презенса *k (тождественный показателю повелительного наклонения), но доказательства в пользу этого довольно скудны.

Упомянутыми двумя или тремя показателями не исчерпывались, однако, возможности выражения времени в праязыке. Представляется весьма вероятным, что, помимо показателей времени как таковых, временну́ю соотнесенность глаголов могли передавать и другие, отчасти не выраженные формально средства. Тот факт, что в разнообразных формах глагольного времени современных уральских языков важную роль играют нефинитные формы глагола, дает право предполагать, что и в уральском праязыке перфектные и имперфектные нефинитные суффиксальные формы обладали способностью передавать временну́ю соотнесенность глагола без помощи специальных показателей времени. В отдельных случаях подобные суффиксы нефинитных форм могли превращаться в показатели времени (так, в частности, образовался венгерский показатель прошедшего времени -t).

Но временна́я соотнесенность глагола могла, возможно, зависеть и от качества глагола (igeminóség). К такому заключению можно прийти с учетом специфической черты довольно сложной системы выражения времени в самодийских языках, где проявляется архаическая взаимосвязь между качеством и

временно́й соотнесенностью глагола: помимо глагольных форм, снабженных показателями времени, здесь отмечается особый глагольный парадигматический ряд, лишенный показателей времени — аорист (или неопределенное, нейтральное время), в котором соотнесенность отдельных форм с настоящим или с прошедшим временем определяется качеством глагола. Например, в ненецком языке χā-ś 'умереть', temtā-ś 'купить', madā-ś 'разре́зать' (инф.) — глаголы моментального качества: выражаемое глагольной основой действие не имеет протяженности во времени, происходит мгновенно и в момент осуществления уже оказывается достоянием прошлого. Форма такого моментального глагола, не имеющая показателя времени и других суффиксов, соотносится с прошедшим временем: χā 'он умер', temtā-dm 'я купил', madā-n 'ты разре́зал' и т.д. Существует, однако, и другая группа глаголов, качество которых дуративное. Например, действие, выражаемое глаголами jīl′e-ś 'жить', junrā-ś 'спрашивать', χānā-ś 'болеть, страдать' (инф.), имеет характер длительного состояния. Поэтому сочетание основы такого глагола с личным окончанием соотносится с настоящим временем: jīl′e-dm 'я живу', junrā-n 'ты спрашиваешь', χānā 'он болеет'. Показатель прошедшего времени -ś, присоединяясь к глаголам дуративного качества, делает их значения соотнесенными с прошедшим временем. Однако в этой системе глагольного спряжения имеются и другие средства для изменения временно́й соотнесенности. Так, если в семантике моментального глагола за счет итеративного или фреквентативного суффикса подчеркнута повторность, многократность действия, то полученный при этом производный глагол утрачивает временну́ю соотнесенность, определявшуюся исходным моментальным качеством, и приобретает соотнесенность с настоящим временем (например, madā-śeti-n 'ты обычно режешь', madā-rŋā-n 'ты разрезаешь'). Напротив, семантике дуративных глаголов с помощью инхоативно-ингрессивного суффикса, акцентирующего начальный этап или возникновение действия, можно придать соотнесенность с прошедшим временем (χānā-l′jʔ 'он заболел').

Не исключено, что в праязыке, как и в самодийскиях языках, временна́я соотнесенность глаголов не только могла выражаться с помощью показателей времени, но и зависела в известной мере от качества и от видовой направленности глагола. Примеры подобных явлений можно найти не только в самодийских, но и в других языках уральской семьи, что говорит в пользу данного предположения. Важнейшим подтверждением этому служит и то, что если в северных (и некоторых восточных) диалектах хантыйского языка формы прошедшего времени имеют показатель -s, то в южных и восточных диалектах, а также в низямском диалекте (переходном между северным и южным

наречиями) претерит (перфект), напротив, не имеет специального показателя, а формы со значением настоящего времени характеризуются фреквентативными суффиксами. Например, бессуфиксальная и не имеющая показателей личная форма от глагольной основы mən- передает значение претерита: mən-əm 'я шел'. В форме настоящего времени этого глагола обнаруживается фреквентативный суффикс: mən-t-åm 'я иду'. Использование фреквентативного суффикса в качестве показателя презенса имеет место и в других языках (например, венгерский формант -sz-, расширяющий основу в группе неправильных глаголов — le-sz-ek 'я буду' при основе le(v)-, e-sz-em 'я ем' при основе e(v)- — также является фреквентативным суффиксом, некогда игравшим роль показателя настоящего времени). Более того, в венгерском языке можно найти и единичные, архаические примеры безаффиксального образования прошедшего времени (например, lők 'я был', től 'ты делал', lőn 'он был', tőn 'он делал', vőn 'он взял', если, вслед за Дьёрке (NyK, 51: 54–63) считать эти формы сочетаниями глагольной основы с окончаниями 1 — 3 лица -k, -l, -n, ср., однако, N y í r i , CIF: 117 и сл.).

Г л а г о л ь н о е с п р я ж е н и е . Системы спряжения в уральских языках весьма значительно отличаются друг от друга. Число используемых времен и наклонений варьируется по языкам; в одних языках пассивный залог отличается от активного, в других — нет; кое-где особенным образом спрягаются возвратные глаголы; даже в сфере личных окончаний глагола трудно, а порой практически невозможно обнаружить черты языкового родства. Многочисленные расхождения являются следствием того, что системы спряжения отдельных уральских языков приобрели свой современный облик за счет перестроек, происшедших после распада праязыка, в ходе обособленного развития этих языков. Но было бы неправильно делать из этого вывод о полном отсутствии парадигм глагольного спряжения в праязыке. Такой вывод был бы столь же далек от истины, как если бы на основании, например, значительных различий в системах спряжения отдельных хантыйских диалектов мы бы заключили, что в прахантыйском спряжения не было. Мы это подчеркиваем постольку, поскольку, согласно довольно широко распространенному мнению, в финно-угорском праязыке у глагола вообще не было личных окончаний и говорить о глагольном спряжении не приходится (см. B á r c z i , A magyar nyelv életrajza: 57; B e r r á r , MTM: 175). Какие аргументы можно выдвинуть в опровержение этого мнения, популярного главным образом среди венгерских лингвистов?

Классы именных и глагольных основ существовали уже в уральском праязыке. Для имен удается реконструировать раз-

витую падежную систему; следует считать вероятным существование лично-притяжательных показателей и даже лично-притяжательных падежных форм. С типологической точки зрения выглядело бы крайне странным предположение о том, что при наличии системы синтетических именных форм система форм глагола строилась почти исключительно аналитическим способом. В пользу того, что существовала парадигма синтетически образовывавшихся форм глагола, говорит тот эмпирически установленный факт, что языки, используемые в условиях первобытного общества, в высшей степени богаты подобными глагольными формами. В австралийском языке ворора у глагола насчитывается около 1300 форм; ненамного отстает и эскимосский язык со своими 900 глагольными формами, которые создаются за счет комбинирования более чем десятка наклонений с шестью-восемью личными окончаниями и с четырьмя типами спряжения. С этими языками соперничают некоторые из уральских языков (например, мордовский, ненецкий), однако даже в коми и хантыйском языках, обладающих самыми простыми системами спряжения среди финно-угорских языков, различаются по меньшей мере 50 — 80 финитных форм глагола. Кроме того, число глагольных форм относительно велико и в тех языках, где именное словоизменение развито слабо; таков, например, французский язык, в котором при несклоняемом имени существует сложное глагольное спряжение. Из этого можно извлечь тот общий вывод, что глагольная морфология многогранней и сложней именной; это объясняется различной спецификой двух частей речи (так, у глагола может обозначаться лицо, могут существовать формы различных наклонений, времен, залогов и т.д.).

Помимо высказанных соображений общего характера следует отметить еще и то, что в глагольном спряжении различных уральских языков наблюдаются параллельные формы, предполагающие наличие общего праязыкового источника.

В этом отношении, хотя и не решающим, но заслуживающим внимания аргументом является тот факт, что в уральских языках большинство личных окончаний глагола возникло из слившихся с основой личных местоимений. Собственно говоря, это естественный процесс, который происходил и в не связанных генетическим родством языках (например, афразийских, дравидийских, алтайских, некоторых индоевропейских). Несколько более определенным указанием на праязыковой источник данного процесса служит то, что во всех уральских языках личные окончания находятся исключительно в суффиксальной позиции — префиксации или инфиксации окончаний, которые нарушали бы картину единства, не наблюдается.

Еще более веские аргументы в пользу нашей концепции

можно усмотреть в некоторых особенностях глагольного спряжения в уральских языках. Почти во всех уральских языках действует закономерность, согласно которой в 3-м лице единственного числа глагол может иметь две формы: одну – без личного окончания и одну – с личным окончанием. Различие между двумя формами функционально. В венгерском, обско-угорских, северносамодийских и мордовском языках с их помощью противопоставляются неопределенное (субъектное, безобъектное) и определенное (объектное) спряжения:

	Без личного окончания (неопределенное спряжение)		С личным окончанием (определенное спряжение)	
Венг.	lát	'видит'	lát-ja	'видит (это)'
Манс.	toti	'несет'	toti-te	'несет (это)'
Хант.	tet	'ест'	tet-te	'ест (это)'
Нен.	junrā	'спрашивает'	junrā-da	'спрашивает (это)'
Энецк.	mota	'разрезал'	mota-da	'разрезал (это)'
Нган	t́enı̯ntı̯	'знает'	t́enı̯ntı̯-tı̯	'знает (это)'
Морд.	palı̯	'целует'	pala-sı̯	'целует (это)'

В тех самодийских языках – камасинском и селькупском, где ввиду известного упрощения или трансформации глагольного спряжения ныне уже нельзя выделять субъектные и объектные формы, след различия между этими двумя типами спряжения сохранился в том, что личные окончания прежнего определенного спряжения присоединяются к переходным глаголам, а личные окончания прежнего неопределенного спряжения – к непереходным:

	(Непереходные глаголы)		(Переходные глаголы)	
Камас.	ıbe	'лежит'	pārgel'-at	'режет'
Сельк.	ila	'живет'	qōŋı̯-t	'нашел'

Интересно, что следы этой двойственности окончаний имеются и в других финно-угорских языках, хотя в них функциональное распределение дублетных форм 3-го лица ед.ч. (с окончанием и без него) иное, а иногда вообще почти не прослеживается.

Так, в глагольном спряжении коми языка существуют формы 3-го лица ед.ч. с окончанием -s (из личного местоимения 3 л.) и без него. Формы настоящего времени со значением 'он идет' – munẹ и munas – смешиваются друг с другом, хотя вторая из них имеет тенденцию употребляться в значении будущего времени, обособляясь от безаффиксальной формы. Еще более показательно, что в 3-м лице ед.ч. прошедшего времени (претерита) форму без окончания имеют, как правило, *непереходные* глаголы (muni 'он шел'), а форму с -s – *переходные* (bośtı-s

'он взял'). (В удмуртском языке формы с окончанием и без него стали выражать противопоставление настоящего и будущего времени: baśte 'берет' – baśto-z 'возьмет'; в претерите обобщилась форма с окончанием -z.) – Б. А. Серебренников делает попытку обнаружить аналогичное явление в марийском языке. Как известно, марийские глаголы подразделяются на две группы, которые принято называть спряжениями на -am и на -em (по окончаниям 1-го лица ед.ч.). В 1 прошедшем времени глаголы спряжения на -am в 3-ем лице ед.ч. не имеют личного окончания: tol'ə 'он пришел' (≺*tol'əj, где -j – показатель прошедшего времени), но глаголы спряжения на -em приобретают окончание -š: koδə-š 'он получил'. Хотя представляется более вероятным, что формант -š соответствует уральскому показателю прошедшего времени *-ś, нельзя все же пренебречь мнением, согласно которому -š имеет местоименное происхождение и является элементом, указывающим на определенность приглагольного прямого дополнения. Главной опорой такой трактовки служит принадлежащее Серебренникову наблюдение (которое не выглядит бесспорным) о том, что *большинство глаголов спряжения на* -am *– переходные*, тогда как *весьма значительная часть глаголов спряжения на* -em *– глаголы непереходные*. Из этих явлений коми и марийского языков Б. А. Серебренников делает вывод, что некогда на ранних этапах развития этих языков происходило формирование "определенного" спряжения глагола, по крайней мере в 3-ем лице ед.ч. Однако этот процесс застопорился на достигнутой фазе и даже повернул вспять, и за использовавшимся в 3-ем лице ед.ч. объектным окончанием закрепилась иная функция. – Можно сослаться и на некоторые прибалтийско-финские языки (и даже саамский), где также представлены глагольные формы 3-го лица ед.ч. с личным окончанием и без него; впрочем, эти формы не обнаруживают непосредственной связи с переходностью и непереходностью глаголов. Так, в южноэстонском наречии глаголы I спряжения в 3-ем лице ед. ч. не имеют окончания (jaga 'делит', pidä 'держит', tule 'приходит'), а глаголы II спряжения имеют окончание -s (elä-s 'живет', pala-s 'горит', ime-s 'сосет'). Л. Пости объясняет это явление тем, что первоначально формы с окончанием -s приобретались медиально-рефлексивными глаголами, а затем обобщились и на глаголы с другим значением. Согласно Пости, функция -s состояла в выражении особо тесной связи глагольного действия с подлежащим. На наш взгляд, было бы, возможно, правильнее считать, что это окончание само выражает или создает медиально-рефлексивное значение, и возводить его к личному местоимению 3-го лица (≺ приб.-фин. *sen), вторичным образом принявшему функцию возвратного местоимения (ср. русск. *крыться≺крыть себя, мыться≺мыть себя*; др.-нор-

вежск. finna sik > finnask, шведск. finnes 'находиться, иметься'). В пользу этого можно привести еще и тот аргумент, что финский пассив возник из сочетания каузативного суффикса и личного местоимения 3-го лица, употребленного в возвратном значении: приб.-фин. *lähde-täk-sen, *pääs-täk-sen > фин. lähdetään, päästään с исходными значениями 'отправляет, отпускает себя (=его)' (см. Hakulinen, SKRK^2, с. 277).

Таким образом, сосуществование глагольных форм 3-го лица ед.ч. с личным окончанием и без него представлено в ряде уральских языков, причем в целом форма с окончанием употребляется, как правило, у переходных глаголов или по крайней мере обнаруживается древняя связь личного окончания с переходностью глагола. Учитывая почти универсальное распространение двойственности окончаний в уральской семье и черты родства в их функционировании, можно с уверенностью утверждать, что уже в праязыке существовали две возможности образования глагольных форм 3-го лица: с личным окончанием и без него. Реконструкция двух таких форм для праязыка влечет за собой и другой вывод — а именно, вывод о том, что существование двух форм было функционально обусловленным: глагольная форма 3-го лица с личным окончанием уже тогда указывала на определенное прямое дополнение при глаголе. Следовательно, местоимение 3-го лица, агглютинировавшееся в подобных формах в качестве глагольного личного окончания, до своего превращения в аффикс являлось личным или указательным местоимением с аккузативным значением (то есть венг. látja ← lát-azt 'видит-это', lát-őt 'видит-его').

Таким образом, в указанном виде различие между определенным и неопределенным спряжениями — по крайней мере для 3-го лица — существовало уже в праязыке. Впоследствии разграничение между двумя типами спряжения проникло из 3-го лица в два первых, вследствие чего в 1-ом и во 2-ом лице стали различаться личные окончания определенного и неопределенного спряжений. Нет, однако, никаких признаков того, что дополнение определенного спряжения формами для других лиц произошло в праязыке. Более того, расхождения между глагольными формами этого спряжения в угорских, мордовском и самодийских языках решительно противоречат такому предположению.

Характерная черта глагольного спряжения уральского праязыка (как и современных уральских языков) — отсутствие личного окончания в 3-ем лице неопределенного спряжения. Лишенная личного окончания финитная форма 3-го лица в уральских языках по происхождению часто является нефинитной (на-

пример, фин. menee 'идет'≺mene-vä 'идущий', menevät 'идут'≺ mene-vä-t 'идущие'; венг. hall-ott 'он слышал; услышавший', lát-ott 'он видел; увидевший', hall-ott-ak 'они слышали; услышавшие' и т.д. являются одновременно причастиями и финитными формами 3-го лица прошедшего времени глагола). Это не удивительно: в уральских языках вообще часто встречается бессвязочное именное сказуемое (венг. a folyó nagy 'река большая', a bátyám katona 'мой старший брат — солдат' и т.д.). На этих фактах основывается одно из наиболее популярных в уральском языкознании положений, согласно которому в праязыке первичным было сказуемое, выраженное именем действия, а уже из него возникли финитные формы глагола. При такой трактовке признается, что глагольные формы определенного спряжения с личными окончаниями были первоначально именами с лично-притяжательными показателями (венг. küldöm 'я посылаю'←'мое посылание (-мое)', küldte 'он послал' ←'его посланное (-его)'). Эта точка зрения относительно форм определенного спряжения находится в противоречии с тем, что говорилось о них выше. Кроме того, положение о первичности сказуемого, выраженного именем действия, неприемлемо и по другим причинам.

Такие формы 3-го лица ед.ч., как венг. lát 'видит', fél 'боится', jár 'ходит', нен. mā 'он сказал', χā 'умер', морд. vanoś 'он смотрел', и множество подобных им форм никоим образом не могут квалифицироваться, даже с исторической точки зрения, как нефинитные или как имена деятеля: они не содержат суффиксов нефинитных форм или отглагольных имен; в качестве финитной формы 3-го лица ед.ч. в них непосредственно выступает чистая глагольная основа (в мордовском примере — глагольная основа + показатель прошедшего времени).

Нельзя, разумеется, отрицать, что финитные глагольные формы нередко имеют нефинитное происхождение. Нет, следовательно, сомнения, что и в праязыке нефинитные формы могли выступать в функции сказуемого. Однако тот факт, что в качестве сказуемого использовались и нефинитные формы, сам по себе предполагает существование глагола. Явно абсурдным было бы говорить о нефинитных формах при отсутствии глагола.

По нашему мнению, сказуемое в праязыке имело глагольную природу, как и в современных уральских языках. В позиции сказуемого могли, однако, находиться и амбивалентные (то есть входящие как в класс имен, так и в класс глаголов) формы, употребленные в функции глаголов. С этой точки зрения к числу амбивалентных форм следует отнести и нефинитные формы, которые в позиции сказуемого имели значение финитных. Разумеется, амбивалентные

формы, выступая в функции сказуемого, спрягались по образцу глаголов.

Реконструировать глагольные парадигмы праязыка не удается. Можно все же установить, что в глагольных формах различались три лица, три числа (единственное, двойственное, множественное), могло выражаться глагольное время и наклонение и — если не во всей системе, то во всяком случае в 3-ем лице, — сформировалось противопоставление определенного и неопределенного спряжений.

Таким образом, система форм уральского и финно-угорского глагола, судя по этим признакам, была разнообразной и богатой, но к сожалению, для ее реконструкции имеются лишь очень фрагментарные и нечеткие данные, поскольку спряжение глагола в отдельных уральских языках неоднократно трансформировалось и обновлялось.

Деривация. Наряду с одноморфемными основами существуют и производные основы, состоящие из двух и более морфем и образованные или за счет сложения основ, или путем аффиксации — дериваты. Характерной чертой *деривационных словосложений* является встречаемость непосредственных компонентов сложения в качестве самостоятельных основ. Напротив, у *аффиксальных производных* в качестве первичной основы может выступать только один из непосредственных компонентов (прочие их компоненты называются *деривационными аффиксами*).

Рассматривая словосложения, мы использовали определение "деривационные". Оно необходимо для того, чтобы отграничить эти словосложения от так наз. синтагматических словосложений, рассмотрение которых выходит за рамки морфологии. Дело в том, что в значительной части сложных слов наблюдаются синтаксические связи между их компонентами — иными словами, они из часто повторяющихся синтагм превратились в самостоятельные словосложения, произносимые с общим ударением (например: венг. jóvátétel 'исправление', букв. 'хорошим-делание', lelkiismeret 'совесть', букв. 'душевное-знание', hátraarc 'кругом!', букв. 'назад-лицо'; фин. korkeakoulu 'высшая школа', sisäänkäynti 'вход', букв. 'внутрь-ход', työnsaantimahdollisuus 'возможность получения работы' и т.д.). В отличие от них, деривационными или морфологическими мы называем такие словосложения, отношения между компонентами которых нет необходимости или даже нельзя рассматривать как синтаксические (например, парные слова). Особым случаем деривационных словосложений являются копулятивные (суммирующие) словосложения, которые выражают отвлеченное или собирательное понятие путем объединения названий двух характерных

(иногда противоположных) составных частей этого понятия. Примеры: венг. hírnév 'репутация, слава, известность (=весть-имя)', húsvér 'из плоти и крови, живой, настоящий (=мясо-кровь)', szemfüles 'ловкий, пронырливый (=с глазом-ухом)', tűzvész 'пожар (=огонь-погибель)'; эст. õed-vennad 'сестры-братья', isad-emad 'родители (=отцы-матери)', kopsud-maksad 'внутренности (=легкие-печенки)', sool-leib 'хлеб-соль'; фин. maailma 'мир (=земля-воздух)', диал. isä-äit' 'родители (=отец-мать)'; морд. at'at-babat 'супруги' '(=муж-жена)'; мар. šümmokš 'внутренности (=сердце-печень)', коми jaj-lị 'тело (=мясо-кость)'; удм. jm-njr 'лицо (=рот-нос)', sil'-vir 'тело (=мясо-кровь)'; хант. пе-χо 'человек (=женщина-мужчина)', ńot-sem 'лицо (=нос-глаз)'; манс. ā̆γi-piγ 'ребенок (=девочка-мальчик)' и т.д. Подобное словосложение может оказаться затемненным вследствие фонетических изменений (например: венг. arc, orca 'лицо'< orr 'нос' + száj 'рот'; nép 'народ'< nő 'женщина' + fi, ср. fiú 'мальчик, сын'). Не исключено, что подобные словосложения существовали и в праязыке.

На основе этимологического материала, которым мы располагаем, удается выделить лишь очень небольшое число праязыковых производных слов. Они составляют не более полутора процентов реконструируемой лексики. Укажем несколько этимологий, отражающих такие слова, которые уже в праязыке содержали словообразовательные суффиксы:

1. Венг. egér 'мышь'~фин. hiiri< ф.-у. *šiŋere
2. Венг. nyúl 'заяц'~морд. numolo<ф.-у. *ńumala
3. Венг. agyar 'клык'~манс. ăńśər< ф.-у. *ońćere
4. Венг. nара 'теща, свекровь'~фин. anoppi~нен. ŋunap< урал. *anappe
5. Венг. holló 'ворон'~энецк. kuruke< урал. *kolake
6. Венг. velő 'костный мозг'~фин. ydin~морд. ud'eme~хант. weləm<ф.-у. *wĭδeme
7. Фин. askel 'шаг'~удм. ućkị< урал. *aćkele
8. Саам. (южн.) bâŋšĕmĕ 'губа'~манс. pit'əm<урал. *pĭŋseme и т.д.

Роль суффиксального словообразования в праязыке была, однако, более значительной, чем можно было бы заключить, исходя только из числа приведенных примеров. Уральские языки очень богаты словообразовательными суффиксами, и многие из таких суффиксов можно возвести к праязыку. Это и является лучшим доказательством того, что деривация играла значительную роль в праязыке.

В финском языке число продуктивных словообразовательных суффиксов достигает 150, однако в венгерском, хантыйском и в большинстве других уральских языков оно также превышает сотню. Подавляющее большинство их представляет собой суф-

фиксальные комплексы, сложные суффиксы вторичного характера, занявшие место древних и сейчас по большей части непродуктивных суффиксов; лишь сравнительно немногие из праязыковых первичных суффиксов сохранили свою продуктивность, поэтому большинство простых суффиксов обычно обнаруживается лишь в затемненных производных или в составе вторичных суффиксов.

При сопоставлении первичных суффиксов, в основной своей массе непродуктивных, многое становится ясным относительно словообразовательных суффиксов праязыка. Удается, например, установить, что почти все согласные, наличествовавшие в праязыке, были способны выступать в качестве суффиксальных морфем. Если исходить из того, что в праязыке было около 20 согласных, то эту цифру следует признать нижним пределом числа прауральских и прафинно-угорских суффиксов. Однако нет сомнения в том, что в праязыке употреблялось значительно большее количество суффиксов, поскольку морфемы, образованные используемыми в качестве суффиксов согласными, в одном и том же фонетическом облике могли выступать как суффиксы отглагольных глаголов, отыменных глаголов, отглагольных имен и отыменных имен. С учетом этих четырех основных категорий суффиксов их возможное количество, при наличии 20 согласных, могло достигать примерно 80. Если добавить сюда суффиксальные сочетания (речь может идти главным образом о сочетаниях носового со смычным), а также местоименные суффиксы, то можно полагать, что в праязыке набор суффиксов в численном отношении более или менее соответствовал средней для финно-угорских языков величине.

Вероятно, праязык использовал свои суффиксы столь же широко, как и выделившиеся из него языки-потомки; за счет этого количество слов было явно значительно большим, чем число доступных реконструкции основ (см. раздел "Объем словаря"). Помимо характерных для реконструируемых форм согласных, суффиксы могли содержать и гласные, образуя отдельный слог. Благодаря этому двусложные именные и глагольные корни могли служить базой для образования слов из трех и более слогов.

Разграничить праязыковые словообразовательные суффиксы по их функциям не всегда легко: очень часто сочетание корня с суффиксом не содержит никаких или почти никаких семантических модификаций по сравнению с самим корнем. Отношения праязыковых суффиксов и корней наиболее прозрачны в случаях образования имен от глаголов и глаголов от имен, поскольку при этом присоединение суффикса влечет за собой переход корня в другой класс основ (имя→глагол, глагол→имя), и это обстоятельство четко определяет основную функцию суф-

фикса. Но отыменное имя и отглагольный глагол нередко и при синхронном анализе оказываются синонимичными корню, поэтому точное установление функции суффикса в этих случаях затруднено, а с исторической точки зрения часто вообще невозможно.

Из *суффиксов отглагольного словообразования* к праязыку могут быть возведены группы суффиксов имен деятеля, имен действия и нефинитных форм глагола. Правда, они не всегда четко отграничены друг от друга, но существенно то, что и в праязыке существовал ряд суффиксов, характерных для нефинитных форм (основными были суффиксы с формантами m, p, k, t). *Суффиксы отыменных имен* могли, вероятно, иметь деминутивно-аугментативные и, возможно, детерминативные значения.

Из *глагольных суффиксов* в праязыке можно предположить наличие фреквентативных, континуативных, дуративных, инхоативно-ингрессивных, каузативных и рефлексивных.

Особую функциональную группу составляли так наз. *местоименные суффиксы.* В венгерском языке они уже утратили какую бы то ни было значимость, и даже следы их обнаружить почти невозможно, однако в других языках они играют еще значительную роль (например, в прибалтийско-финских языках насчитывается, согласно Оянсуу, около 20 местоименных суффиксов). В праязыке существовало не менее восьми местоименных суффиксов. Наиболее распространенным из них был *-n, который встречался преимущественно в личных, указательных и вопросительных местоимениях, обозначающих одушевленные предметы и лиц (ср. фин. minä 'я', sinä 'ты', hän 'он'; морд. mon, ton, son; венг. ten-magad 'ты сам', ön-magunk 'мы сами',?én 'я' и т.д.).

СИНТАКСИС

Сравнительно-исторический метод не позволяет выяснить детали праязыкового синтаксиса: это было бы возможным лишь при наличии оставшихся от праязыка текстов. Тем не менее данные родственных языков дают основания для некоторых осторожных выводов общего характера в том случае, если появление совпадающих синтаксических особенностей в отдельных языках конвергентным путем не представляется вероятным.

1. В отличие от тех исследователей, которые относят формирование двусоставных предложений к эпохе уральского праязыка и датируют этой же эпохой момент появления членов предложения, мы полагаем, что подобные проблемы входят в компе-

тенцию палеолингвистики. Очевидно, что при наличии у человеческого языка по крайней мере пятисоттысячелетней истории неодносоставное предложение и его члены возникли не в течение последних десяти тысячелетий, и их генезис следует относить не ко времени существования праязыков отдельных языковых семей, а ко временам, на несколько сот тысяч лет более ранним. Таким образом, отправной точкой для нас является то, что в уральском языке существовало распространенное предложение, включавшее подлежащее, сказуемое и другие члены предложения.

2. Уральский праязык не был беден морфологическими средствами. Реконструкции поддается значительное число грамматических формантов. Но следует отдавать себе ясный отчет в том, что совокупность имевшихся в праязыке морфологических средств не предстает перед нами во всей своей полноте. Тем самым нельзя согласиться с теми языковедами, которые замыкают языковую эволюцию рамками уральской эпохи и последующих языковых состояний, утверждая, что уральский праязык вначале был языком аналитического строя и что синтетическая конструкция предложения, характерная для современных уральских языков, – достижение нескольких последних тысячелетий. Не подлежит никакому сомнению, что в праязыковом синтаксисе сосуществовали синтетические и аналитические черты. В пользу синтетичности уральского праязыка говорит существование падежной системы, сочетаемость парадигматических форм с лично-притяжательными показателями, наличие глагольного спряжения, возможность обозначения числа, предполагаемая важная роль конструкций с нефинитными формами глаголов, тогда как об аналитизме в синтаксисе свидетельствуют отрицательный глагол, употребление послелогов и других служебных слов, наличие определенных правил порядка членов предложения, отсутствие у некоторых членов предложения формальных признаков. Конечно, точно установить взаимное соотношение аналитических и синтетических элементов в синтаксисе трудно или даже невозможно.

3. В уральском праязыке сказуемое в предложении имело глагольную природу. Это утверждение относится и к тем случаям, когда в качестве сказуемого выступали нефинитная форма глагола или вообще амбивалентное (то есть способное в других позициях иметь значение имени) слово. Природу сказуемого следует считать глагольной и тогда, когда в 3-ем лице ед.ч. оно совпадало по форме с соответствующим именем, употребительным и в качестве подлежащего. В последнем случае глагольный характер обеспечивался вхождением в глагольный парадигматический ряд и предикативной функцией в предложении.

4. Сказуемое являлось важнейшей составной частью пред-

ложения (с его помощью могло выражаться и подлежащее) и помещалось, как правило, в конце предложения.

5. Напротив, подлежащее помещалось в первой половине предложения.

6. В уральских языках управляемое (зависимое) слово предшествует, как правило, управляющему (главному члену конструкции). Это одно из важнейших правил порядка слов в уральском праязыке. В соответствии с этим правилом определение предшествует определяемому слову, прямое дополнение — глаголу, обстоятельство — тому члену предложения, к которому оно относится.

7. Согласования между определением и определяемым словом не было — об этом свидетельствуют языки-потомки. В тех языках, где развилось согласование между определением и определяемым словом по числу и падежу, это объясняется иноязычным влиянием или является результатом спонтанного развития. (Полное согласование выработалось в финском языке, частичное — в эстонском и саамском, изредка согласование наблюдается в мордовском и ненецком языках.)

8. Союзы сформировались в отдельных уральских языках независимо, однако в некоторых языках процесс их формирования не был завершен. Например, в самодийских языках наблюдается спонтанное возникновение лишь сочинительных союзов, а подчинительные союзы и придаточные предложения отсутствуют. Вместо придаточных предложений используются конструкции с нефинитными формами глагола: нен. śweroṕermaχad t o w a n d o ʔ[лично-притяжательная форма 3-го лица мн.ч. генитива глагольного имени от to- 'прийти'] pūna ŋaćekiʔ ńāχatoʔ m a n e ʔ m a m d o ʔ [лично-притяжательная форма 3-го лица мн.ч. аккузатива глагольного имени от mane- 'увидеть'] wad'eʔ-ŋaʔ 'после того, как дети пришли со зверофермы, они рассказали товарищам, что они увидели' (букв.: 'со зверофермы п р и х о д а - и х после дети товарищам-их у в и д е н н о е - и х рассказали').

Если в самодийских языках в рамки подобных конструкций прекрасно вмещается все то содержание, для передачи которого другие языки прибегают к помощи сложноподчиненных предложений, то для большинства финно-угорских языков последние уже не чужды, хотя в них представлены также и средства для трансформации придаточных предложений в конструкции с нефинитными формами глагола. Примеры: фин. hän teki itsemurhan v i i l t ä m ä l l ä [адессив 3 инфинитива от viiltä- 'резать'] kurkkunsa poikki букв. 'Он покончил с собой перерезанием горла' → hän teki itsemurhan sillä tavalla, että hän viilsi kurkkunsa poikki 'Он покончил с собой тем способом, что он перерезал себе горло'; kun päivä on laskenut, tulee kylmä 'когда заходит солнце, стано-

вится холодно'→päivän l a s k e t t u a tulee kylmä букв. 'Солнце зайдя становится холодно'; др.-венг. НВ h a d l a u a choltat 'услышав, что он умрет'; хант. (вост.) mä w ə m a m weli kălas 'мною купленный олень издох' и т.д.

Широкое распространение конструкций с нефинитными формами, сгруппированных в предложении вокруг центрального финитного глагола, и отсутствие восходящих к праязыковой эпохе подчинительных союзов дают основания предполагать, что в праязыке не было союзных придаточных предложений. Однако существовали, вероятно, бессоюзные сложноподчиненные предложения (например, с придаточным дополнительным — типа тех, в которых союз может опускаться, как в венгерском языке: НВ latiatuc feleym zumtuchel mic vogmuc 'Узрите, братия, глазами своими, каковы мы'), хотя чаще всего содержание придаточных предложений передавалось, по всей вероятности, в рамках конструкций с нефинитными формами глагола.

9. В уральском праязыке уже существовали сложносочиненные предложения, однако в их построении союзы, вероятно, не участвовали.

В некоторых уральских языках иногда наблюдается повторение сказуемого при каждом из однородных членов предложения: нен. ńiśew χāś, ńeb'ew χāś, ńāw χāś 'Мои отец, мать и брат умерли' (букв.: 'Мой отец умер, моя мать умерла, мой брат умер'), хант. tankə w e t ə s, ńoχəs w e t ə s 'Белку и соболя он убил' (букв.: 'Белку он убил, соболя он убил'). Таким образом, первоначально каждый из однородных членов вместе с относящимся к нему сказуемым образовывал отдельное предложение, а выражение сочинительной связи внутри предложения возникло за счет стяжения таких предложений. Этот процесс, вероятно, осуществился уже в праязыке, и уже тогда в определенных обстоятельствах было возможным простое соположение двух однородных членов предложения (ср. венг. a malacnép sír-rí, b o r j ú, b á r á n y béget (Я. Арань) 'Визжат поросята, блеют теленок, ягненок'; камас. n ü k e b ü z e amnōbi?i? 'Старуха [и] старик жили'). Поскольку, однако, между двумя стоящими рядом словами, не оформленными показателем синтаксической связи, часто может иметь место и подчинительная связь (субъектная, объектная, обстоятельственная конструкции также могут оставаться неоформленными), стало необходимым формальное выражение сочинительной связи. Судя по данным современных уральских языков, однородность членов предложения, не соединенных союзом, могла обозначаться как путем снабжения однородных членов одним и тем же аффиксом, так и присоединенем аффикса только к одному из них. Примеры наличия аффиксов у обоих однородных членов: нен. w e s o k o χ o? p u χ ū-ć a χ a? 'старик со старухой', хант. i m e ŋ ə n i k e ŋ ə n usŋən

'женщина [и] мужчина жили' (в этих примерах однородные члены оформлены показателями двойственного числа); венг. lassan szétszéled a homályban bitang j ó s z á g o m , k e d v e m , v á g y a m (А. Тот) 'Медленно разбредаются в тумане мое беспризорное богатство, мое желание, мое влечение', нен. ńe b ´e d a ńiśe d a χājeχa? 'Его мать [и] его отец [там] остались' (в этих примерах однородные члены предложения оформлены лично-притяжательными показателями); венг. l é l e k b e n , h a n g s z e r e k b e n mind vígan zeng a húr (М. Верешмарти) 'В душе, в инструментах все так же весело звучит струна', фин. kävelen a a m u i n i l l o i n 'Я гуляю по утрам и по вечерам' (в этих примерах однородные члены предложения оформлены падежными окончаниями); фин. hän on ihan s u u t o n s a n a t o n 'Он совершенно молчалив и нем' (букв. 'безротый и бессловесный') (оба однородных члена оформлены словообразовательным суффиксом). Примеры наличия аффикса только у одного из однородных членов: коми luna voj 'днем и ночью', венг. férjes feleség 'муж и жена'[1], bús harag 'печаль и гнев' (коми -a, венг. -s – суффиксы прилагательных обладания, ввиду чего первые слова этих конструкций могут быть поняты и как определения ко вторым компонентам); нен. (лесн.) rusea ŋäewa ŋ u t ā t a jurt pitāśtu 'Русский голову [и] руку в жир окунает' (в отличие от предшествующих примеров, здесь оформлен не первый, а второй компонент, и использован аффикс, исторически идентичный лично-притяжательному показателю 3-го лица ед.ч.); в подобных случаях один из компонентов – второй, а иногда и первый – часто снабжен окончанием комитатива-инструменталиса: венг. a királyfi a l e á n n y a l egy pár lettek 'Принц с девушкой поженились'; манс. (южн.) ā̈ m p n ä t məšäχ ük$_{o}$in ä alantat 'С собакой кошка вместе не живет' и т.д.

10. Характерно отсутствие конструкции с глаголом обладания. Таким образом, обладание выражалось (и выражается) не с помощью особого вспомогательного глагола ("иметь"), а посредством притяжательной конструкции с участием глагола бытия (название обладаемого снабжено лично-притяжательным показателем, указывающим на обладателя; кроме того, может иметься и само название обладателя в генитиве или дативе: венг. (nekem) van két fiam 'у меня два сына', фин. minun on jano 'я хочу пить' (букв.: 'у меня жажда'), сельк. man ōker ā̈täm ēŋa 'у меня есть один олень'.

11. После количественного определения имя стоит в единственном числе: венг. négy l e á n y 'четыре девушки' (букв.:

[1] Согласно предположению Д. Фокоша-Фукса, из конструкций типа férjes feleség за счет переосмысления суффикса -(e)s возник венгерский сочинительный союз (é)s 'и': ср. férj és feleség "муж и жена".

'четыре девушка'). Единственное число употребляется и при названиях парных частей тела или парных предметов одежды: фин. hanella on kengat j a l a s s a 'у него башмаки на ногах' (букв.: 'башмак на ноге'), венг. k e z e t mos 'моет руки' (букв. 'руку'), a f ü l e is kétfelé áll 'Его уши (букв.: 'ухо') тоже торчат в разные стороны'. Вследствие этого одна из парных частей тела обозначается, как правило, с помощью слова 'половина': венг. félláb'ú 'одноногий' (букв . 'полуногий'), фин. silmapuoli 'одноглазый' (букв.: 'полуглазый'), хант. sempelək – то же.

12. В отрицательных конструкциях используется отрицательный глагол (в венгерском языке он утрачен). Основа отрицательного глагола в уральском праязыке имела вид *e- (ср. фин. en mene, et mene, ei mene, коми og mun, on mun, oz mun 'не иду, не идешь, не идет' и т.д.)

13. Различение с помощью падежных окончаний трех видов обстоятельств места (отвечающих на вопросы *'где?', 'откуда?', 'куда?'*) – общее праязыковое наследие всех уральских языков. Наличие у определенных глаголов специфических моделей управления обстоятельствами места характерно для всех языков уральской семьи.

Одной из групп глаголов свойственно *лативное* управление, указывающее на то, что действие к у д а - т о направлено (в индоевропейских языках действие в подобных случаях рассматривается как г д е - т о происходящее): венг. o d a hagyta 'там (букв : 'туда') оставил', h o v á maradtál oly sokáig 'где (букв.: 'куда') ты оставался так долго', v í z b e fúl 'в воде (букв. 'в воду') тонет', o d a ég, o d a fagy 'там (букв.: 'туда') горит, там (букв.: 'туда') замерзает'; фин. hän jai s i n n e 'он остался там' (букв.: 'туда'), han kuoli v e t e e n 'он утонул в воде' (букв.. 'он умер в воду'); хант. (южн.) j ə n k a čŭjətot 'он в воде (букв.: 'в воду') утонул' и т.д. При других глаголах наблюдается *аблативное* управление: фин iloitsen o n n e s t a s i 'радуюсь твоему счастью' (букв.: 'от твоего счастья'), han loysi sen m e t s a s t a 'он нашел это в лесу' (букв.: 'из лесу'); венг. a r c u l ut 'дать пощечину' (первоначально 'от лица ударить'), диал hajától fogvást 'держась за волосы' (букв..'от волос').

ЛЕКСИКА

Объем словаря. Объем праязыкового словаря поддается лишь приблизительному определению. Зная прауральскую систему фонем, наиболее частые типы свободных морфем и их морфонологическое строение, можно рассчитать максимально возможное количество самых употребительных, наиболее характерных слов. Если, например, принять для упрощения расчета, что в праязыке существовало 20 согласных и 10 гласных фо-

нем, а морфонологическая структура слов соответствовала типам, указанным на с. 216, то максимальное количество слов, которые можно было построить по этим типам, будет равняться:

слова типа	VCV	10·20·10	2 000
,, ,,	VCCV	10·20·20·10	40 000
,, ,,	CVCV	20·10·20·10	40 000
,, ,,	CVCCV	20·10·20·20·10	800 000
	Итого		882 000

Расчет основан на том, что, например, для слов типа VCV существует 10 возможностей выбора одной из десяти V анлаута. Для каждой из этих возможностей имеется, далее, 20 различных возможностей выбора одной из двадцати C инлаута. Наконец, для каждой из 10·20 комбинаций возможностей вновь существует 10 возможностей выбора одной из десяти C ауслаута, что и дает общее максимально возможное количество 10·20·10.

Известно, однако, что сочетаемость гласных в указанных выше типах слов была ограниченной: во втором слоге (в конце основы) могли находиться только три гласных фонемы (e, a, ä – далее они обозначаются V^1, V^2, V^3), причем одна из них – V^1 – могла сочетаться (если пренебречь деталями) со всеми десятью гласными первого слога, а две других — только с пятью каждая: в соответствии с правилом гармонии гласных можно предполагать, что V^2 выступала в конце слова лишь тогда, когда в первом слоге находились V_{1-5}, а V^3 могла следовать только за пятью другими гласными первого слога (V_{6-10}). С учетом этого приведенный выше расчет должен быть изменен в том отношении, что выбор ауслаутного V можно производить не десятью, а только д в у м я способами: если в первом слоге представлена одна из гласных фонем V_{1-5}, во втором слоге может наличествовать только V^1 или V^2; если же в первом слоге представлена одна из гласных V_{6-10}, то во втором слоге может выступать только V^1 или V^3. Других возможностей выбора нет, поэтому:

количество слов типа	VCV	10·20·2	400
,, ,, ,,	VCCV	10·20·20·2	8 000
,, ,, ,,	CVCV	20·10·20·2	8 000
,, ,, ,,	CVCCV	20·10·20·20·2	160 000
	Итого		176 000

Таким образом, максимально возможное количество, достигавшее при первом варианте расчета почти миллиона, значительно сокращается при учете сочетаемости гласных. Следует,

однако, внести и другие поправки, приняв во внимание, что некоторые из согласных не могли находиться в положении анлаута, и что количество сочетаний согласных внутри слова также было ограниченным. Следовательно, если при тех же исходных предпосылках оговорить, что в анлауте могли встречаться только 15 согласных и что внутри слова могли быть представлены лишь 7 сочетаний согласных (в действительности их было, разумеется, больше, но для упрощения расчета можно пренебречь сравнительно редкими сочетаниями согласных), то расчет примет следующий вид:

количество слов типа	VCV	10·20·2	400
” ” ”	VCCV	10·7·2	140
” ” ”	CVCV	15·10·20·2	6 000
” ” ”	CVCCV	15·10·7·2	2 100
Итого			8 640

В этом варианте расчета сочетания согласных (CC) рассматриваются как единый, нерасчленимый элемент, поскольку задано не количество возможностей выбора первого и второго из входящих в них компонентов C, а количество возможностей выбора всего сочетания CC в целом.

Таким образом, при наложении дополнительных условий возможное количество слов указанных типов составляет 8 640. Естественно, язык не использует все логические возможности без остатка — в различных языках практически реализуется (в одно- и двусложных словах) лишь небольшая часть (как правило, 10 — 40%) логических возможностей.

Насколько же соответствуют эти теоретические построения действительности? Этимологий, отражающих лексику уральской и финно-угорской эпох, насчитывается до 1 200. Почти все из 1 200 возводимых к праязыку слов представляют собой неразложимые корни. Если, однако, принять, что по крайней мере половина (а возможно, и больше) праязыковых корней исчезла без следа или не выявлена, то в принципе число корней в праязыке можно оценить в 2 500: это число составляет примерно 30% количества логически возможных форм, и таким образом выглядит реальным. Конечно, оно не отражает полного объема праязыкового словаря. У этих двусложных корней могли существовать разнообразные многосложные дериваты; кроме того, состав лексики мог возрастать и за счет словосложений. Соотношение корневых и производных слов иллюстрирует тот факт, что этимологический словарь венгерского языка (Szófejtő Szótár) содержит 5000 статей, характеризующих наиболее часто встречающиеся синхронно неразложимые слова, тогда как лексика венгерского языка значительно более многочисленна:

толковый словарь (Értelmező Szótár) включает около 60 000 статей и около 120 000 сложных и производных слов, приводимых внутри статей без толкования. Готовящийся к изданию большой академический словарь (Akadémiai Nagyszótár) будет содержать около 800 000 статей. На основе имеющихся оценок считается, что в целом словарный состав венгерского языка еще более велик и превышает один миллион слов — впрочем, это лишь ориентировочное число, поскольку количество слов в языке, если и является конечным, то практически не поддается исчислению.

С точки зрения богатства понятий праязык несопоставим с современным венгерским языком, но можно смело утверждать, что с учетом соотношения между корневыми и производными от них словами полный объем прауральского и прафинно-угорского словаря был значительно больше того количества корней, которое было установлено выше отчасти эмпирическим, отчасти умозрительным путем. Практика показывает, что даже народности, находящиеся на самой низкой ступени социального и экономического развития и ведущие примитивное хозяйство, которое основано на охоте и рыболовстве, при своем довольно простом образе жизни обладают на удивление богатой и разнообразной лексикой, исчисляемой несколькими десятками или даже сотнями тысяч слов. И, вероятно, не будет ошибкой предполагать, что объем праязыкового словаря — с учетом дериватов — достигал по меньшей мере 20 000 — 25 000 лексических единиц и даже, возможно, значительно превосходил это минимальное количество.

Семантическая группировка лексики. В предыдущей главе были указаны важнейшие с культурно-исторической точки зрения этимологии, с помощью которых удалось обрисовать образ жизни общества уральской и финно-угорской эпох. Здесь вкратце суммируются этимологии такого рода с группировкой их по значениям. Указываются, как правило, венгерские рефлексы (звездочкой отмечены исходные значения, если они утрачены современным языком или же являются устаревшими либо диалектными). Если реконструируемое слово в венгерском языке не сохранилось, его значение дается курсивом (а в скобках приводится, если это возможно, финский рефлекс).

Лексика, связанная с рыболовством, водоемами: hal 'рыба', tat(hal) 'линь', háló 'сеть', *запруда для рыбной ловли* (фин. otava); ár 'паводок', hab *'волна', halad *'плыть', jó *'река', láp 'болото', nyár *'болотистая местность', tó 'озеро', úszik 'плыть', víz 'вода', ? mart 'холм, берег реки', *грести* (фин. soutaa) и др. — уральские этимологии. — Финно-угорские этимологии со значениями того же круга: fal *'морда (мешок) в верше', vejsze

'запруда для рыбной ловли', ? para 'поплавок'; *удочка* (фин. onki), ? hajó 'судно', őn 'голавль', keszeg 'лещ', meny(hal) 'налим' и др.

Охота: (урал.) íj 'лук', nyíl 'стрела', ideg 'тетива', ín 'сухожилие', *охотиться* (фин. ruutää), *выслеживать* (фин. noutaa), *белка* (фин. orava), ? evet 'белка', fogoly 'куропатка', nyúl 'заяц', toll 'перо'; (ф.-у.) lő 'стрелять', öl 'убивать', ravasz *'лиса', róka 'лиса', fajd 'глухарь, тетерев', lúd 'гусь', vöcsök 'чомга', nyuszt 'лесная куница', nyest 'куница', hölgy *'горностай', *северный олень*, nyúz 'освежевать' и др.

Флора: (урал.) fa 'дерево', *ель* (фин. kuusi), *сибирский кедр, пихта, лиственница*, fagyal *'ива', *береза* (фин. koivu); (ф.-у.) fenyő 'сосна', szil 'вяз',? ág 'ветвь', tő 'ствол', kéreg 'кора', vessző 'прут', hánes 'луб',? héj 'кора', meggy *'ягода', bogyó 'ягода', ? fürt 'гроздь', hagyma 'лук', vad *'лес' и др.

Питание: (урал.) főz 'варить', *угли* (фин. sysi), *огонь* (фин. tuli), fazék 'горшок', mony *'яйцо', íz 'вкус', fal 'пожирать'; (ф.-у.) lé *'суп', vaj *'жир', kenyér *'лепешка', *крупа, каша*, köles 'просо', *зерно* (фин. jyvä), háj 'сало', méz 'мед', *соль* (фин. suola) и др.

Лексика, которая — наряду с данными палеоботаники — указывает на северные, холодные районы расселения: (урал.) *сани* (фин. ahkio), *лыжи* (фин. suksi), köd 'туман', hó 'снег'; (ф.-у.) jég 'лед', fagy 'мороз', olvad 'таять' и др.

Жилище, одежда: (урал.) *поселиться~жить оседло* (фин. asua), *шест чума* (фин. vuoli), (ajtó)fél(fa) 'косяк двери'; öv 'пояс', *игла* (фин. äimä), ujj 'рукав', mos 'мыть, стирать', szíj 'ремень', fon 'прясть'; (ф.-у.) ház 'дом' (первоначально в виде землянки, чума), rak *'строить', ? lak 'жилище', ágy *'постель', ajtó 'дверь'; kengy- *'подошва' (ср. kengyel 'стремя'), varr 'шить', szeg *'подшивать', csomó 'узел' и др.

Хозяйственная утварь и выполняемые с ее помощью действия, названия веществ: (урал.) fúr 'сверлить', nyél 'рукоятка', ? fest 'красить', *клей* (фин. tymä), vas 'железо', bőr 'кожа', *кремень* (фин. pii), *кость* (фин. luu); (ф.-у.) kés 'нож', ár 'шило', *топор*, vés 'долбить', köt 'вязать', szarv 'рог', kő 'камень', arany 'золото', ón 'олово', ezüst 'серебро' и др.

Счет: (урал.) olvas *'считать', két 'два', húsz 'двадцать'; (ф.-у.) három 'три', négy 'четыре', öt 'пять', hat 'шесть', hét 'семь', száz 'сто' и др.

Ориентация во времени и пространстве: (урал.) *время года* (удм. ar 'год'), *лето* (фин. suvi), hó 'месяц', húgy *'звезда', *день*, hol- *'утром'; (ф.-у.) év *'время', *год* (фин. vuosi), tél 'зима', tavasz 'весна', ősz 'осень', éj 'ночь', haj(nal) 'заря', menny 'небо', bal 'левый' и др.

Названия домашних животных почти не представлены.

Одно из названий *собаки* имеет финно-угорское происхождение (фин. peni), однако существует слово и уральского происхождения, которое также могло обозначать это животное (фин. koira). Финно-угорскими являются названия *овцы* и, возможно, *свиньи* (фин. uuhi, porsas), но последнее явно представляет собой индоевропейское заимствование. Термины земледелия в уральской и финно-угорской лексике не представлены.

Общество, семья: (урал.) eme *'мать', ős *'отец', fél 'супруг', meny 'невестка, сноха', vő 'зять', nő 'женщина, жена', napa 'теща, свекровь', *деверь, шурин* (фин. nato), *девушка* (фин. neiti), ? *ребенок* (фин. lapsi), ? rokon 'родственник', *дядя* (фин. setä); (ф.-у.) ipa 'тесть, свекор', ángy 'свояченица, золовка', had *'род', fiú 'сын', férj 'муж', árva 'сирота' и др.

Религиозные представления: (ф.-у.) *шаман* (фин. noita), lélek 'душа', hagy- *'злой дух' (ср. hagymáz 'тиф'), révül 'впадать в транс' (в последнем случае не исключено уральское происхождение слова).

Значительная часть праязыкового словаря не столь показательна с культурно-исторической точки зрения. Заслуживает упоминания, что к этому древнейшему слою лексики уральских языков относятся очень многие из названий частей тела, объектов и явлений природы, равно как и большинство местоимений и немалая доля слов, служащих для обозначения элементарных процессов, ощущений, действий, а также свойств.

ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ; ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Строго говоря, изучение формирования предложения и морфологических средств относится к области общего языкознания, к проблематике глоттогенеза, однако заслуживают внимания и те шаги по разработке этих вопросов, которые были предприняты в рамках уральского языкознания.

Происхождение аффиксов. В уральских языках-потомках возникло много новых, не существовавших в праязыке аффиксов. Значительная их часть обязана своим происхождением слиянию имевшихся и ранее аффиксов или преобразованию их облика и функций. Нередко, однако, в истории отдельных языков непосредственно наблюдаются два типичных способа возникновения новых первичных аффиксов — *агглютинация* и *адаптация*. Языки уральской семьи представляют много примеров агглютинативного образования именных словоформ (снабженных окончаниями) за счет словосложения, что и послужило основанием для довольно распространенного, особенно в прошлом, взгляда, согласно которому падежные окончания ранее являлись

самостоятельными именами, имевшими определенные значения. Явление адаптации привлекло к себе внимание уралистов в основном в последние десятилетия. Одно за другим стали появляться объяснения; согласно таким объяснениям, то или иное падежное окончание первоначально не имело функции окончания, а возникло из словообразовательного суффикса или из конечного элемента слова под действием внутрифразовых связей, за счет дифференциации и адаптации к выполнению новой функции. Особенно широко использовалась теория адаптации для объяснения генезиса первичных прауральских падежных окончаний. Равила, Уотила, Фаркаш, Лако, Фокош-Фукс обосновывали теоретически и демонстрировали на практике, что первичные падежные окончания уральских языков возникли в результате адаптации суффиксов, которые в свою очередь восходят к местоименным основам, использовавшимся на ранних этапах развития языка в качестве энклитик. Так, согласно Равиле, окончание генитива-инструктива первоначально было суффиксом прилагательных. Д. Фаркаш воспринимает окончание генитива *-n*, как и окончание прямого дополнения *-m* и (как можно заключить из его высказываний) другие праязыковые падежные окончания как былые суффиксы с актуализирующей функцией, имевшие местоименное происхождение. Также местоименное происхождение предполагает для праязыковых локативных окончаний Д. Лако. К его мнению присоединяется и Д. Фокош-Фукс, который постулирует для праязыка неоформленность обстоятельств (то есть дофлективное состояние) и делает попытку обрисовать на основе обширного языкового материала отдельные этапы развития независимых местоименных основ-актуализаторов в падежные окончания.

Главные аргументы при таком подходе состоят в том, что и лично-притяжательные показатели, и личные глагольные окончания обнаруживают признаки местоименного происхождения и что этимологизация аффиксов из дейктических указательных местоименных элементов и частиц выдвигалась и на индоевропейском языковом материале. Хотя в принципе связь окончаний, показателей, словообразовательных суффиксов с местоименными основами и дейктическими частицами действительно не исключена, нет ни возможности, ни даже необходимости объяснять этим способом возникновение аффиксов в праязыковую эпоху. Словообразовательные суффиксы и окончания, а отчасти и показатели в праязыке были уже четко отграничены друг от друга, и нет никаких причин в о ч т о б ы т о н и с т а л о пытаться обнаружить связь между ними применительно к этой эпохе. Проблематика их возникновения уводит исследователя далеко вглубь доуральской эпохи, создавая широкий простор для догадок.

Можно поэтому согласиться с Э. Итконеном, высказавшим по данному вопросу следующее мнение: "Если попытаться представить состояние языка в дофлективный период, то вряд ли можно прийти к другой точке зрения, кроме той, что аффиксы восходят к коротким указательным и дополнительным словам типа местоимений и частиц. Однако по отношению к уральским языкам этот период лежит в столь отдаленном прошлом, что наш взгляд уже не способен в него проникнуть. Конечно, могут быть выдвинуты теоретические реконструкции, но нельзя рассчитывать найти в современных языках надежную отправную точку для объяснения происхождения флексии и различных стадий ее развития. Нельзя слишком полагаться и на фонетические совпадения, обнаруживаемые между словообразовательными и словоизменительными аффиксами, с одной стороны, и местоименными основами — с другой. Система словообразования в финно-угорских языках столь богата и разветвленна, что в словообразовательных суффиксах встречаются все звуки праязыка почти во всех возможных комбинациях; значительно и количество словоизменительных элементов. Ввиду этого совершенно естественно, что для любой праязыковой местоименной основы найдется аффикс, фонетически совпадающий с ней по крайней мере по анлаутному согласному, а в ряде случаев и по вокалическому элементу. Таким образом, подобное совпадение абсолютно ничего не доказывает, и попытки реконструкции предложений дофлективного периода за счет замены окончаний фонетически сходными местоимениями не имеют никакой достойной упоминания значимости. Скорее было бы уместно обратить внимание на то обстоятельство, что, например, финно-угорским языкам неизвестны местоимения с p, v или плавным согласным в анлауте, хотя указанные согласные встречаются в словообразовательных, а частично и в словоизменительных аффиксах. Тем самым по крайней мере для аффиксов такой структуры предположение о местоименном происхождении оказалось бы неубедительным" (UAJb, 34:210).

IV. ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ

(Финно-угорское наследие в венгерском языке)

Вводные замечания. Сопоставление характерных черт уральского праязыка и одного из его потомков — современного венгерского языка создает некоторое представление о тех различиях, которые разделяют эти два языковых состояния. Для нас, однако, особенно важны те нити, которые связывают венгерский язык с праязыком уральской и финно-угорской эпох. Поэтому в данной главе будет дано краткое и схематичное, но по мере возможности систематическое изложение тех особенностей венгерского языка, которые восходят к уральской, финно-угорской или угорской эпохам.

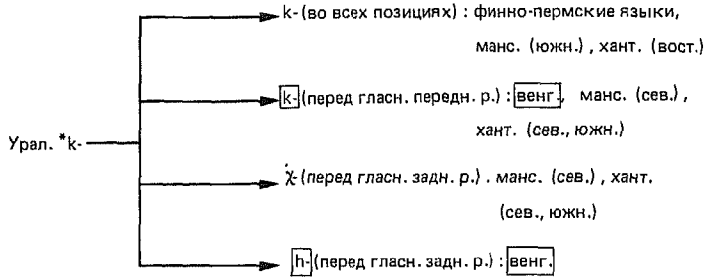
История развития рассматриваемых архаичных языковых явлений в период самостоятельного существования венгерского языка здесь не прослеживается: она составляет предмет уже собственно исторической грамматики венгерского языка (хотя в отдельных местах обращение к правенгерской или древневенгерской языковой истории оказывается неизбежным). Период распада угорской общности и начало правенгерской эпохи — вот тот охватывающий несколько столетий рубеж во времени, которым ограничивается наше рассмотрение.

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА

Это наиболее обстоятельно разработанная область уралистики. В предлагаемом кратком очерке мы не задаемся целью подробно, с привлечением диалектных данных показать, как преобразовалась фонетическая система праязыка в каждом из языков-потомков, а стремимся отметить лишь особенно важные тенденции фонетического развития. Конечно, при рассмотрении истории развития звуков праязыка невозможно обойтись без учета данных по родственным венгерскому языкам, но в целом упор делается на фонетические соответствия в венгерском и в особенно близких ему обско-угорских языках, а также на те соответствия в других языках, привлечение которых необходимо в целях реконструкции. Фонетические рефлексы в самодийских языках не рассматриваются.

Смычные.

1) Уральский анлаутный *k-, как правило, сохранился без изменений в большинстве языков, а перед гласным переднего ряда — и в венгерском языке. Перед гласным заднего ряда *k- > (правенг. *χ-) >венг. h-. Изменение исходного *k в χ произошло и в ряде хантыйских и мансийских диалектов. Это, однако, не означает, что переход k>χ в этих трех языках имеет общее происхождение и относится к угорской эпохе. Подобному предположению, ранее имевшему широкое распространение, противоречит тот факт, что расщепление k в северно- и южнохантыйских, а также в северномансийских диалектах — результат сравнительно позднего развития. В архаичных восточнохантыйских и южномансийских диалектах до сих пор существует одна-единственная фонема k. Переход k>χ в словах с гласным заднего ряда можно датировать началом правенгерской эпохи.



А) венг. hab 'волна'~манс. (сев.) χump, (южн.) kup~хант. (южн.) χump, (вост.) kŏmp~фин. kumpua- 'хлынуть';

венг. hal 'рыба' манс. (сев.) χūl, (южн.) kul~хант. (сев.) χul, (вост.) kul~мар. kol~морд. kal~фин. kala.

Ср. также: венг. had 'войско', hagy 'оставить', hajnal 'заря', hal 'умирать', halad 'двигаться', harag 'гнев', hat 'шесть', hál 'ночевать', hálό 'сеть', három 'три', hát 'спина', hό 'месяц', hό 'снег', hol- (holnap 'завтра'), húgy 'звезда', húgy 'моча', huny 'закрывать глаза', húsz 'двадцать' и др.

Б) венг. két, kettő 'два'~манс. (сев.) kit~хант. (южн.) kət~фин. kaksi;

венг. kéz 'рука'~манс. (сев.) kāt, (южн.) kāt~хант. (южн.) ket~коми, удм. ki~мар. kit~саам. giettâ~фин. käsi.

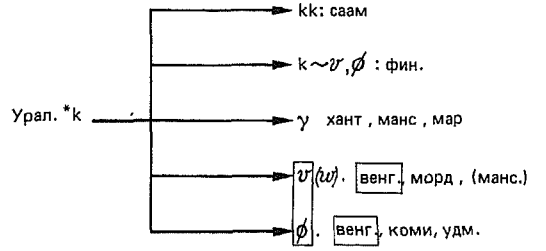
Ср. также: венг. kel 'вставать', kell 'быть нужным', kengyel

'стремя', kér 'просить', kéreg 'кора', kerül 'обходить'~kering 'вращаться', kés 'нож', ki 'кто', kígyó 'змея', kő 'камень', köd 'туман', köles 'просо', könny 'слеза', könyök 'локоть', köt 'вязать', köz 'промежуток' и др.

NB! 1. Гласный первого слога в словах hím 'самец', hív 'звать', hüvely 'стручок' и, возможно, hegy 'гора', here 'трутень; testiculus' был первоначально заднерядным, что и объясняет анлаутный h-.

2. Следует учесть сохранение k- перед гласным заднего ряда в диал. kum 'закрывать глаза' (литер. hunу) и в нескольких других венгерских словах.

2) Уральский интервокальный *-k- сохранился в своем исходном виде только в финском (в сильной ступени чередования) и в саамском языках. В остальных финно-угорских языках он стал фрикативным или даже нередко вокализовался, слившись с соседним гласным. Вероятно, образование *γ из *k произошло не позднее, чем в угорскую эпоху. В современном венгерском языке этот согласный отражен в виде v, однако последний мог и полностью исчезнуть. В двух других угорских языках представлен γ (или его рефлексы — w, ŋ и т.д.).



венг. -jó (*'река': в гидронимах Sajó и т.п.)~хант. jŏγan~коми, удм. ju~эрзя-морд. jov ('р. Мокша')~саам. jokkâ~фин. joki.

Ср. также: венг. tev- 'делать', év 'год', olv-as 'читать', fi-~fiú 'сын', ró 'вырезать (на чем-либо)'.

3) Уральский анлаутный *t- сохранен без изменений. В некоторых языках могла иметь место палатализация или озвончение вторичного или спорадического характера.

венг. tél 'зима'~манс. tāl~хант. tăl~коми tɐl~удм. tol~мар. tel~морд. tele~саам. dalve~фин. talvi.

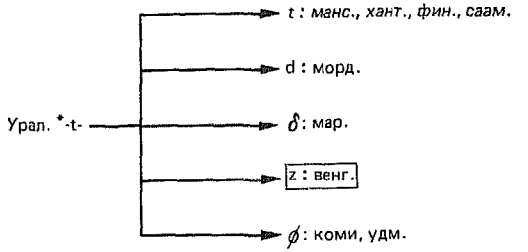
Ср. также: венг. tanít 'учить', tart 'держать', tat 'корма', te 'ты', tér 'пространство', tetű 'вошь', tev- 'делать', toll 'перо', tő 'корень', tud 'знать' и др.

NB! 1. В словах daru 'журавль', dob 'бросать', dob 'бара-

бан'~domb 'холм', dorgál 'выговаривать, порицать' анлаутный d- — результат вторичного (но, вероятно, относящегося еще к началу правенгерской эпохи) озвончения.

2. В праприбалтийско-финском *t>s перед i (фин. sinä 'ты'<*tinä).

4) Интервокальный *-t- дал в венгерском z, в пермских языках был утрачен, а в прочих языках сохранился в первоначальном виде или озвончился. Венгерский рефлекс z возник в начале правенгерской эпохи; промежуточной стадией фонетического развития был, вероятно, *δ. Переход *δ>z наблюдается и в древнейших иранских заимствованиях венгерского языка (nemez 'войлок'<иранск. nämäδ; ср. также bűz 'зловоние' и др.).



венг. száz 'сто'~манс. sāt~хант. sat~коми śo~удм. śu~мар. šüδö~морд. śado~саам. čuotte~фин. sata;

венг. fazék 'горшок'~манс. pōt~хант. put~фин. pata.

Ср. также: венг. fűz 'нанизывать', ház 'дом', íz 'сустав', izé 'это самое, как бишь его...', kéz 'рука', köz 'промежуток', méz 'мед', vezet 'вести', víz 'вода' и др.

NB! *ti>фин. si: mesi 'мед', käsi 'рука', vesi 'вода'.

5) Начальный *p- изменился только в венгерском языке, дав f.

венг. fej, fő 'голова'~манс. päŋk~коми pon~морд. pe~фин. pää;

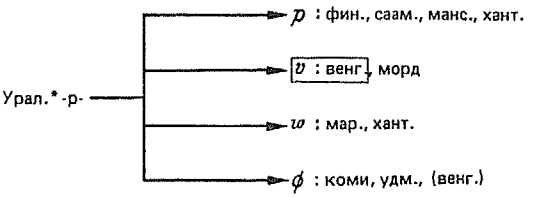
венг. fa 'дерево'~манс. -på~коми, удм., мар. pu~фин. puu.

Ср. также: венг. fagy 'мороз', fagyal 'бирючина', fajd 'тетерев, глухарь', fal 'стена', fal 'пожирать', falu 'деревня', fan 'лобковые волосы', far 'зад', fasz 'penis', fazék 'горшок', fed 'покрывать', fék 'узда', fél 'половина', fél 'бояться', fen 'точить', fenyő 'сосна', féreg 'червь', fészek 'гнездо', fiú 'сын', fog 'зуб', fon 'прясть', fő 'вариться', fúr 'сверлить', fut 'бежать', fül 'ухо' и др.

NB! В нескольких венгерских словах исходный *p- сохранился (para 'поплавок', por 'пыль') или озвончился (bal 'левый',

bog 'узел', bonyolít 'запутывать', bőr 'кожа' и, возможно, boly 'муравейник').

6) Уральский инлаутный *-p- сохранился в финском, саамском и обско-угорских языках. В мордовском и венгерском он развился в v (в марийском и в некоторых случаях в хантыйском — в w), в пермских языках (иногда и в венгерском) исчез.



венг. rava-sz 'лиса' (→'хитрый')~коми ru-ć~удм. ǯi-čį~мар. rəwə-ž~морд. rive-ś~фин. repo.

Ср. также: венг. róka 'лиса', soványˊ 'худой' и др. Встречаемость *p в интервокальной позиции должна была быть невысокой. Чаще он представлен как один из компонентов сочетания согласных внутри слова (например, в праязыковых основах, к которым восходят венг. árva 'сирота', hervad 'вянуть', и в ряде других основ, не отраженных в венгерском языке).

Геминаты.

В тех нескольких разрозненных примерах, когда звукам -k-, -t-, -p- в большинстве финно-угорских языков в финском и саамском соответствуют геминаты -kk-, -tt-, -pp-, для праязыка принято реконструировать также удвоенные смычные.

Урал. *-kk-:

венг. lök 'толкать'~манс. läkwi 'складывать (дрова)'~хант. lŏkim- 'совать'~фин. lykkää- 'толкать'.

Ср. также: венг. csuk 'закрывать', fakad 'распускаться (о почках, цветах)', lyuk 'дыра', rak 'класть, ставить', rokon 'родственник', sok 'много'.

Урал. *-tt-:

венг. öt 'пять'~манс. ā̆t~хант. wet~коми vit~морд. vete.

Ср. также: венг. hat 'шесть', hát 'спина', lát 'видеть', üt 'бить'.

Урал. *-pp-:

венг. epe 'желчь'~манс. tēp~удм. sep~морд. säpä~саам. sappe~фин. sappi.

Ср. также: венг. csupor 'горшочек, кружка', ipa 'тесть, свекор', lep 'покрывать (о слое чего-л.)', lép 'селезенка', napa 'теща, свекровь', szép 'красивый'.

Носовые.

1) Анлаутный *m- ни в одном из языков не изменился:

венг. meny 'невестка, сноха'~манс. miń~хант. meń~коми moń~удм. meń~саам. mânnje~фин. miniä.

Ср. также: венг. magyar 'венгр', máj 'печень', mar 'кусать', megy 'идти', meggy 'вишня', méh 'пчела', mell 'грудь', méz 'мед', mi 'мы', mi 'что', mond 'сказать', mony 'яйцо', mos 'мыть, стирать', mög 'место позади чего-л.', múlik 'миновать, проходить (о времени)' и др.

2) Инлаутный *-m- также всюду, как правило, сохранился. Однако в ряде венгерских слов тенденция к фрикативизации смычных (в частности, носовых смычных), действовавшая в правенгерскую эпоху, вызвала переход этого звука в w, который или вокализовался, или развился в v.

А) венг. hám-oz 'очищать от кожуры'~манс. kam-tul 'кожура'~удм. kȩm~мар. kom;

венг. em-ik 'сосать'~хант. em-~фин. ime-.

Ср. также: венг. eme 'самка', hím 'самец', homorú 'вогнутый', kemény 'твердый', nyom 'давить', szomjas 'жаждущий', szomorú 'грустный', töm 'запихивать' и др.

Б) венг. név 'имя'~манс. năm ~хант. nem~коми, удм. ńim ~саам. nâmmâ~фин. nimi;

венг. hüvely 'стручок'~коми komel' 'кожура'~удм. kumel';

венг. lé 'сок', leve-s 'суп'~манс. lăm~удм. lim~мар., морд. lem~фин. liemi.

Ср. также: венг. fű 'трава'~акк. füv-et, hó 'снег'~акк. hav-at, hő 'тепло'~hév 'жар', jó 'хороший'~jav-ít 'улучшать', szív 'сердце' ~диал. szű, velő 'костный мозг' (~фин. ytime-!).

NB! 1. Урал. *ńomale дало правенг. *ńuwul, а далее за счет стяжения — венг. nyúl 'заяц'.

2. В составе праязыкового сочетания *lm согласный m в венгерском языке сохранился, хотя само стечение согласных было тем или иным способом устранено (szem 'глаз'~фин. silmä; három 'три'~фин. kolme; csomó 'узел'~фин. solmu). Финно-угорская праформа венг. nyelv 'язык' (~манс. ńălm~хант. ńăləm~ саам. njalbme) также содержала сочетание *lm, поэтому напрашивается предположение, что переход *lm>lv произошел там, где стечение согласных в венгерском языке не исчезло. Однако единственный пример еще не доказывает такого предположения; более того, неясно, есть ли вообще прямая связь между v в венг. nyelv и m в финно-угорских соответствиях этого слова, поскольку в наиболее ранних источниках венгерское слово имеет формы nyelő, nyelű, nyeleű: возможно, современный v номинатива возник в слове nyelv путем аналогического обобщения прежней основы косвенных форм (ср. fenyő 'сосна'~fenyv-es 'сосновый лес', nedű 'сок, влага, напиток'~nedv-es 'влажный' и т.п.).

3. Фонетическое развитие m ≻w≻v спорадически наблюдается и в других финно-угорских языках, а в самодийских языках имеет характер общей тенденции.

3) Уральский *n сохранился в финно-угорских языках без изменений как в анлаутной, так и в инлаутной позициях:

венг. név 'имя'~манс. nā̆m~фин. nimi и т.д.

Ср. также: венг. nő̆ 'женщина', néz 'смотреть', nem 'не', (? négy 'четыре': см. ниже об урал. *ń-).

венг. ín 'сухожилие, жила'~манс. tē̆n~хант. tan~коми, удм. sẹn~мар. šün~морд. san~саам. suodnâ~фин. suoni.

Ср. также: венг. fan 'лобковые волосы', fen 'точить', fon 'прясть', men- 'идти', men-ekedik 'убегать, спасаться бегством', mon-d 'сказать', napa (≺ *anapa) 'теща, свекровь', szén 'уголь'.

NB! 1. В ряде языков-потомков могла происходить вторичная палатализация *n в позиции перед гласным переднего ряда (например, венг. nyél 'рукоятка'≺урал. *nüδe; венг. mony 'яйцо'≺урал. *muna; венг. диал. meny-ek 'иду'; коми ńim 'имя' и т.д.).

2. В саамском языке перед инлаутным носовым появляется неэтимологический гоморганный ртовый смычный, если в анлауте находится неносовой согласный или гласный (например, венг. ín~саам. suodnâ).

4) Анлаутный *ń сохранился в угорских, пермских и саамском языках. В финском и волжских языках он совпал с *n.

венг. nyíl 'стрела'~манс. ńā̆l~хант. ńal~коми ńi̯l~удм. ńil ~мар. nöló~морд. nal~фин. nuoli~саам. njuollâ.

Ср. также: венг. nyal 'лизать', nyár 'тополь', nyel 'глотать', nyelv 'язык', nyolc 'восемь', nyom 'давить', nyúl 'заяц', nyű̆ 'личинка, мясной червь'.

NB! Финно-угорские соответствия венг. négy 'четыре' (~манс. (южн.) ńili, хант. ńəlá, удм. ńil и т.д.) указывают на исходность *ń. Однако весьма возможно, что палатализация у ń- в родственных венгерскому языках вторична и обусловлена влиянием общего палатального облика слова (≺ ф.-у. *neljä).

5) В интервокальном положении палатализация *-ń- утрачена только финским языком.

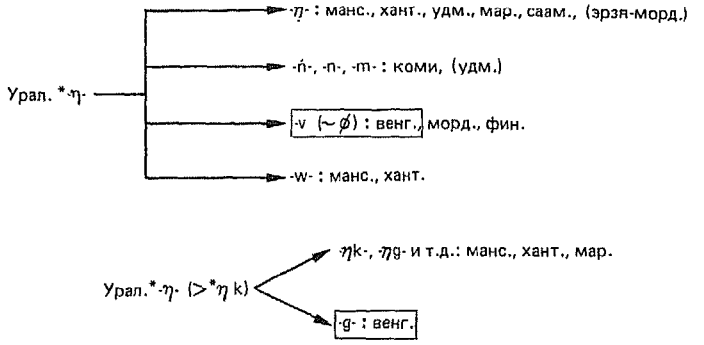
венг. kö̀nyö̀k 'локоть'~мар. kəńer~морд. keńeŕ~саам. gânjâr~фин. kyynärä,

венг. huny 'закрывать глаза'~манс. χoń-~хант. kŏ̄ń-~коми kuń-~морд. końa-.

Ср. также: венг. ángy (фонетически ánygy) 'свояченица, золовка', íny 'десна, нёбо', kö̀nny 'слеза', meny 'невестка, сноха'.

6) Согласный *-ŋ- встречался в праязыке только в инлауте. В интервокальном положении он сохранен большинством финно-угорских языков (обско-угорские, удмуртский, марийский, саамский). В финском и мордовском представлен преимущественно v (иногда *ϕ*), в пермских языках — ń, n, m (наряду с удм.

ŋ). Многообразие рефлексов этого согласного отличает угорские языки. В обско-угорском наряду с ŋ в нескольких случаях появляется w; нередко, однако, *ŋ дает те же рефлексы, что и *ŋk (манс. ŋk, хант. ŋk, k). Подобная двойственность характерна и для венгерского языка: звук *ŋ в одних случаях отражен как v(~ϕ), в других – как g или gg (то есть теми же рефлексами, что и *ŋk). Эти факты позволяют заключить, что в некоторых случаях урал. *ŋ в отдельных прафинно-угорских диалектах – или, возможно, в угорском праязыке – мог переходить в *ŋk. Тесной связью между *ŋ и *ŋk или чередованием *ŋ ~*ŋk по диалектам может быть объяснена двойственность рефлексации *ŋ, наблюдаемая главным образом в угорских языках.



А) венг. hó, hav- 'месяц, луна'~хант. χăw~эрзя-морд. koŋ, мокша-морд. kov~фин. kuu (< приб.-фин. *kuwe);

венг. vő 'зять'~хант. weŋ~мар. weŋe, wiŋge~морд. ov~фин. vävy.

Ср. также: венг. avik 'врываться' (уст.), áll (< правенг. *åγál<*åŋál) 'подбородок', fő 'глава, главный', hív 'звать', nő 'женщина', ó 'древний' (но ср. agg 'престарелый'!), öv 'пояс', tő (töv-) 'корень'.

Б) венг. jég 'лед'~манс. jāŋk~хант. jeŋk~саам. jiegŋâ~фин. jää; венг. egér 'мышь'~манс. täŋkər~хант. (южн.) teŋkər~морд. čevef~фин. hiiri.

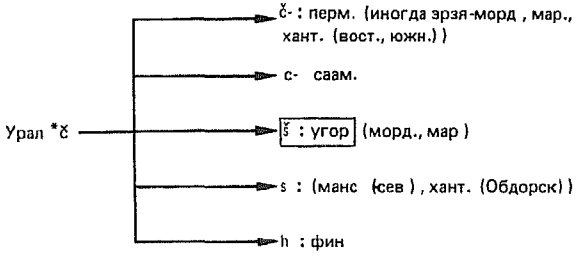
Ср. также: венг. agg 'престарелый', ég 'небо', ég 'гореть', fog 'зуб', fogoly 'куропатка', mög 'место позади чего-л.'.

Аффрикаты.

Аффрикация последовательно сохранена лишь в пермских языках (в начале слова – также в саамских диалектах). В остальных языках регулярно наблюдается переход аффрикат в

сибилянты, в связи с чем для многих этимологий нелегко определить, согласный какого из этих двух типов содержала реконструируемая праформа.

1) Непалатализованный *č- сохранился в пермских языках; в саамском он дал c. В остальных финно-угорских языках его рефлексами являются сибилянты š, s (причем в финском языке š развился далее в h).



венг. sovány 'худой'~эрзя-морд. čova, мокша-морд. šɛva~фин. hupa 'быстро расходуемый';

венг. sok 'много'~манс. šåw~хант. (южн.) šoχ, (сев.) šəχ 'густой'~коми čẹk~мар. čak-ata

Ср. также: венг. sápad 'бледнеть', savanyú 'кислый', segít 'помогать', siet 'спешить'.

2) Интервокальный *-č- по существу ведет себя так же, как и *č- в анлаутной позиции. Основное различие состоит в том, что в финском языке, наряду с рефлексом h, имеется и рефлекс t (фин. otava 'Большая Медведица'~хант. wač 'огороженное место'; фин. uuhi~uutu 'овца').

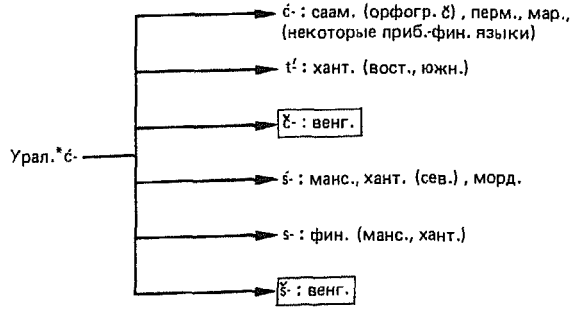
венг. kés 'нож'~манс. kàsī~хант. kečə~мар. kəzə;

венг. -más: hagymás >hagymáz 'тиф'~манс. mås 'беда, болезнь'~хант. moč~мар. mužo;

венг. nyes 'обрезать'~коми ńeč-.

Ср. также венг. fes-lik 'распарываться', fes-t 'красить', has 'живот', mez-telen 'голый', nyes-t 'куница'.

3) Палатальный *ć- также сохранился без изменений в пермских, саамском и марийском языках. В некоторых хантыйских диалектах он дал t'. Венгерскому языку известны два рефлекса: č и š. В остальных финно-угорских языках этот согласный стал фрикативным (ś). В финском, саамском и мордовском он совпал с урал. *ś-.



А) венг. csupo-r 'горшочек, кружка'~коми ćipi̯-l′ 'черпачок для питья'; венг. csűnik 'задерживаться, отставать' (уст.)~хант. (южн.) t′en- 'усыхать'~коми ćin- 'убывать, уменьшаться'.

Ср. также: венг. csecs 'сосок', csúcs 'верхушка', csomó 'узел'.

Б) венг. süly 'нарыв'~морд. ćil′ge 'бородавка'~фин. syylä ~саам. čiwhle.

NB! Соответствия венг. szeg 'отрезать, подрубать, подшивать' в ряде финно-угорских языков (коми ćeg- 'сломать'~удм. čig-) указывают на урал. *ć-, однако угорские формы (венг. ~хант. sö̆ŋk-, манс. sä̆ŋk- 'ломать, бить') свидетельствуют в пользу *ś-.

4) Рефлексы интервокального *-ć- почти полностью идентичны рефлексам анлаутной палатальной аффрикаты, с той лишь разницей, что финский и мордовский языки в середине слова сохраняют аффрикацию (фин. ts=c; морд. ć). Часто на месте интервокльного *ć оказываются рефлексы урал. *ś (угор. s, фин. s и т.д.).

А) венг. vöcsök 'чомга'~манс. wās 'дикая утка'~хант. wäsəχ ~удм. voči̯~эст. väis.

Ср. также: венг. öcs 'младший брат', facsar 'выжимать', köcsög 'кувшин'.

Б) венг. ős 'предок'~манс. ā̈š 'отец'~саам. oeč~фин. isä.

Ср. также: венг. hős 'герой', lassú 'медленный', les 'следить', rés 'щель'.

В) Урал. *-ć- = *-ś-:

венг. kúsz-ik 'ползти'~мар. kuze-, но диал. küće-~мокша-морд. kuća.

Ср. также: венг. keszeg 'лещ', messze 'далеко', rész 'часть', vessző 'прут'.

NB! 1. Как показывают примеры группы Б, урал. *-ć- в целом ряде случаев совпал в венгерском языке с урал. *-č-.

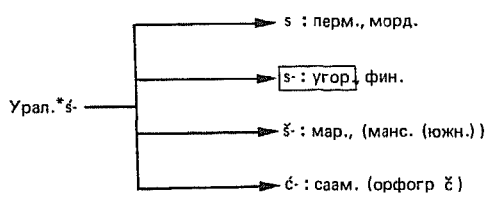
2. В нескольких венгерских словах на месте урал. *-ć- появляется gy (hegy 'гора', kégy 'дуга', vigyáz 'беречь'), то есть

тот же согласный, который обычно выступает в венгерском языке как регулярный рефлекс урал. *-ńć-. Однако в финно-угорских соответствиях перечисленных слов носовой согласный аффрикате не предшествует.

Сибилянты.

Праязыковая трехчленная система сибилянтов сохранилась только в пермских и мордовских языках. В угорском праязыке уральское *ś депалатализовался (>угор. *s), а уральское *s и *š совпали в *ϑ-образном звуке. Два праугорских сибилянта, восходящие к трем прауральским, дают в современных угорских языках весьма разнообразные рефлексы. С другой стороны, в марийском языке (хотя и не во всех его диалектах) все три праязыковых сибилянта отражены одним единственным согласным (š).

1)



NB! Саамский рефлекс *ś- совпадает с отражением *ć-, а финский – с отражениями *ć- и *s-.

венг. száj, szád 'рот'~манс. sūnt 'отверстие'~удм. śu: śukuaśmiņ 'испытывать жажду'~мар. šu: ime-šu 'игольное ушко' ~саам. čuwwe 'рот'~фин. suu;

венг. szív 'сердце'~манс. (сев.) sim, (южн.) šim~хант. səm~коми śęlęm~удм. śulem~мар. šüm~морд śed'ej~саам. (Колтта) čâđe~фин. sydän;

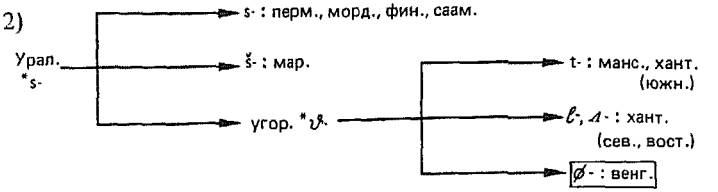
венг. szem 'глаз'~манс. (сев.) säm, (южн.) šäm~хант. sem коми śin~удм. śin (~śinm-), śim~морд. śelĭńe~саам. čâlbme~фин. silmä;

венг. szép 'красивый'~саам. čœrpe 'умелый'~фин. seppä 'мастер'.

Ср. также: венг. szalag 'лента', szalu 'тесло', szar 'кал', szárad 'сохнуть', szarv 'рог', száz 'сто', szel 'резать, сечь', szén 'уголь', szer 'способ, средство', szíj 'ремень', szil 'вяз', szomjas 'жаждущий', szomorú 'грустный', sző 'ткать', szúr 'втыкать', szügy 'грудь (у животных)' и др.

NB! Спорадически венг. sz- мог подвергаться озвончению: zaj 'шум' (~манс. soj, хант. sŏj и т.д.).

2)



венг. ujj 'рукав'~манс. tajt~хант. (южн.) tit, (вост.) lit~коми soj~удм. suj~мар. šokš~саам. soaggje;

венг. ősz 'осень'~манс. (южн.) tüks~мар. šiža~фин. syksy;

венг. ev 'гной' (уст.)~хант. (южн.) təj, (вост.) lŏj~коми, удм. siś~саам. sieggjâ;

венг. avik 'врываться' (уст.)~манс. tū- 'входить'~хант. (южн.) tăŋ-, (вост.) lăŋ-~морд. sova-~саам. suodnjâ-;

венг. olva-d 'таять'~манс. tol-~хант. (южн.) tăt-, (вост.) lŏl-~коми sil-~морд. sola-~фин. sula.

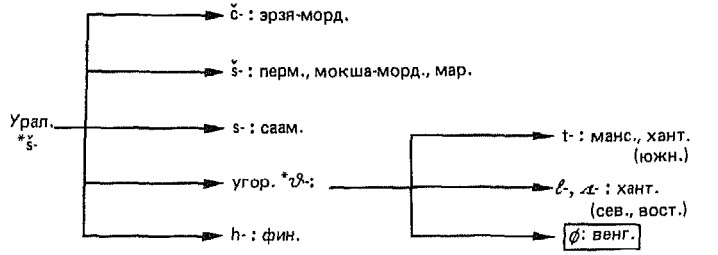
Ср. также: венг. agg 'престарелый', áll 'стоять', arany 'золото', ev- 'есть', ég 'небо', epe 'желчь', ér 'вена, жила', ín 'сухожилие', ő 'он', öl 'сажень', őn 'голавль', ujj 'палец'.

NB! 1. Из угорского глухого интердентального спиранта *ϑ- за счет расширения щели возникли хантыйские л-, l-; закрытие щели и образование смычки породило рефлекс t- в мансийском языке и в южных (а также в переходных между северными и южными) диалектах хантыйского. В правенгерском угорский *ϑ- вначале превратился в h-, а затем исчез.

2. Анлаутный h- в венг. hét 'семь' вторичен и возник под аналогическим влиянием со стороны hat 'шесть'. Принимая во внимание обско-угорские формы числительного 'семь' (манс. sāt, хант. (южн.) tarət), в венгерском ожидалась бы форма ét.

3. В одном из восточнохантыйских диалектов (Васюган) рефлексом угорского *ϑ (только в анлауте) является j- (jäwət 'семь' и т.д.). В другом изолированном восточнохантыйском диалекте (Ликрисовское) до сих пор сохраняется угорский ϑ-. Ср.: венг. egér 'мышь'~хант. (южн.) teŋkər, (Васюган) jöŋkər, (Ликрисовское) ϑəŋkər (см. ниже – урал *š-).

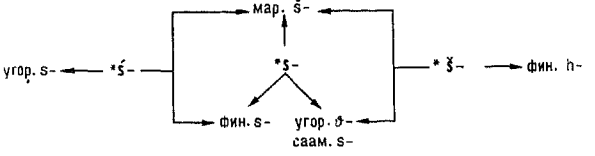
3)



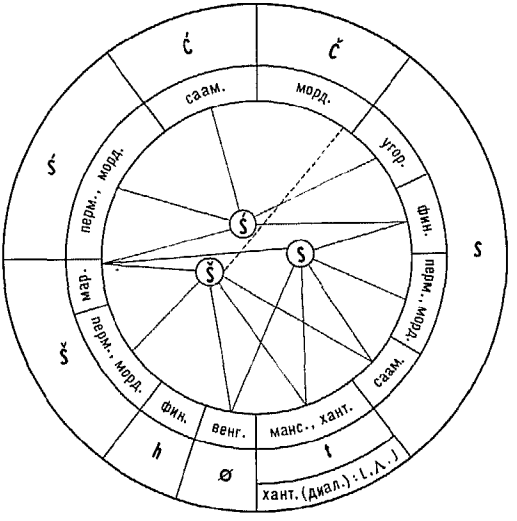
венг. egér 'мышь'~манс. täŋkər~хант (южн.) teŋkər, (вост.) löŋkər~коми, удм. šjr~эрзя-морд. čevef~фин. hiiri.

Ср. также: венг. ár 'паводок', irt 'корчевать, полоть', ág 'ветвь' (~фин. hanka 'развилина, уключина') и др.

Итак, *анлаутные сибилянты* совпали тем или иным способом в большинстве финно-угорских языков. В марийском языке все три праязыковых сибилянта имеют один и тот же рефлекс — š. В финском языке слились альвеолярный *s и палатальный *ś, в саамском — *s и *ś; последние два звука совпали и в угорском праязыке. Различные направления процессов слияния можно проиллюстрировать следующей схемой:



Полностью все фонетические изменения, затронувшие анлаутные сибилянты, отражены на рисунке:



4) Примеров на инлаутные — особенно интервокальные — сибилянты зафиксировано немного. Они, однако, позволяют заключить, что интервокальные сибилянты отражены в совре-

менных финно-угорских языках в принципе теми же рефлексами, что и соответствующие анлаутные сибилянты. Обращает на себя внимание, что в пермских, в мордовском и частично в марийском языках интервокальные сибилянты, в отличие от анлаутных, озвончились.

Урал. *-ś-:

венг. asz-ik 'сохнуть'~манс. tōs-~хант. sos- (с ассимиляцией анлаутного согласного!);

венг. húsz 'двадцать'~манс., хант. χus~коми, удм. kiź и т.д. (~нен. χā̆sa-wa 'человек'!).

Ср. также: венг. üsző 'телка'.

Урал. *-s-:

венг. -A (-a, -e, -i и др.) — лично-притяжательный показатель 3-го лица ед.ч.~манс. -te~хант. (южн.) -ət, (сев.) -əl~коми -i̯s~удм. -ez~морд. -zo и т.д.

NB! На основе сопоставления: фин. pesä 'гнездо'~коми poz~хант. (южн.) pit, (вост.) pəl~манс. pit'i~венг. fészek — предполагают, что венгерский язык все же сохранял урал. *-s-. Вероятно, это предположение ошибочно. Уральский инлаутный *-s- (и *-š-) утрачен в глагольных окончаниях 3-го лица ед. и мн.ч., а также в лично-притяжательных показателях 3-го лица и, более того, в сочетании согласных *-ks- (и *-kš-): венг. máj 'печень', ív 'метать икру', aj-tó 'дверь', íj 'лук' (< *-ks-); méh 'пчела', roh 'рыжий' (< *-kš-). С учетом этого отпадает необходимость считать согласный -sz- в fészek регулярным фонетическим соответствием урал. *-s-: объяснением служит то, что под влиянием гласного переднего ряда интервокальный *-s- в одном из диалектов угорского праязыка палатализовался и затем подвергся изменению *ś > s, а не изменению *s > ϑ.

Урал. *-š-: отсутствуют этимологии, которые включали бы рефлекс в венгерском языке, за исключением (1) венг. méh 'пчела'~коми moš~морд. ḿekš~фин. mehi-läinen и (2) венг. roh 'рыжий'~мар. rakš 'русый'. В обоих случаях следует предполагать исходность сочетания согласных *-kš-; появляющийся в венгерском языке h отражает, собственно говоря, первый компонент сочетания *k.

Прочие фрикативные согласные.

1) Урал. *j не претерпел сколь-нибудь значительных изменений. В анлауте он сохранился в венгерском языке, как и в других финно-угорских языках, но перед i отпал. В нескольких случаях в венгерском произошел переход j > gy.

А) венг. jég (но диал. gyég) 'лед'~хант. (вост.) jöŋk~коми ji~мар. i~саам. jiegŋâ~фин. jää.

Ср. также: венг. játék 'игра', jel 'знак', jó 'река' (уст.), jó 'хороший', jön 'приходить', jut 'попадать, достигать'.

Б) Венг. íj 'лук (для стрельбы)' (ср. также ív 'дуга')~манс. jōwt~хант. joγəl~морд. joŋks~фин. jousi.

Ср. также: венг. ideg 'тетива', iv- 'пить', ív 'метать икру'.

В) венг. gyalog 'пешком'~мар. jal 'нога'~фин. jalka.

Ср. также: gyógyít 'лечить, исцелять' (связано с jó 'хороший'), диал. gyön 'приходить' (≅ jön).

В интервокальной позиции *j также сохранился, однако во всех языках, кроме саамского, можно найти примеры его вокализации.

А) венг. háj 'жир, сало'~удм. kẹj~мар. koja~морд. kuja~фин. kuu.

Ср. также: венг. éj 'ночь', vaj 'масло', zaj 'шум', ?ujj 'рукав'.

Б) венг. ú-szik 'плавать'~манс., коми, удм., морд. uj-~мар. ija-~саам. vuoggjâ-~фин. ui-.

Ср. также: венг. fő-z 'варить', sü-l (~sün) 'еж', ст.-венг. é 'ночь' (~éj).

В) венг. fagyal 'бирючина'~фин. paju 'ива'.

Ср. также: венг. kígyó 'змея'.

2) Урал. *w развился в v во всех финно-угорских языках, за исключением обско-угорских и марийского, а в некоторых позициях (главным образом в инлауте и в соседстве с лабиализованными гласными) исчез.

Анлаут:

А) венг. vaj 'масло'~манс., хант. woj~коми vjj~мар. üj~фин. voi; венг. val-, vol- 'быть'~манс. ōl-~хант. wǟl-~удм. vi̯li̯-~морд. ule-~фин. ole-.

Ср. также: венг. válik 'становиться', váll 'плечо', varjú 'ворона', varr 'шить', vas 'железо', velő 'костный мозг', vér 'кровь', vese 'почка (анат.)', vezet 'вести', visz 'нести', víz 'вода', vő 'зять', vöcsök 'чомга' и др.

Б) венг. öt 'пять'~манс. ā̃t~хант. wet~саам. vittâ~фин. viite-.

Ср. также: венг. ólom 'свинец', ón 'олово', öl 'убивать', öv 'пояс' и др.

Интервокальная позиция:

венг. kő, köv- 'камень'~манс. kāw~хант. kew-~удм. kẹ~морд. kev~фин. kivi;

венг. tó, tav- 'озеро'~манс. tō~хант. təw~коми ti̯.

NB! Реконструкция инлаутного *-w- затруднена сходством его рефлексов с рефлексами инлаутных *-k-, *-γ- (и даже *-ŋ-).

3) Урал. *-γ- принято реконструировать — только для инлаута — в тех случаях, когда в соответствии с фин. ϕ выступает саам. -kk-, а рефлексы в остальных финно-угорских языках также совпадают с рефлексами *-k-:

венг. iv-, i-szik 'пить'~коми, удм. ju-~фин. juo-~саам. jukkâ-;

венг. viv-, vi-sz 'нести'~фин. vie-~саам. (кольск.) vi̯kkâ-.

Ср. также: венг. ev-, e-szik 'есть' (~фин. syö-), löv-, lő 'стрелять' (~фин. lyö- 'бить'), lev-, le-sz 'стать' (~фин. lie-).

Поскольку убедительно доказать существование в праязыке *-γ- не удается, ряд исследователей склонен рассматривать приведенные здесь этимологии как случаи урал. *-k-. Мы, однако, пока не считаем целесообразным отказ от реконструкции урал. *-γ-, поскольку данные самодийских языков в известной мере поддерживают эту реконструкцию.

4) Урал. *δ встречался только в инлауте; в неизменном виде он представлен лишь в саамском языке. В финском и в мордовском ему соответствует d (~t), в остальных финно-угорских языках — l (точнее, соответствия *-l-). Это свидетельствует о том, что по крайней мере в угорском праязыке (а возможно, уже и в восточных диалектах финно-угорского праязыка) урал. *δ совпал с *-l-:

венг. fal 'стена'~хант. pă̈l, (южн.) pă̈t 'запруда'~саам. buođđo~фин. pato (pado-n);

венг. velő 'костный мозг'~хант. welәm, (южн.) wetәm~манс. welәm~морд. ud′eme~саам. âđâ (âđđâmâ)~фин. ydin (ytime-).

Ср. также: венг. álom 'сон', elő 'перед', hol(nap) 'завтра', lel 'находить', nyél 'рукоятка', tele 'полный' и др.

NB! При общей тенденции развития урал. *δ > угор. *l спорадически имела место утрата этого уральского согласного в угорскую эпоху, на что указывает венг. szív 'сердце' (~манс. sim~хант. sәm, но коми śęlęm~морд. śed′ej~фин. sydän).

5) Урал. *δ′ отражен в финском, саамском и мордовском языках так же, как *δ; в остальных (угорских и пермских) языках находим l′, а в венгерском — развившиеся из последнего j, gy.

венг. hagy 'оставить'~манс. kūl′-~коми kol′-~удм. kȷl′-~морд. kado-~саам. guođđe-~фин. katoa-.

Ср. также: венг. faj-d 'тетерев, глухарь', fej 'доить', hölgy (< hőgy?) 'дама←горностай', új 'новый', vágy 'желать, тосковать'.

Плавные.

1) Урал. *l сохранился и в анлаутной, и в инлаутной позициях без изменений всюду, кроме хантыйского языка. Прахантыйский же *l по-разному развился в отдельных диалектных группах: в северных и восточных диалектах он дал l (или л), в южном наречии и в диалектах, переходных между северными и южными, — t; таким образом, по своим рефлексам *l практически совпал с уральскими *s и *š.

Анлаут:

венг. lúd 'гусь'~манс. lunt~хант. lont, (южн.) tunt~мар. ludə 'утка'~саам. lođđe 'птица'~фин. lintu.

Ср. также: венг. láb 'нога', lát 'видеть', le 'вниз', lé 'сок', légy 'муха', lel 'находить', lélek 'душа', lép 'селезенка', lő 'стрелять'.

Инлаут:

венг. öl 'сажень'~манс. täl~хант. lŏl, (южн.) tət~коми śil̮~мар. šəl~фин. syli.

Ср. также: венг. al- 'нижний', fél 'бояться', hal 'рыба', hal 'умирать', nyal 'лизать', nyel 'глотать', öl 'убивать',

2) Урал. *l′ утратил палатализацию в финно-волжских языках.

В анлауте он встречался редко. Из венгерских слов сюда может быть отнесено лишь lyuk (~lik) 'дыра', если это слово связано с хант. (вост.) l′ök, л′ök 'угол, закуток'~фин. loukko.

В инлауте этот согласный также не был широко употребительным; по своей рефлексации он по ряду моментов близок уральскому *δ′. В венгерском языке выступает рефлекс ly (ныне в литературном языке произносится как j, но сохранился в виде l′ или l в некоторых диалектах) и, кроме того, gy.

венг. hályog 'бельмо, катаракта'~хант. (вост.) kăl′i, (переходные диалекты) χăt′ə 'струп'~фин. kalvo 'пленка';

венг. ágy 'кровать, постель'~манс. al′-at~коми vol′~удм. val′-as.

Ср. также: венг. hüvely 'стручок', süly 'нарыв', tol (≺ toly~tol) 'толкать'; fagy 'мороз', meggy 'вишня'.

3) Урал. *r сохранен финно-угорскими языками во всех позициях. В анлауте в удмуртском языке он изменился в ӟ-.

Анлаут:

венг. ravasz 'лиса' (→'хитрый')~удм. ӟiči̮~мар. rəwəž~фин. repo.

Ср. также: венг. rak 'класть', rés 'щель', rész 'часть', rokon 'родственник' и др.

Инлаут:

венг. fúr 'сверлить'~манс. (южн.) purä 'шило'~хант. păr 'сверло'~фин. pura.

Ср. также: венг. arasz 'вершок', ér 'вена, жила', far 'зад', kéreg 'кора', szer 'способ, средство', torok 'горло', vér 'кровь' и др.

Наиболее распространенные сочетания согласных

1) Сочетания носового со смычным (или с аффрикатой). Сочетание "носовой + смычный" превратилось в пермских и венгерском языках в звонкий смычный (*ŋk > g; *nt, *mt > d; *mp > b); в остальных языках сохранились оба компонента сочетания (не считая незначительных модифи-

каций). Из сочетаний "носовой + аффриката" здесь рассматривается только судьба *-ńć-; в этом сочетании также произошли деназализация и озвончение, результатом чего явились рефлексы gy в венгерском и ź в пермских языках.

Урал. *ŋk:

венг. bog 'узел'~манс. pūŋχ-läp 'пуговица'~хант. puŋk-əl 'выпуклость'~коми bug-jӀ' 'глазное яблоко'~эст. pung 'бутон';

венг. mag 'семя, зерно'~коми mįg 'тело'~удм. mug-or~мар. moŋg-ər.

Ср. также: венг. ág 'ветвь', dug 'совать', hág 'наступать', rág 'жевать', segít 'помогать', szeg 'подрубать, подшивать', vág 'резать'.

Урал. *nt и *mt:

венг. föd 'покрывать'~манс. pänt-~хант. pent- ~ коми pęd- 'закрывать'~удм. pod- (≺ *nt);

венг. odú 'дупло', odv-as 'дуплистый'~манс. ā̆nter 'внутренности'~хант. ont~удм. ud-ur 'леток улья'~морд. undo 'полость' ~фин. onte-~саам. vuowdâ (≺ *mt).

Ср. также: венг. had 'войско', hall (≺ hadl-) 'слушать', hód 'бобр', ideg 'тетива', köd 'туман', lúd 'гусь', véd 'защищать' (*nt); ad 'давать', tud 'знать', vad 'дикий' (*mt).

Урал. *mp:

венг. hab 'волна'~манс. χump~коми gįba-v- 'плескаться' ~морд. kumbo-ldo- 'покрываться волнами'~фин. kumpua- 'хлынуть'.

Ср. также: венг. dob 'бросать', dob 'барабан' (~domb 'холм'), eb 'собака', láb 'нога'.

Урал. *ńć:

венг. húgy 'звезда' (уст.)~манс. kōńś~хант. kos~коми koź-ul'~удм. kiźi-lĭ;

венг. agyar 'клык'~манс. äńśər~удм. vaźer.

Ср. также: венг. ágyék 'пах', húgy 'моча', lágy 'мягкий' (~lanyos 'слегка теплый'), légy 'муха', magyar 'венгр', szügy 'грудь (у животных)'; ср., однако, сохранение носового согласного в венг. hangya 'муравей' и kengyel 'стремя'!

NB! 1. Деназализация в рассмотренных сочетаниях согласных — *древнее явление, характерное для венгерского и пермских языков.* Имеющая недавнее происхождение спорадическая деназализация встречается и в других финно-угорских *языках: фин. suurempi 'больше'~водск. sūrєpi; венг. hangya* 'муравей'~фин. kusiainen; хант. (Сыня) ар 'собака'~ampəm 'моя собака'.

2. Поразительное сходство процессов деназализации и озвончения смычных в венгерском и пермских языках, наряду с другими параллельными явлениями, дало повод к выдвижению гипотезы о правенгерско-пермских языковых контактах. Од-

нако на совпадении результатов фонетического развития нельзя строить столь далеко идущие выводы из области праистории, тем более, что в венгерском языке и в пермских языках фонетическое развитие шло разными путями и в разное время. В прапермском вначале произошла деназализация сочетаний с носовыми согласными, и лишь затем — озвончение возникших при этом глухих смычных и аффрикат (*ŋk>k>g; *nt>t>d и т.д.). Этот процесс затронул и общие для обоих пермских языков булгарско-тюркские заимствования, ввиду чего деназализацию и озвончение можно датировать VII—VIII вв. н.э. (см. R é d e i. – NyK, 66, с. 256-259). Напротив, в венгерском языке сначала озвончился под влиянием носового согласного второй компонент рассматриваемых сочетаний, а потом уже произошла деназализация (*ŋk>ŋg>g; *nt>nd>d и т.д.). Эти процессы происходили после распада праугорской общности, в раннюю правенгерскую эпоху, то есть на много столетий предшествовали пермской деназализации.

2) Сочетания с k в качестве одного из компонентов. Среди всего обилия возможных сочетаний согласных особенно разнообразны и употребительны были сочетания, одним из компонентов которых был *k. Для их судьбы в венгерском языке характерно, как правило, исчезновение *k, в результате чего сочетание согласных отражено лишь регулярным рефлексом второго компонента или геминаты, представляющей собой удвоение второго компонента:

урал. *kt>венг. t: két 'два', fut 'бежать', tat(fa) 'корма', jut 'попадать, достигать'

урал. *tk>венг. t: kot 'вязать', tat(hal) 'линь', út 'дорога'

урал. *kś>венг. sz: ősz 'осень', nyusz-t 'лесная куница'

урал. *śk>венг. s: vas 'железо', mos 'мыть, стирать'

урал. *lk>венг. l, ll: halad 'двигаться', válik 'становиться', toll 'перо', lolu 'окорок', gyalog 'пешком', váll 'плечо'

Однако в нескольких случаях можно обнаружить какие-то следы *k:

урал. *lk>венг. l~lv: диал. tolu~tolv- 'перо'

урал. *ks>венг. v, j (где *k>v, j, но *s>ϕ): ív 'метать икру', máj 'печень', aj-tó 'дверь', ujj 'рукав'; íj 'лук (для стрельбы)' (*ŋks)

урал. kš>венг. h~ϕ : méh (произносится mé) 'пчела'~мн. ч. méhek (h произносится), roh 'рыжий'.

Общий обзор консонантизма.

Рассмотрение рефлексации согласных дает возможность сделать некоторые выводы.

Приведенные примеры позволяют установить, что в угор-

скую эпоху система консонантизма несколько изменилась по сравнению с прауральской системой. Из этих изменений лучше всего прослеживается устранение троичной оппозиции сибилянтов и двоичной оппозиции аффрикат. В результате для угорского праязыка можно реконструировать уже только два сибилянта: один из них (s) появился вследствие депалатализации урал. *ś, другой же (š) занял во второй половине угорской эпохи место урал. *č. Последнее фонетическое изменение прозошло, несомненно, позднее перехода урал. *ś>угор. *s, поскольку в начале угорской эпохи звука ś не существовало: об этом свидетельствует совпадение уральских *s и *ś в угор. *ϑ.

Не позднее, чем к угорской эпохе (а возможно, и к более раннему времени), можно отнести развитие *δ>l и *δ′>l′. Представляется, кроме того, вероятным, что уже в угорскую эпоху (но скорее всего к концу ее) инлаутные *-k-, *-p- превратились в фрикативные и более или менее одновременно с этим прежние геминаты, сохраняя глухость и смычный характер, утратили свою долготу. Полного завершения этот процесс достиг, однако, в начале правенгерской эпохи. Тогда же урал. *-k-, -*ŋ- и *-γ- совпали в правенг. -γ-, а урал. *-p-, *-w- (и, в определенных случаях, *-m-) – в правенг. -w-. Сильная тенденция к фрикативности, которая привела и к изменению урал. *-t- в правенг. -δ-, распространилась и на некоторые анлаутные смычные: об этом свидетельствует переход *p->f-, а также развитие *k->χ- в словах с гласными заднего ряда. Начало спирантизации этих анлаутных смычных нельзя отнести ко времени до выделения венгерского языка из угорской общности. Завершение же действия этой тенденции можно датировать периодом, предшествующим периоду миграций правенгров – иначе говоря, наиболее вероятчым сроком данного фонетического изменения можно признать 000 – 1500 лет, начиная с I тыс. до н.э. (главным образом, с го второй половины) по первые века н.э.

Такая хронология основывается на следующих фактах: 1) переход *p>f неизвестен обско-угорским языкам и тем самым представляет собой, безусловно, результат собственно венгерского развития; 2) переход *k>χ, хотя и известен мансийскому и хантыйскому языкам, но характерен лишь для отдельных диалектов и представляет собой позднюю диалектную инновацию; 3) переход *k>χ затронул древнейшие, относящиеся к угорской эпохе или к началу эпохи миграций, тюркские (или предположительно тюркские) заимствования венгерского языка (hód 'бобр', hattyú 'лебедь', harang 'колокол', homok 'песок'); 4) переходом *k>χ уже не оказались затронуты заимствования, воспринятые правенграми во время их миграций (kapu 'ворота', kút 'колодец', kos 'баран', karó 'кол, шест', karvaly 'ястреб-перепелятник' и др.); 5) переход *p->f- явно пред-

шествовал переходу *k>χ, поскольку если последний произошел не во всех позициях, то тенденция *p->f- действовала достаточно долго, чтобы приобрести универсальное распространение; б) если считать, что венг. fizet 'платить' все же относится к числу древнейших иранских заимствований венгерского языка (ср. осетинск. fīd-), то можно было бы заключить, что ко времени проникновения этого слова процесс перехода указанных согласных в фрикативные уже получил значительное развитие.

Ранневенгерская тенденция к фрикативности в определенной мере сочеталась и с озвончением интервокальных глухих (*-k->-γ-; *-p->-w-; *-t->-δ-), с которым, с другой стороны, тесно связано и озвончение второго компонента сочетаний с носовым согласным (в последнем случае, однако, смычность сохранялась!). Исчезновение носового компонента подобных сочетаний произошло несколько позднее. Переходы *-mp->-mb->-b-, *-nt->-nd->-d-, *-ŋk->-ŋg->-g- также завершились до V в. н.э.: тюркские b, d, а иногда и g в заимствованиях эпохи миграций перешли в венгерский язык в неизменном виде (bátor 'храбрый', bor 'вино', boszorkány 'ведьма', búza 'пшеница', dara 'манная крупа', dér 'иней', idő 'время', ige 'слово, глагол' и др.), что было бы невозможно при отсутствии в языке этих звонких смычных.

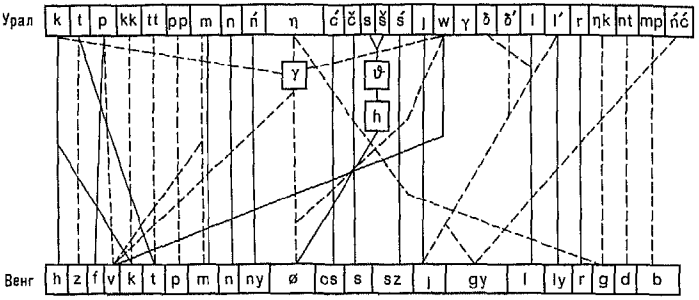
Таким образом, правенгерская система консонантизма в начале н.э. и в непосредственно предшествующий этому период могла иметь следующий состав (после отдельных согласных указаны их наиболее типичные праязыковые источники):

p(*pp)	b(*mp)	m			f(*p)	w(*w,*p,*m)		
t(*t,*tt)	d(*nt)	n				δ(*t)		
			č(*ć)	ǯ(*ńć)	š(*č)		l(*l,*δ)	r
		ń			s(*ś)		l′(*l′,*δ′)	
						j(*j,*δ′)		
k(*k,*kk)	g(*ŋk)				χ(*k)	γ(*k,*γ,*ŋ)		
					h(*s,*š)			

В ряде случаев недостаточно ясным, проблематичным остается вопрос о синхронном сосуществовании отдельных элементов этой системы, а также о точном фонетическом характере некоторых из них. Например, возможны сомнения по поводу того, была ли палатализация фонологически релевантным признаком правенгерского ǯ, который развился из урал. *ńć, и нужно ли вообще отмечать у этого согласного палатализацию. Далее, проблематичен характер δ, вместо которого можно было бы поставить развившийся из него z. Возможно, кроме того, что реф-

лекс угорского *ϑ в это время уже не звучал как h, а дал нуль звука, и что артикуляция f была не такой, как сейчас, а билабиальной (φ) и т.д.

Современные венгерские рефлексы праязыковых согласных и их сочетаний показаны в нашей таблице. Сплошными линиями обозначена рефлексация в позиции анлаута, пунктиром — в позиции инлаута. В тех случаях, когда от праязыкового согласного к современному проведена только сплошная линия, отражения в анлауте и в инлауте одинаковы. В таблице представлены только типичные (закономерные) результаты фонетического развития.



Рефлексы праязыковых согласных в венгерском языке

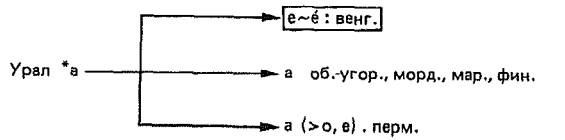
Как показывает нижний ряд таблицы, основная часть современного венгерского консонантизма возникла путем трансформации консонантизма уральского праязыка. Впрочем, с течением времени функциональная нагрузка отдельных согласных постоянно менялась. Например, звонкие смычные возникли в середине слова, и в том, что они смогли распространиться и на анлаут, явно сыграли свою роль заимствования.

При сравнении современной системы консонантизма венгерского языка с системой, представленной в таблице, можно установить, что существует только пять венгерских фонем (c, dz, dzs, ty, zs), которые нельзя возвести к финно-угорским источникам даже косвенным путем. Они возникли уже на собственно венгерской почве за счет самостоятельного развития, а отчасти под влиянием других языков.

Вокализм

Гласные первого слога. Соответствия между гласными финно-угорских языков труднее поддаются систематизации, чем соответствия между согласными: по своей природе гласные больше

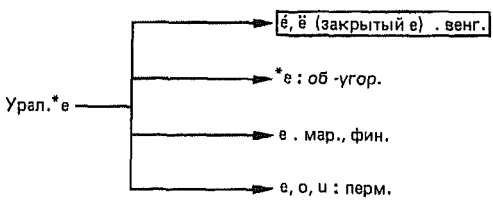
подвержены изменениям, чем согласные, и, кроме того, как качественные, так и количественные характеристики гласных способны модифицироваться под действием фонетического окружения (соседство определенных согласных, вокализм других слогов), ударения, а также структуры слова в целом и даже ритмических и прочих факторов. По этим причинам гласные праязыка (с позиций какой бы теории вокализма к ним ни подходить) также имеют как правило неоднозначную рефлексацию в языках-потомках. Здесь нет возможности систематически ее рассмотреть, даже если отвлечься от расхождений, обусловленных значительной диалектной раздробленностью, и от других частных аномалий. Целесообразно, однако, эскизно проиллюстрировать несколькими характерными примерами типичную рефлексацию важнейших праязыковых гласных — в первую очередь тех, реконструкция которых не вызывает больших разногласий между исследователями, придерживающимися различных теорий праязыкового вокализма.



венг. kéz-, keze- 'рука'~манс. (южн.) kā̄t~морд. käd'~фин. käte-;

венг. tél, tele- 'зима'~манс. (южн.) tā̄l~хант. təl-əγ~удм. tol и т.д.

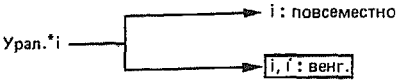
Ср. также: венг. ере 'желчь', fél (fele-) 'половина', jég (jege-) 'лед', kel 'вставать', mell 'грудь', néz 'смотреть', nyelv 'язык' и др.



венг. él 'жить'~коми ol-~фин. elä-;

венг. mëny 'невестка, сноха'~манс. miń~хант. meń~коми moń~удм. meń и т.д.

Ср. также: венг. ëv- 'есть, кушать', fél(fa) 'косяк двери', lé 'сок', lélek 'душа', méz 'мед', tëv- 'делать' и др.



венг. íny 'десна'~фин. ien (ikene-);

венг. viv- 'уносить'~морд. vije-~фин. vie-.

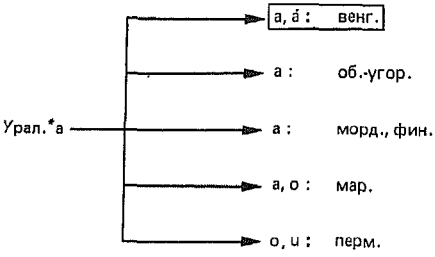
NB! Возможно, в некоторых венгерских словах с е этот гласный также восходит к праязыковому *i-образному звуку: egér 'мышь' (~фин. hiiri), név 'имя' (~фин. nimi), szem 'глаз', év 'год', mély 'глубокий' и др. Штейниц для подобных случаев реконструирует редуцированный *ĭ.

Урал. *ü (по Штейницу – редуцированный *ŭ) сохранился в виде ü или ö в угорских, финском и марийском языках; в пермских и мордовском языках он делабиализовался:

венг. tő 'корень'~коми din~мар. tüŋ~фин. tyvi;

венг. ősz 'осень'~манс. (южн.) tüks~хант. sŏγəs~удм. siźiļ~фин. syksy.

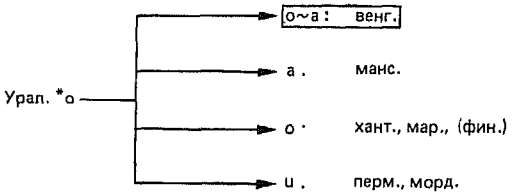
Ср. также: венг. könny 'слеза', könyök 'локоть', köt 'вязать', öl 'убивать'; но: fog 'зуб', fogoly 'куропатка', fok 'обух, (игольное) ушко' и т.д. В последних случаях на гласном сказалось веляризующее влияние инлаутного палато-велярного согласного.



венг. száz 'сто'~манс. sāt~хант. sat~коми śo~удм. śu~морд. śado~фин. sata;

венг. fazék 'горшок'~мар. pot~фин. pata и т.д.

Ср. также: венг. ad 'давать', fagy 'замерзать', fagyal 'бирючина', fajd 'тетерев, глухарь', fal 'пожирать', gyalog 'пешком', hal 'рыба', hál 'ночевать', máj 'печень', szarv 'рог' и др.



венг. hal 'умереть' (hol-t 'мертвый')~манс. kāl-~хант. kol-~коми, удм. kul-~мар. kol-~морд. kulo-~фин. kuole-,

венг. odú 'дупло'~манс. ǟntər 'внутренности'~хант. ont~ удм. udur 'леток улья'~морд. undo 'полость'~фин. onte-.

Ср. также: венг. csomó 'узел', nyal 'лизать', tó 'вырезывать', vaj 'масло', val-~vol- 'быть' и др.

Урал. *u в части случаев сохранил свое первоначальное фонетическое качество.

венг. úszik 'плавать'~манс., коми, удм. uj-~морд. uje-~фин. ui-.

Аналогично: венг. tud 'знать', dug 'совать' и др.

В ряде случаев Штейниц на основе отличающихся рефлексов в финно-угорских языках восстанавливает для праязыка редуцированный гласный *ŭ; в подобных этимологиях с венгерской стороны представлены u и o (иногда даже a) : венг. fúr 'сверлить', nyuszt 'лесная куница', új 'новый'; hol(nap) 'завтра', fon 'прясть', mony (устар.) 'яйцо', soványy 'худой', hólyag 'пузырь'; hó~hava- 'снег' и др.

Существуют, кроме того, и такие этимологии, где, согласно данным большинства языков-потомков, следует реконструировать гласный *u в первом слоге, но в венгерском (а иногда и в двух других угорских языках) представлен все же a: венг. hab 'волна', had 'войско', halad 'двигаться', hall 'слушать', hat 'шесть', fa 'дерево' и др.

* * *

Выше речь шла о наиболее простых и регулярных вокалических соответствиях. Целесообразно коснуться и нескольких таких этимологий, на примере которых видны сложность вокалических соответствий и связанные с этим трудности реконструкции.

Гласные в венг. kő 'камень' и хант. (вост.) köγ совпадают по качеству; мало отличается от них и гласный в мар kü, также гласный переднего ряда, имеющий лабиализованный характер. Тем не менее, эти гласные не первичны: они возникли под лабиализующим влиянием инлаутного *w, который некогда содержался в данном слове. Исходный гласный представлен или в фин. kivi, или в хант. (южн.) kew, манс. (зап.) kèw, морд. kev, на

основании чего Штейниц восстанавливает в первом слоге этого слова урал. *e, а Коллиндер и Итконен — урал. *i.

Нередко в ходе реконструкции обнаруживается, что одна часть языков-потомков дает основания для иных выводов, нежели другая их часть. Например, исходя из обско-угорских и самодийских соответствий венг. szív 'сердце' (манс. sim~хант. səm~нен. śej~кам. sī), можно предполагать исходность *i. С другой стороны, соответствующие слова ряда финно-угорских языков содержат лабиализованный гласный заднего или переднего ряда (удм. śulem, фин. sydän и т.д.), что главным образом и послужило основой для реконструкции в этом слове урал. *ü (см. у Коллиндера).

Осложнения часто возникают и в связи с такими вокалическими рефлексами, которые на первый взгляд кажутся тривиальными. Среди приведенных примеров на урал. *ü фигурировал венгерский глагол köt 'вязать', которому соответствуют манс. köt-, удм. kịtkị-, фин. kytke-. Таким образом, реконструкция лабиализованного гласного переднего ряда не вызывает сомнений. Нет, однако, уверенности в том, что развитие урал. *ü>венг. ö состояло только в расширении гласного: в древнейшей письменной фиксации венгерское слово имеет вид ket- (НВ ketnie). Этот пример показывает что фонетическое развитие не всегда бывает таким прямолинейным, каким кажется.

К числу спорных проблем финно-угорской сравнительно-исторической фонетики относится и вопрос о том, существовал ли в уральском праязыке *ị. Штейниц реконструирует этот гласный в тех случаях, когда в обско-угорских и пермских данных представлен нелабиализованный гласный заднего ряда (ị, ę), в венгерском — i, а в западных финно-угорских языках выступают различные гласные заднего ряда (преимущественно соответствия приб.-фин. *o); в пользу такой реконструкции свидетельствует, в частности, то обстоятельство, что суффигированные формы соответствующих венгерских слов имеют заднерядную огласовку: венг. ín, ina- 'сухожилие' (~манс. tę̄n~коми, удм. sęn~фин. suoni~саам. suodnâ), nyíl, nyíla- 'стрела' (~манс. ńę̄l~коми, удм. ńęl~фин. nuoli ~ саам. njuollâ) и др. Итконен считает нелабиализованный гласный заднего ряда в этих словах вторичным. По его мнению, гласного ị в праязыке не существовало, и для указанных слов он, основываясь на данных финского языка, реконструирует праформы *sōne, *ńōle. С другой стороны, Коллиндер постулирует праформы *sę̄ne, ńę̄le[1].

[1] Следует заметить, что Коллиндер также признает существование в праязыке гласного *ị, однако реконструирует его в тех случаях, когда финский i соответствует гласным заднего ряда других финно-угорских языков (например, фин. rita 'ловушка'; в венгерском языке этимологии этого типа не отражены).

Беглое ознакомление с трудностями, которые возникают при исследовании вокализма, позволяет таким образом убедиться, что еще не осуществлена такая систематизация истории финно-угорских гласных, которая была бы во всех отношениях удовлетворительной.

В силу этого пока нельзя дать четкого ответа на вопрос о том, в чем праугорская система вокализма отличалась от прауральской. Однако представляется вероятным, что, помимо нелабиализованных гласных переднего ряда (ä, e, i) и гласных заднего ряда (a, o, u), в нее входили лабиализованный гласный переднего ряда ü и нелабиализованный гласный заднего ряда i̯. Судя по ряду признаков, угорскому праязыку (и раннему правенгерскому) было неизвестно противопоставление долгих и кратких гласных, поскольку, хотя в двух современных угорских языках — венгерском и мансийском — долгота фонологична, но эта черта развилась в обоих языках независимо. Это доказывается тем, что во многих этимологиях венгерскому краткому гласному соответствует мансийский долгий и наоборот: венг. falat 'кусок'~манс. (сев.) pūl, венг. ol 'убивать'~манс. (зап.) ā̆l-, венг. ideg 'тетива'~манс. (сев.) jāntew и т.д., но: венг. négy 'четыре'~манс. (сев.) ńila, венг. húsz 'двадцать'~манс. (зап.) kus и т.д.

Гласные второго слога. Праязыковые ауслаутные гласные основы *-a, *-ä, *-e сохранились в финском языке (хотя в конце слова произошел переход *-e > -i, ввиду чего исходное качество гласного прослеживается в том варианте основы, который используется перед аффиксами: joki~joe- 'река'). В более или менее преобразованном виде древние ауслаутные гласные представлены в саамском языке, а также, в определенных типах структуры слова, в мордовском и марийском. Однако в остальных финно-угорских языках исходные гласные ауслаута основы были, за немногочисленными исключениями, утрачены.

Как можно предполагать, в угорскую эпоху праязыковые гласные второго слога (ауслаута основы) еще сохранялись. Вероятно, к началу правенгерской эпохи можно отнести переход этих гласных в i, u, u; последние отражены еще и в первых памятниках венгерского языка (например, угор. *konta >> др.-венг. hodu > had 'войско', угор. *ϑäre > правенг. *heri > др.-венг. eri > ér 'ручей' и т.д.). Их отпадение датируется древневенгерской эпохой, но нужно заметить, что след гласного, находившегося в ауслауте основы, сохранился в том варианте основы, который используется перед аффиксами.

Урал. *-a: венг. had, hada- 'войско'~манс. χ̊ant~хант. *kănt ~морд. końda 'семья'~ фин. kunta 'община'.

Ср. также: венг. hal 'рыба', lúd 'гусь', máj 'печень', mony

'яйцо', száz 'сто', vad 'дикий' и др.

Урал. *-ä: венг. szëm, szëme- 'глаз'~манс. säm~хант. sem~коми, удм. śin~мар. .šin-zä~морд. śel'me~саам. čâlbme~фин. silmä.

Ср. также: венг. epe (где -e – первоначально лично-притяжательный показатель 3-го лица ед. ч.) 'желчь', év 'год', fül 'ухо', hölgy 'дама', négy 'четыре', őn 'голавль', ős 'предок', öv 'пояс', tél 'зима' и др.

Урал. *-e: венг. nyíl, nyila- 'стрела'~манс. ńāl~хант. ńal~коми ńįl~удм. ńil~мар. nölö~морд. nal~саам. njuollâ~фин. nuoli, nuole-;

венг. víz, vize- 'вода'~манс. wit~коми va~мар. wət~морд. ved'~фин. vesi, vete-.

Ср. также: венг. ég 'небо', ér 'вена, жила', íny 'десна', jel 'знак', kéz 'рука', légy 'муха', meggy 'вишня', méh 'пчела', öt 'пять', szén 'уголь', vér 'кровь' и др.

СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ

Как и в случае со сравнительно-исторической фонетикой, мы не стремимся в этом разделе к тому, чтобы подробно проследить трансформацию морфологического строя праязыка в отдельных языках-потомках. Изложенный ниже в весьма ограниченном объеме фактический материал служит той цели, чтобы представить воедино важнейшие структурные и материальные доказательства родственных связей венгерского языка. Этот материал одновременно показывает, что структурно-грамматическое наследие уральской, финно-угорской и угорской эпох не было утрачено после обособления венгерского языка и до сих пор составляет основу его грамматического строя.

Падежные окончания

Генитив на *-n:

Фин.	joki	'река' ген. ед. ч.	joe-n
Саам. (южн.)	juhka	'река' "	juhka-n
Эрзя-морд.	śel'me	'глаз' "	śel'me-ń
Мар.	joγə	'река' "	joγə-n
Нган.	turku	'озеро' "	turku-ŋ
Сельк.	ātä	'олень' "	ātä-n, ātä-t
Кам.	bü	'вода' "	bü-n

NB! 1. Из прибалтийско-финских языков в эстонском и ливском окончание генитива отпало (хотя в изолированных случаях в эстонском оно все же сохранилось: maantee 'шоссейная дорога'). Эстонский генитив может отличаться от номина-

тива за счет использования слабой ступени чередования согласных (pada 'горшок'~ген. paja) или варианта основы, характерного для косвенных форм.

2. В норвежско- и кольско-саамском окончание генитива также исчезло, однако оставило свой след в виде чередования ступеней согласных (саам. (сев.) jokkâ 'река'~ген. joggâ).

3. В ненецком и энецком языках древнее окончание генитива сохранено в виде гортанного смычного.

В пермских и угорских языках нет никаких следов окончания генитива -n: притяжательная конструкция в этих языках или не получает оформления (или оформляется лично-притяжательным показателем), или же в ней используются окончания, генитивная функция которых вторична. Неоформленная притяжательная конструкция особенно характерна для угорских языков (венг. asztalfiók 'ящик стола', Tisza-part 'берег Тисы', Volga-konyok 'излучина Волги', naplemente 'заход солнца'; манс. mā χar 'поверхность земли', jūntəp-pup 'ушко иглы'; хант. taśəŋ joχ χot-a 'в дом богатого народа', t'at'i poχ 'сын Тяти' и т.д.; см. также с. 228—229), но коми и удмуртскому языкам (как и другим представителям уральской семьи) она также не чужда (удм. Матра nʲl 'дочь Марфы', коми ju-dor 'берег реки' и т.д.). Однако для пермских языков характерно скорее использование окончания генитива вторичного происхождения, развившегося из окончания адессива (коми, удм. -leŋ). Впрочем, генитивную функцию смогло приобрести не только это пермское падежное окончание; за счет вторичного развития функцию генитива способны выполнять и некоторые падежные окончания угорских языков: в венгерском языке для выражения притяжательности употребляется дативное окончание -NEK в сочетании с лично-притяжательным показателем; сходное явление обнаруживается и в южно-хантыйском наречии, где окончание инструменталя -nat, редко используемое в своей первичной функции, может встречаться в притяжательных конструкциях (jəγemnat tajəm 'топор моего отца', букв. 'отцом-моим топор').

Неоформленность притяжательной конструкции, как уже указывалось, — особенность, восходящая к праязыку. Ждет, однако, объяснения причина бесследного исчезновения окончания генитива в части финно-угорских языков. Как мы предполагаем, утрата окончания генитива *-n в угорском праязыке была вызвана тем, что оно совпало по форме с другими грамматическими морфемами, то есть суффикс *-n приобрел чрезмерную морфологическую нагрузку: в праугорском уже могла возникнуть форма окончания локатива, лишенная гласного (*-n), существовал формант *-n со значением множественности обладаемого; не исключено, что уральское окончание датива — латива *-ń сохранялось в депалатализовавшемся виде; наконец,

в части праугорских диалектов (у предков обских угров) лично-притяжательный показатель 2-го лица *-t, имеющий местоименное происхождение, был также заменен на *-n. Всего этого могло оказаться достаточным для устранения генитива на *-n, тем более, что имелась, как и прежде, возможность выражения притяжательности как безаффиксальным путем, так и с помощью лично-притяжательных показателей.

Аккузатив на *-m:				
Мар.	joγə	'река'	Акк. ед. ч.	joγə-m
Саам. (южн.)	juhka	'река'	"	juhka-m, juhko-b (-w)
Манс.	kā̆t	'рука'	"	kā̆t-mi
Нен.	χāl′e	'рыба'	"	χāl′e-m
Нган.	turku	'озеро'	"	turku-m
Селък.	ā̆tä	'олень'	"	ā̆tä-m, ā̆tä-p
Кам.	bü	'вода'	"	bü-m

NB! 1. В финском языке генитив и аккузатив совпали по форме после перехода ауслаутного -m в -n. – Аккузатив в мордовском языке может иметь ту же форму, что и генитив (например, viŕ-eń ген., акк. 'лéса, лес').

2. Саамское окончание аккузатива -m (~-b, -w) сохраняется лишь в самых окраинных южных диалектах. В кольско- и норвежско-саамских диалектах ауслаутный -m отпал, как и окончание генитива (саам. (сев.) jokkâ 'река'~акк. joga).

3. В абсолютном конце слова окончание -m в прапермском было утрачено и поэтому не представлено в таком виде в современных пермских языках. Как правило, в них используется вторичное окончание аккузатива, однако у нескольких слов, а также у некоторых лично-притяжательных форм и местоимений аккузатив характеризуется наличием ауслаутного гласного, который не мог бы сохраниться без консервирующего влияния ранее существовавшего согласного, в данном случае — *-m. Следовательно, случаи такого рода свидетельствуют о наличии в прошлом окончания аккузатива. Примеры: коми mort 'человек' ~акк. ед. ч. mortę; pi 'сын'~pi-t-ę 'твоего сына' акк.; удм. pi 'сын'~ pi-m-ę 'моего сына' акк., mon 'я'~mon-ę 'меня' акк. и т.д.

Таким образом, уральское окончание аккузатива удается обнаружить во всех языках-потомках, кроме хантыйского и венгерского. Возможно, уже в угорском праязыке это окончание не было распространено повсеместно, а скорее носило характер диалектного явления. Причиной утраты его венгерским языком могло быть и формальное, а в некоторых случаях — и функциональное совпадение с лично-притяжательным показателем 1-го лица ед.ч. Дело в том, что современное венгерское окончание аккузатива -t может отсутствовать в лично-притяжательных формах 1-го и 2-го лица (veszem a kalapom 'я беру свою шляпу').

В древнейший период возможность понимания подобных форм в качестве определенного прямого дополнения обеспечивалась еще и тем, что в них слились воедино окончание определенного прямого дополнения (*-m) и лично-притяжательный показатель 1-го лица ед.ч. (-m). Совпадение номинатива и аккузатива, следовательно, по всей вероятности, началось с лично-притяжательных форм 1-го лица, приведя в дальнейшем к полному забвению окончания аккузатива *-m. Этот процесс прошел в основной массе угорских диалектов. В пользу сказанного свидетельствует и тот факт, что в раннюю правенгерскую эпоху возникло новое морфологическое средство обозначения объекта — окончание -t.

Венгерское окончание аккузатива *-t. Существует ряд объяснений происхождения окончания -t в современном венгерском языке. Хоргер и Мелих предположили его генетическую связь с локативным окончанием -t (считая, что переосмысление локативного значения как аккузативного могло начаться с конструкций типа helytáll 'оставаться на месте~сохранять место', nagyrészt 'в большей части~большую часть' и т.д.). Буденц, Барци и другие исследователи считают -t детерминативным формантом местоименного происхождения. Эта точка зрения представляется более вероятной, хотя ныне было бы уже весьма затруднительно установить, восходит ли морфема -t, использованная в качестве детерминатора, к основе указательного или личного местоимения. Бесспорным доводом в пользу такой точки зрения служит, однако, употребление форманта -t′ местоименного происхождения с детерминативной функцией в мордовском указательном склонении существительных: kudo 'дом'~kudo-ńʼдóма, дом' ген., акк.~kudo-ń-t′ ' (этого) дома, (этот) дом' ген., акк.; дейктический -t, допускающий с исторической точки зрения трактовку его как детерминатора, участвует и в образовании форм аккузатива хантыйских личных местоимений (man-t 'меня', naŋ-ət 'тебя', tew-ət 'его'). Аналогия с мордовским и хантыйским языками говорит, таким образом, в пользу дейктического местоименного происхождения венгерского окончания аккузатива, хотя между указанными формантами и нельзя установить непосредственной генетической связи. Однако усомниться в наличии косвенной связи между ними вряд ли можно (то есть в местоименном происхождении всех этих формантов).

Очевидно, формант -t эпизодически мог использоваться в качестве детерминатора еще задолго до правенгерской эпохи. Затем, в начале правенгерской эпохи, этот эпизодически привлекаемый формант, получив широкое распространение в языке, в связи с утратой окончания аккузатива *-m подвергся адапта-

ции с превращением в новое окончание определенного прямого дополнения. В этом смысле венг. -t, которое считается окончанием правенгерского происхождения, является правенгерским лишь постольку, поскольку способность его к обозначению объекта приобрела универсальный характер в правенгерскую эпоху. Собственно же говоря, перед нами один из способов выражения определенности в уральском, финно-угорском и угорском праязыках, поэтому в конечном счете окончание -t может быть квалифицировано как имеющее праязыковое происхождение.

Локатив на *-NA:

А) В окончаниях наречий и послелогов, вычленимых, как правило, лишь путем сравнительно-исторического анализа:

венг. benn 'внутри', fönn 'наверху', kinn 'снаружи' (основы: bél- – ср. bél 'кишка', fő- – ср. fő 'голова', *kim- + лок.), диал. hún~hun 'где';

манс. ju-n 'внутри, дóма', jol-n 'внизу', num-n 'вверху', kwā̆-n ~kü-n 'снаружи, вне', ēl-n 'впереди', tā̆lj-an 'зимой';

хант. kam-ən 'вне', num-ən 'вверху', i-n 'сейчас', pir-ne 'позже, после';

коми ul-i̯n 'под', ti̯-n 'там';

удм. ot-i̯n 'там';

мар. ül-nə 'под', tü-nə 'снаружи';

морд. (темпоралис) ve-ńe 'ночью', t'el'-ńa 'зимой', t'e šk a-ńe 'тогда';

саам. vuolle-n 'под', duokke-n 'позади';

фин. alla≺*al-na 'под', yllä≺*yl-nä 'над', taka-na 'позади';

нен. ŋi̯l-na 'под', χu-na 'где' и т.д.

Б) В качестве падежного окончания или его составной части:

венг. -ON (суперессив), -AN (окончание обстоятельств образа действия и состояния), -BEN (инессив);

хант. -NE (локатив): juχ-ne 'на дереве', waǩ-ne 'в городе', pəsan-ne 'на столе', (сев.) χor-na 'в лодке';

коми, удм. -i̯n (инессив): коми kar-i̯n 'в городе', te̯l-i̯n 'зимой'; удм. üj-i̯n 'ночью';

[морд. -SO≺*-SNO (инессив); в словах на -š, -s, -z носовой согласный окончания сохранился: kal-so 'в рыбе', но šakš-nä 'в горшке'];

эст. -na (эссив), фин. -NA (эссив): фин. opettaja-na~эст. õpetaja-na 'в качестве учителя'. Финские окончания инессива -SSA (~эст. -s) и адессива -LLA (~эст. -l) также содержали в себе это локативное окончание (≺*-SNA, *-LNA), но впослед-

ствии оно слилось с формантами s и l внутренне- и внешнеместного значения;

саам. -n (эссив) : sabme-n 'по-саамски';

нен. -ХА-NA (локатив) : jā-χana 'на земле', to-χona 'в озере'.

На основе приведенного материала можно сделать следующие выводы: 1) локатив на -n не представлен в мансийской падежной системе, поскольку в прамансийском произошло обобщение другого локативного окончания; 2) в ряде языков он выступает как один из компонентов вторичных окончаний (венг., фин., морд., нен.); 3) функция его не всегда локативная, но значения, отклоняющиеся от исходного, — например, значения обстоятельств состояния и образа действия, — во всех случаях выводимы из круга локативных функций.

Локатив на *-Т: Полноправным членом падежной системы локатив на -t является фактически только в мансийском языке: χā̆p-ət 'в лодке', puŋk-ət 'на голове' (в некоторых диалектах представлена форма с вокалическим ауслаутом: kā̆t-ta 'в руке', tur-ta 'на озере'). Вероятно, производным от локативного -t следует считать и обско-угорское окончание инструктива-комитатива (манс. -ta, -t, хант. (южн., вост.) -at).

В венгерском и хантыйском языках окончание локатива обнаруживается только в наречиях, послелогах и в отдельных изолированных существительных:

венг. itt 'здесь', ott 'там', amott 'там (далеко)', mellett 'возле', együtt 'вместе', között 'между', mihelyt 'как только', hanyatt 'навзничь'; oldalt 'сбоку', déltájt 'в полдень', Pécsett 'в Пече', Győrött 'в Дьере', Kolozsvárt 'в Коложваре'* и т.д. (ср. также örömest 'с радостью', bízvást 'с уверенностью', valamelyest 'несколько, в небольшой степени'; asszonyostul 'вместе с женщиной', testestül-lelkestül 'телом и душой' и т.д.);

хант. ko-t 'где', to-t 'там', sem-ət 'на глазах, открыто'.

Хотя локатив на *-Т представлен в первую очередь в угорских языках, в последнее время признается все же его финно-угорское происхождение, так как следы его обнаруживаются в наречиях и падежных окончаниях других языков. Данное локативное окончание предположительно можно связать с фин. -ti (<*-ttik) в наречиях образа действия kaike-ti 'вероятно',

*Обычно при локативном употреблении названия большинства венгерских населенных пунктов имеют окончание суперессива (Budapesten 'в Будапеште'), а названия части венгерских населенных пунктов (в основном тех, которые оканчиваются на -m, -n, -ny, -j, -i или содержат компонент -falu или -szombat) и всех иностранных населенных пунктов — окончание инессива (Moszkvában 'в Москве'). Названия Pécs, Győr, а также топонимы на -vár и -hely, приобретающие окончание -t(t), составляют исключение. — *Прим. перев.*

perä-ti 'полностью, целиком', а также с родственными последнему формантами наречий tä-ten 'так', ku-ten 'как', muu-ten 'иначе'. Эти финские аффиксы связаны с пермским окончанием транслатива -ti (коми beŗeg-ti 'по берегу', удм. kośak-ti 'через окно') и с формантами некоторых наречий в мордовском и марийском языках (морд. vel'-t' 'очень', мар. kəzə-t 'сейчас').

Этот же *-Т содержится в венгерском (архаическом и диалектном) локативном окончании существительных, обозначающих семью: -NOTT (-nitt, -nett, -nott, -nött), а также в общеугорском окончании комитатива -NÄT (-nət, -nät, -nat): венг. mesternett 'в семье учителя', bíró-nott 'в семье судьи'; манс. ā̆mp-nā̆t 'с собакой'; хант. poγəl-nat 'с его сыном', lā̆w-nat 'с лошадью, на лошади' и т.д. До сих пор эти окончания объяснялись как образовавшиеся путем объединения локативных окончаний *-n и *-t (так наз. 'нагромождение окончаний' — raghalmozás). Следует, однако, принять во внимание недавно высказанную и представляющуюся более вероятной точку зрения М. Лиимолы, согласно которой они превратились в окончания через стадию послелога и восходят к форме локатива (или к праугорскому источнику этой формы) от слова *nā̆ 'место вблизи, сторона'.

Аблатив на *-ТА. В угорских языках рефлексы этого праязыкового окончания отсутствуют.

Обнаруживается же оно в финском окончании партитива -TA, исходная аблативная фукция которого ныне проявляется лишь в нескольких наречиях и послелогах: al-ta 'из-под', luo-ta 'от', yl-tä 'с (поверхности)', ulko-a 'извне', sii-tä 'оттуда' и др.

В ряде языков (за исключением угорских) *-ТА часто встречается в наречиях:

саам.	vuol-dĕ	'снизу',	al-dĕ	'сверху';
морд.	al-do	'снизу',	veŕ-d'e	'сверху';
мар.	ümba-ć	'сверху',	tü-c	'извне';
нен.	ŋil-d	'снизу',	χu-d	'откуда' и т.д.

В качестве самостоятельного, первичного падежного окончания *-ТА употребляется, помимо прибалтийско-финских языков и некоторых саамских диалектов, только в мордовском языке (аблатив на -do, -de: kudo-do 'от дома'), но в составе вторичных окончаний элатива и аблатива оно представлено и в других языках: саам. -st (инессив — элатив), диал. -lt (аблатив) морд. -STO (элатив): kudo-sto 'из дома'; мар. -lec (аблатив), -kəc (элатив): kit-lec 'от руки', kit-kəc 'из руки'; нен. -XAD (аблатив); в пермских языках рефлексы проблематичны и имеют спорадический характер.

Угорский аблатив на *-L: В отличие от остальных уральских языков, в угорской ветви в качестве окончания аблатива выступает l.

А) В наречиях и послелогах:

венг. alól 'из-под', kozul 'из (места между чем-л.)', mellől 'от (места рядом с чем-л.)', felől 'с, со стороны' и т.д.;

манс. jal-əl 'снизу', kün-l 'извне', tū-l 'оттуда';

хант. ko-l~ko-l′ 'откуда', tə-l′ 'отсюда', ewi-li 'от, из (места рядом с чем-л.)'; (южн.) tă-t-ta ~(сев.) tă-l-ta 'отсюда' (в двух последних примерах замыкающая слово морфема -ta играет усилительную роль, окончание аблатива ей предшествует!).

Б) В падежных окончаниях:

венг. -UL (эссив), -VEL (инструктив — комитатив), -BŐL (элатив), -TŐL (аблатив), -RÓL (делатив), -NÁL (адессив), -NŐL (аблативное окончание слов, обозначающих семью);

манс. -L (инструктив — комитатив) · χā̆p-l 'лодкой, на лодке', āmp-əl 'с собакой'; -NAL (аблатив — элатив): wit-nəl 'из воды', tō̆-nal 'от озера, из озера'

Еще несколько десятилетий назад угорское аблативное окончание считалось рефлексом уральского окончания аблатива *-ta. Согласно мнению сторонников теории праязыкового чередования ступеней согласных, *-l развилось из слабой ступени окончания аблатива *-ta~*-δa. Сейчас эта точка зрения уже неприемлема, хотя и продолжает периодически высказываться. Не так давно Т. Э. Уотила и Э. Моор выдвинули интересные соображения по поводу происхождения угорского аблативного окончания *-l. Они полагают, что это окончание можно связать с финно-пермским формантом -l, выражающим внешнеместное значение в составе вторичных падежных окончаний (фин. -LLA — адессив, -lle — аллатив, -LTA — аблатив) и предположительно связанным со словообразовательным суффиксом -LA, который обозначает место (фин. Kaleva-la 'земля (родина) Калеви', ete-la 'место впереди = юг'). Из специалистов по истории венгерского языка эту точку зрения разделяет Г. Барци.

NB! Сказанное выше о венгерском окончании -NŐTT представляется нам вероятным и в отношении венг. -NŐL и его соответствия в мансийском языке. Здесь может идти речь не о добавлении аблативного окончания к локативному (как утверждают исторические грамматики венгерского языка), а о форме аблатива на *-l от уже упоминавшегося угорского *nā 'место вблизи, сторона'; эта форма, пройдя стадию послелога, превратилась в падежное окончание.

Латив – датив на *-ń: В венгерском и в двух других угорских языках нет надежных рефлексов этого падежа. В финском языке он совпал с генитивом (что породило так называемый

датив – генитив: Jumala-n kiitos 'слава богу!', minu-n täytyy 'мне нужно'), однако обнаруживается и в виде последнего из компонентов в окончании иллатива (-hVn), а исторически вычленим также и в окончании аллатива (-lle ≺ *-len).

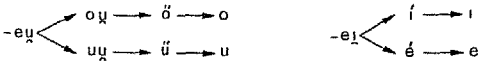
Рефлексом рассматриваемого праязыкового окончания является эстонский терминатив (-ni): jala-ni 'до ног', kahe-ni 'до двух', jõe-ni 'до реки'. Тот же праязыковой формант *-ń содержится в составе окончаний пермского аппроксиматива (-lań) и эгрессива (-śań), а также марийского аллатива (-lan).

В первичной или расширенной форме (-n, -ni, -nik и др.) *-ń представлен в качестве дативно-лативного окончания в самодийских языках. Кроме того, *-ń вычленяется в большинстве уральских языков в составе наречий (фин. minne 'куда', tänne 'сюда'; мар. pele-n 'к, в сторону', lišä-n 'рядом, на место вблизи чего-л.'; коми kim̮i-ń 'ничком, вверх дном', удм. kim̮i-ń и т.д.).

Существует мнение о том, что сюда же относится венгерское лативное окончание слов, обозначающих семью (bíróni, bírónyi 'в семью судьи'), а также манс. -nə и хант. -na (окончания латива). Однако, по данным исследований новейшего времени, эти окончания, подобно венг. -NÖTT и -NÓL (см. выше), образовались из послелогов. В данном случае основа послелога (*nǟ) была оформлена окончанием латива *-k. Помимо указанных угорских лативных окончаний, рефлексом подобного послелога является, возможно, венгерское окончание датива -NEK.

Латив на *-k: А) Лучше всего этот латив сохранился в наречиях и послелогах, но его исходный звуковой облик претерпел существенные изменения. На основе венг. fel-é 'к, в сторону', mell-é 'к (месту вблизи чего-л.)', mög-é 'за (что-л.)', köz-é, köz-i 'в (место между чем-л.)', bel-é, bel-e 'внутрь', id-e 'сюда', od-a 'туда', haz-a 'домой', al-á 'под (что-л.)' рефлексом уральского латива на *-k в венгерском языке можно считать морфему, выступающую в виде -á, -é, -a, -e, -i (-É). При учете всех данных выясняется, однако, что раньше данное лативное окончание имело также варианты -ő, -ö, -ű, -ü, изредка встречающиеся и ныне на диалектном уровне (mellő=mellé, belő=belé; egyembelű, eggyü(vé) 'воедино', összü 'вместе, воедино'). В тех глагольных префиксах, которые издавна употребляются в венгерском языке, эти слабые реликты лативного окончания полностью исчезли (meg, fel, le ≺ migé, felé, levé).

Все эти краткие и долгие гласные различного фонетического качества, выступающие в качестве лативных формантов, восходят к правенг. *-γ – рефлексу урал. *-k. Правенгерский ауслаутный -γ в сочетании с предшествующим гласным конца основы превращался в дифтонг на (-u̯), -ü̯ или -i̯; далее развитие таких дифтонгов шло в различных направлениях:



Алломорф с гласным -á заднего ряда (> -a) возник, вероятно, под действием гармонии гласных.

NB! В морфеме -É можно усматривать не только рефлекс урал. *-k, но и рефлекс финно-угорского лативного окончания *-j (иначе говоря, в этом случае правенгерские дифтонги на -i̯ следует отделять от дифтонгов на -u̯). Не исключено, таким образом, что рассматриваемая морфема лативного значения в венгерском языке возникла за счет конвергентного развития двух различных окончаний (см. об этом в следующем разделе).

Рефлексы лативного окончания *-k в наречиях и послелогах других финно-угорских языков:

манс. (сев.) ti-γ, (южн.) tī 'сюда'; (сев.) supı-γ, (зап.) šop-i 'пополам'; в большинстве диалектов формант γ часто подвергался вокализации (pàri~pärü 'обратно'), а иногда и полностью исчезал (например, в глагольных префиксах (превербах): pär 'обратно', šup 'через');

в хантыйском языке консонантный элемент сохраняется преимущественно при присоединении к односложным основам: (сев.) tŏ-γi ~(южн.) tŏ-χ 'туда', (сев.) tī-χ ~(вост.) tə-χ 'сюда', (сев., южн.) no-χ 'вверх', jo-χ 'домой, обратно', (сев.) ni-χ ~(южн.) ni-k 'на берег, наружу'; чаще, однако, он подвергался вокализации: ńul-a ~(южн.) ńut-a 'вместе, один к одному', mos-a 'до', unt-a 'до' и т.д.;

коми, удм. vi̯l-e̯ 'на (что-л.)', ul-e̯ 'под (что-л.)', din-e̯ 'к';

мар. ul-kə 'под (что-л.)', pel-kə 'к, в сторону', tu-γə 'наружу';

морд. ku-va 'где, по какому месту', tĭ-va 'здесь, по этому месту' (пролатив);

фин. ala~диал. (Ингерманландия) ala-k 'под (что-л.)', ympäri (диал. ympäri-k) 'вокруг', luo (luo?) 'к', taa (taa?) 'обратно', sinne (sinne?) 'туда';

саам. dei-kĕ 'сюда' и т.д.

Б) В качестве падежного окончания или его составной части.

Венгерское лативное окончание -É послужило основой окончания транслатива –VÉ. Последнее возникло из первичного лативного окончания за счет превращения согласного v, появлявшегося в интервокальной позиции для устранения зияния или, в определенных случаях, принадлежавшего основе, в органическую составную часть окончания: fá-á → fá-v-á → fá-vá 'в дерево (превратиться), деревом (стать)'; köv-é → kő-vé 'в камень (превратиться), камнем (стать)'. Первичное лативное окончание -É может быть вычленено и в составе следующих вторичных па-

дежных окончаний венгерского языка: -BE (иллатив), -RA (сублатив), -HOZ (аллатив), -NI (лативное окончание слов, обозначающих семью), -NEK (датив). Все они – послеложного происхождения; с ними соотнесены употребляющиеся самостоятельно наречные формы, в которых лативное окончание не полностью исчезло: belé 'в него', reá 'на него', hozzá "к нему', néki 'ему'. Окончание -É как одна из составных частей обнаруживается и в других (не послеложного происхождения) вторичных обстоятельственных окончаниях (например, -int, -ént – в наречиях образа действия, -ig – в терминативе).

В мансийском языке уральское лативное окончание *-k отражено окончаниями транслатива – эссива -γ, -äγ, -iγ, -w (в части диалектов – -ü, -ä, -i): (южн.) üt'-ü 'водой (стать)'; lapta-w 'листом (стать)'; (вост.) jəps-äγ 'темным (стать)'; (зап.) moj-ā 'в качестве гостя', ipš-i 'темным (стать)'; (сев.) jurt-iγ 'в качестве друга', mańśi-j-iγ 'по-мансийски'. Предполагается, что то же праманс. (угор.) *nā 'место вблизи, сторона' (ср. венг. -ni, хант. -na).

В хантыйском языке в качестве окончания датива – латива – транслатива выступает -a, -ä: juχ-a 'к дереву', wont-a 'в лес', jəŋk-a 'в воду', ku-j-a 'человеку' и т.д. Однако в некоторых диалектах (восточных) наряду с дативом–лативом на -a, -ä наблюдается и особый транслатив на -əγ,- γə – последнее окончание также неотделимо от уральского лативного *-k: kat-γə 'домом (стать)', kul-əγ 'рыбой (стать)', ńəl-äγ 'на четыре части' и т.д. Благодаря дифференциации функций это транслативное окончание сохранило консонантную форму, близкую к исходной.

К урал. *-k восходят окончание пермского иллатива (коми kar-e̮ 'в город') и, возможно, второй компонент окончания аллатива (-li̮<-li̮k?), а также мордовское окончание пролатива -ka, -ga, -va (kijaks-ka 'по полу', viŕ-ga 'по лесу', śel'me-va 'по глазам'). Это же уральское окончание входит, возможно, в состав финского окончания транслатива -ksi в качестве первого его компонента и в состав окончаний абессива и пролатива в качестве последнего компонента, ныне произносимого лишь в виде придыхания (абессив -TTA'~диал. -TA'<*-TTAK; пролатив -tse'<*-t'šek).

Рефлексы лативного окончания *-k отмечаются и в самодийских языках, обнаруживаясь частично в формантах наречий, частично в отдельных падежных формах.

Финно-угорский латив на *-j. В предыдущем разделе уже отмечалась возможность возведения венгерского лативного

окончания -É к ф.-у. *-j. Рефлексами данного лативного *-j Тойвонен признает также следующие форманты наречий в финно-угорских языках: хант. tŏγo-j 'прочь', joγ-i 'домой, обратно'; коми jl̮-i 'вдаль', šĭr-i 'пополам'; фин. auk-i 'в открытом состоянии, настежь', halk-ı 'пополам, надвое', lap-i 'через'; эст. eda-ja 'вперед' и др.

Вероятно, в праязыке это лативное окончание не имело широкого распространения, поскольку данные современных языков, на которых строится его реконструкция, довольно скудны. Таким образом, в данном случае неуверенности больше, чем в случае хорошо документированных окончаний. Во всяком случае, возведение венгерского лативного -É к *-j безупречно с точки зрения исторической фонетики – с той оговоркой, что те древние формы этого окончания, которые представляли собой дифтонги на -u̯, могут быть объяснены только из лативного окончания *-k. Следовательно, принимая концепцию Тойвонена, следует предполагать, что в правенгерском рефлексы лативов на *-k и на *-j могли совпасть.

Общий обзор падежных окончаний. Различные элементы праязыковой падежной системы отражены в языках-потомках довольно неравномерно. Некоторые из них полностью исчезли в ряде языков, например, аккузатив в венгерском и хантыйском, генитив в угорских и пермских языках. Любопытная двойственность наблюдается в отношении окончаний местных падежей: из двух праязыковых окончаний локатива или латива – в качестве продуктивного падежного окончания сохраняется как правило только одно, второе же вытесняется из парадигмы существительных в сферу наречных и послеложных формантов. Правда, локатив на *-NA почти универсален и играет важную роль в падежных системах уральских языков (хотя порой и в расширенной с помощью других элементов форме); лишь в мансийском языке он оттеснен на задний план локативом на *-t, в целом характерным преимущественно для угорских языков. Более отчетливо проявляется эта двойственность в отношении лативных окончаний: латив на *-ń характерен в основном для финно-пермских и самодийских, а латив на *-k – скорее для угорских падежных систем. Еще четче разграничение в средствах выражения аблатива: уральское окончание *-TA не оставило в угорских языках никаких следов, тогда как инновация угорской эпохи – окончание аблатива *-l – неизвестно в данной функции остальным уральским языкам.

Оценивая ход развития применительно к угорским языкам, можно утверждать, что прауральская падежная система претерпела в угорскую эпоху известные модификации. Употребление окончания генитива стало факультативным, а затем и излишним.

Хотя аккузатив и не разделил такую судьбу, но все же приобрел в известной мере диалектный характер. Могли сформироваться диалектные различия и в употребительности двух имевшихся локативов, хотя нельзя сомневаться в универсальной распространенности каждого из них. Среди лативных окончаний *-k, как можно предполагать, получило перевес над *-ń (и над периферийным *-j). Помимо этого, угорская эпоха ознаменовалась не только появлением нового аблативного окончания (*-l), но и возникновением целого семейства окончаний. Как уже указывалось, венгерские местные окончания слов, обозначающих семью (-NŐTT (лок.), -NŐL (абл.) и -NI (лат.), наряду с об.-угор. -NAT (комит.), манс. -NÄL (элат.-абл.) и об.-угор. *-NÄ (лат.-дат.)), имеют, по-видимому, послеложное происхождение. Предполагаемые послелоги-источники представляли собой формы *-t-ового локатива, *-l-ового аблатива и *-k-ового латива от основы *nǟ (≺*näγä?). (Сюда же, вероятно, можно отнести и венгерское окончание датива -NEK: как показывает его самостоятельно употребляемая наречная форма (ср. neki 'ему'), это окончание возникло также из послелога с гласным переднего ряда и, очевидно, связано с -né — архаичным вариантом вышеупомянутого лативного окончания -NI; функция и происхождение -k не вполне ясны.) Не удается, впрочем, точно определить, когда произошло превращение этих послелогов в окончания — еще в угорскую эпоху или же позднее. Но этот вопрос второстепенен. Существенно то, что возникли новые способы выражения обстоятельственных отношений.

Помимо данного семейства окончаний послеложного происхождения, к угорским или еще более древним послелогам восходят следующие падежные окончания венгерского языка:

1. -TŐL (аблатив) — по происхождению форма аблатива на *-l от слова tő, töv- 'корень, основа': правенг. *tüwül~*töwül > *tüül~*töül > -tűl (ср. др.-венг. ÓMS urumemtuul*) > -től. Развитие падежных словоформ от основ, генетически тождественных венг. tő, в послелоги и даже в окончания наблюдается и в других финно-угорских языках: коми din-i̯n (лок.), din-i̯ś (элат.), din-e̯ (лат.)~удм. diń-i̯n, diń-i̯ś, diń-e̯ — послелоги со значениями 'у', 'от', 'к' соответственно, превратившиеся в отдельных диалектах в падежные окончания: удм. (глазовский говор) -ni̯n (адесс.), -ńe̯ (аллат.); коми-пермяцк. (оньковский говор) -di̯n (адесс.), -di̯ś (абл.), -de̯ (аллат.). — Другие послелоги, образованные от слов, родственных венг. tő: мар. tüŋgə (лат.) 'к'; морд. t'ej-sa (инесс.) 'вблизи', t'ej-sta (элат.) 'из места вблизи', t'ej-s (лат.) 'в место вблизи, к'; фин. tykö-nä 'у', tykö-ä 'от', tykö 'к'.

* Совр. венг. örömömtől 'от радости моей'. — *Прим. перев.*

2. -HOZ (аллатив) – вероятно, по происхождению форма латива на *-k (ср. hozzá 'к нему', где сохранен вокалический рефлекс *-k), от угор. *kusa (≺ ф.-у. *kuśa, *kuća). Древневенгерская форма этого окончания в наиболее ранней фиксации – -χuz: HB ozchuz, uromcchuz*. В качестве послелога встречается и в хантыйском языке: (сев.) χŏ́śi, χŏ́śa 'к', ma χŏ́śam 'ко мне'.

3. -NÁL (адессив): общепризнано, что конечный -l тождествен окончанию аблатива. Согласно распространенному мнению, это окончание возникло за счет 'нагромождения окончаний', а содержащийся в нем n происходит из окончания локатива. Такая трактовка не объясняет ни долготу гласного (которая в венгерских окончаниях обычно бывает результатом стяжения), ни возможность самостоятельного наречного употребления (nálam 'у меня', nálad 'у тебя' и т.д.). Более вероятным представляется послеложное происхождение, поскольку венг. -NÁL можно связать с мансийским послелогом nūpəl 'в сторону, в направлении'. В последнем окончание аблатива -l следует за словообразовательным суффиксом местного значения -p- (ср. также tōpəl 'близко', образованное от to 'тот'); тем самым в качестве исходного слова можно предполагать *nu ~ *no со значением 'место вблизи, направление'.

4. -RA (сублатив), -RÓL (делатив). Окончание сублатива еще в XI в. представляло собой послелог (др.-венг. TAA rea, то есть reá), возникший путем диссимиляции из правенг. *ro-á ≺ *roγ-á. Об исходности гласного заднего ряда свидетельствует непосредственно связанное с данным семейством окончаний местоименное наречие rajta 'на нем' (ср. др.-венг. KT rohtonc**). Исходной для всех этих форм принято считать основу венг. rokon 'родственник'. Такое объяснение оставляет, однако, нерешенные проблемы историко-фонетического характера. Со значительно большей вероятностью данное семейство окончаний можно сопоставить со следующими мансийскими наречиями: ranka 'обособленно, в сторону' (лат.), raŋ, raŋχə 'наружу, за пределы'. Таким образом, за исходно угорское слово можно принять *raŋa 'сторона', к лативной и аблативной падежным формам которого могут восходить венгерские окончания сублатива и делатива.

5. -VEL (инструктив–комитатив.) Несмотря на наличие альтернативных этимологий, возможность самостоятельного наречного употребления (ср. vele 'с ним, им') заставляет думать в первую очередь о послеложном происхождении. Это оконча-

* Совр. венг. ahhoz(≺ az-hoz) 'к тому', urunkhoz 'к нашему господину'. – *Прим. перев.*

** Совр. венг. rajtunk 'на нас'. – *Прим. перев.*

ние сопоставляется с манс. wā̈γl – формой инструктива – комитатива от wā̈γ 'сила'. Данному мансийскому существительному соответствуют фин. väki 'народ, сила', саам. viekkâ 'сила', мар. wi 'мощь', хант. wöγ, weγ 'сила'.

* * *

Значительная часть венгерских падежных окончаний возникла уже на собственно венгерской почве. Тем не менее они теснейшим образом связаны с праязыковыми средствами выражения синтаксических отношений: решающую роль в процессе формирования современных падежных окончаний сыграли древние, первичные окончания, а также послелоги, существовавшие еще до начала правенгерской эпохи.

Числовые показатели

Показатель множественного числа *-k. Венгерский показатель мн. ч. -k представлен не только в основе мн. ч. существительных (hala-k-nak 'рыбам'), но и в лично-притяжательных показателях для мн. ч. обладателя (hal-un-k 'наша рыба', hala-to-k 'ваша рыба', hal-u-k 'их рыба'), у местоимений (ő-k 'они', eze-k 'эти') и в личных глагольных окончаниях мн. ч. (lát-ju-k, lát-un-k 'мы видим', lát-játo-k, lát-to-k 'вы видите', lát-já-k, lát-na-k 'они видят'). Этот показатель является, таким образом, очень древним, однако связь его с саамским показателем мн. ч. -k довольно проблематична, хотя долгое время эти форманты признавались этимологически тождественными (ср. саам. guole-k 'рыбы', akšo-k 'топоры'). Дело в том, что, согласно новейшему объяснению, саам. -k может быть и рефлексом уральского показателя мн. ч. *-t (аналогичное изменение *-t > -k имело место и в саамских формах 2-го лица глаголов: саам. gulâ-k 'ты слышишь' =фин. kuule-t). Ввиду этого в последнее время венгерский показатель мн. ч. -k возводят к словообразовательному суффиксу, а именно – к уральскому суффиксу отыменных имен *kk + V. Объяснение основано на том, что этот суффикс, помимо уменьшительности (венг. madárka 'птичка', nénike 'тетушка'; ср. тот же суффикс с ныне затемненным уменьшительным значением в венг. ének 'песня', lélek 'душа', torok 'горло', farok 'хвост', fészek 'гнездо'), выражает и собирательность, по крайней мере в финском языке, где он имеет вид -kko, -kkö: kuusi 'ель': kuusikko 'ельник', aalto 'волна': aallokko 'волнение, удары волн', petäjä 'сосна': petäji-kkö 'сосновый бор', heinä 'трава': heini-kko 'луг', vesa 'побег': vesa-kko 'поросль'. Предполагается, что последняя функция была присуща этому суффиксу и в правенгерском,

поскольку собирательное значение должно было явиться важным этапом на пути к его превращению в показатель множественного числа. Таким образом, данное объяснение предполагает, что -k стал показателем множественного числа сначала у имен, а затем, за счет грамматического согласования, проник и в глагольное спряжение. На наш взгляд, эта точка зрения (ныне довольно популярная) сталкивается с той трудностью, что собирательное значение суффикса *-kk засвидетельствовано только в финском языке, довольно далеком от венгерского, причем данный оттенок значения представляется результатом вторичного семантического развития, восходя, по всей вероятности, к пространственному значению суффикса (таким образом, у фин. kivikko значение менялось следующим образом: 'камешек'→'место, где много камешков, каменистое место'→'скопление камней').

Кроме того, следует обратить внимание на то, что, по всей вероятности, функция выражения множественного числа была присуща морфеме -k, которая вычленяется в составе мордовских и финских местоимений, лично-притяжательных показателей и глагольных окончаний мн. ч. Например, фин. me 'мы'≺*mek; прибалтийско-финские лично-притяжательные показатели для множественного числа обладателя (при ед. ч. обладаемого) имели вид *-mek (1-е лицо), *-tek (2-е лицо), *-sek 3-е лицо (>фин. -mme, -nne, -NSA). В мордовском неопределенном спряжении окончание 1-го лица ед.ч. имеет вид -an, а окончание 1-го лица мн.ч. — -tanok (в прошедшем времени -ń и -ńek соответственно). На роль -k как форманта мн.ч. указывает и сравнение облика мордовских лично-притяжательных показателей:

ava-m	'моя мать'	ava-mok	'наша мать'
ava-t	'твоя мать'	ava-ŋk (≺ ava-ŋtk)	'ваша мать'.

Наличие в финском и мордовском морфемы мн.ч. -k выглядит необычным, поскольку для этих языков в целом характерно использование показателя мн.ч. -t. Это еще одна причина наших сомнений в справедливости гипотезы о происхождении показателя множественного числа из суффикса с собирательным значением. Не исключено, на наш взгляд, что уже в праязыке могло иметь место использование морфемы -k (точнее, ее источника) для обозначения множественного числа (возможно, в сфере лично-притяжательных и глагольных формантов). В данной сфере она сохранилась в финском и мордовском языках (а возможно, и в саамском?), тогда как в венгерском языке, в основном уже после завершения угорской эпохи, роль -k в обозначении множественного числа столь укрепилась, что уральский показатель мн.ч. *-t оказался полностью вытесненным из именного склонения.

NB! Возвращаясь к одному из давних объяснений, мы признаем возможным, что показатель мн.ч. *-k сохранен в тромъеганском диалекте хантыйского языка в виде элемента -γ, представленного в глагольных окончаниях 1-го лица мн. ч. -əwγ и 2-го лица мн.ч. -təγ (см. об этом Karjalainen — Vértes, MSFOu, 127: 226).

Показатель множественного числа *-t. Общеуральский показатель мн.ч. *-t (ср. манс. χul-t 'рыбы', хант. kul-t, фин. kala-t, саам. (южн.) guole-ϕ, морд. kal-t, нен. χāl′e-ʔ, сельк. qēlį-t) в марийском языке представлен только в 3-м лице мн.ч. глагола, а в венгерском и пермских языках полностью отсутствует. Вторичные показатели множественного числа имен в пермских и марийском языках, представляющие собой довольно длинные звуковые последовательности, сформировались уже в ходе обособленного развития этих языков.

Показатель множественности *-j > -i. Уральский показатель мн.ч. *j > -i, о котором уже говорилось на с. 235, был, по-видимому, характерен для косвенных падежей (фин. kalo-i-sta 'из рыб', саам. akšo-i-d 'топоры' (акк.), нен. wād′-i 'слова' (акк.) и т.д.), хотя в порядке исключения он может встречаться и в номинативе множественного числа, куда, вероятно, проник вторичным образом (ср. кам. pa-i 'деревья'). Как отмечалось, в некоторых языках формант множественности -i распространился и на системы глагольных окончаний и лично-притяжательных показателей. В глагольных формах определенного спряжения он обозначает множественность объекта, а в лично-притяжательных формах — множественность обладаемого: нен. madā-i-da 'он разрезал (много предметов)', но madā-da 'он разрезал (один предмет)'; сельк. ātä-i-lį 'твои олени', но ātä-lį 'твой олень'. В вопросе о том, относится ли сюда венгерский показатель множественного числа обладаемого -i (hala-i-m 'мои рыбы'), нет полной ясности. В последнее время эта морфема признается результатом собственно венгерского развития. Специалисты по исторической грамматике венгерского языка признают ее по происхождению фактически идентичной лично-притяжательному показателю 3-го лица ед.ч., точнее, его алломорфу -i, который представлен в древневенгерском языке и в диалектах. Согласно этой точке зрения, в течение какого-то времени лично-притяжательные показатели 3-го лица ед. ч. -e и -i могли сосуществовать (ср. др.-венг. viz-e 'его вода', lilk-i 'его душа' в "Hallotti Beszéd" 'Надгробная речь' [сокр. HB]). Вследствие этого каждая из параллельных форм типа keze~kezi могла, как считается, иметь два значения: 'его рука' и 'его ру́ки' (совр. венг. keze и kezei). Двойственность как фонетического облика, так и смысла по-

влекла за собой формальное и функциональное размежевание, в результате которого форма с -i стала обозначать множественность обладаемого (bratym (НВ) 'мои друзья'), а затем за счет смешения форм типа keze 'его рука' и kezi 'его ру́ки' возникла современная форма kezei 'его ру́ки'. По ее образцу впоследствии выработался и способ обозначения множественности обладаемого в других лицах (feleym (НВ) 'братия мои'). На наш взгляд, такое объяснение не рассеивает всех сомнений, поскольку в эпоху написания "Надгробной речи" -i, бесспорно, обладал функцией показателя множественности обладаемого (feleym, bratym, unuttei '(?) его избранники', szentii 'его святые') несмотря на то, что в качестве лично-притяжательного показателя 3-го лица ед. ч. параллельно встречались -e и -i (viz-e, lilk-i). Следует отметить, что точно так же дело обстоит и в ряде современных венгерских диалектов. Существует, однако, и другая причина для сомнений. Концепция формального и функционального размежевания связывает формирование средств выражения множественности обладаемого в правенгерском с возникновением лично-притяжательных показателей. В свете данных финно-угорских языков и их истории мы, однако, не можем принять предположение, согласно которому превращение личных местоимений в лично-притяжательные показатели относится к правенгерской эпохе. Систему лично-притяжательных показателей мы считаем гораздо более древней, праязыковой. Если же система выражения личной притяжательности действительно является праязыковым наследием, то трудно поверить, чтобы до правенгерской эпохи не существовало способа выражения множественности обладаемого. Поэтому, на наш взгляд, было бы целесообразно вернуться к точке зрения Буденца и Синнеи, которые не отрывали венг. -i от показателя множественности, довольно широко представленного со сходными функциями в родственных венгерскому языках. Таким образом, достаточно вероятно, что функция выражения множественности обладаемого у -i весьма архаична и унаследована из праязыка. Однако в конце правенгерской эпохи эта морфема в результате конвергентного фонетического развития совпала с одним из алломорфов лично-притяжательного показателя 3-го лица ед. ч. Совпадения между формами для единственного числа и для множественного числа обладаемого были, впрочем, возможны и в двух других лицах (главным образом у основ на -i). Однако в том, что при всем этом кажущемся беспорядке способность выражать множественность обладаемого сохранили только формы, содержащие i, сыграло свою роль, вероятно, то обстоятельство, что в большинстве правенгерских и древневенгерских диалектов исконное значение множественности у -i в сочетании "-i + лично-притяжательный показатель" не было предано забвению. Это

могло послужить и причиной того, что формы без i ни в коей мере не были способны выражать множественность обладаемого (иначе говоря, keze 'его рука' никогда не могло означать того же, что kezei 'его ру́ки').

Показатель множественности *-n. В ряде уральских языков к лично-притяжательным показателям добавляется элемент *n со значением множественности. Так, в праприбалтийско-финском существовали две серии лично-притяжательных показателей: без n (для единственного числа обладаемого) и содержащие n (для множественного числа обладаемого). Праприбалтийско-финскую систему лично-притяжательных показателей можно реконструировать в следующем виде (в правой части таблицы приведены формы современного финского литературного языка):

	Прибалтийско-финский		Финский
	Ед.ч. обладаемого	Мн.ч. обладаемого	
1 л. ед.ч.	*-mi	*-nni≺*-nmi	-ni
2 л. ед.ч.	*-ti	*-nti	-si
3 л. ед.ч.	*-sen	*-nsen	-NSA
1 л. мн.ч.	*-mek	*-nnek≺*-nmek	-mme
2 л. мн.ч.	*-tek	*-ndek	-nne
3 л. мн.ч.	*-sek	*-nsek	-NSA

Сопоставление данных этой таблицы убеждает нас в том, что современные финские лично-притяжательные показатели возникли за счет смешения древних показателей, указывавших на одно и на несколько обладаемых.

В венгерском языке следов показателя множественности обладаемого *n не сохранилось.

Показатель двойственного числа *-КА. Уральский показатель дв.ч. *-КА реконструируется на основе данных следующих языков:

манс. -γ, -iγ: pū̆t-iγ 'два котла', ā̆ra-γ 'две колыбели';

хант. -kən, -γən, -ŋən: ku-γən 'два мужчины', kat-kən 'две руки';

нен. -ХАʔ: χā̆sawa-χaʔ 'два мужчины', ŋā̆ćeki-χiʔ 'два ребенка' (более или менее аналогичные формы имеются и в других самодийских языках).

В саамском языке этот показатель двойственного числа встречается только в третьем лице глагольного спряжения и системы лично-притяжательных показателей: oabba-s 'его сестра' – oabba-s-kà 'две его сестры'.

В венгерском языке показатель двойственного числа исчез;

возможно, его единственным сохранившимся реликтом является формант, содержащийся в числительном kettő 'двое, два (в абсолютном, неатрибутивном употреблении)'. В обско-угорских языках наряду с манс. kit и хант. (вост.) kät – соответствиями венг. két 'два', которое употребляется атрибутивно, существуют абсолютные (неатрибутивные) формы этого числительного, снабженные показателем двойственного числа: манс. kitiγ, хант. (вост.) kätkən (=венг. kettő). Регулярным рефлексом аналогично построенной праугорской формы с показателем двойственного числа может являться венг. kettő.

Лично-притяжательные показатели

Лично-притяжательный показатель *-М 1-го лица.

Лично-притяжательный показатель 1-го лица ед.ч.:

венг. ház-am 'мой дом', kez-em 'моя рука';

манс. χāp-əm 'моя лодка';

хант. kat-am 'мой дом';

коми vẹv-na-m 'моей лошадью' (инстр.). В пермских языках лично-притяжательный показатель -m сохранился, как правило, только в формах некоторых косвенных падежей, однако в летском диалекте коми языка лично-притяжательный показатель 1-го лица ед. ч. -j̱m последовательно представлен во всей именной парадигме, в том числе и в номинативе: vok-j̱m 'мой брат' (NyK, 45: 413), mẹd-j̱m 'мой второй (сын)' (см. "Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов", Сыктывкар, 1961, с. 467-468 и Т. И. Жилина. – В: "Историко-филологический сборник Коми Филиала АН СССР", 3, 1956, с. 82-83);

удм. korka-śt̮i-m 'из моего дома' (элат.);

мар. kiδ-em 'моя рука';

морд. ava-m 'моя мать';

фин. (XVII в.) weickose-mi = совр. veikkose-ni 'мой сынок'; в говоре Ийтти (диалектная группа хяме) архаичный лично-притяжательный показатель 1 л. ед.ч. -m существовал еще несколько десятков лет тому назад: tupa-m 'моя комната' (фин. литер. tupa-ni), äiti-m 'моя мать' (=äiti-ni); ср. также вепсск. tütöim! 'дочка!', tatam! 'папа!' (вокатив);

саам. oabba-m 'моя сестра';

нган. jase-ma 'мой отец';

селькк. ima-m (или ima-p) 'моя жена'.

Лично-притяжательный показатель 1-го лица мн.ч.:

венг. kert-ünk 'наш сад', ház-unk 'наш дом' (< *házo-muk, ср. в "Надгробной речи" uromc 'наш господин');

[манс. χāp-uw, но при Рх 1 л. дв.ч. χāp-mēn 'наша лодка'];
[хант. kat-əwχ, но при Рх 1 л. дв.ч. kat-əmən 'наш дом'];
[коми vẹv-nịm 'наша лошадь'];
удм. val-mị 'наша лошадь';
эрзя-морд. (kudo-nok), диал. kudo-mok 'наш дом', śel'me-mek 'наши глаза';
фин. talo-mme 'наш дом';
саам. oabba-mek 'наша сестра';
нган. jase-muʔ 'наш отец';
сельк. qẽlị-mịt 'наша рыба'.

Притяжательные показатели 1-го лица возникли путем превращения в суффиксы личных местоимений единственного, (двойственного) и множественного числа с анлаутным *m- или же восходят к основе местоимения 1-го лица, снабженной различными числовыми показателями. Местоимения 1-го лица, к которым могут восходить приведенные выше Рх, имеют в современных уральских языках следующий вид:

'я': [? венг. én~манс. äm]~хант. mä, män~коми me ~ удм. mon~мар. mən~морд. mon~фин. minä~саам. mon~нган. mona ~сельк. man и т.д.

'мы': венг. mi~манс. mān~хант. mŏŋ~коми, удм. mi~мар. me~морд. miń~фин. me~саам. mi~нган. mēŋ~сельк. me и т.д.

Лично-притяжательный показатель *-Т 2-го лица.

Лично-притяжательный показатель 2-го лица ед.ч.:

венг. ház-ad 'твой дом', kez-ed 'твоя рука'~коми. vẹl-ịd 'твоя лошадь'~удм. val-ed 'твоя лошадь'~мар. kiδ-et 'твоя рука'~морд. ava-t 'твоя мать'~фин. talo-si<*talo-ti 'твой дом'~саам. oabba-d 'твоя сестра'~нган. jaje-m-ta 'твоего отца' (акк. к jase)~сельк. ima-m-tị 'твою жену' и т.д.

В мансийском и хантыйском, в отличие от остальных уральских языков, лично-притяжательный показатель 2-го лица ед.ч. имеет вид -N: манс. χāp-ən 'твоя лодка'~хант. kat-an 'твой дом'.

Лично-притяжательный показатель 2-го лица мн.ч.:

венг. ház-atok 'ваш дом', kert-etek 'ваш сад'~[коми vẹv-nịd 'ваша лошадь']~удм. val-di 'ваша лошадь'~мар. iza-da 'ваш старший брат'~[фин. talo-nne<*talo-tek×*talo-ndek 'ваш дом']~саам. oabba-dek 'ваша сестра'~нган. jaje-m-tuʔ~'вашего отца' (акк.)~сельк. qẽlị-m-tịt 'вашу рыбу' и т.д.

В мансийском и хантыйском языках лично-притяжательный характер множественного (и двойственного) числа содержит, как и в единственном числе, формант -n.

Местоимения 2-го лица, послужившие основой для указанных лично-притяжательных показателей:

'ты': А) венг. te~коми te~удм. ton~мар. tań~морд. ton~фин. sinä < *tinä~саам. don~нган. tona~сельк. tan и т.д.

Б) манс. naŋ~хант. nŏŋ.

'вы': А) венг. ti~коми, удм. ti~мар. te~морд. tiń~фин. te~саам. di~нган. tēŋ~сельк. te и т.д.

Б) манс. nān~хант. nəŋ.

Долгое время оставалось непонятным расхождение между обско-угорскими и остальными уральскими языками в отношении личных местоимений и Рх 2-го лица. Многие исследователи полагали в связи с этим, что в праязыке также могло быть два местоимения 2-го лица — с t- и с n- в анлауте. Напротив, другие специалисты склонялись к трактовке обско-угорского форманта с носовым согласным как рефлекса праязыкового указательного местоимения, начинавшегося с n-. Однако отличие обско-угорских языков от остальных уральских языков можно объяснить и иным путем. В мансийском языке и в значительной части хантыйских диалектов лично-притяжательный и личный глагольный аффикс -t — рефлекс урал. *te (местоимение 2-го лица) — совпал по форме с лично-притяжательным и личным глагольным аффиксом, восходящим к урал. *se > угор. *ϑe (местоимение 3-го лица). (Как известно, в мансийском языке, а также в южных и переходных между северными и южными диалектах хантыйского языка начальный согласный местоимения 3-го лица и возникших из последнего формантов 3-го лица изменился в t.) Кроме этого, в северно- и восточнохантыйских диалектах произошло превращение указательного местоимения с анлаутным t- в суффикс некоторых глагольных форм 3-го лица определенного спряжения. Таким образом, на обско-угорской языковой территории создались все предпосылки для функционального смешения между формами 2-го и 3-го лица. В интересах устранения функционального смешения место t как в местоимении, так и в аффиксах 2-го лица занял гоморганный с t носовой согласный n. Этому фонетическому переходу могло, помимо всего прочего, способствовать ассимилирующее воздействие со стороны носового согласного, выступающего в качестве второго компонента данного местоимения. "Мода" на местоимение и аффиксы с n- в анлауте издавна распространилась и на те хантыйские диалекты, где перехода *ϑ > t не произошло (восточные и крайне-северные). В пользу предложенного объяснения говорит и то, что кое-какие следы местоимения с t- в анлауте сохранились в хантыйском неопределенном спряжении (см. с. 327) и что замена форманта t 2-го лица произошла — по аналогичным причинам — и в некоторых самодийских языках.

NB! Из уральского лично-притяжательного показателя 2-го лица ед. ч. путем "нерегулярного" фонетического развития возник венг. -d (см. об этом ниже, с. 317). Впрочем, существуют

и другие гипотезы о происхождении последнего. Согласно высказанному недавно Б. Кальманом мнению, в угорскую и правенгерскую эпохи при наличии двух местоимений 2-го лица (с t- и с n- в анлауте) в качестве лично-притяжательного показателя 2-го лица ед.ч. использовался только показатель -n. Однако чрезмерная функциональная нагрузка -n повлекла за собой грамматическую омонимию, весьма затруднявшую общение. Эта омонимия была устранена в правенгерском за счет доабвления к лично-притяжательному показателю 2-го лица ед. ч. *-n другого местоименного форманта, содержащего t. Тем самым венг. -d оказывается, по Кальману, регулярным рефлексом *-nt (MNy, 1965, с. 168–169). Это объяснение отчасти напоминает точку зрения Буденца и Синнеи, которые также возводили венгерский лично-притяжательный показатель -d к *-nt, считая, однако, что n в этом сочетании является формантом, известным другим финно-угорским языкам в функции показателя множественности обладаемого (см. Szinnyei, NyH[7], с. 118). Обе гипотезы в какой-то мере приемлемы, хотя объяснение Кальмана, несколько усложненное, выглядит маловероятным. Число гипотез о происхождении венг. -d можно было бы еще более увеличить, допустив, например, что -d – рефлекс праугорского аккузативного *-mt, составленного из первичных падежного и лично-притяжательного аффиксов (= *-m (акк.) + *-t (Px 2 л. ед.ч.)) и впоследствии обобщившегося на номинатив. На фоне всех этих недоказуемых гипотез наиболее обоснованным представляется все же то объяснение, согласно которому функциональная значимость и грамматическая выделенность исходного лично-притяжательного показателя 2-го лица ед.ч. *-t не дала ему подвергнуться фонетическому изменению *t>z: этот аффикс сохранил исходную смычность (как и локативный t), а впоследствии озвончился.

*Лично-притяжательный показатель 3-го лица *-S (>-s, -z, -t, -l, ø).*

Лично-притяжательный показатель 3-го лица ед.ч.:

венг. ház-a 'его дом' – акк. ház-á-t, kez-e 'его рука' – акк. kez-é-t (ср. др.-венг. (TAA) kuta, то есть kutá 'его колодец', что указывает на исходность долгого гласного, ныне сохраненного в косвенных падежах), fá-ja 'его дерево', üsző-je 'его телка' (к происхождению элемента j, устраняющего зияние, ср. др.-венг. (TAA) fee~fehe, то есть feé, fehé 'его голова', совр. feje и zenaia, то есть szénája 'его сено');

манс. sāli-te 'его олень' (существует, однако, и вторичный лично-притяжательный показатель -e у основ с консонантным ауслаутом: χāp-e 'его лодка');

хант. (вост.) kat-l, (сев.) χat-l, (переходные диалекты между северным и южным) χot-ət, (южн.) χot-at 'его дом';
коми vẹl-i̯s 'его лошадь';
удм. val-ez 'его лошадь';
мар. kit-šə 'его рука';
морд. ava-zo 'его мать';
фин. talo-nsa 'его дом';
саам. oabba-s 'его сестра';
нган. jase-du 'его отец';
сельк. ima-t 'его жена' и т.д.

Личнo-притяжательный показатель 3-го лица мн.ч.:

венг. ház-uk 'их дом', kert-jük 'их сад' (ср. НВ turchucat 'их горло' (акк.)) ~ [манс. Рх 3-го лица дв.ч. jā-tēn 'их двоих река'; Рх 3-го лица мн.ч. не содержит местоименного форманта] ~ хант. (вост.) kat-il, (южн.) χot-et 'их дом' ~ [коми vẹv-ni̯s 'их лошадь'] ~ удм. val-zi̯ 'их лошадь' ~ мар. iza-št 'их старший брат' ~ морд. ava-st 'их мать' ~ фин. talo-nsa 'их дом' ~ саам. oabba-sek 'их сестра' ~ нган. jase-tuŋ 'их отец' ~ сельк. qē̯li̯-ti̯t 'их рыба' и т.д.

Местоимения 3-го лица, послужившие основой для формирования этих показателей, отражены в современных уральских языках следующим образом:

'он': венг. ő, ön ~ манс. taw, täw ~ хант. (сев.) lŭw, (переходные диалекты между сев. и южн.) tŭw, (южн.) təw ~ коми si̯ ~ удм. so ~ морд. son ~ фин. hän ~ саам. son ~ сельк. tẹp;

'они': венг. ők ~ манс. tān, ten ~ хант. (сев.) ləχ, (южн.) təγ ~ морд. si̯ń ~ фин. he ~ саам. sī ~ сельк. tẹpi̯t.

Время возникновения лично-притяжательных показателей.

Приведенные сведения о лично-притяжательных показателях (Рх) и о местоимениях, лежащих в их основе, дополняют данную ранее (стр. 236–239) характеристику категории личной притяжательности в праязыке. Здесь следует вернуться к одному из рассматривавшихся уже вопросов, поскольку принимаемая нами точка зрения о существовании в праязыке Рх находится в противоречии с концепцией, согласно которой появление аффиксальных Рх относится к началу правенгерской эпохи и которая отражена в ряде обобщающих работ по исторической грамматике венгерского языка. В своем последнем варианте перечень аргументов, приводимых Г. Барци, в пользу того, что Рх сформировались уже на собственно венгерской почве, имеет следующий вид:

1. Различающийся по языкам порядок взаимного следования падежных окончаний и Рх указывает на то, что в праязыке личные местоимения еще не достигли стадии превращения в суффиксы.

2. Различие между венгерскими и обско-угорскими показателями и местоименями 2-го лица (венг. t- ~об.-угор. n-) следует расценивать как признак того, что даже в угорскую эпоху аффиксальные Рх еще не появились.

3. Наряду с этими фактами, допускающими и иную интерпретацию, Барци в качестве решающего аргумента ссылается на фонетическую историю венгерских Рх. Смычные согласные -t, -d в Рх 2-го лица и отсутствие согласного в Рх 3-го лица могут, как он считает, отражать уральские *t и *s только в *анлаутной* позиции. Если бы уральские местоимения с *t и *s в анлауте превратились в аффиксы уже в праязыке, то в соответствующих венгерских аффиксах следовало бы ожидать рефлексов, характерных для этих согласных в *инлаутной* позиции (то есть z в Рх 2-го лица и sz в Рх 3-го лица).

Среди приведенных аргументов наиболее весомый, бесспорно, третий. Объяснение вариативности в порядке следования Рх и падежных окончаний и причин изменения исходного порядка (Сх+Рх), которое произошло в угорских языках, было уже дано выше (стр. 238–239). Рассматривалась и проблема обско-угорских Рх с начальным n (стр. 312–313), в связи с которой отмечалось, что формант 2-го лица n в обско-угорских языках возник из первоначального *t в результате спорадического фонетического изменения. Ввиду этого здесь нам необходимо высказать свою точку зрения лишь по вопросу об историко-фонетическом развитии венгерских Рх.

В первую очередь надлежит выяснить, действительно ли переход урал. *s >венг. ∅ характерен только для анлаутной позиции. В течение ряда десятилетий в литературе утверждалось и продолжает утверждаться, что уральский инлаутный *-s- в венгерском языке сохранялся. В качестве классического примера данного фонетического соответствия постоянно упоминается венг. fészek 'гнездо'. Доверие к доказательной значимости этого надежно этимологизируемого слова пытались подкрепить также следующими примерами: венг. köszörül 'точить', haszon 'польза', tavasz 'весна', oszt 'делить' ~oszol 'делиться' и, кроме того, nyolc 'восемь', kilenc 'девять', harminc 'тридцать'. Но финно-угорские этимологии слов haszon и köszörül — по крайней мере, в том виде, в каком они излагались, — сомнительны и могут быть отклонены. В финно-угорских соответствиях слова tavasz отсутствует элемент, который был бы сопоставим с венг. -sz; последний восходит к уральскому суффиксу отыменных имен *ś, как и согласный sz в венг. ravasz 'хитрый'. Глаголы oszt и oszol, если их финно-угорская этимология справедлива, восходят к праформе, в инлауте которой содержалось сочетание согласных *-ńć или *ńś. Происхождение же форманта -c, -nc в венгерских числительных весьма неясно и никоим образом не является результа-

том "регулярного" фонетического развития. Согласно допустимому, хотя и далеко не бесспорному, объяснению этот формант представляет собой форму, заимствованную в раннюю правенгерскую (или угорскую) эпоху из перм. -mis 'десять' (см. Orbán, G. A finnugor nyelvek számnevei, Pozsony (Bratislava), 1932, c. 48–64; Rédei, K. – NyK, 65, c. 157; он же. – NyK, 66, c. 261). Таким образом, ни одно из этих слов, за исключением fészek, не подходит для обоснования соответствия урал. *-s- > венг. -sz-.

С другой стороны, не подлежит сомнению, что в словах, к которым восходят венг. máj 'печень', aj(tó) 'дверь', íj 'лук (для стрельбы)' ~ív 'дуга', ív 'метать икру', содержалось консонантное сочетание *ks, второй компонент которого *s исчез точно так же, как *š в сочетании *kš (содержавшемся в праформах венг. méh 'пчела' и roh 'рыжий'). На основе этих примеров можно с полным правом ожидать, что в венгерском языке исчез и уральский интервокальный *s. Единственным фактом, противоречащим такому предположению, могло бы быть слово fészek, однако сохранение в нем согласного sz можно, как отмечалось на стр. 278, объяснить палатализацией *s >*ś в инлауте (см. также Moór, – ALH, 2, c. 373). Следовательно, все это явно указывает на то, что урал. *s в угорскую эпоху превращался в *ϑ во всех позициях (обско-угорские языки также свидетельствуют о полной регулярности этого фонетического изменения) и что тем самым правенгерская вокализация *s в Px 3-го лица должна была произойти и в том случае, если этот согласный был суффиксальным.

Почему же, однако, *t в составе Px 2-го лица не перешел в z, как того требовали закономерности рефлексации в интервокальном положении? На этот вопрос можно ответить другим вопросом: почему в венгерском языке не появился z в окончании локатива *t, которое возводится к местоимению с t- в анлауте? В последнем случае ответом могло бы быть утверждение, что, превратившись в аффикс, *t подвергся геминации. Подобный ход развития не может быть исключен и в случае с Px 2-го лица. Однако в качестве объяснения мы все же предпочитаем принять методологически важную констатацию того факта, что фонетическое развитие грамматических морфем весьма часто не согласуется с регулярными закономерностями фонетического развития, что порой объясняется причинами функционального свойства. Помимо венгерского локатива, можно сослаться в этой связи и на сохранение урал. *-t в прежнем или озвонченном виде в некоторых пермских аффиксах, при том, что обычно этот праязыковой согласный в пермских языках отпадал (например, коми ko-d, удм. ku-d 'кто? какой?', где -d (~венг. -z в a-z 'тот', e-z 'этот') восходит к местоименному

суффиксу *-t; аналогично коми -jd, удм. -jt как суффикс отыменных прилагательных и перм. -d как Рх 2-го лица являются рефлексами урал. *-t; см. Uotila. – MSFOu, 65, c. 94–95, 103; Lehtisalo.– MSFOu, 72, c. 272, 291, 392).

Таким образом, взвесив все возможности, аргументы и контраргументы, мы не находим причин, которые вынуждали бы считать, что аффиксальные лично-притяжательные показатели (и – можно добавить – личные окончания глагола) появились уже на собственно венгерской почве. На наш взгляд, данные венгерского языка никак не препятствуют реконструкции для праязыка связанных грамматических морфем со значением притяжательности. С точки зрения же лингвистической типологии такая реконструкция представляется совершенно необходимой.

Показатели наклонений

Показатель императива *-k. Уральский показатель императива *-k сам по себе, без каких-либо личных окончаний, выражал значение 2-го лица ед.ч.; эта особенность сохранилась в языках-потомках до настоящего времени. Личные окончания прибавляются, как правило, лишь в других лицах и в определенном спряжении.

Рефлексом этого показателя в венгерском языке считается показатель императива -j (урал. *-k > правенг. *-γ > -j): vág-j 'режь', ad-j 'дай', szól-jon 'пусть он говорит' и т.д. В сочетаниях с некоторыми типами основ этот показатель подвергся различным ассимиляционным и аналогическим изменениям (например, merít-s 'зачерпни', fűz-z 'вдень', neves-s 'смейся' – основа nevet-, olvas-s 'читай' и т.д.), а в отдельных формах определенного спряжения даже исчез (öl-d ~ öl-jed 'убей (его)', fog-d ~ fog-jad 'возьми (его)'; ср. также форму неопр. спр. jer 'подойди!' и т.д.).

В угорских языках этот показатель, вероятно, вокализовался (как и лативное окончание *-k). Исходя из этого, рефлексом *-k можно считать хантыйский формант императива -a, -ä, -i: хант. (вост.) jŏγ-ä 'приди', jŏγ-i-təγ 'придите'; məj-ä 'дай', məj-i 'дай (его)', məj-ä-ti 'пусть он даст', məj-i-läti пусть он даст (его)'; хант. (сев.) măn-a 'иди', pŏn-e 'положи (его)' и т.д. В мансийском языке нет специального показателя императива; вероятно, существовавший ранее вокализовавшийся показатель вышел из употребления, и сейчас форма с личным окончанием употребляется и во 2-м лице ед.ч. императива (например, min-en 'иди').

Показатель *-k сохранился в мордовском языке: pala-k 'поцелуй', vano-k'смотри'.

В финском языке этот показатель сохранился во 2-м лице ед.ч только в части диалектов (anna-k 'дай', laula-k 'пой', но литер. anna, laula). Однако во 2-м лице мн.ч., а также во всех остальных лицах формант императива *-k представлен и в литературном языке (anta-kaa 'дайте', sano-koon 'пусть он скажет' и т.д).

В саамском языке *-k, как правило, отпал, и о его существовании в прошлом свидетельствует лишь употребление слабой ступени чередования (boađe 'приди' – основа boatte-). Однако в трехсложных словах показатель императива -k все же выступает всюду, кроме 2-го лица ед.ч. (и дв.ч.): oappestē-kkıt 'ведите', oappestē-kkus 'пусть он ведет', oappestē-kkusek 'пусть они ведут'.

В большинстве самодийских языков *-k во 2-м лице ед.ч. неопределенного спряжения ослабился и превратился в гортанный смычный (нен jīle-ʔ, энецк. jıre-ʔ, нган. ńıl'e-ʔ 'живи'); спорадически он представлен в селькупском (южн. ek 'будь', сев. i̯kı̯ – запретительная частица) и в камасинском (qan-aʔ 'иди', qan̯-gaʔ 'идите')

Показатель конъюнктива–оптатива *-nek. Конечный *-k в этом показателе идентичен, вероятно, с *-k императива. Эта морфологическая особенность позволяет понять, почему в одних языках *-nek образует конъюнктив, а в других – оптатив, имеющий, в частности, значение "смягченного императива".

венг -NÉ – показатель конъюнктива (feltételes mód*): néz-né-k, néz-né-m 'я бы смотрел', lát-né-k, lát-ná-m 'я бы видел', ad-na, ad-ná 'он бы дал', kér-ne, kér-né 'он бы просил' (*-nek > правенг. *-neγ > др.-венг. -néj: (КТ) lelhetneync 'мы могли бы найти', но уже там же и uolna 'был бы'!), а также -NŐ: kér-nő-k 'мы бы просили', lát-nó-k 'мы бы видели' (*-nek > правенг. *-neγ > др.-венг. *-neǖ > -nő);

манс. (сев.) -NŪW (-nū), (южн., зап., вост.) -NE (-nē, -ne, -nī, -nı) – показатель конъюнктива· (сев) mın-nuw-um 'я бы шел', mın-nuw 'он бы шел', tot-nuw-lum 'я бы принес' , tot-nuw-te 'ты бы принес'; (южн.) mıń-nē-m 'я бы шел', mıń-nı 'он бы шел', al-nī-ləm 'я бы убил'; (вост.) tât-nī-lem 'я бы принес' и т.д.

хант.: наличие рефлексов *-nek проблематично. В большинстве диалектов синтетических форм конъюнктива нет – значение его выражается аналитическими глагольными формами. Возможно, с уральским показателем конъюнктива связан пока-

* Буквальное значение венгерского термина – "условное наклонение". Фактически, однако, им обозначается не условное наклонение (кондиционалис), а условно-желательное, или сослагательное (конъюнктив). – *Прим перев.*

затель -ŋа, -ŋä, сохранившийся в отдельных восточных и южных диалектах, преимущественно в ваховском и кондинском: (Вах) mən-ŋä-m 'я бы шел', wer-ŋä-l 'он бы делал', (Конда) mənə-ŋe-m 'я бы шел'. В некоторых восточных (Васюган, Тромъеган) и южных (Иртыш, Демьянка) хантыйских диалектах он зафиксирован как показатель потенциалиса (возможностного наклонения): (Иртыш) məjä-ŋə-m 'я, возможно, дам', (Тромъеган) məj-ŋa-m – то же;

мар. -ne (дезидератив): wiδə-ne-m 'хочу вести', wiδə-ne-t 'хочешь вести', wiδə-ne-žə 'хочет вести';

[?? Морд. -ŃE-: конъюнктив, кондиционалис и дезидератив возникли уже на собственно мордовской почве, однако рефлекс урал. *-nek следует, возможно, усматривать в редко употребляющихся эрзя-мордовских формах кондиционалиса и конъюнктива, о которых вскользь упоминает Паасонен: наст. вр. кондиционалиса pala-ńe-ńan 'если я поцелую', pala-ńe-t'amk 'если мы поцелуем'; конъюнктив pala-ńa-vl'iń 'если бы я поцеловал' и т.д. (H. P a a s o n e n. Mordwinische Chrestomathie. Helsingfors, 1909, c. 09).

фин. -ne (потенциалис): saa-ne-n 'я, возможно, получу', saa-ne-t 'ты, возможно, получишь', saa-ne-e 'он, возможно, получит' и т.д.;

нен. -ji (конъюнктив – оптатив): при отсутствии показателя времени он выражает значение оптатива (to-ji-da? 'принесите-ка вы', ŋäe-ji 'пусть-ка он будет'), а в сочетании с показателем прошедшего времени – значение конъюнктива (tola-ji-naś 'ты бы прочел', χäe-ji-naś 'ты бы пришел' и т.д.);

энецк. -ńi (в сочетании с показателем прошедшего времени – конъюнктив): jire-ńi-dod' 'я бы жил', mota-ńi-roś 'ты бы резал';

селькк. -ni, -nē в качестве показателя конъюнктива (или оптатива) зафиксирован в некоторых южных диалектах на Оби (ныне, как можно предположить, большей частью уже исчезнувших): (Нарым) čada-ni-p, čada-ni-l, čada-ni-d 'я, ты, он бы зажег', (Чулым) čāt-nē-m, čāt-nē-l, čāt-nē-t – то же. В северном, тазовско-туруханском наречии этот показатель обнаруживается только в форме конъюнктива от глагола бытия (e-), используемой в аналитических формах с конъюнктивным значением: (Таз) mat čattisam e-nä 'я бы выстрелил', (Турухан) mat mīsam ē-nä 'я бы дал' и т.д. (Последние образовались путем сложения личных форм прошедшего времени смыслового глагола с конъюнктивом вспомогательного глагола бытия; см. P r o k o f j e v, UngJb, 11, c. 442 и L e h t i s a l o, MSFOu, 122, c. 334);

кам. -nä, -na (показатель конъюнктива у глагольных основ на гласный): nerē-nä-mzä, nerē-nä-lzä, nerē-nä-zä 'я, ты, он бы

испугался' (основа + показатель наклонения + личное окончание + показатель прошедшего времени).

Показатели времен

Показатель прошедшего времени *-j:

венг. -E (устарелое повествовательное прошедшее время): néz-é-m, néz-é-k 'я смотрел', néz-é-d, néz-é-l 'ты смотрел', néz-é, néz-e 'он смотрел'; ср. также lát-á, lát-a 'он видел' и т.д. (гласный + *-j>*-ëi̯ > -é > -e; в результате гармонии гласных возник также -á > -a; дифтонг *-ëi̯ мог развиться и в -í; и действительно, в памятниках венгерской письменности и в диалектах можно найти формы типа ad-í-k 'я дал');

коми, удм. -i- (прошедшее время):

коми	удм.	
mun-i	mi̯n-i	'я шел'
mun-ı-n	mi̯n-i-d	'ты шел'
mun-i(-s)	mi̯n-i-z	'он шел' и т.д.;

мар.: показатель *-j исчез, и лишь по различиям в качестве ауслаутных гласных глагольной основы в формах настоящего и прошедшего времени, а также по палатализации предшествующего согласного можно установить, что ранее в спряжении глаголов использовался показатель прошедшего времени *-j (но это относится только к так называемым глаголам I спряжения на -am):

Прошедшее время		Настоящее время	
kol'-ə-m	'я слышал'	kol-am	'слышу'
kol'-ə-ć	'ты слышал'	kol-at	'слышишь'
kol'-ə	'он слышал'	kol-eš	'слышит' и т.д.;

морд.: показатель прошедшего времени -ı, -i̯ используется в 1-м и во 2-м лице (в 3-м лице представлен показатель прошедшего времени -ś!). Аналогическим путем этот аффикс проник из 1-го и 2-го лица прошедшего времени в 3-е лицо настоящего времени:

Прошедшее время		Настоящее время	
purn-i̯-ń	'я собирал'	[purna-n	'собираю'
purn-i̯-t'	'ты собирал'	purna-t	'собираешь']
[purn-a-ś	'он собирал']	purn-i̯	'собирает'
śim-ı-ńek	'мы пили'	[śim-d'anok	'пьем'
śim-i-d'e	'вы пили'	śim-d'ado	'пьете']
[śim-śt'	'они пили']	śim-i-t'	'пьют';

фин. -i (прошедшее время): men-i-n, men-i-t, men-i 'я, ты, он шел' и т.д.;

саам. -i (прошедшее время): gull-i-m, gull-i-k, gulâ-i 'я, ты, он слышал' (ср. наст. вр. gulâ-m, gulâ-k, gullâ и т.д.).

Показатель прошедшего времени *-ś.

В венгерском языке этот показатель не сохранился, хотя, скорее всего, был известен еще в угорскую эпоху (он существует в мансийском и хантыйском языках). Вероятно, впрочем, что в угорском праязыке царила почти такая же пестрота в употреблении глагольных времен, как, например, в современном хантыйском, где по диалектам варьируются не только количество времен у глагола, но и средства выражения отдельных категориальных значений времени. Результатом сходного с этим состояния явилось то, что в правенгерском показатель прошедшего времени *-j (а также прошедшее время с показателем -t, восходящим к суффиксу причастий) получил столь значительный перевес над *-ś, что не позднее начала правенгерской эпохи последний вышел из употребления.

О прауральской древности показателя прошедшего времени *-ś свидетельствует наличие его рефлексов в следующих языках:

манс. -s: tot-s-um, tot-s-ən, tot-əs 'я, ты, он принес' (ср. наст. вр. totē-γ-um, totē-γ-ən, toti и т.д., где -γ- — показатель настоящего времени);

хант. (вост., сев.) -s: (сев.) măn-s-əm, măn-s-ən, măn-əs 'я, ты, он шел' (ср. наст. вр. măn-t-əm, măn-t-ən, măn-t (~вост. mən-l-əm и т.д.), где -t-~(вост.) -l- — показатель настоящего времени);

мар. -š (прошедшее время): употребляется исключительно при глаголах так наз. II спряжения на -em, например: wiδə-š-əm, wiδə-š-əć, wiδə-š 'я, ты, он вел' (ср. наст. вр. wiδem, wiδet, wiδă). Мар. -š-, как уже упоминалось, имеет и другую, менее убедительную этимологию: его можно считать формантом местоименного происхождения, который маркировал 3-е лицо, а затем распространился и на другие лица и вторичным образом превратился в показатель времени. Допустимо, впрочем, предполагать, что в мар. -š- совпали показатель прошедшего времени и местоименный по происхождению формант 3-го лица, вначале указывавший на объект (см. с. 246);

морд. -ś (показатель прошедшего времени, используемый в отрицательном глаголе и в 3-м лице других глаголов): purna-ś 'он собрал', purna-ś-t′ 'они собрали', e-ź-iń purna 'я не собрал', e-ź-it′ purna 'ты не собрал', e-ś purna 'он не собрал';

для прибалтийско-финских языков характерно прошедшее время на *-j, однако встречаются и кое-какие следы показателя *-ś. Его рефлексом можно считать формант -s- у форм прошедшего времени отрицательного глагола в ливском и южноэстонском (а также в североэстонском диалекте Кодавере): ливск.

ma i-z uo̯ 'я не был', sa i-s-t uo̯ 'ты не был', ta i-z uo̯ 'он не был'~ эст. (южн.) ma e-s anna 'я не дал', sa e-s anna 'ты не дал' и т.д.; (Кодавере) ma e-s-in anna 'я не дал', sa e-s-id anna 'ты не дал', ta e-s anna 'он не дал';

саам.: рефлекс *-ś представлен исключительно в диалектах шведских саамов, причем только в прошедшем времени отрицательного глагола (ед.ч.: 1 л. e-ćć-im, 2 л. e-ćć, 3 л. e-ćć-i; мн.ч.: 1 л. e-ćć-uh, 2 л. e-ćć-ete, 3 л. e-ćć-in);

нен. -ś: jīl'e-man-ś, jīl'e-na-ś, jīl'e-ś 'я, ты, он жил' (ср. аорист jīl'e-m, jīl'e-n, jīl'e 'я живу и т.д.');

селькп. -s: ilį̯-sa-k, ilį̯-sa-ntį̯, ilį̯-sa 'я, ты, он жил' (ср. наст. вр. ila-k, ila-ntį̯, ila).

NB! Некоторые специалисты пытались отождествить с этим показателем прошедшего времени формант -z в формах прошедшего и настоящего времени отрицательного глагола в пермских языках (например, коми e-z mun 'он не шел', o-z mun 'не идет' и т.д.). Однако это предположение должно быть отклонено как по историко-фонетическим соображениям, так и потому, что -z в пермских отрицательных глаголах – формант, характерный только для 3-го лица (иначе говоря, окончание 3-го лица), который, естественно, никак не представлен в двух других лицах (см. U o t i l a. – MSFOu, 65, с. 179–180; В. И. Л ы т к и н (ред.). Коми-пермяцкий язык. Кудымкар, 1962, с. 287–288).

Личные окончания глагола

Личные окончания местоименного происхождения.

Как уже отмечалось, большинство личных окончаний глагола в уральских языках возникло путем превращения личных местоимений в суффиксы. Кроме того, на с. 245–249 были подробно рассмотрены способы выражения 3-го лица ед.ч. и было показано, что уже в праязыке сосуществовали, по-видимому, две формы этого лица – с личным окончанием и без такового, и имелось функциональное различие между этими двумя формами.

Согласно нашим предположениям, форма с личным окончанием содержала аффикс, восходящий к местоимению 3-го лица (в определенных случаях, возможно, к указательному местоимению) с аккузативным значением. Такая ее трактовка опирается в первую очередь на то обстоятельство, что формы 3-го лица с личными окончаниями встречаются главным образом в тех языках, которым известно определенное спряжение глагола. В остальных языках эти формы представлены спорадически, но там, где они есть, они встречаются в основном у переходных глаголов. На основании этого мы признали возможным, что в праязыке имел место способ выражения определенности объек-

та при глаголах, стоявших в 3-м лице, и, таким образом, уже тогда существовали зачатки противопоставления между определенным и неопределенным спряжениями.

Для 1-го лица и 2-го лица, в отличие от 3-го лица, подобная двойственность способов выражения не может быть спроецирована на праязыковой уровень. Представляется, однако, бесспорным, что в глагольных формах 1-го и 2-го лица уже тогда использовались окончания, возникшие из самостоятельных местоимений 1-го и 2-го лица. Однако в этих двух лицах окончания, следовавшие за основой (как и местоимения, из которых они развились) имели, в отличие от окончания 3-го лица при определенном объекте, не аккузативное, а номинативное значение. Таким образом, функции личных окончаний местоименного происхождения существенно различались: окончания 1-го и 2-го лица указывали на субъект глагола, тогда как форма 3-го лица в соответствующей парадигме спряжения оставалась без окончания (поскольку субъект 3-го лица обычно бывал конкретно назван в другом месте предложения, то указание на субъект в глагольной форме было для системы необязательным); напротив, окончание 3-го лица выражало непосредственную связь глагола с объектом. Данное разграничение ныне отражено главным образом лишь в том, что на основе противопоставления двух форм 3-го лица, с окончанием и без такового, в ряде уральских языков развилось противопоставление между неопределенным и определенным спряжениями глагола, распространившееся и на другие лица.

В венгерском языке разграничение между личными окончаниями определенного и неопределенного спряжений достигнуто за счет того, что в определенном спряжении использованы, как правило, окончания местоименного происхождения (-M, -D, -E, -TOK, -IK), тогда как в неопределенном спряжении во многих случаях представлены окончания неместоименного происхождения (-K, -SZ, -L, -IK, -NAK). В других уральских языках, кроме венгерского, нет или почти нет примеров разграничения личных окончаний, которое было бы осуществлено в такой форме и было бы столь глубоким. Противопоставление определенного и неопределенного спряжения в своем первичном виде основано в них не на подобных различиях между окончаниями (или не только на них). Если формальное разграничение двух типов личных окончаний и существует, то все же, как правило, они имеют общее местоименное происхождение (например, ненецкие окончания 1-го лица ед.ч. -M (неопр. спр.) и -W (опр. спр.) восходят оба к личному местоимению с начальным *m-). В обско-угорских языках между личными окончаниями двух спряжений

вообще нет существенного различия (за исключением, естественно, форм 3-го лица): определенное спряжение характеризуется наличием дополнительного форманта, четко отделенного от личного окончания, который одновременно указывает, как правило, на число объекта (единственное, двойственное или множественное). Приведем для иллюстрации формы прошедшего времени от мансийского глагола toti- 'принести' (формы опр. спр. для дв.ч. объекта опущены):

Неопр.спр.	Опр. спр. Ед.ч. объекта	Мн. ч. объекта	
tot-s-um	tot-əs-l-um	tot-s-an-um	'я принес'
tot-s-ən	tot-əs-l-ən	tot-s-an-ən	'ты принес'
tot-əs	tot-əs-te	tot-s-an-e	'он принес'
tot-s-uw	tot-əs-l-uw	tot-s-an-uw	'мы принесли'
tot-s-ən	tot-əs-l-ən	tot-s-an-ən	'вы принесли'

и т.д.

Таким образом, здесь личные окончания обоих спряжений одинаковы (за исключением 3-го лица, где личное окончание зафиксировано только у форм определенного спряжения), а формантом определенного спряжения служит при объекте единственного числа морфема -l-, а при объекте множественного числа — морфема -an- (-s- — показатель прошедшего времени).

Форманты определенного спряжения, указывающие на наличие объекта и на его число, выработались, как правило, уже на почве отдельных языков; то же относится и к различиям между определенным и неопределенным спряжениями. Поэтому в дальнейшем эти морфологические средства рассматриваться не будут. С другой стороны, для демонстрации общности происхождения глагольного спряжения и личных окончаний глагола будет целесообразно рассмотреть основные типы глагольных окончаний местоименного происхождения в уральских языках.

Окончания 1-го лица. Тип *-M или *-M + числовой показатель (дв.ч., мн.ч.).

Окончания 1-го лица ед.ч.:

венг. lát-om 'вижу' (опр.спр.), látta-m 'я видел', esz-em 'ем' (неопр. и опр. спр.);

манс. totē-γ-um'приношу' (неопр. спр.), toti-l-um 'приношу (один предмет)' (опр. спр.);

хант. (вост.) mə-l-əm 'даю (один предмет)' (опр. спр.);

коми mun-a 'иду' (*-m > ø), но др.-перм. kụl-am 'слышу', kor-am 'прошу';

удм. mịn-e 'пойду'. Однако иногда (в вопросительных предложениях) m сохранился (или проник из форм. мн.ч.?): kịźị ul-om 'как жить буду?', mar kar-om 'что делать буду?';

мар. wiδe-m 'веду';
[морд. pala-n 'целую' (неопр.спр.)];
[фин. mene-n 'иду'];
саам. gulâ-m 'слышу';
нен. jīl'e-m 'живу' (неопр.спр.);
нган. ńil'eti-m 'живу' (неопр.спр.);
сельк. amna-m 'ем' (перех.) и т.д.

Окончания 1-го лица мн.ч.:

венг. lát-unk 'видим', látt-unk 'мы видели', esz-ünk 'едим', látná-nk 'мы бы видели' и т.д. (неопр.спр.), где -nk<-mk<-muk, -mük<*-mik (ср. НВ vogmuc 'мы есть', vimaggomuc 'молимся');
[манс. tote-w 'приносим' (неопр.спр.); ср.дв.ч. toti-men];
[хант. (вост.) mə-l-əwχ 'даем' (неопр.спр.); ср.дв.ч. mə-l-mən];
коми muna-mę 'идем';
удм. mįno-mį 'пойдем';
морд. pala-ta-mk, pala-ta-nok 'целуем' (неопр.спр.);
фин. mene-mme (<*menek-mek; ср. водск. (вост.) sā-mmak 'получаем');
саам. gulâ-i-mek 'мы слышали' (это личное окончание используется только в прошедшем времени и в конъюнктиве);
нен. jīl'e-wa? 'живем' (неопр.спр.), madā-wa? 'мы отрезали' (опр.спр.);
нган. ńil'eti-me? 'мы живем' (неопр.спр.);
сельк. amnį-mįt 'едим' (перех.) и т.д.

Окончания 2-го лица. Тип *-T (> -t, -d и т.д.) или *-T + числовой показатель.

Окончания 2-го лица ед.ч.:

венг. láto-d 'видишь', látta-d 'ты видел', esze-d 'ты ешь', látná-d 'ты бы видел', öl-d 'убей' (опр.спр.) ~ удм. mįno-d 'пойдешь' ~ мар. wiδe-t 'ведешь' ~ морд. pala-t 'целуешь' (неопр. спр.) ~ фин. mene-t 'идешь' ~ саам. gulâ-k 'слышишь' (<*gulâ-t) ~ нен. madā-j-d 'ты отрезал (много предметов)', madā-d 'отрежь' (опр.спр.) ~ энецк. me-δo 'сделай' (опр.спр.) ~ сельк. me-tį 'сделай' (перех.) и т.д.

Отметим, что в обско-угорских языках (а также в коми и ненецком) представлены окончания 2-го лица ед.ч. глагола в форме -n: манс. totē-γ-ən 'приносишь' (неопр.спр.) ~ хант. (вост.) mə-l-ən 'даешь' (неопр.спр.) ~ коми muna-n 'идешь' ~ нен. jīl'e-n 'живешь' (неопр.спр.). Окончание -n в этих языках, по всей вероятности, вторично, как и лично-притяжательный показатель 2-го лица ед.ч. -n.

Окончания 2-го лица мн.ч.:

венг. lát-tok, látjá-tok 'видите', esz-tek, eszi-tek 'едите', öl-tök, öli-tek 'убиваете', ölje-tek, öljé-tek 'убейте' (неопр и опр. спр.),

где -tok, -tek, -tök < -tuk, -tük (ср. НВ latiatuc 'видите');

хант. (вост.) mə-l-təχ 'даете', дв.ч. mə-l-tən; (сев.) mă-l-ti 'даете', дв.ч. mă-l-tən (неопр.спр.);

коми (язьвинск.) muna-tę, (пермяцк.) muna-t 'идете', muni-t(ę) 'вы шли' (в коми-зырянском литературном языке представлены вторичные образования: muna-nn̮id < muna-dn̮id 'идете');

удм. mi̯no-di̯ 'пойдете', mi̯ni-di̯ 'вы шли';

мар. wiδe-δä 'ведете', wiδeš-tä 'вы вели';

морд. pala-ta-do, pala-ta-tk 'целуете' (с исторической точки зрения формантом, указывающим на лицо, является только -tk или -do), pali̯-d´e 'вы целовали' (неопр.спр.);

фин. mene-tte 'идете';

саам. gulâ-ı-dek 'слышите', gulâ-šeı-dčk 'вы бы слышали';

нен. madă-j-da? 'вы отрезали (много предметов)' (аорист опр.спр.) или 'отрежьте (много предметов)' (императив опр. спр.);

нган. matu-ŋa-t´u? 'отрежьте (много предметов)' (опр.спр.) и т.д.

Окончания 3-го лица. Тип *-S (>-s, -š, -t+V, ∅) или *-S + числовой показатель.

Окончания 3-го лица ед.ч.:

венг. lát-ja 'видит', esz-i 'ест', nézt-e 'он смотрел', kér-j-e 'пусть он просит'. Морфема -E, используемая только в определенном спряжении, имеет ряд алломорфов (-a, -e, -ja, -je, -i), среди которых -ı и -e восходят к долгому é, развившемуся из правенг. *-ëi̯; в правенгерской форме -j(-i̯) возник за счет озвончения -h, восходящего — через угор. *-ϑ — к урал. *-s; алломорфы заднего ряда возникли под действием гармонии гласных; современный j в алломорфе -ja не имеет отношения ко второму компоненту правенгерского дифтонга, а развился в качестве согласного, устраняющего зияние;

манс. totı-te 'приносит (один предмет)', totı-jan-e 'приносит (много предметов)' (опр.спр.);

хант. (сев.) mă-l-le 'дает' (опр.спр.);

коми muna-s 'идет, пойдет'; в отрицательном глаголе: o-z mun 'не идет', e-z mun 'он не шел';

удм. mi̯no-z 'пойдет', mi̯nı-z 'пошел'; в отрицательном глаголе: u-z ju 'не будет пить', e-z kar 'он не делал';

мар. wiδə-ne-žə 'хочет вести', wiδə-γesə-že 'он бы вел', wiδə-žə 'пусть он ведет', pıt-šə 'пусть он вяжет';

морд. pala-si̯ 'целует его', pala-sa-k (< *palasat) 'целуешь его', pala-si̯-ńek 'целуем его', pali̯-že 'он целовал его', pala-so 'пусть-ка он целует его'. В мордовском определенном спряжении роль *-s как форманта, указывающего на 3-е лицо объекта,

столь же очевидна, как, например, роль форманта *-t, указывающего на 2-е лицо объекта в формах типа pala-ta-n (< *palatam) 'целую тебя', pala-ta-nzat (< *palataze) 'целует тебя' и т.д.;

эст. (южн.) elä-s 'живет', kazva-s 'растет', värize-s 'дрожит', küzü-s 'спрашивает', oppi-s 'учится' и т.д. (в двух-трех глаголах окончание -s представлено и в североэстонском: näik-se 'кажется', kuuluk-se 'слышно, слышится');

вепс. laske-ze 'опускается';

фин. (в архаичных и диалектных возвратных формах) käännäk-se(n) 'поворачивается', vedäk-se(n) 'тянется';

саам. gullu-s 'пусть он слушает', lē-kku-s 'пусть он будет', oappestē-kku-s 'пусть он ведет', muitâlē-kku-s 'пусть он расскажет';

нен. *madā-da* 'он отрезал (один предмет)', χo-da 'он нашел (один предмет)' (опр.спр.);

нган. mata?a-tu 'он отрезал' (опр.спр.);

сельк. am-nı̯-t 'ест', am-pa-tı̯ 'он съел', ap-sı̯-t 'он съел' (перех.).

NB! Согласные -t, -d в мансийском, а также в самодийских окончаниях 3-го лица могут восходить не только к личному местоимению *se, но и к указательному местоимению с *t- в анлауте. Надежный пример превращения последнего в личное окончание глагола (в 3-м лице опр.спр.) дают восточнохантыйские диалекты: *mə-l-tə* 'дает', *mə-s-tə* 'он дал' и т.д. Окончание -tə в этих формах не может восходить к личному местоимению, поскольку в восточнохантыйском рефлексом урал. *s был бы l, как это имеет место в лично-притяжательных показателях 3-го лица и в севернохантыйских окончаниях 3-го лица ед.ч. глагола (см. Steinitz, Die objektive Konjugation des Ostjakischen. – ÖEST, 30: 680–699).

Окончания 3л. мн.ч.:

венг. néz-ik 'смотрят', lát-ják 'видят', kért-ék 'они просили', látt-ák 'они видели' и т.д. (опр.спр.). Морфема -IK (с алломорфами -ik, -ják, -ék, -ák) *по происхождению представляет собой* сочетание окончания 3-го лица единственного числа с показателем множественного числа;

[манс. toti-ten 'они двое приносят' (опр.спр.), где -ten – сочетание окончания 3-го лица ед.ч. с показателем дв.ч.];

хант. (вост.) mə-l-il 'дают (один предмет)' (опр. спр.). Значение субъекта множественного числа при объекте единственного числа у окончания -il обеспечивается за счет того, что окончание 3-го лица ед.ч. имеет, в отличие от него, вид -tə (и восходит к указательному местоимению, тогда как окончание 3-го лица мн.ч. отражает личное местоимение и не содержит в своем составе показателя множественности как такового);

коми (пермяцк.) muna-sę 'пойдут', muni-sę 'они шли';

удм. mini-zi̯ 'они шли';

мар. wiδə-ne-štə 'хотят вести', wiδə-γecə-štə 'они бы вели', wiδə-štə 'пусть они ведут');

морд. pala-si̯-ź 'целуют (его, их)' (опр.спр.);

фин. saa-koot 'пусть они получат', диал. saa-ko-hot<*saa-ko-set (а также *-sek; ср. ижорск. anda-ga-ssek 'пусть они дадут', män-kä-ssek 'пусть они идут';

саам. gullu-sek 'пусть они слушают', lē-kku-sek 'пусть они будут', oappestē-kku-sek 'пусть они ведут', muitālē-kku-sek 'пусть они расскажут';

нен. madā-doʔ 'они отрезали', χo-doʔ 'они нашли' (опр.спр.);

нган. mataʔa-duŋ 'они отрезали' (опр. спр.);

сельк. am-noå-ti̯t 'едят', am-poå-ti̯t 'они ели', ap-soå-ti̯t 'они ели' (перех.).

Судя по приведенным примерам, глагольные окончания 3-го лица широко распространены в тех языках, где существует определенное спряжение. В тех уральских языках, которые не обладают определенным спряжением, окончания 3-го лица местоименного происхождения ограничены в своем употреблении лишь какой-то относительно узкой сферой глагольного спряжения (например, представлены в некоторых формах переходных или возвратных глаголов; кроме того, они часто встречаются в формах императива, оптатива или дезидератива и конъюнктива).

Личные окончания неместоименного происхождения.

В уральских языках зафиксированы также личные окончания неместоименного происхождения. Количество их, однако, невелико по сравнению с количеством окончаний местоименного происхождения. В финском языке окончанием 3-го лица мн.ч. глагола служит -vat, -vät (sai-vat 'они получили', mene-vät 'идут', kutsu-isi-vat 'они бы позвали' и т.д.). С исторической точки зрения это окончание является не чем иным, как сочетанием суффикса причастий настоящего времени *-pa, *-pä (saa-va 'получающий', mene-vä 'идущий') с показателем множественного числа -t. До сих пор в некоторых глагольных формах 3 л. наст. вр. встречаются (преимущественно в диалектах восточной части Финляндии, в языке "Калевалы" и других призведений фольклора) окончания -va -vä, -pi, -vi, связанные с указанным суффиксом причастий и превратившиеся в глагольные окончания: mene-vi 'идет', saa-pi 'получает', anta-vi 'дает' и т.д. (Из них развились формы литературного языка с удлинением ауслаутного гласного основы: menee, antaa и т.д.). Таким образом, благодаря частому употреблению в 3-м лице единственного и множественного числа суффикс причастий приобрел характер личного окончания до такой степени, что, например, окончание 3-го лица мн.ч. -VAT получило универсальное распространение и в про-

шедшем времени. Превращение суффиксов нефинитных форм в личные окончания наблюдается не только в прибалтийско-финских языках, но, в частности, и в венгерском: таким суффиксом первоначально был, возможно, -n, представленный в 3-ем лице ед.ч. некоторых неправильных глаголов (типа teszen 'делает', leszen 'будет', megyen 'идет'; эти формы имеют диалектное происхождение), в 3-ем лице ед.ч. императива (например, menjen 'пусть он идет', adjon 'пусть он дает'), а также входящий в состав окончания -NEK 3-го лица мн.ч. неопр. спр. (men-nek 'идут', van-nak 'они есть' и т.д.).

По сравнению с другими уральскими языками венгерский, пожалуй, наиболее богат личными окончаниями неместоименного происхождения. Используются они преимущественно в неопределенном спряжении.

К числу таких окончаний относится, например, -k (1 л. ед.ч.; láto-k 'вижу', néze-k 'смотрю'), не имеющее надежной этимологии. Его связывали с показателем мн.ч. -k, – как известно, согласный в окончаниях 1-го лица мн.ч. -uk, -ük, -juk, -jük и 3-го лица мн.ч. -ak, -ek (nézt-ük 'мы смотрели', látt-ak 'они видели' и т.д.) идентичен показателю мн.ч., – пытаясь объяснить переход от исходного значения множественного числа к значению единственного числа переосмыслением внутри фразы. Другие исследователи, напротив, отождествляют окончание 1-го лица ед.ч. -k с именным суффиксом -k. Менее известен тот факт, что окончание 1-го лица ед.ч. -k, полностью совпадающее с венгерским, имеет место и в селькупском языке (у непереходных глаголов: tüŋa-k 'прихожу'), однако между формально и функционально тождественными морфемами этих двух языков вряд ли существует непосредственная генетическая связь. Финно-угорский источник окончания -k в конечном счете до сих пор не установлен; то же можно сказать и о ряде других венгерских личных окончаний неместоименного происхождения. Окончания 2-го лица ед.ч. -sz и -l (lát-sz 'видишь', néze-l 'смотришь') обычно признаются показателями настоящего времени, развившимися из фреквентативных суффиксов и впоследствии адаптировавшимися из показателей времени в средства обозначения второго лица.

Словообразовательные суффиксы

Для того чтобы проиллюстрировать и дополнить положения общего характера, изложенные в разделе "Деривация", ниже будут бегло рассмотрены некоторые важнейшие первичные словообразовательные суффиксы венгерского языка и их соответствия в отдельных родственных языках.

Суффиксы отыменного словообразования имен.

1. Ныне носителями венгерского языка уже не ощущается производный характер слов lélek 'душа', torok 'горло', fészek 'гнездо', ének 'песня' и подобных им. Однако в финно-угорских соответствиях этих слов (фин. löyly, манс. tor, фин. pesä, ääni) элемент -k отсутствует, то есть венгерские слова оказываются производными. В некоторых других случаях (венг. farok 'хвост', törzsök 'корень') наличие суффикса -k также затемнено, однако их связь с доныне существующими производящими основами (far 'зад', törzs 'ствол') может быть легко обнаружена. В современном венгерском языке этот суффикс выступает в расширенных формах вторичного происхождения (-ka, -ke, -kó, -kő, -cska, -cske – уменьшительно-ласкательные суффиксы). В качестве простого словообразовательного суффикса или компонента сложных суффиксов -k представлен во всех уральских языках. Ср. хант. pelə-k 'половина' (~венг. fél – то же); удм. nuni-ka 'ребеночек' (от nuni 'ребенок'); фин. vasi-kka 'теленок' (от vasa – то же); энецк. kuru-ke 'ворон' (~нган. kula – то же). Все эти суффиксы восходят к урал. *-kk.

2. Уральский уменьшительный суффикс *-ć отражен в венгерском языке в целом ряде функций и форм. Наиболее распространен суффикс -s (Gizus – уменьш. к Gizella; Annus – уменьш. к Anna; kutyus 'собачка' от kutya 'собака'; zöldes 'зеленоватый от zöld 'зеленый'; halas 'рыбный' от hal 'рыба'; fenyves 'хвойный лес' от fenyő 'сосна'; hónapos 'месячный' от hónap 'месяц'; órás 'часовой; часовщик' от óra 'часы'; kőműves 'каменщик' от kő mű 'каменное изделие' и т.д.). В древнейших памятниках венгерского языка он имеет вид -cs (ср. также совр. венг. kövecs – уменьш. к kő 'камень', gubacs 'чернильный орешек', bogács 'чертополох'). В современном языке этот суффикс в обеих своих формах весьма распространен как компонент сложных уменьшительно-ласкательных суффиксов (-ós, -ős, -csa, -cse, -csi, -cska, -cske и т.д.). Приведем примеры этимологических соответствий этого суффикса в некоторых родственных языках: хант. loka-śi 'кольцо' (от lok – то же); коми jurɐ-ʒ 'подушка' (от jur 'голова'); фин. kari-tsa 'ягненок' (от диал. kari – то же); вепсск. ema-č 'самка' (ср. фин. emä 'самка; мать'); нен. jīk-ćе 'собака с пятнистой шеей' (от jīk 'шея') и т.д.

3. Уральский уменьшительный (и имеющий также другие функции) суффикс *-ś исходно отражался в венгерском языке в виде -sz (например, ravasz 'хитрый←лиса', tavasz 'весна'), но в этой форме он уже является омертвевшим. К нему восходит современный суффикс -ász, -ész, который образует названия лиц по профессиями и занятиям. Ср. коми vir-ɐś 'кровавый' (от vir 'кровь'); удм. iz-eś 'каменистый' (от iz 'камень'); морд. ɾive-ś 'лиса' (ср. фин. repo – то же) и т.д.

4. К урал. *-nt восходит широкораспространенный венгерский уменьшительно-ласкательный суффикс -d (др.-венг. -di, -du), часто встречающийся и в топонимах, но в современном языке утративший продуктивность: др.-венг. Levedi — название области прежнего расселения венгров — Леведии; др.-венг. urodum — уменьш. к úr 'господин'; др. венг. fyodum — уменьш. к fiú 'сын'; Árpád — имя вождя древних венгров; Mogyoród, Agárd, Szántód — современные топонимы; apród 'паж' (от apró 'мелкий'); gyengéd 'нежный, ласковый' (от gyenge 'слабый'), szád 'вход, ворота (ущелья, долины, пещеры)' (от szá-j 'рот, отверстие'). Ср. манс. sū-nt 'отверстие, вход' (ср. венг. szá-j 'рот, отверстие'); коми śir-ɐd 'смолистый' (от śir 'смола'); фин. emä-ntä 'хозяйка' (от emä 'мать'), viha-nta 'зеленый, свежий' (от viha 'гнев, злоба') и т.д.

5. Урал. *-mt также представлен в венгерском языке в виде -d — суффикса дробных и порядковых числительных: harmad 'треть', harmadik 'третий' (от három 'три'), negyed 'четверть', negyedik 'четвертый' (от négy 'четыре'), tized 'десятая часть', tizedik 'десятый' (от tíz 'десять') и т.д. Ср. манс. χūrm-int- 'третий' (от χūrum 'три'); фин. neljä-nte- 'четвертый' (от neljä 'четыре'); нен. ńaχar-amdaj 'третий (от ńaχar? 'три'); нган. sidi-mtia 'второй' (от siti 'два') и т.д.

6. Уральский аугментативный суффикс *-mp превратился в венгерском и финском языках в показатель сравнительной степени, однако сохранил свое исходное аугментативное значение в самодийских языках. Ср. венг. idősb, különb ('лучший'), jobb, nagyobb (геминация b вторична) — формы сравнительной степени к idős 'пожилой', külön 'особый', jó 'хороший', nagy 'большой'; фин. suure-mpi 'больше' (от suuri 'большой'); нен. ŋārka-mpoj 'довольно большой' (от ŋārka 'большой') и т.д.

7. Уральский уменьшительный суффикс -ŋk в венгерском языке имеет чисто реликтовый характер, сохраняясь в качестве основообразующего суффикса в случаях типа balog 'левша' (от bal 'левый'), jog 'право' (от jó 'хороший, добро'), kéreg 'кора' (ср. ст.-венг. kér), keszeg 'лещ' (ср. фин. keso), lovag 'рыцарь' (от ló 'лошадь'). Сфера его употребления ограничена и в финском языке: kara-nka 'оляпка (вид птиц)', kuusa-nka 'сойка', auri-nko 'солнце' (Л. Хакулинен. Развитие и структура финского языка, I, М., 1953, с. 115, 149). Ср. также нган. tomu-ŋku 'мышь' (от tomu — то же), ńuńa-rea-ŋku 'тепленький' (от ńuńaŋ 'теплый'); эн. koki-ggo 'туман' (от koki — то же). Таким образом, венгерский суффикс -g отыменного словообразования имен не возник за счет озвончения рассмотренного в п. 1 суффикса -k (как предполагают Г. Барци, К. Барта), а отражает урал. *-ŋk, как отмечал и Й. Дьёрке (G y ö r k e J., UJb, 15: 317-318).

Суффиксы отглагольного словообразования имен.

1. К урал. *-kk возводится венг. -k — суффикс nomen acti (szakadék 'пропасть, бездна' от szakad 'обрушиться', maradék 'остаток' от marad 'остаться', hasadék 'расщелина' от hasad 'расколоться', rejtek 'тайник' от rejt 'скрывать') или nomen instrumenti (játék 'игрушка' от játsz- 'играть', borítók 'конверт' от borít 'закрывать'). Ср. фин. pysäkki 'остановка' (от pysy- 'остаться'), menekki 'сбыт, расход' (от mene- 'идти'); эст. sõõk 'кушанье' (от sõõ- 'есть'); морд. ерак 'живой' (от ер-'жить'); нен. śĭjek 'лжец' (от śĭje- 'лгать').

2. Уральский суффикс *-n нефинитных форм глагола в ряде языков-потомков способен не только образовывать нефинитные формы, но и выступать как суффикс отглагольных имен с довольно широкой сферой использования. Возможно, к нему восходит элемент -n в составе венгерских глагольных окончаний 3-го лица: -nak, -nek, -n (menje-n 'пусть он идет', men-nek 'идут' и т.д.), если только вообще считать, что эти окончания произошли из суффиксов нефинитных форм (число и убедительность аргументов в пользу такого предположения невелики). К рефлексам рассматриваемого суффикса относится венгерский формант инфинитива -ni, возникший из сочетания *-n с окончанием латива. Ср. также манс. min-ne 'идущий' (от min- 'идти'); коми ńimal-an 'слава' (от ńimal- 'слыть'), ted-nį 'знать' (основа ted-); удм. mįnį-nį 'идти' (основа mįn-); фин. -n в составе суффикса II причастия: men-nyt 'шедший' (от men- 'идти'), oppi-nut 'учившийся' (от oppi- 'учиться') и т.д.

Финно-угорское происхождение имеет венгерский суффикс причастия незаконченного действия -ó, -ő. Вероятнее всего, он восходит к урал. *-k, хотя высказывалось мнение и о связи его с суффиксом нефинитных форм *-p, рассматриваемым в п. 5. Если принять первое из этих объяснений, то венг. -ó, -ő генетически родствен, в частности, финскому суффиксу отглагольных существительных -k: puhe ≺ *puhek 'речь, разговор' (от puhu- 'говорить').

4. Причастие законченного действия образуется в венгерском языке с помощью суффикса -t, -tt. В этой функции данный суффикс сохраняет продуктивность. Органически связанный с ним суффикс -t выступает и в таких отглагольных именах, где суффиксальный характер элемента уже перестал ощущаться (lét 'бытие, пребывание', kert 'сад', állapot 'состояние', kelet 'восток', nyugat 'запад'). Он родствен хантыйским суффиксам -ta (инфинитив), -ti (причастие), а также элементу -t в некоторых пермских суффиксах деепричастий (например, коми -t + окончание инструменталиса: kor-tęn 'прося' от kor- 'просить') и различным словообразовательным суффиксам в самодийских языках. Все эти суффиксы, содержащие элемент -t — рефлексы урал.

*-t (или *-tt), однако некоторые проблемы, связанные с их формированием и родственными взаимоотношениями, еще остаются нерешенными.

5. К уральскому суффиксу нефинитных форм *-p восходит элемент v в составе венгерских суффиксов деепричастий -va, -ve, -ván, -vén (гласный в этих суффиксах первоначально являлся лативным окончанием, а элемент -n — возможно, окончанием локатива). Ср. манс. l'uśə-p 'плачущий' (от l'uńś- 'плакать'); фин. syö-vä 'едящий', syö-pä 'рак (опухоль)' (от syö- 'есть').

6. Способностью к образованию отглагольных имен обладал, в частности, и уральский суффикс *-ŋk. В качестве реликтового суффикса имени деятеля или имени действия он выступает в венгерских словах világ 'свет' (ср. villan 'сверкнуть'), virág 'цветок' (ср. virul 'цвести'), részeg 'пьяный' (ср. révül 'быть в экстазе, в трансе'), csillag 'звезда' (ср. csillan 'блеснуть'), harag 'гнев, злоба' (ср. хант. kăram- 'злиться'). Часто он является вторым компонентом сложного словообразовательного суффикса -atag, -eteg (reszketeg 'дрожащий' от reszket 'дрожать', fergeteg 'буря, ураган', viszketeg 'зудящий' от viszket 'чесаться, зудеть', zuhatag 'водопад' — ср. zuhan 'стремительно падать', püffeteg 'гриб-пыльник' — ср. püffed 'раздуваться', sivatag 'пустыня' — ср. sivár 'пустынный', korhatag 'трухлявый' — ср. korhad 'становиться трухлявым' и т.д.). Его соответствия в пермских и в финском языках служат, как правило, для образования названий действий, например, коми koŋeg 'просьба' (от koŋ- 'просить'), фин. etsinko 'поиск' (от etsi- 'искать'), kulunki 'расходы' (от kulu- 'тратиться') и т.д. В мансийском языке, однако, он стал суффиксом инфинитива (-ŋkᵩe).

Суффиксы отыменного словообразования глаголов.

1. К урал. *-l восходит в неизменной форме венгерский глагольный словообразовательный суффикс -l, до сих пор часто используемый и продуктивный (szól 'говорить' от szó 'слово'; papol 'ораторствовать' от pap 'священник'; kaszál 'косить' от kasza 'коса'; meszel 'белить' от mész 'известь'; énekel 'петь' от ének 'песня'; csomagol 'паковать' от csomag 'пакет'; rosszall 'осуждать' от rossz 'плохой'). Ср. манс. ām̆p-əl 'ругать' (букв. 'собачить', от ām̆p 'собака'); хант. kat-l- 'связать по рукам' (от kat 'рука'); удм. vȩt-al- 'видеть сон' (от vȩt 'сон'); нен. ńe-l'e- 'жениться' (от ńe 'женщина').

2. Венгерский суффикс -z, имеющий то же значение, что и -l, и конкурирующий с ним (kínoz 'мучиться' от kín 'мука'; sóz 'солить' от só 'соль'; borsoz 'перчить' от bors 'перец'; ezüstöz 'серебрить' от ezüst 'серебро'), восходит к урал. *-t. Его соответствия: манс. lil-t 'дышать' (от lil 'душа, дыхание'); хант. äjəm-t- 'смазывать клеем' (от äjəm 'клей'); фин. eväs-tä- 'снаб-

жать провизией' (от eväs 'сумка с провизией, котомка'), tie-tä- 'знать' (от tie 'путь'), jää-tä- 'замораживать' (от jää 'лед'); нен. mãl-tã- 'заканчивать (от mãl 'конец').

Суффиксы отглагольного словообразования глаголов.

1. При наличии в венгерском языке ряда реликтовых суффиксов с фреквентативным значением (например, -z: néz 'смотреть', nyúz 'обдирать', főz 'варить', tépáz 'трепать' < урал. *-t; -l: metél 'нарезать полосками', dobál 'бросать', ül 'сидеть' < урал. *-l; -d: mond 'говорить', marad 'оставаться', fárad 'уставать' < урал. *-nt; -s: olvas 'читать', repes 'порхать', tapos 'топтать' < урал. *-ć и т.д.) наиболее распространенным и до сих пор в основном сохраняющим прозрачность значения является фреквентативный суффикс -sz, -ász, -ész, восходящий к урал. *-ś: metsz 'резать', úsz-ık 'плавать', játsz-ık 'играть'; szaglász 'нюхать', kotorász 'рыться', karatász 'скрестись', legelész 'пастись', vihorász 'посмеиваться'. Этот же суффикс следует усматривать и в расширенной с помощью -sz- основе настоящего времени глаголов с основой причастия на -v- (vesz 'берет', tesz 'делает', lesz 'будет', visz 'несет', hisz 'верит', esz-ik 'ест'; isz-ık 'пьет'; ср. vevő 'берущий', tevő 'делающий' и т.д.). В этой группе глаголов фреквентативный суффикс выражал длительность (дуративность) действия и, вероятно, мог одновременно служить и показателем настоящего времени. С функцией показателя настоящего времени связывается и то обстоятельство, что суффикс -sz стал одним из окончаний 2-го лица ед.ч. глагола (ütsz 'бьешь', látsz 'видишь'). Его соответствия: манс. jontəs- '(часто, повторно) шить' (от jont- 'шить'); хант. seŋks- 'ударять (много раз)' (от seŋk-) 'бить' и т.д.

2. Большинство простых суффиксов со значением мгновенности действия являются в венгерском языке реликтовыми (например, -t: vezet 'привести', félt 'оберегать', kiált 'крикнуть', ért 'понять' < урал. *-tt; -p: harap 'укусить', уст. hagyap 'плюнуть' < урал. *-pp). Однако суффиксы мгновенного действия -n и -l, -ll еще не устарели. Первый из них восходит к урал. *-n (ср. villan 'блеснуть', röppen 'вспорхнуть', dobban 'екнуть (о сердце)', cseppen 'капнуть', pihen 'отдыхать', zuhan 'стремительно упасть', recsen 'треснуть', roppan 'треснуть'). Ср. манс. šåχn- 'спутаться' (от šåχ- — то же), фин. pakene- 'убежать' (ср. эст. page- — то же). Венг. -l < урал. *-l (например, szólal 'заговорить', szökell 'подпрыгнуть', lövell 'метнуть', rivall 'крикнуть'). Ср. хант. ńoγəl- 'сдвинуться' (от ńoγ- 'двигаться'); фин. kiskalta- 'дернуть' (от kisko- 'тянуть') и т.д.

3. Венгерский каузативный суффикс -t, восходящий к урал. *-tt, в большинстве случаев носит реликтовый характер (bánt 'трогать', költ 'сочинять', olt 'гасить', fűt 'топить', teremt 'созда-

вать', hint 'сыпать', önt 'лить', ont 'проливать (кровь, слезы)'), и в современном языке более употребителен в расширенной форме – -at, -et, -tat, -tet (forgat 'вращать', hivat 'вызывать', nézet 'заставлять смотреть', mondat 'заставлять говорить', dolgoztat 'заставлять работать', fektet 'уложить'). Его соответствия: хант. lilt- 'усадить' (от lil- 'сидеть'); коми juti- 'поить' (от ju- 'пить'); удм. valati- 'дать понять' (от vala- 'понять'); нен. nūltā- 'поставить' (от nūl- 'стоять').

4. Венгерский каузативный суффикс -ít – рефлекс праязыкового *-kt (*-kt > правенг. *-γt > -jt > -ét, -ít): tanít 'учить', merít 'зачерпывать', fordít 'поворачивать', taszít 'толкать' (ст.-венг. и диал. tanajt; merejt, taszajt). Ср. манс. (возвратные глаголы) χańiśtaχt- 'учиться' (от χańiśt- 'учить'); удм. valekt- 'обучать' (от vala- 'понять'); мар. nelakt- 'заставлять глотать' (от nel- 'глотать'); фин. syöttä- (-tt- < *-kt-) 'кормить' (от syö- 'есть') и т.д.

5. В финно-угорских языках в известной мере распространено пассивное спряжение глаголов. Пассивность присуща и в том или ином виде проявляется в венгерском, мансийском, хантыйском, мордовском, саамском и финском языках. Однако выражение пассивности (страдательности) в глаголах осуществляется в этих языках неодинаково (о пассивном спряжении можно говорить лишь применительно к обско-угорским языкам), ввиду чего реконструкция праязыковых средств выражения пассивности не представляется возможной. Тем не менее, заслуживает упоминания одна общая черта суффиксов пассивных глаголов в финно-угорских языках: они развились из суффиксов или возвратного, или каузативного значения. Венгерские суффиксы пассивных глаголов -at, -et, -tat, -tet являются по происхождению суффиксами с каузативным значением. Напротив, мансийский формант пассива -w- был первоначально суффиксом возвратных глаголов. Слабые следы суффикса с возвратным значением, восходящего к тому же урал. *-w, сохранились и в венгерском языке: именно он скрывается за лабиализованными гласными суффиксов -ul, -ül (merül 'погружаться', fordul 'поворачиваться', zárul 'закрываться'), -dul, -dül (zendül 'зазвучать', csordul 'наполняться жидкостью') и других "пучков" (képzőbokrok) суффиксов непереходных глаголов (-ódik, -ődik, -kódik, -kődik и т.д.). К числу его соответствий относится, в частности, финский возвратный суффикс -u-, -y-: kuulu- 'слышаться' (от kuule- 'слышать').

Местоименные суффиксы.

Первоначальной функцией местоименных суффиксов было выделение, индивидуализация местоименных основ. Это создавало возможность отграничения самостоятельного местоимения от местоименной основы, используемой в грамматической функции,

первоначально сходной с частицей и не снабженной суффиксом.

1. Одним из наиболее частых местоименных суффиксов финно-угорского праязыка был *-n. Его следы наблюдаются и в венгерском языке, хотя как морфологическая категория местоименные суффиксы в этом языке полностью исчезли. Рефлексом урал. *-n считается элемент -n в нескольких личных и указательных местоимениях — в основном архаичных, хотя частично сохраняющихся и в современном языке; с синхронной точки зрения этот элемент уже не может быть квалифицирован как самостоятельная морфема: ten(magad) 'ты (сам)' — ср. te 'ты'; ön(maga) 'он (сам)' — ср. ő "он'; min(magunk) 'мы (сами)' — ср. mi 'мы'; tin(magatok) 'вы (сами)' — ср. ti 'вы'; azon (≈az) 'тот', ezen (≈ez) 'этот', а также, возможно, én 'я'. Формант -n, получающий аналогичное объяснение в качестве местоименного суффикса, представлен в личных, указательных и вопросительных местоимениях уральских языков: манс. ān-um 'меня' (акк.) (от am 'я'), ma-n 'какой'; хант. ma-n 'я'; удм., морд., саам. mo-n 'я', to-n 'ты'; фин. mi-nä 'я', ke-n 'кто'; нен. ma-ń 'я' и т.д.

2. Происхождение из местоименного суффикса можно предполагать и для -g- в венг. engem 'меня', téged 'тебя', tegez 'обращаться на "ты", тыкать'. Он восходит к угор. *-ŋk или *-ŋ, и его соответствиями можно считать -ŋ в личных местоимениях манс. naŋ, хант. nŏŋ 'ты', maŋ 'мы'. В мансийском языке подобные местоимения могут образовывать усилительные формы посредством элемента -ki: naŋki 'ты сам', (южн.) mäŋkü 'нас самих' (акк.). Возможно, венг. -g- непосредственно восходит к аналогичным усилительным формантам.

3. Восходящий к местоименному суффиксу формант -v обнаруживается в венг. övé 'его, принадлежащий ему' (ср. др.-венг. HB uvt, то есть üŭt 'его' (акк., при совр. őt)), а также в архаичных формах местоимений mi 'мы', ti 'вы' — HB miv, tiv (то есть miŭ, tiŭ). С ним сопоставим ауслаутный согласный в манс. taw 'он', хант. (южн.) təw, (вост.) lŏχ 'он' (этот согласный восходит к угор. *-k; к возможным отдаленным родственным связям последнего ср. фин. jo-ka 'который' (относительное местоимение), ku-ka 'кто').

ЛЕКСИКА

О роли в венгерском языке важнейшего лексического слоя — слов финно-угорского происхождения — дают представление некоторые числовые данные.

Статистико-этимологический анализ лексики венгерского языка был проведен Ш. Вермеш (V e r m e s S.—NyK, 51, c. 435) на материале этимологического словаря Г. Барци (B á r c z i G.

Magyar szófejtő szótár, Budapest, 1941). Согласно ее данным, среди заглавных слов этого словаря:

слов уральского, финно-угорского и угорского происхождения	1172	24%
слов, возникших на собственно венгерской почве	1087	22,3%
заимствований	1741	35,6%
слов неизвестного происхождения	880	18,1%

Таким образом, количество финно-угорских слов в абсолютном выражении не выглядит внушительным, особенно если учесть, что, как убеждает опыт этимологических разысканий, приведенная цифра 1172 должна быть принята как "оптимальная", тогда как при более строгом этимологическом отборе количество венгерских гнездовых слов финно-угорского происхождения оценивается в 700-800.

Впрочем, следует иметь в виду и то, что среди слов неизвестного происхождения также таится немало реликтов праязыковой лексики, не говоря уже о том, что часть слов, возникших на собственно венгерской почве, также может иметь под собой финно-угорскую основу.

Таким образом, эти числовые данные не отражают должным образом значимости финно-угорского слоя в венгерском словаре. Его основополагающую роль можно обнаружить посредством исследования всей совокупной лексики двумя другими способами – путем статистико-этимологического анализа всего словарного фонда и словоупотребления.

Статистико-этимологический анализ словарного фонда практически можно было бы осуществить, если привлечь для этого максимально полный свод венгерской лексики, то есть материал многотомного толкового словаря венгерского языка ("A magyar nyelv értelmező szótára", I-VII. Budapest, 1959–1962). Эту работу можно было бы провести путем машинной выдачи данных, в ходе которой производилась бы систематизация слов по происхождению. До тех пор же, пока этим способом не получена достоверная картина распределения заглавных слов этого словаря по происхождению, ограничимся приведением данных статистического анализа по первым двум буквам словаря (анализ выполнен в качестве университетской дипломной работы). Если при определении этимологии отдельных слов и получении промежуточных результатов могут появиться – и даже наверняка имеются – ошибки, окончательный результат в соответствии с законом больших чисел вряд ли далек от действительности. Согласно этому подсчету, из 3970 лексических единиц, приводимых в толковом словаре на букву А, финно-угорское происхождение имеют 2058, или 51,63%, а из 4467 лексических единиц

на букву B – 1740, или 38,95%. В целом по заглавным словам на буквы A и B доля лексических единиц финно-угорского происхождения составляет 45,01%. В эти данные включаются также сложные и производные слова, имеющие финно-угорскую основу, но возникшие уже на собственно венгерской почве (например, adó 'налог', adózás 'уплата налога' и adóalany 'налогоплательщик' – от ad 'давать'; árufelesleg 'избыток товаров' – от ár 'цена' и fel 'вверх'; balraát 'налево!' – от bal 'левый' и át 'через'; beemel 'втаскивать наверх, внутрь' – от emel 'поднимать' и т.д.). Эти статистические данные относительно близки к результатам, опубликованным в 20-х годах B. Тольнаи. Согласно его результатам,в составе венгерской словарной лексики 65% слов венгерского происхождения (сюда входит праязыковое наследие и собственно венгерские лексические инновации; см. T o l n a i V. – MNy, 20, c. 55). При этом необходимо обратить внимание на то, что если учесть также заглавные слова, содержащиеся в "Словаре иностранных слов" ("Idegen szavak szótára", Budapest, 1970), в "Историко-этимологическом словаре венгерского языка" ("A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára", I–III, Budapest, 1967–1976) и в "Кратком толковом словаре венгерского языка" ("Magyar értelmező kéziszótár", Budapest, 1972), куда включено значительное количество поздних заимствований из европейских языков, то соотношение окажется значительно менее благоприятным для исконной (уральской, финно-угорской и т.д.) лексики.

Однако данные о частотности слов представляют исконную лексику в более выгодном свете. Согласно подсчету B. Тольнаи, в венгерском текстовом массиве из 100 000 слов доля исконных (финно-угорских и возникших на венгерской почве) слов составляет 88%, а в отдельных текстах достигает даже 94%. Столь значительный перевес исконной лексики по данным статистики словоупотребления обеспечивается, в частности, за счет употребляемого буквально на каждом шагу определенного артикля a, az. В финском языке, где нет подобного элемента, обладающего устойчиво высокой употребительностью, доля исконной лексики в тексте на 5–10% ниже и составляет 82–85%.

Важные дополнения к упомянутым статистическим данным сделал Л. Бенке, подошедший к исследованиям такого рода с новой точки зрения и продемонстрировавший на статистическом материале преобразования, происшедшие в этимологической структуре лексики венгерского языка за 800 лет (B e n k ő L. –NyK, 64, c. 115–136). В его работе проведен анализ кратких текстов, относящихся к четырем различным эпохам, и изучено распределение слов в этих текстах по происхождению. Согласно полученным им результатам, в древневенгерском памятнике XII в. (HB) суммарная встречаемость праязыковых (финно-угор-

ских) слов равна 30%, а в четвертом из исследованных текстов (отрывок из публицистического произведения, изданного в 1961 г.) – лишь 8%. Напротив, слова, возникшие на собственно венгерской почве, составляют в тексте НВ 48%, а в современном тексте – 80%. Пока что результаты Бенке интересны скорее с методологической точки зрения, нежели практически, поскольку им были обработаны тексты небольшого объема.

Одним из новшеств анализа лексики по происхождению является, в частности, последовательное разграничение праязыковых (уральских, финно-угорских, угорских) элементов (их можно назвать базисными) и слов, возникших уже на собственно венгерской почве. Было бы, однако, целесообразным так расширить рамки этого метода исследования, чтобы иметь сведения и о том, какова доля собственно венгерских слов, созданных в различные периоды на основе базисных элементов, заимствованных элементов и т.д.

V. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО УРАЛИСТИКЕ*

Проблемы возникновения человеческого языка до сих пор продолжают вызывать споры. Напротив, происхождение и генетическая принадлежность отдельных языков, и особенно родственные связи языков Европы, уже детально изучены.

В мире существует почти 3000 (а по некоторым оценкам – 6000) языков. Все эти многочисленные языки отличаются друг от друга по словарному составу и грамматическому строю. Тем не менее внутри определенных групп языков наблюдаются черты структурного и лексического сходства, объяснимые только за счет общего происхождения языков, входящих в эти группы.

Ученые издавна занимались вопросом о генетической принадлежности венгерского языка – вопросом, представляющим интерес не только для специалистов. Ныне уже сформировалась единая точка зрения по вопросу о родственных связях венгерского языка, однако ранее в этой связи высказывалось немало наивных объяснений. Некоторые авторы объявляли венгров прямыми потомками гуннов; другие пытались связать венгерский язык с древнееврейским, этрусским, персидским или даже английским и – в самое последнее время – шумерским языками. В течение известного периода, особенно в середине прошлого века, было немало приверженцев гипотезы тюркско-венгерского языкового родства, а в нынешнем столетии обсуждались возможности связей венгерского языка с языками мунда, дравидийскими языками и даже языками индейцев Америки и африканскими языками! Все эти теории были лишены сколь-нибудь серьезных обоснований, бездоказательны и с развитием науки мало-помалу оказались начисто отброшенными, за исключением гипотезы шумеро-венгерского языкового родства, популярной преимущественно среди венгерских эмигрантов в Америке и Австралии (но находящей отдельных приверженцев и в самой Венгрии). Ее сторонники, ныне уже подразделившиеся на ряд "фракций", – не лингвисты, а историки-дилетанты, деятельность которых направлена на распространение среди венгров псевдо-

* В настоящем разделе излагаются факты по состоянию на 1979 г. – *Прим. ред.*

исторического национального самосознания, основанного на шумеро-венгерском мифе. Сейчас литература по проблеме шумеро-венгерского "языкового родства", изданная в Западной Европе и в Америке, столь обширна, что венгерская научная общественность постоянно вынуждена заниматься ее опровержением.

Современный уровень наших знаний делает бесспорным тот факт, что венгерский язык входит в уральскую (финно-угорскую) языковую семью. Таким образом, родственные отношения связывают его с мансийским, хантыйским, коми, удмуртским, марийским, мордовским, прибалтийско-финскими (финским, карельским, ижорским, вепсским, водским, эстонским, ливским), саамским и самодийскими (ненецким, энецким, нганасанским, селькупским и мертвыми саяно-самодийскими) языками.

Представление о родстве финно-угорских языков имеет тысячелетнюю историю. Оттар Халогаланд, норвежский вассал английского короля Альфреда Великого, совершая в конце IX в. плавание вдоль северного побережья Скандинавского полуострова, обогнул Кольский полуостров и пристал к побережью Белого моря где-то в районе современного Архангельска. В описании своего путешествия он сделал примечательное упоминание о том, что язык живущих там "биармийцев" сходен с языком саамов Северной Норвегии. Вероятно, под биармийцами следует понимать одну из прибалтийско-финских народностей, населявшую побережье Белого моря.

Согласно сложившейся в финно-угристике традиции принято считать, что первым, кто указал на языковое родство венгров и обских угров, был Энео Сильвио Пикколомини (Aeneas Sylvius Piccolomini, 1405–1464), известный гуманист, впоследствии ставший папой Пием II, который в своем сочинении "Космография" (написано в 1458 г., но издано лишь в 1504 г.) рассматривает, в частности, происхождение венгров, основываясь на относящемся к 1447 г. сообщении одного веронского монаха. "Космография" упоминает об азиатских венграх (Asiaticos Hungaros) и их земле – Азиатской Скифии (Asiatica Scythia), где, согласно этому сообщению, жило языческое население, говорившее на том же языке, что и венгры. Как показали, впрочем, позднейшие разыскания, географические данные об этой земле у Энео Сильвио ("недалеко от Танаиса", то есть Дона) не обязательно указывают на Азию, поскольку по географическим представлениям того времени Азией нередко считались и те области Европы, которые расположены к востоку от Дона. Еще менее вероятно, что веронский путешественник – если даже он и знал венгерский язык – мог бы обнаружить его идентичность обско-угорским языкам, которые в то время уже отличались от венгерского почти так же значительно, как и сейчас. Следовательно,

сведения этих средневековых источников скорее могут относиться к разрозненным группам венгров, оставшимся в тех краях и встреченным монахом-доминиканцем Юлианом в 30-х гг. XIII в. где-то в Поволжье, в так называемой "Magna Hungaria". Возможно, впрочем, и то, что Энео Сильвио довелось слышать о народе Югрии (Югры), которая славилась мехами, и о сравнении названий Югрия и Угрия (то есть Венгрия), которые, возможно, уже тогда были традиционными, хотя сам он не упоминает Югрию в своем сочинении. Однако название последней несколько позднее (в 1517 г.) появляется в "Трактате о двух Сарматиях" ("Tractatus de duabus Sarmatiis") польского историографа Мацея из Мехова (Mathias de Miechow, 1457–1523), который даже описывает народ Juhra (манси и ханты) и, основываясь на отождествлении названий Juhri и Hugri, считает этот народ предками венгров. Из этого исходил позднее и С. Герберштейн в своих "Записках о делах московитских" (Sigismund Herberstein. Rerum Moscoviticarum Commentarii. Basel, 1549) его мнение в наиболее лаконичной форме выражено на первой карте, где Югрия помещена у Оби со следующей подписью: "Juhra, inde Ungarorum origo" ('Югра, оттуда ведется происхождение венгров'). На второй же карте можно прочесть: "Jugra, unde Hungari. Jugritzi populi" ('Югра, откуда венгры. Народы Югричи'). Что же это за народ, кого Герберштейн именует таким образом? Из текста книги, при описании областей Печоры и Югрии, выясняется, что у Оби живут народы "вогуличи" и "угричи". Но не следует забывать: сопоставления языков тогда еще не производилось, и, хотя у Герберштейна представлен и этноним *вогул* (то есть манси), Югрия фигурирует в его работе, по сути дела, как прародина *венгров*.

Эти неуверенные, на ощупь производившиеся попытки выявления родственных связей нашли свое продолжение в следующем столетии. Й. Трёстер, немец из Трансильвании, привел в своей книге "Старая и новая Дакия" (Johann Tröster Das alte und neue Dacia, Nürnberg, 1666) несколько сопоставлений финских и венгерских слов. Более важной вехой в истории науки явилась относящаяся к 1669 г. работа гамбургского ученого М. Фогеля "Наблюдения о природе финского языка" (Martin Vogel. De Fennicae linguae indole observationes), хотя, оставшись в рукописи, она не могла оказать влияния на дальнейшее развитие финно-угорского языкознания, в ней содержится целый ряд сопоставлений таких финских и венгерских слов, родство которых признается и современной наукой, а кроме того, не оставлены без внимания и черты структурного сходства между этими двумя языками.

Независимо от Фогеля и Трёстера, родство венгерского и финского языков обнаруживает в 1671 г. и шведский ученый и

поэт Г. Стьерньельм (Georg Stiernhielm).

Сравнение языков, отвечающее требованиям научного подхода, начинается в XVIII в. Значительное влияние на языковедов этого времени оказало выдвинутое предшественником немецкой идеалистической философии, автором выдающихся работ по математике и языкознанию Готфридом Вильгельмом фон Лейбницем (1646–1716) положение, согласно которому вопросы происхождения народов могут быть разрешены благодаря сравнению языков и установлению родства последних. Под влиянием Лейбница широкий размах приобретает сбор материала из самых разнообразных языков. Петербургская Академия наук организует большие экспедиции с целью ознакомления с языками Российской империи. Многолетняя полевая работа этих экспедиций, открывших для науки отдаленные районы государства вплоть до Камчатки, была важна не только для языкознания: этим был внесен важный вклад и в развитие этнографии, землеведения, географии и различных естественнонаучных дисциплин. Инициатором и главным организатором этой программы исследований, потребовавшей значительной затраты средств, был известный русский историк и государственный деятель В. Н. Татищев (1686–1750). Историк Г. Миллер (Muller, 1705–1783) возглавил в составе тщательно подготовленной Второй Камчатской экспедиции (1733–1743) группу участников, которая собрала значительный материал по языкам различных уральских (и не только уральских) народов. Собранный в ходе сибирских экспедиций рукописный словарный материал (и другие записи по языкам), а также данные из путевых заметок и дневников немецкого ученого Д. Г. Мессершмидта (Daniel Gottlieb Messerschmidt, 1685–1735), путешествовавшего по Сибири, попали с большими или меньшими искажениями в позднейшие издания. При этом иногда имена и личности тех, кто непосредственно записывал языковой материал, оказывались в этих вторичных публикациях в тени (заметки и дневники Мессершмидта, представляющие общенаучный интерес, в недавнем прошлом были по инициативе В. Штейница изданы Академией наук ГДР в 5 объемистых томах). Сходная участь постигла и записи Г. И. Спасского (ум. 1864) по саяно-самодийским языкам (койбальскому и моторскому) они увидели свет на страницах книги Ю. Клапрота "Asia Polyglotta", а издание оригинальной рукописи последовало лишь через 150 лет (ее опубликовал в 1957 г. Л. П. Потапов).

О все более расширяющемся горизонте исследований свидетельствуют работы Филиппа Йоганна Страленберга (1730), Йоганна Эбергарда Фишера (1756, 1768), Людвига Августа Шлёцера (1771), которым принадлежит выдающееся место в истории финно-угорского сравнительного языкознания и изуче-

ния финно-угорских народов. Страленберг, капитан шведской армии, взятый в плен в 1709 г. под Полтавой, за время своего 13-летнего пребывания в Сибири собрал ценные данные о сибирских народах. В изданной им по возвращении на родину работе "Северная и восточная часть Европы и Азии" (Philip Johann v. Strahlenberg. Das Nord- und Ostliche Theil von Europa und Asia. Stockholm, 1730) к первой большой группе так называемых "борео-ориентальных" (или северо-восточных) языков отнесены мордовский, марийский, коми, удмуртский, мансийский, хантыйский языки, которые Страленберг признает родственными венгерскому, финскому, саамскому и эстонскому. Таким образом, он явился, по существу, первым, кто представил в опубликованном виде лингвистические доказательства родства финно-угорских языков и даже указал на их родство с самодийскими языками.

Й. Э. Фишер (1697–1771), член Петербургской Академии наук, в ряде своих работ непосредственно затрагивает вопросы финно-угорского языкознания. В рукописном исследовании "О происхождении венгров" (Johann Eberhard Fischer. De origine Ungrorum, 1756) он подробно излагает концепцию финно-угорского происхождения венгров; в книге "История Сибирская" ("Sibirische Geschichte", I–II, St.-Petersburg, 1768) обобщены имевшиеся в распоряжении науки того времени данные об уральских народах и языках России; оставшийся в рукописи словарь сибирских языков ("Vocabularium continens trecenta vocabula triginta quatuor gentium, maxime ex parte Sibericarum") содержит исключительно ценный сравнительный лексический материал по ряду уральских языков (впрочем, этот рукописный свод лексики, приписываемый Фишеру, является, как показывают исследования последнего времени, вторичным и, по всей вероятности, вошедший в него материал принадлежал Г. Миллеру).

Шлёцер в работе "Всеобщая северная история" (Ludwig August Schlözer. Allgemeine Nordische Geschichte. Halle, 1771) суммировал сведения о финно-угорских народах; этот труд до сих пор остается ценным источником фактических данных для исследователя.

В конце XVIII – начале XIX в. обширный новый материал для сравнения языков был опубликован в работах Петра Симона Палласа: "Сравнительные словари всех языков и наречий" (т. I–II. СПб., 1787–1789) и "Zoographia Rosso-Asiatica" (т. I–III. St.-Petersburg, 1811). В "Зоографии" зафиксированы многочисленные названия животных на самых разнообразных языках (в том числе и уральских). Не менее важны с точки зрения как языкознания, так и этнографии и истории работа Палласа "Путешествие по разным провинциям Российской империи"

(P. S. Pallas. Reise durch verschiedene Provinzen des Russischen Reichs, t. I–III. St.-Petersburg, 1771–1776) и книга Ю. Клапрота (Julius Klaproth) "Asia Polyglotta" (Paris, 1823).

В Венгрии начало применению сравнительного метода в языкознании было положено работами Я. Шайновича "Демонстрация идентичности языка венгров и саамов" (Sajnovics János. Demonstratio idioma Ungarorum et Lapponum idem esse. Tyrnaviae, 1770) и Ш. Дьярмати "Родство венгерского языка с языками финского происхождения" (Gyarmathi Sámuel. Affinitas linguae Hungaricae cum linguis Fennicae originis, Gottingae, 1799). Шайнович, следуя указаниям своего учителя Д. Хелла (Hell György), ограничивается стремлением доказать родство только саамского и венгерского языков. Крупная его заслуга состоит в том, что он привлекает для изучения не только лексические сходства, но и морфологические, структурные параллели между языками, оказываясь тем самым одним из пионеров современного сравнительно-исторического языкознания. Его работа была продолжена Дьярмати, который исследует в первую очередь черты сходства в грамматических формах, хотя уделяет внимание и лексическим параллелям. Доказательства родства у Дьярмати строятся на более широкой основе: помимо саамского, он привлек для сравнительного изучения все прочие финно-угорские и даже самодийские языки.

Эти первые шаги в выяснении родственных связей венгерского языка не могли дать окончательных, общепризнанных результатов до тех пор, пока данные по финно-угорским языкам были недостаточны и шли из вторых или из третьих рук и пока невозможно было подвергнуть финно-угорские языки последовательному сравнительно-историческому анализу с опорой на новый, надежный материал.

Однако в течение долгого времени такой материал не появлялся, и даже после почина, предпринятого Я. Шайновичем и Ш. Дьярмати, финно-угорское языкознание не стало предметом сколь-нибудь значительного интереса. Упоминания заслуживает, пожалуй, лишь работа Ф. Каллаи "Финно-венгерский язык" (Kállay Ferenc. Finn-magyar nyelv. Pest, 1844) – первое обобщающее изложение сведений об уральском языковом родстве в целом, отвечающее в полной мере требованиям науки своего времени, выполненное на высоком уровне и вместе с тем написанное в увлекательной форме.

В России в этот период продолжалась целенаправленная работа по изучению финно-угорских языков. В первой половине XIX в. ведущую роль в этих исследованиях играли главным образом А. Шёгрен (Andreas Sjögren, 1794–1855) и Ф. И. Видеман (Ferdinand Johann Wiedemann, 1805–1887), эстонец по происхождению. Оба они, будучи членами Петербургской Академии наук,

оказали большое влияние на развитие финно-угорского языкознания. Особенную известность приобрели взгляды Видемана на проблему урало-алтайского языкового родства ("Über die früheren Sitze der tschudischen Völker und ihre Sprachverwandtschaft mit den Volkern Mittelhochasiens" ['О прежних местах обитания чудских народов и их языковом родстве с народами Центральной Азии']. Reval, 1838), а также его работы по отдельным финно-угорским языкам: коми грамматика (1884) и словарь (1880), удмуртская грамматика (1851), эрзя-мордовская грамматика и словарь (1865), эстонско-немецкий словарь (1869). Шегрен был в большей мере крупным организатором науки, человеком, указывающим направления исследований; оставшиеся после него рукописи, заметки, дневники содержат много замечаний, ценных в научном отношении и с точки зрения истории науки. Обзор деятельности Шёгрена и ее оценка с современных позиций содержатся в недавно вышедшей монографии М. Бранча (M. Branch A. J Sjogren. Helsinki, 1973, MSFOu, t. 152).

Полувековой застой сменился в середине XIX в. в Венгрии и Финляндии одновременным оживлением работы в области финно-угорского языкознания, интенсивной исследовательской деятельностью, ее осуществление и организация связаны с именами венгров А. Регули, П. Хунфальви, Й. Буденца, финских исследователей М. А. Кастрена, А. Альквиста, О. Доннера и А. Генеца.

Эти ученые (за исключением Регули) были высокоэрудированными лингвистами. Они применили для изучения финно-угорских языков методы историко-языковых исследований, выработанные в индоевропеистике, и создали тем самым основы финно-угорского сравнительного языкознания. Осознавая, что новые результаты достижимы только при условии подробного ознакомления с финно-угорскими языками, они поставили целью собрать как можно больше словарного материала и текстов и описать грамматический строй финно-угорских языков.

П. Хунфальви еще в 1851 г. провозгласил, что "венгерским языковедом не может быть тот, кто не сведущ в родственных венгерскому языках". Это было большим достижением по сравнению с предшествующей практикой лингвистических штудий, когда утверждения строились на данных, которые самому исследователю трудно было проверить.

Среди финно-угроведов первого поколения немеркнущих заслуг в сборе материалов добились Регули, Кастрен, Альквист и Генец.

Антал Регули (Reguly Antal, 1819–1858) не готовился к лингвистической деятельности. Получив юридическое образова-

ние, он попал в Швецию, а оттуда в Финляндию и чуть ли не случайно ознакомился с идеей финно-венгерского языкового родства. Ждущие своего решения задачи исследования родственных связей настолько захватили его, что он посвятил всю свою жизнь этому делу. Изучив финский, эстонский, водский и саамский языки, он пришел к убеждению, что с точки зрения сравнительного исследования венгерского языка первоочередной задачей является работа с обско-угорскими языками. С 1841 г. он готовился в Петербурге к научной экспедиции в Приобье, которая после многих трудностей началась в конце 1843 г.

Полтора года провел Регули среди обских угров. Он записал исключительной ценности образцы хантыйского и мансийского фольклора, которые сейчас могут уже считаться языковыми памятниками. Возвращаясь на родину, он занимался и языками других финно-угорских народов (марийцев и мордвы), однако обработке богатого экспедиционного материала воспрепятствовали неизлечимая болезнь и ранняя смерть ученого. Работу с записями Регули, расшифровку, перевод и издание собранных им текстов должны были закончить его научные преемники.

Второй выдающейся фигурой среди полевых исследователей того времени был Матиас Александр Кастрен (Mathias Alexander Castrén, 1813–1852), первый профессор финского языка и литературы Гельсингфорсского университета. В отличие от Регули Кастрен предпринял свои исследовательские поездки, обладая фундаментальной лингвистической подготовкой. В ходе этих поездок он снискал бессмертную славу, особенно в изучении самодийских языков. После первых экспедиций к саамам и карелам Кастрен в 1841–1844 гг. и в 1845–1849 гг. объезжает территории расселения уральских народов в Северо-Восточной Европе и в Сибири. В ходе многолетних поездок ученый собрал исключительно богатый материал, который и ему, однако, не удалось опубликовать полностью. Кастрен скончался в возрасте 39 лет, но еще при его недолгой и богатой событиями жизни успели выйти в свет написанные им грамматики хантыйского, марийского и коми языков, а также несколько небольших по объему исследований. Бóльшая же и наиболее ценная часть его записей, в общем и целом систематизированная, оставалась неизданной. Вскоре, однако, настал и ее черед: наследие Кастрена, подготовленное к печати А. Шифнером (Anton Schiefner), было опубликовано в 12-ти томах под общим заглавием "Северные *путешествия и исследования д-ра* М. А. *Кастрена*" ("Nordische Reisen und Forschungen von Dr. M. A. Castrén". St.-Petersburg, 1853–1862). Помимо отчетов, дневников, писем, этнологических исследований, обладающих исключительной ценностью, в это многотомное издание вошли словарь и грамматика всех

пяти[1] самодийских языков. Эти словарь и грамматика в течение многих десятилетий оставались для исследователей единственными источниками данных о самодийских языках. Необходимыми пособиями в работе самодиста являются эти труды и сейчас. Кроме того, "Северные путешествия и исследования" включают в себя грамматики и словари других – неуральских – языков Сибири (например, кетского, бурятского, койбальского, карагасского, эвенкийского).

Деятельность Регули и Кастрена способствовала пробуждению интереса к финно-угорским языкам среди ученых. Одним из инициаторов исследований по финно-угроведению в Венгрии был в это время П. Хунфальви (Hunfalvy Pál, 1810–1891). Его организационная и научная деятельность дает правильную ориентацию сравнительному изучению финно-угорских языков в стране.

Подавая хороший пример, Хунфальви неутомимо изучает финно-угорские языки и публикует одну за другой работы сравнительно-исторического характера. Он основывает журнал "Magyar Nyelvészet" ("Венгерская лингвистика"), шесть томов которого вышло в 1856–1862 гг.; вокруг журнала начинает формироваться небольшая группа лингвистов, работающих в области урало-алтайского языкознания. Под руководством уже больного Регули Хунфальви знакомится с мансийским языком, а после кончины Регули принимает на себя работу по изданию значительной части его наследия (H u n f a l v y P. A vogul föld és nep ['Земля и народ манси']. Pest, 1864). От внимания ученого не ускользают и хантыйский, мордовский, саамский, самодийские и, разумеется, финский языки. Ряд статей, рецензий, словарей, монографий по этим языкам публикуется им частично в журнале "Magyar Nyelvészet", частично в новом журнале, который был основан Венгерской Академией наук в 1862 г. и также редактировался Хунфальви – "Nyelvtudományi Közlemények" ["Лингвистические сообщения"].

Благодаря Хунфальви в Венгрию переселился Й. Буденц (B u d e n z József, 1836–1892), немец по происхождению, ставший крупнейшим финно-угроведом Венгрии. С его именем связаны решение многих основополагающих вопросов финно-угорского языкознания, создание первых обобщающих трудов, выработка научных методов сравнения финно-угорских языков. Буденц был первым в Венгрии лингвистом-финно-угроведом, который обладал специальной лингвистической подготовкой. Правда, он начал свою деятельность как исследователь

[1] Во времена Кастрена на юге Сибири еще был распространен камасинский язык, впоследствии исчезнувший

индоевропейских, а не финно-угорских языков, но по приезде в Венгрию он заинтересовался дискуссионными вопросами урало-алтайского "языкового родства" и с большим воодушевлением приступил к решению задач, суливших достижение многих новых результатов. К тому времени еще не были выяснены родственные взаимоотношения финно-угорских языков и характер связей венгерского языка с алтайскими (тюркскими) языками, поэтому главным направлением исследования было решение этих принципиально важных вопросов.

Вначале Буденц придерживался того взгляда (в прошлом почти общепринятого), что венгерский язык более близок тюркским, нежели финно-угорским. Однако впоследствии, после тщательного ознакомления как с финно-угорскими языками, так и с рядом тюркских, он выдвинул решающие аргументы в пользу принадлежности венгерского языка к финно-угорской семье. Он показал, что то общее, что есть между венгерским и тюркскими языками, основано не на родстве, а на контактах. Это был грандиозный труд: Буденцу пришлось не только проработать материал большого количества языков, чтобы добраться до истины, но и защищать свою точку зрения, отражая нападки сторонников тюркской теории происхождения венгерского языка (которая к тому же вначале господствовала в воззрениях общественности). Из научных битв, известных в Венгрии под названием "угорско-тюркской войны" (ugor-török háború), Буденц вышел победителем. Его деятельность направила финно-угорское языкознание по верному пути и определила собой ту программу исследований, над осуществлением которой в дальнейшем трудились, помимо самого Буденца, его ученики и ученики его учеников. Суть этой программы состояла в ориентации на то, чтобы с использованием как можно более обширного экспедиционного языкового материала выявить общую лексику финно-угорских языков и те особенности их грамматического строя, которые имеют общее происхождение. Многое в этом плане было осуществлено самим Буденцем. В 1873–1881 гг. он опубликовал в пяти выпусках обширный "Венгерско-угорский сравнительный словарь"[1] (Budenz J. Magyar-ugor összehasonlító szótár. Budapest); ему принадлежат многочисленные статьи по отдельным вопросам словоизменения и словообразования, для обобщения результатов которых Буденц приступил к работе над "Сравнительной морфологией угорских языков". Эта работа осталась незаконченной, однако Ж. Шимони, используя научное наследие Буденца, дополнил и издал ее отдельными выпусками (Budenz, József. Az ugor

[1] Термин "угорский" употреблялся Буденцем в значении "финно-угорский".

nyelvek összehasonlító alaktana. A szerző hagyatékával kiegészítette Simonyi Zsigmond, Budapest, 1884–1894).

С позиций современного финно-угроведения некоторые результаты Буденца нередко представляются ошибочными, устаревшими. Это, впрочем, естественно. Финно-угорское сравнительное языкознание как наука с собственной методологией в эпоху Буденца еще только формировалось. Историческая фонетика еще оставалась неразработанной, и поэтому значительная часть предложенных им этимологий не выдержала испытания временем. Кроме того, он располагал намного более скудными источниками данных по финно-угорским языкам, чем исследователи последующих поколений. С учетом этого неудивительно, что со многими выводами Буденца сейчас уже нельзя согласиться. Если, однако, оценивать деятельность Йожефа Буденца применительно к условиям его времени, можно утверждать, что она сыграла выдающуюся роль, поскольку Буденц заложил основы финно-угорского сравнительного языкознания и, занимая с 1872 г. кафедру в Пештском университете, подготовил многих выдающихся финно-угроведов.

Исследование финно-угорских языков оживилось в это время и в Финляндии. Кафедру финского языка и литературы, перешедшую от Кастрена к Э. Лённроту (Elias Lönnrot), унаследовал в 1863 г. А. Альквист (August Ahlqvist, 1826–1889), сыгравший важную роль в организации научных исследований и в подготовке научной смены. При нем и в основном по его инициативе было создано финское "Общество родного языка"; Альквист был одним из основателей двух первых финских лингвистических журналов – "Kieletar" и "Virittäjä". Вслед за экспедицией по изучению водского, эстонского и вепсского языков (1845 г.) он посетил районы расселения мордвы и марийцев (1856 г.), а затем обских угров (1858, 1877, 1880 гг.). Альквистом изданы мордовские и мансийские тексты, словари, грамматики, хантыйские тексты и словарь, а также интересное и информативное описание его поездки в Приобье. Его работы о культурной лексике прибалтийско-финских (1875) и обско-угорских (1890) языков – первые в финно-угроведении и образцовые исследования подобного рода.

Его преемник А. Генец (Arvid Genetz, 1848–1915) занимался преимущественно саамским и прибалтийско-финскими языками; впрочем, значительную ценность представляет и собранный им восточно-марийский и восточно-коми-пермяцкий (коми-язьвинский) языковой материал. Его работа об истории вокализма первого слога в мордовском, саамском и финском языках не вызвала большого отклика, вероятно, потому, что по своему методу и по результатам далеко опередила свое время. Эта работа выдвигает Генеца в число основоположников совре-

менной сравнительно-исторической фонетики. Часть результатов его работы сохраняет значение до настоящего времени.

Наряду с Альквистом и Генецем нужно упомянуть также и имя крупного организатора финно-угроведческих исследований О. Доннера (Otto Donner, 1835–1909). Труд его жизни – "Сравнительный словарь финно-угорских языков" (D o n n e r Otto. Vergleichendes Wörterbuch der finnisch-ugrischen Sprachen. Helsingfors, 1874–1888) уже к моменту выхода в свет не вполне отвечал требованиям времени, уступая по научному уровню сравнительному словарю Буденца, изданному почти одновременно с ним. Доннеру принадлежат ценные работы о родственных взаимоотношениях финно-угорских языков ("Die gegenseitige Verwandtschaft der finnisch-ugrischen Sprachen". – "Acta Soc. Scientiarum Fennicae", 11, 1879), о прародине финно-угров, о балтийских заимствованиях в финском языке; крупнейшей его заслугой признается тем не менее его научно-организационная деятельность. Решающее влияние на дальнейшее развитие финно-угроведеческих исследований оказало создание усилиями Доннера Финно-угорского общества (Suomalais-ugrilainen Seura) в 1883 г. С целью содействия исследовательской работе Финно-угорское общество выделяло стипендии ученым, выезжающим в районы расселения уральских народов, и развернуло планомерную издательскую деятельность, начав издание ряда научных серий. За почти столетний период существования этих серий в них опубликовано около 250 томов. Благодаря своей хорошо продуманной, последовательно и настойчиво осуществляемой работе Общество вскоре превратилось в важнейший международный центр финно-угроведческих исследований, каковым оно остается и сейчас.

Заслуживающие внимания инициативы в исследовании финно-угорских языков были предприняты во второй половине прошлого века не только в Венгрии и Финляндии.

Работы датского языковеда В. Томсена (Wilhelm Thomsen, 1842–1927) по германским и балтийским заимствованиям в прибалтийско-финских языках (1869, 1890) привлекли внимание ученых к значимости изучения заимствованной лексики. Безукоризненная аргументация Томсена, строгое следование научной методике послужили образцом для многих позднейших работ по заимствованиям.

В скандинавских странах деятельность по описанию и исследованию саамского языка развернулась под руководством шведского лингвиста К. Б. Виклунда (Karl Bernhard Wiklund, 1868–1934). Сфера научных интересов Виклунда не ограничивалась, однако, саамским языком. Он занимался также языковыми связями финно-угорских и индоевропейских языков, праисторией финно-угров, германскими заимствованиями в фин-

ском языке и, таким образом, наряду с Томсеном может считаться основоположником финно-угорского языкознания в скандинавских странах.

Вслед за Виклундом значительный вклад в изучение саамского языка внесли норвежские исследователи К. Нильсен (Konrad Nielsen, 1875–1953) и Ю. К. Квигстад (Just Knud Qvigstad, 1853–1957).

Во второй половине XIX в. продолжаются исследования и в России. Они сосредоточены преимущественно в Петербурге, Эстонии, а также в Великом княжестве Финляндском, входившем тогда в состав России, однако с точки зрения истории науки небезынтересно то, что в финно-угроведческие исследования включились и профессора Казанского университета. Один из них – М. П. Веске (1843–1890), эстонец по происхождению, – занимался сравнительной грамматикой "финской" языковой семьи (1873) и историческим развитием прибалтийско-финских языков (1875), другой – Н. Андерсон (1845–1905) – исключительно плодотворно работал над историческим изучением индоевропейско-финно-угорских языковых связей. Его труды "Исследования по сравнению угро-финских и индоевропейских языков" ("Studien zur Vergleichung der ugro-finnischen und indogermanischen Sprachen". Dorpat, 1879) и "Изменения анлаутного дентального спиранта в хантыйском языке" ("Wandlungen der anlautenden dentalen Spirans im Ostjakischen". St.-Petersburg, 1893) охватывают огромный фактический языковой материал, и хотя сейчас, по прошествии целого столетия, их результаты устарели, инициатива и смелость ученого достойны подражания. Необходимо упомянуть имя еще одного русского исследователя – правда, он работал не в Казанском университете и даже был не профессиональным языковедом, а статистиком, но тем не менее он вошел в историю финно-угроведения. Это был С. К. Патканов (1856–1888), который наряду с трудами по демографическому анализу инородческого населения Сибири оставил сделанные им – фактически в порядке хобби – записи по языку южных ханты ("Die Irtyschostjaken und ihre Volkspoesie" ["Иртышские ханты и их фольклор"], I–II. St.-Petersburg, 1897–1900; "Laut- und Formenlehre des südostjakischen Dialekte" ["Фонетика и морфология южнохантыйских диалектов"]. Budapest, 1911[1]). Наконец, в изучение мордовского языка и мордовского народа внес свой вклад широко известный русский славист А. А. Шахматов (1864–1920) – см. "Мордовский этнографический сборник" (СПб., 1910).

С расцветом финно-угорского языкознания к концу XIX – началу XX в. как в Венгрии, так и в Финляндии выходит на

[1] Эту работу подготовил к печати Д. Р. Фукс.

сцену второе поколение лингвистов, которые, продолжая сбор материала, считали своей задачей одновременно и пересмотр результатов, полученных основоположниками сравнительного финно-угроведения, на базе дальнейшей разработки сравнительно-исторической фонетики. В этот период, длившийся приблизительно до первой мировой войны, сравнительно-историческая фонетика становится основой финно-угроведческих исследований. В это время осуществляются первые попытки реконструкции консонантизма праязыка и выяснения его рефлексов в отдельных уральских языках.

Самым интенсивным образом ведется в это время и сбор текстового и словарного материала по языкам. В Венгрии из учеников Буденца такая задача ложится главным образом на Б. Мункачи (Munkacsi Bernát, 1860–1937), который осуществляет сбор лингвистического и этнографического материала среди удмуртов (1885) и манси (1888–1889). Четыре тома начавшего выходить в скором времени "Собрания мансийского фольклора" (M u n k á c s i, Bernát. Vogul népköltési gyűjtemény. Budapest, 1892–1921) – неисчерпаемый источник сведений по языку и фольклору манси. До систематизации богатого собранного им словарного материала дело доходит только сейчас. Об эффективности исследований, проведенных Мункачи среди удмуртов, дают представление сравнительно небольшое собрание текстов (1887) и большой словарь удмуртского языка (1896). Более обширное собрание удмуртских текстов – материал которого записывался Мункачи от удмуртов, взятых в плен во время первой мировой войны, – вышло в свет через 15 лет после смерти ученого и было подготовлено к изданию Д. Фокош-Фуксом.

Одновременно с Мункачи экспедицию к уральским народам Сибири предпринял венгерский этнограф и антрополог К. Папаи (Pápai Károly, 1861–1893), проведший исследования среди ханты, манси и самодийцев. Из экспедиции он возвратился с ценной этнографической коллекцией, насчитывающей несколько сот предметов, однако интерес лингвистов привлек и собранный им языковой материал, хотя и небольшой по объему (южнохантыйский и селькупский словники). Его стенографические путевые дневники, содержащие подробные данные и тонкие наблюдения, удалось расшифровать лишь в конце 50-х гг. Став доступными для специалистов, эти дневники смогут теперь принести большую пользу в исследованиях, посвященных уральским народам Сибири. Папаи был первым, кто приступил к разработке проблем финно-угорской антропологии: ему принадлежат пионерские работы об угорском антропологическом типе.

С помощью Буденца изучением саамского языка смог заняться рано умерший венгерский лингвист И. Халас (Halász Ignác,

1855–1901). В 1884, 1886 и 1891 гг. он побывал в районах расселения саамов и издал затем саамские тексты, словарь, грамматическое описание языка. Мнение шведского языковеда Викрунда об исследованиях Халаса, высказывавшееся им открыто, было отрицательным. Ныне, однако, признано, что Халас, несмотря на недостатки первых его публикаций, был хорошим наблюдателем и что финно-угроведение многим обязано ему за работы, сделавшие доступным материал дотоле неизвестных шведско-саамских диалектов.

Й. Папаи (Pápay József, 1873–1931) не был непосредственным учеником Буденца, однако исследования восточных ханты, проведенные им в 1888–1889 гг. в составе азиатской экспедиции, организованной Е. Зичи (Zichy Jenő), явились вкладом в осуществление научной программы, стоявшей перед школой Буденца. Во время поездки к ханты ему удалось расшифровать непереведенные тексты Регули; наряду с этим он привез и ценные новые записи, способствовавшие прогрессу исследований венгерских языковедов.

Достойным учеником Буденца был М. Силаши (Szilasi Móric 1854–1905), который хотя и не проводил сам полевых исследований по финно-угорским языкам, но составил на основе имевшихся источников сводные словари мансийского и марийского языков (Szilasi M. Vogul szójegyzék. – NyK, 25, 1895; он же. Cseremisz szótár, Budapest, 1901), снабдив тем самым специалистов полезными вспомогательными источниками.

Сбор языкового материала не заслонил собой работу по его изучению. Например, Б. Мункачи принадлежит чрезвычайно обильное количество этимологий, а также идей и заметок, касающихся праистории и других вопросов. Его богатая фантазия в сочетании со знанием обширного языкового материала нередко приводила его к выдвижению опровергнутых впоследствии сопоставлений. Тем не менее значимость его исследовательской деятельности не блекнет даже на фоне непреходящих заслуг по сбору и публикации языкового материала.

Ранняя смерть И. Халаса лишила его возможности выдвинуться в число ведущих представителей финно-угорского языкознания. И все же его исследования по саамским диалектам, по вопросам морфологии и по родственным связям финно-угорских и самодийских языков в известной мере выделяют его среди современников. Значение его тщательно выполненных исследований чрезвычайно велико, хотя долгое время на них не обращалось особого внимания. Халас был трезвее многих своих современников в оценке языковых явлений, поэтому некоторые его взгляды, отличаясь от общепринятых лингвистических воззрений его эпохи, ближе к точке зрения современных языковедов. За скромным названием его работы о финно-

угорско-самодийском языковом родстве (NyK, 23–24) скрывается первый опыт разработки уральской сравнительно-исторической фонетики, дополненный лишь спустя несколько десятилетий более обстоятельной работой Паасонена. Вероятно, не будет преувеличением назвать это исследование Халаса эпохальным. Это по сути дела первый труд, ставящий целью методически строгое, многоаспектное доказательство родства финно-угорских и самодийских языков. Автор подкрепляет свои выводы как грамматическими сопоставлениями, так и 250 этимологиями, около половины которых признается правильными и сейчас. Среди почти 500 финно-угорско-самодийских лексических сопоставлений, вошедших в финно-угорский этимологический словарь Коллиндера (1955), более ста были предложены Халасом.

Кафедра Буденца перешла от Буденца к наиболее выдающемуся из его учеников – Й. Синнеи (Szinnyei József, 1857–1943), который за свою долгую жизнь обогатил науку большим количеством трудов, охватывающих почти все сферы финно-угорского языкознания. Синнеи, как и Буденц, был не собирателем, а систематизатором и исследователем материала. Ряд его трудов, посвященных разработке сравнительно-исторической фонетики и морфологии, до сих пор являются образцами для исследователей. В изучении частных вопросов Синнеи достиг многих новых результатов; одновременно он уделял должное внимание и их систематизации. Итог разысканий по истории венгерского языка подведен им в монографии "Фонетика и морфология 'Надгробной речи'" (S z i n n y e i József. A Halotti beszéd hang- és alaktana. Budapest, 1926), результаты же исследований по финно-угорскому языкознанию лаконично и компактно изложены в трудах Синнеи "Сравнительное изучение венгерского языка" ("Magyar nyelvhasonlítás") и "Финно-угорское языкознание" ("Finnisch-ugrische Sprachwissenschaft") – первых руководствах по финно-угроведению. Первая из этих книг выдержала с 1896 по 1927 г. семь изданий, немецкий же вариант дважды (в 1910 и в 1922 гг.) публиковался в массовой серии "Sammlung Göschen". Вышло шесть изданий финской хрестоматии Синнеи; в число наиболее часто используемых его работ вошел и финско-венгерский словарь. Впрочем, сейчас эти работы уже устарели и по существу представляют интерес только с точки зрения истории науки. К сожалению, этот исключительно знающий, высокоодаренный и разносторонний ученый не смог достичь сколь-нибудь значительных успехов в воспитании научной смены, хотя и занимал на протяжении многих десятилетий пост профессора в Пештском университете. Характерно, что представители следующего поколения венгерских финно-угроведов, научная деятельность которых началась в 10-х гг. нашего века

(например, Э. Беке, Д. Фокош-Фукс, И. Шебештьен) считали себя учениками скорее Ж. Шимони и Б. Мункачи, нежели Й. Синнеи.

Одновременно с этим в Финляндии основанное еще в конце XIX в. Финно-угорское общество продолжает целенаправленную работу по осуществлению задач, указанных в его уставе. Обладая значительными денежными средствами, Общество командирует многих исследователей в районы расселения уральских народов, ведет широкую и разнообразную издательскую деятельность. Свидетельством успешного фукнционировая Общества становится накопление в Финляндии научного капитала, обеспечившего этой стране и в дальнейшем ведущую роль в финно-угроведческих исследованиях.

К поколению "великих" лингвистов – финно-угроведов принадлежал Х. Паасонен (Heikki Paasonen, 1865–1919), провед ший лингвистические исследования в 1889–1890 гг. среди мордвы, а в 1898–1902 гг. среди мордвы, марийцев и ханты. Его обширное, занимающее более 2000 страниц собрание мордовских тектов вышло в свет лишь после смерти ученого; на долю лингвистов следующего поколения пришлась и задача издания ценных марийского и хантыйского словарей Паасонена. Паасонен – автор часто цитируемых работ по сравнительно-исторической фонетике и других исследований. Его работы о связях между финно-угорской и индоевропейской языковыми семьями (1908) о прародине финно-угров (1923), о тюркских заимствованиях в мордовском и в хантыйском языках (1897, 1902), монография об истории финно-угорских сибилянтов (1903), работа по фонетике мордовского языка (1893) обогатили языкознание многими новыми результатами. Главный труд Паасонена "К исторической фонетике финно-угорско-самодийских языков" (H. P a a s o n e n. Beiträge zur finnischugrisch-samojedischen Lautgeschichte, Budapest, 1917) долгое время оставался основным сводом данных по уральской сравнительно-исторической фонетике. После его смерти был издан превосходный хантыйский словарь (по кондинскому и юганскому диалектам; подготовлен к печати К. Доннером, 1926), а хантыйские грамматические записи Паасонена опубликовала в 1965 г. Э. Вертеш, которая ныне занята подготовкой к изданию записанного им хантыйского эпоса, уникального и в языковом, и в фольклорном плане.

Его преемник по финно-угорской кафедре Ю. Вихман (Yrjö Wichmann, 1868–1932) вел полевые исследования вначале среди удмуртов (1891–1892, 1894), а позднее среди коми (1901–1902). Затем, в 1905–1908 гг., он изучал марийский язык и диалект этнической группы венгров-чанго в Молдове. Удмуртские, коми и марийские тексты были изданы еще при его жизни,

а большие словари коми языка и диалекта чанго опубликованы уже посмертно. Важный вклад в исследование уральских языков внесли монографии Вихмана о вокализме первого слога в пермских языках (1897), о чувашских заимствованиях пермских языков (1903), а также статьи о различных проблемах фонетики и этимологии.

В те же годы (1898–1902), когда Паасонен проводил свою вторую экспедицию, у ханты находился К. Ф. Карьялайнен (Kustaa Fredrik Karjalainen, 1871–1919), в словаре которого (1948) с большой полнотой и подробностями охвачена лексика хантыйских диалектов. Диссертация Карьялайнена об истории хантыйских гласных первого слога (1904) еще не дает полного представления о круге научных интересов автора: он занимался изучением хантыйской системы имен родства (1913) и неоднократно обращался к тематике религиозных представлений народов Сибири. Э. Вертеш подготовила к публикации записи Карьялайнена по грамматике хантыйских диалектов (1964) и первый том оставленного им собрания южнохантыйских текстов (1975).

А. Каннисто (Artturi Kannisto, 1874–1943), как и Карьялайнен, выделяется среди лингвистов своей эпохи в первую очередь как собиратель языкового материала. За пять лет пребывания в Сибири (1901–1906) им был собран обширный фольклорный и словарный материал по мансийскому языку. Однако изданием такового пришлось заняться уже его ученику М. Лиимоле (Matti Liimola, 1903–1974), приобретшему наряду с этим известность в качестве автора многих интересных статей и исследований по сравнительно-исторической фонетике, этимологии, морфологии. По возвращении на родину Каннисто написал диссертацию по истории гласных первого слога в мансийском языке (1919), в которой привел исключительно ценные данные из собранного им материала. Однако особенно важные результаты были получены Каннисто в исследованиях о мансийской гармонии гласных (1921), о татарских заимствованиях в мансийском языке (1925) и о древних местах расселения манси (1923).

Прогресс в исследовании самодийских языков связан с именами двух других финских ученых. К. Доннер (Kai Donner, 1888–1935) в 1911–1913 и 1914 гг. изучал селькупский и камасинский языки. Вышедший в 1944 г. камасинский словарь Доннера вместе с включенными в него текстами стал важнейшим источником для исследования этого ныне практически исчезнувшего языка. Селькупские тексты и словарь, к сожалению, до сих пор остаются неопубликованными. Кроме этого, Доннер написал ряд интересных статей и книг по языкознанию и этнографии.

Крупнейший знаток ненецкого языка Т. Лехтисало (Toivo

Lehtisalo, 1887–1962) посетил в 1911–1912 и в 1914 гг. населенные ненцами районы Севера. Основным результатом его экспедиций явился большой диалектологический словарь ненецкого языка (1956), а кроме того, собрания произведений ненецкого фольклора (1947, 1960). Его работы, в которых рассмотрены проблемы ненецкой (1927) и уральской (1933) исторической фонетики, относятся к числу первых опытов разработки истории финно-угорского вокализма. В них, как и в монографии о ненецкой мифологии (1924), приведен обширный, интересный и важный материал по языку и этнографии самодийцев. Важную миссию выполнил Лехтисало изданием (1940, 1960) рукописного наследия Кастрена (хотя и не всего).

Ведущей фигурой в этой когорте выдающихся финских лингвистов и собирателей языкового материала является Э. Н. Сетяля (Emil Nestor Setälä, 1864–1935). Он вступил на поприще лингвистики в возрасте 16 лет, написав работу о синтаксисе финского языка. Хотя маршруты его собственных научных поездок не выходили за пределы районов расселения прибалтийско-финских народов, исследовательская деятельность Сетяля распространялась на все языки уральской семьи. Он был диалектологом и компаративистом, работающим в области сравнительно-исторической фонетики, однако и в вопросах морфологии и синтаксиса вряд ли кто-либо мог превзойти его по глубине познаний. История слов и этимология столь же интересовали Сетяля, как и теоретические проблемы языкознания, вопросы культуры речи или научно-организационная деятельность. Он был исключительно разносторонним лингвистом (и даже не только лингвистом, но и фольклористом). Вряд ли существует такая область финно-угорского языкознания, в которой он не сказал бы своего слова. Упомянутые ниже работы отражают лишь несколько важнейших звеньев его обширных исследований. "Прибалтийско-финская историческая фонетика" (1890) на протяжении многих десятилетий оставалась учебником и настольной книгой финских лингвистов. Теория чередования ступеней согласных в уральских языках (1896, 1914) явилась важным стимулом развития финно-угорских историко-фонетических исследований. Вслед за Халасом Сетяля вновь – на более обширном материале – рассмотрел проблему родства самодийских и финно-угорских языков. Ему принадлежат стимулирующие работы по праистории финно-угров и по германским заимствованиям прибалтийско-финских языков. Сетяля – создатель единой системы фонетической транскрипции для финно-угорских языков, которая и сейчас используется при транскрибировании уральского языкового материала. В 1901 г. он вместе с одним из создателей финской школы изучения фольклора К. Кроном (Kaarle Krohn) основал журнал "Fin-

nisch-ugrische Forschungen" ("Финно-угорские исследования") – одно из важнейших международных периодических изданий по финно-угроведению. Он был также основателем финского Словарного комитета (1915) и финно-угроведческого научно-исследовательского института "Suomen Suku" (1930). В 1892 г. Сетяля стал профессором финского языка. Его достоинства как педагога характеризует тот факт, что многие выдающиеся лингвисты считают его своим учителем.

В своих теоретических обоснованиях финно-угорское языкознание конца XIX – первой трети XX в. исходило из принципов младограмматизма (это особенно заметно в деятельности школ Сетяля и Синнеи). Один из основополагающих тезисов этого направления в языкознании гласил, что фонетические изменения четко детерминированы, что фонетические законы не знают исключений. Финно-угроведы этого времени также руководствовались в первую очередь этим принципом, благодаря чему сравнительно-историческая фонетика и смогла тогда почти достичь уровня точной науки.

В 30-е и 40-е годы нашего столетия финно-угорское языкознание не претерпело существенных изменений сравнительно с предшествующим периодом: по сути дела, эти годы явились органическим продолжением последнего, хотя некоторые особенности позволяют все же видеть в них подготовку перехода к современному периоду, поскольку они характеризовались, с одной стороны, обработкой и изучением собранных ранее материалов, с другой же – преимущественно в Советском Союзе – формированием норм новых литературных финно-угорских языков и углубленным изучением, картографированием и классификацией диалектов. Интенсивно идет – главным образом в Финляндии – публикация материалов: один за другим выходят в свет тексты и словари, собранные во время полевых исследований в начале века. Значительные заслуги в подготовке к печати наследия уже умерших ученых принадлежат Ю. Х. Тойвонену, П. Равиле, Т. Э. Уотиле и др.

Академик Ю. Х. Тойвонен (Yrjö H. Toivonen, 1890–1956), издавший хантыйский словарь Карьялайнена, после смерти Сетяля стал главой финского языкознания. Он работал в области сравнительно-исторической фонетики и этимологии. Ему принадлежит почти 800 этимологических толкований; неослабевающий интерес к истории слов побудил Тойвонена начать сбор материала для финского этимологического словаря и издать первый том такового (1955). Мордовские тексты Паасонена увидели свет в обработке П. Равилы, а словарь коми языка Вихмана был выпущен под редакцией Т. Э. Уотилы (Tovio Emil Uotila, 1897–1947). Уотила входит в число тех языковедов, кто продолжил в этот переходный период работу по сбору материа-

лов. В качестве информантов он использовал марийцев, удмуртов и коми, взятых в плен во время мировой войны. Впрочем, его обширный текстовой материал не издан, а Уотила известен в большей мере как автор монографии о развитии пермского консонантизма – образцово выполненного историко-фонетического исследования. В остальном сбор языкового материала в рассматриваемый период, по существу, ограничен исключительно прибалтийско-финскими и саамским языками. Значительный по объему текстовой и словарный материал из прибалтийско-финских языков и диалектов был записан Л. Кеттуненом (Lauri Kettunen, 1885–1963), Э. А. Тункело (E. A. Tunkelo, 1870–1953), Х. Оянсуу (Heikki Ojansuu, 1873–1923), М. Айрилой (Martti Airila, 1878–1953), Э. В. Ахтиа (E. V. Ahtia, 1867–1953), Л. Пости (Lauri Posti, род. 1908). В исследовании саамских диалектов значительное место принадлежит финским языковедам Т. Итконену (Toivo Itkonen, 1891–1967), Э. Лагеркранцу (Eliel Lagercrantz, род. 1894), П. Равиле (Paavo Ravila, 1902–1974) и Э. Итконену (Erkki Itkonen, род. 1913), шведу Б. Коллиндеру, уже упомянутым норвежским исследователям Нильсену и Квигстаду, а также немецкому ученому В. Шлахтеру.

Венгерское финно-угроведение располагало в этот период довольно ограниченными возможностями и существовало в основном за счет своего былого авторитета. Научные издания в хортистской Венгрии почти не субсидировались, и вся научная продукция двух с половиной десятилетий сводилась, по сути дела, лишь к одной книге М. Жираи "Наше финно-угорское родство" (Zsirai, Miklós. Finnugor rokonságunk, Budapest, 1937) и изданных им же хантыйских текстов Регули в расшифровке Папаи (1944), а также из нескольких докторских диссертаций. Финно-угроведческие работы венгерских лингвистов все в большей мере отступали на страницы нерегулярно издававшихся журналов. Это не означает, что не было ничего другого, заслуживавшего публикации. В течение десятилетий лежали в рукописях тексты и словарь коми языка, собранные Д. Фокош-Фуксом (Fokos-Fuchs Dávid, 1884–1977) непосредственно перед первой мировой войной и во время войны, марийские текстовые и словарные материалы Э. Беке (Beke Ödön, 1883–1964), также записанные в лагерях для военнопленных времен первой мировой войны. Хотя небольшая их часть – несколько тетрадей марийских текстов Беке – смогла благодаря содействию зарубежных обществ выйти в свет в Осло, Хельсинки, Вене и Тарту, о полной публикации материала пока не могло быть и речи.

В этот неблагоприятный для развития языкознания период венгерские лингвисты, однако, неутомимо и плодотворно вели свою исследовательскую работу. В Венгрии была издана лишь одна крупная работа Беке – широко известная "Грамматика

марийского языка" (B e k e, Ödön. Cseremisz nyelvtan, Budapest, 1911), благодаря которой он получил признание и за пределами страны; после этого и вплоть до освобождения Венгрии от фашизма он имел возможность публиковать лишь статьи большего или меньшего объема в венгерских журналах, посвященные вопросам исторической фонетики, морфологии и синтаксиса марийского языка и финно-угорских языков в целом. Д. Фокош-Фукс в сложившихся условиях занимался морфологическими и синтаксическими явлениями пермских и обско-угорских языков, а также параллелями в синтаксисе уральских и алтайских языков.

Наряду с этими двумя лингвистами уже в 1916 г. обратила на себя внимание исследованием, посвященным атрибутивным конструкциям финского языка, И. Н.-Шебештьен (N. Sebestyén Irén, 1890–1978). Два десятилетия спустя она достигла заслуживающих внимания результатов в одной из областей финно-угорских праисторических исследований – в лингвистической палеонтологии. Впоследствии эти изыскания приводят ее к изучению самодийских языков. С большим успехом работала И. Н.-Шебештьен и в области художественного перевода: ее имя известно широкой общественности благодаря мастерским переводам ряда романов и рассказов финских писателей.

Наиболее известным представителем венгерского финно-угроведения в 30 – 40-х гг. был М. Жираи (Zsirai Miklós, 1892–1955), который со времени ухода Синнеи в отставку (1929) и до самой своей смерти возглавлял кафедру финно-угорского языкознания в Будапештском университете. Силой личного обаяния, яркостью и увлекательностью своих университетских лекций он привлек к финно-угроведческим исследованиям много молодежи. Довольно широкую известность принесла Жираи его книга "Наше финно-угорское родство" – обобщающий труд, восполнивший пробел в работах такого рода и используемый до настоящего времени. Жираи внес значительный вклад в этимологию, в сравнительную морфологию и в историографию науки; крупнейшим же предпринятым им делом явилась подготовка к печати рукописного собрания хантыйских фольклорных записей Регули (1944, 1951).

Вопросами финно-угроведения занимались в это время и многие из тех лингвистов, основной сферой деятельности которых было изучение собственно венгерского языка. Это в первую очередь относится к одной из наиболее самобытных, разносторонних и одаренных личностей в венгерском языкознании – З. Гомбоцу (Gombocz Zoltán, 1877–1935), который прекрасно ориентировался в области сравнительного финно-угроведения. Вопросы финно-угорского (как венгерского, так и мордовско-

го и обско-угорского) синтаксиса интенсивно и новаторски разрабатывал И. А. Клемм (Klemm Imre Antal, 1884–1963), а изучению особенностей угорского и финно-угорского происхождения в строе венгерского языка посвятил много внимания Г. Месей (Mészöly Gedeon, 1880–1960): его работы по древневенгерскому языку, по этимологии, о роли коневодства и охоты в угорскую эпоху, о верованиях древних угров в обязательном порядке строятся с опорой на данные сравнительного финно-угорского языкознания. Ряд исследований по исторической фонетике и праистории финно-угорских языков опубликовал в последние десятилетия своей жизни Э. Моор (Móor Elemér, 1891–1974).

Е. Юхас (Juhász Jenő, 1893–1960) был специалистом по мордовскому языку. Д. Лако (Lakó György, род. 1908) начал свою деятельность как исследователь пермских и саамских языков, но впоследствии охватил ею все финно-угорские языки. Он – один из наиболее компетентных специалистов по сравнительно-исторической фонетике и этимологии; в последнее время он занимается вопросами истории науки. Одаренным и многообещающим языковедом был К. Хорват (Horváth Károly, 1913–1952), чья ранняя смерть прервала осуществление значительных планов, к которым он приступил после основательной научной подготовки. На протяжении многих десятилетий в Венгрии не было специалистов по самодийскому языкознанию, но конец тридцатых годов принес в этом отношении отрадное изменение с началом деятельности Й. Дьёрке (Györke József, 1906–1946), центральное место в научных интересах которого заняли, наряду с общей уралистикой, самодийские языки. Он – автор обобщающей работы "Словообразование уральских языков" ("Die Wortbildungslehre des Uralischen", Tartu, 1935). Дьерке был первым из венгерских уралистов, кто, следя за ходом общего развития лингвистической науки, пытался внедрить в своей области новый подход к изучаемым явлениям. Его безвременная кончина была тяжелой утратой для венгерского языкознания: в его лице оно потеряло человека, способного разработать программу действий и создать собственную научную школу.

В годы, предшествовавшие второй мировой войне, а особенно после нее в уральском языкознании повсеместно возникают новые направления. В соответствии с общим прогрессом лингвистической науки начинают трансформироваться исходные принципы и методы исследований. Наряду с традиционным позитивизмом младограмматической школы ныне в уралистике ощущается влияние тех новых направлений в лингвистике, которые видят свою задачу в анализе структурных характеристик языка.

В чем можно усмотреть наиболее существенные отличия

современной уралистики от классической финно-угристики? Не стремясь к полноте анализа, выделим некоторые из них.

Генеральной задачей финно-угорского языкознания было сравнительное изучение языков, а его методом — сравнительно-исторический метод. Это никоим образом не следует понимать в том смысле, что выдающиеся финно-угроведы прошлого уделяли мало внимания описанию уральских языков. Напротив, полевые исследования (сбор словарных, текстовых и других материалов) никогда не велись так интенсивно, как в конце XIX и начале XX в. Но только первоочередной целью сбора и исследования финно-угорского языкового материала было не адекватное описание функционирования исследовавшихся языковых систем, а обеспечение исторических и сравнительных лингвистических штудий фактическими данными. Поэтому, в частности, идеалом для исследователя служила не фиксация повседневной разговорной речи, а изучение по возможности более архаичных языковых форм. Тем самым полевые исследователи были нацелены на поиск самых пожилых информантов, наиболее изолированных от внешнего мира диалектов, речевых формул и текстов наиболее традиционного характера. С другой стороны, из нагромождения записей нередко было очень трудно выделить систему языка, а сложность транскрипции препятствовала разграничению явлений идиолектного и общего распространения. Все это отнюдь не говорит о порочности проводившихся в прошлом исследований — налицо тот факт, что этот период обеспечил языкознание (а попутно и фольклористику) бесценными материалами.

Одновременно, однако, образовалась известная диспропорция в использовании накопленного материала. Во главу угла вскоре встали этимология и историческая фонетика — излюбленные области сравнительного языкознания. Многие поколения финно-угроведов, работая в этих областях скрупулезно отточенными филологическими методами, подняли их на высокий научный уровень. Благодаря этой кропотливой работе были заложены основы сравнительного финно-угроведения в том виде, который отвечал традициям младограмматизма. Хотя в это время велись — главным образом в плане истории отдельных элементов — также морфологические и в сравнительно небольшом объеме синтаксические изыскания, они все же носили по большей части вспомогательный характер, отступая на второй план в сравнении с двумя доминирующими областями сравнительно-исторического языкознания.

За несколько десятилетий углубленный микрофилологический анализ принес значительные результаты: было выяснено происхождение уральских языков, реконструированы фонетическая система, лексика и грамматический инвентарь праязыка.

В ходе этой работы было создано и немало монографий, содержащих теоретические выводы, которые обладали общей применимостью (можно упомянуть хотя бы исследования А. Клемма и П. Равилы о частях речи и синтаксисе, монографию Й. Дьерке о словообразовательных суффиксах, деятельность Д. Фокош-Фукса, внесшую значительный вклад в методологию сравнительного языкознания). От выдающихся представителей финно-угристики были усвоены определенные навыки исследований, сформировались шаблоны, которые можно было применять и впоследствии, оперируя с другим материалом. В некоторых областях рост рутинного подхода к исследованиям понемногу стал приобретать угрожающие размеры: возникла угроза появления труднопреодолимой пропасти между финно-угристикой и общим языкознанием, которое во всем мире развивалось и преображалось исключительно быстро.

Определенный выход из этого положения диктуется тем обстоятельством, что за ростом количества изучаемых языков последовало и расширение горизонта, увеличение разнообразия в тематике исследований, что одновременно потребовало разработки новых методов, а это нередко оказывалось возможным на базе лингвистических концепций, имеющих под собой нетрадиционную принципиальную основу. Подобный процесс характерен преимущественно для двух-трех последних десятилетий, и можно ожидать, что в будущем он примет еще больший размах. Внутри традиционной компаративистики вследствие этого больший вес приобретают морфологические и синтаксические исследования, с другой же стороны, получают признание и направления изысканий, не связанные со сравнением языков. Тем самым равноправными составными частями современной уралистики выступают как подход в строго синхронном аспекте, так и подход, основанный на динамичном сочетании исторического и описательного исследования.

Вести отсчет модернизации уралистики можно от деятельности немецкого языковеда В. Штейница (Wolfgang Steinitz, 1905–1967), развернувшейся в 40-х годах нашего столетия. Штейниц стремился реализовать в исследовании финно-угорских языков принципы, характерные для наиболее известного направления европейского структурализма – пражской фонологической школы. Вначале это проявилось только в том, что в своих записях по хантыйскому языку он заменил исключительно сложную финно-угроведческую транскрипционную нотацию значительно более простыми фонетическими символами (1933). Позднее он разработал систему фонематической транскрипции для хантыйских диалектов, а затем создал основы фонематической транскрипции для мансийского языка и даже реализовал в своих историко-фонетических исследованиях фонологический

подход и принцип системности в целом. Его книга об истории финно-угорского вокализма (1944) вызвала большую дискуссию, но дискуссия эта была полезной и способствовала прогрессу в науке. Помимо этого труда, к числу наиболее ценимых работ Штейница относятся исследования по хантыйской и мансийской исторической фонетике (1950, 1955) и хантыйская хрестоматия (1942, 1950).

В Финляндии появление нового подхода в исследованиях по сравнительно-исторической фонетике связано с работами Э. Итконена (Erkki Itkonen, род. 1913) о финно-угорской системе вокализма. В то же время научные интересы этого ученого – автора специальных исследований по саамскому, пермским и волжским финно-угорским языкам – простираются на всю уральскую семью в целом: исключительной важностью обладают в равной мере его морфологические и этимологические разыскания. Он – один из составителей этимологического словаря финского языка. Заслуживает упоминания и монография Итконена по общему языкознанию (E. Itkonen. *Kieli ja sen tutkimus* ["Язык и его исследование"], Helsinki, 1966), дающая обзор новых направлений в лингвистике; особую ценность придает ей использование в иллюстративных целях примеров из уральских языков.

Поиск новых путей характерен и для деятельности менее известного лингвиста Э. Леви (Ernst Lewy, 1881–1966). Значение работ этого выдающегося языковеда начинает оцениваться только сейчас. Подобно многим другим, в годы гитлеризма он был вынужден покинуть Берлин, где занимал должность профессора, и провел оставшуюся часть жизни в Дублине. Привлекая в своих исследованиях все уральские языки, он стремился к такому синтезу данных лингвистической географии и типологии языков, который, пользуясь современной терминологией, можно было бы назвать ареально-типологическим методом. Леви искал в языках типичные для них формы, пытался установить их характеристики. Блестящим примером его метода служит его гениальный труд "Строй европейских языков" (E. Lewy. Der Bau der europäischen Sprachen. Dublin, 1942). К сожалению, деятельность Леви никем не была поддержана и продолжена, и лишь сейчас уралисты начинают заново открывать для себя его великолепные исследования (см. сборник его лингвистических эссе: E. Lewy. Kleine Schriften. Berlin, 1961).

В Венгрии более современные методы исследования начал вводить в обиход прежде всего Й. Дьёрке. Отход от методологического однообразия, присущего венгерскому языкознанию того времени, особенно заметен в морфологических исследованиях, выполненных им в последние годы жизни. Его почин, в котором стимулирующую роль сыграл выдающийся венгер-

ский лингвист, специалист по общему языкознанию Д. Лазициуш (Laziczius Gyula), не остался незамеченным.

Вначале упомянутые тенденции проявляются лишь спорадически и только начиная с 60-х гг. становятся довольно заметными. Ныне налицо уже обнадеживающие изменения: наряду с традиционными методами и темами в уралистике приобретают гражданство и новые направления лингвистических исследований, а в соответствии с этим в ней начинают применяться формальный структурный анализ языка, методы функциональной лингвистики, трансформационного и порождающего описания, типологических и ареальных исследований, иногда также статистической и вычислительной лингвистики. Хотя некоторые крупные лингвисты считают это обращение к современным темам и методам не более чем преходящей модой, тем не менее все признаки указывают на то, что новые веяния прочно закрепятся в уральском языкознании. В лингвистике, как и в других науках, на долгом пути ее развития одни направления с исторической необходимостью сменяются другими, и если сейчас новый этап в развитии лингвистики наложил свой отпечаток и на уральское языкознание, то это означает лишь то, что последнее не может остаться вне русла, по которому течет река истории науки; тем самым тенденции развития уралистики никоим образом не могут быть направлены на возврат к темам и методам XIX века. Вполне возможно, конечно, что не все из новых методов оправдают себя и найдут последователей, но даже в этом случае в них нужно видеть не бесследно исчезающую прихоть моды, а необходимые этапы в поисках будущих путей.

* * *

Таким образом, в годы непосредственно после второй мировой войны для исследований по уралистике и в Венгрии, и в других странах все еще была в основном присуща приверженность традициям. По этой причине в книжной продукции венгерских уралистов еще долгое время преобладают издания традиционного характера. Разумеется, причиной этому было и то, что в период застоя, предшествовавший освобождению страны от фашизма, скопилось немало рукописей, перед которыми теперь открылась возможность публикации. Пришла очередь для издания многих собранных ранее словарей и текстов, работа Жираи по публикации наследия Регули в расшифровке Папаи (1944, 1951) была продолжена Фокошем-Фуксом, завершившим издание текстов Регули (1963, 1965). Началось, кроме того, и издание не публиковавшихся хантыйских текстов самого Папаи (Эрдейи, 1972).

Фокош-Фукс публикует ценные тексты коми (1951) и под-

готавливает к печати удмуртские записи Мункачи (1952), а также свой диалектологический словарь коми языка (1959).

Другой представитель поколения крупных полевых исследователей Э. Беке издает очень важные марийские тексты (1951, 1957, 1960, 1961) и подготавливает рукопись большого диалектного словаря марийского языка, первый том которого скоро – после задержки, связанной со смертью ученого, – должен выйти в свет.

Появилась также возможность опубликовать мордовский словарь Е. Юхаса (Эрдейи, 1961). По материалам Г. Н. Прокофьева был подготовлен полезный словарь селькупского языка (Эрдейи, 1969), а по материалам Ф. А. Волегова – коми-пермяцкий словарь (Редеи, 1968); были изданы также прекрасные финско-венгерский словарь И. Паппа (1962) и венгерско-финский словарь И. Ниркоша (1968). Многие венгерские языковеды послевоенного поколения также занимались полевым сбором материала по уральским языкам, однако пока увидели свет лишь небольшие фрагменты их записей (хантыйские материалы К. Редеи и Л. Хонти, коми Э. Васойи, восточнохантыйские материалы Я. Гуи, самодийские П. Хайду и Т. Миколы)[1]. В этой связи следует особо отметить достойный подражания пример из современной практики сбора и издания полевых материалов: музыковед Л. Викар (Vikár László, род. 1929) и лингвист Г. Берецки (Bereczki Gábor, род. 1928) в течение долгого времени вели систематическое изучение песенного фольклора финно-угорских и тюркских народов Поволжья (марийцев, удмуртов, мордвы, чувашей, башкир, татар), и первым результатом их полевой работы явился объемистый том "Марийских народных песен" ("Cheremis Folksongs", Budapest, 1971), содержащий 320 марийских мелодий и текстов в сопровождении соответствующих музыковедческих и лингвистических комментариев (в 1979 г. увидело свет собрание чувашских народных песен).

При попытке охватить взглядом прочие, то есть не связанные с изданием языкового материала финно-угроведческие публикации за годы существования народной Венгрии, мы можем наблюдать пеструю и разнообразную картину. Но прежде всего бросается в глаза, что обзорные исследования, а также работы, в которых синтезируются результаты частных разысканий, постепенно получают перевес над публикациями языковых материалов и, кроме того, то, что исследования такого рода охватывают всю совокупность языков, родственных венгер-

[1] Исключение составляют две монографические публикации мансийских (Б. Кальман, 1978) и хантыйских (К. Редеи, 1979) записей: в обеих работах отражены диалекты, связного текстового материала по которым до сих пор в распоряжении финно-угроведов не было..

скому, а тематически являются более разнообразными, чем в прошлом, когда в центре внимания находились сравнительно-историческая фонетика и этимология.

Наполняя эту панораму конкретными деталями, следует прежде всего сказать о работах недавно скончавшегося Д. Фокоша-Фукса, возглавлявшего венгерскую уралистику, – работах, которые всегда были наполнены молодой энергией и принципиальным содержанием. В своих трудах по заимствованиям он исследовал контактные связи обско-угорских, коми и русского языков; в то же время он продолжил начатые ранее синтаксические исследования, посвященные типологическим параллелям и проблеме родства между уральскими и алтайскими языками. Методологические принципы и результаты его исследований суммированны в работе "Роль синтаксиса в вопросе о языковом родстве" (D. F u c h s. Rolle der Syntax in der Frage nach Sprachverwandtschaft, Wiesbaden, 1962). Вызвали интерес и соображения, высказанные им по поводу генезиса словоизменения (1956).

Н.-Шебештьен в последние два десятилетия перешла от исследований в области праистории преимущественно к самодийскому языкознанию (ей принадлежат заслуживающие внимания работы об атрибутивных и притяжательных конструкциях, об определительном склонении, о глагольных основах и о спряжении глагола).

Д. Лако – главный редактор коллективного труда, потребовавшего больших усилий, – законченного недавно этимологического словаря "Финно-угорские элементы лексики венгерского языка" ("A magyar szókészlet finnugor elemei", I – 1967, II – 1971, III – 1977); в отдельной небольшой книге он суммировал свои взгляды на финно-угорскую сравнительно-историческую фонетику (1965). В последнее же время он занимается историей науки и другими вопросами.

Область деятельности Б. Кальмана (Kálmán Béla, род. 1913) – обско-угорские языки, в первую очередь мансийский (наряду с венгерской диалектологией и ономастикой). Он автор удачно составленной мансийской хрестоматии (1963, изд. 2-е – 1976, в английском переводе – 1965), монографии о русских заимствованиях в мансийском языке (1961). Им подготовлены вступительные замечания, фактографические и лингвистические комментарии к третьему и четвертому томам "Собрания мансийского фольклора" Б. Мункачи (1952, 1963).

М. С.-Кишпал (Sz. Kispál Magdolna, род. 1910) выполнила исследование по конструкциям с нефинитными формами глаголов в мансийском языке (1966), Э. К.-Шал (K Sal Éva, род. 1917) известна своими работами по обско-угорскому вокализму. Э. Вертеш (Vértes Edit, род. 1919) описала систему местоиме-

ний хантыйского языка (1967), издала хантыйские грамматические материалы Карьялайнена и Паасонена (1964, 1965), а в последнее время готовит к печати хантыйские тексты этих двух финских исследователей. Заслуги в изучении словообразования и словосложения обско-угорских языков принадлежат А. Ч.-Фалуди (Cs. Faludi Ágota, 1925–1963).

Я. Гуя (Gulya János, род. 1933) занимается преимущественно историей языковых явлений угорской и правенгерской эпох, однако ему принадлежит и восточнохантыйская хрестоматия (1966); он ведет интенсивную разработку с новой точки зрения синтаксических тем, которым до сих пор не уделялось внимания; интересы его распространяются и на историю языкознания. Среди представителей наиболее молодого поколения венгерских языковедов Э. Коренчи (Korenchy Éva) обратила на себя внимание монографией об иранских заимствованиях в обско-угорских языках, а Л. Хонти (Honti László) – статьями по исторической фонетике и морфологии обско-угорских языков. В области обско-угорских языков работают также М. Чепреги (Csepregi Márta), Л. Керестеш (Keresztes László) и М. Бакро-Надь (Bakró-Nagy Marianne), в последнее время специализирующаяся на финно-угорских семантических исследованиях.

Хантыйские исследования не остались единственной сферой деятельности К. Редеи (Rédei Károly, род. 1932), автора северно-хантыйской хрестоматии и составителя сборника хантыйских текстов; помимо этого, он интенсивно работает в области пермских и других финно-угорских языков. Редеи подготовил монографии по заимствованиям (например, о коми заимствованиях мансийского языка – 1970), опубликовал коми хрестоматию (1978) и тексты (1979), разработал много новых этимологий, занимался вопросами финно-угорской сравнительно-исторической фонетики и морфологии и был редактором этимологического словаря "Финно-угорские элементы венгерской лексики". Редеи был также одним из авторов и одним из ответственных редакторов капитального труда "Основы финно-угорского языкознания" (т. 1–3, М., 1974–1976), совместно подготовленного советскими и венгерскими языковедами. Ныне Редеи занимает пост профессора в Венском университете, но одновременно продолжает руководить – в качестве главного редактора – работой над "Уральским этимологическим словарем", которая ведется Институтом языкознания Венгерской Академии наук.

Кроме К. Редеи, изучением пермских языков занимались М. А.-Кёвеши (A. Kövesi Magda), автор монографии о словообразовательных суффиксах (1965), и Э. Васойи (Vászolyi Erik), исследовавший вопросы морфологии и этнической истории. Из представителей самого молодого поколения лингвистов эта тематика близка Ф. Мольнару (Molnár Ferenc, род. 1942), напи-

савшему диссертацию об ауслаутном вокализме пермских языков, а также Э. Коренчи, достигшей новых результатов с применением современных методов исследования. Изучением лексики удмуртского языка в культурно-историческом аспекте занимаются Э. Сий (Szíj Enikő) и Ш. Чуч (Csúcs Sándor).

Своими основательными познаниями в марийском языке выделяется Г. Берецки (Bereczki Gábor, род. 1928): он располагает огромным полевым материалом по этому языку и работает над марийским этимологическим словарем. Интересны и важны его работы о связях марийского и пермских языков, а также о вопросах финно-угорского и марийского вокализма. Ему принадлежат и большие заслуги в ознакомлении венгерского читателя с эстонской литературой. Ныне Берецки возглавляет кафедру финно-угорских языков Будапештского университета. Среди исследователей марийского языка следует назвать также Ж. Веленяк (Velenyák Zsófia) – ученицу Э. Беке и его помощницу в подготовке марийского словаря.

Мордовским и отчасти марийским языками занимается Й. Эрдеди (Erdődi József, род. 1908), хотя известны и его работы по общему финно-угроведению. Мордовская тематика – область интересов Г. Заица (Zaicz Gábor) и Л. Керестеша (Keresztes László).

Работа в области финского языкознания является в первую очередь задачей наших финских коллег, и естественно, что в Венгрии практически нет специалистов в этой области. Следует тем не менее упомянуть умершего несколько лет назад профессора И. Паппа (Papp István, 1901–1972). Им написана подробная финская грамматика (1956), которая затрагивает и вопросы истории языка и может быть полезна для лингвистов-финно-угроведов, составлен исключительно удачный финско-венгерский словарь (1962), а по-фински опубликована очень содержательная, новаторская в ряде отношений краткая "История венгерского языка" ("Unkarin kielen historia", Helsinki, 1968). Важное значение имеют и теоретико-грамматические взгляды И. Паппа, высказанные применительно к материалу финского языка.

В области самодийского языкознания работают и другие венгерские исследователи. И. Н.-Шебештьен, как уже отмечалось, пришла в эту область от исследований по праистории и этимологии. До нее инициатором изучения самодийских языков был также уже упоминавшийся Й. Дьёрке, в качестве ученика которого начал свою научную работу и автор этой книги, занимавшийся вопросами фонологии, сравнительно-исторической фонетики, морфологии и синтаксиса самодийских языков. Им написаны самодийская хрестоматия (1968) и общий обзор самодийских языков и народов (1963, 1968). Автор настоящей книги

занимался также вопросами более общего характера: ему принадлежат университетский учебник "Введение в уральское языкознание" (H a j d ú Péter, Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Budapest, 1968, 1973, 1976), который может служить одновременно и справочным пособием,и руководством по уралистике, и обзорная работа об уральских народах (1962, 1975); известны и результаты его работы в области уральской праистории, которые в середине 60-х гг. потребовали разработки новой концепции уральской прародины.

Кроме автора книги, специалистом по самодийскому языкознанию является Т. Микола (Mikola Tibor, род. 1936), приобретший известность публикацией собранных им энецких и нганасанских материалов, книгой о самодийских послелогах (1975), а также рядом историко-фонетических, историко-морфологических и этимологических статей, касающихся отчасти самодийских, отчасти финно-угорских языков. Из представителей нового поколения венгерских специалистов по самодийским языкам можно упомянуть Г. Лабади (Labádi Gizella), работающую в области исторической морфологии самодийских языков, Т. Марка (Márk Tamás), занимающегося типологическим исследованием самодийских языков, П. Шимончича (Simoncsics Péter), работающего в области лингвистического анализа фольклора самодийцев и других народов Сибири, Т. Янурика (Janurik Tamás), который занимается исследованием самодийского и уральского материала, применяя в своем исследовании математические методы, и Я. Пустаи (Pusztay János), изучающего русские заимствования в ненецком языке.

* * *

Другим традиционным цетром исследований по уралистике является Финляндия. Положение дел в этой стране в послевоенный период также характеризуется ростом числа исследовательских организаций и самих исследователей и отчасти методологической модернизацией.

Ведущей фигурой среди современных финских уралистов является Э. Итконен, о котором говорилось выше; столь же крупным ученым, но работавшим в несколько иной (скорее, теоретической) плоскости был П. Равила, умерший в 1974 г.

Виднейшим представителем самодийского языкознания является А. Й. Йоки (Aulis J. Joki, род. 1913), автор выдающегося монографического исследования о заимствованных словах саяно-самодийских языков (1952). Йоки ведет обработку рукописного самодийского наследия К. Доннера; одновременно с этим ему принадлежат и чисто финно-угроведческие (в узком смысле термина "финно-угорский") исследования: он один из

составителей этимологического словаря финского языка и автор известной обобщающей работы об урало-индоевропейских языковых связях (1974), быстро завоевавшей признание. Йоки – лингвист с широким кругом интересов, хорошо ориентирующийся в синологии, в алтаистике и в индоевропеистике; неудивительно поэтому, что ему принадлежит обзор языков мира, выполненный в удобной для пользования и компактной форме.

Общими вопросами финно-угроведения и глубоким изучением саамского языка занимаются профессор М. Корхонен (Mikko Korhonen, род. 1936), а также Р. Бартенс (Raija Bartens, род. 1936). Представитель наиболее молодого поколения финских языковедов П. Саммаллахти (Pekka Sammallahti, род. 1947) работает в области саамского и самодийских языков. Отличной подготовкой обладает молодой самодист Ю. Янхунен (Yuha Yanhunen, род. 1952).

Специалистом по волжским и пермским языкам считается работающий в Финляндии языковед немецкого происхождения Г. Штипа (Günter Stipa, род. 1907). Исследованиями по марийскому языку известны П. Сиро (Paavo Siro, род. 1909) из Тампере, Э. Кангасмаа Минн (Eeva Kangasmaa Minn, род. 1919) и А. Алхониеми (Alho Alhoniemi, род. 1933) из Турку. Все трое – языковеды с большой (обще)лингвистической подготовкой; это отличительная черта их синтаксических и морфологических исследований, которые основываются на прочных теоретических принципах. Это относится и к другим лингвистам Туркуского университета, к тем, кого нельзя назвать уралистами в собственном смысле слова, – в первую очередь к О. Иколе (Osmo Ikola, род. 1918), использующем современные методы в исследовании финского синтаксиса, и К. Вийку (Kalevi Wiik, род. 1932), фонологу и фонетисту.

Кроме того, большой отряд лингвистов специализируется в области финского или прибалтийско-финского языкознания. Воздерживаясь от их перечисления, мы считаем необходимым упомянуть только несколько имен. В своей книге об истории финского языка, которая пользуется всеобщим признанием, профессор Л. Хакулинен (Lauri Hakulinen, род. 1899) в большей мере , чем это обычно принято, опирается на достижения уралистики. Кроме того, он проявляет значительный интерес к вопросам семантики. Нельзя не назвать и П. Виртаранта (Pertti Virtaranta, род. 1918) – специалиста по финской диалектологии и по карельскому языку, поскольку с его именем связано создание фонетического архива при Хельсинкском университете, в котором уже накоплен богатый документальный материал по всем уральским языкам. Р. Пелтола (Reino Peltola, род. 1914) также занимается прибалтийско-финскими языками и является одним

из составителей этимологического словаря финского языка. Деятельность профессора финского языка Хельсинкского университета Т. Итконена (Terho Itkonen, род. 1933) также отличает основательная подготовка в области уралистики и общего языкознания.

* * *

Современную ситуацию в уральском языкознании характеризует и значительное расширение географии исследовательских центров. Помимо традиционных центров, во всем мире возникали все новые и новые финно-угроведческие исследовательские организации. Некоторые из них уже выдвинулись в число передовых по качеству выполняемых ими работ. Это относится в первую очередь к Советскому Союзу, где, естественно, налицо все предпосылки для развития финно-угроведения и где, как уже говорилось, путь к исследованию финно-угорских языков был проложен выдающимися учеными XVIII и XIX вв., работавшими в России.

После Великой Октябрьской социалистической революции советскому финно-угорскому языкознанию пришлось решать важные практические задачи. Требовалось создать письменность и литературные языки для финно-угорских народов, живущих на территории СССР, составить словари, грамматики и школьные учебники этих языков. Нужно было подготовить учителей для финно-угорских национальных школ. Эти неотложные задачи на время отвлекали внимание советских лингвистов от сравнительно-исторического изучения финно-угорских языков, хотя в других областях (описательная грамматика и диалектология) они достигли результатов, получение которых ни в какой другой стране не было бы возможно. Хотя перед советскими исследователями по-прежнему постоянно стоят практические задачи, одновременно с этим расширяется и научное изучение финно-угорских языков. Все больше появляется в СССР диалектологических исследований, научных описательных и исторических грамматик, монографий. Научные и практические аспекты в работе исследователей хорошо сочетаются друг с другом; более того, как мы убедились, занятия прикладными вопросами дают советским лингвистам большое преимущество. Практическое знание финно-угорских языков, а часто и владение ими как родными ставит их в выгодное положение по сравнению с теми финно-угроведами, которым эти языки знакомы только по грамматикам, словарям и записям текстов.

Основоположником советского финно-угорского языкознания был Д. В. Бубрих (1890–1949), который занимался преимущественно проблемами истории прибалтийско-финских, волж-

ских и пермских языков. Его работы по исторической фонетике финского языка (1948) и удмуртского языка (1948), по исторической грамматике финского (1955) и эрзя-мордовского (1953) языков – прекрасные образцы синтеза, исходящего из системного анализа языковых фактов в рамках единой системы взглядов. Бубрих был ученым большой трудоспособности (о чем свидетельствует большое количество его работ), а его деятельность по воспитанию научных кадров принесла хорошие плоды. Инициатором исследований в области самодийских языков был Г. Н. Прокофьев (1896–1942); написанные им грамматики ненецкого, энецкого, нганасанского и селькупского языков до сих пор остаются незаменимыми пособиями в работе исследователя.

Если и в Венгрии, и в Финляндии вопрос подготовки научной смены в области финно-угорского языкознания вызывает серьезные затруднения, то в Советском Союзе год от года появляются новые исследователи, и для многих из них финно-угорские языки являются родными. Благодаря педагогической деятельности ученых с мировым именем в Советском Союзе возникли новые центры финно-угорского языкознания (Ижевск, Йошкар-Ола, Новосибирск, Петрозаводск, Саранск, Сыктывкар, Томск, Ужгород). Исключительно быстрое развитие позволило Советскому Союзу стать одной из ведущих стран в области финно-угорского языкознания.

Направляющая роль в достигнутом прогрессе принадлежит, помимо Д. В. Бубриха и Г. Н. Прокофьева, в первую очередь четырем советским языковедам. В их числе – Пауль Аристэ (род. 1905), академик АН Эстонской ССР, воспитавший в Тартуском университете целую плеяду учеников финно-угроведов, среди которых можно встретить и специалистов по саамскому, водскому, ливскому или ижорскому языку, и самоедолога. Исследования же самого Аристэ сосредоточены в основном на прибалтийско-финских языках.

Стремясь к максимально возможной полноте, он собрал материалы по находящемуся на грани исчезновения водскому языку (публикации водских текстов вышли в свет в 1960, 1962, 1969, 1974 гг., водская грамматика – в 1948 г. по-эстонски и в 1968 г. по-английски), организовал систематические полевые работы в районах распространения других малых прибалтийско-финских языков, составил образцовое фонетическое описание эстонского языка (1968), а также занимался историей и исторической диалектологией эстонского языка и вопросами развития литературных языковых норм. Важное значение имеют его исследования по заимствованной лексике и новые соображения, связанные с ранней историей прибалтийско-финских языков (1956). С момента основания (1965) журнала "Советское

финно-угроведение", выходящего в Таллине, он является его главным редактором.

Другой значительный представитель советской финно-угристики – чл.-корр. АН СССР Б. А. Серебренников (род. 1915), занимающий различные руководящие посты в Институте языкознания АН СССР. Серебренников – очень интересный и многосторонний ученый; он является одновременно специалистом по общему языкознанию, а также занимается тюркскими языками, и его работы в избранных им областях пользуются большим авторитетом. Нам, однако, в первую очередь следует охарактеризовать Серебренникова как финно-угроведа. Он настоящий компаративист, и его интересует каждый из уральских языков. Впрочем, его деятельность большей частью направлена на исследование пермских и волжских финно-угорских языков. Он много занимался вопросами уральского глагольного и падежного словоизменения ("Категории времени и вида в финно-угорских языках пермской и волжской групп", 1960; "Основные линии развития падежной и глагольной систем в уральских языках", 1964), однако не меньшего внимания заслуживают и его монографии по исторической морфологии пермских (1963) и мордовских (1967) языков. Его работа "Вероятностные обоснования в компаративистике" (1974) также имеет большое значение для финно-угроведения. Его статьи охватывают широкий круг вопросов – от методологии до анализа проблем языковых контактов, топонимики и праистории. Под его руководством многие аспиранты выросли в квалифицированных специалистов по финно-угорскому языкознанию.

Наряду с Б. А. Серебренниковым в Институте языкознания в Москве очень важную научную, организационную и педагогическую работу ведет доктор филологических наук К. Е. Майтинская (род. 1907), в течение долгого времени возглавлявшая сектор финно-угорских языков этого института. Майтинская – исследователь с широким кругозором, ее теоретические концепции хорошо обоснованы. Наиболее известны ее работы "Местоимения в мордовских и марийских языках" (1964), "Местоимения в языках разных систем" (1969) и недавно вышедшая "Историко-сопоставительная морфология финно-угорских языков" (1979). Очень важным результатом ее деятельности явились написанные ею главы о сравнительной морфологии и сравнительном синтаксисе финно-угорских языков, занимающие значительную часть первого тома "Основ финно-угорского языкознания" (1974). Кроме того, ей принадлежит ряд ценных исследований по грамматике (о будущем времени в финно-угорских языках, об уральском двойственном числе, о семантике и типологических связях местоимений, о возможностях заимствования местоимений и др.). Высокую оценку,

в том числе и в Венгрии, получили монографии "Венгерский язык" (в трех томах, 1954–1960) и "Словообразование имен в старо- и средневенгерском языке" (1965).

Среди ведущих представителей советского финно-угроведения после Бубриха следует назвать доктора филологических наук проф. В. И. Лыткина (род. 1895)[1]. Свою научную деятельность проф. Лыткин посвятил главным образом своему родному коми языку и пермским языкам в целом. Он занимался вопросами этимологии, описательной и исторической грамматики. Он написал (совместно с Е. С. Гуляевым) этимологический словарь коми языка (1970), а также принимал участие в подготовке целого ряда коми грамматик и словарей. Неоценимы его заслуги в области издания памятников древнепермского языка с комментариями ("Древнепермский язык", 1952), а также в деле создания работ по истории и исторической диалектологии коми и удмуртского языков ("Исторический вокализм пермских языков", 1964; "Историческая грамматика коми языка", 1957; "Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам", 1955; "Коми-язьвинский диалект", 1961). Большим авторитетом пользуется Лыткин и в своих родных местах – в Коми АССР: мы вряд ли ошибемся, утверждая, что уровень исследований по коми языку в Сыктывкаре наглядно отражает высокие заслуги Лыткина как педагога и организатора.

Под редакцией В. И. Лыткина, К. Е. Майтинской и К. Редеи Институтом языкознания АН СССР была выпущена коллективная трехтомная монография "Основы финно-угорского языкознания" (1974–1976), которую можно считать первым в советском финно-угроведении обобщающим трудом (вышедший несколькими годами раньше, в 1966 г., третий том серии "Языки народов СССР", посвященный финно-угорским и самодийским языкам, выполняет иную функцию: он содержит краткие, но информативные очерки о распространенных в СССР языках уральской семьи).

Наряду с этими учеными, играющими ведущую роль в советском финно-угроведении, можно перечислить целый ряд исследователей, принадлежащих примерно к тому же поколению, а также их учеников и последователей, составляющих ныне среднее поколение.

Среди представителей первой группы следует назвать Н. М. Терещенко (род. 1908), с именем которой связаны десятки исследований в области самодийских языков (главным образом ненецкого, а в последние 10 лет – также нганасанского и энецкого). В числе ее важнейших работ, восполняющих пробелы в этом разделе уралистики – "Ненецко-русский словарь" (1965) и "Материалы и исследования по языку ненцев" (1956), посвя-

[1] В. И. Лыткин умер в 1981 г. – *Прим. ред.*

щенные отдельным вопросам диалектологии и морфологии. В новый тематический круг проникают две ее наиболее значительные монографии, опубликованные в последние годы – "Синтаксис самодийских языков" (1973) и "Нганасанский язык" (1979).

В Ленинграде в течение долгого времени вел работу по финно-угорскому языкознанию А. И. Попов (1899–1973), интересовавшийся в первую очередь историей расселения финно-угорских народов. Среди ветеранов финно-угорского языкознания нельзя не назвать В. М. Васильева (1883–1961) – первого лингвиста-лексикографа, вышедшего из среды марийского народа; М. Н. Коляденкова (1896–1967) и М. Е. Евсевьева (1864–1931), получивших признание благодаря созданным ими словарям и грамматикам мордовских языков. Работы Н. И. Терешкина – полный и надежный источник данных по родному для исследователя хантыйскому языку: он написал прекрасную диалектологическую монографию о ваховском диалекте (1961), ожидается выход в свет и словаря хантыйского языка*.

Представители нынешнего среднего поколения и более молодые финно-угроведы также входят, прямо или же опосредованно, в круг учеников Бубриха, Серебренникова, Майтинской, Лыткина или Аристэ. Благодаря включению молодых специалистов в исследовательскую работу расширилась сеть научных центров, сформировались новые центры в автономных республиках, а существовавшие ранее центры окрепли.

Наиболее значительной среди работ Е. С. Гуляева (1928–1977) из республики Коми был "Краткий этимологический словарь коми языка" (1970), подготовленный совместно с В. И. Лыткиным. Статьи его также в основном имеют историко-этимологический характер. Кроме того, в Сыктывкаре велась энергичная и результативная работа по диалектному картографированию, доказательством чему служит "Сравнительный словарь коми-зырянских диалектов" (1961), составленный Т. И. Жилиной, М. А. Сахаровой и В. А. Сорвачевой. Приобрели известность исследования по коми языку Г. Г. Бараксанова, А. И. Туркина и Р. М. Баталовой, которая занимается в основном коми-пермяцким.

Заслуживают внимания работы Т. И. Тепляшиной, В. К. Кельмакова, П. Н. Перевощикова, В. И. Алатырева и И. В. Тараканова по грамматике и диалектологии удмуртского языка; этот перечень имен не включает представителей наиболее молодого поколения ижевских лингвистов, хотя работы последнего времени по удмуртской диалектологии содержат в себе много интересного.

*Этот словарь вышел в свет в 1981 г. – *Прим. ред.*

Из исследований по марийскому языку следует упомянуть описательную, сопоставительную и историческую грамматику Н. Т. Пенгитова. Крупным специалистом по истории марийского языка (и сравнительному финно-угроведению) является И. С. Галкин, автор двухтомной монографии "Историческая грамматика марийского языка. Морфология" (1964, 1966) и ряда статей, также характеризующих его как талантливого языковеда-историка. Область научных интересов проф. Л. П. Грузова – фонетика, как описательная, так и историческая и диалектная ("Фонетика диалектов марийского языка в историческом освещении", 1965; "Историческая грамматика марийского языка. Введение и фонетика", 1969). В развитие диалектологии внесли свой вклад Г. М. Тужаров и И. Г. Иванов – авторы книги "Северо-западное наречие марийского языка" (1970). Ф. И. Гордеева занимают вопросы марийской лексики, изучения заимствований, этногенеза марийцев. Е. И. Коведяевой проведены исследования по марийской акцентуации.

Среди исследователей мордовского языка ныне, несомненно, особо выделяется А. П. Феоктистов, который не только отлично знает мордовские диалекты, но и обнаруживает высокую квалификацию в общем финно-угроведении. Он является одним из редакторов подготавливаемого этимологического словаря мордовских языков; следует упомянуть и его книгу "Истоки мордовской письменности" (1968). В Саранском университете профессором кафедры мордовского языка является Д. В. Цыганкин, специалист по морфологии. В области мордовского языкознания работают также Д. Т. Надькин (диалектология, морфонология), Р. В. Бабушкина (диалектология), Г. И. Ермушкин (диалектология).

Исследования по прибалтийско-финским языкам сосредоточены преимущественно в научных учреждениях Тарту и Таллина, но ведутся и в других местах. Кафедру финно-угорской филологии Ленинградского университета возглавляет З. М. Дубровина; ценным достижением является ее работа об инфинитивах в финском языке. В Петрозаводске исследованием карельского языка занимался Г. М. Макаров (1898–1972), там же работают М. И. Зайцева и М. П. Муллонен, издавшие вепсские тексты (1969) и "Словарь вепсского языка" (1972).

Из эстонских лингвистов профессор Тартуского университета П. Алвре известен главным образом исследованиями по именному словоизменению и выражению множественности в прибалтийско-финских языках. В. Халлап из Таллина занимается глагольным словообразованием мордовских и других финно-угорских языков, а также эстонским языкознанием и фонетикой; П. Кокла считается специалистом по марийскому и венгерскому языкам, однако им же составлен и эстонско-финский

словарь (1971); А.-Р. Хаузенберг принадлежит работа о названиях животных в коми языке; А. Лаанест — автор прекрасного обзора прибалтийско-финских языков и диалектов, хотя основное его внимание сосредоточено на исследовании ижорского языка. П. Пальмеос, также работающая в Тарту, изучала язык карел, живущих в Новгородской и Калининской областях (и опубликовала диалектные тексты); кроме того, в течение длительного времени она преподавала венгерский язык. На вопросах собственно эстонского языкознания сосредоточена деятельность профессоров Э. Пялля, Х. Рятсепа, А. Каска. Впрочем, Рятсеп — как и Т.-Р. Вийтсо — занимается и проблемами общего языкознания. А. Кюннап, ныне возглавляющий финно-угорскую кафедру в Тарту, — самоедолог. С большим знанием дела им был собран языковой материал от двух информантов, еще помнивших камасинский язык и, вероятно, в последний раз говоривших на нем; взгляды Кюннапа на происхождение камасинского словоизменения изложены в двух монографиях, изданных в Хельсинки (1971, 1978). К. Конт известен работами по финно-угорскому падежному склонению и по саамскому языку. Представителем саамского языкознания в СССР является также Г. М. Керт, работающий в Петрозаводске. Этим двум исследователям принадлежат исключительно важные публикации по кольско-саамским говорам и их классификации.

Е. И. Ромбандеева известна своими монографиями по мансийскому языку (1973, 1979).

Картина исследований по уралистике в Советском Союзе не будет полной, если не сказать также о работе представителей свердловской и томской школ. Первая из них организована в Уральском государственном университете (Свердловск) А. К. Матвеевым и ставит целью изучение связей между русским и уральскими языками, а также изучением финно-угорского субстрата в русской топонимии. В Томском педагогическом институте вокруг А. П. Дульзона (1900–1973) сформировалась большая группа исследователей; некоторые из них работают также в Томском и Новосибирском университетах и в других местах. Дульзон начал свою деятельность как германист, но затем перешел к изучению народов и языков Сибири. Он занимался кетским языком, тюркологией, археологией, этнографией, но для нас особый интерес представляют его полевые исследования среди селькупов, давшие очень ценный и пока еще не вошедший в научный обиход материал. Некоторые из его учеников работают в области самодийских языков (селькупский, нганасанский, ненецкий, энецкий), привлекая для своих исследований собственный экспедиционный материал. Хотя лингвистическая методология школы Дульзона не во всех отношениях отвечает современным требованиям, деятельность по

сбору материала, которую ведут представители этой школы, несомненно, полезна: именно благодаря ей в последние годы многократно возросло число селькупских текстов, находящихся в распоряжении науки. Представляются перспективными исследования Ю А. Морева по фонетике селькупского языка. Э. Г. Беккер занимается селькупской топонимикой и склонением существительных. А. И. Кузьмина из Новосибирска написала грамматику селькупского языка (1974) и собрала значительное число текстов. Успешно работала, хотя и не принадлежала к школе Дульзона, рано умершая новосибирская исследовательница Я. Н. Попова (1935–1977), которой мы обязаны восполнившим существенный пробел словником диалекта лесных ненцев (Сегед, 1978) и фонетическим описанием этого диалекта (1978). В описании Я. Н. Поповой содержатся не только экспериментально-фонетические данные, но и хорошо подобранный сравнительно-диалектологичский материал. В области фонетики энецкого языка работают Я. А. Глухий и В. А. Сусеков, в области нганасанской фонетики – А. К. Столярова и Б. А. Седельников. Морфология нганасанского языка – тема исследований Е. П. Больдт, ныне работающей в Барнауле. Вопросами морфологии глагола в энецком языке занимается в Ленинграде И. П. Сорокина, ученица Н. М. Терещенко; ею собран обширный полевой материал по диалекту лесных энцев. Здесь же можно упомянуть и нашего молодого московского коллегу Е. А. Хелимского, также ведущего самоедологические полевые исследования и, кроме того, компетентного в общей уралистике; в частности, в его работе об угорско-самодийских языковых связях (1979) поставлена интересная в методологическом отношении проблема – возможность разграничения параллелей ареального и генетического происхождения – и даны конкретные примеры, иллюстрирующие этот подход.

В Советском Союзе работает и еще одна группа финно-угроведов – это ужгородские лингвисты. Кафедру венгерской филологии Ужгородского университета возглавляет П Н. Лизанец, специалист в области венгерско-украинских диалектных связей; на руководимой им кафедре студенты знакомятся и с финно-угорским языкознанием.

Из лингвистов-финно-угроведов скандинавских стран большим авторитетом пользуется в последние десятилетия Б. Коллиндер (Björn Collinder, род. 1894), в прошлом профессор университета Упсалы. Он является не только одним из крупнейших знатоков саамского языка, но и специалистом с широким кругозором и многогранными интересами, с полным правом принявшим на себя задачу написания итоговых трудов, суммирующих результаты, достигнутые финно-угорским языкознанием. В последнее время он занимался вопросами общего язы-

кознания (выступая как ожесточенный противник ультрасовременных направлений) и, кроме того, проявил незаурядный поэтический дар: им выполнен шведский перевод "Калевалы", имевший большой успех. Кафедру Коллиндера занял в 1961 г. Б. Викман (Bo Wickmann; саамское и самодийское языкознание). Кафедра финно-угроведения Лундского университета была основана эстонцем Ю. Мягистэ (Julius Mägiste, род. 1900) — крупным специалистом по прибалтийско-финским языкам, занимающимся также проблемами изучения других финно-угорских языков. В Швеции работал и другой выдающийся эстонский лингвист А. Саарестэ (Andrus Saareste, 1892–1964); здесь же ведут свои исследования В. Таули (Valter Tauli; общая уралистика, эстонское языкознание), Й. Ангере (Johannes Angere; проблемы доуральского периода) и два известных специалиста по саамскому языку – И. Руонг (Israel Ruong) и Х. Грундстрём (Harald Grundström). Профессором кафедры финно-угорского и саамского языкознания в новосозданном университете г. Умео является ученик Коллиндера Т. Шёлд (Tryggve Sköld — прибалтийско-финские языки, исследование заимствованной лексики саамского языка).

В Норвегии в 1946 г. К. Бергсланд (Knut Bergsland) стал экстраординарным профессором саамского и финно-угорского языкознания, сменив в этом звании Нильсена. Под его руководством при университете в Осло в 1954 г. был создан Финно-угорский институт, недавно преобразованный в Урало-алтайский институт. Наряду с саамским языком Бергсланд много занимался эскимосским языкознанием (одно из его широко известных исследований посвящено эскимосско-уральским языковым вязям). Саамским языком занимаются также норвежцы Й. Беронка (Johan Beronka) и А. Несхейм (Asbjørn Nesheim), который ведет также этнографические исследования.

В Германской Демократической Республике вокруг В. Штейница (1905–1967) сформировалась все возраставшая группа исследователей. Штейниц, разрабатывая проблемы финно-угорского вокализма вначале в одиночестве, описал историю систем гласных мансийского и хантыйского языков и перешел к историческому анализу обско-угорского вокализма, а также выпустил новое издание хантыйской хрестоматии. Позднее же он с помощью нескольких учеников смог разработать довольно обширную программу обско-угорских исследований. К сожалению, безвременная кончина застигла Штейница в самом начале осуществления этой программы. Последним его крупным начинанием явился диалектологический и этимологический словарь хантыйского языка, содержащий основные данные всех существующих хантыйских словарей в унифицированной на основе единых принципов записи. При жизни Штейница успели выйти

лишь два выпуска этого словаря, завершение же работы над ним осталось задачей сотрудников Штейница. Редакторской группой, возглавляемой Г. Зауэром (Gert Sauer, род. 1932) и включающей также Л. Хартунг (Lieselotte Hartung) и Б. Шульце (Brigitte Schulze), изданы еще семь выпусков и тем самым работа завершена наполовину. После смерти Штейница его труды по хантыйскому языку выходят в форме совместной публикации берлинского и будапештского академических издательств под общей редакцией Г. Зауэра и Р. Штейниц ("Ostjakologische Arbeiten von W. Steinitz"; из четырех намеченных томов пока увидели свет два – 1975, 1976).

Кроме того, Зауэром написана монография об именном словообразовании хантыйского языка (1967) и организован симпозиум по вопросам фонологического анализа уральских языков, посвященный памяти Штейница (1974). Шульце занимается хантыйскими конструкциями с повтором однокоренных слов (так наз. figura etymologica), Хартунг – лексикой хантыйского языка. Часть прежних учеников и сотрудников Штейница работают ныне в других местах. Г. Ганшов (Gerhard Ganschow, род. 1923) – профессор финно-угорской кафедры, созданной в Мюнхенском университете Ему принадлежит монография о хантыйском глагольном словообразовании (1965); в последнее время он занимается синтаксисом и вопросами строения основ. В Мюнхене работает и Х. Катц (Hartmut Katz), который занимается селькупским и другими уральскими языками; его основные работы: "Порождающая фонология и фонологические языковые союзы хантыйского и самодийских языков" ("Generative Phonologie und phonologische Sprachbünde des Ostjakischen und Samojedischen, 1975), "Selcupica", I-II (1975, 1976), "Селькупские тексты" ("Selkupische Quellen", 1979). На хантыйском языке сосредоточены интересы еще двух мюнхенских финно-угроведов – Э. и Л. Шиферов (Erhard Schiefer, Lieselotte Schiefer). По темам, предложенным Штейницем, работают в Киле Р. Брахвиц-Радомски (Rosemarie Brachwitz-Radomski – хантыйские топонимы, 1969) и в Гамбурге А. Плегер (Angela Plöger – русские заимствования в финском языке, 1973).

В ФРГ финно-угорские кафедры созданы, помимо Мюнхена, в Геттингенском и Гамбургском университетах. Кафедрой в Геттингене до 1976 г. руководил В. Шлахтер (Wolfgang Schlachter, род. 1908), известный преимущественно исследованиями по синтаксису и теоретической грамматике саамского, венгерского и финского языков, а в 1977 г. ее возглавил венгр Я. Гуя. Коллективом кафедры предпринято издание библиографии уральского языкознания, ориентированной на возможно бо́льшую полноту; вышли в свет первый том этого издания в пяти выпусках и первый выпуск второго тома. Разностороннюю деятель-

ность вел в Гамбурге Д. Дечи (Décsy Gyula, род. 1926); в его недавно вышедших введении в финно-угристику и книге о структурах языков Европы содержится немало интересных и своеобразных суждений. Об его организаторских навыках свидетельствует редактируемый им журнал "Ural-Altaische Jahrbücher" (Урало-алтайские ежегодники). С 1978 г. Д. Дечи работает в Индианском университете в Блумингтоне (США). Преемник Дечи, В. Феенкер (Wolfgang Veenker, род. 1940), подготовил ряд полезных для исследования уральских языков пособий (например, обратных словарей) и написал достойную внимания диссертацию о явлениях предполагаемого финно-угорского субстрата в русском языке (1967).

В послевоенные годы получила признание деятельность Индианского университета в Блумингтоне (США) по изучению уральских языков, организатором которой явился Т. А. Себеок (Thomas A. Sebeok), венгр по происхождению. Он начал свою работу с изучения марийского языка и одновременно занимался сопоставительным исследованием венгерской и финской падежных систем. В 1960 г. Т. А. Себеок начал серию публикаций "Uralic and Altaic Series", в которой уже издано около 120 работ. Большинство работ представляют собой руководства, учебники, монографии, посвященные уральским и алтайским языкам и народам. Впоследствии круг интересов Себеока расширился, и он приступил к осуществлению лингвистического проекта мирового масштаба (издание "Current Trends in Linguistics"); связанная с этим организационная работа, а также психолингвистические, семиотические и стилистические исследования (которые велись им и ранее) оттеснили собственно финно-угроведческие интересы Себеока на второй план. Из его коллег по университету финно-угроведческой проблематикой неизменно продолжает заниматься А. Раун (Alo Raun, род. 1905), эстонец по происхождению; в его сборнике работ по фонетике, грамматике и семантике (1971) американский структурализм успешно сочетается с классической финно-угристикой. Его изданное на финском языке "Введение в структурную лингвистику" (A. R a u n. Johdatusta strukturaali kielitieteeseen, Helsinki, 1963) было предназначено в первую очередь для ориентации финно-угроведов в направлениях общего языкознания начала 60-х гг.

Финно-угорские исследования ведутся в США не только в Блумингтоне. Дж. Лотц (John Lotz, 1913–1973) занимался такими исследованиями сам и интенсивно содействовал их развитию в качестве преподавателя Колумбийского университета (Нью-Йорк), а затем и директора Центра прикладной лингвистики (Center for Applied Linguistics) в Вашингтоне. Помимо исследований по венгерскому языку, с уралистикой непосредственно

связаны его работы по анализу структур мордовского стиха и так наз. камасинского плача. В истории уральского языкознания Лотц сыграл, однако, не только непосредственную роль: во время второй мировой войны, будучи директором Венгерского института в Стокгольме, он быстро установил связи с В. Штейницем и Р. Якобсоном, которые нашли в Швеции убежище от преследований нацизма. Сдружившись, эти три лингвиста стали систематически встречаться по вторникам на своего рода рабочих совещаниях или дружеских семинарах, и эти стокгольмские вторники оказались весьма плодотворными с точки зрения дальнейшего развития лингвистической науки. На них сформировались основополагающие идеи исследований в самых различных направлениях, например теория фонологии и метрическая типология финно-угорского стихосложения; здесь, по сути дела, была выношена – в теоретическом плане – и теория финно-угорского вокализма Штейница. В генезисе же метрической типологии сыграло свою роль то обстоятельство, что Штейниц на протяжении всей своей жизни занимался фольклором и, в частности, именно в 30-х и в начале 40-х гг. появились его исследования о финско-хантыйских фольклорных параллелях и об обско-угорских стихотворных формах, богатые новыми результатами. Учитывая эту сторону дела, Р. Аустерлица (Robert Austerlitz, род. 1923) – преемника Лотца в Колумбийском университете – можно назвать в равной мере учеником Штейница и Лотца, хотя формально лишь последний был его университетским наставником. Однако в своих работах об обско-угорской метрике и фольклоре Аустерлиц продолжил исследования обоих своих учителей, существенно развив их с точки зрения и методов, и результатов.

В целом ряде американских университетов работают лингвисты, знающие тот или иной финно-угорский язык и опирающиеся на это в своих исследованиях. Одним из наиболее оригинальных и талантливых из них является Р. Т. Хармс (Robert T. Harms, род. 1926). Из его очерков ("Sketches") о финском и эстонском языках, из работы о пермском императиве видно, с какой уверенностью он пользуется на финно-угорском материале техникой трансформационно-порождающего описания языка (1962, 1964). В. Дж. Зепс (Valdis J. Zeps) – автор монографии о конвергентных явлениях в балтийских и финском языках (1962) и один из составителей словаря-конкорданса к произведениям марийского фольклора (1961). Э. К. Ристинен (Elaine K. Ristinen) занимается фонологическими системами самодийских языков. Круг лингвистических интересов М. Лехтинен (Meri Lehtinen) и Р. Хецрона (Robert Hetzron) охватывает, в частности, научное изучение их родных языков – финского и венгерского.

Естественно, число финно-угроведческих исследовательских

центров увеличилось и в Европе. Во всех европейских странах за немногочисленными исключениями (Албания, Бельгия, Греция, Испания, Португалия, Швейцария и карликовые государства – Ватикан, Андорра, Сан-Марино, Люксембург, Лихтенштейн, Монако) имеются университеты, организовавшие преподавание венгерского или финского языка, а в ряде мест ведутся и финно-угроведческие исследования.

Большой традицией обладает финно-угристика во Франции. Уже в 1931 г. была создана финно-угорская кафедра при парижской Национальной школе живых восточных языков (Ecole Nationale des Langues Orientales Vivantes), которую возглавлял О. Соважо (Aurélien Sauvageot, род. 1896), известный монографией об урало-алтайских языковых связях, написанными в последнее время книгами об истории и структуре финского и венгерского языков, а также постоянными рецензиями на новую финскую и венгерскую финно-угроведческую литературу, которые знакомят с ней французских лингвистов. Его преемник по кафедре – Ж.-Л. Моро (Jean-Luc Moreau, род. 1937) – также занимается венгерским и финским языками. Одновременно изучение финно-угорских языков началось, благодаря профессору Ж. Перро (Jean Perrot, род. 1925) и в Сорбонне. Перро стал директором созданного в 1966 г. координационного Центра финно-угорских исследований (Centre d'Etudes Finno-Ougriennes), издающего журнал "Etudes Finno-Ougriennes" ("Финно-угорские исследования"). Не ограничиваясь лингвистическими статьями, журнал публикует работы по более широкому кругу тем (литературоведение, история культуры, музыковедение) и выполняет важную функцию в ознакомлении научной общественности нефинно-угорских стран с достижениями уралистики.

В Лондонском университете финно-угроведение преподают Дж. Ф. Кушинг (George Frederick Cushing) и М. Бранч (Michael Branch), пока еще в рамках венгерского отеделения Школы славянских и восточноевропейских исследований (School of Slavonic and East European Studies). В Голландии А. Д. Килстра (Andries D. Kylstra), специалист по германско-финским лексическим связям, ввел занятия финно-угорскими языками в Гронингенском университете.

В Польше существует два центра финно-угроведения – Варшава и Познань. Студенты-хунгарологи Венгерского института при Варшавском университете получают некоторую общефинно-угроведческую подготовку. В Познаньском университете работает известный финно-угровед Е. Банчеровский (Jerzy Bańczerowski), специалист по теории чередования ступеней согласных.

В ряде университетов Чехословакии, Румынии и Югославии (Братислава, Клуж-Напока, Бухарест, Нови-Сад) на кафед-

рах венгерского языка частично ведутся исследования финно-угроведческой направленности и читаются лекции по сравнительному финно-угорскому языкознанию.

По инициативе профессора Н. Минисси (Nullo Minissi, род. 1921) сейчас создается финно-угорская кафедра в Неапольском университете. В издаваемой этим университетом серии "Eurasiatica" уже появлялись интересные публикации по финно-угорским языкам. Преподавание финно-угорских языков ведется также в Риме, Падуе, Венеции. Во Флоренции работает профессор Д. Гено (Danilo Gheno), автор привлекших внимание исследований по мордовскому языку. В Австрии в 1974 г. была создана финно-угорская кафедра в Венском университете, где с 1969 г. велись подготовительные курсы лекций силами приглашаемых профессоров. Эту кафедру возглавил уже упоминавшийся венгерский языковед К. Редеи.

В качестве события самого последнего времени можно упомянуть создание Уральского общества в Японии ("The Uralic Society of Japan"), которое объединило специалистов, интересующихся финно-угорскими и самодийскими исследованиями. Президентом Общества стал Ясумото Токунага, хорошо известный и в Венгрии. Обществом издается журнал "Uralica", на страницах которого появились, в частности, работа Тамоцу Койдзуми о трансформациях пассивизации в финском языке и о финно-угорском вокализме, а также работа Такаси Огисима о финно-угорских числительных.

* * *

Картина истории и современного состояния финно-угроведческих исследований будет неполной без упоминания о представителях финно-угорской этнографии и археологии. Разработка финно-угорской этнографии началась в прошлом веке параллельно с лингвистическими исследованиями. Помимо языковедов, интересовавшихся этнографией (Кастрена, Мункачи, Сетяля, Карьялайнена, К. Доннера, Лехтисало), описанием материальной и духовной культуры уральских народов занимались преимущественно финские и русские исследователи. В истории финно-угорской этнографии почетные места занимают и имена двух венгерских ученых, К. Папаи (Pápai Károly) и Я. Янко (Jankó János), но в нынешнем столетии разработка этой отрасли науки в Венгрии на несколько десятилетий затормозилась. Тем не менее в наши дни налицо возрождение интереса к финно-угорской этнографии. Об этом свидетельствует ряд работ Я. Кодолани (мл.) (Kodolányi János), Б. Коромпаи (Korompay Bertalan), музыковедов Л. Вардяша (Vargyas Lajos), Л. Викара (Vikár László) и Д. Сомьяш-Шифферта (Szomjas-Schiffert György).

Особую главу можно было бы посвятить деятельности рано умершего В. Диосеги (Diószegi Vilmos, 1923–1972), занимавшегося всю жизнь изучением сибирского шаманизма и дохристианских верований венгров. Среди нынешних молодых этнографов следует назвать В. Войгта (Voigt Vilmos), автора исследований по фольклору финно-угорских народов. Вопросами литературы и фольклора уральских народов занимаются П. Домокош (Domokos Péter, род. 1936), Э. Пап (Pap Éva), П. Шимончич (Simoncsics Péter), а также большой отряд переводчиков.

Из ряда представителей финской этнографической школы следует выделить А. Хейкеля (Axel Heikel, 1851–1924), изучившего постройку жилищ у волжских финно-угров, фольклористов Ю. и К. Крона (Julius Krohn, 1835–1888; Kaarle Krohn, 1863–1933), двух известных исследователей материальной культуры финно-угорских народов – У. Т. Сирелиуса (Uno Taavi Sirelius, 1872–1929) и И. Маннинена (Ilmari Manninen, 1894–1935), а также специалиста по народным традициям А. Хямяляйнена (Albert Hämäläinen) и специалиста по истории религии У. Харва-Холмберга (Uno Harva-Holmberg, 1882–1949). Ведущей фигурой в современной финской этнографии является К. Вилкуна (Kustaa Vilkuna, род. 1902), который своим критическим разбором принципов и методов финно-угорской этнологии определил направление дальнейших исследований. М. Хаавио (Martti Haavio, 1899–1973) был наиболее значительным представителем современной финской фольклористики. О высоком уровне этнографических исследований в Финляндии свидетельствует и деятельность многих других выдающихся ученых, в числе которых Т. И. Итконен (T. I. Itkonen), Э. А. Виртанен (E. A. Virtanen), А. О. Вяйсянен (A. O. Väisänen), Т. Вахтер (Tyyni Vahter), Н. Валонен (Niilo Valonen), Т. Вуорела (Toivo Vuorela), В. Кауконен (Väinö Kaukonen), М. Кууси (Matti Kuusi), И. Талве (Ilmar Talve), Л. Хонко (Lauri Honko), И. Шеллбах-Копра (Ingrid Schellbach-Kopra), С. Айкио (Samuli Aikio), И. Кечкемети (István Kecskeméti) и др. Из этнографов скандинавских стран работы по финно-угорским народам особенно часто пишут А. Несхейм (Asbjørn Nesheim), Э. Манкер (Ernst Manker), Г. Ренк (Gustaw Ränk) и И. Паульсон (Ivar Paulson).

На первом месте по числу специалистов в области финно-угорской этнографии и по уровню их исследований стоит сейчас, несомненно, Советский Союз. В активе советской этнографии, опирающейся на твердые теоретические основы, большая проделанная работа, начавшаяся еще в дореволюционной России. Уже тогда стала интенсивно развиваться этнографическая наука, многие из представителей которой – Н. Н. Харузин, И. Н. Смирнов, Г. С. Лыткин, С. К. Патканов и другие – занимались финно-угорскими народами. Ныне в Советском Союзе изучением тра-

дицонной культуры крупных и мелких этнических подразделений финно-угров заняты сотни исследователей. В изучении народов Сибири почетное место принадлежит Л. П. Потапову, М. Г. Левину, С. В. Иванову. Вопросы обско-угорской этнографии рассматривались в работах Н. Ф. Прытковой, В. Н. Чернецова, З. П. Соколовой. Этнографией и фольклором самодийцев занимались преимущественно Б. О. Долгих, А. А. Попов, Е. Д. Прокофьева, Л. В. Хомич, З. Н. Куприянова, Г. И. Пелих. Не остались вне поля зрения исследователей и другие финно-угорские народы. Интересные монографии написаны В. Н. Белицер о пермских, Т. А. Крюковой – о волжских и пермских, Н. В. Шлыгиной, Г. С. Масловой и В. Я. Евсеевым – о прибалтийско-финских народах. Известными исследователями коми и мордовского фольклора являются соответственно А. К. Микушев и А. Н. Маскаев.

Вначале финно-угорская этнография – в основном под влиянием взглядов Янко, Сирелиуса и Сетяля – исходила из того, что отдельные элементы общей исходной культуры, относящейся к эпохе финно-угорской прародины, в какой-то мере сохранены у каждого из финно-угорских народов. Это древнее финно-угорское наследие представлено у одних народов в неизменном виде, у других же – на различных этапах его развития. Таким образом, в соответствии с концепцией имманентной эволюции прафинно-угорской культуры между финно-угорскими народами можно обнаружить не только языковое, но и культурное родство. Однако исследования на базе такой концепции, доминировавшей главным образом в этнографии, вскоре оказались в тупике, несмотря на наличие крупных достижений в изучении культур отдельных финно-угорских народов.

Уже в 30-х гг. Маннинен высказал мнение, что родство финно-угорских народов недоказуемо путем сопоставления их традиционных культур. Он указал, что культуры отдельных финно-угорских народов сформировались в обстановке длительных и тесных связей с соседними народами, синтезировав в себе культурные влияния, которые поступали от других народов.

Эти взгляды были затем развиты К. Вилкуной, отметившим, что нельзя говорить о финно-угорской сравнительной этнографии в том смысле, в каком говорят о финно-угорском сравнительном языкознании. Если на протяжении тысячелетий раздельного существования финно-угорских языков в них все же сохранились характерные финно-угорские особенности, структурные и лексические реликты праязыка, то культура финно-угорских народов полностью преобразовалась вследствие переселений, изменений в образе жизни, контактов с другими народами. Следовательно, задачей финно-угорской этнографии должно быть исследование того, как формировалась материальная и

духовная культура отдельных народов, то есть выявление процессов синтеза культуры того или иного народа на основании компонентов, определяемых местными условиями и влиянием соседних народов.

Эти воззрения в отношении финно-угорской этнографии близки принципам советской этнографической науки, поскольку советские исследователи придерживаются при анализе формирования и развития национальных культур так называемого комплексного метода и целью их работы является обрисовка этногенеза и этнической истории народа.

Естественно, что при постановке такой цели нельзя обойтись без помощи археологии и антропологии. С точки зрения вопросов этногенеза финно-угорских народов наиболее важны археологические исследования, проведенные в районах современного и прежнего расселения финно-угров. Ведущая роль в выявлении археологических памятников, которые можно связать с историей финно-угорских народов, принадлежит советским ученым. Благодаря работе А. Я. Брюсова, А. П. Смирнова, А. А. Формозова, А. В. Шмидта, О. Н. Бадера, В. Н. Чернецова, А. В. Збруевой, П. Н. Третьякова, Х. Моора, Л. Янитса, Т. В. Поповой, М. Ф. Косарева, В. И. Мошинской, А. Х. Халикова, В. Ф. Генинга, Н. Н. Гуриной и их коллег археологией достигнуты к настоящему времени значительные успехи в раскрытии загадок праистории уральских народов.

Развитие финно-угорской исторической антропологии в значительной мере обусловлено деятельностью советских исследователей Г. Ф. Дебеца, Т. А. Трофимовой, М. С. Акимовой, К. Марк. Разумеется, поисками в хитросплетениях нитей, ведущих к далекому общему прошлому уральских народов, занимаются также финские и венгерские археологи и антропологи. Опираясь на данные находок с территории своей страны и пользуясь для сравнения материалами советских исследователей, они воссоздают картину праистории своего народа. Финно-угорскими древностями занимались, в частности, покойные финские археологи А. М. Таллгрен (A. M. Tallgrén), А. Эйряпя (Aarne Äyräpää) и О. Айлио (Julius Ailio). Ныне видными специалистами в этой области являются в Финляндии В. Лухо (Ville Luho), К. Ф. Мейнандер (C. F. Meinander) и Э. Кивикоски (Ella Kivikoski), в Венгрии — Д. Ласло (László Gyula) и несколько археологов более молодого поколения: И. Диенеш (Dienes István), А. Барта (Bartha Antal), И. Эрдейи (Erdélyi István), И. Фодор (Fodor István), Ч. Балинт (Bálint Csanád), П. Вереш (Veres Péter). Из венгерских исследователей этногенетических аспектов исторической антропологии, идущих по стопам Я. Бартуца (Bartucz János), следует назвать в первую очередь П. Липтака (Lipták Pál), а также Т. Тота (Tóth Tibor), К. К.-Эри (K. Éry Kinga) и Я. Немешкери (Nemeskéri János).

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ

Для венгерского, финского и эстонского языков приводятся формы литературного языка, записанные в соответствии с нормами действующих орфографий. Диалектные и архаические формы отмечены особо.

Саамские данные приводятся – за немногочисленными исключениями – в стандартизированном (по Нильсену) написании и относятся преимущественно к норвежско-саамскому (северному) диалекту. Для их правильного прочтения необходимо иметь в виду следующие основные особенности стандартизованного написания саамских форм:

g, d, b		могут произноситься как глухие k, t, p
đ	=	дентальный звонкий фрикативный (δ)
ǧ	=	велярный звонкий фрикативный (γ)
ggj	=	d´d´
č	=	палатализованный ć
nj	=	палатализованный ń
æ	=	звук типа ä
â	=	продвинутый назад слабо лабиализованный a

Данные других уральских языков мы стремились по мере возможности давать в фонематической (или приближающейся к таковой) транскрипции. Основным принципом при этом было обозначение каждой фонемы особой буквой и сокращение до минимума числа используемых диакритических значков.

Иногда применяется морфонематическое написание. При таком написании используются прописные буквы (например, венг. -NEK – окончание датива, то есть -nek или -nak).

Отдельные нетривиальные буквенные символы имеют следующее фонетическое значение:

γ	=	звонкий фрикативный того же места образования, что и g
χ	=	глухой, соответствующий звонкому γ
ʔ	=	гортанный смычный
ŋ	=	палато-велярный носовой
q	=	увулярный смычный (ǩ)
w	=	билабиальный v (=β)

ǯ = dž

ǵ = dź

å = лабиализованный а (в венгерской орфографии этот звук обозначается буквой а)

ɔ = открытый о

Знак ˘ над гласным (ŏ, ŭ и т.д.) указывает на редуцированный характер гласного (за исключением символа ĕ, который встречается в саамских примерах и по своему фонетическому значению приблизительно соответствует ı).

ə = редуцированный е

e̯ = неогубленный гласный среднего ряда среднего подъема

i̯ = неогубленный гласный среднего ряда верхнего подъема

СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ

абл.	=	аблатив
адес.	=	адессив
акк.	=	аккузатив
алл (ат).	=	аллатив
буд. вр.	=	будущее время
вел.	=	велярный (заднего ряда)
ген.	=	генитив
дат.	=	датив
дв.ч.	=	двойственное число
диал.	=	диалектная форма
ед.ч.	=	единственное число
илл (ат).	=	иллатив
инес.	=	инессив
инстр.	=	инструменталь-инструктив (творительный падеж)
инф.	=	инфинитив
комит.	=	комитатив (совместный падеж)
л.	=	лицо
лат.	=	латив
лок.	=	локатив
мн.ч.	=	множественное число
наст. вр.	=	настоящее время
неопр. спр.	=	неопределенное спряжение
непер.	=	непереходный глагол
ном.	=	номинатив
об. спр.	=	объектное (определенное) спряжение
опр. спр.	=	определенное спряжение
пал.	=	палатальный (переднего ряда)
перех.	=	переходный глагол
пролат.	=	пролатив
прош.вр.	=	прошедшее время
суб.спр.	=	субъектное (безобъектное, неопределенное) спряжение
сублат.	=	сублатив
трансл.	=	транслатив
уст.	=	устаревшая форма

элат.	=	элатив
эсс.	=	эссив
C	=	согласный
Cx	=	падежное окончание
N	=	имя
Px	=	лично-притяжательный показатель (посессивный суффикс)
V	=	глагол
V	=	гласный
*	=	знак, который ставится перед реконструируемой (реально не засвидетельствованной) формой
$>$, $<$	=	знак перехода (острием направлен в сторону более поздней формы: A$>$B или B$<$A означает, что B восходит к A)
→	=	знак, указывающий направление развития значения, функции или направление трансформации какой-либо конструкции
~	=	знак соответствия (чередования)

СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ

авест.	=	авестийский
англ.	=	английский
венг.	=	венгерский
вост.	=	восточный
герм.	=	германский
греч.	=	греческий
др.-инд.	=	древнеиндийский
зап.	=	западный
и.-е.	=	индоевропейский
и.-и.	=	индоиранский
иран.	=	иранский
исп.	=	испанский
кам.	=	камасинский
лат.	=	латинский
лит.	=	литовский
манс.	=	мансийский
мар.	=	марийский (В – восточный, Г – горный, Л – луговой)
монг.	=	монгольский
морд.	=	мордовский (М – мокша, Э – эрзя)
нган.	=	нганасанский
нем.	=	немецкий
нен.	=	ненецкий
норв.	=	норвежский (диалект саамского языка)
перм.	=	пермский
правенг.	=	правенгерский
приб.-фин.	=	прибалтийско-финский
русск.	=	русский
саам.	=	саамский
самод.	=	самодийский
сев.	=	северный
селък.	=	селькупский
скр.	=	санскрит
тюрк.	=	тюркский
угор.	=	угорский
удм.	=	удмуртский

урал.	=	уральский	
фин.	=	финский	
франц.	=	французский	
ф.-у.	=	финно-угорский	
хант.	=	хантыйский	
чук.-камч.	=	чукотско-камчатский	
энецк.	=	энецкий	
эск.	=	эскимосский	
эск.-алеут.	=	эскимосско-алеутский	
эст.	=	эстонский	
южн.	=	южный	
юкаг.	=	юкагирский	
HB	=	язык "Halotti Beszéd"	древневенгерские памятники
KT	=	–"– "Königsbergi Töredék"	
ÓMS	=	–"– "Ómagyar Mária Siralom"	
TAA	=	–"– "Tihanyi Apátság Alapítólevele"	

БИБЛИОГРАФИЯ*

Информацию об обширной литературе по уралистике можно почерпнуть из следующих библиографических сводок:

1. Приложение (Anzeiger) к журналу "Finnisch-ugrische Forschungen" (Хельсинки) содержит указатели литературы за 1900–1912 гг. (тт. I, III, V, VIII, IX, XIV, XV, XX, XXIII, XXV).

2. В т. XXVIII того же журнала (1944) опубликована библиография по вопросам финно-угорского языкознания в Финляндии до 1899 г. включительно (составитель – Э. Ниванка)

3. Данные о финской лингвистической и этнографической литературе за 1935–1964 гг. содержатся в тт. III–XII журнала "Studia Fennica" (составитель библиографии – С. Халтсонен).

4. В содержании финно-угроведческих журналов позволяют легко ориентироваться следующие источники:

Juhász J. Mutató a Nyelvtudományi Közlemények 1–50. kötetéhez. Budapest, 1955;

Juhász J. A Magyar Nyelv I-XXV. évfolyamának mutatója. Budapest, 1931;

Juhász J. A Magyar Nyelv XXVI-L. évfolyamának mutatója. Budapest, 1958;

Hormia O., Jokinen R. Inhalt der Finnisch-ugrischen Forschungen, I-XXX. Helsinki, 1959;

Itkonen E., Virtaranta P. Virittäjän sisallys vuosina 1883, 1886 ja 1897–1946. Helsinki, 1952.

Peltola R. Virittajan sisällys vuosina 1947–1956. Helsinki, 1961.

Takáts K., Végh J., Mikola T. Mutató a Nyelv és Irodalom I-II., a Mészöly Emlékkönyv és a Néprajz és Nyelvtudomány I–X. kötetéhez. Szeged, 1967.

Sebestyén Á. Mutató a Magyar Népnyelv I–VI. és a Magyar Nyelvjárások I–X. kötetéhez. Debrecen, 1965.

Nyelvőrkalauz. Budapest, 1898-1945.

5. Сведения о работах последних десятилетий в области уральского языкознания содержатся в лингвистической библиографии ЮНЕСКО (Bibliographie linguistique. 1939-, Utrecht, 1949-).

* Библиография составлена переводчиком Е. А. Хелимским на основании библиографии к лингвистическим и этнографическим разделам книги П. Хайду и П. Домокоша "Уральская языковая семья" (Hajdú, Péter, Domokos, Péter. Uráli nyelvrokonaink. Budapest, 1978).

В данном списке учтены работы, изданные до 1980 г. – *Прим. редакции.*

6. Важнейшие библиографические указатели изданных в СССР работ по уральскому языкознанию:

Kahla M. Bibliografinen luettelo Neuvostoliitossa vuosina 1918–1959 julkaistusta suomalais-ugrilaisesta kielitieteellisestä kirjallisuudesta, I–II. Helsinki, 1960, 1962.

Bibliographia Uralica. Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1918–1962. Koostanud O. Kivi. Tallinn, 1976.

Soome-ugri ja samojeedi keeleteadus Nõukogude Liidus 1962-. Bibliograafia. Tallinn, 1963-.

7. Библиографические указатели работ, опубликованных в Венгрии:

A magyarországi nyelvtudomány bibliográfiája, I–V. (1961–1965). Budapest, 1963–1969.

Журнал "Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae" с 1961 г. помещает хронику венгерского языкознания.

8. Bibliographie der uralischen Sprachwissenschaft 1830–1970. Herausgegeben von W. Schlachter und G. Ganschow. Göttingen, 1974-. (Это многотомное издание. Его первый том в пяти выпусках, вышедший в 1974–1976 гг., включает библиографию работ по венгерскому языку.)

9. Библиографические данные по литературе финно-угорских народов отражены в издании:

Jávori J. A finnugor népek irodalmának bibliográfiája. Budapest, 1975.

Работы по общим вопросам уралистики

Collinder B. Comparative Grammar of the Uralic Languages. Stockholm, 1960.

Collinder B. Fenno-Ugric Vocabulary. Stockholm, 1955. (Этимологический словарь лексики уральского и финно-угорского происхождения).

Collinder B. Hat das Uralische Verwandte? Uppsala, 1965.

Collinder B. An Introduction to the Uralic Languages. Berkeley – Los Angeles, 1965.

Décsy G. Einführung in die finnisch-ugrische Sprachwissenschaft. Wiesbaden, 1965.

Fokos-Fuchs D. R. Rolle der Syntax in der Frage nach Sprachverwandtschaft. Wiesbaden, 1962.

Hajdú P. Bevezetés az uráli nyelvtudományba. Budapest, 1966, 1973^2, 1976^3.

Hajdú P. Finnougrische Urheimatforschung. – UAJb, XLI (1969).

Hajdú P. Finnugor népek és nyelvek. Budapest, 1962. (Англ. перевод: Finno-Ugrian Languages and Peoples. Translated and adopted by G. F. Cushing. London, 1975).

Itkonen E. Suomalais-ugrilaisen kielen- ja historiantutkimuksen alalta. Helsinki, 1961.

Joki A. J. Uralier und Indogermanen. Helsinki, 1974.

Lakó G. A magyar hangállomány finnugor előzményei. Budapest, 1965. (Англ. перевод: Proto Finno-Ugric Sources of the Hungarian Phonetic Stock. Budapest, 1968).

Sebeok Th. A. (ed.) Current Trends in Linguistics, Vol. 1. Sovict and East European Linguistics. The Hague, 1963; Vol. IX, Part 2. Linguistics in Western Europe. The Hague, 1972.

Suomen Suku, I–III. Toim.: A. Kannisto, E. N. Setälä, U. T. Sirelius, Y. Wichmann. Helsinki, 1926–1934. (Сводная работа по праистории, археологии, антропологии, этнографии финно-угров. Ныне частично устарела.)

Tauli V. Structural Tendencies in Uralic Languages. The Hague, 1966.

Uesson A. M. On Linguistic Affinity. The Indo-Uralic Problem. Malmö, 1970.

Zsirai M. Finnugor rokonságunk. Budapest, 1937. (Важнейшая из имеющихся на венгерском языке общих работ о финно-угорских народах и языках.)

Майтинская К. Е. Историко-сопоставительная морфология финно-угорских языков. М., 1979.

Младописьменные языки народов СССР. Отв. ред.: Е. А. Бокарев, Ю. Д. Дешириев. М.-Л., 1959.

Основы финно-угорского языкознания. I–III. Отв. ред.: В. И. Лыткин, К. Е. Майтинская, Карой Редеи. М., 1974–1976.

Языки народов СССР. Т. III. Финно-угорские и самодийские языки. Отв. ред.: В. И. Лыткин, К. Е. Майтинская. М., 1966. (Обзор и грамматические очерки уральских языков, распространенных на территории СССР.)

* * *

Fodor I. Vázlatok a finnugor őstörténet régészetéből. Budapest, 1973. (Синтезирующий обзор результатов венгерских и советских археологических исследований, связанных с проблемами праистории финно-угров.)

Itkonen E. Die Vorgeschichte der Finnen aus der Perspektive eines Linguisten. – UAJb, XXXII/1-2 (1960).

Krohn J. Suomen suvun pakanallinen jumalanpalvelus. Helsinki, 1894. (Венг. перевод: A finnugor népek pogány istentisztelete. Ford. és néhány eredeti résszel kiegészítette Bán Aladár. Budapest, 1908).

László Gy. Őstörténetünk legkorábbi szakaszai. Budapest, 1961. (Обобщающее исследование по древнейшей истории финно-угров, выполненное с учетом археологических материалов, данных биогеографии и достижений языкознания; содержит ряд новых интерпретаций.)

Manninen I. Suomensukuiset kansat. Porvoo, 1929. (Нем. перевод: Die finnisch-ugrischen Völker. Leipzig, 1932.)

Mark K. Zur Herkunft der finnisch-ugrischen Völker vom Standpunkt der Anthropologie. Tallinn, 1970.

Popular Beliefs and Folklore Tradition in Siberia. Ed. V. Diószegi.

Budapest, 1968. (Нем. версия: Glaubenswelt und Folklore der sibirischen Völker. Budapest, 1968.)

Studies in Siberian Shamanism. Ed. H. N. Michael. Toronto, 1972.

Urâli népek. Nyelvrokonaink kultúrája és hagyományai. Szerk. Hajdú P. Budapest, 1975. (Англ. перевод: Ancient Cultures of the Uralian Peoples. Budapest, 1976.)

Vuorela T. Suomensukuiset kansat. Helsinki, 1960. (Англ. перевод: The Finno-Ugric Peoples. Bloomington, 1964.)

Брюсов А. Я. Очерки по истории племен Европейской части СССР в неолитическую эпоху. М., 1952.

Народы Сибири. Под ред. М. Г. Левина и Л. П. Потапова. М.-Л., 1956. (Англ. перевод: The Peoples of Siberia. Chicago – London, 1964.)

Проблемы археологии и древней истории угров. М., 1972. (Сборник исследований венгерских и советских археологов.)

Токарев С. А. Этнография народов СССР. М., 1958. (Отдельные главы посвящены финно-угорским и самодийским народам.)

Третьяков П. Н. *У истоков этнической истории финно-угорских племен.* – "Советская этнография", 1961, № 2.

Третьяков П. Н. Финно-угры, балты и славяне на Днепре и Волге. М.-Л., 1966.

Формозов А. А. Этнокультурные области на территории Европейской части СССР в каменном веке. М., 1959.

Халиков А. Х. Древняя история Среднего Поволжья. М., 1969.

Этногенез финно-угорских народов по данным антропологии. Отв. ред. И. М. Золотарева. М., 1974.

Венгерский язык

Грамматики, учебники, исследования по истории языка и диалектологии:

Balassa J. A magyar nyelv könyve. Budapest, 1943. (Рус. перевод: Балаша Й. Венгерский язык. М., 1951.)

Bárczi G. Magyar hangtörténet, 2. kiad. Budapest, 1958.

Bárczi G. A magyar nyelv életrajza, 4. kiad. Budapest, 1975.

Bárczi G. A magyar szókincs eredete, 2. kiad. Budapest, 1958.

Bárczi G., Benkő L., Berrár J. A magyar nyelv története. Budapest, 1967.

Bencédy J., Fábián P., Rácz E., Velcsov M. A mai magyar nyelv, 4. kiad. Budapest, 1976.

Berrár J. Magyar történeti mondattan. Budapest, 1957.

Fludorovits J. A magyar nyelv latin jövevényszavai. Budapest, 1937.

Gombocz Z. Die bulgarisch-türkischen Lehnwörter in der ungarischen Sprache. Helsinki, 1912.

Horger A. A magyar nyelvjárások. Budapest, 1934.
The Hungarian Language. Ed. by L. Benkő, S. Imre. Budapest, 1972.
Imre S. A mai nyelvjárások rendszere. Budapest, 1971.
Kálmán B. Nyelvjárásaink, 4. kiad. Budapest, 1977.
Klemm A. Magyar történeti mondattan, I–III. Budapest, 1928–1942.
Kniezsa I. A magyar nyelv szláv jövevényszavai, I–II, 2. kiad. Budapest, 1974.
Kobilarov-Götze G. Die deutschen Lehnwörter der ungarischen Schriftsprache. Wiesbaden, 1972.
Lotz J. Das ungarische Sprachsystem. Stockholm, 1939.
A magyar nyelvjárások atlasza, I–VI. Budapest, 1968–1977.
A mai magyar nyelv rendszere. Leíró nyelvtan, I–II, 2. kiad. Budapest, 1970.
Papp I. Unkarin kielen historia. Helsinki, 1968.
Sauvageot A. L'édification de la langue hongroise. Paris, 1971.
Sauvageot A. Esquisse de la langue hongroise. Paris, 1951.
Simonyi Zs., Balassa J. Tüzetes magyar nyelvtan történeti alapon, I. Budapest, 1895.
Skold H. Die ossetischen Lehnwörter im Ungarischen. Lund–Leipzig, 1925.
Szinnyei J. Magyar nyelvhasonlítás, 7. kiad. Budapest, 1927.
Tompa J. Ungarische Grammatik. Budapest, 1968.
Деак Ш. Учебник венгерского языка, I–III, изд. 6-е. Будапешт, 1975.
Иванов В. С. Учебник венгерского языка. М., 1961.
Майтинская К. Е. Венгерский язык, I–III. М., 1955–1960.
Майтинская К. Е. Словообразование имен в старо- и средневенгерском языке. М., 1965.

Словари:

Bárczi G. Magyar szófejtő szótár. Budapest, 1941.
Gombocz Z., Melich J. Magyar etymologiai szótár, I–XVII (*a – gaz*). Budapest, 1914–1944.
Hadrovics L., Gáldi L. Magyar-orosz szótár, I–II, 5. kiad. Budapest, 1974.
Hadrovics L., Gáldi L. Orosz-magyar szótár, I–II, 5. kiad. Budapest, 1977.
A magyar nyelv történeti-etimológiai szótára, I–III. Budapest, 1967–1976.
A magyar szókészlet finnugor elemei. Etimológiai szótár, I–III. Budapest, 1967–1978.
A mai magyar nyelv értelmező szótára, I–VII. Budapest, 1959–1962.
Szamota I., Zolnai Gy. Magyar oklevél-szótár. Budapest, 1902–1906.
Szarvas G., Simonyi Zs. Magyar nyelvtörténeti szótár, I–III.

Budapest, 1890–1893.

Szily K. A magyar nyelvújítás szótára. Budapest, 1908.

Szinnyei J. Magyar tájszótár, I–II. Budapest, 1893–1901.

Венгерско-русский словарь, под ред. Л. Гальди. Москва–Будапешт, 1974.

Кахана М. Г. Венгерско-русский словарь, изд. 5-е. М., 1964.

Митрак А. Мадьярско-русский словарь. Ужгород, 1922.

Хаас Э. С. Русско-венгерский словарь, изд. 2-е. М., 1951.

Тексты:

Hajdú M., Kázmér M. Magyar nyelvjárási olvasókönyv. Budapest, 1974.

Jakubovich E., Pais D. Ó-Magyar olvasókönyv. Pécs, 1929.

Molnár J., Simon Gy. Magyar nyelvemlékek. Budapest, 1976.

Régi magyar olvasókönyv. Szerk. V. Kovács S. Budapest, 1977.

Этнография и история:

Bartucz L. A magyar ember. A magyarság antropológiája. Budapest, s.a.

Dienes I. A honfoglaló magyarok. Budapest, 1974.

Diószegi V. A pogány magyarok hitvilága. Budapest, 1967.

Elekes L., Lederer E., Székely Gy. Magyarország története. I. Az őskortól 1526-ig. Budapest, 1961.

Die Geschichte Ungarns. Budapest, 1971. (Англ. версия: A history of Hungary. Budapest, 1973; франц. версия: Histoire de la Hongrie. Budapest, 1974.)

Hajdú P. A magyarság kialakulásának előzményei. Budapest, 1953. (Изложение классической концепции финно-угорской прародины.)

Hunfalvy P. Magyarország ethnographiája. Budapest, 1876.

Ipolyi A. Magyar mythológia, I–II, 2. kiad. Budapest, 1929.

Kandra K. Magyar mythologia. Eger, 1897.

Kósa L., Filep A. A magyar nép táji-történeti tagolódása. Budapest, 1978.

László Gy. A honfoglaló magyar nép élete. Budapest, 1944.

A magyar nép története. Rövid áttekintés, 2. kiad. Budapest, 1953.

Magyar néprajzi lexikon. Főszerk. Ortutay Gy., I–, Budapest, 1977-.

A magyar őstörténet kérdései. Szerk. Czeglédy K., Hajdú P. Budapest, 1955.

A magyarok elődeiről és a honfoglalásról. Szerk. Györffy Gy. Budapest, 1958, 1975[2].

Magyarország története. Főszerk. Pamlényi E., Székely Gy., I–II. Budapest, 1964.

A magyarság néprajza. Sajtó alá rendezte Csakó E., I–IV. Budapest, 1933–1937.

A magyarság őstörténete. Szerk. Ligeti L. Budapest, 1943.
Molnár E. A magyar társadalom története az őskortól az Árpádkorig, 2. kiad. Budapest, 1949.
Németh Gy. A honfoglaló magyarság kialakulása. Budapest, 1930.
Ortutay Gy. Kis magyar néprajz. Budapest, 1940. (Нем. перевод: Kleine ungarische Volkskunde. Budapest, 1963.)
Szabó I. A magyarság életrajza. Budapest, 1941.
Veres P. A magyar nép etnikai történetének vázlata.—"Valóság", 1972, 5. sz.
Veres P. An Outline of the Ethnic History of the Hungarian People.—"Néprajzi Értesítő", LIV (1972).
Wliskocki H. von. Volksglaube und religioser Brauch der Magyaren. Munster i. W., 1893.
История Венгрии, I—III. М., 1971—1972.

Обско-угорские языки

Мансийский язык

Грамматики, учебники, исследования по истории языка и диалектологии.

Kálmán B. Chrestomathia Vogulica, 2. kiad. Budapest, 1976. (Грамматический очерк, образцы текстов, краткий словарь. Англ. перевод Vogul Chrestomathy. Bloomington, 1965.)
Kálmán B. Die russischen Lehnworter im Wogulischen. Budapest, 1961.
Korenchy É. Iranische Lehnwörter in den obugrischen Sprachen. Budapest, 1972.
Liimola M. Zur historischen Formenlehre des Wogulischen. I. Flexion der Nomina. Helsinki, 1963.
Munkácsi B. A vogul nyelvjárások szóragozásukban ismertetve. Budapest, 1894.
Pirotti G. Grammatica vogula (Con una scelta di poesie vogule). Parma, 1972.
Rédei K. Die syrjanischen Lehnworter im Wogulischen. Budapest, 1970.
Steinitz W. Geschichte des wogulischen Vokalismus. Berlin, 1955.
Баландин А. Н. Самоучитель мансийского языка. Л., 1960.
Баландин А. Н., Вахрушева М. П. Мансийский язык. М.—Л., 1957.
Ромбандеева Е. И. Мансийский (вогульский) язык. М., 1973.
Ромбандеева Е. И. Синтаксис мансийского языка. М., 1979.
Черпецов В. И. Мансийский (вогульский) язык.—ЯПНС, I, М.—Л., 1937. (Краткий грамматический очерк.)

Словари:

Ahlqvist A. Wogulisches Wörterverzeichnis. Helsinki, 1891.

Szilasi M. Vogul szójegyzék. Budapest, 1896. (Содержит лексический материал первых двух томов собрания мансийского фольклора Б. Мункачи.)

Veenker W. Rückläufiges Wörterbuch der wogulischen Schriftsprache. Wiesbaden, 1971.

Veenker W. Vogul Suffixes and Pronouns. An Index a Tergo. Bloomington, 1969.

Баландин А. Н., Вахрушева М. П. Мансийско-русский словарь. Л., 1958.

Ромбандеева Е. И. Русско-мансийский словарь. Л., 1954.

Чернецов В. И., Чернецова И. Я. Краткий мансийско-русский словарь. М.–Л., 1936.

Тексты:

[9] Hunfalvy P., Reguly A. A vogul föld és nép. Pest, 1864. (Обработка рукописного наследия Регули. Помимо собранных Регули мансийских текстов, работа включает все те исторические, этнографические и географические сведения о манси, которые имелись в распоряжении Хунфалви.)

[5] Kálmán B. Wogulische Texte. Budapest, 1978.

[6] Kannisto A. Wogulische Volksdichtung. Bearbeitet und herausgegeben von M. Liimola. I–VI. Helsinki, 1951–1963.

[3] Munkácsi B. Vogul népköltési gyűjtemény, I–IV. Budapest, 1892–1921.

Munkácsi B., Kálmán B. Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény, III. kötet, 2. rész. Budapest, 1952.

[4] Munkácsi B., Kálmán B. Manysi (vogul) népköltési gyűjtemény, IV. kötet, 2. rész. Budapest, 1963.

Хантыйский язык

Грамматики, учебники, исследования по истории языка и диалектологии:

Castrén M. A. Versuch einer ostjakischen Sprachlehre nebst kurzem Wörterverzeichniss. St. Petersburg, 1858; Leipzig, 1969.

Gulya J. Eastern Ostyak Chrestomathy. Bloomington, 1966.

Futaky I. Tungusische Lehnwörter des Ostjakischen. Wiesbaden, 1975.

Karjalainen K. F. Grammatikalische Aufzeichnungen aus ostjakischen Mundarten. Herausgegeben von E. Vértes. Helsinki, 1964.

Korenchy É. Iranische Lehnwörter in den ob-ugrischen Sprachen. Budapest, 1972.

Paasonen H. Ostjakische grammatikalische Aufzeichnungen nach den Dialekten an der Konda und am Jugan. Herausgegeben von E. Vértes. Helsinki, 1965.

Patkanov S., Fuchs D. R. Laut- und Formenlehre der südostjakischen Dialekte. Budapest, 1911.

Rédei K. Northern Ostyak Chrestomathy. Bloomington, 1965.

Steinitz W. Geschichte des ostjakischen Vokalismus. Berlin, 1950.

Steinitz W. Ostjakische Chrestomathie, 2. Aufl. Leipzig, 1949.

Русская Ю. Н. Самоучитель хантыйского языка. Л., 1961.

Терешкин Н.И. Очерки диалектов хантыйского языка. I. Ваховский диалект. М.–Л., 1961.

Штейниц В.К. Хантыйский (остяцкий) язык.-ЯПНС, I, 1937 (Краткий грамматический очерк).

Словари:

Beke Ö. Északi-osztják szójegyzék. (Pápay József Osztják népköltési gyűjteményéből). S.l., s.a.

Karjalainen K. F. Ostjakisches Wörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von Y. H. Toivonen, I–II. Helsinki, 1948.

Paasonen H. Ostjakisches Wörterbuch nach den Dialekten an der Konda und am Jugan. Zusammengestellt von K. Donner. Helsinki, 1926.

Patkanov Sz. Irtisi-osztják szójegyzék. Budapest, 1902.

Steinitz W. Dialektologisches und etymologisches Wörterbuch der ostjakischen Sprache, I–VIII. Lieferung. Berlin, 1966–1978.

Veenker W. Verzeichnis der ostostjakischen (Vach) Suffixe und Suffixkombinationen. Hamburg, 1973.

Тексты:

Karjalainen K. F. Südostjakische Textsammlungen, I. Hrsg. von E. Vértes. Helsinki, 1975.

Ostjakische Heldenlieder aus József Pápay's Nachlass. Herausgegeben von I. Erdélyi. Budapest, 1972.

Pápay J. Eszaki-osztják medveénekek. Sajtó alá rendezte Fazekas J. Budapest, 1934.

* Pápay J. Osztják népköltési gyűjtemény. Budapest–Leipzig, 1905. (Севернохантыйские героические и медвежьи песни, молитвы из рукописного наследия Регули и из записей самого автора с венгерскими и немецкими переводами.)

Patkanov S. Die Irtyschostjaken und ihre Volkspoesie, II. St. Petersburg, 1900. (Южнохантыйские тексты с немецкими и русскими переводами и комментариями.)

Rédei K. Nord-ostjakische Texte (Kazym-Dialekt) mit Skizze der Grammatik. Göttingen, 1968.

Reguly A., Pápay J. Osztják hősénekek, I. Kozzéteszi Zsirai M. Budapest, 1944.

Reguly A., Pápay J. Osztják (chanti) hősénekek, II. Közzéteszi Zsirai M. Budapest, 1951.

Reguly A., Pápay J. Osztják (chanti) hősénekek, III, I–II. füzet. Zsirai M. hagyatékának felhasználásával közzétészi Fokos D. Budapest, 1963, 1965.

Steinitz W. Ostjakische Volksdichtung und Erzählungen, I–II. Tartu (Stockholm), 1939, 1941. Новое, дополненное издание: Budapest, 1975, 1976.

Этнография и история обских угров:

Ahlqvist A. Unter Wogulen und Ostjaken. Helsinki, 1883.

Czernyecov V. N. Adalékok az obi-ugorok nemzetségi szervezetének történetéhez. Budapest, 1949.

Kannisto A. Materialien zur Mythologie der Wogulen. Bearbeitet und herausgegeben von E. A. Virtanen und M. Liimola. Helsinki, 1958.

Karjalainen K. F. Die Religion der Jugra-Volker. Porvoo–Helsinki, 1921–1927.

Novickij Gr. Kratkoe opisanie o narode ostjackom. Rövid leírás az osztják népről. Fordította Ferincz István. Szeged, 1973.

Roheim G. Hungarian and Vogul Mythology. New York, 1954.

Бахрушин С. В. Остяцкие и вогульские княжества в XVI–XVIII вв. Л., 1935.

Кокосов Н. М., Никулин В. И., Харин В. И. Ханты-Мансийский национальный округ. Свердловск, 1956.

Кулемзин В. М., Лукина Н. В. Васюганско-ваховские ханты в конце XIX – начале XX вв. Томск, 1977.

Сергеев М. А. Народы Обского Севера. Новосибирск, 1953.

Смирнов А. П., Мошинская В. И., Чернецов В. Н., Толотарева И. М. Культура древних племен Приуралья и Западной Сибири. М., 1957.

Старцев Г. Остяки. Л., 1928.

Чернецов В. Н. Древняя история Нижнего Приобья. М., 1953.

Чернецов В. Н. Очерк этногенеза обских югров.–"Краткие сообщения Института истории материальной культуры", IX (1941).

Пермские языки

Коми язык

Грамматики, учебники, исследования по истории языка и диалектологии:

Rédei K. Syrjänische Chrestomathie. Mit Grammatik und Glossar. Wien, 1978.

Uotila T. E. Syrjänische Chrestomathie. Helsinki, 1938.

Uotila T. E. Zur Geschichte des Konsonantismus in den permischen Sprachen. Helsinki, 1933.

Wiedemann J. F. Grammatik der syrjänischen Sprache mit Berücksichtigung ihrer Dialekte und des Wotjakischen. St. Petersburg, 1884.

Баталова Р. М. Коми-пермяцкая диалектология. М., 1975.

Бубрих Д. В. Грамматика литературного коми языка. Л., 1949.

Грибанов С. Ф. Коми грамматика. Кудымкар.

Жилина Т. И., Бараксанов Г. Г. Присыктывкарский диалект и коми литературный язык. М., 1971.

Коми-пермяцкий язык. Под ред. В. И. Лыткина. Кудымкар, 1962.

Лыткин В. И. Диалектологическая хрестоматия по пермским языкам. М., 1955.

Лыткин В. И. Древнепермский язык. М., 1952. (Монография о древнепермской письменности и памятниках коми языка.)

Лыткин В. И. Историческая грамматика коми языка. I. Введение и фонетика. Сыктывкар, 1957.

Лыткин В. И. Исторический вокализм пермских язы 1964.

Лыткин В. И. Коми-язьвинский диалект. М., 1961.

Майшев И. И. Грамматика коми-пермяцкого языка. 1940.

Серебренников Б. А. Историческая морфология п языков. М., 1963.

Современный коми язык. I. Фонетика и морфология. Г В. И. Лыткина. Сыктывкар, 1955; II. Синтаксис. Под ред. Н. Н кова. Сыктывкар, 1967.

Словари:

Fokos-Fuchs D. R. Syrjanisches Wörterbuch, I—II. Budape

Rédei K. Permjakisches Worterverzeichnis aus dem Jahre *Grund der Aufzeichnungen F. A. Wolegows, Budapest, 1968.*

Wichmann Y. Syrjanischer Wortschatz. Bearbeitet und hera von T. E. Uotila. Helsinki, 1942. (Диалектологический словарь.)

Wiedemann F. J. Syrjänisch-deutsches Wörterbuch. St. P 1880. Bloomington, 1964.

Жилина Т. И., Сахарова М. А., Сорвачева В. нительный словарь коми-зырянских диалектов. Сыктывкар, 1961

Кузнецов П. С., Спорова А. М. Русско-коми-пер словарь. Кудымкар, 1946.

Лыткин В. И., Гуляев Е. С. Краткий этимологический варь коми языка. М., 1970.

Майшев И. И. Коми-пермяцкий словарь. Сыктывкар, 1948.

Попов И. П., Лыткин Г. С. Русско-зырянский словарь. Л., 19

Рогов Н. Пермяцко-русский и русско-пермяцкий словарь. СПб., 1869.

Русско-коми словарь. Сыктывкар, 1960. (Ок. 50 тыс. слов.)

Тимушев Д. А., Колегова М. А. Коми-русский словарь. М., 1961.

Тексты:

Genetz A. Ost-permische Sprachstudien. Helsinki, 1897.

Fokos-Fuchs D. Volksdichtung der Komi (Syrjänen). Budapest, 1951.

Fokos-Fuchs D. Zürjén népköltészeti mutatványok. Budapest, 1913.

Fokos-Fuchs D. Zürjén szövegek. Budapest, 1916.

Lach R. Wotjakische, syrjänische und permische Gesänge. Wien—Leipzig, 1926.

Rédei K. Zyrian Texts. Budapest, 1979.

Wichmann Y. Syrjänische Volksdichtung. Helsinki, 1916.

Микушев А. К. Коми эпические песни и баллады. Л., 1969.

Микушев А. К., Чисталев Л. И. Коми народные песни. Сыктывкар, 1966—1968.

Образцы коми-зырянской речи. Под ред. Д. А. Тимушева. Сыктывкар, 1971.

Удмуртский язык

Грамматики, учебники, исследования по истории языка и диалектологии:

Wichmann Y. Die tschuwassischen Lehnwörter in den permischen Sprachen. Helsinki, 1903.

Wiedemann F. J. Grammatik der wotjakischen Sprache. Reval, 1851.

Бубрих Д. В. Историческая фонетика удмуртского языка (сравнительно с коми языком). Ижевск, 1948.

Грамматика современного удмуртского языка. Фонетика и морфология. Ижевск, 1962. Синтаксис простого предложения. Ижевск, 1970. Синтаксис сложноподчиненного предложения. Ижевск, 1974.

Емельянов А. И. Грамматика вотяцкого языка. Л., 1927.

Поздеева А. А. Удмуртская грамматика. Ижевск, 1951.

Тепляшина Т. И. Памятники удмуртской письменности XVIII в. М., 1966.

Тепляшина Т. И. Язык бесермян. М., 1970.

Словари:

Munkácsi B. A votják nyelv szótára. Budapest, 1896.

Борисов Т. К. Русско-удмуртский словарь. Ижевск, 1942.

Борисов Т. К. Удмурт кыл-люкам. (Удмуртско-русский толковый словарь.) Ижевск, 1932.

Русско-удмуртский словарь. М., 1956.

Удмуртско-русский словарь. М., 1948.

Тексты:

The First Votyak Grammar (1775). With an Introduction by Gy. Décsy. Bloomington, 1967.

Lach R. Wotjakische, syrjänische und permische Gesänge. Wien–Liepzig, 1926.

Munkácsi B. Volksbräuche und Volksdichtung der Wotjaken. Herausgegeben von D. R. Fuchs. Helsinki, 1952.

Munkácsi B. Votják népköltészeti hagyományok. Budapest, 1887.

Munkácsi B. Votják nyelvtanulmányok. Budapest, 1884.

Wichmann Y. Wotjakische Chrestomathie mit Glossar, 2. painos. Helsinki, 1954. (Приложение: D. R. Fuchs. Grammatikalischer Abriss.)

Этнография и история пермских народов

Buch M. Die Wotjäken. Eine ethnographische Studie. Helsinki, 1883.

Holmberg (Harva) V. Permalaisten uskonto. Porvoo, 1914. (Древние религиозно-мифологические представления пермских народов.)

Wasiljev J. Übersicht über die heidnischen Gebräuche, Aberglauben und Religion der Wotjaken. Helsinki, 1902.

Белицер В. Н. Народная одежда удмуртов. Материалы к этногенезу. М., 1951.

Белицер В. Н. Очерки по этнографии народов коми (зырян и пермяков). М., 1958.

Генинг В. Ф. Археологические памятники Удмуртии. Ижевск, 1958.

Жеребцов Л. Н. Хозяйство, культура и быт удорских коми в XVIII – начале XX в. М., 1972.

Лашук Л. П. Очерки этнической истории Печорского края. Сыктывкар, 1958.

Лашук Л. П. Формирование народности коми. М., 1972.

Лыткин Г. С. Зырянский край при епископах пермских и зырянский язык. СПб., 1889.

Об исследованиях культуры удмуртского народа. Ижевск, 1970.

Очерки истории Коми АССР, т. I. Сыктывкар, 1955.

Очерки истории Удмуртской АССР, т. I. Ижевск, 1953.

Плесовский Ф. В. Свадьба народа коми. Обряды и причитания. Сыктывкар, 1968.

Трефилов Г. Н. Происхождение удмуртского народа. Ижевск, 1956.

Шишкин И. Н. Коми-пермяки (этнографический очерк). М., 1947.

Волжские языки

Марийский язык

Грамматики, учебники, исследования по истории языка и диалектологии:

Beke Ö. Cseremisz nyelvtan. Budapest, 1911.

Bereczki G. Cseremisz (mari) nyelvkönyv. Budapest, 1971.

The First Cheremis Grammar (1775). A Facsimile Edition with Introduction and Analysis by Th. A. Sebeok and A. Raun. Chicago, 1956.

Lewy E. Tscheremissische Grammatik. Leipzig, 1922.

Räsänen M. Die tatarischen Lehnwörter im Tscheremissichen. Helsinki, 1923.

Räsänen M. Die tschuwassischen Lehnwörter im Tscheremissischen. Helsinki, 1920.

Sebeok Th. A., Ingemann F. J. An Eastern Cheremis Manual: Phonology, Grammar, Texts and Glossary. Bloomington, 1961.

Wichmann Y. Tscheremissische Texte mit Wörterverzeichniss und grammatikalischem Abriss. 2. Aufl. Helsinki, 1953.

Галкин И. С. Историческая грамматика марийского языка. Морфология, I–II. Йошкар-Ола, 1964, 1966.

Григорьев Я. Г. Марийский язык. Йошкар-Ола, 1953.

Грузов Л. П. Историческая грамматика марийского языка. Введение и фонетика. Йошкар-Ола, 1969.

Грузов Л. П. Фонетика диалектов марийского языка в историческом освещении. Йошкар-Ола, 1965.

Иванов И. Г. История марийского литературного языка. Йошкар-Ола, 1975.

Иванов И. Г., Тужаров Г. М. Северо-западное наречие марийского языка. Йошкар-Ола, 1970.

Смирнов К. Ф., Борисов И. А. Грамматика марийского языка. II. Синтаксис. Йошкар-Ола, 1953.

Современный марийский язык. Фонетика. Йошкар-Ола, 1960. Морфология. Йошкар-Ола, 1961. Лексикология. Йошкар-Ола, 1972.

Тимофеева В. Т. Современный марийский язык. Синтаксис сложного предложения. Йошкар-Ола, 1961.

Словари:

Paasonen H. Ost-tscheremissisches Wörterbuch. Bearbeitet und herausgegeben von P. Siro. Helsinki, 1948.

Sebeok Th. A., Zeps V. J. Concordance and Thesaurus of Cheremis Poetic Language. 'S-Gravenhage, 1961.

Szilasi M. Cseremisz szótár. Budapest, 1901.

Андреев И. Ф., Иванов Д. И., Смирнов К. Ф. Русско-марийский словарь. Йошкар-Ола, 1943.

Васильев В. М. Марий мутэр. М., 1926. (Богатый по своему материалу словарь диалектов.)

Гордеев Ф. И. Этимологический словарь марийского языка, I (А–Б). Йошкар-Ола, 1979.

Иванов И. Г., Тужаров Г. М. Словарь северо-западного наречия марийского языка. Йошкар-Ола, 1971.

Марийско-русский словарь. М., 1956.

Русско-марийский словарь. М., 1966.

Тексты:

Beke Ö. A cseremiszek (marik) népköltészete és szokásai. Budapest, 1951.

Beke Ö. Mari szövegek, I, III, IV. Budapest, 1957–1961.

Beke Ö. Texte zur Religion der Osttscheremissen. Wien, 1934.

Beke Ö. Tscheremissische Märchen, Sagen und Erzählungen. Helsinki, 1938.

Beke Ö. Tscheremissische Märchen aus dem Kreise Jaransk. Tartu, 1939.

Beke Ö. Tscheremissische Texte zur Religion und Volkskunde. Oslo, 1931.

Lach R. Tscheremissische Gesänge. Wien–Leipzig, 1929.

Lewy E. Tscheremissische Texte, I–II. Hannover, 1925–1926.

Paasonen H. Tscheremissische Texte. Herausgegeben von P. Siro. Helsinki, 1939.

Porkka V. Tscheremissische Texte. Herausgegeben von A. Genetz. Helsinki, 1895.

Ramstedt G. J. Bergtscheremissische Sprachstudien. Helsinki, 1902.

Vikár L., Bereczki G. Cheremis Folksongs. Budapest, 1971.

Wichmann Y. Volksdichtung und Volksbräuche der Tscheremissen. Helsinki, 1931.

Марий калык муро. М.–Л., 1951. (Марийские народные песни.)

Этнография и история:

Holmberg (Harva) U. Die Religion der Tscheremissen. Porvoo, 1926.

Sebeok Th. A., Brewster P. Studies in Cheremis: Games. Bloomington, 1958.

Sebeok Th. A., Ingemann F. J. Studies in Cheremis: The Supernatural. New York, 1956.

Wichmann J. Beiträge zur Ethnographie der Tscheremissen. Helsinki, 1913.

Архипов Г. А. Марийский край в памятниках археологии. Йошкар-Ола, 1976.

Крюкова Т. А. Материальная культура марийцев XIX века. Йошкар-Ола, 1956.

Очерки истории Марийской АССР. Йошкар-Ола, 1975.

Происхождение марийского народа. (Материалы научной сессии.) Йошкар-Ола, 1967. (Археология, антропология, история, этнография, язык и топонимика.)

Мордовский язык

Грамматики, учебники, исследования по истории языка и диалектологии:

Ahlquist A. Versuch einer mokscha-mordwinischen Grammatik nebst Texten und Wörterverzeichniss. St. Petersburg, 1861.

Paasonen H. Mordwinische Chrestomathie mit Glossar und grammatikalischem Abriss, 2. Aufl. Helsinki, 1953.

Paasonen H. Mordwinische Lautlehre. Helsinki, 1893.

Stipa G. Mordwinisch als Forschungsobjekt. Napoli, 1973.

Wiedemann F. J. Grammatik der Ersa-mordwinischen Sprache nebst einem kleinen mordwinisch-deutschen und deutsch-mordwinischen Wörterbuch. St. Petersburg, 1865.

Бубрих Д. В. Звуки и формы эрзянской речи по говору с. Козловки. М., 1930.

Бубрих Д. В. Историческая грамматика эрзянского языка. Саранск, 1953.

Бубрих Д. В. Эрзя-мордовская грамматика-минимум. Саранск, 1947.

Вопросы мордовского языкознания. Саранск, 1967.

Деваев С. З., Цыганкин Д. В. Фонетика мордовских (мокшанского и эрзянского) литературных языков. Саранск, 1970.

Евсевьев М. Е. Основы мордовской грамматики. М., 1929. Изд. 2-е: Избранные труды, т. IV. Саранск, 1963.

Коляденков М. Н. Грамматика мордовских (эрзянского и мокшанского) языков. Саранск, 1955.

Материалы научной сессии по вопросам мордовского языкознания, I—II. Саранск, 1955.

Очерки мордовских диалектов, I—V. Саранск, 1961—1968.

Серебренников Б. А. Историческая морфология мордовских языков. М., 1967.

Феоктистов А. П. Истоки мордовской письменности. М., 1968.

Словари:

Erdődi J., Zaicz G. Erza-mordvin szójegyzék. Budapest, 1974.

Juhász J. Moksa-mordvin szójegyzék. Sajtó alá rendezte Erdélyi I.

Budapest, 1961.

Евсевьев М. Е. Эрзянь-рузонь валкс (Мордовско-русский словарь). М., 1931.

Коляденков М. Н., Цыганов Н. Ф. Русско-эрзянский словарь. М., 1948.

Коляденков М. Н., Цыганов Н. Ф. Эрзянско-русский словарь. М., 1949.

Потапкин С. Г., Имяреков А. К. Мокшанско-русский словарь. М., 1949.

Потапкин С. Г., Имяреков А. К. Русско-мокшанский словарь. М., 1951.

Феоктистов А. П. Русско-мордовский словарь. М. 1971. (Публикация русско-мордовской части многоязычного словаря Дамаскина 1785 г.).

Черапкин И. Г. Мокша-мордовско-русский словарь. Саранск, 1933.

Ширманкина Р. С. Фразеологический словарь мордовских (мокша и эрзя) языков. Саранск, 1973.

Тексты:

Erdődi J. Erza-mordvin szövegek. Budapest, 1968.

Lach R. Mordwinische Gesänge. Wien—Leipzig, 1933.

Lewy E. Mordwinische Märchen in erzjanischem Dialekte. Leipzig, 1931.

Paasonen H. Mordwinische Volksdichtung. Herausgegeben und übersetzt von P. Ravila, I—IV. Helsinki, 1938—1947.

Евсевьев М. Е. Мордовские народные сказки и загадки.–Избранные труды, т. III. Саранск, 1964.

Евсевьев М. Е. Народные песни мордвы.–Избранные труды, тт. I—II. Саранск, 1961, 1963.

Устно-поэтическое творчество мордовского народа: т. 1. Эпические и лиро-эпические песни. Ред. И. К. Инжеватов и Э. В. Померанцева. Саранск, 1963; т. 2. Лирические песни. Ред. Э. В. Померанцева. Саранск, 1965; т. 3, ч. 1. Мокшанские сказки. Ред. В. Я. Евсеев. Саранск, 1966; т. 3, ч. 2. Эрзянские сказки. Ред. В. Я. Евсеев, Л. С. Кавтаськин. Саранск, 1967; т. 4, ч. 1. Пословицы, присловья и поговорки. Саранск, 1967; т. 4, ч. 2. Мордовские загадки. Ред. В. Я. Евсеев, Л. С. Кавтаськин. Саранск, 1968; т. 5. Частушки. Ред. С. Г. Лазутин и К. Т. Самородов. Саранск, 1969; т. 6, ч. 1. Эрзянская свадебная поэзия. Ред. К. В. Чистов и Л. С. Кавтаськин. Саранск, 1972; т. 7, ч. 1. Эрзянские причитания-плачи. Ред. К. В. Чистов и К. Т. Самородов. Саранск, 1972.

Этнография и история:

Barna F. A mordvaiak pogány istenei és ünnepi szertartásai. Budapest, 1879.

Harva U. Die religiosen Vorstellungen der Mordwinen. Helsinki, 1952.

Вопросы этнической истории мордовского народа, т. 1. М., 1960. (История расселения мордвы, диалектология, результаты антропологических исследований, работы по этнографии и истории.)

Горюнова Е. И. Этническая история Волго-Окского междуречья. М., 1961. (Исключительно ценная сводка данных об истории мери и муромы.)

Евсевьев М. Е. Историко-этнографические исследования.-Избранные труды, т. V. Саранск, 1966.

Исследования по материальной культуре мордовского народа. Под ред. В. А. Белицер и К. А. Коткова. М., 1963.

Очерки истории Мордовской АССР, ч. 1. Саранск, 1955.

Шахматов А. А. Мордовский этнографический сборник. СПб., 1910. (Ценный в плане этнографии, сборник содержит также загадки, пословицы, сказки в фонетической записи.)

Этногенез мордовского народа. (Материалы научной сессии.) Саранск, 1965.

Прибалтийско-финские языки

Финский язык

Грамматики, учебники, исследования по истории языка и диалектологии[1]:

Agricola M. Abckiria. Helsinki, 1971. (Факсимильное издание финского букваря 1543 г. с вводной статьей А. Пенттиля.)

Atkinson J. A Finnish Grammar. Helsinki, 1956.

Fromm H., Sadeniemi M. Finnisches Elementarbuch: Grammatik. Heidelberg, 1956.

Hakulinen L. Handbuch der finnischen Sprache, I—II. Wiesbaden, 1957, 1960.

Hakulinen L. The Structure and Development of the Finnish Language. Bloomington, 1961.

Hakulinen L. Suomen kielen rakenne ja kehitys, I—II. Helsinki, 1941—1946, 1961[2], 1968[3]. (Русск. перевод: Хакулинен Л. Развитие и структура финского языка, I—II. М., 1953, 1955.)

Harms R. T. Finnish Structural Sketch. Bloomington, 1964.

Kalima J. Itämerensuomalaisten kielten balttilaiset lainasanat. Helsinki, 1936. (Балтийские заимствования в прибалтийско-финских языках.)

Kalima J. Slaavilaisperäinen sanastomme. Helsinki, 1952. (Финская лексика славянского происхождения.)

[1] В список включены некоторые общие работы по прибалтийско-финскому языкознанию.

Kettunen L. Suomen murteet, I–III. Helsinki, 1930, 1940. (Обобщающее исследование по финской диалектологии.)

Laanest A. Sissejuhatus läänemeresoome keeltesse. Tallinn, 1975. (Введение в прибалтийско-финские языки.)

Lehtinen M. Basic Course in Finnish, 3 ed. Bloomington, 1970.

Neuvonen E. Eléments de finnois. Textes, grammaire, vocabulaire, 3éme éd. Helsinki, 1966.

Papp I. Finn nyelvkönyv tanfolyamok és magántanulók számára, 2. kiad. Budapest, 1962.

Papp I. Finn nyelvtan. Budapest, 1956.

Penttilä A. Suomen kielioppi. Helsinki–Porvoo, 1957.

Rapola M. Johdatus suomen murteisiin. Helsinki, 1947, 1962[2]. (Краткая характеристика финских диалектов.)

Rapola M. Suomen kirjakielen historia, I. Helsinki, 1946.

Rosenqvist A. Lehr- und Lesebuch der finnischen Sprache. 2. Aufl. Leipzig, 1934.

Sauvageot A. L'élaboration de la langue finnoise. Paris, 1973.

Sauvageot A. Esquisse de la langue finnoise, 2éme éd. Paris, 1949.

Setälä E. N. Yhteissuomalainen äännehistoria. Helsinki, 1890–1891.

Suomen kielen käsikirja. Toim. O. Ikola. Helsinki, 1968.

Thomsen V. Berøringer mellem de finske og de baltiske (litauisk-lettiske) sprog. København, 1890.

Thomsen W. Über den Einfluss der germanischen Sprachen auf die finnisch-lappischen. Halle, 1870.

Tuomikoski A., Deans H. Elementary Finnish, 2nd ed. Helsinki, 1966.

Vanhat kieliopimme. Helsinki, 1968. (Факсимильное издание грамматик финского языка Э. Петреуса 1649 г., М. Мартиниуса 1689 г. и Б. Ваэля 1733 г.)

Бубрих Д. В. Историческая морфология финского языка. М.–Л., 1955.

Бубрих Д. В. Историческая фонетика финского-суоми языка. Петрозаводск, 1948.

Грамматика финского языка. Ред. колл.: Б. А. Серебренников, Г. М. Керт. М.–Л., 1958.

Морозова А. Г. Учебник финского языка. Петрозаводск, 1972.

Словари:

Juslenius D. Suomalaisen sana-lugun coetus. Helsinki, 1968. (Факсимильное издание словаря 1745 г.)

Nykysuomen sanakirja, I–VI. Porvoo–Helsinki, 1951–1961. (Толковый словарь финского языка.)

Suomen murteiden sanakirja. Koevihko. Päätoim. T. Tuomi. Helsinki, 1970. (Пробный выпуск подготавливаемого диалектологического словаря.)

Toivonen Y. H., Itkonen E., Joki A. J., Peltola R. Suomen kielen etymologinen sanakirja, I–VI. Helsinki, 1955–1978. (Этимологический словарь финского языка.)

Turunen A. Kalevalan sanakirja. Helsinki, 1949. (Словарь языка "Калевалы".)

Tuomi T. Suomen kielen käänteissanakirja. Reverse Dictionary of Modern Standard Finnish. Helsinki–Hämeenlinna, 1972.

Вахрос И., Щербаков А. Финско-русский словарь. М., 1975, 1977[2].

Кукконен О. В., Лехмус Х. И., Линдрос И. А. Финско-русский словарь. 2-е изд. М., 1955.

Куусинен М. Э., Оллыкайнен В. М. Русско-финский словарь. М., 1963.

Тексты:

Austerlitz R. Finnish Reader and Glossary. Bloomington, 1963.

Köngäs Maranda E. Finnish Folklore Reader and Glossary. Bloomington, 1968.

Papp I. Finn olvasmányok szójegyzékkel. Budapest, 1959.

Pulkkinen P. Nykysuomen kehitys. Helsinki, 1972. (Образцы финского литературного языка XIX–XX вв.)

Rapola M. Vanhan kirjasuomen lukemisto. 2. painos. Helsinki, 1968. (Отрывки из произведений старофинской литературы.)

Ravila P. Finnish Literary Reader. Bloomington, 1965.

Suomalainen murrelukemisto, Toim. V. Ruoppila ja P. Soutkari. Helsinki, 1959. (Образцы диалектных текстов.)

Suomen kansan murrekirja, I–II. Helsinki–Porvoo, 1940, 1945.

Этнография и история:

Dolmányos I. Finnország története. Budapest, 1972.

Finnland. Geschichte und Gegenwart. Porvoo–Helsinki, 1961.

Jutikkala E., Pirinen K. A History of Finland. London, 1962.

Kivikoski E. Suomen esihistoria. Helsinki, 1961. (Праистория Финляндии.)

Oma Maa. I–VI. Porvoo–Helsinki, 1958–1959. (Энциклопедический труд, отражающий в виде обзорных статей совокупность данных, касающихся Финляндии и финского народа.)

Sauvageot A. Les anciens finnois, Paris, 1961.

Sauvageot A. Histoire de la Finlande, I–II. Paris, 1968.

Sirelius U. T. Die Volkskultur Finnlands. Berlin–Leipzig, 1934.

Vilkuna K., Mäkinen E. Isien työ. Helsinki, 1953. (Зарисовки финского народного быта.)

Wuorinen J. A History of Finland. New York–London, 1965.

Эстонский язык

Грамматики, учебники, исследования по истории языка и диалектологии:

Ariste P. Eesti keele foneetika. Tallinn, 1953.

Harms R. T. Estonian Grammar. Bloomington, 1962.

Kask A. Eesti kirjakeele ajaloost, I–II. Tartu, 1970. (История эстонского литературного языка.)

Kettunen L. Eestin kielen äännehistoria. 3. painos. Helsinki, 1962. (Историческая фонетика эстонского языка.)

Kurman G. The Development of Written Estonian. Bloomington, 1968.

Laugaste G., Teder M. Eesti keele grammatika. Tallinn, 1955.

Lavotha Ö. Kurzgefasste estnische Grammatik. Wiesbaden, 1973.

Mihkla K. Eesti keele süntaks. Tallinn, 1964.

Oinas F. J. Basic Course in Estonian. Bloomington, 1968.

Raun A., Saareste A. Introduction to Estonian Linguistics. Wiesbaden, 1965.

Remmel N., Valgma J., Riikoja E. Eesti keele grammatika. Tallinn, 1957.

Saareste A. Eesti murdeatlas. Atlas des parlers estoniens, I–II. Tartu, 1938, 1941.

Saareste A. Petit atlas des parlers estoniens. Uppsala, 1955.

Tauli V. Standard Estonian Grammar. Part I. Phonology, morphology, word-formation. Uppsala, 1973.

Valgma J., Remmel N. Eesti keele grammatika. Tallinn, 1970.

Wiedemann F. J. Grammatik der ehstnischen Sprache. SPb., 1875.

Абен К. Учебник эстонского языка. Таллин, 1965.

Пялль Э., Тотсель Э., Тукумцев Г. Сопоставительная грамматика эстонского и русского языков. Таллин, 1962.

Пялль Э. Учебник эстонского языка. Таллин, 1955.

Словари:

Muhel V. Vene-eesti sõnaraamat. Русско-эстонский словарь. 6. trükk. Tallinn, 1977.

Saareste A. Eesti keele mõisteline sõnaraamat. Dictionnaire analogique de la langue estonienne, I–IV. Stockholm, 1958.

Tamm J. Eesti-vene sõnaraamat. (Эстонско-русский словарь) 2. trükk. Tallinn, 1961.

Wiedemann F. J. Estnisch-deutsches Wörterbuch. 4. Aufl. Tallinn, 1973.

Тексты:

Keem H. Eesti murded III. Tartu murde tekstid. Tallinn, 1970. (Тексты на тартуском диалекте.)

Muuk E. Eesti murded II. Keskmurde tekstid. Tallinn, 1965. (Тексты на центральном диалекте.)

Oinas F.J. Estonian General Reader. Bloomington, 1963.

Oras A. Estonian Literary Reader. Bloomington, 1963.

Tampere H. Eesti rahvalaule viisidega, I–III. Tallinn, 1956–1958. (Эстонские народные песни.)

Tanning S. Eesti murded I. Mulgi murdetekstid. Tallinn, 1961. (Тексты на мульгском диалекте.)

Valimik Emakeele Seltsi korrespondentide murdetekste, I. Tallinn, 1956. (Образцы диалектных текстов, собранных корреспондентами Эстонского Общества родного языка.)

Этнография и история:

Aspects of Estonian Culture. Ed. J. Aavik, H. Hagar e.a. London, 1961.

Eesti rahva etniliset ajaloost. Tojm.: H. Moora. Tallinn, 1956.

Eisen M.J. Estnische Mythologie. Leipzig, 1925.

Leinbock T. Die materielle Kultur der Esten. Tartu, 1932.

Loorits O. Grundzüge des estnischen Volksglaubens, I–III. Lund, 1949, 1951, 1957.

Manninen I. Die Sachkultur Estlands, I–II. Tartu, 1931–1933.

Ney G. Zur Ethnogenese des estnischen Volkes.–"Commentationes Balticae", 6–7. Bonn, 1959.

Paulson I. The Old Estonian Folk Religion. Bloomington, 1971.

Ränk G. Vanha Viro. Kansa ja kulttuuri. Helsinki, 1955.

Vassar A. Eesti NSV ajalugu, I. Tallinn, 1955.

Вопросы этнической истории эстонского народа. Под ред. Х. А. Моора. Таллин, 1956.

История Эстонской ССР (с древнейших времен до наших дней). Таллин, 1952.

Карельский, ижорский, вепсский, водский, ливский языки

Грамматики, учебники, исследования по истории языков и диалектологии:

Ahtia E.V. Karjalan kielioppi. Suojärvi–Joensuu, 1938.

Airila M., Turunen A., Rainio J. Vepsän opas. 1945.

Andrejev F.A. Vepskijan grammatikan openduzkirj. Leningrad, 1934.

Ariste P. A Grammar of the Votic Language. Bloomington, 1968.

Ariste P. Vadja keele grammatika. Tartu, 1948.

Hämäläinen M., Andrejev F. Vepskijan kelen grammatik. Leningrad, 1934.

Kettunen L. Hauptzüge der livischen Laut- und Formengeschichte. Helsinki, 1947.
Kettunen L. Lõunavepsa hääälik-ajalugu, I–II. Tartu, 1922.
Kettunen L. Vatjan kielen äännehistoria. Helsinki, 1930.
Ojansuu H. Karjala-aunuksen äännehistoria. Helsinki, 1918.
Porkka V. Ueber den ingrischen Dialekt. Helsingfors, 1885.
Posti L. Grundzüge der livischen Lautgeschichte. Helsinki, 1942.
Ruoppila V. Etelä-Karjalan murreopas. Helsinki, 1956.
Tunkelo E. A. Vepsän kielen äännehistoria. Helsinki, 1946.
Turunen A. Lyydiläismurteiden äännehistoria, I–II. Helsinki, 1946, 1950.
Turunen A. Pohjois-Karjalan murreopas. Helsinki, 1956.
Бубрих Д. В. Грамматика карельского языка. Петрозаводск, 1947.
Лаанест А. Ижорские диалекты. Таллин, 1966.
Рягоев В. Д. Тихвинский говор карельского языка. Л., 1977.

Словари:

Karjalan kielen sanakirja. Päätoim. P. Virtaranta, I–II (A–K). Helsinki, 1968, 1974.
Kettunen L. Liwisches Wörterbuch mit grammatischer Einleitung. Helsinki, 1938.
Kujola J. Lyydiläismurteiden sanakirja. Helsinki, 1944.
Nirvi R. E. Inkeroismurteiden sanakirja. Helsinki, 1971.
Зайцева М. И., Муллонен М. И. Словарь вепсского языка. Л., 1972.
Макаров Г. Н. Русско-карельский словарь. Петрозаводск, 1975.

Тексты:

Adler E. Vadjalaste endisajast. I. Idavadja murdetekste. Tallinn, 1968.
Ariste P. Vadja muinaisjutte. Tallinn, 1962.
Ariste P. Vadja rahvakalender. Tallinn, 1969.
Ariste P. Vadjalane kätkist kalmuni. Tallinn, 1974.
Ariste P. Vadjalaste laule. Tallinn, 1960.
Ariste P. Wotische Sprachproben. Tartu, 1935.
Kettunen L. Näytteitä etelävepsästä, I–II. Helsinki, 1920–1925.
Kettunen L., Posti L. Näytteitä vatjan kielestä. Helsinki, 1932.
Kettunen L., Siro P. Näytteitä vepsän murteista. Helsinki, 1935.
Laanest A. Isuri murdetekste. Tallinn, 1966.
Leskinen E. Itäkarjalaismurteiden näytteitä. Helsinki, 1956.
Leskinen E. Karjalan kielen näytteitä, I–III. Helsinki, 1932–1936.
Loorits O. Volkslieder der Liven. Tartu, 1936.
Mägiste J. Liiviläisiä tekstejä. Helsinki, 1964.
Mägiste J. Woten erzählen. Helsinki, 1959.

Ojansuu H. Karjalan kielen opas. Helsinki, 1907.

Ojansuu H., Kujola J., Kalima J., Kettunen L. Lyydiläisiä kielennäytteitä. Helsinki, 1934.

Palmeos P. Karjala Valdai murrak. Tallinn, 1962.

Setälä E. N. Näytteitä liivin kielestä. Julk. V. Kyrölä. Helsinki, 1953.

Setälä E. N. Vatjalaismuistiinpanot. Toim. L. Posti ja S. Suhonen. Helsinki, 1964.

Setälä E. N., Kala J. N. Näytteitä äänis- ja keskivepsän murteista. Julk. E. A. Tunkelo. Helsinki, 1951.

Virtaranta P. Kultarengas korvaan. Helsinki, 1971. (Карельские сказки и легенды.)

Virtaranta P. Lyydiläisiä tekstejä, I–III. Helsinki, 1963–1964.

Virtaranta P. Tverin karjalaisten entistä elämää. Porvoo–Helsinki, 1961.

Virtaranta P. Vienan kansa muistelee. Helsinki, 1958.

Зайцева М. И., Муллонен М. И. Образцы вепсской речи. Л., 1969.

Макаров Г. Н. Образцы карельской речи. М.–Л., 1963.

Этнография и история:

Haltsonen S. Entistä Inkeriä. Helsinki, 1965.

Ränk G. Vatjalaiset. Helsinki, 1961.

Бубрих Д. В. Происхождение карельского народа. Петрозаводск, 1947.

Евсеев В. Я. Исторические основы карело-финского эпоса, I–II. Л.–Л., 1957, 1960.

Макарьев С. Вепсы. Л., 1932.

Панкрушев Г. А. Племена Карелии в эпоху неолита и раннего металла. М.–Л., 1964.

Пименов В. В. Вепсы. Очерк этнической истории и генезиса культуры. М.–Л., 1965.

Саамский язык

Грамматики, учебники, исследования по истории языка и диалектологии:

Äimä F. Phonetik und Lautlehre des Inarilappischen. Helsinki, 1918.

Bergsland K. Lappische Grammatik mit Lesestücken. Wiesbaden, 1976.

Bergsland K., Hasselbrink G. Sámien lukkeme-girjá. Sydlapsk läsebok med grammatik och ordlista. Oslo, 1957.

Collinder B. The Lappish Dialect of Jukkasjärvi. A morphological survey. Uppsala–Leipzig, 1949.

Collinder B. Proto-Lappish and Samoyed. Uppsala, 1954.
Halász I. Pite lappmarki szótár és nyelvtan. Budapest, 1896.
Halász I. Svéd-lapp nyelvtan és olvasmányok. Budapest, 1881.
Itkonen E. Lappische Chrestomathie mit grammatikalischem Abriss und Wörterverzeichnis. Helsinki, 1960.
Lagercrantz E. Sprachlehre des Nordlappischen. Oslo, 1929.
Lagercrantz E. Sprachlehre des Südlappischen. Kristiania, 1923.
Lagercrantz E. Sprachlehre des Westlappischen. Helsinki, 1926.
Nielsen K. Lærebok i lappisk, I. Grammatik; II. Tekster; III. Glossar. Oslo, 1926–1929.
Toivonen Y. H. Zum Problem des Protolappischen. Helsinki, 1950.
Керт Г. М. Саамский язык (кильдинский диалект). Л., 1971.
Эндюковский А. Г. Саамский (лопарский) язык.–ЯПНС, I. М.–Л., 1937.

Словари:

Collinder B. Lappisches Wörterverzeichnis aus Härjedalen. Uppsala–Leipzig, 1943.
Genetz A. Kuollan lapin murteiden sanakirja ynnä kielinäytteitä – Wörterbuch der Kola-lappischen Dialekte nebst Sprachproben. Helsingfors, 1891.
Grundström H. Lulelapsk ordbok, I–IV. Lund–Uppsala, 1946–1954.
Halász I. Svéd-lapp nyelv, II. Déli-lapp szótár. Budapest, 1886.
Itkonen T. I. Koltan- ja Kuolanlapin sanakirja, I–II. Helsinki, 1958.
Lagercrantz E. Lappischer Wortschatz, I–II. Helsinki, 1939.
Lukkari P. Sami-Suoma sadnekirji. 2. painos. Helsinki, 1977.
Nielsen K. Lappisk ordbok – Lapp Dictionary, I–III. Oslo, 1932–1938.
Nielsen K., Nesheim A. Lappisk ordbok – Lapp Dictionary, IV. Systematic Part. Oslo, 1956; V. Supplement. Oslo, 1962.
Schlachter W. Wörterbuch des Waldlappendialekts von Malå und Texte zur Ethnographie. Helsinki, 1958.
Wiklund K. B. Lule-lappisches Wörterbuch. Helsinki, 1890.

Тексты:

Aikio S., Kecskeméti I., Kiss Z. Lappische Joiku-Lieder aus Karasjok. Helsinki, 1972.
Bergsland K. Røros-samiske tekster. Oslo, 1943.
Collinder B. Lappische Sprachproben aus Härjedalen. Uppsala, 1942.
Grundström H., Väisänen O. Lappische Lieder. Uppsala, 1968.
Halász I. Svéd-lapp nyelv, III. Ume- és Tornio-lappmarki nyelvmutatványok. Budapest, 1888.
Halász I. Svéd-lapp nyelv, IV. Jemtlandi nyelvmutatványok. Budapest, 1891.

Halász I. Svéd-lapp nyelv, V. Népköltési gyűjtemény a Pite-lappmark arjepluogi egyházkerületéből. Budapest, 1893.

Itkonen T. I. Koltan- ja Kuolanlappalaisia satuja. Helsinki, 1931.

Koskimies A.V., Itkonen T.I. Inarinlappalaista kansantietoutta. Helsinki, 1917.

Lagercrantz E. Lappische Volksdichtung, I–VII. Helsinki, 1957–1966.

Qvigstad J. K. Lappiske eventyr og sagn, I–IV. Oslo, 1927–1929.

Ravila P. Reste lappischen Volksglaubens. Helsinki, 1934.

Ravila P. Ruijanlappalaisia kielennäytteitä Petsamosta ja Etelä-Varangista. Helsinki, 1931.

Szabó L. Kolalappische Volksdichtung. Göttingen, 1966.

Керт Г. М. Образцы саамской речи. М.–Л., 1961.

Этнография и история:

Collinder B. The Lapps. Princeton, 1949.

Gjessing R. R. Die Kautokeinolappen. Eine antropologische Studie. Oslo, 1934.

Holmberg (Harva) U. Lappalaisten uskonto. Porvoo, 1915.

Itkonen E. Die Herkunft und Vorgeschichte der Lappen im Lichte der Sprachwissenschaft.–UAJb, XXVII/1–2. (1955).

Itkonen T. I. Heidnische Religion und späterer Aberglaube bei den finnischen Lappen. Helsinki, 1946.

Itkonen T. I. Suomen lappalaiset, I–II. Porvoo–Helsinki, 1948.

Lapponica. Ed. A. Furumark, S. Lagercrantz, A. Nesheim, G. Widengren. Lund, 1964. (Сборник исследований по вопросам языка, этнографии, культуры, антропологии саамов.)

Manker E. Lappmark. Stockholm, 1953.

Manker E. Lapsk kultur vid stora Lule älvs Kälsjöar. Uppsala, 1944.

Manker E. Skogslapparna i Sverige. Stockholm, 1968.

Nickul K. Saamelaiset kansana ja kansalaisina. Helsinki, 1970.

Лукьянченко Т. В. Материальная культура саамов (лопарей) Кольского полуострова в конце XIX–XX в. М., 1971.

Харузин Н. Русские лопари. М., 1890.

Чарнолусский В. В. Материалы по быту лопарей. Л., 1930.

Самодийские языки

Грамматики, исследования по истории языков и диалектологии:

Castrén M. A. Grammatik der samojedischen Sprachen. Herausgegeben von A. Schiefner. St. Petersburg, 1854; Bloomington, 1966.

Décsy G. Yurak Chrestomathy. Bloomington, 1966.

Hajdú P. Chrestomathia Samoiedica. Budapest, 1968.

Hajdú P. Szamojéd népek és nyelvek. Budapest, 1949. (Англ. перев.: Samoyed Peoples and Languages . Bloomington, 1968.)

Joki A. J. Die Lehnwörter der Sajansamojedischen. Helsinki, 1952.

Künnap A. System und Ursprung der kamassischen Flexionssuffixe, I–II. Helsinki, 1971, 1978.

Sammallahti P. Material from Forest Nenets. Helsinki, 1974.

Алмазова В. В. Самоучитель ненецкого языка. Л., 1961.

Вербов Г. Д. Диалект лесных ненцев.—"Самодийский сборник", Новосибирск, 1973.

Кузьмина А. И. Грамматика селькупского языка. I. Селькупы и их язык. Новосибирск, 1974.

Куприянова З. Н., Хомич Л. В., Щербакова А. М. Ненецкий язык. Л., 1957.

Прокофьев Г. Н. Ненецкий (юрако-самоедский) язык. Нганасанский (тавгийский) диалект. Энецкий (енисейско-самоедский) диалект. Селькупский (остяко-самоедский) язык.—ЯПНС, I. М.–Л., 1937.

Прокофьев Г. Н. Самоучитель ненецкого языка. М.–Л., 1936.

Прокофьев Г. Н. Селькупская (остяко-самоедская) грамматика. Л., 1935.

Терещенко Н. М. В помощь самостоятельно изучающим ненецкий язык. (Опыт сопоставительной грамматики ненецкого и русского языков.) Л., 1959.

Терещенко Н. М. Материалы и исследования по языку ненцев. Л., 1956.

Терещенко Н. М. Нганасанский язык. Л., 1979.

Терещенко Н. М. Синтаксис самодийских языков. Л., 1973.

Словари:

Castrén M. A. Wörterverzeichnisse aus den samojedischen Sprachen. St. Petersburg, 1855.

Donner K. Kamassisches Wörterbuch nebst Sprachproben und Hauptzügen der Grammatik. Herausgegeben von A. J. Joki. Helsinki, 1944.

Donner K. Samojedische Wörterverzeichnisse. Helsinki, 1932. (Содержит лексические материалы по самодийским языкам, собранные в XVII–XIX вв. и опубликованные в различных труднодоступных источниках.)

Erdélyi I. Selkupisches Wörterverzeichnis. Budapest, 1969.

Janhunen J. Samojedischer Wortschatz. Gemeinsamojedische Etymologien. Helsinki, 1977.

Lehtisalo T. Juraksamojedisches Wörterbuch. Helsinki, 1956.

Попова Я. Н. Ненецко-русский словарь (лесное наречие). Szeged, 1978.

Пырерка А. П., Терещенко Н. М. Русско-ненецкий словарь. М., 1948.

Терещенко Н. М. Ненецко-русский словарь. Л., 1955.

Терещенко Н. М. Ненецко-русский словарь. С приложением

краткого грамматического очерка ненецкого языка. М., 1965.

Хомич Л. В. Ненецко-русский словарь. Л., 1954.

Тексты:

Castrén M. A., Lehtisalo T. Samojedische Sprachmaterialien. Helsinki, 1960.

Castrén M. A. Samojedische Volksdichtung. Herausgegeben von T. Lehtisalo. Helsinki, 1940.

Lehtisalo T. Juraksamojedische Volksdichtung. Helsinki, 1947.

Куприянова З. Н. Эпические песни ненцев. М., 1965.

Этнография и история:

Castrén M. A. Reiseberichte und Briefe aus den Jahren 1845—1849. Herausgegeben von A. Schiefner. St. Petersburg, 1866.

Donner K. Bei den Samojeden in Sibirien. Stuttgart, 1926.

Lehtisalo T. Beiträge zur Kenntnis der Renntierzucht bei den Juraksamojeden. Oslo, 1932.

Lehtisalo T. Entwurf einer Mythologie der Juraksamojeden. Helsinki, 1924.

Бахрушин С. В. Избранные работы по истории Сибири XVI—XVII вв. М.—Л., 1955.

Васильев В. И. Проблемы формирования северосамодийских народностей. М., 1979.

Дебец Г. Д. Селькупы. Антропологический очерк.—ТИЭ, II. М.—Л., 1947.

Долгих Б. О. Очерки по этнической истории ненцев и энцев. М., 1970.

Долгих Б. О. Происхождение нганасанов.—ТИЭ, XVIII. М.—Л., 1952.

Долгих Б. О., Файнберг Л. А. Таймырские нганасаны. — ТИЭ, LVI. М., 1960.

Орлова Е. Н. Население по рр. Кети и Тыму, его состав, хозяйство и быт. Красноярск, 1928.

Пелих Г. И. Происхождение селькупов. Томск, 1972.

Попов А. А. Нганасаны. I. Материальная культура. М.—Л., 1948. (Англ. перев.: Popov A. A. The Nganasan. Bloomington, 1966.)

Попов А. А. Тавгийцы. М.—Л., 1936.

Симченко Ю. Б. Культура охотников на оленей Северной Евразии. М., 1976.

Старцев Г. А. Самоеды. Л., 1930.

Хомич Л. В. Ненцы. Историко-этнографический очерк. М.—Л., 1966.

Хомич Л. В. Проблемы этногенеза и этнической истории ненцев. Л., 1976.

СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ

ВЯ — Вопросы языкознания (Москва)
СФУ — Советское финно-угроведение (Таллин)
ТИЭ — Труды Института этнографии (Москва–Ленинград)
ЯПНС — Языки и письменность народов Севера (Москва–Ленинград)
ALH — Acta Linguistica Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
AOH — Acta Orientalia Academiae Scientiarum Hungaricae (Budapest)
CIF — Congressus Internationalis Fenno-Ugristarum (Budapest 1963)
EFOu — Etudes Finno-Ougriennes (Paris)
ESA — Emakeele Seltsi Aastaraamat (Tartu)
FUF — Finnisch-ugrische Forschungen (Helsinki)
JSFOu — Journal de la Société Finno-Ougrienne (Helsinki)
MNy — Magyar Nyelv (Budapest)
MNyj — Magyar Nyelvjárások (Debrecen)
MSFOu — Mémoires de la Société Finno-Ougrienne (Helsinki)
MTM — Berrár Jolán, Magyar történeti mondattan (Budapest 1957); Klemm Antal, Magyar történeti mondattan, 1–3 (Budapest 1928, 1940, 1942)
NeprNyelvt — Néprajz és Nyelvtudomány. Acta Universitatis Szegediensis. Sectio Ethnographica et Linguistica (Szeged)
NyÉ — Nyelvtudományi Értekezések (Budapest)
NyH^{7} — Szinnyei József. Magyar nyelvhasonlítás. 7. kiadás (Budapest 1927)
NyK — Nyelvtudományi Közlemények (Budapest)
Nyr — Magyar Nyelvőr (Budapest)
ÕEST — Õpetatud Eesti Seltsi Toimetused — Verhandlungen der Gelehrten Estnischen Gesellschaft (Tartu)
ÓmSz — Mészöly Gedeon, Ómagyar szövegek nyelvtörténeti magyarázatokkal (Budapest 1956)
SKRK^{2} — Lauri Hakulinen, Suomen kielen rakenne ja kehitys, 2. painos (Helsinki 1961)
SzófSz — Bárczi Géza, Magyar szófejtő szótár (Budapest 1941)

TCLP – Travaux du Cercle Linguistique de Prague (Práha)
UAJb – Ural-Altaische Jahrbücher (Wiesbaden)
UJb – Ungarische Jahrbücher (Berlin)
UUÅ – Uppsala Universitets Årsskrift (Uppsala)
Vir – Virittäjä. Kotikielen Seuran aikakauslehti (Helsinki)

СОДЕРЖАНИЕ

Б. А. Серебренников. Предисловие 5

I. УРАЛЬСКАЯ СЕМЬЯ ЯЗЫКОВ

Введение 11

А. УГОРСКИЕ ЯЗЫКИ 12
1. Венгерский язык 12
2–3. Обско-угорские языки 32
Мансийский язык 36
Хантыйский язык 42

Б. ФИННО–ПЕРМСКАЯ ВЕТВЬ 49
4–5. Пермские языки 49
Коми язык 53
Удмуртский язык 61
6–7. Волжские языки 65
Марийский язык 65
Мордовский язык 71
8. Прибалтийско-финские языки
Особенности праприбалтийско-финского происхождения 78
Финский язык 82
Карельский язык 94
Ижорский язык 97
Вепсский язык 97
Водский язык 99
Эстонский язык 100
Ливский язык 106
9. Саамский язык 110

В. САМОДИЙСКИЕ ЯЗЫКИ 122
Введение 122
10–12. Северносамодийские языки 124
Ненецкий язык 124

Энецкий язык 129
Нганасанский язык 130
13. Южносамодийские языки 132
Селькупский язык 132

II. ИССЛЕДОВАНИЕ ПРОИСХОЖДЕНИЯ УРАЛЬСКИХ ЯЗЫКОВ

ПРЕДМЕТ И МЕТОД ПРАИСТОРИИ 138
УРАЛЬСКАЯ ПРАРОДИНА 143
СВЯЗИ УРАЛЬСКОГО ПРАЯЗЫКА С ЯЗЫКАМИ ДРУГИХ СЕМЕЙ 164
РАСПАД ПРАЯЗЫКА 169
ОБЩЕСТВО УРАЛЬСКОЙ И ФИННО-УГОРСКОЙ ЭПОХ 176
УГОРСКАЯ ЭПОХА 191
ИСТОРИЯ ФИННО-ПЕРМСКОЙ ВЕТВИ 198

III. СТРУКТУРА УРАЛЬСКОГО ПРАЯЗЫКА

О понятии "праязыка" 204
ФОНЕТИЧЕСКАЯ СИСТЕМА ПРАЯЗЫКА 204
Консонантизм 204
Вокализм 207
Просодические признаки 215
МОРФОНОЛОГИЯ 216
МОРФОЛОГИЯ 220
Классы морфем 220
Числовые показатели 234
Множественное число 234
Двойственное число 236
Лично-притяжательные показатели 236
Показатели наклонений 239
Глагольное время 240
Глагольное спряжение 243
Деривация 249
СИНТАКСИС 252
ЛЕКСИКА 257
ПРОИСХОЖДЕНИЕ ГРАММАТИЧЕСКИХ СРЕДСТВ; ВОЗНИКНОВЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ 262

IV. ВЕНГЕРСКИЙ ЯЗЫК В СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКОМ ОСВЕЩЕНИИ (ФИННО-УГОРСКОЕ НАСЛЕДИЕ В ВЕНГЕРСКОМ ЯЗЫКЕ)

Вводные замечания 265
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ ФОНЕТИКА 265
Консонантизм 266
Смычные 266
Геминаты 269
Носовые 270
Аффрикаты 272
Сибилянты 275
Прочие фрикативные согласные 278
Плавные 280
Наиболее распространенные сочетания согласных 281
Общий обзор консонантизма 283
Вокализм 286
Гласные первого слога 286
Гласные второго слога 291
СРАВНИТЕЛЬНО-ИСТОРИЧЕСКАЯ МОРФОЛОГИЯ 292
Падежные окончания 292
Числовые показатели 306
Лично-притяжательные показатели 311
Показатели наклонений 318
Показатели времен 321
Личные окончания глагола 323
Личные окончания местоименного происхождения 323
Личные окончания неместоименного происхождения 329
Словообразовательные суффиксы 330
Суффиксы отыменного словообразования имен 331
Суффиксы отглагольного словообразования имен 333
Суффиксы отыменного словообразования глаголов 334
Суффиксы отглагольного словообразования глаголов 335
Местоименные суффиксы 336
ЛЕКСИКА 337

V. ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОЕ СОСТОЯНИЕ ИССЛЕДОВАНИЙ ПО УРАЛИСТИКЕ 341

ФОНЕТИЧЕСКИЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ 391

СОКРАЩЕНИЯ И СИМВОЛЫ ГРАММАТИЧЕСКИХ ТЕРМИНОВ И ПОНЯТИЙ 393
СОКРАЩЕНИЯ НАЗВАНИЙ ЯЗЫКОВ И ДИАЛЕКТОВ 395
БИБЛИОГРАФИЯ. Составил Е. А. Хелимский 397
СПИСОК БИБЛИОГРАФИЧЕСКИХ СОКРАЩЕНИЙ 425

В 1986 году в издательстве "Прогресс" выходят в свет следующие книги по филологическим наукам

БИРНБАУМ Г. *Праславянский язык. Достижения и проблемы в его реконструкции.* Пер. с англ.

ДЮБУА Ж. и другие. Общая риторика. Пер. с франц.

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 17. (Теория речевых актов). Сборник. Пер. с разн. яз.

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 18. (Логический анализ естественного языках). Сборник. Пер. с разн. яз.

Новое в зарубежной лингвистике. Вып. 19. (Теоретические проблемы современной тюркологии). Сборник. Пер. с разн. яз.

ТРУБЕЦКОЙ Н. С. *Избранные труды по филологии.* Пер. с разн. яз. (Серия "Языковеды мира").

ФАСМЕР М. Этимологический словарь русского языка, т. I – II. Пер. с нем. яз. Изд. 2-е, стереотипное.

ИБ № 13583

Редактор О б о р и н а М. А.

Художник К л е й н а р д И. С.

Художественный редактор П у з а н к о в В. А.

Технический редактор Л а з а р е в а Н. Е.

Сдано в набор 24.09.84. Подписано в печать с РОМ 16.08.85. Формат 84 x $108^{1}/_{32}$. Бумага офсетная. Гарнитура Пресс-Роман. Печать офсетная. Условн. печ л. 22,68. Усл. кр.-отт. 22,68. Уч.-изд. л. 26,09. Тираж 2.000 экз. Заказ № 1171. Цена 2 р. 30 к. Изд № 29697.

Ордена Трудового Красного Знамени издательство "Прогресс" Государственного комитета СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли
119841, ГСП, Москва, Г-21, Зубовский бульвар, 17

Отпечатано на Можайском полиграфкомбинате Союзполиграфпрома при Государственном комитете СССР по делам издательств, полиграфии и книжной торговли. Можайск, 143200, ул. Мира, 93.